



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ
ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

6 / 2012

Журнал

«Семь искусств»

Июнь 2012

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

2012

Журнал

«Семь искусств»

Июнь 2012

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер

Издательство «Общества любителей еврейской старины»

Содержание

Наталья Завойская	
Современники	5
Владимир Тихомиров	
Алексей Алексеевич Милютин.....	70
Павел Нерлер	
Юрий Иваск и благодать поэзии	78
Эстер Пастернак	
Стихия амфоры звенящей	87
Александр Лейзерович	
Пушкин о Люцифере	101
Евгений Кисин	
Может ли гений быть понятым всеми при жизни?.....	127
Гелий Грант	
Долгие «каникулы».....	134
Борис Тененбаум	
Тюдоры	170
Игорь Фунт	
Искатель истины	187
Лазарь Фрейдгейм	
Ошибочная атрибуция картины об открытии Америки.....	218
Игорь Ефимов	
Джон Чивер (1912-1982).....	231
Лариса Миллер	
«Стихи гуськом»	261
Нахум Виленкин	
Между летом и летом (цикл)	272
Лорина Дымова	
Вы уснете – а жизнь пролетит	275
Григорий Канович	
Местечковый романс	281
Евгений Кузьмин	
Ахерон (цикл рассказов)	348
Нина Горланова, Вячеслав Букур	
Рассказы на голоса.....	368
Соня Тучинская	
В Переулке Ильича	385

Елена Матусевич	
Из цикла «Весна в Лейпциге».....	407
Александр Матлин	
О вредности устного счёта.....	409
Анри Труайя	
Два рассказа.....	415
Алла Цыбульская	
Огюст Вилсон и его пьеса «Ма Рэйни»	436
Нина Воронель	
Маленький канатоходец.....	444
Илья Корман	
Акробатика в день казни.....	483
Микки Вульф	
Беллетристика как провокация.....	489
Мина Полянская	
Пятьдесят столетий без одиночества.....	500
Михаил Юдсон	
Имя прозы. Игорь Гельбах.....	517
Виктор Гопман	
Сентиментальное путешествие во Францию и Испанию ..	522
Об авторах.....	531



Наталья Завойская

Современники

Sine ira et studio¹

О таланте учёного можно судить только по его трудам.

Л. А. Арцимович

The best person to decide what research shall be done is the man who is doing the research.

С. Е. К. Mees

Заниматься в науке надо тем, что нравится. Без вдохновения, как правило, ничего не получается.

Я. Б. Файнберг

Один опыт я ставлю выше тысячи мнений, рождённых воображением.

М. В. Ломоносов

ВВЕДЕНИЕ



ель этой книги – осветить годы работы моего отца Евгения Константиновича Завойского в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова (1951-1971 гг.), остающиеся до сего времени в тени. Если казанский период его работы, а с недавних пор и работа в секретном Сарове (КБ-11)² нашли полное отражение в статьях и книгах, то по причинам, раскрытию которых будут посвящены страницы этой книги, московские годы работы Евгения Константиновича остались практически неисследованными.

За три десятилетия с момента его смерти (9 октября 1976 г.) были изданы о нём: книжечка в серии «Материалы к биобиблиографии ученых СССР»³, избранные научные труды⁴,

¹ Без гнева и пристрастия (Тацит).

² Смирнов Ю. Н. Евгений Константинович Завойский – участник советского атомного проекта. Препринт РНЦ «Курчатовский институт». М., 2009;

Смирнов Ю. Н. Евгений Константинович Завойский – участник советского атомного проекта // Учёные записки Казанского

сборник воспоминаний «Чародей эксперимента» в двух вариантах⁵, три книги, написанные его младшим братом⁶, однако архивный материал, без которого рассказ о творчестве учёного не будет полным, при их написании редко привлекался.



Академик Е.К. Завойский в домашней лаборатории.
Фото В. Ахломова

С архивными документами, касающимися недавнего прошлого, а тем более связанного с закрытыми, т.е. секретными работами, дело обстоит не так-то просто. «Добывание» практически каждого приводимого в этой книге документа (ни в коем случае несекретный) потребовало массы усилий, включавших переписку с архивом, уговорами его начальства, что материалы необходимы для работы, не говоря о заполнении мудрёных банковских бланков на оплату счетов, а также о сборе

государственного университета. Физико-математические науки.. 2008. Т. 150, кн. 3. С. 140-157.

Smirnov Ju. N. Evgeny Konstantinovich Zavoisky – A Participant of the Soviet Atomic Project // EPR News Letter. 2008. Vol. 17, no. 4.P. 7.

³ Евгений Константинович Завойский. М., 1988. Материалы были собраны его вдовой В. К. Труфановой-Завойской, которую редакция даже не поблагодарила за них, издав книжечку с фамилиями своих штатных сотрудников. Через 10 лет книга была переиздана в Казани, где её имя было поставлено первым.

⁴ Е. К. Завойский. Избранные труды. Электронный парамагнитный резонанс и физика плазмы. М., 1990.

⁵ Чародей эксперимента. Сборник воспоминаний об академике Е. К. Завойском. М., 1993 и 1994.

⁶ Завойский В(ячеслав). Е. К. Завойский. Казань, 1980; Академик Е. К. Завойский. Казань, 1986; Минувшее. Казань, 1996.

подписей на получение разрешения посещать архив. К счастью, у моего отца остался собственный солидный архив, включающий не только беловики, но и черновики его статей, а также черновики писем и т. п.

Сразу же должна признаться, что по образованию я филолог. Я долго ждала, что ученики и сотрудники моего отца напишут о нём, его работе и, естественно, о себе, книгу, которая осветит достижения большого коллектива Института атомной энергии имени академика И. В. Курчатова⁷, но мои ожидания не сбылись. И в 2007 году, после того как в Казани и в Москве было отмечено столетие со дня рождения моего отца, я приступила к работе над этой рукописью.

ДВА АКАДЕМИКА

Рассказывая о московском периоде работы моего отца, мне никак не удастся обойти молчанием вопрос об отношениях двух академиков, сотрудников Института атомной энергии имени И. В. Курчатова – Л. А. Арцимовича и Е. К. Завойского, которых судьба свела задолго до того, как они оба работали на ниве плазменных исследований.



Академик Л.А. Арцимович

Напомню кратко о Л.А. Арцимовиче. О нём написано много. Изданы его научные труды. Получился портрет успешного физика, одного из лидеров термоядерных исследований XX века,

⁷ С 1991 г. Российский научный центр «Курчатовский институт», а ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

руководителя Отдела плазменных исследований (ОПИ)⁸ Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, академика-секретаря Отделения общей физики и астрономии (ООФА) Академии наук СССР, члена её Президиума (с 1957 г.), лауреата Сталинской (1953 г.), Государственной (1971 г.) и Ленинской (1958 г.) премий, Героя Социалистического Труда (1969 г.), четырежды награждённого орденом Ленина (1949, 1953, 1958 и 1971 гг.), дважды – орденом Трудового Красного Знамени, серебряной медалью «За заслуги перед наукой и человечеством» чехословацкой Академии наук (1965 г.), члена Совета Европейского Физического общества, члена Комитета и участника Пагуошских конференций⁹, члена Национального комитета советских физиков, члена Американской академии наук и искусств (1966 г., Бостон), почётного доктора наук Загребского университета (1969 г., Югославия), иностранного члена Академии наук ГДР (1969 г.), почётного доктора Варшавского университета (1972 г., Польша), иностранного члена Шведской Королевской академии наук (1972 г.)¹⁰, а также почётного гражданина штата Техас.

У Е.К. Завойского всё скромнее: в Институте атомной энергии он был начальником научного сектора (т. е. частью отдела), в Академии наук не занимал никаких административных должностей (был так называемым академиком-крестьянином). Сталинская премия была присуждена ему в 1949 г. за работу по атомной бомбе, Ленинская – в 1957 г. за открытие электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), звание Героя Социалистического Труда ему было присвоено в 1969 г. Он имел три ордена Ленина (1949, 1954, 1969 гг.) и орден Красного знамени (1969), золотую медаль «Серп и молот» (1969 г.) и медаль «За доблестный труд» (1970 г.). В 1955-1976 гг. был членом редколлегии журнала «Приборы и техника эксперимента». В 1967-1974 гг. – членом Научного совета по проблеме «Физика низких температур» АН СССР. В 1967-1975 гг. – членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям в области науки и техники при Совете Министров СССР, в 1968-1974 гг. – член секции динамики плазмы Научного совета по комплексной проблеме «Физика плазмы» АН СССР. В 1969-1976 гг. – членом экспертной комиссии по

⁸ Современный Институт ядерного синтеза (ИЯС) Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт».

⁹ Rotblat J. A History of the Conference on Science and World Affairs. Prague, 1967.

¹⁰ Корнеев С. Г. Советские учёные почётные члены научных организаций зарубежных стран. М., 1981. С. 13.

присуждению Золотой медали им. С. И. Вавилова. В 1976 г. был утверждён главным редактором журнала «Успехи физических наук». Е. К. Завойский является автором двух научных открытий (ЭПР – электронного парамагнитного резонанса и турбулентного нагрева плазмы) и родоначальником современной радиоспектроскопии¹¹. Это всё¹².

Первая встреча Арцимовича и Завойского произошла в трагическое время. Шёл военный 1941 год. В Казань, где жил и работал Е. К. Завойский, были эвакуированы многие академические институты, в том числе и Ленинградский физико-технический, в котором работал Л. А. Арцимович.

Время было тяжёлое и для казанцев, и для эвакуированных. Университет принял у себя и москвичей, и ленинградцев и, как мог, их разместил. Вскоре была составлена комиссия из трёх сотрудников ЛФТИ (Л. А. Арцимович, С. Ю. Лукьянов¹³, М. С. Соминский), которая должна была ознакомиться с работами казанских физиков и выбрать рабочие помещения, какие могли бы занять приезжие.

Много лет спустя Евгений Константинович описал приход этой комиссии¹⁴, которой он собирался продемонстрировать своё

¹¹ Труфанова-Завойская В. К. и др. Евгений Константинович Завойский. Материалы к биографии. Казань, 1998.

¹² Имеются сведения, что оба академика были «долгое время» членами Научно-технического совета НИИ 801, теперешнего «Ориона» (см. Ponomarenko V. State Research Center of the Russian Federation-State Research, Development and Production Center Orion Marks its 50th Anniversary).

¹³ Когда я готовила к изданию сборник «Чародей эксперимента», я задала С. Ю. Лукьянову вопрос, не помнит ли он о той комиссии. Я встретила его случайно в коридоре библиотеки ИАЭ, он ответил, что не помнит об этом, и быстро прошёл мимо, не спросив, почему это меня интересует. После выхода сборника в свет Степан Юрьевич позвонил в связи с этим эпизодом. Я напомнила ему о том блиц-разговоре, когда я хотела обсудить с ним этот вопрос. Он был расстроен и просил поискать архивные документы. Но, скорее всего, это была «летучая» комиссия, которая не была зафиксирована в архивных документах ЛФТИ. В 2010 г. профессор КГУ А. Л. Литвин сообщил мне, что в приказах по университету он видел приказ, подписанный ректором Ситниковым, о ликвидации лаборатории Завойского.

¹⁴ Чародей эксперимента. Сборник воспоминаний об академике Е. К. Завойском. М., 1994. С. 224. Позже, в Москве доктор физ.-мат.

достижение – новый эффект – ЯМР (ядерный магнитный резонанс), над которым накануне войны трудились Б. М. Козырев, С. А. Альтшулер и он сам. Но комиссия не стала вникать в новинку и распорядилась лабораторию Завойского ликвидировать, а помещение отдать своему академическому сотруднику.

Как вспоминала Н. А. Ирисова¹⁵, работавшая в то время лаборанткой у Б. М. Вула (который и занял лабораторию Евгения Константиновича), приборы Е. К. Завойского были убраны (лучше сказать, свалены) в шкаф, стоявший в коридоре. Доступ к этому шкафу был перекрыт КПП (контрольно-пропускным пунктом), непременным признаком того времени. Евгений Константинович пропуска в свои прежние владения не имел и поэтому просил юную Наташу принести ему из того шкафа для своей установки, которую он упорно восстанавливал вместо разрушенной в выделенном ему крохотном закутке под лестницей, то одно, то другое, что она неукоснительно выполняла.

20 декабря 1941 г. на физическом коллоквиуме ФИАНа Е. К. Завойский сделал доклад на тему «Новый метод измерения парамагнитной релаксации»¹⁶. Но доклад, видимо, не нашёл отклика у присутствовавших. В то трудное время участникам коллоквиума, вероятно, было не до новых методов, надо было решать более «земной» вопрос: как выжить в чужом, голодном и холодном городе.

В связи с действиями комиссии из Ленинградского ФТИ представляется неправдоподобным эпизод, рассказанный членом-корреспондентом А. И. Алиханьяном в книге об Арцимовиче: «... и в Казани можно делать крупные дела», – и он (Арцимович. – Н. З.) указал в сторону лаборатории Завойского, открывавшего парамагнитный резонанс»¹⁷. В подтверждение этих слов сошлюсь на стенограмму защиты Е. К. Завойского¹⁸. ЭПР и в начале 1945 г. оставался terra incognita для сообщества отечественных физиков.

наук С. Ю. Лукьянов был сотрудником отдела Л. А. Арцимовича. М. С. Соминский, заместитель директора ЛФТИ, автор книги «Абрам Фёдорович Иоффе» (1964), с 1989 г. жил в Израиле, где издал книгу «Антисемитизм и антисемиты». Иерусалим, 1991.

¹⁵ Устное сообщение (ФИАН, 12 ноября 2007 г.).

¹⁶ Силкин И. И. Евгений Константинович Завойский. Казань, 2007. С. 108.

¹⁷ Алиханьян А. И. Первые шаги в науке // Академик Лев Андреевич Арцимович. Воспоминания, статьи, документы. М., 2009. С. 30.

¹⁸ Завойская Н. Е. История одного открытия. М., 2007. С. 43-65.

Тем более в 1941-1944 гг., т. е. во время пребывания Арцимовича в Казани. К тому же, о какой лаборатории шла здесь речь? Ведь почти сразу после приезда ленинградцы-физтеховцы её и разгромили.

В военные годы все физики так или иначе были вовлечены в оборонные работы. Работали в этом направлении и оба будущих академика¹⁹, причём тот, у кого фамилия начиналась с первой буквы алфавита, не мог не высказаться о преимуществе своего метода. «Вспоминая те годы, – писал один из сотрудников Курчатовского института, – Арцимович с характерной для него рисовочкой рассказывал, как, работая над общей для них темой, Завойский бесконечно менял, подбирая экспериментально, электростатические линзы, а он, Арцимович, написал все уравнения и разом нашёл способ, как сфокусировать электронные пучки. В истории этой совершенно точно одно – принципиальное отличие научных подходов Завойского и Арцимовича, что мы потом неоднократно наблюдали»²⁰.

Незадолго до окончания Великой Отечественной войны пути Е. К. Завойского и Л. А. Арцимовича на некоторое время разошлись. Первый продолжал работать в Казанском университете, собрал заново и наладил свою установку, перенёс исследования с ядерного магнитного резонанса из-за частой невоспроизводимости результатов, причиной которой была неоднородность магнитного поля старого магнита, на электронный парамагнитный, наблюдал его и 30 января 1945 г. защитил в московском ФИАНе докторскую диссертацию.

Арцимович уехал из Казани весной 1944 г. и с 1 июня должен был начать работать у академика И. В. Курчатова в недавно созданной лаборатории № 2, где ему было поручено заниматься электромагнитным методом обогащения урана²¹. В течение нескольких лет он состоял также научным руководителем оборонного завода № 814 с общей численностью 1 266 человек (ныне комбинат «Электрохимприбор» в г. Лесной Свердловской области)²².

¹⁹ У Л. А. Арцимовича было авторское свидетельство на изобретение специального назначения (1944 г., совместно с С. Ю. Лукьяновым). Архив РАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 316. Л. 16.

²⁰ Чародей эксперимента ... С. 98.

²¹ Атомный проект СССР. Документы и материалы. М., 1998. Т. 1, ч. 1. С. 299, 309.

²² Бедель А. Наш ответ Трумэну: как создавался атомный комплекс страны // Родина. 2001. № 11. С. 96-99.

За пару дней до 9 мая 1945 г.²³, как и многие другие специалисты, Л. А. Арцимович был послан в Германию. От Лаборатории № 2 были откомандированы 24 человека²⁴. «Все они для конспирации и представительности были переодеты в военную форму»²⁵. Арцимович пробыл в «советской оккупационной зоне» почти полтора месяца²⁶. Это была миссия, организованная НКВД, и связана она была с задачей оперативно найти и вывезти в СССР прежде всего накопленный фашистской Германией уран, а также оборудование институтов, библиотеки и т.п., вплоть до дверных замков. И не только уран, книги, замки и мебель вывозились из поверженной Германии. Вывозились и немецкие специалисты, которые могли стать полезными при проведении оборонных работ в СССР. Кстати сказать, Евгений Константинович от КГУ обращался к Н. А. Фигуровскому²⁷, который ведал вывезенным оборудованием.

Л. А. Арцимович, видимо, не оставил письменных воспоминаний о тех днях. Может быть, он кому-то и рассказывал о командировке в Германию, но в вышедших о нём сборниках воспоминаний об этом никто не упомянул. Его же самого мы видим в рассказе заместителя директора ИАЭ И. Н. Головина, опубликованном в посмертно изданном сборнике²⁸.

Когда читаешь воспоминания Игоря Николаевича о его командировке сначала в Австрию, а потом в Германию (они были написаны в 1986 г.), то чувствуешь некую недосказанность. И это, конечно, не от неумения описывать события: Игорь Николаевич – первый биограф Игоря Васильевича Курчатова²⁹. Очевидно, и в 1986 г. он был вынужден себя сдерживать, помня прежний лубянский замах.

Арцимовичу много строк в своей книге посвятил

²³ По записи в личном деле Л. А. Арцимовича в Архиве МГУ (Ф. 1. Оп. 35л. Д. 4455), в Германии он находился с 6 мая по 17 июня 1945 г.

²⁴ Некрасов В.Ф. НКВД-МВД и атом. М., 2007. С. 100.

Дровенников И. С., Романов С. В. Уран-45 // И. К. Кикоин – физика и судьба. М., 2008. С. 885-894.

²⁵ Auergesellschaft // Wikipedia, the Free Encyclopedia – форма у них была полковников НКВД.

²⁶ Архив Московского государственного университета. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4455. На 24 листах.

²⁷ Личный архив Е. К. Завойского.

²⁸ Головин И. Н. Страницы жизни. М., 2004. С. 332.

²⁹ Головин И. Н. И. В. Курчатова. М., 1967.

немецкий физик Макс Штеенбек³⁰, который в 1927-1945 гг. был значительной фигурой в германской фирме «Сименс».

В первые послевоенные дни Штеенбек был арестован и отправлен в советский лагерь для военнопленных. Советская разведка получила задание собрать для планировавшихся работ немецких специалистов, и Штеенбек попал в их число. В течение нескольких месяцев разведка разыскивала Штеенбека среди тысяч пленных. Наконец, он был найдён в крайне плачевном физическом состоянии и в качестве «трофея» был вывезен в СССР для участия в работах по созданию советской атомной бомбы. Спустя некоторое время, потребовавшееся на восстановление здоровья, к Штеенбеку был направлен Арцимович с предложением сделать перед представительной аудиторией доклад о вихревой трубе. В беседе с ним Арцимович заявил, что знаком с его работами, чего Штеенбек не мог сказать о работах «гостя». Цель своего прихода Арцимович сформулировал чётко: тем, кто направил его к пленному физику, нужно было получить от него согласие на участие в работах, которые должны были привести к созданию советской атомной бомбы. «На всём, что он говорил, – писал Штеенбек, – лежал отпечаток полной искренности и солидной осведомленности»³¹. Штеенбек принял предложение советской стороны.

Превратившись в «сухумского немца», Штеенбек начал работы над газовой центрифугой. Он и Арцимович часто встречались для бесед по электромагнитному разделению изотопов, над чем Лев Андреевич тогда работал. Штеенбек «должен был попытаться напасть на след некоторых неустойчивостей в его электромагнитном разделителе»³².

Арцимович и Штеенбек беседовали не только на производственные темы. Их взгляды на действительность были вначале далеки от совпадения. Перед представителем поверженной Германии Арцимович выступал «как коммунист» (хотя на самом деле он до конца дней своих оставался беспартийным).

Штеенбек подробно остановился на беседе с Л. А. Арцимовичем, когда тот говорил ему об Энгельсе и о том,

³⁰ Штеенбек М. Путь к прозрению. М., 1988. В оригинале заголовок книги имеет несколько другой смысл: «Impulse und Wirkungen. Schritte auf meinem Lebensweg». Verlag der Nation. Brl., 1978.

³¹ Штеенбек М. Путь к прозрению ... С. 131.

³² Штеенбек М. Путь к прозрению ... С. 183.

что его «полемиическая запальчивость по форме ему не нравится», а «восхищает та энергия, с которой Энгельс проник в дотолу ему неизвестную область»³³ (имелись в виду естественные науки). Были ли это только слова или убежденность, бог весть.

Возможно, веру в идеи коммунизма (если только это не было игрой) Арцимович воспринял от своего дяди (по матери). В своё время это был очень известный человек: один из лидеров германского союза «Спартак», «основатель и вождь Баварской компартии» – Макс (Максимиллиан) Людвигович Левин³⁴. С ним однажды беседовал сам В. И. Ленин³⁵. Революционное выступление в мае 1919 г. было подавлено, а сподвижники М. Левина арестованы и казнены. За его голову было назначено вознаграждение 30 тысяч марок³⁶. Но Левину удалось бежать. Для тех, кто захочет узнать подробности, укажу, где об этом можно прочитать³⁷.

Л. А. Арцимович, заполняя 20 июня 1935 г. анкету, в графе, кто из членов ВКП(б) его хорошо знает, записал имя своего дяди³⁸, работавшего в Москве в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского³⁹, в Коммунистической академии, в Московском университете. В 1937 г. Левин был расстрелян⁴⁰. Но, как видно из бесед с М.

³³ Штеенбек М. Путь к прозрению ... С. 186.

³⁴ Российский государственный архив социально-политической истории (далее: РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 205. Д. 2551. Фамилия Levien на русском языке может иметь два варианта написания: Левин и Левьен. В документах РГАСПИ, относящихся к 1930-м годам, он сам себя писал как Левин.

П. Вернер (Фрелих) в книге «Баварская советская республика» (М., 1924. С. 87) писал: «Левин был прирожденным митинговым оратором. Он обладал бурным темпераментом, который при его склонности к пафосу иногда шёл вразрез с его политическим чутьём».

³⁵ Это происходило в 1921 г., когда М. Левин приехал в Москву. Речь шла о переводе работы Ленина «Что делать?».

³⁶ New York Times. 1919. Oct. 9. P.19.

³⁷ Волленберг Э. В рядах Баварской Красной армии. М., 1931.

Застенкер Н. Баварская советская республика. М., 1934.

Mühsam E. Ausgewählte Werke. Brl., 1978. Bd. 2. S. 240-325.

³⁸ Архив РАН. Ф. 1. Оп. 35 л/д. Д. 4455. На 24 листах.

³⁹ РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 205. Д. 2551.

⁴⁰ Сойфер В. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. М., 1993. С. 263.

Штеенбеком, проходивших уже во второй половине 40-х годов, это не повлияло на идеологические представления Л. А. Арцимовича. Или положение обязывало?

У Завойского не могло быть такого собеседника, как Штеенбек: за общение с иностранцами в то время можно было поплатиться жизнью. «Разумность» идей коммунизма ему пришлось испытать на себе: его не раз вызывали на допросы в казанский НКВД по поводу продемонстрированной студентам спирали Эри, которая одному юному доносчику напомнила «закорючки» гитлеровской свастики⁴¹. К тому же с Украины пришли вести об аресте брата, его жены и мужа сестры (брат был расстрелян, муж сестры погиб в лагере). Так что абстрактные идеи социалистического рая на земле были совершенно чужды Евгению Константиновичу, и он никогда и ни с кем сторонним не стал бы обсуждать «разумность» идей коммунизма. Он мыслил иначе, а к двойным стандартам не прибегал.

Полтора года спустя после командировки в Германию Л. А. Арцимович был избран в члены-корреспонденты АН СССР по специальности «физика». В следующее десятилетие он работал по закрытой тематике, был допущен даже для беседы к самому вождю всех народов⁴² и к его сателлиту Берии⁴³. Как видно из недавно опубликованного постановления (1949 г.), что когда было принято решение об увеличении штата охраны МГБ СССР, то в списке тех, у кого должны были быть «соглядатаи» (их ещё называли «духами», а иногда помощниками или секретарями),

Plener U., Mussienko N. (Hrsg.). Verurteilt zur Hoehchststrafe: Tod durch Erschiessen. Todesopfer aus Deutschland und deutscher Nationalitaet im Grossen Terror in der Sowietunion 1937/1938. Brl., 2006. (Max Levien).

⁴¹ Национальный Архив Республики Татарстан. Ф. 624. Оп. 1. Св. 15. Л. 342-343 об.

В 1990-е гг. я обращалась в ФСБ Татарстана по поводу этого «дела», но мне было сказано, что оно уничтожено как оставшееся «без последствий»; Чародей эксперимента... С. 215.

⁴² Атомный проект СССР. М., 2005. Т. 2, кн. 6. С. 224; На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записи лиц, принятых И. В. Сталиным. (1924-1953). М., 2008. С. 479 (Л. А. Арцимович был записан на приём 9 января 1947 г., 19.15-22.10).

⁴³ Важнов М. Я. А. П. Завенягин: страницы жизни. М., 2002. С. 67; Иоффе Б. Особо секретное задание // Сибирский физический журнал. 1995, № 5, Новый мир. 1999, № 5.

значился и Л. А. Арцимович⁴⁴. В период времени 1947-1956 гг. у него не было ни одной открытой публикации⁴⁵. В Архиве Российского научного центра «Курчатовский институт» хранятся, по крайней мере, три отчёта о магнитном термоядерном реакторе (1951-1953 гг.)⁴⁶.

У Е. К. Завойского также не было открытых публикаций за 1947-1955 гг. Его отчёты, вероятно, хранит архив Сарова (КБ-11)⁴⁷. А «соглядатаи» ему не статусу не полагались.

«Я ПОПАЛ В ЭТОТ ОМУТ, КАК КУР ВО ЩИ»

Назвать моего отца целиком и полностью интегрированным в социально-политическую систему государства, скорее всего, было бы неверным, в то время как в научную он, безусловно, был погружён. Незадолго до его кончины я задала отцу вопрос о его участии в работе над атомной бомбой. «Как ты мог?..» – спросила я. Он остро посмотрел на меня и ответил: «Я всю жизнь ждал от тебя этого вопроса. Могу сказать тебе только одно: я попал в этот омут, как кур во щи». Из ответа можно понять, что он дал согласие перевестись из Казанского университета на работу в Москву, к Курчатову, не догадываясь, чем конкретно он будет заниматься. Конечно, из первых же бесед с И. В. Курчатовым и Ю. Б. Харитоновым будущая работа начала принимать чёткие очертания, но отступить было уже слишком поздно. Недаром в воспоминаниях он написал: «Думаю, Игорь Васильевич (Курчатов. – Н. З.) удружил! Идея компромисса: надо и нам во что бы то ни стало иметь оружие, поэтому – за работу! Всё это было принять очень трудно, но когда принял – стало легче, и работа пошла без счёта часов и пощады здоровью»⁴⁸.

НАЧАЛО

Отработавший в 1947-1951 гг. в КБ-11 Е. К. Завойский вернулся в Лабораторию № 2 (уже называвшуюся Лабораторией измерительных приборов Академии наук, сокращённо ЛИПАН), к И. В. Курчатову, где он и предполагал работать с момента отъезда

⁴⁴ Некрасов В. Ф. НКВД-МВД и атом. М., 2007. С. 214.

⁴⁵ Арцимович Л. А. Избранные труды. Атомная физика и физика плазмы. М., 1978. С. 294.

⁴⁶ Архив РНЦ «Курчатовский институт». Фонд И. В. Курчатова.

⁴⁷ В архиве отца сохранился список отчётов. Приведу его.

Возможно, это когда-нибудь пригодится историкам: 14/в 48 г.; 67/оп 49 г.; 88/оп; 90/оп; 91/оп; 105/оп; 126/оп; 168/оп; 203/оп; 213/оп; 125/СС 1950 г.; 680/з дело 22.

⁴⁸ Чародей эксперимента... С. 222.

из Казани, однако начальство решило прежде испытать его саровским затворничеством⁴⁹.

Так, с осени 1951 г. будущие академики оказались сотрудниками одного и того же научного учреждения и в течение двадцати лет работали в нём, а также взаимодействовали в Отделении общей физики и астрономии Академии наук СССР. Евгений Константинович покинул Институт в конце 1971 г. (об этом позже). Лев Андреевич оставался здесь до своей кончины (т. е. до 1 марта 1973 г.). В течение этого времени Лев Андреевич занимался проблемой термоядерного синтеза, а Евгений Константинович после перевода из Сарова был занят разработкой метода получения пучков поляризованных ядер и их источниками для ускорителей. В связи с этим он был откомандирован на несколько месяцев в Дубну⁵⁰, где с сотрудниками (Б. П. Адыясевицем, С. Т. Беляевым и Ю. П. Полуниним) проводил исследования. По возвращении из Дубны и до конца 1957 г. он занимался электронно-оптическими преобразователями, что ему было знакомо ещё по работе в Сарове, а с конца 1957 г. был «переброшен» И. В. Курчатовым на новую тематику. Вот с того времени оба, и Арцимович, и Завойский занимались управляемым термоядерным синтезом, или в просторечии – термоядом.

ЖЕРТВЫ СТАЛИНСКОГО ТЕРРОРА

В марте 1953 г. умер Сталин. В страшные годы его правления наш клан Завойских потерял пять человек. Первой жертвой сталинского террора на Украине пал муж старшей сестры Евгения Константиновича П. И. Харитонов, специалист по производству азотной кислоты⁵¹. Он был обвинен во

⁴⁹ Смирнов Ю. Н. Евгений Константинович Завойский – участник советского атомного проекта. Препринт РНЦ «Курчатовский институт». 2009.

⁵⁰ В Дубне в то время шли строительные работы по сооружению ускорителя, на которых использовался труд заключённых. Я сама однажды видела, как военные вели большую группу людей, одетых в серые ватники, слышала крики конвоя и лай немецких овчарок. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Отец мой видел и не такое во время своего пребывания в Сарове. Он, видимо, с тех пор терпеть не мог овчарок, хотя к собакам относился дружелюбно. А у Льва Андреевича была большая немецкая овчарка по кличке Нелька.

⁵¹ Павел Иванович Харитонов был осуждён по ст. 54-10, 54-11 УК Украинской ССР.

вредительстве, осуждён и сослан на восемь лет в исправительно-трудовой лагерь в посёлок Хатыннах Магаданской области, где и погиб от истощения. Второй жертвой стал его брат Борис, работавший инженером также на Украине⁵². 5 ноября 1937 г. он был арестован, обвинён в участии в антисоветском военно-фашистском заговоре и 26 декабря расстрелян. Конечно, эти сведения по «закрытым» каналам НКВД тут же поступили на Чёрное озеро (казанскую Лубянку). Отец мой подал заявление об уходе из университета. Но начальство⁵³ его не отпустило, так как на факультете он тянул основную работу. Третьей жертвой, слава богу, выжившей, стала жена Бориса, которую «загребли» прямо в приёмной НКВД, куда она пришла выяснить, где её муж⁵⁴. Ей сходу «припаяли» недоносительство о его «контрреволюционной деятельности» и отправили, в чём была, в тюрьму. В опустевшем доме остался девятилетний сынишка, которому грозила отправка в детский дом. Но этого не случилось: его усыновил младший брат моего отца Вячеслав. О двух других жертвах сталинского террора я узнала уже в годы Перестройки: это была вятская родня Завойских – священник А. П. Катаев⁵⁵ и художник-учитель черчения В. И. Котелов⁵⁶. В хрущёвское и ельцинское время все пятеро как незаконно репрессированные были реабилитированы.

⁵² Завойский Борис Константинович был осуждён по ст. 54-1Б, 54-8, 54-11 УК Украинской ССР и расстрелян «инструктором по спецработе».

⁵³ С сентября 1937 г. в Казанском университете начал хозяйничать ректор К. П. Ситников, родственник всесильного тогда С. В. Кафтанова, председателя Комитета по делам высшей школы. Он так рьяно принялся за дело, что даже был раскритикован газетой «Правдой» (Окулов Г. Перехват-залихватские в Казанском университете. // Правда. 1938, 28 августа).

⁵⁴ Завойская Людмила Андреевна была обвинена как член семьи изменника Родины к 8 годам исправительно-трудовых лагерей по ст. 54-12 УК Украинской ССР и отсидела их сполна.

⁵⁵ Катаев Александр Павлович, священник в г. Слободской, муж тётки Е. К. Завойского. Осуждён по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР. Погиб либо «в местах заключения Кировской области», как ответили на мой запрос из ФСБ г. Киров, либо, по свидетельству жителя г. Слободского, в лагере Медвежьегорска.

⁵⁶ Котелов Владимир Иванович, муж троюродной сестры Е. К. Завойского. В его деле оказался по явному недосмотру донос школьной сослуживицы. В других просмотренных мной делах ни одного доноса не было.

Но разве от этого кому-то стало легче? Самих страдальцев уже не вернёшь и судьбы семей не поправишь. Страдальцами второй очереди оказались их дети. Они выросли без отцов, с незаживающим сталинским клеймом на судьбе. Так что, когда сейчас я слышу об «успешном менеджере» Сталине, у меня холодеет душа.

Изредка я слышу вопрос: «А за что они были репрессированы?», на который всегда отвечаю одно и то же: «Ни за что!» И даже сейчас, в XXI веке, слышу: «Такого не бывает!» Бывает! «Вина» художника В. И. Котелова состояла в том, что ему, приехавшему в северную столицу, захотелось на набережной сделать зарисовку понравившегося вида. Он был тут же арестован: оказалось, что за его спиной был особняк всемогущего временщика Жданова. В семье химика П. И. Харитонова при гостях рассказали какой-то анекдот, и в тот же вечер хозяин дома был арестован. Брат моего отца Борис, работая на строительстве моста в Киеве, отказался принять несъедобный обед для своей бригады. И вот за эти «грехи» уголовные статьи с пытками, мучениями и расстрелами?

При зачислении в такую секретную лабораторию, какой была курчатовская Лаборатория № 2, а тем более в КБ-11, наличие репрессированных родственников не считалось препятствием, чтобы не быть принятым на работу. Такие «тёмные пятна» были в биографиях многих физиков (напр., Л. А. Арцимович, Е. Н. Бабулевич, И. Е. Тамм, Ю. Б. Харитон и др.). Отчеству нужны были их мозги. Уже в годы Перестройки, когда я рассказала секретарю А. П. Александрова о репрессированном брате Евгения Константиновича, последовала неожиданная для меня реакция: «А мы об этом не знали».

После смерти Сталина сменившие его правители вынуждены были хотя бы частично отречься «от старого мира». Доклад Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС «О культуре личности и его последствиях» (1956 г.) произвёл потрясающий эффект как у нас в стране, так и во всём мире. Это время получило название «хрущёвской оттепели», которую М. Шолохов (тогда ещё не нобелевский лауреат) тут же цинично назвал «слякотью»⁵⁷.

На всю жизнь запомнился урок, преподанный мне отцом и тётёй. Моё поколение росло под мощными потоками славословия «вождю и учителю». Родители же во имя спасения жизни семьи вынуждены были хранить молчание. На мой глупый вопрос: «Чем же так плох Сталин?» мне было сказано, что отцы моих

⁵⁷ Рубашкин А. Ждановщина // Звезда. 2006, № 8.

двоюродных братьев и сестры были безвинно репрессированы, замучены и погибли в сталинских застенках. Что таких людей в нашей стране миллионы.

ИЗБРАНИЕ В АКАДЕМИЮ НАУК

В 1953 г. Е. К. Завойский был избран в члены-корреспонденты АН СССР (Л. А. Арцимович тогда же – в действительные её члены). В этом Евгению Константиновичу «помогла» Нобелевская премия, присуждённая американцам Э. М. Пёрселлу и Ф. Блоху (1952 г.) за открытие ядерного магнитного резонанса (ЯМР), того самого, что уже был наблюден Е. К. Завойским в военной Казани⁵⁸. Конечно, были учтены и его заслуги в создании атомной бомбы.

С 1953 г. Л. А. Арцимович начал свою преподавательскую деятельность в Московском государственном университете. Вместе с ним туда пришли физики, только что совершившие свои подвиги на поприще обороны страны. Об этом написано достаточно много. Что касается моего отца, то он также был рекомендован в преподаватели МГУ, но предложения не принял. За его плечами были 14 лет работы со студентами в Казанском университете (1933-1947). На эти тяжелейшие годы пришлось становление современного физического факультета в Казани, чему Завойский всесильно способствовал. Незадолго до отъезда на работу к И. В. Курчатову он был утверждён в звании профессора. Видимо, в дальнейшем, после возвращения из Сарова в Москву к преподавательской работе его столь сильно уже не влекло, но работу с аспирантами в ИАЭ он вёл в течение многих лет⁵⁹. Помню, что слышала от него, что, чтобы быть преподавателем вуза, надо только этим и заниматься.

ПЕРВАЯ ЖЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

8-20 августа 1955 г. состоялась первая Международная Женевская научно-техническая конференция по мирному использованию атомной энергии, ставшая важной вехой в истории человечества и, в частности, в международном сотрудничестве

⁵⁸ Завойская Н. Е. История одного открытия ... С. 97.

⁵⁹ Приказ об организации аспирантуры был подписан И. В. Курчатовым 6 апреля 1954 г. Руководство было возложено на академика С. Л. Соболева. Председателем аспирантской комиссии был назначен Е. К. Завойский // Стриганов А. Р. Краткая история развития ИАЭ им. И. В. Курчатова и работа партийной организации за период с 1944 по 1960 год. Москва, 1990. С. 88.

учёных⁶⁰. 73 страны мира прислали около 1400 делегатов и примерно столько же наблюдателей. Из представленных 1067 научных работ были зачитаны и обсуждены 450. Такого грандиозного форума наука до той поры, пожалуй, и не знала. Советская делегация состояла из 67 человек, 12 из которых были сотрудниками ЛИПАН. Ни Арцимович, ни Завойский в этот состав не вошли⁶¹.

После смерти Сталина прошли только два с половиной года. Пришедшие ему на смену Н. С. Хрущёв и Н. А. Булганин, выходцы из того же сталинского гнезда, осознавали, что пришла пора отказаться от полной герметичности страны. «Советский Союз, – писал в своём приветствии к участникам конференции Булганин, – придавая большое значение развитию широкого международного сотрудничества в области использования великих научных открытий нашего времени, не для целей войны и разрушения, а для созидательных целей, на благо человечества, для повышения благосостояния и уровня жизни народов, приветствует Международную научно-техническую конференцию по обмену знаниями и опытом в области мирного использования атомной энергии».

Председатель конференции индийский учёный Хоми Баба произнёс речь, которая являлась обоснованием причин созыва столь значимой конференции: в связи с ростом народонаселения планеты обострялась проблема истощения природных энергетических ресурсов. Использование энергии атомного ядра должно было стать выходом из прогнозирувавшейся ситуации.

Десятилетие спустя профессор Колумбийского университета В. В. Хэвенс писал: «На Женевской конференции 1955 г. была открыта масса информации по атомной энергии... Женевская конференция «Атомы для мира» была начата с большой помпой и освещением в печати. Газетные статьи представляли атомную энергию как панацею от всех социальных недугов: она будет давать дешёвую электроэнергию; океаны будут опреснены и их воды будут направлены в пустыни для орошения; с очень дешёвой электроэнергией большая часть несельскохозяйственных стран станет успешной в сельском хозяйстве; у наций не будет больше причин вести войны, так как все будут иметь всё. Таким образом, развитие атомной энергии рассматривалось как ведущее к

⁶⁰ Международное научное сотрудничество по мирному использованию атомной энергии. // Вестник АН СССР. 1955, № 9. С. 47-61.

⁶¹ Стриганов А. Р. Краткая история... С. 54.

раю на земле»⁶².

ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИКАЦИИ Е.К.ЗАВОЙСКОГО

Первая открытая публикация Е.К. Завойского после его возвращения из Сарова относится к 1955 г. В середине октября 1954 г. в журнал «Доклады АН СССР» поступила его статья «Люминесцентная камера» (в соавторстве с Г. Е. Смолкиным, А. Г. Плаховым и М. М. Бутсловым)⁶³. За ней последовала вторая «Об изучении сверхбыстрых световых процессов» (в соавторстве с С. Д. Фанченко)⁶⁴.

Этой тематикой Евгений Константинович занимался ещё во время пребывания в секретном Сарове, но в первой из статей начало работ было отнесено к 1952 г., чтобы «непосвящённые» иностранцы не воспринимали эти работы как продолжение засекреченных. Позднее, составляя список основных направлений своих работ, он писал, что люминесцентной камерой занимался в 1950 г.⁶⁵

За границей внимательно следили за публикациями в советских журналах⁶⁶ (равно как и у нас за иностранными), и уже в майском номере журнала «Scientific American» появилась статья «Советская ядерная физика», в которой сравнивались достижения американских и советских физиков. «Наиболее удивительной новостью, содержащейся в статьях, – говорилось в ней, – является описание твёрдого детектора треков частиц. Частицы оставляют след в сцинтиллирующих кристаллах. Сцинтиляционные счётчики, вообще, используются в США, но они регистрируют каждое прохождение частицы просто как отдельную вспышку света. Советские физики так развили усилительную систему, что

⁶² Havens W. W., Jr. Nuclear Research as a Source of Technology // Physics today. 1968. Vol. 21, no. 9. P. 49-50.

⁶³ Доклады АН СССР. 1955. Т. 100, вып. 4. С. 241-242. Интересно отметить, что у обоих академиков не было публикаций в престижном журнале «The Physical Review». Шло международное «соревнование»: кто кого опередит в научных достижениях, СССР-США или наоборот. Обе страны вынуждены были организовать свои переводческие коллективы.

⁶⁴ Доклады АН СССР. 1955. Т. 100, вып. 4. С. 661-663.

⁶⁵ Личный архив Е. К. Завойского.

⁶⁶ С 1955 г. Американский физический институт при поддержке Национального научного фонда приступил к программе перевода советских научных журналов, и к 1959 г. на английский язык переводились 9 советских журналов.

она работает достаточно быстро для того, чтобы проследить за следующими друг за другом вспышками, образующимися при пролёте частицы через кристалл йодистого цезия...

Поскольку они (эти работы. – Н. З.) не имеют отношения к вооружениям, то тот факт, что они опубликованы только теперь, говорит о том, что советская секретность глубже, чем в США, отметил Р. Сербер»⁶⁷.

Написанные Е. К. Завойским ещё в Казани статьи, относившиеся к прежней тематике – ЭПР, успели попасть за границу: они были напечатаны на английском языке в советском журнале «Journal of Physics USSR»⁶⁸, но для американцев они остались как бы неизвестными⁶⁹. Поэтому скромная статья в «Scientific American» с высокой оценкой его достижений Евгению Константиновичу была приятна (пусть даже его имя там и не было названо).

Вслед за публикациями и откликами в прессе Завойскому начали писать письма зарубежные специалисты, жаждавшие информации и даже приобретения его прибора. Письма никогда не приходили непосредственно на домашний адрес. Они приходили в ФИАН, в АН СССР, в ОИЯИ (Дубна) и даже в КГУ. Отец не имел права вести частную переписку ни с одним зарубежным лицом. Всё это шло через органы «режима» ИАЭ или АН ССР.

Сотрудник Технологического института Карнеги (Питтсбург, штат Пенсильвания, США) Р. Т. Зигель писал: «Надеемся, что Вы напишете нам о деталях Вашего прибора согласно духу свободного обмена научной информацией, которого так жаждали все учёные и который так реально проявился на конференциях в Женеве, Рочестере и в Москве»⁷⁰. И, о чудо! Евгению Константиновичу было разрешено послать свой отклик жаждавшему информации Р. Т. Зигелю. И не только Зигелю.

АКАДЕМИК И. В. КУРЧАТОВ В ХАРУЭЛЛЕ

В апреле 1956 г. в Англию на борту новейшего тогда крейсера «Орджоникидзе» отправилась партийно-правительственная делегация во главе с председателем Совета Министров Н. А. Булганиным и членом Президиума Верховного Совета СССР Н. С. Хрущёвым. И снова чудо! В эту делегацию

⁶⁷ Scientific American. 1955. Vol. 192, no. 5. P. 51-52.

⁶⁸ Journal of Physics USSR. 1945. Vol. 9, no. 3. P. 245; там же, 1945. Vol. 9, no. 5. P. 447-448.

⁶⁹ Завойская Н. Е. История одного открытия ... С. 21, 24.

⁷⁰ Личный архив Е. К. Завойского.

вошёл глава советских атомных работ, сверхсведомленный, сверхсекретный академик И. В. Курчатов. «С разрешения Советского правительства»⁷¹ в Научно-исследовательском центре по атомной энергии в Харуэлле ему предстояло сделать два доклада, которые должны были произвести эффект бомбы в западном мире.



Академик И.В. Курчатов

Так случилось, что этот заграничный визит академика И. В. Курчатова был первым. Как писал А. Ф. Иоффе, что, несмотря на имевшиеся до войны возможности поехать поработать в лучших лабораториях Европы, Игорь Васильевич ими не воспользовался, ссылаясь на то, что у него начат интересный эксперимент⁷². Его визит в Харуэлл оказался и первым, и, увы, последним.

Появление русского богатыря-бородача производило на британцев невероятное впечатление: по свидетельству сотрудника Е. К. Завойского, Евгения Владимировича Пискарёва (его детство и юные годы прошли в США, и он свободно владел английским языком), Курчатова узнавали и приветствовали на улицах во время его прогулок по улицам вечернего Лондона⁷³.

⁷¹ Курчатов И. В. Речь на XXI съезде КПСС 3 февраля 1959 г. // Курчатов И. В.. Ядерную энергию – на благо человечества. М., 1978. С. 363.

⁷² Иоффе А. Ф. И. В. Курчатов – исследователь диэлектриков // УФН. Т. LXXXIII, вып. 3. С. 614.

⁷³ Устное сообщение Е. В. Пискарева (1999 г.). Е. В. Пискарев был личным переводчиком И. В. Курчатова. Он же перевёл книгу А. С. Бишоп «Проект Шервуд. Программа США по управляемому

Доклады, которые И. В. Курчатов прочитал в Харуэлле⁷⁴, были восприняты в западном мире как блестящие. Но звучали и другие, недоверчивые голоса⁷⁵.

Доклады И. В. Курчатова были подготовлены при непосредственном участии Л. А. Арцимовича (и на его материале), а также других сотрудников Лаборатории № 2⁷⁶. Имена академиков Арцимовича и Леонтовича, произнесённые Курчатовым, прозвучали на весь научный мир. Это сразу же выдвинуло и того, и другого в ряды советских публичных, доверенных лиц. Кроме того, в результате этого исторического визита были чётко обозначены те лица, с которыми советская сторона хотела бы иметь дело. Таким лицом стал, прежде всего, Джон Д. Кокрофт, лауреат Нобелевской премии, основатель и первый директор Харуэлла, сотрудничавший ещё в 20-е годы в П. Л. Капицей в Кавэндишской лаборатории.

В связи с посещением лаборатории Л. А. Арцимовича Джоном Кокрофтом⁷⁷ добавлю совсем маленький эпизод, рассказанный мне Ю. С. Макаровым, сотрудником ИАЭ, который был в то время дипломником⁷⁸. Арцимович осведомился у Кокрофта, с чем бы он хотел ознакомиться. Тот ответил, что хотел бы услышать о новых идеях и о технике эксперимента. Однако проводившиеся работы были закрытые, с разными грифами секретности. Тут вспомнили о недавно сделанной дипломной работе Ю. С. Макарова, который впервые получил спектры быстрых нейтронов при зет-пинче. Работа была уже полностью оформлена и имела приличный вид, но лежала она в 1-ом (т. е. секретном) отделе. Лев Андреевич в обход режимных правил распорядился принести её и показать Кокрофту. Сотрудник Л. А. Арцимовича и руководитель дипломной работы Б. Г. Брежнев

термоядерному синтезу. Отчёт об исследованиях по управляемым термоядерным реакциям, проведенных Комиссией по атомной энергии США за период 1951-1958 гг.». М., 1960. Книга вышла под общей редакцией академика Л. А. Арцимовича.

⁷⁴ Курчатов И. В. Некоторые вопросы развития атомной энергетики // Атомная энергия. 1956. Т. 1, № 3. С. 5-10; О возможности создания термоядерных реакций в газовом разряде // Там же. С. 36-43, 123.

⁷⁵ Nucleonics. 1956. Vol. 14, no. 1. P. 36-43, 123.

⁷⁶ Стриганов А. Р. Краткая история... С. 58.

⁷⁷ Notes on Visit to USSR by Sir John Cocroft and R. S. Pease – The National Archives. CSAC.72.2.80/B.24. Dezember 1958.

⁷⁸ Устное сообщение. 01.01. 2010 г.

доставил её Кокрофту, и минут двадцать объяснял ему ход исследования. Своему дипломнику он потом сказал, что тот может гордиться: его работу держал в руках сам глава атомных работ Великобритании.

ВСЕ ФЛАГИ БУДУТ В ГОСТИ К НАМ

Не прошло и месяца, как в Москве состоялась Международная конференция по физике высоких энергий, на которую прибыли в том числе два будущих Нобелевских лауреата Л. Альварец и Э. Сегре. Оба они были известны у нас в стране как участники Манхэттенского проекта, результат которого проявился во взрывах атомных бомб над японскими городами Хиросимой и Нагасаки. Луис Альварец вёл дневниковые записи, которые по возвращении его в США были опубликованы в научно-популярном журнале «Physics today».

Приведу отрывок из записей Альвареца⁷⁹, касающийся ЛИПАН и Л. А. Арцимовича: «23 мая 1956 г. Среда, утро. Московский физический институт (так для иностранцев решили именовать ЛИПАН. – Н. З.). Арцимович приветствует нас в конференц-зале. На стене за его спиной висят три больших портрета: Маркс, в центре – неизвестный мне мужчина (Энгельс.– Н. З.) и Ленин. Интересно, когда они убрали Сталина и когда нашли ему замену? У них есть полутораметровый циклотрон, реактор, сепаратор для разделения изотопов (электромагнитный метод), а также у них есть новые методы для ускорения частиц. Сегре спросил, сможем ли мы познакомиться с работой по газовому разряду, о которой говорил Курчатов в Харуэлле. Арцимович ответил, что он может об этом рассказать, но показать не сможет. Мы довольно долго ходили возле установок (большая часть работ засекречена, так что мы осмотрели только небольшую часть лаборатории). Когда я уже хотел идти к автобусу, академик Арцимович пригласил меня к себе домой на ланч. Из иностранцев были Пайерлс, Сегре и Пайкэванс. За столом нас было двенадцать человек, включая жену Арцимовича (Марию Николаевну Флёрову. – Н.З.) Они живут в трехэтажном оштукатуренном доме. Вероятно, это стандартные дома для советских учёных высокого ранга. Жена Арцимовича читает английские романы в подлиннике. Но у неё нет большой разговорной практики. Она дважды прочитала «Унесённые ветром». У неё в библиотеке множество английских и американских детективных романов... Наш праздничный ланч

⁷⁹ Луис Альварец был очевидцем испытания американской атомной бомбы.

длился три с половиной часа вместо обычных двух с половиной, и мы прямо оттуда отправились на заключительный банкет.

Московский физический институт находится на западной окраине города, а все другие московские лаборатории расположены недалеко от университета, на юго-западе. Институт возглавляется академиком Арцимовичем и академиком Курчатовым, который сделал замечательный доклад по контролируемым термоядерным реакциям в Харуэлле (Англия), во время визита Булганина и Хрущёва в Англию. Он болен и не смог присутствовать»⁸⁰.

Прорыв в контактах советских физиков с иностранными учёными, безусловно, был заслугой И. В. Курчатова. Поражают темпы, с которыми шёл этот процесс. Курчатов понимал, что нельзя упускать ни минуты, что надо действовать, закрепляя связи с зарубежными институтами, лабораториями и отдельными учеными. Надо было организовывать международные конференции, выставки достижений, надо приглашать видных иностранных учёных и предоставлять возможность своим выезжать за рубеж. Говорить о полной открытости не приходилось: всегда было и есть, и будет то, что страны хотят утаить от своих соседей.

С 1956 г. значительно выросло число иностранных членов Академии наук СССР. Только в 1958 г. их стало на 10 человек больше. Были приняты в их число: Х. Альфвен и М. Сигбан (Швеция), Э. Амальди (Италия), Л. де Бройль и Л. Неель (Франция)⁸¹, Дж. Д. Бернал и С. Ф. Пауэлл (Англия), Г. Герц (ГДР, отработавший в СССР около десяти лет), П. Савич (Югославия), С. Кая (Япония) и Г. Наджаков (Болгария)⁸².

⁸⁰ Alvarez L. W. Further Exerpts from a Russian Diary // Physics Today. 1957. Vol. 10, no. 6. P. 25-26. У И. В. Курчатова тогда был первый инсульт // Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове. М., 1988. С. 464.

В своей книге (A mind always in motion. The autobiography of Emilio Segre. Berkley-Los Alamos-Oxford. 1993. P. 261-263) Э. Серге не упомянул о визите к Л. А. Арцимовичу, однако заметил, что во время их визита многие двери в советских лабораториях были опечатаны.

⁸¹ Л. Неель в 1958 г. номинировал Е. К. Завойского на Нобелевскую премию по физике. Сведения получены от А. М. Блоха.

⁸² Академия наук СССР. Справочник на 1959 г. С. 154-164. В то же время советские физики стали членами иностранных академий наук, обществ и союзов (напр. Л. Д. Ландау, М. А. Леонтович, А. Б.

ВТОРОЙ ВИЗИТ Л.А. АРЦИМОВИЧА ЗА РУБЕЖ

27 июля – 1 августа 1956 г. Л. А. Арцимович по приглашению Х. Альфена (который после визита И. В. Курчатова в Харуэлл успел побывать в Институте атомной энергии) присутствовал на VI Международном астрофизическом симпозиуме в Стокгольме и выступил с докладом «Исследования импульсных разрядов в связи с возможностью контролируемых термоядерных реакций»⁸³. Благодаря новым идеям Альфена Стокгольм стал своеобразной Меккой для специалистов по космической физике и проводящим газам. Для докладов советской делегации были выделены два дня, когда астрономический симпозиум, собственно говоря, уже закончился. От СССР в Стокгольм вместе с Л. А. Арцимовичем, руководителем группы, прибыли И. Н. Головин, А. Я. Киппер, Э. Р. Мустель, А. Б. Северный, Я. П. Терлецкий. Самой большой была делегация Англии (22 человека), за ней шли Швеция и США (18 и 15 человек соответственно). На симпозиум прибыли специалисты из 15 стран мира. Среди них были Р. С. Пиз, О. Бунеман, П. Тонеманн, Г. В. Бэбкок, Л. Бирман, А. Шлютер. Если астрономы обсуждали проблемы магнитогидродинамики со своей, «внеземной», точки зрения, то доклады физиков СССР были напрямую связаны с «наземной» физикой плазмы.

В трудах симпозиума советские доклады были опубликованы на немецком языке, а все остальные – на английском. В то время последний не был «в моде» у нас в стране, а немецкий прижился ещё с XVIII века. Его подвергали остракизму во время Первой мировой и, конечно, во время Второй мировой войн. Оба докладчика, Л.А. Арцимович и И. Н. Головин, владели немецким языком свободно.

В заключение своего доклада Л. А. Арцимович сказал: «Мы проверили некоторые результаты исследований мощных импульсных разрядов. Самый важный из этих результатов – это подтверждение экспериментальной возможности получения очень высоких температур – порядка миллиона градусов. Дальнейшее повышение температуры возможно только благодаря переходу к ещё более высокой скорости подъёма тока при разряде... При достаточно большой скорости подъёма тока можно рассчитывать на возникновение интенсивных термоядерных реакций в момент

Северный, Д. И. Скобельцын, В. А. Фок).

⁸³ International Astronomical Union. Symposium № 6. Electromagnetic Phenomena in Cosmical Physics. Ed. by V. Lehnert. Cambridge. 1958. P. 452-463.

первого сжатия. Практические перспективы дальнейшей работы в этом направлении зависят в целом оттого, удастся ли создать такие предпосылки, при которых плазменный шнур при увеличении тока выдержит множественные колебания, не распавшись или не касаясь стенок... При рассмотрении проблемы в целом нужно заметить, что путь через кратковременное повышение температуры плазмы при коротком импульсном разряде представляет собой только одно из очень многих направлений, по которым можно пойти в решении задачи по осуществлению контролируемых термоядерных реакций»⁸⁴.

А вот что спустя много лет писал участник того стокгольмского симпозиума В. Бостик, имя которого связано в науке с плазмонами: «В последний день симпозиума (это была суббота) состоялось неожиданное выступление некоторых членов русской делегации. Головин и Арцимович доложили о своих успехах в области контролируемых термоядерных исследований... Они представили работу по пинчам с осевым магнитным полем. Эффектное выступление русских по УТС уже было сделано в апреле 1956 г., но США всё ещё медлили с публикацией своей секретной информации по УТС»⁸⁵.

ЛЕНИНСКАЯ ПРЕМИЯ – Е.К. ЗАВОЙСКОМУ

В ноябре того же 1956 г. в Комитет по Ленинским премиям по науке и технике поступили представления на соискание Ленинской премии Завойского за работы по открытию и изучению ЭПР от следующих организаций: от Учёного совета Института физических проблем (за подписью директора П. Л. Капицы и учёного секретаря А. А. Абрикосова, будущих Нобелевских лауреатов); от Учёного совета ЛИПАН (за подписью зам. директора А. П. Александрова и учёного секретаря С. А. Баранова); от Учёного совета Казанского университета (за подписью ректора М. Т. Нужи́на и учёного секретаря Л. П. Соколова); от Президиума Казанского филиала Академии наук (за подписью профессора Л. М. Миропольского и учёного секретаря К. В. Никонорова)⁸⁶.

Ленинские премии возобновлялись после длительного перерыва в связи с 40-летней годовщиной Октябрьской революции

⁸⁴Electromagnetic Phenomena in Cosmical Physics. International Astrophysical Union. Symposium № 6. Ed. By V. Lehnert. Cambridge, 1958. P. 463.

⁸⁵ IEEE Transactions on Plasma Science. 1989. Vol. 17, no. 2. P.71.

⁸⁶ Чародей эксперимента ... С. 139.

(в то время эти годовщины были «верстовыми столбами» в истории страны). О высокой оценке работы Е.К. Завойского на государственном уровне свидетельствует то, что список лауреатов, опубликованный в центральных, а затем во всех остальных газетах в день рождения вождя революции, начинался с Завойского, и он «за открытие и изучение парамагнитного резонанса» премиривался один, без коллектива⁸⁷.

Как недавно отметил профессор А.А. Рухадзе, открытие Е.К. Завойского, не имевшее прямого отношения к тематике ИАЭ, а, следовательно, и к атомному проекту, было всё же выдвинуто на Ленинскую премию, и этой премии Евгений Константинович был удостоен. А я замечу, что именно потому, что ЭПР не имел никакого отношения к тематике ИАЭ, Завойский и был удостоен премии: ведь будь это «атомная» тематика, надо было бы её как-то открыто, в печати обозначить. В тот же год Ленинской премии удостоен и академик И. В. Курчатов, но он шёл по закрытому списку, его имя в газетах даже не упоминалось.

К сожалению, мне не довелось увидеть те документы, которые инициировали вышеназванные представления. Но не просто же так они возникли все вместе и в одно время. Без сомнения, главными инициаторами выдвижения работ Завойского по ЭПР можно считать академиков И. В. Курчатова и П. Л. Капицу. В советское время было принято считать, что всё на свете «мы» сделали раньше всех и лучше всех. Но в конкретном случае с ЭПР Завойского это желание быть «впереди планеты всей» совпадало с объективным положением дел.

Можно было бы сказать, что путь к Ленинской премии для Е. К. Завойского был усыпан розами, вот только шипы были большими и ядовитыми: в связи со скандальной историей, разыгравшейся в марте 1957 г. по инициативе доктора физ.-мат. наук Я. Г. Дорфмана, обвинившего Завойского чуть ли не в плагиате его идеи 1923 г., многие члены Академии наук выступили в защиту выдвигавшегося на эту премию Е. К. Завойского⁸⁸. Среди них был и Л. А. Арцимович⁸⁹. Согласно стенограмме заседания секции физики Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники, он сказал: «работа Завойского представляет собой одно из самых выдающихся экспериментальных открытий, сделанных в нашей стране за последние пятнадцать лет. Когда мы говорим

⁸⁷ Правда. 1957, 22 апреля.

⁸⁸ Чародей эксперимента ... С. 148-151.

⁸⁹ Чародей эксперимента ... С. 153; РГАНТД. Ф. 180. Оп. 2. Д. 4. Л. 17, 18, 20.

«открытие» – это есть действительно открытие – это экспериментальное обнаружение нового явления, которое сыграло большую роль в науке – на нём основан целый ряд отраслей физики твёрдого тела. В этом смысле ни у одного из физиков не может быть сомнения, что первая работа, которая заслуживает присуждения Ленинской премии, является работа Завойского». И далее: «Мне совершенно ясно, что такая работа, как Завойского, представляет действительно открытие, очень крупное исследование, сделанное давно и разросшееся уже в целую область, несомненно, заслуживает присуждения Ленинской премии – по научному значению, по оригинальности и по длительной проверке её временем. Мне кажется, что следует учитывать, в какой степени эта работа дала свою отдачу физике. Поэтому работы 1956 года, как бы они не были блестящи, не стоит в этой связи рассматривать, так как настоящий отклик на них не поступал ещё и точного суждения не может быть. И поэтому работы 1956 года нужно вычеркнуть. А что касается работы Завойского, то тут нет сомнения, ... у Завойского настолько 100%-ная гарантийная вещь, и ему ничего не было присвоено. Завойский – бесспорная кандидатура, а остальные не тянут».

Среди множества телеграмм, полученных Евгением Константиновичем в связи с присуждением Ленинской премии особенно дорога была для него телеграмма от академика П. Л. Капицы: «Дорогой Евгений Константинович! Сердечно поздравляю с Ленинской премией, отмечающей Ваше крупное открытие, которое должно было бы получить официальное признание уже много лет назад. Желаю успехов в работе. Искренне Ваш Капица»⁹⁰.

Много лет спустя, когда стареющий Пётр Леонидович был-таки удостоен Нобелевской премии (1978 г.), моя мама поздравила его с этой высочайшей в науке наградой и получила от него телеграмму следующего содержания: «Дорогая Вера Константиновна, был очень тронут Вашими поздравлениями с Нобелевской премией. Всегда считал, что уж кто-кто должен был получить Нобелевскую премию, так это Евгений Константинович. Желаю Вам всего хорошего в Новом году. Ваш П. Капица».

ВЕНЕЦИЯ, ВЕНЕЦИЯ, КТО НЕ МЕЧТАЛ О НЕЙ

В июне 1957 г. Л.А. Арцимович побывал на Третьей Международной конференции по ионизационным явлениям в газах, проходившей в Венеции. Франция, Германия,

⁹⁰ Личный архив Е.К. Завойского.

Великобритания, Швеция, США и СССР представили на ней доклады по разным аспектам теоретических и экспериментальных программ в области УТС⁹¹. Один из её участников, тогда молодой человек, Арнульф Шлютер (Западная Германия), приехавший вместе с маститым астрофизиком Л. Бирманом, вспоминал позднее: «Что отличало эту конференцию от последовавших за ней, так это то, что в трёх странах, Великобритании, США и СССР, работы по УТС были закрытыми как секретные. Не столь секретные, как после замечательного визита Курчатова в Харуэлл, когда он приподнял завесу над советскими работами по синтезу, что после того визита также два других правительства придали гласности тот факт, что работы по синтезу ведутся и на хорошем уровне. Также было заявлено, что для осуществления синтеза высокотемпературная плазма должна быть заключена в магнитное поле. Однако каким должно было быть это поле, об этом не говорилось, а равно и о том, как можно достигнуть гигантских температур⁹²».

АКАДЕМИК-СЕКРЕТАРЬ

1957 г. принёс и Арцимовичу, и Завойскому много побед: первый был избран исполняющим обязанности академика-секретаря Отделения физико-математических наук (с 1960 г. – академик-секретарь) и таким образом занял в Академии наук один из влиятельных постов. «В какой-то степени академика-секретаря Отделения можно сравнить с министром, руководящим крупной отраслью промышленности, – писал академик А. М. Прохоров, сменивший в 1973 г. Арцимовича на этом посту. – От его объективности и широты научного кругозора зависит, насколько быстро найдут дорогу в жизнь новые идеи и открытия. В то же время академик-секретарь должен быть достаточно дальновидным, чтобы вовремя поддержать те направления, которые, хотя и не находят непосредственных практических применений и не сулят быстрых и лёгких успехов, играют решающую роль в процессе познания окружающего мира»⁹³.

Несколько в другом ракурсе характеризовал деятельность Л. А. Арцимовича в качестве академика-секретаря астроном член-

⁹¹ Бишоп С. Проект Шервуд. Программа США по управляемому термоядерному синтезу. М., 1960. С. 134.

⁹² Schlüter A. Fusion at Venice, Remembered 32 Years Later // Plasma Physics and Controlled Fusion. 1989. Vol. 31, no. 10. P. 1725.

⁹³ Прохоров А. М. Во главе Отделения // Воспоминания об академике Л.А. Арцимовиче. М., 1981. С. 69-70.

корреспондент АН СССР И. С. Шкловский: «Несколько сдала свои позиции мафия Института атомной энергии им. Курчатова, где долгие годы блистал наш покойный академик-секретарь Лев Андреевич Арцимович. Какие дела проворачивал! Ещё переть и переть до реального открытия термоядерного синтеза, а уже мы имеем трёх молодых академиков, из них один, кажется, вполне толковый. В наши дни сила этой мафии состоит в причастности к ней самого Президента и в наличии мощного филиала в соседнем ядерном отделении»⁹⁴.

Став quasi-министром в Академии наук, Лев Андреевич принял и дополнительные обязанности: в своих высказываниях на многочисленных академических и прочих собраниях он не должен был отклоняться от официальных позиций ЦК КПСС. Шаг в сторону – и тут же возникало письмо-донос. Примером может служить письмо заведующего Отделом науки, вузов и школ ЦК КПСС В.А. Кириллина от 10 января 1957 г, где он доводит до сведения ЦК, что Арцимович неточно процитировал Энгельса да «не так» выразился об отечественных философах⁹⁵.

Другим примером, что не всё шло гладко у академика-секретаря, может служить письмо инструктора Отдела науки, вузов и школ ЦК КПСС А. С. Монины (впоследствии академик, директор Института океанологии), который писал «куда следует», что «тов. Арцимович не оправдал оказанного ему доверия. По материалам КГБ, он допускает в своей среде резко антисоветские высказывания и выпады против руководителей партии и правительства». И далее: «Тов. Арцимович должен быть немедленно отстранён от руководящей организационной работы, и Президиуму АН СССР было рекомендовано подготовить избрание на пост академика-секретаря другого учёного. С тов. Курчатовым была достигнута договоренность, что он поставит вопрос об освобождении тов. Арцимовича от обязанностей академика-секретаря Отделения в целях усиления его научной работы в Институте атомной энергии»⁹⁶.

Что следует из этого письма? Во-первых, что отстранение Л. А. Арцимовича не состоялось, а во-вторых, что работы в ИАЭ продолжали находиться под недреманным оком «органов». И в-последних, что в коллективе академика (и не только у него) был

⁹⁴ Шкловский И. С. Эшелон // Химия и жизнь. 1988. № 9. С. 84-85.

⁹⁵ Блох А. М. Советский Союз в интерьере нобелевских премий. СПб., 2001. С. 346.

⁹⁶ Илизаров С. С. Академический июнь 1958-го // Московская правда. 1994, 19 июля.

свой штатный стукач.

По свидетельству И. Н. Головина, «И. В. Курчатов опасался, что Л. А. Арцимович, руководивший экспериментальными исследованиями по управляемому синтезу, со своим чувством собственного превосходства может нетактичным шагом затруднить налаживание международных контактов. Из-за этого он не пустил Арцимовича ни на Вторую международную конференцию по мирному использованию атомной энергии в Женеве 1958 г., ни в Англию весной 1959 г. в ответную поездку по приглашению сэра Джона Кокрофта»⁹⁷.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ЛУЖНИКАХ

Е.К. Завойский, находясь в статусе члена-корреспондента АН СССР, был полностью погружён в работу, одних научных статей за 1957 год у него было опубликовано шесть⁹⁸.

После присуждения Ленинской премии Е. К. Завойский должен был «отработать» эту награду: 1 июня 1957 г. его (беспартийного!) обязали выступить на митинге в Лужниках с приветствием по поводу возвращения Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова из поездки по странам Азии. Это было его единственным выступлением на таком многолюдном мероприятии.

Текст приветствия был «спущен» моему отцу «сверху». Ему вся эта затея совершенно не нравилась, а времени на «долбежку» заняла предостаточно: текст надо было прочитать, от него не отклоняться и точно уложиться в отпущенные для приветствия минуты, за которые отец мой должен был от своего лица выразить лояльность партии и правительству всей советской научной интеллигенции: «Замечательные результаты вашей поездки, – значилось в шпаргалке, – помогут, конечно, объединить сотрудничество между нашими учёными и учёными стран, которые вы посетили. Учёные и вся советская интеллигенция одобряют и целиком поддерживают политику компартии и советского правительства, направленную на дальнейшее

⁹⁷ Академик М. А. Леонтович. Ученый. Учитель. Гражданин. М., 2003. С. 251. В списке участников 2-ой Женевской конференции (Proc. of the Second United Nations Intern. Conf. on the Peaceful Uses of Atomic Energy. Geneva, 1958. Vol. 1. P. 506) Л. А. Арцимович не значится.

⁹⁸ Труфанова-Завойская В. К. и др. Е. К. Завойский. Материалы к биографии... С. 60.

процветание экономики и культуры нашей советской родины»⁹⁹.

28 сентября 1957 г. Евгению Константиновичу исполнилось пятьдесят лет, и, как было принято, он получил поздравление от и. о. академика-секретаря Отделения физико-математических наук Л. А. Арцимовича. Он и учёный секретарь А. Н. Лобачёв желали юбиляру «на долгие годы плодотворной научной деятельности на благо нашей родины»¹⁰⁰.

ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Хотя электронный парамагнитный резонанс на всю жизнь остался любимейшим детищем Евгения Константиновича, не забывал он и электронно-оптические преобразователи, над которыми работал ещё во время пребывания в КБ-11¹⁰¹. Работы по этой тематике он продолжил в ИАЭ. Его сподвижниками в этой области были А. Г. Плахов, Г. Е. Смолкин, С. Д. Фанченко и, конечно, М.М. Бутслов, с которым он познакомился ещё в Сарове. В течение многих лет Евгений Константинович был участником совещаний и семинаров по этой тематике.

12-15 ноября 1957 г. в Ленинграде состоялось X Всесоюзное совещание по научной фотографии¹⁰². Оно было посвящено одной из наиболее стремительно развивавшихся проблем фотокинетехники - высокоскоростной фотографии и кинематографии. К тому времени в СССР уже десять лет

⁹⁹ Moscow News. 1957, 1 June.

¹⁰⁰ Личный архив Е. К. Завойского.

¹⁰¹ Во время Отечественной войны, находясь еще в Казани, Е. К. Завойский разрабатывал прибор ночного видения.

В архиве Е. К. Завойского имеется конспект доклада (не датирован): «В 1949 г. была высказана идея отклонения изображения в ЭОПе системой, подобной осциллографической. Только небольшое число специалистов посчитало задачу разрешимой и в их числе М. М. Бутслов. Решению этой задачи энергично содействовал Василий Григорьевич Нырыков. В 1952 г. М. М. Бутслов разработал ЭОП-усилители света и был зарегистрирован минимальный сигнал – один электрон, вылетевший из входного фотокатода. В 1953 г. в ИАЭ были выполнены расчёты, которые показали, что принцип развёртки электронного изображения позволяет разрешить временные интервалы до 10^{-14} с.».

¹⁰² Ванюков М. П., Гороховский Ю. Н. Совещание по высокоскоростной фотографии и кинематографии // Успехи физических наук. 1958. Т. 64, № 4. С. 790-795.

существовала Комиссия по научной фотографии и кинематографии Академии наук, председателем которой был член-корреспондент К. В. Чиби́сов, и совещание было организовано этой комиссией совместно с Государственным оптическим институтом им. С. И. Вавилова. Высокоскоростная фотография, как в своё время появление микроскопа, революционно расширяла возможности наблюдения таких процессов, которые прежде оставались для человеческого глаза вне границ досягаемости. Развитие высокоскоростной фотографии и кинематографии сулило прогресс в изучении явлений атомной физики, аэродинамических и гидродинамических процессов, взрывов и разрушений материалов при ударных нагрузках, электрических разрядов в газах и других явлений, имеющих как военный, так и научный интерес. Совещание вызвало большой интерес со стороны множества отечественных организаций. На пленарном заседании вслед за вступительным словом академика А. А. Лебедева прозвучал доклад М. М. Бутсллова, который рассказал о разработанных им новинках – ЭОПах (ПИМ-3 и ПИМ-4). Второй доклад коллектива авторов, в число которых входил и Е. К. Завойский, был посвящён вопросу о предельном временном разрешении, был зачитан молодым сотрудником Евгения Константиновича С. Д. Фанченко.

Через год Е. К. Завойский стал «заочным» участником IV Международного конгресса по высокоскоростной фотографии, проходившего в западногерманском городе Кёльне с 22 по 27 сентября (1958 г.)¹⁰³. Конгресс собрал 350 специалистов из 17 стран мира. Ответственность за проведение заседаний взяло на себя Немецкое фотографическое общество. На этот конгресс был представлен доклад Е. К. Завойского с соавторами М. М. Бутслловым, А. Г. Плаховым, Г. Е. Смолкиным и С. Д. Фанченко «Электронно-оптический метод исследования быстропротекающих процессов».

На Западе о IV-м Международном конгрессе 1958 г. писали, что он был особенно интересен тем, так как на нём были представлены советские исследования по высокоскоростной фотографии. Никто не сомневался, что в СССР такие работы проводились в связи с ракетами, ядерным оружием и реакторами

¹⁰³ Kurzzeitphotographie: Bericht über den IV. Internationalen Kongress für Kurzzeitphotographie und Hochfrequenzkinematographie. Köln, 1958. Начало этим конгрессам было положено в 1952 г, затем они созывались каждые два года, т. е. в 1954 г. (Париж), 1956 г. (Лондон), 1958 г. (Кёльн), 1960 г. (Нью-Йорк), 1962 г. (Гарлем) и т. д.

ядерного синтеза. В Кёльне советские физики «представили новые приборы и привели в изумление западных коллег своими результатами»¹⁰⁴.

«К началу 50-х годов, – писал позднее специалист в этой области, сотрудник ФИАНа М. Я. Щелев, – высокоскоростная фотография оформилась в научное направление: в 1952 г. в Вашингтоне состоялся первый международный конгресс, организованный крупным немецким учёным профессором Г. Шардиным – основателем принципа многокадровой съёмки с импульсной подсветкой и Дж. Вэдделлом – известным американским специалистом в области оптико-механической фотографии и её применения»¹⁰⁵. Губерт Шардин ещё при национал-социалистах был известен как специалист высокого класса в области баллистики. Тогда он работал в Институте баллистики технической академии ВВС. После окончания Второй мировой войны он продолжил работы, находясь в местечке Сен-Луи, где в 1958 г. был официально организован немецко-французский исследовательский институт Сен-Луи. Американец Джон Х. Вэдделл был в 1950-х годах менеджером по промышленной и технической фотографии компании Воллензэк, куда он пришёл из Лабораторий Белл Телефон. Шардину и Вэдделлу было суждено стать основателями международных конгрессов по высокоскоростной фотографии, которые вот уже более полувека проводятся с периодичностью раз в два года.

А вот что писал в многотиражке ИАЭ участник работ по высокоскоростной фотографии С. Д. Фанченко¹⁰⁶, ученик Е. К. Завойского: «Этот вопрос (о возможности делать снимки с экспозицией миллионные, стомиллионные, миллиардные доли секунды. – Н. З.) остро встал перед техникой и физикой высокоскоростной фотографии в начале 50-х годов, когда усовершенствование оптико-механических высокоскоростных камер достигло некоторого «потолка возможного». Самый мощный из тогдашних методов осуществления высокоскоростных затворов,

¹⁰⁴ Thomer G., Schall R. Erforschung extrem schneller Vorgänge. Bericht von der IV. Tagung für Kurzzeitphotographie und Hochfrequenzkinematographie // Chemie Ingenieur Technik. 1958, Vol. 31, no. 1. P. 12-17.

¹⁰⁵ Щелев М. Я. XIV Международный конгресс по высокочастотной фотографии и фотонике // Вестник АН СССР. 1981, № 9. С. 94.

¹⁰⁶ Фанченко С. Д. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! // Советский физик. 1971, 26 апреля.

так называемых «луп времени», заключался в том, чтобы на пути от фотообъектива к фотоплёнке заставить свет отразиться от быстро вращающегося зеркала. При этом в технике вращения зеркал было достигнуто такое совершенство, что скорость вращения лимитировалась лишь опасностью разрушения зеркала центробежными силами. Весьма совершенным прибором этого класса явилась отечественная установка СФР, способная «останавливать» мгновения длительностью в стомиллионные доли секунды... Но можно ли повысить временное разрешение ещё в тысячи, может быть, в миллионы раз?

Исследование этого вопроса академиком Евгением Константиновичем Завойским и автором позволило дать в 1954 году ответ – да, можно, если воспользоваться в качестве «лупы времени» электронно-оптическим преобразователем...

Широкую дорогу научным применениям ЭОПов открыл Е. К. Завойский, создавший в нашем институте в начале 50-х годов коллектив молодых физиков, который с энтузиазмом взялся за дело. Вскоре на основе тогда единственного в мире советского многокаскадного ЭОПа были созданы уникальные приборы для ядерной физики, астрономии и спектроскопии плазмы (люминесцентная камера, искровые счётчики высоким временным разрешением и др.). Эти работы получили широкое признание и послужили толчком к быстрому развитию техники ЭОПов во всём мире.

В принципе можно создать ЭОП с временным разрешением 10^{-14} с. Реальный отечественный прибор ПИМ-3 обеспечивает временное разрешение порядка нескольких пикосекунд в наиболее благоприятных условиях опыта и порядка 10^{-11} с в обычных измерениях. С помощью этого прибора у нас впервые было обнаружено свечение искр с полной длительностью 10^{-10} с, а в ФИАНе изучена структура ультракоротких лазерных импульсов длительностью 10^{-11} с.

В последнее время в нашей лаборатории разработан совместно с М. М. Бутсловым и П. А. Тарасовым новый времяанализирующий ЭОП под названием «пикохрон». Прибор, специально предназначенный для наблюдения процессов пикосекундного диапазона длительности, снабжён новой системой развёртки изображения – СВЧ-резонаторами на длину волны 3 см. Он уже позволил нам «остановить» самое короткое мгновение – около одной пикосекунды. Мы постараемся сократить этот прекрасный миг ещё в несколько раз.

Физики знают, как захватывающе интересны, как прекрасны бывают мгновенья, остановленные методом

высокоскоростной фотографии. Они полны неожиданностей, они позволяют заглянуть в самую суть явлений нелинейной оптики, физики твёрдого тела, физики плазмы, ядерной физики. Что ж, гётевский Фауст наметил очень правильную программу действий».

В последние годы жизни Е.К. Завойский был привлечён С.Д. Фанченко к редактированию книги «Электронно-оптические преобразователи и их применение в научных исследованиях», вышедшей уже после его кончины¹⁰⁷. Авторами её значились М. М. Бутслов, Б. М. Степанов и С. Д. Фанченко, но фактически это был венок на могилу безвременно ушедшего «короля катода» М. М. Бутслова¹⁰⁸. В предисловии Евгений Константинович писал: «Книга интересна тем, что её авторы были почти всегда пионерами в этой области. Они использовали разработанные приборы не только в физике, но как энтузиасты в этой технике настойчиво «внедряли» их в астрономическую практику, в биологию, в медицину и т. п. Вспоминается, что дело доходило до курьёзов, когда не удавалось убедить астрономов и оптиков в необходимости использовать усилители света, в которых фотографически регистрировался каждый электрон, вылетающий из фото катода. Им казалась непривычной картина далёкой туманности или спектра, состоящая из точек – следов отдельных электронов. Трудно было «расстаться» со снимками, где подобные картины были «гладкими», с полутонами. Забывали, что для этого требовались яркие источники света. Но теперь подобное – достояние истории».

ЛЕНИНСКАЯ ПРЕМИЯ – Л.А. АРЦИМОВИЧУ И КОЛЛЕКТИВУ

За полгода до присуждения Ленинских премий на 1958 г., 21 октября 1957 г. в Институте атомной энергии состоялось заседание Научно-технического совета, выписка из протокола которого сохранилась¹⁰⁹. В тот день обсуждалось выдвижение работы Л. А. Арцимовича и его коллектива на соискание Ленинской премии на 1958 года. На заседании присутствовали 28 членов НТС (список отсутствует), в том числе академики И. В. Курчатов (председатель), И. Е. Тамм и И. К. Кикоин. Хотя выписка из протокола – это не прямая речь вышеназванных академиков, всё же её стоит привести: «Академик И. Е. Тамм

¹⁰⁷ Бутслов М. М., Степанов Б. М., Фанченко С. Д. «Электронно-оптические преобразователи и их применение в научных исследованиях» М., 1978.

¹⁰⁸ Воспоминания об академике Л.А. Арцимовиче... С. 22.

¹⁰⁹ Филиал РГАНТД. Ф. 180. Оп. 3. Д. 136. Л. 12-14.

предлагает выдвинуть на соискание Ленинской премии по физике на 1958 год цикл исследований по импульсным газовым разрядам большой мощности. Эти исследования ведутся в Институте атомной энергии АН СССР в связи с разработкой проблемы управляемой термоядерной реакции. Полученные результаты представляют значительный вклад в физику, в частности, они сыграли существенную роль в правильном понимании многих вопросов физики высокотемпературной плазмы. Данные работы являются первыми в мировой науке исследованиями, в которых достигнуты температуры вещества, приближающиеся к температурам в недрах звёзд (миллионы градусов). В ходе исследований были обнаружены совершенно неожиданные явления (нейтронное и жесткое рентгеновское излучение плазмы), которые представляют большой интерес для астрофизики. Важным достижением является создание теории происходящих процессов, позволившей качественно, а в значительной части и количественно, объяснить основные черты наблюдаемых явлений. Прделанный цикл исследований является необходимым и важным этапом на пути к созданию управляемой термоядерной реакции.

Академик И. К. Кикоин поддерживает предложение академика И. Е. Тамма, считая названные работы, безусловно, достойными Ленинской премии. Напоминает, что Учёный совет Института выдвинул эти исследования ещё в прошлом году, однако авторы работы просили отложить представление из-за того, что к тому времени ещё не могла быть сделана достаточно полная оценка работ со стороны советской и мировой научной общественности. К настоящему времени рассматриваемые работы нашли повсеместно широкое признание и названные соображения отпадают.

Академик И.В. Курчатов присоединяется к предложению И.Е. Тамма и выступлению И.К. Кикоина. Высоко оценивая эти работы, считает, что они удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к работам, выдвигаемым на Ленинские премии».

27 октября 1957 г. датировано письмо академика И. В. Курчатова в Комитет по Ленинским премиям в области науки и техники при Совете Министров СССР: «Научно-технический Совет Института атомной энергии Академии наук СССР на заседании от 21 октября 1957 года постановил представить на соискание Ленинской премии за 1958 год в области физики цикл работ на тему «Исследование мощного разряда в газе для получения высокотемпературной плазмы»¹¹⁰.

¹¹⁰ Филиал РГАНТД. Ф. 180. Оп. 3. Д. 136. Л. 10-11.

Работы коллектива авторов докладывались на сессии отделения физико-математических наук АН СССР от 12 июня 1956 года и были опубликованы в журнале «Атомная энергия» № 3 и № 5 за 1956 год и в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» том 33 за 1957 год.

Данный цикл исследований связан с разработкой проблем использования управляемой термоядерной реакции. Опубликование этих работ вызвало многочисленные отклики и дискуссии среди физиков многих стран и активно обсуждались как в нашей стране, так и мировой научной общественностью. Беспрецедентные в мировой науке экспериментальные и теоретические исследования газового разряда, позволившие осуществить нагрев вещества до нескольких миллионов градусов, впервые были направлены на достижение высокой цели мирного использования энергии слияния ядер лёгких элементов. Опубликованные работы получили высокую оценку и выдвинули советские исследования в области физики плазмы на первое место в мировой науке.

Исследования выполнены под руководством академика Л. А. Арцимовича. Руководящая роль в разработке теоретических вопросов принадлежит академику М. А. Леонтовичу. Институтом представляется следующий авторский коллектив: Л. А. Арцимович – научный руководитель, А. М. Андрианов, О. А. Базилевская, С. И. Брагинский, И. Н. Головин, М. А. Леонтович, С. Ю. Лукьянов, С. М. Осовец, И. М. Подгорный, В. И. Синицын, Н. В. Филиппов и Н. А. Явлинский. Директор Института Атомной энергии АН СССР академик И. В. Курчатов».

В тот же день, 27 октября, приведённая выше выписка из протокола была подписана И. В. Курчатовым и вместе с его отзывом направлена в Комитет по Ленинским премиям.

От внешних организаций отзывы прислали академики П. Л. Капица и Н. Н. Семёнов. Пётр Леонидович писал: «Осуществление управляемой термоядерной реакции является важнейшей и крупнейшей проблемой, стоящей перед современной физикой. Достаточно указать, что успешное решение этой проблемы дало бы в руки человечества неисчерпаемый источник энергетического сырья и угроза возможного истощения энергетических ресурсов земного шара перестала бы стоять перед человечеством. Современное состояние ядерной физики уже дает возможность достаточно точно сформулировать те физические условия, при которых возможно течение управляемой термоядерной реакции. Эти условия показывают, что осуществление управляемой термоядерной реакции лежат на

гранях возможностей современной техники и представляют одну из труднейших проблем. Уже сейчас над решением этой проблемы работают самые мощные научные коллективы крупнейших стран, и я думаю, что при непрерывно происходящем техническом прогрессе есть полное основание предполагать, что в ближайшие десятилетия эта проблема найдёт своё решение.

В ходе искания этого решения центральной задачей является изучение свойств газовой плазмы и методов её нагревания до очень высоких температур, порядка миллионов градусов. Необходимость этих исследований сама собой очевидна, так как термоядерная реакция в чистом виде может только происходить в высокотемпературной плазме. Поэтому научными исследованиями свойств высокотемпературной плазмы сейчас занят ряд учёных во всех научных центрах мира.

Цикл работ, которые академик Арцимович сделал со своими сотрудниками и которые сейчас выставлены на соискание Ленинской премии, по сравнению с аналогичными работами по плазме, опубликованными за последние два-три года как у нас, так и за рубежом, с моей точки зрения, являются наиболее значительными и представляют крупный шаг в понимании физических процессов, происходящих при искровом методе нагревания плазмы. В представленной работе не только подробно изучены физические состояния нагреваемой таким путём плазмы, но также даётся количественная теория основного механизма, сообщающего кинетическую энергию ионам и атомам газа, происходящему благодаря так называемому «пинч-эффекту». Этот эффект, как показано в данных исследованиях, представляет своеобразное магнитогидродинамическое явление, сводящееся к тому, что происходящее в центре по оси разряда повышение температуры имеет кумулятивный характер, благодаря чему происходит больший рост температуры ионов и атомов, чем электронов.

Этот механизм обусловлен нарастающей характеристикой тока и оказывается более эффективным для повышения температуры плазмы, чем тот, который происходит обычно от тока и который обуславливается непосредственным столкновением атомов с ускоренным полем с электронами. В представленной работе этот сложный процесс «пинч-эффекта» изучен как теоретически, так и экспериментально. Все представленные работы не только проведены на высоком экспериментальном уровне, не оставляющем сомнения в правильности получения количественных результатов, но и с большей экспериментальной изобретательностью и смелостью. Далее, в этих работах показано,

что даже при наиболее мощных разрядах в дейтерии, которые удавалось осуществлять, температура плазмы, хотя и была близка к той, при которой можно ожидать возникновения термоядерной реакции, но всё же пока недостаточна для получения таким путем нейтронов. Всё же авторы этих работ обнаружили, что при некоторых условиях прохождения разряда через дейтерий в определённые моменты образуются значительные количества нейтронов, хотя, как чётко показано в работе, они не термоядерного происхождения. Таким образом, открыто новое явление, физическую природу которого пока не удалось полностью установить. Экспериментально обнаружено, что явление сопровождается рентгеновскими излучениями, что, по-видимому, указывает, что эти нейтроны обязаны своему возникновению присутствию в разрядах отдельных скорых ионов и электронов, механизм создания которых ещё не понят.

Опыты Арцимовича и сотрудников сейчас повторены за границей (O. A. Anderson, W. R. Baker etc. – Neutron production in linear deuterium pinches. University of California. Radiation Laboratory Contract № W-7405-eng-48. March, 1957) и полностью подтверждены. На данном этапе без более полного понимания механизма явления оценить значимость открытия нового метода получения нейтронов как для науки, так и для практики трудно. Некоторые учёные (P. C. Thonemann – The Russian Controlled Thermonuclear Experiments. Nuclear Power. Aug. 1956. P. 169-172) придают ему уже сейчас исключительное значение и даже видят в нём ключ к объяснению природы космического излучения. Несмотря на то, что с нашей точки зрения, такие заключения преждевременны, всё же открытие в области высокотемпературной плазмы, дающее новое непредвиденное направление развитию научного исследования, надо рассматривать на данном этапе работ по термоядерным процессам как крупное достижение. Таким и является, с моей точки зрения, открытие, сделанное в работе Арцимовича и его сотрудников.

Поэтому я считаю, что как само исследование искрового разряда плазмы, так и сделанное открытие нового механизма получения нейтронов в плазме – достаточно значительное научное достижение в масштабах мировой науки, чтобы им была присуждена премия имени Ленина.

Единственно я воздержусь от оценки творческого участия в работе каждого отдельного работника в выдвинутом многочисленном коллективе в 12 человек. По-видимому, некоторые из них являются только квалифицированными помощниками в отдельных работах всего комплекса, выдвинутого

на соискание премии. При присуждении премии такой крупной поисковой работы и сделанного открытия, мне думается, не следует ставить творческих руководителей этой работы на одном уровне с техническими исполнителями, как бы искусно и самоотверженно они бы ни работали. П. Л. Капица. 31 октября 1957 г.»¹¹¹.

Получив письмо из Комитета с предложением прислать свой отзыв о работе Л. А. Арцимовича и его коллектива, 22 января 1958 г. Капица пишет: «На Ваш запрос дать отзыв на работу Л. А. Арцимовича с сотрудниками сообщаю, что мной уже был дан отзыв по просьбе самого Арцимовича.

За это время моё мнение об этой работе не изменилось, Я считаю её по-прежнему достойной присуждения Ленинской премии по физике. Копию отзыва прилагаю.

Что касается присуждения премии соавторам Л. А. Арцимовича, то я считаю, что дробление Ленинской премии ни при каких обстоятельствах нежелательно. Материальная сторона награждения в этом случае сводится до уровня ниже премий, присуждаемых Президиумом Академии наук СССР. Что касается самого звания лауреата Ленинской премии, то такое дробление также неправильно, поскольку каждый работник в отдельности за выполненную им работу не смог бы самостоятельно получить Ленинскую премию. Поэтому дробление премии ведёт к снижению значимости звания «Лауреат Ленинской премии».

Как принцип Ленинская премия должна присуждаться только руководящему работнику – одному или, в крайнем случае, двум учёным. Если же работа исключительно крупная, то каждому из участников должна быть присуждена целая премия. П. Л. Капица»¹¹². В феврале 1958 г. в Физическую секцию Комитета поступил отзыв академика Н. Н. Семёнова: «Работы авторского коллектива, руководимого Арцимовичем Л. А., опубликованные в 1957 г.¹¹³ в журнале «Атомная энергия», посвящены получению и исследованию высокотемпературной плазмы, нагреваемой пропусканием большого тока через газ при импульсном разряде конденсаторов. При этом были наблюдаемы новые физические явления и развиты теории, имеющие самостоятельное и принципиальное значение для физики плазмы и представляющие, кроме того, существенный вклад в разработку

¹¹¹ Филиал РГАНТД. Ф. 180. Оп. 3. Д. 136. Л. 38-42.

¹¹² Филиал РГАНТД. Ф. 180. Ф. 3. Д. 136. Л. 37.

¹¹³ Следует читать: 1956 г.

проблемы регулируемой термоядерной реакции.

Главные результаты были получены впервые до опубликования аналогичных работ за рубежом. Перечислим их.

Впервые были наблюдаены нестационарные явления в плазме в условиях, когда магнитное давление больше газокINETического.

Обнаруженное интенсивное сжатие плазмы приводило к огромным скоростям движения ионизованного газа, достигавшим $3 \cdot 10^7$ см/с.

В дейтериевой плазме была получена температура до $3 \cdot 10^6$ (300 эВ) и была наблюдаена ядерная реакция. Эта реакция, по-видимому, не связана с энергией хаотического движения ионов, но была вызвана ионами, претерпевшими магнитное ускорение в плазме, быстро сжимающейся вместе с магнитным полем.

Интенсивно сжимающаяся плазма была источником не только нейтронов, но и гамма-квант с энергией до 300 кВ. В разрез с обычным представлением о диамагнитных свойствах плазмы было обнаружено, что плазма обладает парамагнитными свойствами и втягивает в себя магнитные силовые линии.

С помощью спектроскопических измерений были измерены концентрации и температуры ионов.

Следует упомянуть также о новых разработанных методах исследования плазмы (измерения давления в плазме, импульсная спектроскопия и др.), которые сейчас находят широкое применение за рубежом.

Из теоретических работ следует отметить разработку теории процессов в быстро сжимающейся плазме, основанную на идее об ускорении электронов и ионов магнитными силами. Эта теория позволила объяснить основные закономерности мощных разрядов, в частности, неустойчивости, возникающие в плазменном шнуре тока.

В целом в результате работ вышеназванного авторского коллектива создан новый раздел физики плазмы, являющийся одновременно существенным вкладом в разработку проблемы управляемых термоядерных реакции и имеющий значение в других областях физики (астрофизика). Ознакомление с работами показывает, что все участники коллектива, возглавляемого Арцимовичем, принимали активное и решающее участие в достижении вышеперечисленных результатов, а именно: экспериментальные исследования процессов сжатия плазменного шнура и достижение высокой температуры – Арцимович, Андронов (Андрианов. – *Н. З.*), Базилевская.

Обнаружение нейтронов и гамма-лучей в разряде –

Арцимович, Андронов (Андрианов. – Н. З.), Лукьянов, Сеницын, Филиппов, Подгорный.

Инерционная теория импульсных разрядов – Леонтович и Осовец.

Общая теория сжимающегося шнура – Брагинский.

Спектроскопические исследования разряда – Лукьянов, Сеницын.

Пьезо-метод измерения давления в плазме – Филиппов.

Разработка методов магнитных зондов – Андронов (Андрианов. – Н. З.), Базилевская.

Парамагнетизм плазмы (обнаружение и исследования – Головин и Явлинский).

В соответствии со сказанным считаю, что поименованный авторский коллектив заслуживает присуждения ему Ленинской премии по физике. Академик Н. Н. Семёнов»¹¹⁴.

В феврале в Комитет поступил ещё один отзыв на работу Арцимовича от сотрудника ИАЭ, доктора физ.-мат. наук Д. А. Франк-Каменецкого: «Рецензируемые работы посвящены одной из центральных проблем современной науки: проблеме осуществления регулируемой термоядерной реакции. Для решения этой задачи необходимо научиться получать полностью ионизованный газ (плазму), нагретый до температур, измеряемых десятками и сотнями миллионов градусов и удерживаемый магнитными силами. Представленные на соискание Ленинской премии работы Л. А. Арцимовича, М. А. Леонтовича и их сотрудников представляют собою существенный шаг в этом направлении. Им удалось нагреть газ (хотя и на краткое время) до температур порядка миллиона градусов. Нагреваемый газ одновременно сжимался магнитными силами, что приводило к существенному возрастанию его плотности. При этом были наблюдаемы совершенно новые и представляющие существенный научный интерес явления: оказалось, что быстрое сжатие токового шнура сопровождается жестким рентгеновским излучением, а в случае разряда в дейтерии – также и испусканием нейтронов. Последнее не является следствием термоядерной реакции. Как жесткое излучение, так и нейтроны появляются в результате электромагнитного ускорения частиц за счёт нового своеобразного механизма, связанного, по-видимому, с неустойчивостью токового шнура. Конкретный механизм ускорения, к сожалению, авторами не изучен. Они не проделали необходимой для этого работы по исследованию углового распределения ускоренных частиц. Но уже

¹¹⁴ Филиал РГАНТД. Ф. 180. Оп. 3. Д. 136. Л. 48- 49.

самое обнаружение столь важных новых физических явлений следует оценить как весьма ценный научный результат.

Для объективной оценки представленных работ необходимо сопоставить достигнутые результаты с результатами других исследователей, работавших над той же проблемой. Возможность такого сопоставления появилась в самое последнее время. После того как результаты рецензируемых работ были оглашены в докладе И. В. Курчатова и опубликованы в печати, они вызвали широкий резонанс в мировой литературе и индуцировали опубликование ряда работ английских и американских исследователей, напечатанных в последнем номере английского журнала «Нейчур». Сопоставление этих работ с рецензируемыми позволяет судить, насколько исследователи сумели взять у природы всё, что она может дать. В вопросе о том, возможно ли практически более широко варьировать условия опыта, чем это было сделано, мы можем теперь опираться на опыт их соперников в других странах.

Представленный цикл состоит из ряда работ, не равноценных по своему научному уровню и по ценности достигнутых результатов. Давать общий отзыв по всему циклу работ было бы неправильно. Необходимо разбить их на группы и дать дифференцированную оценку. При этом сопоставление отдельных работ с только что опубликованными работами зарубежных исследователей позволит объективно оценить, какие из представленных работ занимают ведущее положение в современной мировой науке и какие отстали от её уровня. В некоторых случаях придётся пересмотреть оценку работ, сделанную при представлении их на соискание Ленинской премии до опубликования зарубежных работ того же направления.

Первую группу составляют работы Л. А. Арцимовича, А. М. Андрианова, О. А. Базилевской, Ю. Г. Прохорова и Н. В. Филиппова по изучению мощных импульсных разрядов, работы М. А. Леонтовича, С. М. Осовца и С. И. Брагинского по теории этих процессов и работы С. Ю. Лукьянова и И. М. Подгорного о жестком рентгеновском излучении. Именно эти работы были доложены И. В. Курчатовым в Харуэлле и получили высокую оценку в мировой литературе. Они вызвали широкий отклик и стимулировали быстрое развитие работ по термоядерной тематике в ряде стран мира. Эти работы были повторены рядом исследователей в Англии, Швеции, Японии и США, причём первоначальные результаты были полностью подтверждены. Никому из зарубежных исследователей не удалось в этой области пойти дальше Л. А. Арцимовича и его сотрудников. Таким

образом, первая группа работ занимает ведущее положение в мировой науке. Именно в этих работах получены рекордные температуры и открыты важные новые эффекты испускания жестких рентгеновских лучей и нейтронов за счёт процессов ускорения, связанного с неустойчивостью. Эти работы, безусловно, заслуживают Ленинской премии...»¹¹⁵.

22 апреля 1958 г. все советские газеты сообщили о присуждении Ленинских премий, в том числе и академику Л. А. Арцимовичу и его коллективу.

Через три года этот же коллектив зарегистрировал это достижение как открытие с приоритетом от 4 июля 1952 г.: «При исследовании высокотемпературной плазмы установлено неизвестное ранее явление, заключающееся в том, что в плазме при прохождении мощных импульсов тока через дейтерий, возникает нейтронное излучение интенсивностью около 10^8 нейтронов на разряд. Это излучение обусловлено появлением в плазме группы неравновесных быстрых частиц (дейтронов)».

«Явление нейтронного излучения плазмы» было зарегистрировано как открытие и внесено в Государственный реестр открытий СССР 25 марта 1965 г. за номером 3 с приоритетом от 4 июля 1952 г. Формула открытия: «При исследовании высокотемпературной плазмы установлено неизвестное ранее явление, заключающееся в том, что в плазме, образованной при прохождении мощных импульсов тока через дейтерий, возникает нейтронное излучение интенсивностью около 10^8 нейтронов на разряд. Это излучение обусловлено появлением в плазме группы неравновесных быстрых частиц (дейтронов)¹¹⁶».

УВЫ, ЗЕТА...

Пока Государственный Комитет по присуждению Ленинских премий принимал свои решения, между Англией и США происходили сложные переговоры¹¹⁷, имевшие непосредственное отношение к тому, чем занимался Л. А. Арцимович. Результатом этих переговоров в конце января 1958 г. стала сенсационная статья «Могучая ЗЕТА – неистощимый источник топлива на миллионы лет», опубликованная в английской прессе. Затем состоялась пресс-конференция с участием

¹¹⁵ Филиал РГАНТД. Ф. 180. Оп. 3. Д. 136. Л. 50-52.

¹¹⁶ Конюшая Ю. П. Открытие советских учёных. М., 1988. Ч. 1. С.247-248.

¹¹⁷ Austin B. Schonland: Scientist and Soldier. 2001. P. 502.

Нобелевского лауреата Дж. Д. Кокрофта¹¹⁸, подтвердившего сказанное. И в газетах, и на пресс-конференции говорилось об осуществлении термоядерной реакции. Увы! Через несколько месяцев сэру Кокрофту пришлось признать, что экспериментаторами была допущена ошибка.

СВОЙ, НО ЧУЖОЙ

Уточнить, когда коллектив Е.К. Завойского был переведён И. В. Курчатовым на новую тематику – изучение физики плазмы – позволила запись в личном деле сотрудника сектора Е. В. Пискарёва¹¹⁹. Это произошло к концу 1957 г.¹²⁰ Не погрешу против истины, если скажу, что именно с этого момента пути главных героев моего рассказа начали расходиться. В номенклатурном же смысле это произошло в тот момент, когда Л. А. Арцимович был утверждён в должности и. о. академика-секретаря, т. е., говоря его собственными словами, «вытолкнулся» из массы себе равных членов Академии наук.

Слово «карьера» почему-то никогда не звучало в нашем доме. Мы все знали, что у главы нашей семьи есть работа. Он называл её даже службой¹²¹. О стремлении к начальственным высотам речи не было.

Если использовать современный философский термин «стратификация», то с конца 1957 г. Л. А. Арцимович и Е.К. Завойский оказались уже в разных, но всё же ещё близких слоях. В течение последующих лет расстояние между их стратами постепенно росло. Если по отношению к первому вполне правомерно (и ни в коем случае не оскорбительно) говорить об успешной карьере, то у второго в течение всех отпущенных ему судьбой лет не было никакого на неё намёка: Е. К. Завойский не занимал никаких административных постов ни в ИАЭ, ни в

¹¹⁸ The National Archives.CSAC. 72.2.80/B.12. Текст для пресс-конференции Дж. Кокрофта 23.01. 1958 г.

¹¹⁹ Архив РНЦ «Курчатовский институт». Ф.1. Оп. 1 л/д. Д. 9465. Л. 17, 18.

¹²⁰ Евгений Константинович писал, что в 1950 г. он занимался люминесцентной камерой и астрономическими приложениями ЭОПов; в 1955-1958 гг. – ЭОПами с временами разрешения до 10^{14} с; в 1956-1957 гг. – источниками поляризованных ядер для ускорителей, сдвигом Лэмба, а в 1961-1967 гг. – исследованием коллективных движений в плазме (в частности, турбулентным нагревом). Личный архив Е. К. Завойского.

¹²¹ Чародей эксперимента... С. 170.

Академии наук, ни в Министерстве. Но, повторю, он был одним из членов Учёного совета ИАЭ, входил в качестве эксперта в Комитет по Государственным и Ленинским премиям в области науки и техники при Совете Министров СССР, был членом редакционной коллегии журнала «Приборы и техника эксперимента», членом Научного совета по проблеме «Физика низких температур» АН СССР, членом секции динамика плазмы Научного совета по комплексной проблеме «Физика плазмы» АН СССР, членом экспертной комиссии по присуждению золотой медали им. С. И. Вавилова и незадолго до кончины был утверждён главным редактором УФН. Администрирование было не в его натуре. Дружбы с начальством он не водил. Соблазн карьерой не находил отклика в его душе. Писем-обращений к властям не писал и не подписывал и вообще от всякого официоза старался держаться подальше. «Слой», к которому принадлежал Завойский, был максимально приближен к самому предмету его занятий. Соответственно и «шума» вокруг его имени было меньше: его присутствие не требовалось на заседаниях разного уровня в верхах, где принимались кардинальные решения, в том числе, и финансирование научных работ. Скорее всего, он относился, по терминологии С. С. Илизарова, к «своим чужим».

Помню, что в конце 60-х-самом начале 70-х годов от ООФА отец мой был назначен в комиссию по рассмотрению исследований члена-корреспондента АН СССР Б. В. Дерягина. Речь шла об аномальной воде, и комиссии надлежало высказать своё мнение. От дерягинских проблем отец мой был далёк, вникать в необходимые глубины вопроса ему было некогда, да и, скорее всего, он был наслышан от химиков о сомнительности выводов и поэтому долго мучился, какие выбрать слова, чтобы не поставить физиков в глупое положение и не дать прорасти сомнительному утверждению Дерягина. Как мне недавно рассказала дочь академика В. А. Каргина, решение химиков последовало за словами её отца: «Почему мы должны убеждать Дерягина, что такое явление не существует? Пусть нам Б. В. докажет, что оно существует». В 1973 г. Дерягин сам отказался от ошибочного утверждения¹²².

В августе 1958 г. в Москве состоялась очередная Генеральная ассамблея Международного астрономического союза, на которую должны были приехать более тысячи одних только зарубежных участников, а общее число предполагалось вдвое

¹²² Волькенштейн М. В. Трактат о лженауке // Химия и жизнь. 1975, № 10 (ссылка на статью Б. Д. Дерягина в ДАН. 1973. Т. 209).

больше. Оргкомитет обратился к академику И. В. Курчатову, чтобы он разрешил вопрос об участии таких «секретных» физиков, как Я. Б. Зельдович, В. Л. Гинзбург, Д. А. Франк-Каменецкий и, конечно, Л. А. Арцимович. Тогда вместе с Франк-Каменецким, человеком разносторонних и глубоких интересов, пришёл молодой физик Р. З. Сагдеев.¹²³ История умалчивает, как это удалось сделать Игорю Васильевичу, но все они смогли присутствовать на заседаниях. Возможно, они присутствовали инкогнито и не имели права общаться ни с кем из иностранцев, как это было с Завойским: его тоже допустили на конференцию 1956 г, но ему пришлось покинуть зал заседаний, так как ничего не понимавший в режимных условиях голландец К. Я. Гортер настойчиво требовал с ним встречи.

ВТОРАЯ ЖЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вторая Женевская конференция по мирному использованию атомной энергии 1958 г. (1-13 сентября) была событием огромной важности. В те дни Женева стала центром ядерного мира. Колоссальное число делегатов (свыше 5 тысяч) из 67 стран, 900 аккредитованных корреспондентов и несметное количество наблюдателей приехали с невиданным до той поры количеством докладов. В иностранной прессе её окрестили даже «конференцией-монстром»¹²⁴. Её труды составили 33 тома! Основные доклады, посвящённые возможности осуществления управляемого термоядерного синтеза, принадлежали Альфвену, Арцимовичу, Бирману, Теллеру и Тонеманну. Общую постановку проблемы доложил первый из них – Альфвен, а остальные рассказали о ходе работ по УТС в СССР, ФРГ, Великобритании. Соединённые Штаты обобщающей статьи не представили, а Теллер, отец американской водородной бомбы, говорил о мирном применении УТС.

На этой конференции была провозглашена рассекреченность работ по УТС. Из СССР приехали 14 докладчиков-специалистов по этой проблеме. Ни Л. А. Арцимович, ни Е. К. Завойский участия в этой конференции не принимали. Первый, как мы уже видели, не был выпущен за рубеж по «деликатным» соображениям, а о втором не было и речи: он только что перешёл на эту тематику да и срок «отчуждения» после его работы в Сарове составлял всего 7 лет¹²⁵. Доклад Арцимовича

¹²³ Масевич А. Г. Звезды и спутники моей жизни. М., 2007. С. 33.

¹²⁴ Time Magazin. 1958, 15 September.

¹²⁵ Согласно записи в личном деле Е. К. Завойского в Средмаше

был послан в Женеву и включён в труды конференции¹²⁶. Его зачитывал сотрудник ЛИПАН Е. И. Доброхотов, отлично владевший английским языком¹²⁷ (он же отвечал на вопросы по поводу машины «ОГРА» И. Н. Головина).

О работах советских физиков журнал «Nucleonics» писал: «Они особенно сильны в теории коллективных эффектов, которые могут оказаться очень значительными, так как имеются такие виды эффектов, которые приводят в замешательство американскую программу»¹²⁸.

Что касается рассекречивания, то в том же журнале писали: «Русские удивительно простодушны. В частных разговорах с ними возникает впечатление, что они ничего не утаивают»¹²⁹.

В своём выступлении в Женеве глава термоядерных исследований Англии Дж. Кокрофт сказал: «Ни одна лаборатория до сих пор не претендовала на то, что было названо «настоящими термоядерными реакциями», хотя, возможно, мы и недалеко от этого. Однако я согласен с академиком Арцимовичем, что этот вопрос не так уж и важен. Происхождение нейтронов станет достаточно ясным, когда мы сможем увеличить температуру в нашей плазме. Важным является вопрос, сможем ли мы поддержать в ней стабильность, так как мы подводим всё больше энергии, или, если сможем в свое время достичь точки перегиба, когда энергия, генерируемая синтезом, будет равна энергии на выходе. Д-р Тонеманн считает, что это может занять десять лет, и, даже если это нам удастся, возможно, потребуются ещё десять лет, прежде чем мы узнаем, будет ли атомная электростанция экономически выгодна. Я согласен с этим. Временная шкала д-ра Теллера ещё больше»¹³⁰.

(Ф. 2. Оп. 1-лд. Д. 116), Е. К. Завойский находился в списке номенклатурных работников до 23.10. 1965 г. Почему именно в 1965 году он был из неё исключён, на этот вопрос у меня нет ответа.

¹²⁶ Nucleonics. 1958. Vol. 16, no. 9. P. 19.

¹²⁷ Устное сообщение Ю. С. Макарова (02.01. 2010 г.).

¹²⁸ Nucleonics. 1958. Vol. 16, no. 9. P. 70.

¹²⁹ Nucleonics. 1958. Vol. 16, no. 9. P. 23.

¹³⁰ Proc. of the Second United Nations Intern. Conf. on the Peaceful Uses of Atomic Energy. Geneva, 1958. Vol. 1. P. 440. Только недавно стало известно, что Е. К. Завойский и в 1957 г. иностранными учёными номинировался на Нобелевскую премию 1958 г. по физике (номинация известнейшего голландского физика К. Я.

ПЕРВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ

25 июня 1959 г. в Москве в парке «Сокольники» была официально открыта национальная выставка «Промышленная продукция США», первая в истории советско-американских отношений. За две недели её посетили более миллиона человек. Ажиотаж был невероятный. На работе мой отец получил два билета и взял с собой меня. Помню, что мы долго ходили по экспозиционной площадке, на которой стояли шикарные легковые авто, поражавшие своими обтекаемыми формами и цветовой гаммой. Папа как заядлый автомобилист не мог отвести от них глаз. В описаниях говорилось об огромных скоростях, которые эти машины способны были развивать. Для наших дорог с их бесчисленными выбоинами они были бы совершенно непригодны. Помню огромные грузовики со всевозможными целевыми механизмами, колёса которых были выше меня. Помню вежливых, не по-нашему одетых молодых людей – экскурсоводов. Попробовали мы и пепси-колу, но особого восторга она не вызвала.

На выставке советские люди могли воочию увидеть, чем живёт «буржуазный мир». Конечно, как и на всякой советской выставке, здесь витало ощущение парадности, исключительности экспонатов. Мы же имели фигу в кармане в виде Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), где каждая корова являлась исключением из миллионного коровьего «контингента» страны: она была одной, отдельно взятой коровой, выражаясь модной тогда политической фразой. Но даже если показанные нам экспонаты и были топ-продуктом американской промышленности, а население пользовалось чем-то попроще, всё же отличие наших товаров, тоже выставочных, от американских было разительным. К сожалению, не в нашу пользу.

Гортера) и по химии (номинация профессора Ньюкаслского университета Джозефа Дж. Вайса). Эти сведения любезно предоставил мне А. М. Блох, вернувшийся из Стокгольма с копиями рассекреченных Нобелевским комитетом документами (устное сообщение 15 апреля 2009 г.). В 2010 г. были рассекречены документы 1960 г., и стало известно, что К. Я. Гортер снова номинировал Е. К. Завойского, а также его номинировал член Нобелевского комитета по химии Королевской Шведской Академии наук Арне Оландер (устное сообщение А. М. Блоха. 13 марта 2011 г.).

НЕУДАЧА С НОБЕЛЕВСКОЙ

1959 год мог стать знаменательным годом не только в жизни Е.К. Завойского, но также в жизни Института атомной энергии, где он работал. Дело в том, что его работа – сделанное им в 1944 г. открытие электронного парамагнитного резонанса – была выдвинута на Нобелевскую премию по физике (совместно с академиком В. И. Векслером). И выдвинул её сам академик И. В. Курчатов. В его отзыве на работы Е.К. Завойского говорилось: «Открытие Е. К. Завойским явления парамагнитного резонанса, безусловно, является одним из крупнейших открытий в атомной физике, сделанных за последние 20 лет. Дадим, прежде всего, краткое описание работ Е.К. Завойского по открытию и изучению парамагнитного резонанса (П. Р.).

1. Явление парамагнитного резонанса, состоящее в резонансном поглощении радиочастот веществом, находящимся в скрещенных магнитных полях, одно из которых является постоянным, а второе переменным во времени, было открыто Е. К. Завойским в парамагнитных солях, жидких растворах и металлах.

2. Были изучены основные черты явления. Показано, что резонанс отвечает точному совпадению частоты внешнего магнитного поля с частотой прецессии Лармора магнитного момента в постоянном магнитном поле. Показано, что ширина линий резонанса практически не зависит от частоты поля в широком диапазоне частот (от 10^7 до $3 \cdot 10^9$ Гц). Явление П. Р. изучено в диапазоне температур от 300 К до 4 К.

3. Определены гиромагнитные отношения для ряда ионов группы железа в кристаллах и растворах.

4. Подробно изучены времена релаксации в твёрдых телах.

5. П. Р. в металлах, полупроводниках, на F и V центрах и в последнее время в газовых разрядах обещает дать много нового в изучении этих важных в технике веществ и явлений.

6. Применение метода П. Р. в химии уже позволило решить ряд важнейших вопросов строения органических веществ и растворов, но по существу эта область только ещё начинает осваиваться химиками.

Открытое Е.К. Завойским явление парамагнитного резонанса по существу явилось открытием радиоспектроскопии, в которой всегда П. Р. будет играть роль первой и основной главы.

Парамагнитный резонанс является первым открытым типом широкого класса явлений, могущих быть названными магнитными резонансами. Открытие П. Р. Е. К. Завойским стимулировало работу по обнаружению новых видов магнитного резонанса. К ним принадлежит:

1. Ядерный магнитный резонанс (ядерная индукция). За открытие этого явления Блох и Перселл в 1952 г. были удостоены Нобелевской премии.

2. Ферромагнитный резонанс.

3. Циклотронный резонанс в твёрдых телах. Это явление в настоящее время необычайно расширило возможности изучения полупроводников и позволило точно определить эффективную массу электрона в поле решётки.

4. Антиферромагнитный резонанс.

Явление парамагнитного резонанса всё более и более широко изучается во всех странах.

Исходя из вышесказанного становится ясным, что Е. К. Завойский является достойным кандидатом для получения Международной премии имени Нобеля по физике за 1959 год. Академик И. В. Курчатов « » января 1959 г.».

Все необходимые документы были посланы вовремя, формальности соблюдены, но кандидатура Е. К. Завойского (а равно и Векслера) Нобелевским комитетом была «забракована». Так, Нобелевские премии, видимо, навсегда миновали ИАЭ. Для сравнения: ФИАН к 2009 году имел семь Нобелевских лауреатов!

Вспомним, что в 1958 г. в связи с присуждением Нобелевской премии, правда, не по физике, а по литературе Б.Л. Пастернаку, у нас в стране разыгралась отвратительная кампания, направленная против писателя. К сожалению, к ней приложили руку и физики, о чём теперь, наверное, все и забыть забыли. И в «Правде», и в «Вестнике АН СССР» статья была подписана академиками И.В. Курчатовым, Н.Н. Семёновым, А.В. Топчиевым, А.П. Александровым, А.Ф. Иоффе, В.А. Фоком и членом-корреспондентом Б.М. Вулом¹³¹. В ней говорилось: «В свете... фактов, свидетельствующих о признании Шведской академией наук крупных заслуг русских и советских ученых-естественников, кажется особенно тенденциозным присуждение премии по литературе Пастернаку за его произведение, клеветнически изображающее советскую действительность, думы и чаяния, дела и поступки нашей интеллигенции. Это присуждение премии по литературе целиком продиктовано политическими мотивами. В этой связи нельзя не вспомнить высказывание В.И. Ленина о том, что если в области фактических специальных исследований буржуазные учёные способны быть объективными, то в оценке общественных явлений, в том числе и литературных произведений, они всецело находятся под влиянием

¹³¹ Правда. 1958, 29 октября; Вестник АН СССР. 1958, № 12. С. 8-9.

идеологии господствующего класса.

Сопоставление работ, за которые присуждены премии в области естественных наук – химии и физики – и в области литературы, убедительно показывает, что если в первом случае решающее значение при выборе работ имела их действительная научная ценность, то во втором случае истинное значение имели определённые реакционные политические цели...»

Нет сомнений, что текст писали не члены Академии наук. В связи с этим у меня возникает вопрос, читали ли академики ходивший только по рукам роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго»? Вообще говоря, это было запрещено и наказуемо. Выходит, члены Академии сами публично признавали, что читали запрещённую литературу. Или же подписывали письмо по должности? Под давлением обстоятельств? Или просто, не глядя-не думая?

Так как роман Б. Пастернака был в то время недоступен для чтения, то мнения о нём в нашей семье ни у кого не было. Сама же травля вызывала чувство гадливости и стыда.

В недавно опубликованных воспоминаниях сын Б. Пастернака подробно описал события тех дней. Он упомянул газетную статью от 29 октября 1959 г. «с иезуитским абзацем» о разнице между Нобелевской премией по литературе и по физике. Но, видимо, запямятовал (или деликатно проигнорировал?), что опубликованное письмо всё же было подписано. Иначе, зачем бы академик М.А. Леонтович поехал к писателю «объяснять, что настоящие физики не поддерживают этого мнения»? По его же словам, газетную статью отказался подписать академик Л.А. Арцимович, «сославшись на завет И.П. Павлова учёным говорить только то, что знаешь, и потребовал, чтобы ему дали для этого прочесть «Доктора Живаго»¹³². Коллеги-писатели признавались, что романа не читали, но «убеждённо поносили эту вещь и её автора». В то время и родилась крылатая фраза: «Я Пастернака не читал, но знаю, что...»

22 ноября 1959 г. в газете «Правда» была напечатана статья «О легкомысленной погоне за научными сенсациями», подписанная тремя академиками: Л.А. Арцимовичем, П.Л. Капицей и И.Е. Таммом¹³³. Статья была направлена против книги бывшего ээка, отсидевшего в сталинских лагерях около десяти лет и незадолго до этого реабилитированного, астрофизика

¹³² Пастернак Е. Хроника прошедших лет // Знамя. 2008. № 12. С. 151-152.

¹³³ Правда. 1959, 22 ноября.

Николая Александровича Козырева¹³⁴. Книга имела название «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении». Сама книга при её появлении (1958 г.) не успела вызвать откликов, но надо было случиться, чтобы Мариэтта Шагинян, известная писательница и исследовательница биографии Ленина, восторженно написала о ней в «Литературной газете»¹³⁵. Один из современников утверждает, что при публикации статья трёх академиков, подверглась сокращению, причём авторов, несмотря на их авторитетные имена, даже не оповестили об этом¹³⁶. Тем самым она была превращена «в политический окрик за научное инакомыслие». В опубликованном виде смысл статьи состоял в том, что есть одна картина мира, которую они, академики, лучше всех знают, а остальное – от лукавого. В то время любая публикация в «Правде» мыслилась как руководство к действию. Сейчас, когда нет в живых ни хулителей, ни хулимого, историкам науки неплохо было бы разыскать и опубликовать ту самую отвергнутую редакцией страницу, о которой Ф.А. Цицину рассказывал И.Е. Тамм. Известно, что в октябре 1970 г. Н.А. Козырев обращался с письмом к Л.А. Арцимовичу¹³⁷. Но всё течёт – всё изменяется: в наши дни неопознанные летающие объекты – НЛО и прочие «паранормальности» вполне легально поселились в средствах массовой информации. Кому-то это не нравится, кто-то пишет статьи, направленные против этого, но прежняя «страстность», категоричность в отрицании существования НЛО тонет в потоках статей на эти темы.

ПРИВЕТ ИЗ ИЕРУСАЛИМА

27 ноября 1959 г. в Академию наук на имя моего отца пришло письмо из Иерусалима, из Еврейского университета. Известный специалист по радиоспектроскопии профессор Вильям Лоу сообщал, что в Иерусалиме предполагалось провести

¹³⁴ Н. А. Козырев приходился папиному другу Б. М. Козыреву двоюродным братом. О нём недавно вышла солидная книга «Время и звёзды. К 100-летию Н. А. Козырева». СПб., 2008.

¹³⁵ Шагинян М. Время с большой буквы. (О теории физической природы времени Н. А. Козырева) // Литературная газета. 1959, 3 ноября.

¹³⁶ Цицин Ф. А. Астрономическая картина мира. // Астрономия и современная картина мира. М., 1996. С. 1.

¹³⁷ Петербургский филиал архива РАН. Ф. 1093. Оп. 3. Д. 1. На 4 листах. Сведения любезно предоставила А. Н. Анфертьева (ПФА РАН).

международную конференцию по парамагнитному резонансу. «В будущем году, – писал Лоу, – исполняется 15 лет, как Вы открыли парамагнитный резонанс». Он отмечал также, что со времени открытия этого явления не было ещё проведено ни одной международной конференции, и предлагал Евгению Константиновичу быть председателем одного из заседаний будущей конференции. Так как заграничное письмо и свой ответ адресат должен был передать в режимный отдел института, то в архиве отца сохранился только перевод письма Лоу, сделанный мамой.

Однако быстро организовать конференцию не удалось, и В. Лоу снова, через полтора года (4 июля 1961 г.), послал Евгению Константиновичу письмо следующего содержания: «Около года назад я писал Вам о наших планах организовать конференцию по парамагнитному резонансу в Иерусалиме. Международный союз чистой и прикладной физики одобрил эти планы и установил дату: июль 1962 г. Это будет первая международная конференция в этой области со времени открытия Вами парамагнитного резонанса... Я пригласил также прославленных физиков, таких, как Абрагам, Блини, Гортер, Киттель, Прайс, Ван Флек. Надеюсь встретить Вас здесь, в Иерусалиме, а также надеюсь, что конференция окажется и приятной, и полезной с научной точки зрения»¹³⁸.

8 июля 1961 г. Лоу снова послал Завойскому письмо и сетовал, что ответ на приглашение быть членом организационного комитета от него не получен. Через пару дней он послал телеграмму, так как ответа всё не было. Конечно, В. Лоу и представить себе не мог, какие препятствия должен был преодолеть приглашенный им Е. К. Завойский, чтобы отослать ему ответ.

Но случилось то, что и должно было случиться: на конференцию отца моего не выпустили.

23 августа 1961 г., т. е. когда конференция уже прошла, Евгений Константинович отдал в режимный отдел ответ на послания В. Лоу: «Очень благодарен Вам за приглашение участвовать в Оргкомитете Международной конференции по парамагнитному резонансу, но моя работа оставляет так мало времени, что я вынужден отказаться от Вашего любезного приглашения. Желаю Вам успеха в Вашей работе»¹³⁹.

¹³⁸ Личный архив Е. К. Завойского.

¹³⁹ Личный архив Е. К. Завойского.

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА

Мне следовало бы сразу сказать, что никаких личных отношений у моего отца с Л. А. Арцимовичем не было: они взаимодействовали только по служебным делам. Домами они знакомы не были, хотя и жили по соседству. В Казани наша семья обитала во дворе особняка Зинаиды Ушковой, что напротив университета, а Арцимовичи во время эвакуации жили при университете, в ректорском доме, т. е. там, где некогда жил Н. И. Лобачевский. В Москве оба академика некоторое время жили в соседних домах на Октябрьском поле (теперь эти дома оказались на двух разных улицах: Новикова и Максимова), пока Арцимовичи не переехали в коттеджный посёлок на Пехотной улице, построенный для институтского начальства. Добавлю, что я никогда не слышала от отца ни одного нелицеприятного слова о Льве Андреевиче. Впрочем, и лицеприятного тоже.

Почему я обратилась к такой непростой теме? Наверное, виной тому «пепел Клааса».

Я выбрала показавшийся для меня более доступным путь сопоставления жизненных путей двух академиков, чтобы хотя бы как-то подобраться к вопросу, почему мой отец решил уйти из института. Всё же моему отцу в этом рассказе будет посвящено больше страниц, чем Л. А. Арцимовичу. Ведь он мой отец. Да и личных встреч с Львом Андреевичем у меня не было¹⁴⁰.

В тот день, когда 12 октября 2007 г. в РНЦ «Курчатовский институт» отмечалось 100-летие со дня рождения моего отца, докладчики словно замирали перед датой 1971 год. Или звучала фраза: «Почему-то ушёл из института». Полагаю, что на самом деле для сотрудников старшего поколения это никакая ни тайна, а

¹⁴⁰ Впрочем, когда мне было лет 11, я имела честь лицезреть его при следующих обстоятельствах: Анна Николаевна, жена сотрудника и соседа Арцимовича М. С. Козодаева, надумала сделать у себя дома постановку «Синей бороды» с участием дочери Льва Андреевича Милы. Помню весёлую возню на репетициях, какие-то костюмы. Главную героиню должна была играть Мила. Роль давалась ей непросто: она сильно заикалась, а от волнения ещё больше. Я изображала одну из бессловесных жертв Синей бороды, т. е. нас положили на пол и накрыли простыней, оставив снаружи только наши ножки в сандаликах. Зрителей было немного, но Льва Андреевича я запомнила. Он был доволен спектаклем и громко смеялся, обсуждая режиссерские находки. В другой раз я видела его в студии скульптора Э. Неизвестного (см. «Чародей эксперимента»... С. 160).

самый настоящий секрет полишинеля. Только никто не хочет её озвучить. Непростая тема.

К сожалению, в моём распоряжении имеется совсем немного документов, которые могут помочь при выяснении причины ухода моего отца из института.

Арцимович и мой отец имели каждый свой круг знакомых, друзей и сотрудников. Что касается друзей, то в этом отношении мой отец был, можно сказать, консервативен: ещё в 30-е годы его друзьями на всю жизнь стали казанцы Б. М. Козырев и С. А. Альтшулер, немного позже к их трио присоединился Б. Л. Лаптев, директор Института математики имени Н. Г. Чеботарева. Их дружбу мой отец очень высоко ценил. В 1962 г. на отдыхе в Трускавце он познакомился с Д. Л. Симоненко, который, как и он сам, был сотрудником ИАЭ. Их связала не только работа: дружбе наших семей уже почти полвека. В поздние годы жизни он сблизился с нашим соседом по дому, физиком Б. Т. Гейликманом, и с соседями по дачному посёлку, с В. Л. Гинзбургом и М. А. Марковым, с которыми он был хорошо знаком по деятельности в Академии наук. В Харькове жили Я. Б. и Е. В. Файнберги. Все они, и казанцы, и москвичи, и харьковчане были друзьями всей нашей семьи, и я очень благодарна им за это. Одним словом, круг друзей моего отца был невелик. Но дай-то бог каждому иметь таких друзей!

О друзьях и знакомых академика Л. А. Арцимовича можно узнать из сборника воспоминаний¹⁴¹.

Я УЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ «РЕЖИМ»

Специалист, изучающий историю «закрытых» научных учреждений (не «шарашек») типа Института атомной энергии советского периода, сталкивается с невероятными трудностями: архивы, конечно, хранят какую-то часть документов, характеризующих деятельность учреждений и ведущих учёных. Но историк науки должен иметь в виду, что, к сожалению, по «режимным» условиям очень много документов было уничтожено, протоколы заседаний учёных советов или всесоюзных семинаров редко велись подробно да и велись не всегда. К тому же в 50-е годы прошлого века (о 40-х и говорить не приходится) научные сотрудники таких учреждений не имели права заниматься дома, за своим письменным столом: все их записи сдавались в сейф или должны были оставаться на рабочем месте. Даже на многотиражке «Советский физик» долгое время стояла надпись: «С территории

¹⁴¹ Академик Л.А. Арцимович... 2009.

не выносить». Но научный работник и дома остаётся таковым. Мыслительный процесс не прекращается оттого, что он вышел за пределы лаборатории.

Отец мой дома занимался всегда. О «режиме» я, будучи школьницей, конечно, ничего не знала. Эти вопросы дома не обсуждались. Но забор-то и сторожевую вышку для охранников видела: забор был вначале деревянный, потом стал кирпичным, а вышка, стоявшая как раз под окнами Арцимовичей, долго мокла под дождями и потом как-то вдруг исчезла.

О «режиме» я узнала случайно: однажды к нам домой пришла моя классная руководительница, работавшая до этого в I-ом отделе ЛИПАН. Пришла она по причине моего невступления в комсомол: я училась в двух школах, общеобразовательной и музыкальной, и не имела времени (да и желания), чтобы присутствовать на комсомольских собраниях. Она почему-то сразу устремилась к папиному столу, на котором, как обычно, лежало множество его бумаг. Шёл 1954, второй пост-сталинский год. Я увидела, как занервничал отец, но не поняла, почему. Вот тогда-то, уже после ухода учительницы, он объяснил, что работать дома он не имеет права, но работает и не собирается бросать это делать, так как на работе покоя обычно не бывает.

После XX съезда КПСС «режим» начал понемножку ослабевать: соответственно «в портфеле» отца стали накапливаться рукописи, черновики его работ. Если в московский период рукописи по ЭПР есть и за 1951 г. (он писал их в короткие приезды из Сарова), то по электронно-оптическим преобразователям и по плазменной тематике черновики появились после 1965 г.

Остались ли у Л.А. Арцимовича какие-нибудь записи и за какие годы, об этом мне ничего неизвестно. Документы, сданные его вдовой в Архив РАН, и в 2007 г. не были разобраны, а, следовательно, остаются недоступными для исследователей.

В безусловной связи с «режимом» находилось обязательное для всех граждан СССР, в том числе и для сотрудников ИАЭ, «промывание мозгов» в виде политзанятий. Знаю, что мой отец также должен был их посещать. Сохранилась его тетрадь с конспектами глав «Материализма и эмпириокритицизма». В последние годы жизни он как-то в разговоре коснулся этого момента: на политзанятиях он обычно молча наблюдал, как «заводились» уравновешенные в обычной жизни люди, с каким-то непонятным желанием бросавшиеся в лесные моря. Так как учёным людям было совсем просто «вешать лапшу на уши», а руководили такими семинарами обычно

люди, имевшие очень отдалённое отношение к точным наукам, а тем более к физике (это были так называемые советские философы), то обычно спор быстро заходил в тупик. Руководитель, у которого логические рассуждения строились на начётничестве, терялся и начинал опасаться «крамолы» подопечных. Вот тут-то ему «на помощь» и приходил Завойский, зачитывавший нужную цитату из нужного «классика». Спор лопался как мыльный пузырь.

Добавлю, что жены научных работников были также «осчастливлены» политзанятиями. Например, у нас дома состоявшая в штате Лаборатории измерительных приборов М. А. Либман, маленькая, улыбчивая женщина, вела кружок политзанятий (конечно, недобровольный), просвещая жён А. М. Андрианова, Б. Т. Гейликмана, Е. К. Завойского, а также его тещу (мою партийную бабушку) о международном положении СССР (конечно, по газете «Правда»). Насколько я помню, дамы обходились без конспектов.

О ЛИЧНЫХ АРХИВАХ

Учёные, с которыми мне приходилось общаться, по-разному относились к своим бумагам (напомню, что персональных компьютеров тогда не было). Одни ничего не хранили дома, предпочитая работать в служебных кабинетах. Другие работали там, и дома. Одни любили «загруженный» письменный стол, другие предпочитали видеть его пустым. Всё зависело от личных пристрастий. Как относились родные и близкие к бумагам творца, когда тот уходил в мир иной? По-разному. В самом простом варианте бумаги оказывались в буквальном смысле на помойке. И не только бумаги, но и книги. Последние нередко попадали от родственников к букинистам.

Как решался тот же вопрос на работе? Когда обладатель служебного кабинета, автор книг, статей, рецензий, писем и т. п. уходил в мир иной, его рабочий кабинет недолго оставался пустым: ведь «свято место пусто не бывает». Обычно преемник не интересуется содержимым кабинета (даже если это был его учитель, которому он всем обязан), и всё содержимое кабинета летит в служебный костёр. Так пропадают невосполнимые сокровища человеческой мысли, в том числе и очень крупных учёных. Увы, рукописи всё-таки горят. А происходит это, видимо, из-за того, что в своей среде бывает трудно (да и не хочется, наверное) признать кого-то, с кем общаешься каждый день, пророком.

Мой отец относился к тем, кто как-то по-особому любил свои старые записи. К ним он возвращался редко, но расставаться

с ним не расставался. Да и мама, как цербер, стерегла его бумаги. Однажды она застала связки бумаг мужа прямо у порога квартиры: их собирался выбросить зять-физтеховец, который дословно воспринял слова тестя «почистить антресоли». Мне было ужасно стыдно за мужа. Теперь эти документы находятся в длительном пользовании у хранителя музея-лаборатории в Казанском университете, и по завершении издательских работ должны будут «переехать» в Национальный архив Республики Татарстан. Этот «хлам» считается особо ценным фондом.

А как обстоит дело с государственными архивами? Вскоре после кончины моего отца, маме позвонили из Архива Академии наук и предложили сдать папин архив к ним. На её вопрос, как будет отбираться материал, ответ был таков: «Мы всё выберем сами». Маме эта идея не приглянулась, да и в то время с архивом работал брат папы. Позже я работала с документами, хранящимися в этом архиве и посетовала, что дела учёных в их ведомстве составлены очень изящно, но слишком фрагментарно, на что получила в ответ то ли в шутку, то ли всерьёз: «Да, самое главное для нас, когда начал работать и когда закончил».

15 ЛЕТ ЭПР

Тем временем со дня открытия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) прошли уже 15 лет, и в первых числах июня 1959 г. в Казани состоялось Совещание, посвященное этой дате. В его работе приняли участие физики Москвы (НИИЯФ при МГУ, Институт химической физики, ФИАН, Институт радиоэлектроники, Институт элементоорганических соединений), Ленинграда (НИФИ при ЛГУ, Институт высокомолекулярных соединений), Харькова (Институт радиофизики и электроники АН УССР), Перми (Госунiversитет), Свердловска (Уральский Политехнический институт), Красноярска (Институт физики СО АН СССР и Сибирский технологический институт), Грозного (Нефтяной институт), Тбилиси (ГТУ), а также Государственного университета, Пединститута и Физико-технического института города Казани. Этот обширный список показывает, насколько широко распространился ЭПР по научным институтам Советского Союза. Иностранцы учёные приглашены не были: Казань входила тогда в список «закрытых» городов.

Доклады были посвящены широкому спектру тем: парамагнитный резонанс (ПР) в свободных радикалах, микроскопической теории парамагнитной релаксации, спектрам ЭПР в ионных соединениях, феноменологической теории

парамагнитной релаксации, технике измерений ПР, парамагнитному вращению плоскости поляризации, ЯКР, ЯПР и его химическим применениями. В Совещании принимали участие казанские и московские знаменитости-первопроходцы ЭПР: А. Е. Арбузов, С. А. Альшутлер, Б. М. Козырев, С. Г. Салихов, А. М. Прохоров, А. А. Маненков, В. В. Воеводский. Представителями Института атомной энергии были Евгений Константинович Завойский и его молодой сотрудник В. А. Скорюпин.

О Вячеславе Александровиче накануне его юбилея (1974 г.) Завойский писал: «В первый раз я убедился в исключительном таланте экспериментатора и остроумии В. А. ещё в 1958 г. Однажды мне позвонил женский голос из одной московской военной академии и слёзно просил помочь убедить зав. кафедрой физики этого почтенного учреждения в том, что электронный парамагнитный резонанс действительно не обман. Этот зав. кафедрой провёл почти формальное следствие по моим работам, с великим трудом достал почти все детали описанных мной установок и поручал в течение двух лет дипломникам академии доказать, что нет никакого ЭПР. Дипломники же, к их чести, скорее, признавались в своей неспособности экспериментировать, чем решились отрицать ЭПР, и им приходилось менять тему. Я попросил В. А. поехать в академию, и через три часа он вернулся в отличном настроении. Этого времени В. А. было достаточно, чтобы собрать заново всю установку по ЭПР и сделать дипломную работу за двух выпускников академии. За давностью, не скрою, что из этих трех часов, один час благодарные дипломники угощали В. А. в ближайшем ресторане коньяком»¹⁴².

АКАДЕМИК И. В. КУРЧАТОВ НА УКРАИНЕ

Незадолго до кончины И. В. Курчатова запланировал и согласовал с ЦК создание в СССР двух научных центров, которые должны были вести работы по стеллараторам: один – головной – в Харькове (под руководством В. Т. Голока), другой – в своём институте (под руководством Е. К. Завойского).

В ИАЭ стелларатор расположили в одной из двух башен здания 102, предварительно удалив оттуда генератор Ван-де-Граафа, который был там ранее поставлен для ядерно-физических исследований малых и средних энергий. К работам по стелларатору были привлечены также внешние организации: ЦКБ-1 (директор С. В. Мамиконян) и Институт вакуумной техники (директор С. А. Векшинский). Первый получил 20 тысяч часов для своих работы на установке. По этой тематике в секторе Е. К.

¹⁴² Личный архив Е.К. Завойского.

Завойского были задействованы сотрудники: Б. И. Гаврилов, П. И. Блинов, Л. И. Закатов, Ф. В. Карманов, П. А. Черемных, В. М. Щеголь, В. А. Агафонов.

В начале января 1960 г. И. В. Курчатов в сопровождении ряда лиц (в их числе был и Е. К. Завойский) ездил в Харьков, чтобы обсудить дальнейший ход работ по управляемому термоядерному синтезу в стране с директором Харьковского физико-технического института К. Д. Синельниковым.

Евгений Константинович взял с собой в эту поездку своего молодого сотрудника В. Д. Русанова (будущий академик РАН), которому запомнилось, что в поезде из нескольких партий в шахматы он выиграл у своего шефа одну и был очень горд этим. А ещё Владимир Дмитриевич припомнил, что ночью Евгений Константинович не мог уснуть, потому что его мучил вопрос, связанный с целью визита в Харьков, и решил его¹⁴³.

Академик К. Д. Синельников, как известно, заложил все современные направления исследований в Харьковском физтехе. В частности, в 1956 г. им был создан специальный научный отдел физики плазмы, который он сам и возглавил.

В Харькове И.В. Курчатов посетил плазменные лаборатории института Синельникова. Вот что рассказал член-корреспондент В.Т. Толлок: «Возле установки «Снег» для высокочастотного нагрева плазмы Курчатов задержался надолго. Сидел на табурете, отдыхал. Мы окружили его со всех сторон. Не верилось, что сам Курчатов, живая легенда, создатель всех современных видов оружия, атомной энергетики, атомного флота, сидит запросто в нашей лаборатории и о таинственном термояде говорит как о самом обыкновенном деле.

И вот так, вдруг, он просто говорит нам, молодым, примерно такое: «Я получил у Хрущева достаточно денег на развитие термоядерных работ. Считаю, что надо усилить их на Украине, в Харькове, в частности. Будете строить большой стелларатор? Согласны?»...

«По своим параметрам установка, которой Курчатов дал имя «Украина», – продолжает В. Т. Толлок, – значительно превосходила все известные термоядерные установки в мире. Её размеры вполне соответствовали масштабам личности самого Курчатова. Новая установка должна была быть стелларатором – оригинальной магнитной системой для удержания

¹⁴³ Устное сообщение В.Д. Русанова. 1992 г.

высокотемпературной плазмы, предложенной американским астрофизиком Лайманом Спицером»¹⁴⁴.

После возвращения И. В. Курчатова в Москву состоялось заседание термоядерной секции Научно-технического совета Министерства среднего машиностроения, курировавшего Харьковский физтех. Заседание проходило в ИАЭ под председательством Игоря Васильевича. «В переполненном конференц-зале, – рассказывает далее В. Т. Толок, – высокие чиновники различных министерств, директора проектных и строительных организаций. Много сотрудников ИАЭ. Председатель объявляет очередной вопрос: «О сооружении в Харьковском ФТИ крупной термоядерной установки». И тут в зале раздаётся громкое: «Не дай Бог!», и академик Л. А. Арцимович, руководитель отдела плазменных исследований в ИАЭ (где разрабатывались свои термоядерные установки-токамаки), встаёт со своего места и демонстративно идёт к выходу.

Я был шокирован. Перечат Курчатову? Однако зал отреагировал на этот выпад как-то спокойно, а Курчатов, казалось, вообще не обратил внимания. Тогда я подумал, что Игорь Васильевич был, очевидно, готов к чему-то подобному»...

Спланированные И.В. Курчатовым работы шли гигантскими темпами. В. Т. Толок, назначенный ответственным за их проведение, должен был съездить на родину стеллараторов, в Принстон. Е. К. Завойскому оформляли командировку в Англию¹⁴⁵.

6 февраля 1960 г. Курчатов беседовал с Е. К. Завойским у себя дома по поводу планировавшихся работ, а на следующий день Игорь Васильевич скорпостижно скончался. В Харькове продолжать работы оказалось непросто. «Без Курчатова активизировалась притихшая было «научная» оппозиция», – пишет В. Т. Толок. – Лев Андреевич Арцимович, обозначивший своё отношение к стелларатору «Украина» ещё на заседании термоядерной секции, на совещаниях был только один раз. На

¹⁴⁴ Толок В.Т. Последнее задание Курчатова // Научно-популярный журнал Университеты. В сокращенном варианте этот материал был опубликован в журнале «Атомная энергия». 1978. Т. 44, № 1. С. 78-82; Толок В. Т. Жизнь моя... Итоговый отчёт в трёх частях. Харьков, 2006.

¹⁴⁵ Архив РНЦ «Курчатовский институт». Ф. 1. Оп. 3 л/д. Д. 9362. Л. 9.

остальные присылал своих подчинённых. Они пытались, было, просто сорвать обсуждения».

Стеллараторные работы полностью перешли в Харьков, а в секторе Завойского были прекращены.

УТС БЕЗ КУРЧАТОВА

В марте 1960 г. академик И. В. Курчатов собирался в составе правительственной делегации во главе с Н. С. Хрущёвым посетить Францию и прочитать лекцию в Центре ядерных исследований в Сакле¹⁴⁶. Работы в руководимом им институте развивались стремительно, и он хотел познакомить с ними иностранных учёных. По проблеме УТС у него в институте одновременно работали коллективы Л. А. Арцимовича, И. Н. Головина и Е. К. Завойского. Курчатов успел написать только первую часть доклада, которая была посвящена исследованиям плазмы на установке «Огра». Возможно, Игорь Васильевич собирался рассказать также о работах Завойского¹⁴⁷, но об этом мы уже никогда не узнаем.

Со смертью академика И.В. Курчатова закончилось первое десятилетие советских исследований по управляемому термоядерному синтезу (1951-1960). Во главе термоядерных работ СССР встал Лев Андреевич Арцимович, который руководил ими следующие тринадцать лет, возглавляя одновременно Отдел плазменных исследований в ИАЭ, Отделение общей физики и астрономии АН СССР и принимая активнейшее участие в Пагуошском движении.

Значительным достижением курчатовского периода работ по УТС явилось, безусловно, рассекречивание ряда этих работ не только в СССР, но и за рубежом. За это десятилетие в США, Великобритании, Франции, Германии и в Швеции так же, как и в СССР, определились лидеры этого направления, представлявшие свои страны на международных мероприятиях, где они озвучивали рассекреченные достижения своих стран в области УТС, планировали новые работы. В то время это были Ханнес Альфвен (Швеция), Лев Арцимович (СССР), Людвиг Бирман (Западная

¹⁴⁶ Курчатов И. В. О некоторых результатах исследований по управляемым термоядерным реакциям, полученных в СССР // УФН. 1961. Т. LXXIII, вып. 4. С. 605-610.

¹⁴⁷ Известно, что в начале 1960 г. И. В. Курчатов очень часто посещал «объект» Завойского (здание 102). Устное сообщение Т.А. Косиновой (30.11. 2009 г.).

Германия), Эдвард Теллер (США), Питер Тонеманн (Великобритания). Со временем их сменили другие лица¹⁴⁸.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Благодаря рассекречиванию работ по УТС началось международное сотрудничество учёных, что не могло не сказаться положительно на прогрессе в этой области. Так, в 1958 г. на Второй Женевской конференции был зачитан доклад Л. А. Арцимовича, но сам академик не был выпущен за границу (здесь могло сыграть свою роль упомянутое выше письмо А. С. Монины¹⁴⁹). В докладе говорилось: «Мы не должны недооценивать трудности, которые нужно преодолеть, прежде чем мы научимся управлять термоядерным синтезом. Самый важный фактор гарантированного успеха – это продолжение и дальнейшее развитие международного сотрудничества, инициированного нашей конференцией».

Э. Теллер, отец американской водородной бомбы, писал: «Примечательно, как близко шло параллельное развитие в разных государствах, и это, конечно, вызвано тем, что мы все живём в одном и том же мире и подчиняемся одним и тем же законам природы... Замечательно, что в огромной и важной области исследований мы можем теперь говорить и работать свободно вместе. Я надеюсь, что дух сотрудничества будет продолжаться, что он будет практиковаться по всему миру в этой области и будет расширен также до других областей»¹⁵⁰.

Кроме такого важного фактора как международное сотрудничество ученых-физиков рассекречивание работ в области УТС имело ещё один, не менее значительный, но не всегда положительный эффект. Это появление отряда журналистов, призванных освещать достижения в этой области знаний, ранее строжайше засекреченной. При централизованной советской цензуре то, что выходило из-под пера журналистов-физиков¹⁵¹ и

¹⁴⁸ В 2007 г. число стран, занимающихся проблемой термоядерного синтеза, выросло до 50 // *Current Trends in International Fusion Research. Proceedings of the Fourth Symposium*. Ed. by Ch. D. Orth and E. Panarella. 2007. P. 4.

¹⁴⁹ Появление письма А. С. Монины должен был стимулировать, по логике вещей, чей-то донос.

¹⁵⁰ Teller E. Peaceful Uses of Fusion // *Proceedings of the Second United Nations International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy*. 1958. Vol. 31. P. 27.

¹⁵¹ Редакция газеты «Известия», например, привлекла в ряды своих корреспондентов выпускника Московского физико-технического

не-физиков, не могло быть плодом их собственных наблюдений, выводов и оценок. Руководящие идеи, в том числе и пропагандистского характера, спускались «сверху», а на долю журналистов оставалось изложение услышанного и увиденного в меру знаний и таланта. В качестве примера приведу эмоциональную цитату из книги Владимира Орлова «Атом богатырский»: «Москва, сентябрь 1961. Ощущение величия, мощи и размаха охватывает нас уже при въезде на территорию, столь обширную, что для сообщения между разбросанными по ней корпусами приходится пользоваться автомашиной (долгое время это практиковалось по режимным обстоятельствам, чтобы приглашённый оставался под контролем и попадал только в пункт своего назначения. – Н. З.). Это чувство усиливается, когдаходишь в здания и оказываешься в исполинских помещениях, напоминающих цехи крупнейших заводов ... Журналист, а возможно, и инженер, привыкший к обычной классической технике, вероятно, станет в тупик при виде этих необыкновенных машин – фантастических гибридов представителей самых различных областей индустрии. К установкам, похожим на аппаратуру химической технологии, подступает дремучая чаща трубопроводов, белый иней покрывает узлы труб, и над ними курятся светлые струйки пара, характерные для устройств глубокого охлаждения, группы мощных насосов наводят на мысли о вакууме, а медные шины и белые изоляторы свидетельствуют о вторжении электроники. Вспоминаются не листы учебников технологии, а страницы научно-фантастических романов... На машинах получается и обрабатывается материя в её изначальной, первозданной форме, называемой плазмой...

Где же находится эта космогоническая мастерская, в которой не волею божьей, а руками человека дерзновенно создаются детали небесных светил? Укажем точный адрес: Москва, Институт атомной энергии Академии наук СССР имени И. В. Курчатова, лаборатории, занимающиеся проблемами физики плазмы и управляемых термоядерных реакций»¹⁵².

(продолжение следует)



института Бориса Коновалова, который много лет на её страницах освещал атомную и космическую темы.

¹⁵² Орлов В. Атом богатырский. М., 1962. С. 168-169.

Владимир Тихомиров

Алексей Алексеевич Милютин

Приложения. А.В. Дмитрук,
Н.П. Осмоловский. Воспоминания



Алексей Алексеевич Милютин (1925-2001) был выдающимся математиком, ему принадлежат фундаментальные результаты в функциональном анализе, вычислительной математике и теории экстремальных задач. Творчеству А. А. Милютина посвящена статья его учеников А. Б. Дмитрука и Н. П. Осмоловского, помещенная во второй части этого сборника.



Алексей Алексеевич Милютин родился 27 июля 1925 г. в Москве. Его родители — Алексей Павлович Милютин и мать Ольга Самойловна Вейланд — были революционерами. В первые послереволюционные годы они принимали активное участие в

партийном и государственном строительстве, а затем были на журналистской работе: отец был редактором на радио, мать в издательстве журнала «Работница».

Школьные годы А. А. пришлось на предвоенное и военное время. В 1941-42 годах Милютины были в эвакуации, сначала под Рязанью, затем в Татарии, где А. А. окончил девятый класс. Аттестат об окончании школы он получил в Москве. По возвращении из эвакуации он завершил среднее образование на специальных курсах при Московском государственном университете.

В 1943 году он поступил на Мех-мат, окончил его в 1948 году и поступил в очную аспирантуру (его научным руководителем был В.В. Немыцкий). О его кандидатской диссертации рассказано в статье А.Б. Дмитрука и Н.П. Осмоловского.

Затем в творческой судьбе Алексея Алексеевича произошел существенный поворот: Милютин получил направление в Институт физических проблем для расчётов, связанных с ядерной тематикой, возглавлявшихся Л.Д. Ландау. А.А. Милютин выявил на новом поприще замечательные способности, и когда в 1954 году Н. Н. Семенов решил организовать в своем Институте химической физики вычислительную группу, организация ее была возложена на Л. А. Чудова и А. А. Милютина, который по просьбе Н. Н. Семенова перешел в институт Химфизики. Там Милютин осуществил подготовку группы вычислителей высшего класса, с которой осуществлял работы, имевшие исключительную прикладную актуальность, например, о возможности обнаружения ядерных взрывов в воздухе и под землей.

В начале шестидесятых годов А.А. Милютину была предоставлена возможность более активно заниматься теоретическими исследованиями. Он, совместно со своим другом А.Я. Дубовицким, выбрал для исследования теорию оптимального управления.

В течение прошедшего полувекового периода очень многие математики во всем мире испытывали и испытывают влияние творчества А. А. Милютина. Я причисляю Алексея Алексеевича к числу своих учителей. Очень многим обязана ему наша кафедра Общих проблем управления.

А.А. Милютин трудился до последней минуты своей жизни: он умер, выступая на своем семинаре, 20 апреля 2001 года.

В.М.Тихомиров

Н.П.Осмоловский

Мои первые встречи с

Алексеем Алексеевичем Милютиным

Я познакомился с Алексеем Алексеевичем в 1969 году. Будучи студентом 2-го курса, я должен был выбрать научного руководителя. Герман Юрьевич Данков посоветовал мне идти к А. А. Милютину. «За три года Вы многому у него научитесь», — сказал Данков. Герман Юрьевич немного ошибся: «учеба» продолжалась более тридцати лет.

В то время Алексей Алексеевич начал работать на полставки на недавно организованной кафедре Общих проблем управления. Он защитил докторскую диссертацию, посвященную принципу максимума для задач с фазовыми ограничениями. Вместе со своим другом и коллегой А. Я. Дубовицким Милютин разрабатывал тогда принцип максимума для задач со смешанными ограничениями.

Наше общение началось с того, что А. А. предложил мне несколько задач по функциональному анализу разной степени сложности. Среди них была и такая. Пусть в банаховом пространстве имеется конус K такой, что алгебраическая разность $(K - K)$ есть все пространство. Доказать, что если линейный (в алгебраическом смысле) функционал неотрицателен на K , то он непрерывен. Через некоторое время А. А. встречает меня в клубной части Главного здания и спрашивает: «Ну как, решили задачи» «Не все», — отвечаю я. «Ну, приходите ко мне в институт, поговорим». Основным местом работы А. А. был Институт химической физики АН, возглавляемый тогда Нобелевским лауреатом академиком Н. Н. Семеновым. В институте А. А. занимался счетом прикладных задач на ЭВМ. По-видимому, у него был особый дар вычислителя. Он говорил, что по звуку работы компьютера можно иногда определить, правильно ли идет счет. Семенов относился к Милютину с большим уважением и позволил ему иметь свободный режим работы. Благодаря этому А. А. в основном работал дома, занимаясь любимым делом: математикой, а также ухаживая за двумя любимыми чадами: маленькой Катей и старшей Ирой. А. А. был замечательным отцом и всегда трогательно заботился о своих девочках. Жена Алексея Алексеевича, Полина Вульфовна, работала врачом-терапевтом в поликлинике АН. Ей, в отличие от А. А., приходилось, конечно, бывать на работе, поэтому дневные заботы о дочерях в основном ложились на А. А. Это его нисколько не тяготило, а скорее наоборот, доставляло радость и удовольствие. На своем 75-летию А. А. сказал, что его лучшие теоремы - это Ира и Катя.

Но вернемся в зимний вечер конца 69 года, когда состоялась наша первая продолжительная встреча с А. А. В назначенное время я явился в деревянный флигель на Ленинских Горах, наверху которого помещалась лаборатория вычислительных методов. Мы подробно обсудили решения всех поставленных А. А. задач, в том числе и тех, которые мне не удалось решить, а потом беседа перешла на другие темы: учеба, увлечения, планы на будущее. Помню то приподнятое настроение, в котором я покинул флигель на Ленинских Горах. В жизни появились новые краски и радужные перспективы.

С этого момента наши встречи с А. А. стали регулярными. Я стал ходить на его семинар, на котором получил тему своей первой курсовой работы. Помню, что для ее выполнения мне пришлось изучить принцип максимума для задач с фазовыми ограничениями по большой статье Дубовицкого и Милютин 1965 г., напечатанной в 6-м номере ЖВМ и МФ. Это – замечательная работа, очень просто и ясно написанная, содержащая рецепты того, как следует выписывать необходимые условия экстремума в разных классах задач с ограничениями. Впоследствии описанный в ней метод приобрел большую популярность и стал называться схемой Дубовицкого-Милютин. Метод позволял получать как все известные тогда необходимые условия первого порядка, так и некоторые новые, например, принцип максимума для фазовых ограничений. Кроме того, в статье содержался подход к получению условий второго порядка, названный методом критических направлений. Этим методом весьма просто можно было вывести условия второго порядка в гладких задачах с неравенствами, например, в математическом программировании. К сожалению, очевидные, с точки зрения доказательств, результаты по условиям второго порядка не были в статье даже сформулированы, что впоследствии привело к появлению аналогичных, но менее полных результатов на эту тему. Положение частично было исправлено лишь спустя 8 лет, когда условия второго порядка, вытекающие из статьи 65 года, были опубликованы и доказаны, правда, в качестве иллюстрации другой, более полной теории условий высших порядков. Аналогичная ситуация сложилась и с условиями первого порядка, вытекающими из статьи. Однако подчеркну еще раз, что статья 65 года – это одна из наиболее прозрачных (легко понимаемых) работ авторов, не утратившая своего значения и по сей день. Я сравнительно легко преодолел чтение этой статьи и доказал требуемый результат. Как оказалось, этот результат был основным в кандидатской диссертацией одного харьковского математика, которую оппонировал Милютин.

Соискателю пришлось гораздо труднее, чем мне, поскольку он не был знаком с принципом максимума для задач с фазовыми ограничениями (приводившим к ответу гораздо быстрее, чем это было сделано в диссертации).

А.В. Дмитрук, Н.П. Осмоловский **О семинаре Алексея Алексеевича Милютина**

На протяжении почти тридцати лет, с начала 1970-х по апрель 2001 г., А. А. вел научный семинар по теории экстремума, о котором здесь стоит сказать особо (параллельно им проводился учебный семинар для студентов, закончившийся в середине 1970-х в связи с формальным уходом А. А. из университета). Семинар предназначался в первую очередь для его мехматских учеников, но впоследствии на нем присутствовали и другие участники. В числе многолетних постоянных участников были Е. С. Левитин (с самого его начала до середины 1980-х), Н. П. Осмоловский, А. В. Дмитрук (весь период), В. В. Дикусар, И. Л. Барский, А. П. Афанасьев (с конца 1970-х до конца периода), С. В. Чуканов (с конца 1970-х до начала 1990-х).

К проведению семинара А. А. относился очень серьезно: в «системе его приоритетов» (как он любил выражаться) семинар занимал очень высокое место. Без постоянного обсуждения занимавших его математических вопросов, без регулярного семинара он просто не мог жить. (Это помимо того, что через каждые день-два он звонил своим ученикам и как минимум час обсуждал эти вопросы). Первые годы семинар территориально проходил на мехмате и продолжался обычные 2 академ. часа, но затем стал более продолжительным, и поэтому, главным образом из-за трудностей с поиском аудитории на 2 пары, стал проходить в стенах других институтов - в основном во ВНИИСИ и на ВЦ РАН (где аудитории обеспечивали А. П. Афанасьев и соответственно В.В. Дикусар). Длился он теперь от 4 до 6 астрономических часов без какого-либо перерыва.

Встречались мы (с начала 1980-х) обычно у метро Академическая и шли пешком до соответствующего института. На самом семинаре, кроме самых первых его минут, когда все рассаживались, обменивались текущими новостями и готовили доску, не допускалось никаких посторонних или каких-либо расслабляющих разговоров: надо было быть предельно внимательными, чтобы не потерять нить рассуждений, как правило далеко не тривиальных, так что отвлекаться было просто некогда.

На семинаре в основном разбирались работы его

участников, и прежде всего, идеи и результаты самого А. А. Он же был и главным докладчиком на протяжении всего времени существования семинара. Больше того, он был, так сказать, полным диктатором, не столько по формальным причинам (ведь с конца 1970-х годов весь коллектив семинара не был связан никакими административно-юридическими рамками – это был в буквальном смысле, как говорили классики, «свободный труд свободно собравшихся людей»), сколько в силу своего абсолютного профессионального превосходства, которое заключалось в гораздо большем опыте и, что более важно, в гораздо более глубоком понимании сути обсуждаемых проблем. Последнее, кстати, относилось не только к его ученикам, но и к «внешним» докладчикам, которые изредка появлялись на семинаре, и надо сказать, вызывало даже некое чувство интеллектуальной неполноценности и у тех, и у других. Часто случалось так, что докладчик, рассказав только постановку задачи (свою или чужую), далее мог простоять у доски до конца семинара, почти не имея возможности открыть рот, и с удивлением узнавал, что его понимание вопроса – далеко не столь полное и глубокое, как ему до этого казалось.

Правда, стоит также отметить уважительное и деликатное отношение А. А. к специалистам не математических, «инженерных» профессий, изредка выступавших на семинарах или приходивших за советом. А. А. неоднократно высказывал ту мысль, что если к математику обратились с вопросом, лежащим в сфере его компетенции, то он не имеет права уклониться от консультации; более того, он обязан добросовестно разобраться в существе дела и дать свои рекомендации. Он и сам неукоснительно придерживался этого принципа, и требовал того же от своих учеников. Случалось так, что консультации растягивались на длительный срок и превращались в научное сотрудничество, заканчивавшееся публикацией. Но на нашей памяти не было случая, чтобы А. А. стал соавтором такой публикации, хотя его вклад мог быть очень большим. И нам он не советовал поступать подобным образом: помощь должна быть бескорыстной.

Все теоретические вопросы, задачи и результаты участников семинара и даже рефераты чужих работ разбирались на семинаре с полными доказательствами (не в буквальном смысле, конечно). Чисто информационных докладов никогда не было в принципе – к ним А. А. относился крайне отрицательно, можно сказать, с «классовой неприязнью». Вообще, присутствие на семинаре предполагало, по крайней мере, от его постоянных

участников, максимальную активность и полную погруженность во все детали изучаемого вопроса или задачи. Более того, к каждому семинару его участники должны были серьезно готовиться – проработать материалы предыдущих заседаний, думать над нерешенными вопросами. Если А. А. замечал, что этого не было, он обычно говорил с легким укором: «Братцы, вы что же, в кино пришли?» или так: «Ну-у, пришли тепленькие!»

Если кому-то поручалось сделать реферативный доклад по работе постороннего автора, то это отнюдь не означало, что надо просто сообщить о результатах, полученных в данной работе. Это означало, что докладчик должен разобраться не только в постановке задачи и формулировке результатов, но и в доказательствах автора, при этом отделить в нем существенные моменты от второстепенных, а еще лучше - дать свое, более «правильное» доказательство. Вся эта непростая обязанность докладчика называлась «отреферировать» работу такого-то. (При получении такого задания обреченный тяжело вздыхал.)

Отсутствие на семинаре кого-либо из основных участников являлось исключительным событием; о намерении пропустить семинар надо было предупредить А. А. заранее и иметь на то очень вескую причину. Например, необходимость попасть в иностранное посольство для оформления визы не считалась уважительной причиной: семинар был безусловно важнее.

Обсуждение математических вопросов по телефону также протекало в строгих рамках. Присутствие гостей в доме или другие подобные причины не могли быть поводом для того, чтобы сократить или прервать разговор. Лишь необходимость успеть на лекцию или занятие позволяла это сделать, да и то с трудом. Столь жесткое отношение к коллегам могло показаться странным и чрезмерным. В действительности оно мобилизовывало и позволяло постоянно двигаться вперед, не сбываясь на посторонние занятия, такие как, например, зарабатывание денег и решение бытовых проблем.

К себе А. А. предъявлял очень высокие требования, работая очень много и продуктивно, поэтому было естественно требовать столь же интенсивной работы и от своих учеников. Надо сказать, что временами таким требованиям трудно было соответствовать, и не все это выдерживали.

После семинара мы обычно шли пешком, провожая А. А. до его дома недалеко от станции метро Беляево, беседуя при этом на различные темы. Семинар оставлял большой материал для работы и пищу для размышлений на ближайшее время. Он задавал

очень хороший ритм, который поддерживал его участников в постоянной «боевой» форме.



Павел Нерлер

Юрий Иваск и благодать ПОЭЗИИ

*...А выше благодать поэзии Мандельштама. Так я
понимаю мое дело*
Юрий Иваск



Юрий Павлович Иваск родился 1 сентября 1907 года в Москве, в 1920 году вместе с родителями переехал в Эстонию, сначала в Ревель (Таллин), а потом в Юрьев (Тарту). По окончании юридического факультета Юрьевского университета работал налоговым инспектором в Печерском районе. Участник таллинского «Цеха поэтов», один из основателей журнала «Русский магазин», где печатались А.Ремизов и Б.Поплавский. Об этом времени он отзывался так: *«...Не было старших руководителей, мэтров. Им не мог стать Северянин, а я с ним встречался. До всего надо было доходить своим умом (правда, не одному, а с друзьями). Я ведь знал наизусть стихи Бальмонта, Волошина, Гумилева... Начиналось царствие Блока, но понемногу под него “подкапывалось” обаяние Осипа Мандельштама. Будто бы хорошо его читал...»¹.*

Во время визитов в Париж, познакомился с М.Цветаевой (с которой переписывался), З.Гиппиус и Д.Мережковским. В литературе имеются указания и на коллаборационистское прошлое Иваска во время войны², но сам он утверждал, что, как и большинство прибалтийских немцев, был вывезен в Германию еще

¹ См. в письме к А. Бахраху от 12-14.11.1982 (Bachmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. Bacherac Papers, Box 2).

² См. подробнее в: Богомолов Н., Нерлер П. Иваск Юрий Павлович // О.Э.Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. М.: РГГУ, 2007. С. 77.

до начала войны. Поступив на отделение славистики Гамбургского университета, он проучился там до 1949 года, когда эмигрировал в США и начал свою академическую карьеру в Гарварде. В 1955 получил гражданство США и защитил в Гарварде диссертацию на тему «Вяземский как литературный критик». Одно время (в 1953-1958 гг.) редактировал нью-йоркский журнал «Опыты»; в 1953 году в издательстве имени Чехова выпустил антологию эмигрантской поэзии («На Западе. Антология русской эмигрантской поэзии»). Преподавал русскую литературу во многих американских университетах – Калифорнийском, Беркли (1956), Канзасском (1956-1960), штата Вашингтон, Сиэтл (1960-1968), Вандербилт (1968-1969). Его последней станцией и приютом стал Амхерст в штате Массачусетс: здесь он проработал в 1969-1977 гг. и вышел на пенсию. Здесь и умер – 13 февраля 1986 года.



Юрий Павлович Иваск

Не счесть его статей, эссе и рецензий – на самые разные темы и книги. Мандельштам был, бесспорно, его любимым поэтом, что щедро отражалось и в его публикациях, и в его переписке. Статья Иваска «Дитя Европы» была помещена в качестве вступительной в третьем томе собрания сочинений О.М. (1969).

А еще, как выясняется, и одной из целей одного необычайно интересного и оригинального историко-литературного проекта, названного им одним, но емким словом – «Акмеизм».

1950-е и начало 1960 годов – это время не только открытия и издания мандельштамовских текстов, но и время такого же открытия (буквально!) и освоения его биографии, о которой на

Западе было известно на удивление мало. Претенциозные пошлости и фантазии эмигрантских мемуаристов 1950-х гг. (прежде всего Сергея Маковского и Георгия Иванова) были возможны только в информационном вакууме Холодной войны. Слишком многое оставалось загадочным и неизвестным и слишком высоки были незримые «берлинские» и иные стены, возведенные между Западом и Востоком, чтобы накопление и осмысление знаний шло нормальным и естественным путем.

В самом конце 1950-х гг. Иваск, в то время профессора Университета штата Вашингтон в Сиэтле, одним из первых осознал, что и на Западе были свои «целинные земли», свои информационные заповедники и что их тоже надо осваивать и изучать. И тогда в его голове зародилась идея проекта «Акмеизм».

Он задумал ни много ни мало «фольклорную экспедицию» или, как нынче принято говорить, «Oral History Project». Предполагалось записать на магнитную ленту серию интервью с русскими литераторами-эмигрантами в Европе, причем предметом разговора должны были стать акмеизм, акмеисты, круг журнала «Аполлон», первого и второго Цеха поэтов и т. д., а также эмигрантская литература в целом. Приветствовалась и запись авторского чтения интервьюируемых их стихов.

Проект «Акмеизм» был одобрен летом 1959 и осуществлен летом 1960 года³. На протяжении почти трех месяцев – с 11 июня по 7 сентября – Юрий Иваск находился в Европе и посетил Париж (здесь на протяжении одного месяца ему помогал другой участник проекта – профессор Университета штата Индиана Уолтер Викарли), Мюнхен, Базель, Стокгольм и Ниццу.

Была сделана в общей сложности 21 запись интервью с 16 «респондентами». Ими были: во Франции – С.Маковский, А.Трубников, граф А.Зубов, Г.Адамович (несколько интервью), А.Элькан, И.Одоевцева-Иванова, Ю.Терапиано, Ю.Ржевский, В.Вейдле, В.Злобин, Б.Зайцев, Ю.Газданов, в Германии –

³ Спонсорами проекта выступили Американский Совет научных обществ (American Council of Learned Societies), Фонд Элизабет Ваткинс при Канзасском университете и др. Датированный 12 октября 1960 года отчет об этом проекте, хранится в архиве «Воздушных путей» в Библиотеке Конгресса США (Library of Congress, Manuscript Reading Room, Coll.3775 “Vozdushnye Puti”, Box 6, f.1952). В Амхерсте, в личном архиве Ю.Иваска, имеется большой массив материалов, связанных с реализацией этого проекта (см.: Amherst College, Center for Russian Culture, Collection Ju.Ivask, Box.10, ff.4-10).

Ф.Степун и Й.фон Гюнтер, в Швеции – С.Риттенберг. Кроме того 15 русских поэтов и прозаиков – Г.Адамович, Ю.Анненков, Л.Червинская, И.Чиннов, А.Элькан, В.Корвин-Пиотровский, Г.Маковский, В.Мамченко, И.Одоевцева-Иванова, К.Померанцев, С.Прегель, Г.Раевский (Оцуп), Ю.Терапиано, А.Величковская и В.Злобин – записали свои произведения на магнитную ленту для будущей «Антологии эмигрантской поэзии и прозы». И.Одоевцева написала об этом начинании заметку в «Русской мысли»⁴.

На протяжении всей поездки Иваск вел дневник: собранные материалы виделись ему основой исследования об акмеизме и акмеистах. В отчете о проекте говорится и о намеренье продолжить эту работу и взять интервью еще и у таких, живущих в Америке, авторов как Н.Берберова, А.Лурье, Г.Струве, И.Елагин и др. Весомая часть уже собранных материалов экспедиции, – в том числе некоторые расшифровки отдельных бесед, – находятся в архиве Центра Русских исследований в Амхерст-колледже в штате Массачусетс⁵ и была опубликована Н.Богомоловым последовательно в 2003, 2008 и 2010 гг.⁶ Дополнения будут возможны только после обнаружения магнитофонных бабин.

В амхерстском⁷ архиве Иваска хранится письмо от Н.Я.Мандельштам (коробка 15, папка 43). Оно написано черной шариковой ручкой, на бумаге в клеточку, вырванной из тетрадки на спиральках. Его, судя по всему, переслал Иваску Н.А.Струве, в архиве которого есть ксерокопия этого письма (по ней, очевидно, он и опубликовал само письмо в «Третьей книге» Н.Я.Мандельштам⁸). Вот его полный текст:

Милый Юрий Павлович!

⁴ Андрей Луганов [И. Одоевцева]. Звуковая антология. // РМ.1960. 13 авг. С.7.

⁵ Amherst College. Center For Russian Culture: Collection Ju.Ivask, Box 10, ff.4-10.

⁶ См. в его работах: Проект "акмеизм" // НЛЮ. 2003. № 58. С. 140-180; [Приложение] // Кафедра критики – своим юбилярам. Сборник в честь В.Г.Воздвиженского, Л.Ш.Вильчек, В.И.Новикова. М., 2008. С.23-32; Вокруг «серебряного века». Статьи и материалы. М. 2010. С.485-533.

⁷ Здесь хранится основной архив Ю.П.Иваска. Две части своего архива он продал еще при жизни в университеты Гарварда (письма М.Цветаевой) и Йеля (письма Н.Бердяева, П.Бицилли, А.Штейгера, А.Ульберга, Г.Адамовича, И.Булнина, Б.Зайцева).

⁸ Мандельштам Н. Третья книга. Париж, 1987, с.332, с датировкой «осень 1976», по копии из архива Н.А.Струве.

Очень была рада получить от Вас весточку. Сейчас О.М. есть в огромном количестве экземпляров – ксерокопии, конечно. Вы считаете вершиной О.М. «Венецию». Он считал центром «Стихи о неизвестном солдате». Я их не позволила напечатать в советском издании, потому что Харджиев (редактор) хотел тиснуть без последней строфы («И в кулак зажимая истертый...»). Дурак и скотина – я из Воронежа привезла ему рукопись (моей рукой), когда этой строфы еще не было... Советские издания ужасны. У Харджиева переставлено в «Камне» 44 стихотворения. Он не понимает, что «книга» – это целостная форма. Предлагал мне уничтожить все в архиве, что не подходит под его концепцию. К счастью, я вырвала у него архив – он уже на западе. Иначе его бы уничтожили.

Жаль, что нам не суждено встретиться и поговорить. Но я уже стара. Жизнь идет к концу...

Надежда Мандельштам

Я – церковница (еврейка, православная в 3 поколения) и верующая. Благослови Вас Боже.

Привет Тамаре Георгиевне⁹.



Надежда Мандельштам, 1960-е

Далее, на отдельных листах, – пояснения Иваска (есть ранняя и поздняя редакции):

Это письмо Надежды Яковлевны было написано осенью 1976 г. и передано мне одним из моих друзей, посетивших ее в Москве.

⁹ Тамара Георгиевна – жена Ю.П.Иваска.

С Н.Я. я не встречался. Во Второй книге воспоминаний, изданных в 1972 г., она отнеслась ко мне насмешливо.

Н.Я. цитирует из очерка Осипа Мандельштама Слово и культура (1921 г.): «"Трава на петербургских улицах – первые побеги девственного леса, который покроеет место современных городов... Наша кровь, наша музыка, наша государственность – все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы...". Как мог наивнейший Иваск принять эти слова за утопию о будущем братстве? Чье братство – деревьев, камней, слов земли? Ведь в этой статье – тут же – говорится о земле без людей» (Вторая книга, стр. 131).

Здесь Н.Я. имеет в виду мой очерк о Мандельштаме «Дитя Европы» (Собр. сочинений Мандельштама, том III-ий, 1969): «Может быть, утраченное единство "арийцев" (Европы) было для него (Мандельштама) залогом будущего братства в "утопическом царстве" "новой природы Психеи" (Слово и культура) или "на святых островах", где "скрипящий труд не омрачает неба"» (1919 г.)»

Готов повиниться в том, что неправильно истолковал статью Мандельштама Слово и культура. Отмечу лишь, что вообще исторический пессимизм, всякая апокалиптика были ему чужды...

Далее следует еще одна фраза, но не на машинке, а от руки, и прочесть ее не представляется возможным.

Считается, что одновременно с этим письмом, Н.Я. прислала Н.Струве еще одно (оба сохранились в виде ксерокопии в архиве самого Н.Струве)¹⁰:

Милый Никита! Отправьте бумаги в Принстон или Иваску: Мазачузетс, город Амхерст. Надо это сделать. Я не хочу Франции. И я имею на это право.

Надежда Мандельштам.

В архиве самого Н.А.Струве оба эти письма – в виде ксерокопии, объединены на одном листе. Между письмами, рукой Струве, приписка, относящаяся, видимо, к письму Н.Я. к Иваску: «Оригинал у А.Н.Небольсина»¹¹.

Несколько слов и о датировке письма. Та, что дана Н.Струве при первой публикации и которую, похоже, повторяет Иваск в своем «комментарии», а именно: «осень 1976», едва ли верна, если только исходить из одновременности писем Н.Я. к нему и к Ю.Иваску: ведь сам архив О.М. уже в июне 1976 года был

¹⁰ Мандельштам Н. Третья книга. Париж, 1987. С.332.

¹¹ Аркадий Небольсин был близким знакомым Ю.Иваска.

в Принстоне. Более вероятной датировкой представляется «начало 1975», поскольку воля Н.Я. насчет передачи архива в Принстон еще достаточно расплывчата¹².

Это письмо Н.Я. было Иваску хорошо известно. Не без гордости он интерпретировал его как желание Н.Я. подарить свой архив лично ему, Иваску, о чем он пишет в письме к А.В.Бахраху, датированном концом февраля 1981 года, Иваск отозвался о нем так: *Великая НЯМ назвала меня в Восп<оминания>х наивным Иваском. Но года 4 т<ому> назад ее посетил мой лучший друг в США и, через свое обаяние, заразил моим... Она передала ему письмо – объявила меня хранителем всего пересланного лит<ературного> наследия ОЭМ, но оно оказалось в Принстоне и я туда иска не предъявлял. Там все лучше сохраняется. А письмо, м.б., и опубликую.*

В восприятии Иваска О.М. был одновременно святомуучеником и апостолом мировой культуры. В одном из писем к А.В.Бахраху (1978) он излагал это так: «...Мандельштам звезден как Давид и Дант. Хотя не мог написать Псалмов и Божеств. Комедию. В этом виновата наша эпоха, а не Мандельштам...»¹³. В другом письме к тому же адресату (от 15.10.1979) он формулировал еще категоричней:

...А выше благодать поэзии Мандельштама. Так я понимаю мое дело.

Очень высоко ставя поэзию Г.Иванова, Иваск проводил четкую черту между ним и О.М.:

О значении Мандельштама и Георгия Иванова спорить не хочу, но я уже давно, и не в частной беседе, провозгласил, как Папа ex cathedra¹⁴: первый – maestro divino – великий поэт, а второй очень большой. В этом считаю себя непогрешимым. (недатированное письмо к А.Бахраху, 2-я пол. 1980).

Эволюцию своего отношения к О.М. Иваск характеризовал так:

В 30-х гг. и я думал, что Мандельштам – только для поэтов и даже (увы) в 50-х. Но вот доходяги чертили его стихи на барачных стенах. Его воронежские стихи учат наизусть все высшие математики в Москве. (письмо Бахраху от 23 июля 1981 года).

¹² Возможно, уточнить это будет возможно по ознакомлении с письмом Н.А. Струве от 13.09.1975 (см.: Box 15, Folder 45, л.21).

¹³ Bachmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. Bacherac Papers, Box 2.

¹⁴ Правильно: ex cathedra

Мандельштама Иваск считал продолжателем традиции гуманистов в мировой и русской культуре. В письме к А.Бахраху от 25 июля 1979 года он объяснял это так: гуманист – это

...образованный человек, с ориентацией на светскую культуру, в особ<енно> классическую. Впервые реализовался в Петрарке. <...> В России, с разными поправками, можно назвать гуманистом Пушкина. Далее – это Мандельштам – и гуманист, и христианин. <...> После 1907 г. русское образованное общество (уже не интеллигенция...¹⁵) шло к гуманизму, уже не безбожному, а божному и к культуре. Помешали проклятые большевики. Отождествляя при этом культуру и христианство, Иваск.

На чем Ю.П.Иваск (как, впрочем, и Г.П.Струве) решительно настаивал, так это на истинном православии О.М. и Н.М. Откликаясь на смерть и похороны Н.М. он писал А.В.Бахраху 16 января 1981 года:

...Была НЯМ, иногда злющая, истинная христианка – выше всяких теплых православных. Не все это понимают. Мыслят шаблонами. И тут же обругал И.Бродского:

...Взбешен! В NY Review и Times (5.III.81) прочел статью Бродского на смерть НЯМ. Неплохо, умно, иногда даже сердечно, но от утаил православие обоих М-в, ибо оно в интеллект<уальном> хорошем обществе США неприлично! Сволочь!.

В конце февраля 1981 года он писал тому же корреспонденту:

...Я уверен, что ОЭМ не только православный, но и христ<ианский> Великомученик. Впрочем, досталось и самому А.В.Бахраху:

...О НЯМ – хуже (имеется в виду очерк Бахраха, по-видимому, в РМ. – П.Н.). Не заметили Вы ее молитвы об Осипе (в Мемуарах). Неисправимый позитивист, Вы не чувствуете величия обоих Мандельштамов. <...> Перечел: нет. Вы хорошо написали и заглавие прекрасное: НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА. Но не открылось Вам, как о.А.Шмеману и мне: Мандельштам равен Пушкину. (письмо от 6 марта 1981 года). И далее, об этом же:

¹⁵ В другом письме (от 15.10.1979) Иваск пояснил: «Если Вы не позитивист, то кто Вы – человек эпохи позднего акмеизма... (хотя т.н. акмеизм едва ли существовал 15 лет). Интеллигентны, **НО НЕ ИНТЕЛЛИГЕНТ**. Им был Федотов, но не Вейдле. <...> Настоящая интеллигенция **ИДЕЙНА** и **БЕСПОЧВЕННА** – знаете эти золотые слова Федотова. Помню – Синяевский сказал при мне: интеллигент Мандельштам. Очень резануло».

...НЯМ была злющая великая христианка. Христианские смиренницы недостойны были бы мыть ее ноги.

Я отцу А.Шмеману: - Мандельштам равен Пушкину.

Ответ: – Лучшие, ближе...» (28 марта 1981)

В другом месте Иваск противопоставлял О.М. третьей эмиграции, которую сильно недолюбливал¹⁶, чтобы не сказать не любил:

Конечно, я сочувствую и диссидентам, п<отому> ч<то> они гонимые. Но нужно и другое – огонек культуры без политики. <...> А вот святой Мандельштам мечтал о мировой культуре.



¹⁶ Выделял из нее разве что только Д. Бобышева, Н. Коржавина, А. Цветкова и еще – «Леню-математика, читающего М. по утрам» (из письма к А.Бахраху от 5-6.8.1979). Ср. в письме от 25.7.1979: «К нам всю зиму и весну ходил один аспирант 25 л. – высший математик, недавно из Одессы. Ночами решал головоломные задачи – а под утро читал Мандельштама...»

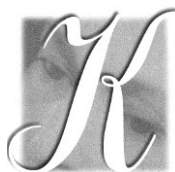
Эстер Пастернак

Стихия амфоры звенящей

Т"02

*"Между вами и поэтом – быт,
вы – в быту, не больше".*

Из письма М. Цветаевой Дону Аминадо
Ванв, 31 мая 1938 г.



огда Марине Цветаевой, жившей в то время во Франции, передали весть о смерти Сони Парнок, она ничем не выразила своего участия, и только сказала: *«О, это было так давно...»*

Да, это было давно. Но, во-первых – было, а во-вторых, – осталось циклом прекрасных стихов под названием «Подруга», созданных в лучших традициях Цветаевской лирики.

Марина Цветаева любила двух женщин – поэта *Софью* Парнок, и актрису *Софью* Голлидэй. Обе любви Цветаевой – еврейки, у обеих – одинаковые имена, у обеих трагическая судьба, обеих Цветаева не забывала до конца жизни, обеих, ненадолго, пережила.

Начнем с имен. На иврите слово *Софа* – סוּפָּה дословный перевод: *"Её кончина"*, соф, סוּפָּה – конец. Имя *Сафо*, с которой сравнивают Парнок, произносят ещё, как *Санфо* и имя её никак не связано с Софьей Парнок, хотя... случайностей нет, и – *"что в имени тебе моем"* – может вполне оказаться недоступной простому глазу, мистикой.

Итак, если ты мудра, ты – Софья, если нет, – Софа́.

Есть имена, как душистые цветы,
И взгляды есть, как пляшущее пламя...
Есть темные извилистые рты
С глубокими и влажными углами.

Есть женщины. – Их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. – Зачем тебе, зачем
Моя душа спартанского ребенка?

М. Цветаева

Честертон в книге «Что не так с этим миром» – критиковал феминизм, и в том числе утверждал, что женщины лишены эмоций: «*Хлоя холодна и миф романтиков о женской чувствительности – ложный*». По меньшей мере, странно, не правда ли?

Тютчев же вопрошает “волшебного призрака”, явившегося ему:

Кто ты? Откуда? Как решить
Небесный ты или земной?
Воздушный житель, может быть,
Но с страстной женскою душой.

А Гоголь в статье «Женщина» пишет: «*Что женщина? – Она – поэзия!*»

Мериме однажды изрек (не для ушей феминисток): «*Женщина прекрасна дважды – на ложе любви и на смертном ложе!*»

Поразмыслим над первой частью фразы. Перед нами – удвоенное прекрасное – две женщины, два поэта. Две страсти, заплетенные в один сонет, вспышка торжества жизни над смертью, ведь в любви умирают по-настоящему, а затем по-настоящему возрождаются, и так – вечно. Согласитесь, по-человечески – великий соблазн.

«...То, что разные существа нуждаются в разных иллюзиях, чтобы испытать желание или ревность, ничего не меняет в ценностях любви»¹.

На мой вопрос одной поэтессе, знакома ли она с поэзией Парнок, последовало:

«Да, да, что-то такое... Была, вроде, с вывихом...»

Встреча Парнок с Цветаевой, это, прежде всего, встреча двух поэтов, за одну встречу проживших целую жизнь, а жизнь творческого человека выходит за все рамки, за все круглые и квадратные скобки.

Нелегко обойти некоторые стороны из жизни творческих людей, соблазн велик и требует удовлетворения. Чтобы предупредить подобное «ковыряние» И.Бродский был скрупулезно точен в фактах (внешних) и писанных, понимая, что ждет его выстраданные тексты, его речи, его встречи, и его неприязни².

¹ Андре Моруа «В поисках Марселя Пруста».

² «Я прошу своих друзей и родственников не сотрудничать с неавторизованными изданиями биографий, биографических

Г. Горчаков в воспоминаниях о Цветаевой, писал: *«Когда читаешь многие воспоминания о М. Цветаевой, то представляется, будто речь идет не о великом поэте, а так, о какой-то странной, неуживчивой соседке, даме с плохими манерами и большими претензиями, которая где-то училась и недоучилась, сочиняет длинные поэмы, которыми занимает занятых людей».*



София Парнок

Марина Цветаева никогда не уходила в любовь, как в провинцию. Для неё ничто не начиналось и не кончалось «поцелуйными касаниями», и словарь любви не начинался с буквы **т** – тело, и не кончался на **ч** – чувство. Было в нём **д** – душа, есть **о** – озарение, есть **б** – близость душ, есть **м** – мы, есть **р** – рай, есть **в** – время-вечность.

Попытавшись выявить различие между любовью-влечением, любовью-страстью и любовью-тщеславием, Стендаль определил явление, назвав его «кристаллизацией».

Видно, здесь не все мы люди-грешники,
Что такая тишина стоит над нами.
Голуби, незванные приспешники
Виноградаря, кружатся над лозами.

Всех накрыла голубая скиния!
Чтоб никто на свете бесприютным не был,

исследований, дневников, писем». И. Бродский.

Опустилось ласковое, синее,
Над садами вечеряющее небо.

Детские шаги шуршат по гравию,
Ветерок морской вуаль колышет вдовью.
К нашему великому бесславию,
Видно, Господи, снисходишь ты с любовью.
С. Парнок

Без тайн и секретов, Цветаева *вся* вмещена в *собственное* творчество, корень которого – любовь, в свою очередь, любовь – крона поэзии! Свою беззащитность она сравнивает с рукописью: «*Всякая рукопись беззащитна. Я вся – рукопись*». Обреченная на сплошной жизненный черновик, всё, что не отрывало её от поэзии, становилось стихами. Одиночество – стихи, дерево – стихи. Тяга к Парнок – стихи.



Ителла Мастбаум
«Портрет поэта Марины Цветаевой» 1977
Специальная бумага, тушь, перо, 487х600

Любовь – стихия амфоры звянящей. Амфоры, выпустившей из рук арфу.

На арамейском языке амфора: *кофер* – כּוּפֵר. «Кофер» – название пахучего растения, из которого когда-то изготовлялись духи. В «Песне Песней» слово это упоминается в значении: «простить», – *лахапер*, – в процессе возвращения еврея к истокам, к Торе, к Вере, к Творцу. Тора сравнивается с запахом духов этого пахучего растения.

Любовь царя Давида к Всемогущему – псалмы, любовь царя Давида к Бат Шеве – сын, царь Соломон. Любовь царя Соломона к Б-гу – «Песнь Песней» и «Козлет» («Экклезиаст»).

В случае отдаления от веры хрупкий сосуд – амфора разбивается на мелкие кусочки, и склеить её, практически, невозможно. От этого слова (на арамейском языке), значение: – *амфура* – «народ серый». И от этого же слова значение с заменой букв – *кар* – «холодный»; *пар* – «разница», «отличие».

Связав имя Сафо с мотивом утраты:

Любовь, это значит лук
Натянутый: лук: разлука.

и, следуя за Овидием - «роковой и природный наклон» – Цветаева соглашается с тем, что любить женщин – неуклонно – одиночество и трагедия. Актуальна страсть, актуальны проявления гения в страсти, *«и душа не может дать отчета в своих явлениях»*. (Из письма Гоголя к матери).

«Мечтаю о Сонечке Голлидэй, как о куске сахара: верная сладость».

Из дневника М. Цветаевой.

«Вторая встреча произошла у меня с Мариной в Голицыне, после того, как она вернулась из-за границы. Она дала мне прочитать свою прозу, посвященную некой актрисе Софье Голлидэй, преклонявшейся перед Мариной и обожавшей ее. Прочитав эту рукопись, я спросила: "Как вы можете писать о благоговении и почти влюбленности актрисы Голлидэй? Мне это кажется нескромным". Она ответила: "Я имею на это полное право и этого заслуживаю". И действительно, она заслужила это право, так как была необыкновенным существом, к которому все обычные мерки были неприменимы.

(Из воспоминаний сестры Софии Парнок Елизаветы Тараховской).

Будучи «безмерностью в мире мер» Цветаева всю жизнь искала абсолют – великий диапазон любви человеческой, но так и не нашла его.

8 сентября 1932 года она пишет в дневнике: *«Есть, очевидно, люди одаренные в любовной любви. Образно: они так целуют, как я – чувствую, и так молчат, как я – говорю. Тянусь к их единственному дару (моему единственному – отсутствующему). Эти люди (и только эти!) делают меня другой, новой собой, не-собой. Только в этом они сильнее, целнее, полнее меня».*

Этому дару Марина дивилась всю жизнь. От этого дара всю свою жизнь *отрывалась*. И двух таких *даровитых* людей не переставала любить, двух таких помнила всю жизнь, двум таким посвятила лучшие стихи и поэмы, и эти двое – Парнок и Родзевич.



Сонечка Голлидэй

В 1940 году, в пронзительном до боли письме к Татьяне Кваниной, Цветаева вспоминает Сонечку Голлидэй: *«Дорогая Таня! Если бы мы жили рядом – я была бы наполовину счастливее. Моя надоба от человека, Таня, – любовь. Я Вас нежно и спешно люблю.*

Я недолго буду жить. Знаю. Вам пишет – старая я: молодая я, – та, 20 лет назад, – точно этих 20-ти лет и не было! Сонечкина – я. МЦ».

“Et ma cendre sera plus chaude que leur vie”³

С трагической раздвоенностью Марины Цветаевой, пишущей о Душе, любящей Душой, не умеющей «ладить с телом», тело презирающей, мы сталкиваемся в письме к Розанову от 7 марта 1914 года: *«...я совсем не верю в существование бога и загробной жизни. Отсюда – безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы – молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жажда жить».*

И то, что пересилило, было – *«безнадежность и ужас старости»*, и тогда «утысячерённый человек», – так Цветаева называла поэта, – ушел из жизни.

³ «И прах мой будет жарче их жизни» (фр.)

Ключ к пониманию всей глубины отчаяния, всей пронизывающей верности своему таланту, своей гениальности, – как всегда, до конца не понятой современниками, – *верности себе* – до самой смерти:

Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь – уж рвешься прочь.
Я лоб уронила в руки
И думаю, глядя в ночь:

Никто, в наших письмах роясь
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть,
Как сами себе верны.

Какое проявление воли, какое желание сохранить себя, отдавая самое лучшее и высокое – душу великого поэта, никем невозможную понять, с невозможностью в этом материальном мире ею (душой) обладать!

Перестав писать (любить), в августе 1941 года она напишет в дневнике: «*Дальше – доживать, дожжёвывать*».

Находясь с Муром в маленькой комнатке коммунальной квартиры в Мерзляковском, доведенная до последнего предела мучений и одиночества, Цветаева беседует с рыжей черновой тетрадью, привезенной из Франции.

Страшная эта беседа: «Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче себя. Боюсь – всего. Никто не видит – не знает, – что я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк. Я год примеряю – смерть. Я не хочу – умереть, я хочу – не быть».

Марина Цветаева слилась с вечностью в том понимании, когда – «*время боготворит слово*».

Писатель и поэт Ю. Карабчиевский, живший намного позже Цветаевой, в своем последнем интервью, за два месяца до самоубийства, сказал: «...*не уйти от ощущения доживания. Многое кончается, мы вообще живем на границе эпох. Мне, доживающему, доживать больше негде, я должен и буду доживать* здесь, если, конечно, не случится что-нибудь уж совсем чрезвычайное. Ощущение тягостное, горькое, мириться с ним трудно. Однако приходится...»⁴

В отличие от Софьи Парнок, Марина Цветаева не мыслила себя вне творчества, главным для неё было – творить. Из жизни

⁴ С. Шаповалов, апрель 1992 г. «Интервью с Ю. Карабчиевским».

она ушла, убедившись, что *больше ничего не может*.

Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный...
М. Цветаева

Здесь уместна параллель с другим гением, Гоголем, от которого жизнь отливала, как кровь от сердца, отдалялась от него, как веселье Сорочинской ярмарки: *«Смычок умирал, слабя и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро всё стало пусто и глухо»*.

*От высокотожржественных немот
До полного попрания души.*

М. Цветаева

На одном поэтическом вечере был мне задан вопрос о том, насколько непросто поэту в обыденной жизни. Я ответила: *«Попробуйте **просто** жить, ступая по осколкам зеркал, ежесекундно разбивающихся внутри вас»*.

Трагическая канва сопровождала Софию Парнок с раннего младенчества, когда умирает мать, и отец приводит в дом мачеху. Жизнь Парнок не назовешь сладкой. Насильственно вытеснив из литературы, её мало печатали, мало читали, откликов на её стихи почти не было. Организованное в 1926 году при ее активном участии кооперативное издательство поэтов «Узел» было ликвидировано в 1928-м. Практически исчезли литературные салоны и кружки, и поэтесса не имела возможности ни публиковать, ни даже публично читать свои стихи, а круг людей, с которыми она общалась, становился все более узким. В ее замкнутой жизни тех лет была только одна творческая удача – постановка оперы «Алмаз» на ее либретто в филиале Большого театра летом 1930 года.

Постоянное отеснение Парнок на обочину русской поэзии привело к тому, что сведения о жизни поэта чудовищно скупы, а порой трудно даже сопоставить некоторые анкетные даты, и как символично то, что даже о её смерти забыли оповестить! Только Б. Пастернак, да В. Ходасевич откликнулись на известие о смерти поэта Софьи Парнок. Рукописи Парнок сохранились в государственных и частных архивах благодаря стараниям друзей. Сама она раздаривала стихи, не оставляя у себя даже черновики.

Для Марины Цветаевой *любовь* – всегда – *тайный жар*.

Парнок никогда не делала из *своей любви* тайны.

Не хочю тебя сегодня.
Пусть язык твой будет нем.
Память, суетная сводня,
Не своди меня ни с кем.

Не мани по темным тропкам,
По оставленным местам
К этим дерзким, этим робким
Зацелованным устам.

С вдохновеньем святотатцев
Сердце взрыла я до дна.
Из моих любовных святцев
Вырываю имена.

С. Парнок

В 1911 году София Яковлевна в письме к близкой подруге, пишет: *«Когда я оглядываюсь на мою жизнь, я испытываю неловкость, как при чтении бульварного романа... я смотрю на мою жизнь с брезгливой гримасой, как человек с хорошим вкусом смотрит на чужую безвкусицу»*.

Думается, это высказывание вполне может стать эпиграфом к судьбе Парнок.

Софья Парнок так никогда и не узнала о Цветаевской ненависти-любви; не узнала о том, что после разрыва Марина два месяца не могла писать стихи; о том, что Марина всю жизнь пыталась освободиться от невидимых оков *любви-нелюбви*; о том, что её «Сонечка», а также её сон о Саломее Андроникиной и тяга к ней, и повесть «Письмо к Амазонке», – всё это были плоды мести той далекой, наделившей грузом непоправимой «ошибки», тем грузом неоправданной страсти, грузом невыносимой боли, сопровождавшей Цветаеву вплоть до известия о смерти Парнок. Цветаева никогда не оправилась от потрясения Парнок. Парнок со своей стороны, никогда не забыла Цветаеву, – на её столике стояла фотография Марины.

Дай руку, и пойдем в наш грешный рай!..

Где яблоня над нами вся в цвету
Душистые клонила опахала,
И где земля, как ты, благоухала,
И бабочки любились налету...

С. Парнок

«Ибо лицо моей тоски – женское».

Цветаева (из письма 1932 г.)

«Дорогая Саломея, – видела Вас нынче во сне с такой любовью и такой тоской, с таким безумием любви и тоски, что первая мысль, проснувшись: где же я была все эти годы, раз так могла ее любить (раз, очевидно, так любила). Вы были очень красивы (до расставания, до умиленности), освещение – сумеречное, все слегка пригашено, чтобы моей тоске (ибо любовь – тоска) одной гореть.» ...Я все спрашивала, когда я к Вам приду – без всех этих — мне хотелось рухнуть в Вас, как с горы в пропасть... Событий никаких, знаю одно, что я Вас любила до такого исступления (безмолвного), хотела к Вам до такого самозабвения, что сейчас совсем опустошена (переполнена)».

Августовский сон 1932 года о Саломее Андрониковой-Гальперн был для Цветаевой, как неизданный сборник стихов, о котором долго мечтаешь.

Длящаяся страсть и недоступность. Ассоциации-образы, как символы эмоциональной надобности, где страсть – встреча; недоступность – смерть.

«Явная нелепость сна при свете дня», – пишет Цветаева Саломее после «пробуждения». – Милая Саломея, это письмо глубоко-беспоследственно. Что с этим делать в жизни?»

Оба письма, первое – «о сне» и второе – «о пробуждении», глубоко Цветаевские, пронзительные до безумия выплески сдерживаемых эмоций поэта. Такими эмоциональными всплесками Цветаева «страдала» во всех её текстах-излияниях, – в стихах, в прозе и в письмах. *«...И вот, Петя, мне бы хотелось и вам передать свою сладкую способность волноваться».* (Письма к П. Юркевичу).

Неприкосновенный, неотделимый от поэта – дар волнения.

Слова могут быть легкими, как воробышки, и тяжелыми, как львиная лапа. В слове «эротика» заложена эра бутика – искусство продажи, а в слове «секс» – удар топора.

Эрос созвучен ивритскому ערס – эрэс, - яд; второй смысл – эрэс – **разрушение**. Змей, соблазнивший Еву в Райском саду, наверняка – נחש ארסי – нахаш арси – **ядовитый змей**.

Цветаевская любовь-страсть противоположна Флоберу с его непроходимым, густо заросшим лесом эротики, она скорее – чувственная Терра из набоковской «Ады».

Георгий Адамович, которого никоим образом нельзя заподозрить в излишней любви к Цветаевой, писал: *«Стихи Цветаевой эротичны в высшем смысле этого слова, они излучают*

любовь и любовью пронизаны».



Саломея Андроникова

Пошлость обивает пороги быта. Между поэтом и читателем – быт, и читателю приходится сделать усилие, дабы подняться на ступень выше обывательского ковыряния.

– Ваше любимое занятие?

– Любить.

М. Пруст



Амфора – античный сосуд. Принимая струю вина, амфора поет. В фамилии Софии Парнок мы находим арамейское слово

«пар» – **Пар**-нок, – что означает: разница; отличие. Помните?

Пронзенная стремительностью чувств, – *«летом соли каплющей»*, – Софья Парнок, в безысходности проживая жизнь, создаёт поэзию, несравнимую с поэзией «Фетовского напряжения» Марины Цветаевой.

Любовь, это плоть и кровь.
Цвет, собственной кровью полит.
Вы думаете, любовь –
Беседовать через столик?

Часочек – и по домам?
Как те господа и дамы?
Любовь, это значит...
– Храм?
– Дитя, замените шрамом!

М. Цветаева «Поэма конца»

Пылающая память не оставляла Цветаеву всю жизнь, ни в час заката, ни на заре – *«на которой из двух?»*

Цветаева оплела амфору виноградной лозой на время, а поэзия чувственной лирики осталась навечно.

Стихи Э. Пастернак к эссе «Стихия амфоры звенящей»

Опыт античной поэзии

1.

Если задумаю жить я на острове Лесбос
лебедем черным гибкую шею склоню,
и лентой широкой волосы соберу.
Быстрые воды любви – воды глухие,
тени оленьих прыжков, переплетенье лозы,
сон голубицы в воздухе диком,
песок, что ступню облегает,
с единой тобой поделю я, Сафо!

2.

Зацветают ромашки в полях.
Песнь пропой мне!
Артемиды нас в беге догонит.
Пуст колчан. Стая стрел обнищала.
Так лишь стих твой, да флейта звучали.

Лавр тонкорукий!
Два птенца согревают друг друга.
О, как горек мне день без тебя!
Луг цветущий и пятна баранов.
Я на солнце горячее гляну.
Как любила ты ложе цветов
На полночном пиру...
И яд, и нектар их с тобой разделю,
Если задумаю жить я на острове Лесбос!

С. Парнок

1.
Отправлены письма. Кончается суетный день.
За ставнями снег петушится вечерний.
Опять наплывает сквозь памяти колыбель,
Стекло твоих рук. Звонит колокол. Капают свечи.

И мне не понять, отчего откровенно и смело,
ты путаешь карты и ночью глухой ворожишь.
С тобой не была я, и быть бы с тобой не хотела,
зачем над строкой моей ангелом нежным стоишь?

И время уходит! А каждое время – созвездье.
Маринины санки заждались на белом ветру!
И голос зовет, одинокую память бередит,
И снежные крылья летят высоко к фонарю.

Как громкое эхо о ставень ударится голубь.
Подруга вечерняя, вечная странница – ты
глядишься не в заводи – в голую мерзлую прорубь,
а видишь всё те же - единственные черты.

2.
Так в ясности и в шёлковости полдня
под деревом лежит ленивый барс.
То на спину, то на живот, то вздрогнет,
то профиль виден, то анфас.
В ночи лоснится, под луной белея,
и заплывает в полночь берег лунный.
Лепечет, мечется тростник безумный,
и затихает, как ребенок в колыбели.
Любовь моя, я трепещу, я каюсь –
так каплет мед из воспаленных звезд.
Перед глазами твой песочный абрис,

а нежность на губах – пустая горсть.
Апрель – 2010 / май – 2012
Ариэль



Александр Лейзерович

Пушкин о Люцифере



Всю осень 1830 года Пушкин провёл в вынужденном заточении в селе Болдино Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Приехав туда, как он думал, всего на несколько дней, чтобы вступить во владение поместьем, которое отец, Сергей Львович, выделил сыну-жениху к готовящейся свадьбе с Натальей Николаевной Гончаровой, Пушкин застрял в Болдино на три долгих месяца из-за эпидемии холеры – Болдино оказалось отрезано карантинными заставами и от Москвы, и от Петербурга.

В декабре, прорвавшись через карантин, уже из Москвы, Пушкин пишет своему другу Петру Андреевичу Плетнёву: “Скажу тебе (за тайну), что я в Болдино писал, как давно уже не писал. Вот что я привёз сюда: две последние главы Онегина, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим анонимно. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно *Скупой рыцарь*, *Моцарт и Сальери*, *Пир во время чумы* и *Дон Жуан*. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Ещё не всё: (весьма секретное – для тебя единого) написал я прозою пять повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся – и которые напечатаем тоже анонимно. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает...”

Можно попытаться нащупать ход мыслей, внутреннюю логику переходов Пушкина от жанра к жанру, расставив всё, написанное в Болдино, по ячейкам своего рода “Периодической таблицы”. Основой для периодизации во времени, “рядов” таблицы могут послужить письма Пушкина, уготовливаемые им к “почтовым дням”, и для каждого периода, словно в таблице Менделеева, явно проявятся как бы циклы - внутренне последовательные переходы внутри темы, занимавшей, по-видимому, в тот период мысли Пушкина: от более “лёгких” к более многосвязным, “поливалентным”, более “тяжёлым” жанрам: от

лирических стихов к “сюжетным” стихотворным произведениям, от них - к прозе, далее к драматическим сценам и от них к литературно-критическим статьям.

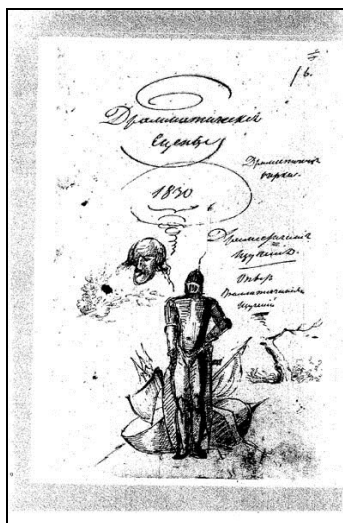
Периодическая таблица Болдинской осени 1830 года						
Дни	Письма	Лирические стихотворения	Сюжетные стихотворные произвед.	Проза	Драматическ. сцены	Литературно-критическ. статьи
3-9 IX	Н.Н.Гонимовой А.Н.Гонимарову П.А.Пштыбеву	Восм Элегия	-	Гробовщик	-	-
10-18 IX	-	-	Сказка о попе Пучицкнне Онегина	Отважный ополнитель Отважный	-	-
19-25 IX	-	-	Онегин - IX	Барабанчик крестяна	-	-
26 IX - 2 X	П.А. Пштыбеву Н.Н.Гонимаровой	Труд. Ответ злодею Пир-соловья. стелуж К.первому Ивану Ружной кресте мой	-	-	-	-
3-11 X	Н.Н.Гонимаровой	Дорожная жалоба Прощание. Пок Ягдса. Введоха Предвзвимоной... Вифан. Служ	Домик в Колоде	-	-	-
12-17 X	-	Вуцареву Моя родословная Два чувства дивно... Котлярой... Завещание	-	Выстрел	-	-
18-25 X	-	Станок, сочинённые ночь во время... Видею элегия...	Онегин - X (Созвоню 19 октября)	Метель	Скупой рыцарь	О критике. Об Альфреде Мюссе.
26-29 X	П.А. Пштыбеву Н.Н.Гонимаровой	Демангу	-	Отрадок	Моцарт и Сальери	Опыт образования... Отрадок о критике Заметка о поэме «Траф...»
30 X-5 XI	М.П. Поголеву Н.Н.Гонимаровой А.А. Дельвигу П.А.Вяземскому П.А.Осиповой	Герой На розульфосскую..	-	История села Горышана	Каменный гость	Открытие гоним. «История...» Возражение критиком. Бараташевский
6-18 XI	Н.Н.Гонимаровой	Натрарод Ивану	-	-	Пир во время чумы	-
19-28 XI	М.П. Поголеву Н.Н.Гонимаровой А.Н.Вертковскому	Два берлога онегина Письма шриле Морис Цыган	-	-	-	О зародке драмы и о... Предисловие к Онегину

«Периодическая таблица» Болдинской осени

Двадцатого октября Пушкин завершил работу над повестью «Метель» - последней по времени написания из «Повестей Белкина». По В.И.Порудоминскому, составившему вместе с Н.Я.Эйдельманом книгу *Пушкин. Болдинская осень*, следующие два дня были заняты работой над черновой рукописью «Скупого рыцаря», которая до нас не дошла... Скорее всего, к этому же периоду относятся и «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы...». Если перевернуть лист с автографом этого стихотворения, прочитывается слово “Зависть” – условное название следующей пьесы - «Моцарт и Сальери». Рукопись «Скупого рыцаря» уже перебелённая, хотя и с поправками, имеет пометку “23 октября 1830. Болдино”. В последующие две недели вплоть до 8 ноября были написаны «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы», которые (вместе со «Скупым рыцарем») мы привыкли объединять под шифром «Маленькие трагедии» - условным расхожим названием, взятым из

пушкинского письма Плетнёву.

На наброске титульного листа воображаемого издания Пушкин проставляет более ёмкое и более точное, на мой взгляд, название: «Драматические сцены», но там же остаются следы пушкинских поисков: «Драматические очерки. Драматические изучения. Опыт драматических изучений».



Титульный лист к «Драматическим сценам», рисунок Пушкина

Обращение Пушкина к драматургии не было экспромтом. Не говоря уже о «Борисе Годунове», завершённом в ноябре 1825 года, там же, в Михайловской ссылке, Пушкин набрасывает список: «Скупой, Ромул и Рем, Моцарт и Сальери, Дон Жуан, Иисус, Беральд Савойский, Павел I, Влюблённый бес, Дмитрий и Марина, Курбский». «Судя по всему, - пишет Эйдельман, - это перечень задуманных Пушкиным драматических произведений.» Наверно, более корректно назвать это перечнем сюжетов для возможного «опыта драматических изучений»... Тема Дмитрия и Марины и тема Курбского влились в «Бориса Годунова»; о сюжете «Влюблённого беса» можно судить по повести «Уединённый домик на Васильевском» - пересказу Василием Титовым «сказки про чёрта, который ездил на извозчике на Васильевский остров», рассказанной Пушкиным в 1829 году у Карамзиных. Ещё четыре драматических замысла Пушкиным не были раскрыты. Но зато в списке, составленном в Михайловском, мы находим сюжеты трёх из четырёх будущих «маленьких трагедий»: *Скупой*, *Моцарт и*

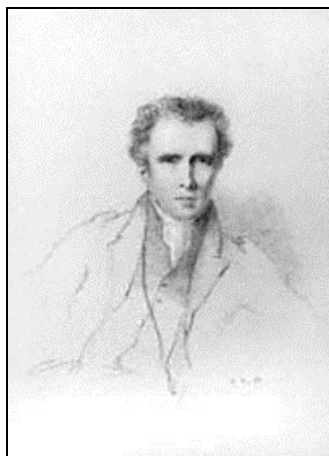
Сальери, Дон Жуан. Четвёртая – «Пир во время чумы» - является переложением сцены из драматической поэмы «Чумной город» Джона Уилсона (или, в давней русской традиции, Вильсона).

Поэма Уилсона была напечатана в томике произведений четырёх современных Пушкину английских поэтов - Генри Милмана, Уильяма Боулса, Джона Уилсона и Бэрри Корнуолла. Книга была издана в Париже в 1829 году. Пушкин взял её с собой в дорогу, отправляясь в Болдино. Тема “чумного города” для Пушкина перекликалась с тревожными мыслями о Москве, где оставались невеста, брат, друзья... Да и Болдино было под угрозой. В сентябре, в самом начале болдинской осады, Пушкин писал Плетнёву: “Около меня Колера Морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он в Болдино, да всех нас перекусает - того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты пиши мою биографию.”

«Пиру во время чумы» Пушкин предпослал подзаголовок “Из Вильсоновой трагедии «Чумной город»”. Точно так же, публикуя в 1836 году в первом выпуске журнала *Современник* своего «Скупого рыцаря», Пушкин даст ему подзаголовок – “Сцены из Ченстоновой трагикомедии”. Ченстоном в России называли английского поэта XVIII века Шёнстона. Многократные попытки отыскать сочинение Шенстона, хотя бы отдалённо напоминающее «Скупого рыцаря», оказались безрезультатны. Британские исследователи утверждают, что не только у Шенстона, но и во всей английской литературе нет ни одного произведения, которое могло бы послужить прототипом пушкинской пьесы. Первый биограф Пушкина Павел Анненков полагал, что Пушкин “отстранил от себя честь первой идеи”, оговорив себя лишь переводчиком, “в боязни применений и неосновательных толков”. Анненков имел в виду сложные отношения Пушкина с отцом, известным своей скупостью. В Михайловской ссылке Сергей Львович взял на себя ещё и роль соглядагая за сыном, а после того, как Пушкин потребовал объяснений, обвинил его в намерении якобы “прибить” отца. Эйдельман замечает: “Но объяснять «Скупого рыцаря» как произведение автобиографическое – это уж совсем «неосновательные толки».”

Таким образом - две из четырёх «Маленьких трагедий» самим Пушкиным открыто связываются с английской драматургией. Можно сказать, что и «Каменный гость» («Дон Жуан» из “михайловского списка”) у современников Пушкина в первую очередь ассоциировался не с комедией Тирсо де Молина, не с пьесой Мольера, и даже не с оперой Моцарта, но с поэмой Байрона. Да и само название, принятое Пушкиным для своих

“маленьких трагедий”, - «Драматические сцены» - также было позаимствовано у Бэрри Корнуолла. В первой четверти XIX века пьесы этого автора были весьма популярны в Англии, и английские газеты называли его “гением, который может выдержать сравнение с Шекспиром”. По догадкам некоторых пушкинистов, абрис мужского лица на наброске титульного листа «Драматических сцен» относится к Шекспиру... Но мне кажется, больше оснований было бы считать его наброском портрета Бэрри Корнуолла.



Barry Cornwall, aka Bryan Waller Procter (1787-1874), by William Brockedon (1830)

Бэрри Корнуолл - псевдоним Брайена Уоллера Проктера, писателя очень популярного в Англии начала XIX века, которому, кстати, Уильям Теккерей посвятил свою «Ярмарку тщеславия». В наше время у себя на родине он практически забыт.

В конце 1820-х годов Пушкин увлёкся изучением английского языка и сделал в нём значительные успехи. Англичане были законодателями романтической моды в европейской литературе начала века, и Пушкин внимательно следил за современной ему английской поэзией. После юношеского увлечения Байроном, в зрелые годы Пушкину особенно импонировало творчество Корнуолла. Одному из последних болдинских стихотворений - “Пью за здравие Мэри, милой Мэри моей...” - сам Пушкин дал заглавие «Из Barry Cornwall»; в его основе - стихотворение *Here's a health to thee Mary*. Многие пушкинисты связывают эти пушкинские стихи с Марией Раевской,

в замужестве Волконской. Несколько лет спустя на полях рукописи «Полтавы» против имени «Мария» Пушкин сделал приписку: «Я люблю это нежное имя».

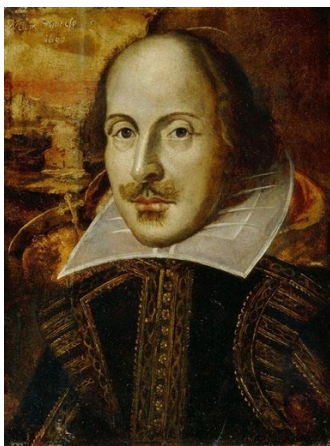
Стихи Корнуолла послужили Пушкину «затравкой», «центром кристаллизации» и для некоторых других написанных в Болдино стихов, в том числе: «Я здесь, Инезилья, стою под окном...» (*Inesilla, I'm here*) и «поразительного», по выражению Ахматовой, «Заклинания» (*An Invocation*). Назвать эти стихотворения переводами, хотя бы и вольными, или переложениями, подражаниями было бы ошибкой – стихи Корнуолла послужили скорее внешним толчком, пробудившим поэтическое воображение. Не случайно в наибольшей степени стихи Пушкина близки к корнуолловским «оригиналам» в первых строчках, а затем развиваются уже совершенно по-иному. Пушкинисты находят текстуальные совпадения с Корнуоллом и в некоторых других стихах, написанных в Болдино, и, особенно, в «Драматических сценах», вплоть до знаменитого салериевского возгласа: «Постой, постой! Ты выпил – без меня?» У Корнуолла – «Постойте, постойте, поставьте его. Как вы могли выпить без меня?»

Конечно, в былые времена, лет 60 назад, от подобных наблюдений следовало бы воздержаться. Напомню великолепную фразу из передовой статьи *Литературной Газеты* от 10 февраля 1949 года: «А эти беспачпортные бродяги пытались даже Пушкина низвести на роль толмача – переводчика с иностранного»; передовица эта была озаглавлена: «Любовь к Родине, ненависть к космополитам!».

Современные же литературоведы могут вполне бесстрашно констатировать, что переклички, своего рода литературные поединки, соперничество с собратьями по перу, современниками и предшественниками, отечественными и иноземными, вообще очень характерны для Пушкина. Как отмечается в одном специальном исследовании, эти «отношения ни на минуту не прерывающегося творческого диалога, соревнования, полемики не были, пожалуй, у Пушкина ни с кем из его поэтов-современников такими интенсивными, как с Вяземским». Применительно к 1830-м годам рядом с Вяземским смело можно поставить Корнуолла.

В последнем письме Пушкина, набросанном второпях, непосредственно перед дуэлью, он пишет, обращаясь к Александре Осиповне Ишимовой: «Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам *Barry Cornwall*. Вы найдёте в конце книги

пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете - уверяю Вас, что переведёте как нельзя лучше”. Своему дядьке Никите Козлову, на руках внёсшему смертельно раненного поэта в дом, Пушкин скажет “Что, грустно тебе нести меня?” – словно по-своему, более лаконично и точнее психологически, воспроизводя реплику, с которой смертельно раненный герой одной из драматических сцен Корнуолла обращается к старому слуге: “Ты, бывало, носил меня на руках, когда я был ребёнком; сделай это ещё раз...” Впрочем, может, это просто совпадение – естественное для схожих драматических ситуаций.



Уильям Шекспир

Как бы завершением цикла работы Пушкина над «Драматическими сценами» явилась его литературно-критическая статья, озаглавленная «О народной драме и о *Марфе Посаднице* М.П. Погодина». В ней Пушкин сформулировал правило, формально обращённое к “драматическим писателям”, но ставшее девизом и лозунгом, по крайней мере, всего русского реалистического театра: “Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах - вот чего требует наш ум от драматического писателя”. В книге *Пушкин. Болдинская осень*, процитировав эту фразу, Порудоминский дальше пишет: “Изображение страстей, изливание души человеческой всегда ново, всегда занимательно, велико и поучительно. Раскрыть истину страстей, заглянуть в глубь души человеческой – задача, которую решает Пушкин в драматических произведениях болдинской поры. Они удивительны, болдинские драмы, предельно коротки, в каждой лишь несколько действующих

лиц, острый сюжет (предлагаемые обстоятельства), личность обнаруживает себя глубоко и полно”.

В той же статье Пушкин противопоставляет английскую “народную” драматургию, олицетворяемую для него именем Шекспира, французской придворной драме: “...важная разница между трагедией народной, Шекспировой, и драмой придворной, Расиновой. Творец трагедии народной был образованнее своих зрителей, он это знал, давал им свои свободные произведения с уверенностью своей возвышенности и признанием публики, беспрекословно чувствуемым. При дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже своей публики. Зрители были образованнее его, по крайней мере так думали и он, и они. Он не предавался вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утончённого вкуса людей, чуждых ему по состоянию...”

Через несколько лет Пушкин снова возвращается к теме различий между английской и французской драматургией: “Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера скупой скуп - и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен” (из “застольных бесед” 1835-36 годов). Порудоминский добавляет: “Скупой у Пушкина – Барон – величествен, зловец, жалок...” Хотелось бы ещё более подчеркнуть амбивалентность главных персонажей «Маленьких трагедий», двойственность их натур, совмещение в них, вроде бы, противоречащих друг другу качеств (“величествен и жалок”) и, что ещё важнее, неоднозначное, двойственное отношение к своим персонажам самого Пушкина.

В заметках «*Каменный Гость* Пушкина» Анна Андреевна Ахматова, с одной стороны, подчёркивает личные мотивы, вносимые Пушкиным в традиционный сюжет: “Тайное возвращение из ссылки – мучительная мечта Пушкина 20-х годов. Оттого-то Пушкин переносит действие из Севильи в Мадрид; ему была нужна столица”. Ещё: “Пушкинский Гуан – испанский гранд, которого при встрече на улице не мог не узнать король. Читая «Каменного гостя», мы делаем неожиданное открытие: Дон Гуан – поэт. Его стихи, положенные на музыку, поёт Лаура... Это приближает его к основному пушкинскому герою: “Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа...”, - говорит в «Египетских ночах» Чарский, повторяя излюбленную мысль Пушкина. Насколько я знаю, - пишет

Ахматова, - никому не приходило в голову делать своего Дон Жуана поэтом”. Но далее Ахматова обращает внимание ещё и на иное обстоятельство: “Всё, сказанное выше, относится к донжуановской линии... Но в этой вещи есть, очевидно, и другая линия – линия Командора. Здесь у Пушкина полный разрыв с традицией... Везде у других авторов Командор – ветхий старик, оскорблённый отец. У Пушкина он ревнивый муж, и ни из чего не следует, что он старик. Он женился на нелюбившей его красавице и сумел своей любовью заслужить её расположение и благодарность. Из всего этого нет ни слова в донжуановской традиции. В своём письме к матери Натальи Николаевны от 5 апреля 1830-го года Пушкин пишет: "...если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия её сердца..." И дальше вся ситуация – как в письме, так и в трагедии. Итак, в трагедии «Каменный гость» Пушкин карает себя самого – молодого, беспечного и грешного, а тема заgrabной ревности звучит также громко, как и тема возмездия.” За этим следует неоспоримый, на мой взгляд, вывод: “...в «Каменном госте» Пушкин как бы делит себя между Командором и Гуаном...”



П.Павлинов, Пушкин (гравюра на дереве), 1929

В «Дополнениях...» к статье Ахматова высказывает другое важное соображение: “В какой-то мере все первые персонажи маленьких трагедий чем-то похожи друг на друга. Гуан, Моцарт и Альбер – это один и тот же человек...” “Родство характеров пушкинского Моцарта и пушкинского Дон Гуана” отмечает и тонкий исследователь и интерпретатор Пушкина артист Владимир

Рецептер.

Мне кажется необходимым попытаться дать дальнейшее развитие этой мысли Ахматовой - есть также нечто общее, что роднит Дон Гуана не только с Моцартом и Альбером, но и с их антагонистами Сальери и Бароном, нечто объединяющее их. Об этом – чуть позже. И второе – Пушкин как бы раздваивается, делит себя не только между Командором и Гуаном, но также и между Моцартом и Сальери, Священником и Вальсингамом, Альбером и Бароном.

В одной из последних статей, предназначавшейся для первой книги *Современника* за 1837 год и опубликованной уже посмертно, Пушкин снова обращается к сопоставлению французской и английской литератур не в пользу первой: “Долгое время французы пренебрегали словесностью своих соседей. Уверенные в своем превосходстве над всем человечеством, они ценили славных писателей иностранных относительно меры, как отделились они от французских привычек и правил, установленных французскими критиками... В переводных книгах, изданных в прошлом столетии, нельзя прочесть ни одного предисловия, где бы не находилась неизбежная фраза: мы думали угодить публике, а с тем вместе оказать услугу и нашему автору, исключив из его книги места, которые могли бы оскорбить вкус образованного французского читателя. Странно, когда подумаешь, кто, кого и перед кем извинял таким образом!”

Статья называлась «О Мильтоне и переводе *Потерянного рая* Шатобрианом», и после процитированного фрагмента следовала фраза “Изо всех иноземных великих писателей Мильтон был всех несчастнее во Франции”.

Справка из энциклопедии: “Джон Мильтон, родился 9 декабря 1608 года в Лондоне, умер 8 ноября 1674 года там же; великий английский поэт, политический деятель, мыслитель; главное произведение – эпическая поэма «Потерянный рай» (*Paradise Lost*).” Говоря о величайших английских поэтах, сами англичане чаще всего называют четыре имени: Шекспир, Мильтон, Байрон, Киплинг. Российский литературовед (Соколянский в статье «К проблеме - Пушкин и Мильтон») пишет: “Мильтон упоминается Пушкиным в разном контексте, но чаще всего в одном ряду с именами Гомера, Вергилия, Данте, Ариосто, Шекспира, Гёте, Байрона. Не будет преувеличением сказать, что Мильтон находится в числе кумиров Пушкина, его наивысших литературных авторитетов.” В *Пушкинской энциклопедии* мы читаем: “Не оказав на творчество Пушкина заметного непосредственного влияния, Мильтон играл важную роль в

формировании взгляда Пушкина на место и роль поэта в обществе и его с ним взаимоотношения. Мильтон служил Пушкину нравственным образцом поэта, независимого в своём творчестве и суждениях от диктата "публики", не угождавшего её вкусам и не искавшего её внимания и одобрения. В заметке 1830-го года Пушкин цитировал слова Мильтона: "С меня довольно и малого числа читателей, лишь бы они достойны были понимать меня". По-видимому, Пушкин имел в виду строку из «Потерянного рая»: "Найди понимающих читателей, хотя и немногих".

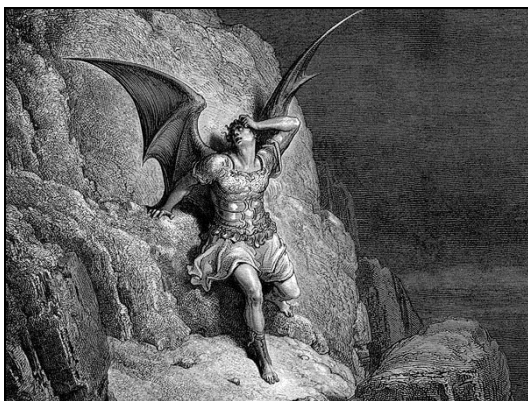


Джон Мильтон (1608-1674)

Что же касается пушкинских «Драматических сцен», то, насколько мне известно, до сих пор они никогда, никем и никоим образом не соотносились с именем Мильтона и его «Потерянным раем», хотя все основания для этого, по-моему, есть. Как говорит Сальери у Пушкина, «для меня так это ясно, как простая гамма...» Хочу сразу же уточнить – я не имею в виду какие-то прямые параллели, повторы, заимствования или переложения, как в случае с Корнуоллом, но хочу сказать, что впечатление, произведенное на Пушкина «Потерянным Раем» Мильтона, было, по-видимому, настолько сильным, что его влияние, осознанное или подсознательное, по-моему, явно ощущается и проявляется в пушкинских «Драматических сценах». Какие-то более далеко идущие догадки явились бы уже, наверно, по выражению Анненкова и Эйдельмана, «неосновательными толками».

Основной темой поэмы Мильтона является «ослушание

человека”, вследствие чего он изгоняется из Рая – своего изначального обиталища. Начинается же всё с того, что Сатана, Падший Ангел, Люцифер, бывший до своего падения блистательнейшим Архангелом, первым среди собратьев, восстаёт против Бога, вовлекая в мятеж бесчисленные легионы Ангелов, но, потерпев поражение, низвергается с Небес вместе с полчищами своих соратников. В его душе нет раскаяния, он восклицает: “Лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах”. Поскольку Небо и Земля к этому моменту предположительно ещё не были сотворены, то Преисподняя, Ад размещается Мильтоном в некоей “области Хаоса”. И там поверженный Люцифер обращается к соратникам с призывом к продолжению борьбы.



Гюстав Доре, Люцифер (гравюра к «Потерянному раю» Мильтона)

Отнюдь не имея в мыслях мильтоновского Люцифера, двое пушкинистов (Беляк и Виролайнен) дают следующую характеристику Вальсингаму - Председателю из «Пира во время чумы»: “Отлучённый от неба и страшщийся обратиться в прах человек дерзко и вместе с тем беспомощно балансирует на самой границе между бытием и небытием”. Не правда ли - похоже?

Самое начало «Моцарта и Сальери», первые строки первого монолога Сальери: “Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет - и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма.” Это ли не есть *credo* Люцифера? Покойный пушкиновед В.Э. Вацуро писал: “Сальери борется не с Моцартом. Он борется с той несправедливостью, на которой построено мироздание”.

Произвольно выхваченное из текста пушкинского письма, освящённое традицией и намертво приросшее название *Маленькие трагедии* очень обманчиво – они “маленькие” лишь по объёму

текста, по продолжительности действия, по числу действующих лиц, но не по масштабу противопоставлений, не по грандиозности страстей...



В.А. Фаворский. «Моцарт и Сальери», гравюра на дереве

Я говорил о сходстве главных “анти-героев” *Маленьких трагедий*: Бароне, Сальери, дон Гуане, Вальсингаме. Наиболее общим для них является открытый вызов Небу, Судьбе или Божественному Промыслу – вызов, бунт, обусловленный неправотой, несправедливостью Высших сил.

М.О. Гершензон в своём труде «Мудрость Пушкина» писал: “Случайному или произвольному определению “неба” человеческое сознание противопоставляет свой закон - закон справедливости, или, что то же, разумной причинности. «Моцарт и Сальери» есть трагедия причинно мыслящего разума, осуждённого жить в мире, где главные события совершаются беспричинно; и Пушкин, сам обязанный своим лучшим достоянием беспричинному выбору, выступает здесь истолкователем и адвокатом протестующего сознания. В мире царит Судьба: разум, восстав против неё, конечно, будет раздавлен, потому что Судьба всемогуща, но разум не может не восставать, в силу самой своей природы. Кто застигнут несправедливостью Судьбы, тот либо разобьёт себе голову о стену, либо, как обыкновенно и делают люди, обманет себя размышлением, что здесь - однократная Случайность, что в общем жизнь все-таки совершается причинно, и что поэтому, как только случайность исчезнет, все опять пойдет

закономерно. Именно так рассуждает у Пушкина Сальери. Он слишком уверен в нормальности разумного порядка; всякий другой порядок бытия кажется ему настолько нелепым и невероятным, что он просто не хочет допустить такой возможности; оттого он убивает не себя, а Моцарта, чтобы с устранением этой чудовищной аномалии восстановился правильный ход вещей. Это, действительно, мировая трагедия”.

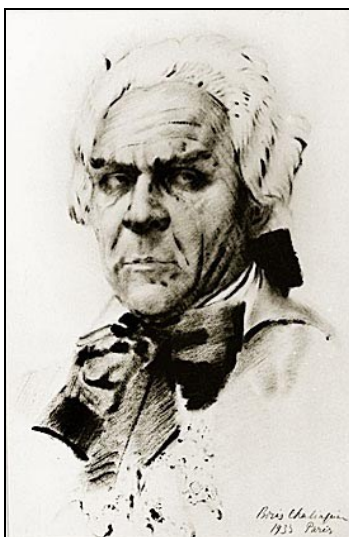
И далее Гершензон заключает: “Трудно, невыносимо примириться с роком... Сальери – действительно герой, потому что действует не за себя, но отстаивает дело всего человечества. В этой тяжбе человека с Богом открываются неизследимые глубины бытия... Это гордое самоутверждение, этот бунт против неба Пушкин довёл в Сальери до последней черты, когда мятежное настроение, созревшее, разражается действием, именно активным противодействием Верховной силе, убийством её посла”.



В.А. Фаворский. «Скупой рыцарь», гравюра на дереве

Возглас Сальери “О, небо! Где же правота?..” в «Скупом рыцаре» эхом повторяет Барон: “А по какому праву?..” И уже одно это заставляет нас видеть в нём нечто большее, чем просто Скупца, – но тёмного Скупого рыцаря. И о нём тоже можно было бы сказать: “Он имел одно виденье, Непостижное уму, И глубоко впечатленье В сердце врезалось ему” – как бы далеко ни было это виденье от образа “Марии Девы”... Вспомним его знаменитый монолог “Как молодой повеса ждёт свиданья...” - может ли быть более откровенная декларация демонической, сатанинской природы пушкинского персонажа? Кстати, не случайно и распределение мест действия в «Скупом рыцаре». Первая сцена – комната Альбера (земной мир), вторая сцена – подвал Барона (как

бы подземное царство) и третья сцена – башня дворца, куда Альбер и Барон призываются на “высший” суд Герцога.



Ф.И. Шаляпин в роли Сальери (Париж, 1933)

Идея, движущая антигероями «Маленьких трагедий», ложна, но она полностью захватывает их помыслы, вынуждая к действиям, обусловленным не их желаниями, а логикой самой идеи. Вот - начало второго монолога Сальери:

Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить - не то мы все погибли...
Что пользы в нём? Как некий херувим,
Он несколько занёс нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше...

Какого ещё более открытого противопоставления, противостояния ангельским, херувимским, божественным силам можно ждать?

Хотя я и называю Барона, Сальери, дон Гуана, Вальсингама – антигероями, поскольку они как бы противостоят общепринятой морали и носителям “положительного”, богопослушного начала – Герцогу, Моцарту, Командору,

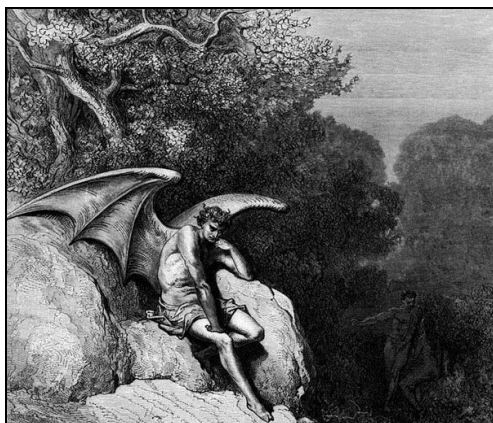
Священнику, но, на самом-то деле, именно они являются истинными, главными героями трагедий, тогда как “положительные герои” им только “ассистируют” или выступают в качестве жертв – роль, разумеется, тоже трагическая, но всё-таки не главная. Недаром, обращаясь к театральным воплощениям «Маленьких трагедий», мы в первую очередь вспоминаем исполнителей ролей Барона (Станиславский), Сальери (Шаляпин, Николай Симонов), Дон Гуана (Высоцкий), Вальсингама (Александр Трофимов). Богоборцев, анти-героев «Драматических сцен» ждёт трагический конец, однозначно выглядящий как настигающая их Божья кара – будь то конвульсивная смерть Барона, самоотвержение Сальери и Вальсингама, гибель Дон Гуана... Последние слова Сальери не оставляют сомнения, что его ожидает безумие; короткое, бескомпромиссное слово – “убийца” словно вдруг заставляет Сальери прозреть, осознать совершённое им. И, как было у Шекспира: “Дальнейшее – молчание...” Нечто подобное звучит и в ответе Вальсингама на призыв Священника к покаянию. Заключительная реплика Вальсингама: “Отец мой, ради Бога, оставь меня!..” – *Священник уходит. Пир продолжается, Председатель остаётся, погружённый в глубокую задумчивость.* Предельно драматична и последняя сцена «Каменного гостя»:



Гюстав Доре, «Потерянный рай» Д. Мильтона

Понятно, что трагедийный эффект усиливается, если трагической коллизии противопоставлена предшествующая ей райская идиллия. Этот приём используется и Пушкиным. Возглас

Сальери “Я счастлив был...” отзывается эхом в каждой из *Маленьких трагедий*, но звучит на разные голоса. Счастливым ощущает себя и Барон, но его счастье отравлено сознанием неотвратимости его потери. Кстати, тут просматривается любопытная переключка с темой ревности Командора. При том, что слово “рай” достаточно чужеродно пушкинскому лексикону и используется Пушкиным нечасто, в «Пире во время чумы» оно возникает дважды. Не случайно и то, что Сальери сравнивает сам себя со змеей “людьми растоптанною живые, песок и пыль грызуще бессильно” – после изгнания Адама и Евы из рая Сатана был наказан - “будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей” (книга Бытия)..



Гюстав Доре. Люцифер

Работа Мильтона над «Потерянным Раем» была в основном завершена в 1665 году, но Великая Чума, а затем лондонский пожар 1666 года задержали выход книги в свет до 1667 года. Первоначально поэма не имела особого успеха в своём отечестве, хотя на континенте довольно быстро приобрела известность. В середине XVIII века вышли более или менее полные собрания сочинений Мильтона в трёх, а затем в четырёх томах, начали появляться переводы «Потерянного Рая» на европейские языки, в том числе несколько конкурирующих между собой переводов на французский.

Политические страсти, бушевавшие вокруг Мильтона и в нём самом, помогли ему создать грандиозный образ Сатаны, которого жажда справедливости приводит к бунту против мирового Правопорядка. Первая книга «Потерянного Рая», где

побежденный Враг Творца горд своим падением и строит пандемониум, посылая угрозы небу, самая вдохновенная во всей поэме, во многом послужила первоисточником демонизма Байрона и через него повлияла на развитие всей европейской, в том числе – русской, литературы.

В России поэма стала известна уже в середине 40-х годов XVIII века в рукописном переводе барона Строганова. Впервые полный текст «Потерянного Рая» на русском языке был напечатан в 1780 году в типографии просветителя Новикова – это был прозаический перевод с французского, выполненный архиепископом Амвросием (Серёбренниковым). Перевод этот потом многократно переиздавался. Три первые книги «Потерянного Рая» перевел тоже прозой, но непосредственно с английского известный переводчик «Энеиды» Василий Петров. Так что Пушкин, ещё до того, как занялся английским и получил возможность ознакомиться с поэмой Мильтона в оригинале, мог читать её во французских переводах, а также в русских переложениях. В кругу близких знакомых и друзей Пушкина многие, включая Жуковского, Гнедича, Карамзина, Кюхельбекера, Рылеева, проявляли серьёзный интерес к Мильтону, его философским и политическим взглядам, его поэзии – в первую очередь, «Потерянному Раю».



Уильям Блейк. Чума (акварель)

В 11-й книге «Потерянного Рая», после грехопадения Адама и Евы и изгнания их из Рая Архангел Михаил показывает Адаму будущее человечества и страшные обличия смерти, данной в наказание Роду Человеческому за грех прародителей. Похоже, что реалии ужасных картин смерти в чумных бараках были

навеяны Мильтону свидетельствами о Великой Лондонской Чуме 1665 года, унёсшей более ста тысяч жизней - почти каждого третьего жителя Лондона.



В.А.Фаворский. Пир во время чумы (гравюра на дереве)

То ли чума 1665 года, то ли, как считал академик М.П.Алексеев, предшествовавшая ей эпидемия 1625 года послужили Джону Уилсону исторической основой для его драматической поэмы «Чумной город». Порудоминский пишет: «Из тринадцати Вильсоновских сцен, не слишком связанных между собой, в которых действие переносится с пристани в церковь и с площади на кладбище, но всё-таки сцен растянутых, отяжелённых множеством персонажей, их взаимоотношениями и диалогами, Пушкину оказывается довольно одной сцены, да и то переведенной не полностью – сцены пира на улице. Пушкин переводит Вильсоновский текст близко к подлиннику, но при переводе сокращает его – отбрасывает ненужные ему слова, предложения, реплики. Число персонажей тоже сокращает... Перевод одной неполной сцены из Вильсоновой драматической поэмы превратился в маленькую трагедию, по глубине мысли и художественному совершенству намного превосходящую обширный английский подлинник». Вспомним также слова Ю.М. Лотмана: «<Пушкин> никогда не переводил “просто так”, выбирая лишь важные для него тексты мировой поэзии”.

Мысли Пушкина из отрезанного карантинном Болдина, конечно, устремились в Москву. Единственный доступный

источник информации – газета *Московские ведомости*, которая продолжала доставляться подписчикам, печатала сводки числа заболевших: 1200, 1350, полторы тысячи... Но, помимо Великой лондонской чумы, а через неё, явно или неявно, картин из 11-й книги «Потерянного Рая», тема чумного города вызывала у Пушкина ассоциации с событиями более близкого прошлого – посещение Наполеоном Бонапартом чумного госпиталя в Яффе во время Египетского похода. «Пиру во время чумы» непосредственно предшествовало стихотворение «Герой», сюжетно посвящённое Наполеону и написанное в последних числах октября 1830 года. После смерти Пушкина сотрудники его журнала *Современник* получают из Москвы от Михаила Погодина, издателя журнала *Телескоп*, письмо с приложением к нему рукописи этого стихотворения. Но само стихотворение уже было напечатано в *Телескопе* – в конце 1830 года – только без указания имени автора, анонимно. Погодин объяснит, что таково было беспреслововое условие самого Пушкина.

Стихотворение кончается сноской – “29 сентября 1830 года. Москва.” Однако сноска эта не является, как обычно, обозначением времени и места его написания, но как бы входит в сам текст. 29 сентября Пушкин не мог быть в Москве – в это время он уже почти месяц сидел в Болдино и не мог оттуда выехать, но это дата посещения холерной Москвы императором Николаем I. Известие об этом событии вызвало горячее одобрение Пушкина, и он пишет и отдаёт в печать стихотворение, восхваляющее это событие, но делает это анонимно, чтобы – не дай Бог! – не быть заподозренным в заискивании перед властью. Стихи написаны в форме как бы диалога Поэта с Другом. Объявляя обманом легенду о наиболее славном, по мнению Поэта, деянии Наполеона, Друг поэта предлагает ему утешиться, напоминая о поступке Николая. Пушкин видел или хотел видеть в этом очередной залог “надежды славы и добра”. В начале ноября он пишет Вяземскому: “Каков Государь? молодец! того и гляди, что наших каторжников простит – дай Бог ему здоровья”.

Идёт ли речь о посещении Наполеоном чумного госпиталя или о приезде Николая в холерную Москву, Пушкин знал эту цену – за год до этого, в 1829 году, в своём путешествии на Кавказ в действующую армию он столкнулся с чумой, можно сказать, лицом к лицу. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин описывает своё посещение чумного лагеря и потрясение при виде “двух турков, которые выводили <заболевшего> под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк”. И после этого: “Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в

присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город”.

Хотя в письме Плетнёву Пушкин и пугал того, что вот, дескать, “колера морбус... всех нас перекусает...”, создаётся впечатление, что в Болдино Пушкин, обычно весьма впечатлительный и даже мнительный, на этот раз всерьёз для себя опасности не чувствовал, хотя и писал с бравадой, что “всё лекарство от холеры – один сочаге, сочаге и больше ничего”. Тем не менее, в окружённом холерой Болдино, он ощущал себя не столько возможной жертвой, сколько как бы свидетелем, участником похоронной процессии и, если боялся, то не за себя. Характерная деталь – в повести «Гробовщик», первой из «Повестей Белкина», написанных в Болдино и предшествовавших в написании «Драматическим сценам», заглавному герою Пушкин даёт имя Адриан Прохоров, совпадающее по инициалам А.П. с “издателем” «Повестей», то есть самим Пушкиным. Более того, в черновой рукописи герою было дано и отчество – Спиридонович, то есть совпадение инициалов - А.С.П - полное, вполне демонстративное.



Великая Лондонская чума 1665 года

Возвращаясь к «Пиру во время чумы», вспомним, что там “появляется телега, наполненная мёртвыми телами. Негр управляет ей”. Одна из участниц пира теряет сознание и, когда приходит в чувство, говорит: “Ужасный демон Приснился мне:

весь чёрный, белоглазый... Он звал меня в свою тележку. В ней Лежали мёртвые – и лепетали Ужасную, неведомую речь...” При свойственном Пушкину акцентировании своего “негрского” происхождения, упоминание чёрного “мортуса”, как обычно называли слугителей чумных бараков, в обязанности которых входило и захоронение трупов, конечно, не случайно – Пушкин как бы ещё раз отметил в качестве “гробовщика”, приближённого Смерти.

Так же, как Ахматова отмечала, во-первых, родство, общность, самого Пушкина с Дон Гуаном и, во-вторых, общность между собой первых персонажей «Маленьких трагедий» (“Гуан, Моцарт и Альбер это один и тот же человек”) - следует распространить эту близость и на Вальсингама. Как и в случае с Дон Гуаном, безразлично и то, что Пушкин делает Вальсингама поэтом, чего не было у Уилсона, и сочиняет для Вальсингама Гимн Чуме. Вместе с тем, не стоит стирать грань между Пушкиным и его персонажем, как это любили делать в советские времена: *“Повторим за великим Пушкиным, Всё, всё, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслаждения... Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю...”* Но ведь это не Пушкин “восклицает”, а произносит “охриплым голосом” трагический, полубезумный Вальсингам. Хотя Лотман и называл этот гимн “апологией смелости”, не стоит забывать, что произносится он человеком (или, скажем так, персонажем), которому нечего терять, нечем дорожить, утратившим предшествующее “райское” блаженство, низвергнутым в пучину отчаянья и безнадёжности, Люцифером в человеческом облике.

Ещё раз возвращаясь к идее, восходящей к Ахматовой, о близости между собой первых персонажей всех «Маленьких трагедий», отметим явную переключку слов Вальсингама “Прошедшей ночью, как расстались мы, Мне странная нашла охота к рифмам...” со словами Моцарта: “Намедни ночью Бессонница моя меня томила, И в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня их я набросал”.

Вообще, «Моцарт и Сальери» представляется ключевой из четырёх «Драматических сцен», при том что кажется самой компактной по размеру (хотя, на самом деле, «Пир во время чумы» чуть меньше) и уж, во всяком случае, самой малонаселённой - всего два действующих лица, не считая бессловесного “скрыпача”. И, тем не менее, именно в ней можно обнаружить глубокие внутренние переключки с каждой из трёх остальных «Драматических сцен», начиная, хотя бы, со скрытого звучания моцартовского «Дон Жуана» в «Каменном Госте». Более того,

«Моцарт и Сальери» впитывает в себя мысли ранее прозвучавшие в пушкинских стихах, написанных в Болдино. Так, скажем, во втором монологе Сальери можно не без удивления обнаружить скрытые цитаты из глубоко личного, исповедального стихотворения «Элегия», одного из первых написанных в Болдино (вероятно – второго, после «Бесов»). Впрочем, особенно удивляться не стоит – Гершензон писал: “Пушкин сам был Моцартом – в искусстве – и он знал это; но во всём другом он был Сальери – и это он тоже знал”.



Лука Лейденский, Иисус и Сатана в пустыне, 1518

Признание влияния, оказанного «Потерянным Раем» Мильтона на Пушкина при создании им «Драматических сцен» позволяет, как мне кажется, открыть некоторые новые аспекты и в самой драме «Моцарт и Сальери». Если принять догадку о том, что Люцифер мог послужить Пушкину как бы “прототипом” его героев, то совершенно по-другому, с иным подтекстом воспринимается реплика Сальери на игру Моцарта: “Ты, Моцарт, - Бог и сам того не знаешь. Я знаю, я!”

В списке драматических сюжетов, записанных Пушкиным в Михайловском, помимо *Моцарт и Сальери*, значилась, в частности, также тема *Иисус*, однако попыток расшифровки этого сюжета, кажется, никогда не предпринималось за полным отсутствием каких бы то ни было дополнительных свидетельств, оставленных Пушкиным. Обращение к сюжету «Потерянного Рая» и признание близости “первых персонажей” «Драматических

сцен» Сатане, Люциферу позволяет предположить, что в «Моцарте и Сальери», Пушкин отвёл Моцарту роль как бы земного воплощения Иисуса и предпринял “опыт драматического изучения” его второго Пришествия и гибели.

Имя Сатаны восходит к еврейскому корню, который означает “противостоять”, “быть противником”. Первоначально это слово обозначало просто “враг”, “противник”. Как я уже упоминал, до своего падения Сатана был первым, блистательнейшим Архангелом, сыном Божиим, Люцифером, сияющим среди ангелов как ярчайшая звезда среди прочих. Пророк Исайя говорит: “Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своём: "взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, подобен Всевышнему".” Кстати, в связи с этими словами Исайи стоит вспомнить и близкую к ним характеристику, которую Пушкин даёт Наполеону в стихотворении «Герой». Очень похоже, что и здесь исподволь устанавливается некоторая ассоциативная связь между Наполеоном и Люцифером.

Мильтон дополнительно усложняет сюжет восстания ангелов: перед этим Бог нарушает им же самим ранее установленную иерархию Небесного царства и возвеличивает Иисуса как Бога-Сына, принуждая все эфирные существа, населяющие Небеса, присягать Ему на верность. Таким образом Сатана становится не вторым, а третьим в небесной иерархии, чего принять он не в состоянии. Современный писатель (Дмитрий Крюков в эссе, посвящённом образу Сатаны в «Потерянном Рае» Мильтона) с воистину сальериевской логикой пишет: “Зачем же Мильтон выдумывает подобный сюжетный ход с Богом-Сыном? Уж не затем ли, чтобы обелить Сатану? Ведь отныне у Врага появляется вполне достойный повод к бунту. Он действует не на пустом месте, руководимый одной лишь гордыней, а исходит из определенных понятий о справедливости, ибо он, верно служивший Богу, вынужден уступать место божественному Сыну. А ведь Сатана тоже Сын Господа! Сын сильный и до поры исполнительный, но, очевидно, нелюбимый. Мятеж таким образом преподносится в поэме не столько как восстание Сатаны лично против Небесного Монарха, но как спор двух Сыновей за ближайшее положение к трону Отца; спор, который неминуемо ведёт к тому, что горделивый Сын не желает мириться с судьбой и вынужден нарушить волю Отца, бросив Тому вызов”.

Невольно вспоминается тост, провозглашаемый Моцартом над бокалом, куда Сальери уже насыпал яд: “...За искренний союз,

Связующий Моцарта и Сальери, Двух сыновей гармонии... ” Владимир Рецептер в статье с подзаголовком «Репетируя *Моцарта и Сальери*» пишет: “В драматургическом смысле перед нами не две трагедии – трагедия Моцарта и трагедия Сальери, а одна – трагедия Моцарта и Сальери.” Я бы хотел подчеркнуть – Сальери замышляет не просто отравление Моцарта, но одновременно и самоубийство: “дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы” - пьющие чашу дружбы разделяют её. Отсюда это восклицание Сальери: “Ты выпил!.. без меня?!”



М.А. Врубель. Моцарт и Сальери

Для Пушкина «Моцарт и Сальери» – опыт исследования некоего диалектического противоречия, когда, со своих позиций, субъективно, правы обе стороны, вступающие в конфликт, – именно на этом столкновении потом строятся и «Медный всадник», и «Капитанская дочка». Но это – ещё и опыт самоисследования путём раздвоения, столкновения внутри себя различных ипостасей. В.Э. Вацуро констатирует: “это не преступление, потому что это – жертва, апофеоз. Сальери ... жертвует искусству самым драгоценным, что у него есть – своей жизнью и жизнью человека, который одновременно является для него предметом и бесконечной любви, и бесконечной ненависти. Моцарт – гений, но именно потому, что он пришёл как бы органом божества, потому что моцартовской высоты достичь не может никто: ни сам Сальери, ни вся музыка. Сальери борется не с Моцартом. Он борется с той несправедливостью, на которой построено мироздание”.

И это явственно пересекается с тем, как Мильтон описывает состояние поверженного Люцифера (перевод А.Штейнберга):

Сомнение и страх язвят Врага
Смятённого; клоочет Ад в душе,
С ним неразлучный; Ад вокруг него
И Ад внутри. Злодею не уйти
От Ада, как нельзя с самим собой
Расстаться.



Евгений Кисин

Может ли гений быть понятым всеми при жизни?



Евгений Федорович Светланов – не просто один из многих великих музыкантов, творчеством которых я неизменно восхищаюсь: его искусство, главными составляющими которого являются эмоциональность и творческое начало, всегда было очень близко моему сердцу. К сожалению, нам не довелось общаться так много, как мне хотелось бы, но каждая из наших встреч, каждое наше совместное выступление для меня дороги и незабываемы.



Впервые я увидел Евгения Федоровича живьем, когда был еще подростком, в середине 1980 годов, в Большом зале Московской консерватории. Если мне не изменяет память, я спускался по лестнице для артистов, а он поднимался по ней – шел на репетицию. Ни на кого не смотрел, весь был погружен... мне, как и любому музыканту, было понятно: не в себя, а в музыку погружен был, в музыку, которую ему предстояло творить. Любой человек, даже далекий от музыки и не знающий, кто это поднимается по лестнице, если бы увидел Евгения Федоровича в

ту минуту, то сразу понял бы: это – необыкновенный человек, не «простой смертный».

В ноябре 1986 года я принял участие в праздновании юбилея Госоркестра в БЗК. Играл я тогда мазурку и этюд Скрябина и сыграл удачно. К сожалению, в тот раз мне не довелось даже как следует разглядеть Евгения Федоровича, сидевшего на сцене довольно далеко от рояля, – но никогда не забуду слов, которые сказал мне после моего короткого выступления кто-то из организаторов того торжества: «Светланов сидел, как замороженный!». Ни о чем подобном я и мечтать не мог: Евгений Светланов в то время для меня был... просто чем-то недостижимым...

А несколько лет спустя, в 1990 году, началось наше сотрудничество. Самым памятным из первых наших совместных выступлений с Евгением Федоровичем был концерт с Госоркестром в Тулузе, когда мы сыграли 1-й концерт Чайковского. Это был один из тех вечеров, когда, как говорят музыканты, попадаешь в самую точку: все удавалось, и было какое-то необыкновенное слияние и с музыкой и друг с другом. Евгений Федорович был очень доволен и потом сказал, что я... напоминаю ему его самого в молодости! А во втором отделении исполнялась 3-я симфония Чайковского. У меня еще с детства, помню, засел в голове стереотип, что 3-я – «самая неудачная» из всех симфоний Петра Ильича, и до того вечера в Тулузе я относился к этому сочинению соответственно. Светланов же продирижировал тогда симфонию настолько ярко и вдохновенно, что я просто влюбился в эту музыку – и люблю ее по сей день. А на бис – Адажио из «Щелкунчика» и «Пляска скоморохов»: это уже был какой-то фейерверк! От того концерта осталось у меня ощущение самого настоящего праздника...

Творческое начало... Не сравнивая себя ни с кем, я с детства хорошо знаю по себе, что это такое, – и всегда оно было мне особенно дорого и близко в исполнительском искусстве (и не только в нем). Музыканты такого плана, как правило (хотя, как известно, не бывает правил без исключений – в свою очередь эти правила подтверждающих), на публике играют/поют/дирижируют гораздо лучше, чем в студиях звукозаписи; они никогда не могут дважды исполнить одно и то же произведение абсолютно одинаково, а если приходится им исполнять одну и ту же музыку два раза (или два вечера) подряд, то у них это просто не может получиться на одинаково высоком уровне. Таким был Артур Шнабель: во время записи 4-го концерта Бетховена, когда после очень удачного в музыкальном плане, несмотря на некоторые

технические погрешности, варианта не то дирижер, не то звукорежиссер предложили ему сыграть еще раз, аргументируя тем, что будет лучше, Шнабель ответил: «Может быть, будет лучше – но так хорошо уже никогда не будет!». Таким был Владимир Софроницкий, о чем свидетельствуют не только воспоминания тех, кому довелось слушать его живьем, но и его многочисленные записи – особенно если сравнивать записи, сделанные во время концертов, со студийными (последние он сам называл: «мои трупы»). Артуро Бенедетти Микеланджели, с одной стороны, принадлежал к противоположному типу: он был перфекционистом, и весьма метко сказал однажды о его искусстве Генрих Густавович Нейгауз: «Совершенство бывает не только со знаком плюс, но и со знаком минус».. А после одного из своих концертов в Лондоне (концерт тот был записан, но Микеланджели не разрешил выпускать запись, и она вышла в свет лишь после его смерти), на котором он, вопреки обычной своей манере, играл очень свободно и творчески, как говорят англичане, “let himself go”, – Микеланджели заявил: «Сегодня я играл, как проститутка, – но очень дорогая!». Однако с другой стороны, именно из-за своего перфекционизма он часто в самую последнюю минуту отменял концерты: чувствовал, что сегодня не сможет сыграть так, как хочет.

Евгений Федорович Светланов был творческим человеком до мозга костей. Помню, через несколько месяцев после того концерта в Тулузе по телевидению передавали студийную запись 3-й симфонии Чайковского в исполнении Светланова с Госоркестром – как будто совершенно другая музыка звучала! Даже обидно как-то стало... и я понял, что у такого человека, как Светланов, иначе и быть не могло: для того, чтобы получился шедевр, помимо тяжелой и кропотливой предварительной работы, нужна публика, необходимо ощущение сиюминутности творения! А в июне 1996 года мы с Евгением Федоровичем 2 дня подряд исполняли 3-й концерт Рахманинова: в Бирмингеме и в Лондоне. Бирмингамский концерт удался так же, как тулузский за несколько лет до того: «в самую точку»! Очень доволен был Евгений Федорович – и, зная и себя и меня, сказал: «Завтра будет хуже!». И, действительно, было хуже – потому, что так же быть уже не могло. Вроде бы, внешне все было на месте, а чего-то самого важного, чего невозможно сделать специально, как ни старайся, – не было.

Мне посчастливилось быть на концертах Светланова, когда он предстал во всем величии своего таланта. Никогда не забуду скрябинской «Поэмы экстаза» в его исполнении: это действительно была Поэма Экстаза в полном смысле слова – и все

слушатели (подавляющее большинство которых эту музыку – кстати, весьма непростую для восприятия – знать не могло, так как дело было во Франции, на Кольмарском фестивале) в едином порыве вскочили со своих мест после последнего аккорда. Никогда не забыть мне, как на том же Кольмарском фестивале Светланов дирижировал 1-ю симфонию Малера, какое потрясающее по внутренней силе это было исполнение. Помню (там же, в Кольмаре) светлановскую 1-ю симфонию Брамса ... После того, как в 1992 году мне довелось 3 дня подряд слушать это произведение в исполнении моего любимого Карло Мария Джулини с Венским филармоническим оркестром, я был уверен, что больше ни у кого эту музыку слушать не смогу. Несколько лет спустя Евгений Федорович убедил меня в обратном (нечто сходное я испытал с баховскими Гольдбергскими вариациями: в течение многих лет был уверен, что после последней записи Глена Гульда никому за них вообще братья не следует, а потом послушал запись Даниэля Баренбойма – и убедился: нет, в искусстве вряд ли кто-либо, даже величайший гений, может сказать «последнее слово»). Сейчас мне даже трудно описать, что именно впечатлило меня в светлановском прочтении брамсовской симфонии: просто это было необыкновенно свежо и талантливо, очень индивидуально – хотя и без малейшего намека на какую-либо «оригинальность». И вот тут я не могу не вспомнить один момент, не имеющий никакого отношения к музыке, но, как показало будущее, весьма показательный (прошу прощения за тавтологию): после того концерта кто-то из оркестрантов спросил меня, что я думаю о светлановской трактовке, указав на ее «нетрадиционность», – причем сказано это было в таком тоне (трудно передать на бумаге), как будто нетрадиционность в данном случае означала спорность, неадекватность, «несоответствие». Да, светлановская интерпретация действительно была очень индивидуальной – но не было в ней абсолютно ничего, что бы хоть в малейшей степени противоречило духу и букве Брамса! И невольно закралось подозрение: а все ли музыканты Госоркестра осознают, какие они счастливые люди, какой гений ими руководит?! К хорошему ведь привыкаешь – и, наверное, даже к гениальному...

Вообще отношение некоторых членов светлановского оркестра к своему шефу в течение многих лет было, скажем так, своеобразным. В свое время, когда я был еще ребенком, и обсуждалась возможность моих выступлений со Светлановым, кто-то из администрации Госоркестра решил «предупредить» мою учительницу Анну Павловну Кантор: «За одну репетицию Женья

узнает весь алфАвит!» (имелось в виду то, что нынче называется «ненормативной лексикой»). Что я могу сказать – за все время своего общения с Евгением Федоровичем я НИ РАЗУ не услышал от него НИ ОДНОГО не то что матерного, но даже просто грубого слова. Когда на одной из наших совместных репетиций 5-го концерта Бетховена, кто-то из духовиков сыграл нечто весьма отличающееся от написанного в нотах, Евгений Федорович совершенно спокойным тоном сказал: «Вообще-то пора эту музыку знать – она существует уже несколько столетий. Хотя, – добавил он, – как сказал бы Николай Палыч Аносов, это было некоторое "освежато"». Какой уж тут «алфАвит»?! Очевидно, Светланов, потомственный русский интеллигент, все-таки прекрасно знал, когда какие слова и выражения следует употреблять, и пользовался ими к месту.

А однажды произошла вот такая история. Во время той самой нашей репетиции 5-го бетховенского концерта, когда мы прошли концерт целиком и Евгений Федорович спросил меня, все ли мне удобно, я попросил его подвинуть темпы в первой и третьей частях, поскольку он брал очень сдержанные темпы, которые были мне не близки. Сначала Евгений Федорович, помню, удивился, но потом, во время перерыва, сидя на сцене за своим дирижерским пультом, смотрел в партитуру, думал, дирижировал что-то для самого себя – и затем, когда репетиция продолжилась, стал дирижировать в моих темпах, которые, очевидно, попытался понять и прочувствовать в перерыве. Казалось, все было хорошо – и вдруг я узнаю от своей знакомой, супруги одного из оркестрантов, что оркестр разделился на две части: одни стали возмущаться, как это Кисин посмел попросить Маэстро что-то изменить, а другие были с этим не согласны. Услышал я это – и подумал: да-а-а, только в России, с ее вековыми традициями чиновничества, возможен такой маразм!

Что произошло между Светлановым и Госоркестром за несколько лет до кончины Евгения Федоровича, хорошо известно. Время было трудное, музыканты оркестра нуждались в заработке, а их главный дирижер, будучи востребованным во всем мире, не мог им этого заработка обеспечить. Все это понятно – но поражает то, какой выход из ситуации выбрал Госоркестр: просто разорвать отношения со Светлановым, раз и навсегда лишит самих себя творческого контакта с великим дирижером, благодаря которому они и стали одним из лучших оркестров мира! И непонятно: а те, которые всего за несколько лет до того негодовали, «как Кисин посмел о чем-то попросить Светланова», – как же они могли это допустить, если до такой степени «преклонялись» перед своим

Маэстро?!

В принципе, в подобном отношении оркестрантов к гениальным дирижерам, к которым они «привыкают», ничего нового нет. В свое время, незадолго до смерти Герберта фон Караяна у него возник конфликт с Берлинским филармоническим оркестром, которым он руководил в течение нескольких десятилетий. Там дело было, разумеется, не в зарплате музыкантов (уж ей-то они были постоянно обеспечены сверх головы!), а совершенно в другом, к чему в полной мере применимо русское выражение «с жиру бесится»: Караян решил принять на работу в оркестр талантливую флейтистку, что противоречило «доброй» традиции Берлинского филармонического оркестра, согласно которой в нем играли... только мужчины! Маэстро не посчитался с сексистскими протестами своих музыкантов, и они решили: «Ах так?! Ну, так мы ему покажем! Мы сами с усами, не нужен нам Караян!» – и «в знак протеста» поехали на гастроли по Европе с другим, сравнительно молодым дирижером (не буду называть его фамилии). В результате – за что боролись, на то и напоролись: продано было на этих гастролях всего 60% билетов!

(Кстати, вскоре после того, как Караян создал «возмутительный прецедент», в оркестр стали без всяких возражений принимать женщин, сейчас представительниц прекрасного пола в Берлинском филармоническом очень много – и ничего, хуже от этого оркестр почему-то не стал!)

Что же касается Госоркестра, то вскоре после разрыва со Светлановым их новый администратор специально приехал в Петербург, когда я был там на гастролях, попросил меня о встрече и заявил мне следующее: «Я Вам откровенно скажу: сейчас, после того, как мы перестали работать со Светлановым, у нас проблемы, поэтому нам нужны знаменитые солисты, и мы хотим пригласить Вас с нами выступить». Просто интересно – а на что они рассчитывали, когда изгоняли Светланова?! Я тогда никакого определенного ответа не дал; думаю, что тот человек меня понял, поскольку больше со стороны Госоркестра приглашений не поступало. Естественно, с такими людьми у меня нет желания музицировать.

Может ли гений быть в полной мере понятым всеми при жизни? Наверное, нет. Последний раз я слушал Евгения Федоровича в Лондоне, незадолго до его смерти; исполнял он 2-ю симфонию Рахманинова. «Шедевр», «чудо», – только такие слова применимы для описания того концерта. До сих пор звучит у меня в ушах главная тема 1-й части: трепетная, с тончайшими рубато, каждая нота в ней говорила, каждая из постоянно меняющихся

гармоний была донесена до слушателя во всей своей красоте! И 3-я часть... Светланов вообще любил медленные темпы (как и многие музыканты, у которых очень много есть, что сказать), и вот он взял очень медленный темп в 3-й части рахманиновской симфонии – и получилось настоящее откровение. И подумал я тогда: интересно, а понимают ли эти музыканты-англичане, для которых Рахманинов, может быть, вообще является почти таким же «необитаемым островом», как для нас Элгар, – осознают ли они, какой гений ими дирижирует, какое чудо они только что сотворили, следуя выразительным жестам его рук? После концерта я задал кому-то из оркестра вопрос об этом (не помню точно, как я его сформулировал) – и молодая оркестрантка весело, с широкой улыбкой сказала мне: «Да, мы его любим!». И понял я, что... нет, не дано им этого осознать – потому, что такого Музыканта надо любить не весело, не с широкой улыбкой...

Одна из самых драгоценных реликвий в моем доме – письмо Евгения Федоровича, которое я получил всего за несколько недель до того, как его не стало. В нем Маэстро очень лестно отозвался о моих записях, которые я послал ему незадолго до того («Вот это подарок!»), и высказал пожелание, ставшее для меня своего рода завещанием: чтобы я играл Метнера. Как известно, Евгений Федорович Метнера очень любил и сам пропагандировал его музыку. Вскоре после кончины Маэстро, помня его завет, я выучил и включил в свой репертуар метнеровскую Сонату-воспоминание.



Гелий Грант

Долгие «каникулы»

**О военном детстве московского мальчика,
угнанного из Таганрога в Германию в 1942
году Таганрог**



В мае 1941 года наступили мои первые школьные каникулы. Позади был первый класс, а впереди необъятное лето и от этого огромная радость. Снова свобода, игра и веселье. А тут еще к Первомайскому празднику в Москву из Таганрога приехала жена маминого дяди Надежда Викторовна с сыном Игорем, моим сверстником, который при первой же встрече объяснил мне, что я «сын дочери брата его отца» и моложе его, Игоря, на год, месяц и день. Я решил эту головоломку, согласился, и мы подружились. Приехавшие родственники остановилась у вдовы маминого отца, Софьи Моисеевны, на Тверском бульваре. В это время там уже находилась 20-летняя старшая дочь Надежды Викторовны Таня, приехавшая в Москву для поступления в театральное училище. 3 мая Игорю исполнилось 10 лет, и я подарил ему собственноручно сделанную из газеты треуголку. В то время в нашем возрасте такие подарки были в порядке вещей.

В одной из двух комнат квартиры Софьи Моисеевны стоял большой концертный рояль моего деда, занимавший почти четверть комнаты. Мы с Игорем устроили себе под ним обособленное от взрослых убежище, затащив туда матрац и подушки, в общем, расположились с полным комфортом, если, конечно, не забываться и резко не вскакивать. Рояль, прежде такой живой и мелодичный, больше не звучал. На нем все еще лежали ноты деда, но теперь немые и на них накапливалась пыль. В этой комнате стоял также огромный шкаф, с полу до самого потолка набитый книгами. Но детских книг здесь не было, и поэтому мы играли с машинками и оловянными солдатиками, которые, конечно, шли на войну. Гулять нас одних не пускали, потому что у этого дома не было двора и детей из окна тоже нигде не было видно.

Через месяц после приезда Надежда Викторовна с Игорем собрались возвращаться к себе в Таганрог, и на семейном совете взрослых было решено отправить меня с ними на летние каникулы. А мама должна была позже взять отпуск и тоже приехать в Таганрог. Однако все получилось иначе.



Был жаркий, солнечный день, когда московский поезд на Батуми на две минуты остановился на станции «Марцево», от которой к Таганрогу шла короткая местная линия. На платформе нас встречала Ира, младшая, 18-летняя дочь Надежды Викторовны. Она, бронзово-загорелая, высокая и стройная, в белом воздушном платье радостно бежала по платформе вслед нашему замедляющему ход вагону и с комичным недоумением размахивала полученной в этот день поздравительной телеграммой по случаю чьего-то дня рождения. Оказалось, что моего, и это поздравление вдогонку пришло от мамы. Так обозначилась точная дата моего приезда в Таганрог: 4 июня 1941 года. Мне исполнилось 9 лет. До начала войны оставалось 18 дней. Но этого никто не знал.

Наши родственники снимали большую квартиру в частном доме № 68 по улице Антона Глушко. Глава семейства, младший брат моего деда, врач-рентгенолог Анатолий Дмитриевич Покровский, был высокообразованным человеком, прекрасно играл на рояле и пользовался уважением и любовью окружающих. В числе его друзей был живший одно время в городе известный художник Петр Петрович Кончаловский. Надежда Викторовна в ранней молодости занималась скульптурой и была, говорят, лучшей ученицей знаменитой Голубкиной. Но встретив в

Гражданскую войну в Белой армии молодого военврача Анатолия, она в 19 лет, бросив родительскую семью и искусство, осталась с ним навсегда. Её родители, отец - немец, мать – русская, уехали на родину отца в Германию и с тех пор связи с ними никакой не было. Впоследствии выяснилось, что они умерли в конце 1930 годов. Покровские же, сами родом из Луганска, осели в тихом городе Таганроге. Анатолий Дмитриевич работал в железнодорожной больнице, Надежда Викторовна растила троих детей. Обе дочери к 1941 году уже закончили школу, а Игорь перешел в третий класс.

Но все это была взрослая жизнь, наша же, мальчишеская, проходила во дворе, преимущественно на стоявшей посреди него огромной шелковице, и на море, куда мы с Игорем и соседскими ребятами бегали по пять раз в день и купались до посинения в любую погоду. Кроме того, ловили бычков и раков, собирали раковины и камни, а однажды нашли на берегу человеческий череп и решили попугать им нашу сверстницу и соседку по двору Риту. Вечером уже в темноте, Игорь набросил на себя простыню и, держа над собой череп с горящей внутри него свечой, стал под наше многоголосное завывание ходить по двору. Эффект был ошеломляющий: Ритка визжала так, что сбегались взрослые. Ну и нам, конечно, попало, но не остановило нашу буйную фантазию: мы с Игорем стали по ночам между домом и близким к нему забором искать клад. Дело в том, что в нашем дворе жил одинокий старик, который раньше, говорят, был купцом, и Игорь божился, что старик закопал где-то клад, так как сам видел через окно, что тот считал пачки каких-то странных старинных денег. Однажды в полночь, вооружившись лопатой, ведром и свечой, ну всё, как у Тома Сойера и Гекльберри Финна, мы рылись за домом в земле, измазались, как могли, но ничего, конечно, не нашли, кроме огромного удовольствия от приключения. О наших похождениях я писал маме Жене в открытках. Мне нравилось ее уютное имя, и я часто ее так называл. Отец или папа Грант вызывал у меня трепет, и я не лез к нему со своими откровениями.

Как-то раз Анатолия Дмитриевича вместе с нами пригласил за город его знакомый и благодарный пациент, у которого был большой яблоневый сад и много ульев. Вечером нам, пацанам, поставили на веранде на стол целый таз свежего меда и корзину отборных яблок. Это был настоящий пир, и мы так напировались, что потом маялись животами. Но память сохранила этот день навсегда.

Иногда мы с Игорем ходили через весь город на набережную к знаменитой в городе Каменной лестнице.

В бархатный южный вечер, у моря раздавалось:
Саша, ты помнишь наши встречи
В приморском парке на берегу...
Неповторимый голос Изабеллы Юрьевой пел:
Как много в жизни ласки.
Как незаметно бегут года...

Песня проникала в сердце и окрашивала все вокруг волшебством любви. По набережной прогуливались стайки девушек в белых платьях, звучал звонкий беззаботный смех, стрекот цикад. Отдельно с прибаутками и коленцами шли парни. Все их внимание привлекали хохотуны. Воздух был пропитан молодостью, здоровьем, любовью и устремлением в безоблачное счастливое будущее. Была середина июня 1941 года.

Мало встретишь современников начала войны, кто бы навсегда не запомнил во многих подробностях первый ее день.

22 июня был великолепный солнечный воскресный день. Анатолий Дмитриевич, Игорь и я рано утром на трамвае поехали гулять на окраину города, в Дубки - парковую дубовую рощу. Мощные дубы с корявыми, неохватными стволами стояли не часто, но их высокие густые кроны создавали общую прозрачную тень. Казалось, что это громадные светло-зеленые залы. Солнце прорывалось сквозь листву и яркими пятнами ложилось на высокую сочную траву. Воздух был свежий и легкий, а наша жизнь полна радости и веселья.

В середине дня, возвращаясь домой, мы увидели бегущую по улице растрепанную хозяйку нашего дома Степаниху. Она иступленно кричала: «Война! Война!».

В один миг все изменилось и рухнуло. Жизнь раскололась на «до» и «после». И та счастливая жизнь, которую даже не осознавали как счастье, никогда уже больше не вернулась. Она навсегда осталась там, в начале июня 1941 года. А само написание этого года – «1941» - стало роковым и зловещим, и мало, кто уже вспоминал (да многим и не пришлось больше ничего вспоминать) прекрасное начало этого ужасного года.

Счастливо поколение, прожившее свою жизнь без войны. Но таких поколений мало.

Через два дня Анатолия Дмитриевича как врача взяли в армию. От него стали приходиться треугольники писем, где он писал про «розовые на закате ручьи». Это были потоки крови. Под Киевом он чудом вышел из окружения.

Несмотря на войну, мы, дети, продолжали свою обычную жизнь: ходили на море, играли в саду и на дворе, читали книжки. Для нас атмосфера по-прежнему была легкой, летней. Казалось,

что война – случайность и ненадолго. Плакаты обещали скорую победу. Мы пели о том, что «гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход»... Карикатуры на немцев делали их смешными и несерьезными. Многие взрослые, по простоте своей, вначале думали, что война вот-вот кончится, и все опять будет светло и радостно.

Но в начале августа из Москвы вернулась Таня. Она рассказывала, что по железной дороге идут в основном воинские эшелоны, а обычных поездов очень мало, они переполнены людьми, движутся медленно и нерегулярно. Выяснилось, что мама¹ приехать за мной не сможет и не только потому, что она была одна с моим трехлетним братом Леней, - её просто не отпускают с завода, который в одночасье объявили оборонным. Отец мой², который в это время с нами уже не жил, работал в оборонном конструкторском бюро и о его приезде за мной также не могло быть и речи. Я, однако, к этому тогда отнесся легко и бездумно, ведь для меня-то жизнь шла, как будто, по-прежнему.

Но было уже велено в саду выкопать так называемую щель – подобие окопа, перекрытого жердями и наваленной сверху землей и служившего нам бомбоубежищем. И действительно как-то ночью в начале сентября всем жителям нашего двора пришлось сидеть в этом убежище, когда над городом кружили немецкие самолеты, по черному небу шарили лучи прожекторов, тянулись цветные нити трассирующих пуль, слышались звуки выстрелов и глухие удары от разрывов небольших бомб. Я не совсем понимал происходящее и поэтому стремился все время вылезти из щели, куда меня загоняли старшие. Старик с нашего двора тоже не полез в щель. Он стоял рядом и то стучал суковатой палкой по земле, то замахивался ею в небо и сердито ворчал: «Ишь, до чего доигрались!». Зимой, при немцах, он умер от голода. Однако в сентябре ещё никто не представлял себе, что будет дальше.

Но вот однажды улицы, примыкающие к базарной площади, заполнились красноармейцами. Усталые, запыленные солдаты в обмотках, с бритыми наголо головами, что делало их почти неразличимыми, сидели и лежали на тротуарах. Некоторые из них спали в пыли прямо под палящим солнцем, другие писали письма-треуголки с надеждой, что они дойдут по полевой почте

¹ Покровская Евгения Леонидовна (1910-1987), русская, родилась в Кракове, Польша в семье революционеров, бежавших из вечной Сибирской ссылки. Окончила Московский текстильный институт.

² Грант Андреевич Мирзоев (1906-1961), армянин из Нагорного Карабаха. Окончил Московский текстильный институт.

домой.

И вдруг все резко изменилось. Солдаты с улиц исчезли, и над городом повисла гнетущая, выжидательная тишина. Как-то мимо нашего дома в сторону моря проехала полупанк с красноармейцами. Я вышел на мостовую и смотрел им вслед, когда промчавшийся по улице вихрь отбросил меня назад к тротуару. И тут же с той стороны, куда ушла машина, раздался резкий звук взрыва. Я убежал во двор. Игорь в это время спрятался в стоявшей около забора уборной. Мне тоже хотелось спрятаться куда угодно, но мой враг - любопытство оказалось сильнее, и я снова выглянул за ворота. На улице мелькнул мотоцикл с коляской и двумя солдатами в касках и в незнакомой грязно-зеленой форме с погонами. Это были немцы.

Они прошли по берегу Таганрогского залива в обход жидкой цепи красноармейцев, прикрывавших город с суши, и захватили Таганрог без боя - просто зашли в тыл наших окопов. Кого постреляли, кого взяли в плен, а местным жителям велели собрать раненых и убить убитых. Пристреливать раненых на месте немцы в победном для себя 1941 году не стали и окрестные женщины по их указанию свезли истекающих кровью красноармейцев в город в опустевшую железнодорожную больницу, стоящую на высоком обрывистом берегу залива. Нашлись старик-фельдшер и несколько прежних пожилых работников больницы, начавших из сострадания выхаживать раненых солдат.

Наступил день, когда есть оказалось нечего. У меня в руках была одна лишь луковка без всякого хлеба. Вспомнилось, как мама перед отъездом в Таганрог упрасивала меня съесть клубнику со сливками, а я шумел: «Зачем ты сказала, что это сливки?». Я их тогда терпеть не мог. А теперь от голода подводило живот. Настали черные времена. Наши, бросая город, подожгли продовольственные склады, чтобы запасы не достались врагу, и тем обрекли население на подачки от немцев и голодное умирание. Над городом поднимался черный столб жирного дыма – горел хлебозавод. Морская вода стала сладкой от утопленного в ней сахара.

Некоторые семьи пытались бежать на малых суденышках через залив, но были потоплены пикирующими юнкерсами.

Кто-то из соседей принес весть, что на Ленинской, главной улице города, народ взламывает двери магазинов, разбивает витрины и растаскивает все, что только можно унести. И ещё: что некоторые девушки вышли на улицу в нарядных платьях с цветами. Город наполнили бесчисленные грузовые машины,

бронетранспортеры, танки, самоходки, тягачи с пушками - целая механизированная армада, занявшая все улицы и дворы. Везде раздавалась гортанная, лающая немецкая речь.

В тот же день в городе случилось страшное: на Ленинской кто-то открыл люки канализации, и из них стали вытаскивать множество «свежих» трупов мужчин и женщин. Мертвых клали на подводы и везли по главной улице за город в общую яму. Прошел слух, что это работа НКВД, перед спешным отступлением ликвидировавшего всех заключенных, среди которых было много случайно задержанных. При бегстве из города девать их было некуда. Не отпускать же, чтобы самим оказаться на их месте. И поэтому их, скорее всего, спешно уничтожили.

Вскоре мы увидели немцев вблизи. К нам в дом вошли два высоких эсесовца в длинных шинелях и фуражках с изображением черепа. Они спросили у перепуганной Надежды Викторовны, есть ли у нас золото и кольца. Но таких вещей в этой семье никогда не было. Эсесовцы вспороти своими длинными ножами несколько подушек, отчего белое облако пуха и перьев разлетелось по всей комнате и, ничего не найдя, ушли.

Под вечер во двор на мотоцикле заехал запыленный пехотный офицер. Остановившись на ночь в нашей квартире, он, заметив голодных детей, принес откуда-то хлеба и два котелка с густым гороховым супом. Утром он уехал.

На следующий день на стенах домов появились первые приказы немецкого командования к населению. Напечатаны они были по-русски на листах с орлом и свастикой и касались в основном евреев. Наказанием за невыполнение приказов был расстрел. Мои родственники стали опасаться, что меня, как похожего на еврея, могут схватить на улице и поэтому они никуда меня не пускали (о том, как мне пришлось близко столкнуться с Холокостом, расскажу позже).

В городе усиливался голод. Магазинового снабжения не было. На рынке боялись продавать и обменивать вещи на продукты. Многие за паек стали работать у немцев. Мы с Игорем иногда ходили на море за бычками, но в октябре было уже очень холодно, и рыба ложилась на дно и ловилась плохо. Теперь днем и ночью город подвергался артиллерийскому обстрелу с другого берега Таганрогского залива. Били по скоплению немецкой техники, но гибли в основном простые жители.

Таня стала медсестрой в железнодорожной больнице, где раньше работал ее отец и ухаживала за нашими ранеными солдатами. Но вскоре больницу накрыл залповый огонь тяжелых батарей. Случилось это днем, в Танину смену. Разрывы ложились

густо. Легкораненные, кто мог, выскакивали из палат, чтобы спастись в окопах около здания, но прикованные к кровати оставались и умирали на месте. Таня видела, как один молоденький солдатик выполз из обрушившейся палаты, таща за собой вывалившиеся из распоротого живота кишки и умолял медсестру его прикончить. На той стороне, откуда летели снаряды, хорошо знали, что в больнице свои раненые, но приказ есть приказ, и они стреляли по своим.

Около нашего дома тоже упал один снаряд и разрушил часть стены. Жить в доме стало очень холодно и опасно. Через несколько дней мы перебрались в пустую квартиру в четырехэтажном доме рядом с Ленинской улицей и заняли там три комнаты. Позже в другую часть этой квартиры вселились два немецких солдата - двадцатитрехлетний Рольф и семнадцатилетний Гюнтер.

В большом дворе этого дома немцы устроили бойню коров. Мы с Игорем и мальчишки с окрестных улиц, сидя на высоком кирпичном заборе, наблюдали, как солдат в одних трусах бил обухом топора корову в лоб и, когда она падала на колени, ножом перерезал горло. Под черную дымящуюся струю крови подставляли ведро. Собирали. Мясо, конечно, шло только немцам. Мы его не видели. Питались горохом, картошкой и чем придется. Иногда мне везло, и я, сгибаясь от тяжести, подтаскивал к машине канистру с бензином и за это получал кусок хлеба.

На базарной площади немцы поставили виселицу и вешали людей в основном за воровство. Даже детей.

Как-то на улице меня остановил бородатый заросший дед, или он показался мне дедом. Под мышкой у него была доска с большим гвоздем. Он спросил, откуда я.

«Живу здесь», - ответил я. «Ты считать умеешь?» «Конечно». «Тогда посчитай, сколько вон на той улице стоит машин».

Когда я вернулся, «дед» ждал меня в подъезде соседнего дома, он сказал, что я – молодец - правильно сосчитал. Я встречал его ещё много раз и рассказывал ему о том, где и что видел. Но потом он исчез и больше не появлялся.

В нашем новом дворе и вокруг на улице, валялось много патронов и даже целые небольшие снаряды с гильзами. Мальчишки их собирали, отделяли с помощью молотка от гильз и добытым таким способом толком и порохом наполняли одну большую гильзу. К ней продельвалась тоненькая пороховая дорожка. Все прятались, а один из нас поджигал эту дорожку, и мчался к укрытию. Гильза, как ракета, с воем, зигзагами летела по

улице и шлепалась о какой-нибудь забор или стену дома. И хотя за это можно было поплатиться, если поймают, но мы были в восторге.

Я и на соседних улицах собирал патроны и тащил их домой. Вскоре Рольф обнаружил мой уже довольно большой склад и стал гоняться за мной с ремнем. Я увернулся и выскочил из квартиры, а он, чуть ли не час набивая карманы патронами, незаметно для окружающих выносил их из дома. Мне, можно сказать, крупно повезло, но понимание этого пришло только после гибели одного из моих товарищей, в руках которого разорвался снаряд и разнес его на куски. Больше мы в эти игры не играли. Однако всю войну я протаскал с собой как талисман острый, зазубренный осколок шириною в три пальца, который как-то раз днем на улице шлепнулся рядом со мной в стену дома. За миг до этого я услышал леденящий душу, нарастающий звук падающей бомбы и вжался около дерева в газон, а после взрыва еще долго плохо слышал. При этом крошечный кусочек железа на излете все же угодил мне в тыльную часть левой кисти и так навсегда в ней остался. Талисман же свой, отвративший, как тогда думалось, худшее, я потерял уже в 45 году.

В конце октября начались сильные, пронизывающие до костей ледяные ветры. Одежда на мне была только летняя: короткие штаны, рубашка и какая-то легкая курточка. От хронического голода и холода сил становилось все меньше и меньше. Согреться можно было только в кровати под ватным одеялом. Там, укрывшись с головой и создав себе таким образом логово, мы с Игорем грезили, сочиняя всякие волшебные истории, в которых было много еды и тепла. Но иногда охватывала апатия, чувство безнадежности и обреченности: будет что будет, - изменить ничего нельзя. На ногах уже появлялись синие пятна.

Недалеко от нашего дома возникло отделение полиции. Откуда только взялись эти здоровые парни в черной форме с дубинками в руках? Где они были, когда немцы захватывали город? Их боялись и сторонились. Говорили, что они могут забить насмерть.

В сильные ноябрьские морозы во многих местах полопались водопроводные трубы. К тому же снарядом была нарушена водонапорная башня, и водопровод не работал. Жители вынуждены были с ведрами ходить за водой к заливу. Благодаря Дону, она была пресной, здесь водились даже раки. Весь залив покрылся толстым слоем льда. Воду черпали из проруби. С нашего, «культуренного» берега залива, вниз к набережной вела широкая Каменная лестница – около 200 ступеней. Раньше, до

войны, это было популярное место вечерних прогулок молодежи, теперь же она скорее походила на иллюстрации Доре к кругам ада, описанным Данте. Вверх и вниз, как муравьи, по ней ползли люди с ведрами и бадьями: вниз порожние, вверх - с тяжелым грузом расплескивавшейся воды, от которой лестница на морозе покрылась льдом. На каждом шагу люди рисковали поскользнуться и скатиться вниз, увлекая за собой других. Но иного выхода не было.

Однажды, когда я находился наверху, у начала лестницы, на идущей вдоль набережной узкоколейке появился одинокий паровозик. Тотчас с другого берега залива долетел звук «бум!» и вслед за ним, с завыванием разрывая воздух, домчался снаряд. Он врезался в середину каменной лестницы и по ней вниз покатались тела людей, потекла кровь и вода. Паровозик быстро исчез, но снаряды продолжали лететь. Я бегал вокруг стоявшей на краю обрыва трансформаторной будки, стараясь по приближающемуся звуку определить недолет или перелет очередного снаряда, чтобы упасть на землю там, где будка защитила бы меня от осколков. Дети при таких обстоятельствах быстро взрослеют. О том, что творилось на обледенелой лестнице невозможно говорить даже десятилетия спустя. Тогда погибли многие, пришедшие к заливу за питьевой водой.

Однако лед залива для некоторых смельчаков был и мостом к своим. Ночью, накрывшись простыней, они переходили на другой берег. Там их встречали выстрелами, а те, кому удалось уцелеть, попадали в штрафные батальоны. Танин одноклассник Николай, раздобыв где-то пистолет, дошел до своих, воевал, остался жив и после войны рассказал о своем переходе. Это был безвестный подвиг в числе миллионов других.

В конце года немцы начали забирать и отправлять на работы в Германию молодых, здоровых женщин, а иногда и детей для соответствующего перевоспитания. При комендатуре появились пункты вербовки, куда надо было являться после получения повестки. На ней после проверки ставили печать: «годен» или «не годен» человек к отправке, то есть она становилась важным, освобождающим от повинности документом, который надо было предъявлять властям по первому же требованию. После разрушения железнодорожной больницы Тане пришлось работать на таком пункте. Она знала, что некоторым работникам удавалось иногда выкрадывать у пожилого начальника-немца печать и ставили на повестке знак «не годен», тем самым, освобождая некоторых людей от угона. Когда это обнаружилось, немцы вывели всех работников пункта во двор и у

них на глазах в назидание остальным, расстреляли троих, заподозренных в подделке документа. Но в повестках по-прежнему появлялась печать «не годен». Может быть, кто-то и ехал в Германию добровольно в надежде на лучшую жизнь и спасение от голода, но таких было мало. Люди боялись неизвестности и немцев – своих жестоких врагов.

В феврале 1942 года немцы в панике стали упаковывать свои учреждения: со стороны Ростова шло неожиданное и такое желанное наступление Красной армии. Но оно захлебнулось и откатилось назад.

В 1966 году я был в Таганроге в отпуске и жил на море в пригороде Приморское. Хозяйка дома, где я остановился, была свидетельницей того наступления и гибели сотен красноармейцев. Она говорила: «Как легко отдали и как тяжело брали назад свое» Советское военное командование пыталось повторить маневр немцев с проходом по берегу залива, но не учло, что немцы сами его осуществили. Поэтому наступающих встретил кинжальный перекрестный огонь нескольких умело расставленных железобетонных дотов (долговременная огневая точка). Красноармейцы шли основательно выпившие и были перебиты.

Я видел эти доты и глубокие овраги, на краю которых они росли в землю. Сломить такую оборону можно было только тяжелыми ударами с воздуха или прямой наводкой из танков. Но ни того, ни другого не было, а были только приказ и водка, и, главное – безжалостное отношение к своим солдатам: «мы за ценой не постоим». И она порой была в разы выше немецкой. Что-то, а это азиатское неуважение к жизни и достоинству каждого отдельного человека у нас в крови было, есть и, наверное, ещё долго будет.

Угон в Германию

Когда в начале 1942 года в Германию забрали Таню, всем нам стало страшно за неё и за себя тоже. Но вскоре наступила очередь Иры. Надежда Викторовна ни за что не хотела её отпускать и, не найдя другого выхода, опрометчиво предложила взамен себя. Взяли обеих, а вместе с ними и нас с Игорем - на перевоспитание. Всех посадили на грузовые машины с брезентовым верхом и по грунтовым дорогам повезли на запад. На равнине в какой-то момент машины остановились, нам велели выскочить и лечь на землю. Вдали было заметно передвижение серых точек и взрывы. Это была танковая атака наших. Но вскоре все кончилось, нас снова загнали в машины и повезли дальше. Потом где-то пересадили в товарные вагоны, называвшиеся тогда теплушками. В них было много соломы. Можно было, зарывшись

в неё, укрыться в уголке, стать незаметным. Под непрерывный стук колес ехали мы долго. Было привычно холодно и голодно. Станции и остановки мелькали, не оставляя никаких впечатлений. Мне становилось все безразличнее, что со мной происходит, куда везут и что будет дальше. Из всего этого пути запомнился один только польский город Люблин, да и то лишь тем, что там всех из состава погнали в баню. То, что это только баня и дезинфекция одежды, стало ясно позже, а поначалу было страшно, когда отделив немногочисленных пожилых мужчин, женщинам велели раздеться и повели голых (среди них были и мы с Игорем) в большой сарай. И только там все облегченно вздохнули, поняв, что это действительно баня. Такое количество обнаженных тел я больше никогда не видел. Среди женщин в одних трусах, сапогах и пилотках с ведрами в руках ходили и гоготали немцы. Они звонко хлопали некоторых молодых женщин по заду. Одни шарахались, другие визгливо и заискивающе смеялись, хотя было совсем не весело.

Потом нам вернули «прожаренную» одежду, на которую теперь были нашиты синие ромбики, со словом Ost (Восток), что означало «восточный рабочий». И снова всех повели на поезд, но на этот раз уже не в теплушки, а в обычные пассажирские вагоны. Дальше пути пересыльных расходились. Нас отправили в Берлин, поскольку Надежде Викторовне удалось каким-то образом выяснить, что именно там находится Таня.

Берлин

В Берлине мы были совсем недолго, и в памяти сохранились лишь отдельные улицы и дома, а также наземное метро. К счастью мы быстро нашли Таню. Она находилась в какой-то немецкой семье, где служила домработницей. Когда нас всех через неделю отсылали в Польшу, отпустили с нами и ее.

В апреле 1942 года на улицах Берлина я увидел боязливо прижимающихся к стенам домов людей с жёлтыми шестиконечными звёздами на груди и на спине. В середине звезды стояло слово Jude. Помню, как хозяйка одного маленького кафе злобно прогоняла согнутую буквально пополам старушку с такой звездой. Мне стало её жалко, но, конечно, с этим ничего нельзя было поделать. Так я второй раз соприкоснулся с геноцидом евреев. Впервые это произошло еще в Таганроге.

Холокост

В Таганроге, когда в город вошли немцы, я вдруг узнал, что среди обычных окружающих нас людей есть такие, которых называют евреями.

На следующий день стало известно о приказе всем

евреям-мужчинам надеть на рукав белые повязки, а еврейкам – белые платки. За невыполнение приказа – расстрел. Но я тогда, не очень чётко понимал: *что это и как это* – расстрел.

У нас с Игорем был товарищ – Серёжа. Наш ровесник. Он приходил из соседнего двора, перелезая через забор, и мы таким же образом ходили к нему. У них во дворе жил большой тёмно-рыжий сеттер, бывший тоже участником наших игр. Мы вместе с Серёжей проводили много времени у нас на шелковице, вместе бегали на море. И вдруг я узнаю, что Серёжина мама – еврейка, и она вместе с другими евреями должна придти на указанный сборный пункт (это был новый приказ немцев), и оттуда всех куда-то повезут на машинах. Серёжина мама послала сына к его неподалеку жившему русскому отцу, с которым она недавно разошлась. Но отец не оставил у себя сына, и тот ушёл со своей мамой на этот злоеущий сборный пункт.

После войны мне стало известно, что тогда всех евреев немцы вывезли за город к безымянному оврагу и там их расстреляли из пулемётов. Мой послевоенный школьный друг Витя Жук сообщил мне, что в 1955 г. во время его отдыха в Таганроге одна жившая там его знакомая рассказала ему, что во время оккупации некоторые местные женщины встречались у какого-то оврага, где собирали одежду расстрелянных немцами евреев. Так и остался друг нашего детства Серёжа «вечным мальчиком». И это могло случиться со мной.

В польском городе Лодзь

Гетто и расовый контроль. В Польше нас привезли в город Лицманштадт - так немцы переименовали польский город Лодзь, - и направили в пригород Пабианице (Pabianice), где поместили в больших красных кирпичных домах, принадлежавших швейной фабрике под названием, насколько я помню, «Мартин и Норенберг», на которой работали все жившие там, пригнанные из разных мест женщины. Мужчин среди них не было. Квартал был окружен колючей проволокой. Комнаты были почти пустые. Я не помню в них никакой мебели, кроме двухярусных деревянных нар с соломенными тюфяками. Кормили нас по звонку - ведро жидкой баланды, называемой супом, на комнату. В этих домах мы жили несколько месяцев. Я тогда сильно болел краснухой, но поправился. Нам, детям, разрешали выходить за колючку, и мы бродили по соседним кварталам. Они были безлюдны. В окружающих домах никого не было. Я заглядывал в разбитые окна первого этажа: в комнатах было пусто. Лишь в двух местах я увидел на подоконнике грязные хрустальные вазочки. В мёртвых кварталах было жутко. Потом кто-то сказал, что раньше

там жили евреи, и вскоре я увидел куда делись эти люди.

В Лодзе существовали пригороды-сателлиты и между ними и основной частью города ходили большие как бы междугородные трамваи. Однажды мне пришлось ехать на таком трамвае. Большая часть его пути проходила по улице, вдоль которой с обеих сторон тянулась в два ряда колючая проволока, а за нею находилось еврейское гетто. Страшнее этого я в своей жизни ничего не видел. За проволокой были оборванные, невероятно худые и грязные, умирающие люди. Они ходили, что-то делали, но печать смерти была на всех лицах, особенно на лицах лежавших на земле детей. При виде этого моё сердце разрывалось на части. Так я ещё раз узнал о том, что существуют евреи, но, конечно, не понимал: почему они *так* существуют³.

Как-то раз в Пабианице специальная медицинская комиссия проверяла живших в красных домах женщин и детей в отношении их расовой принадлежности⁴. Для меня это освидетельствование было критическим и страшным, так как решался вопрос - не еврей ли я, поскольку в то невеселое время ходил я, свесив голову на тонкой шее, всегда смотрел исподлобья, а мои большие армянские глаза и нос не отличались от черт лица, считавшихся еврейскими. Поэтому, когда меня повели на осмотр, где, как помнится, люди в белых халатах измеряли мою голову деревянным циркулем, знакомые всё время твердили, чтобы я голову держал прямо и не глядел затравленным зверьком. Вспоминая об этом десятилетия спустя, я думаю, что тогда меня, голого, не признали за еврея по очень простой причине – я не был обрезан.

Возможно, это сохранило мне жизнь.

Через какое-то время многих, живших в нашем лагере «красных домов», перевели на разные работы в Лодзь, и меня, как относящегося к категории «Восточных рабочих», поместили в Лодзи же в детский дом-интернат.

Детдом

Этот мужской интернат для сирот, потерявших родителей на войне, и детей, привезенных из разных мест, находился в большом трехэтажном здании с высокими потолками и окнами, с

³ В Пабианице до 1939 года, до войны, проживало до 9 000 евреев (примерно 27% населения городка). В 1940 году после оккупации Польши немцы согнали евреев в гетто и 16 мая 1942 года всех уничтожили. Эта акция известна, как «марш смерти».

⁴ Расовый контроль был накануне вышеуказанной акции и с нею связан.

широкими, во всю длину здания коридорами, в которые выходили большие комнаты-спальни на 20-24 кровати. Дети младшего возраста, от 8 до 12 лет, помещались на третьем этаже, старшие, до 16 лет – на втором. Нижний этаж занимали классы и столовая. Вероятно, раньше в этом здании была больница. Но при немцах его приспособили под интернат.

Порядки здесь были суровые: сильный, то есть старший, был всегда прав. Как среди зверей. При поступлении в свои 9 лет - я был худой и слабый, да еще родился в Москве и числился русским. Это, когда узнавали, вызывало шок, поскольку основной состав детей был польско-немецким. Так что приходилось в этой стае отстаивать себя кулаками. Унижение я переносил гораздо тяжелее, чем боль, и дрался отчаянно до крови, пока меня, что называется, не вырубали. По этой причине не так уж часто и задевали. К тому же я пристрастился к боксу. Но после того, как мне два раза сильно разбили мой большой нос, с боксом пришлось расстаться.

Старшие воспитанники интерната довольно часто с песнями маршировали по окрестным улицам. Шли они строем в форме гитлерюгенда, опоясанные португеей, и орали любимые в армии скабрезные куплеты вроде:

«Какой молочник в нашем Кошмари!
Эта большая свинья
Берет молоко у своей жены».
Или нацистский гимн:
«Знамена выше.
Ряды плотней сомкните...»⁵

На зависть детдомовской малышне у самых старших на поясе были настоящие, широкие, кинжального типа ножи, вполне пригодные к делу.

Кормили в интернате плохо и мало. С утра это был кусок полусырого тяжелого черного хлеба. На этом куске были едва различимые следы маргарина. В день давали 100 грамм хлеба. Пили желудевый, несладкий «кофе». Хорошо еще, что горячий. В обед часто давали такую отвратительную то ли кашу, то ли суп, состоявший из каких-то скользких полупрозрачных шариков наподобие рыбьей икры или чешуи, что даже при постоянном голоде есть ее было невозможно - вырвет. Все были вечно голодны, но раздобыть какую-либо еду было негде. А вот били за каждую провинность. Доставалось и от старших, почти взрослых

⁵ Перевод с нем. - автора

парней.

«Воспитанники» дома были фактически на самообслуживании, если не считать, что на кухне работали польки, – сами убрали помещение, чистили картошку, штопали свои носки. Но особенно строго нас заставляли убирать кровати. Одежда должно было лежать совершенно ровно с прямыми, как по линейке, ниспадающими краями, подушка ровно взбита, а полотенце аккуратно висеть на спинке кровати. За нарушение порядка полагалось строгое наказание, иначе говоря, порка.

Воспитатели и учителя были только из немок. Они муштровали детей как солдат и вдальбывали в голову свои нацистские порядки и воззрения. Фюрер был почти богом. Нас обучали чтению, письму, арифметике и героической истории немецкого народа, начиная с раннего средневековья. До сих пор помнятся рассказы о битве готов с гуннами в 451 г., о сокрушении германскими племенами Рима. Обучение велось, разумеется, на немецком. Этот язык, как и польский, я освоил, как это обычно бывает с детьми, играючи и владел ими в полной мере.

Позади интерната находился небольшой парк для прогулок. Зимой там была горка для катания на санках. Однажды на этой горке я поскользнулся и упал под катившиеся сверху санки с ребятами, и они проехали по моей голове, вдавив ее в снег. Сутки я был без сознания. Товарищи, однако, говорили, что я тут же вскочил, но вел себя странно – все время просил зеркало, чтобы увидеть насколько сплюснулась моя голова. Пришел я в себя только на следующий день.

Развлечения в той среде были под стать воспитанию. Например, однажды много ребят навалились на одного маленького мальчика и натерли ему голый зад черной сапожной ваксой. Но чаще поступали иначе: после отбоя, когда в спальне гасили свет двое-трое мальчишек постарше и посильнее вооружались полотенцами с завязанными на одном конце большими узлами и крались в темноте к своей жертве, мальчику поменьше, который, как было известно, писался в кровати. И начиналось его избивание этими узлами на полотенцах. Поднимался шум, крики, рев. В коридоре раздавались быстрые шаги, и в спальню с ремнем в руках входила немка-воспитательница. Зажигался свет, но все лежало тихо, укрывшись одеялами и стараясь не дышать. Все же немка кого-нибудь вытаскивала из-под одеяла, и, положив свою жертву поперек кровати, порола ремнем. При этом нельзя было ни плакать, ни кричать, – иначе порка могла затянуться до полного изнеможения самой воспитательницы. Экзекуциям я никогда не подвергался и сам в них не участвовал, но все же как-то раз мне

досталось пряжкой ремня, когда меня поймали за кувырками через спинку кровати.

Однажды утром в спальню вошла взволнованная воспитательница и сообщила, что в Нормандии высадились вражеские англо-американские войска. «Но мы их, конечно, сбросим, как раньше⁶, в море» - сказала она. Значит, это было 6 июня 1944 г. Прошло три года с моего отъезда из Москвы, а казалось, что вся жизнь. Так нашлась еще одна вежа в моем военном детстве.

Другим важным событием, о котором нам тогда сказали, было покушение на Гитлера. Неудача заговорщиков расценивалась как знамение и залог победы в войне.

Я всегда с нетерпением ждал того дня, когда разрешалось выйти в город, чтобы побыть вне стен этой тюрьмы для малолетних. Отпускали только тех, кто был старше 10 лет и у кого кто-нибудь из родных или знакомых жил в городе. И я иногда ездил к Надежде Викторовне и Игорю, которые тоже находились в Лодзи. Игорь ходил в польскую школу и жил со своей мамой, которая зарабатывала на жизнь изготовлением тряпичных кукол и глиняных миниатюрных статуэток, выразительнее которых я никогда потом не видел. Жили они тяжело, и я понимал, что не должен собой еще больше обременять их положение. Таню и Иру отправили работать на какие-то фабрики в другие города.

В городе я нередко ходил в католическую церковь, где слушал орган. От невзгод я стал очень верующим, хотя веру никто не внушал и молитв я никаких не знал.

Но у меня были свои собственные иконы - две фотографии мамы и брата Лени, сидящего на детском стульчике с плюшевым мишкой в руках. На ночь я всегда молился, глядя тайком на эти фотографии, прося Бога, чтобы мама и брат были целы и здоровы и чтобы у них было еды не меньше, чем у меня. Конечно, мне всегда хотелось есть, но все же я что-то ел и просил того же для них. Но однажды один злой, глупый и жестокий мальчик подглядел, что я прячу под подушкой фотографии и, дождавшись, когда я выйду из комнаты, схватил их и порвал мамину пополам. Увидев это, я с такой яростью кинулся на него, что, если бы меня не оттащили, мог бы его и убить.

Бывало, я ходил в кино, если Надежда Викторовна давала

⁶ Имеется в виду, что в 1940 году наступление немецких войск заставило британский экспедиционный корпус в спешке эвакуироваться морем из порта Дюнкере (Франция) в Великобританию.

5 пфеннигов⁷ на билет. Кинозалы обычно были пустые, и в них можно было сидеть хоть все сеансы подряд. И я просиживал в этом отвлекающем, сказочном мире по много часов, снова и снова смотря один и тот же фильм, например «Цыганский барон» с музыкой Штрауса или «Девушка моей мечты» с Марикой Рёк. Идти мне было некуда, а возвращаться раньше времени в детдом не хотелось. Кроме того, экран отвлекал от главного – желания есть.

Иногда я в городе ездил на трамвае. Он состоял всегда из двух вагонов. В первом разрешалось ездить только немцам, и он шел почти пустой, второй же, для поляков, был обычно переполнен, и в него нелегко было сесть и выйти, особенно мне.

Сын проститутки

В детдоме у меня был приятель – мальчик меньше меня ростом и, возможно, немного моложе, зато очень ушлый. Не помню его имени, но был он местный поляк. В городе, как он говорил, жила его мама. Однажды, когда нас отпустили из детдома, он пригласил меня пойти к ней. Жила она на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Комната была темная, с небольшим окном. В ней стояли комод, кровать, а посередине – стол. Дома никого не было, но на комоду я увидел фотографию красивой белокурой женщины. «Это моя мама», - сказал приятель, указывая на фотографию. «А хочешь, я тебе покажу ещё её снимки?». «Покажи», - ответил я. Он достал из нижнего ящика комода несколько фотокарточек, при взгляде на которые мне стало не по себе. На одной из них женщина, снятая в профиль, касалась языком мужского члена, на другой – лежащий на кровати мужчина держал свою руку между её ног. Были и другие снимки такого рода. Я был поражен: почему мой приятель, нехорошо смеясь и забавляясь, показывает мне эти фотографии своей мамы. Мне тогда была невдомек какая у неё профессия, но, кажется, стало понятно, почему мальчик находится в детском доме, а не живет вместе с мамой. Было грустно и неприятно.

Карусель

Другим, тоже тяжелым воспоминанием того времени, был трагический случай, произошедший на аттракционах, расположенных на небольшой городской площади с булыжным покрытием. Гвоздём этих аттракционов была большая карусель, у которой на цепях свешивались скамеечки-сиденья на одного человека. Когда карусель крутилась, скамеечки и сидящие на них люди, отлетали в сторону на длину натянутых цепей. Кружиться

⁷ Немецкая монета минимального достоинства.

на этой карусели было жутковато и очень увлекательно. Дух захватывало. Некоторые мальчики постарше старались дотянуться до того, кто был впереди и толкнуть его так, чтобы его цепи закручивались, и он ещё сильнее отлетал в сторону. И вот однажды такой «закрученный» мальчик сорвался с карусели и с маху упал на булыжную мостовую. Его окружила толпа. Он лежал в крови и ещё тяжело и судорожно дышал. К этому времени я уже многое повидал, но этот случай меня потряс.

Я ушел и больше уже никогда не приходил на эту площадь, на которой продолжала кружиться все та же карусель.

Фюрер

Когда я еще находился в красных домах швейной фабрики в пригороде Лодзи, в кабинете начальника я впервые увидел большой портрет Гитлера. Он был изображен в коричневой рубашке штурмовика, опоясанный португеей, со свастикой на рукаве, с горящими глазами, устремленными к лишь ему одному видимой цели и с подобием нимба вокруг головы. В Таганроге представление о нем давали наши газетные карикатуры - в виде череп с челкой и усиками.

В Лодзи же однажды на площади слышал по радио его речь, передававшуюся мощными усилителями. Площадь была заполнена тысячами людей, безмолвно слушавших этот резкий, истеричный голос. У меня было тягостное чувство страха, смешанного с каким-то любопытством. Содержание речи я, конечно, не понимал, но обращал внимание на то, как ее воспринимали окружающие взрослые люди. Я не видел у слушателей того восторга, который так часто показывали тогда в кинохрониках. Скорее это была напряженная угрюмость и боязнь. А что еще можно было ожидать в оккупированной стране?!

Табачный генерал

Когда Надежда Викторовна забирала меня из детдома, то иногда бывало просила сходить за папиросами в одну недалеко расположенную маленькую табачную лавочку, находившуюся в полуподвальном помещении. Надо было прямо с улицы по ступенькам спуститься немного вниз, при входе над дверью звякал колокольчик и возникал ни с чем несравнимый терпко-сладковатый, очень приятный аромат хорошего табака. В то время многие мальчишки моего возраста за неимением игрушек обожали красивые сигаретные коробочки, устланные внутри блестящей фольгой. Мы завидовали взрослым, которые могли достать сигарету из такой коробочки и закурить её. Но я и помыслить не мог, чтобы самому закурить: слишком дорогое это было удовольствие. Ведь в то время курили и сухие древесные листья, и

бог знает что.

Так вот, хозяином этой табачной лавчонки был низенький дряхлый старичок с седыми бакенбардами и бородкой - бывший русский белый генерал, носивший обветшалый офицерский китель без погон. Ко мне, как к русскому, он относился хорошо. Однажды он достал из-за висевшей в красном углу комнаты иконы Божьей Матери, освещенной мерцающей лампадкой, платочек с хранившейся в нем русской землей. Развернув платок, он беззвучно заплакал, и слезы потекли по его морщинистым щекам в седую бороду. Постояв так молча, он бережно снова завернул землицу и положил ее на место, за икону, потом глубоко вздохнул, вытер слезы, опустил голову и, сев в кресло, погрузился то ли в воспоминания, то ли в дремоту. Я потихоньку вышел из комнаты. Жалко было этого старого человека, но я не понимал тогда трагедии его жизни.

Припоминаю и другое свое посещение этой табачной лавочки. Тогда у старика были гости, и он устроил для них импровизированное представление, в котором сам был единственным актером. Действие будто бы происходило поздно вечером на небольшой железнодорожной станции. Мимо станции, как бы за сценой, пыхтели и свистели поезда – очевидно, чайник на кухне,- а старик изображал, будто поднимается откуда-то снизу по винтовой лестнице: его голова, а потом и плечи стали появляться из-за высокой спинки стоящего посреди комнаты стула. При этом он пришепetyвал какие-то заклинания. Было жутко и интересно.

Кукольные представления

Дети во время войны тоже играют. И мы играли в разные игры. В Таганроге это были запуски гильз-ракет, в Лодзи же, где снаряды на улице пока не валялись, мы устраивали кукольные представления для сверстников и малышей. Надежда Викторовна научила нас с Игорем делать куклы для наших спектаклей. Для этого использовался старый телесного цвета, плотный женский чулок. Разровняв его на столе, мы рисовали на чулке мелом в профиль голову и шею куклы, например, известного клоуна по имени Каспер-Нос - польско-немецкий Петрушка. Потом меловой контур прошивался мелкими стяжками, вырезался ножницами, выворачивался наизнанку, туго набивался ватой и, наконец, голову зарисовывали красками: глаза, рот, нос, щеки. К голове прилаживали мочальные или нитяные волосы, в шею вставляли свернутую вокруг пальца картонку, чтобы можно было надев ее на указательный палец покачивать головой. Тем же способом изготовлялись кисти рук. Для платья бралась какая-нибудь

закрывавшая руку кукловода цветная тряпица, и наш артист был готов к выходу на сцену. Во дворе ставилась ширма, маленькие, непритязательные, но нетерпеливые зрители усаживались напротив нее на землю, мы вставали с другой стороны ширмы, поднимали над нею руки с надетыми на них куклами, и импровизация начиналась. Пьесы мы заранее не писали. Действие и реплики сочинялись по ходу представления и, в основном, в ответ на бурную реакцию «зрительного зала», свято верившего в действительность происходящего. Было увлекательно и весело. Смех маленьких зрителей и «артистов» почти не смолкал. Иначе не было бы и действия.

Детдом близ г. Цвиккау

В начале августа 1944 года меня перевели из лодзинского детдома в другой, находившийся в Германии близ г. Цвиккау. Места там были замечательные: невысокие, пологие горы, покрытые густым еловым лесом, долины маленьких речушек, на плоскогорьях ухоженные поля. Детдом находился под горой в небольшом двухэтажном доме. Детей - девочек и мальчиков, которых привозили на сравнительно короткое время, было немного. Я попал в число его постоянных жителей, так как выполнял некоторую несложную работу. Например, я кормил и водил на прогулку большую овчарку палевого окраса, которая жила во дворе в большом вольере. Пес быстро ко мне привязался и слушался беспрекословно. Он очень скрашивал мою жизнь на новом месте. Иногда обнимешь его за шею, он лизнет и смотрит своими умными глазами, как будто все понимает. Становилось даже немного легче, будто с другом поговорил.

В мою обязанность входило также привозить хлеб, который я забирал прямо из пекарни, находившейся в небольшом поселке за ближайшей горой. Эта работа доставляла мне немалые муки. Они начинались в пекарне, где ни с чем несравнимый запах свежее выпеченного горячего, пышного хлеба мог свести с ума. Но хлеб упаковывали в большую кожаную сумку с замком, который запирался и мне никогда не выпадало ни кусочка, ни корочки. Возил я хлеб на четырехколесной тележке с небольшим дышлом для поворота передних колес. В гору я тащил за собой эту тележку по петляющему шоссе. Зато обратно вниз она летела как ветер. Я сидел с сумкой впереди и только успевал тормозить и поворачивать передние колеса, иначе легко можно было бы оказаться в кювете. По обеим сторонам шоссе росли яблони, усыпанные в это время года радужными яблочками. Много их было и в придорожной канаве. Но собирать падалицу было запрещено. Для сбора падалицы время от времени сюда проезжала

специальная машина с людьми, собиравшими опавшие яблоки. Подгнившую падалицу они, конечно, не брали, и по пути в пекарню я иногда подбирал эти остатки, и тогда мне казалось, что я в жизни своей не пробовал ничего вкуснее.

В поселке за горой была и начальная школа. Но туда я ходил коротким путем, по широкой тропе вдоль опушки, как мне казалось, дремучего леса. Возвращался обычно в темноте. И вот спускаюсь я как-то под гору и вдруг слышу приближающийся частый, дробный стук копыт. Я замер на месте - из леса прямо на меня выскочил большой олень с ветвистыми рогами. Мы оба сильно испугались: олень, круто развернувшись, бросился обратно в лес, я же стремглав, перескакивая через толстые корни елей, помчался вниз к видневшемуся впереди дому, а в ушах звучало недавно прочитанное у Гёте: “*Wer reitet so spaet durch Nacht und Wind?*” (“Кто скачет так поздно сквозь ветер и ночь?”)

В здешней в школе я сказал, что учусь уже в четвертом классе, и никто не стал это проверять. Новая школа была чище предыдущей. В классах по стенам висели портреты. Среди них я узнал профиль Вагнера по орлиному носу и, кажется, Гёте. Портреты обоих я видел еще у своего деда в Москве.

Помню в классе хором разучивали протяжную песню о Лорелей (в русской литературе – Лорелея), о златокудрой русалке на Рейне. Много позже я узнал, что слова этой песни были известным стихотворением Гейне, написанным по мотивам старинной немецкой легенды. Но нам тогда говорили, что это народная песня, поскольку в нацистской Германии произведения Гейне, как еврея, были запрещены, и это стихотворение публиковалось безымянным.

Дисциплина в этой школе соблюдалась гораздо строже, чем в Лодзи: от учеников требовали тишины и абсолютного внимания. Если кто-либо из учащихся нарушал эти условия, то учитель при всем классе сек его у своего стола по заду или бил ребром линейки по пальцам с тыльной стороны. Это было очень больно. Получив однажды такое наказание, каждый старался избежать его повторения.

Как-то раз в детдом ненадолго привезли мальчика-словака моего возраста, вывезенного из Югославии. Мы с ним иногда уходили в лес, и он рассказывал об ужасах, которые творились в тех местах, где он жил. Там немцы на лесопилке распиливали пойманных партизан и вырезали на их спинах звезды. Почему его привезли сюда, в этот детдом, и где находятся его родители, он и сам не знал.

В новом доме была комната, где на столах лежали

предназначенные для детей книги и большие увлекательные альбомы с картинками о боях в России, Франции, Африке и других странах. Победителями на рисунках, конечно, всегда были немецкие солдаты. И в Сталинграде среди груд битых кирпичей вместо домов, и под Курском с горящими и перевернутыми танками, и в песках Сахары. Но мне запомнилась только книга, в которой описывался захватывающий побег заключенного из лагеря ГПУ⁸ в Воркуте. Так я впервые узнал о существовании подобных лагерей. Конечно, я забыл бы об этой книге, если бы в дальнейшем, когда я уже вернулся на родину, не стало появляться все больше подобных сведений, и от отца я узнал, что мой дядя Армен находится в лагере именно в Воркуте, а дядя Давид – на Колыме и многое другое. Но еще страшнее и непонятнее были внушения в детдоме о причинах начала войны. Нам говорили, что гениальный фюрер начал войну с СССР превентивную, прямо накануне неизбежного нападения Сталина на Германию. Слышать это мне, русскому, было тяжело и боязно. Сам же я тогда думал, а не уловка ли это, чтобы снять с себя ответственность?

Уничтожение Дрездена

В конце января 1945 года меня перевели из детского дома под Цвиккау, который закрывали, в другой, находившийся в городе Литомержице (по-немецки Ляйтмериц), расположенном на реке Эльба. Добираться до нового места мне, 12-летнему подростку, разрешили самому, без сопровождающего. В Дрездене у меня была пересадка. Следующего поезда надо было ждать несколько часов, и я, чтобы скоротать время, решил побродить по улицам города.

То, что я увидел, произвело на меня огромное впечатление. Это был старинный, нетронутый войной город-красавец. Вдоль улиц высились массивные здания с орнаментами и статуями. Такого великолепия я еще никогда не видел. Кругом было много площадей и скверов. Народ на улицах держался спокойно, было впечатление, что никто не спешит.

Устав бродить по улицам, я вернулся на вокзал и зашел в открытую дверь ресторана. Денег у меня не было, но я хотел, в ожидании поезда, где-нибудь тихо посидеть. За столиком недалеко от двери пил пиво молодой мужчина в штатском и я, спросив разрешения, подсел к нему. В это время в зал вошли трое солдат в касках, с автоматами на груди и бляхами гестапо поверх серо-зелёных шинелей. Один остался у двери, а двое других стали проверять у посетителей документы. Когда они приблизились к столику, за которым я пристроился, сидевший рядом молодой

⁸ В Германии в 1942 году вышел кинофильм «G.P.U.».

человек встал и вскинул руку в характерном приветствии. Солдаты козырнули ему и прошли дальше, не обратив на меня никакого внимания. Я же, переведя дух, так как понял, что человек за столиком сидел не просто так, заторопился на платформу.

В Литомержице меня никто не встречал, но я легко нашел новый детдом по адресу. На следующий день меня определили на работу в расположенную поблизости оранжерею. Я стал по распоряжению хозяина возить на тачке по проложенным вдоль теплиц доскам навоз и землю, которые потом раскидывал в нужных местах, сажал редиску и зеленый лук, закрывал саженцы на ночь застекленными рамами и делал другую подсобную работу. За это меня немного подкармливали.

Приближалась весна. Становилось теплее, и я уже меньше страдал от холода и пронизывающего ветра в своей ветхой одежде и коротких штанишках. Но продолжал мучить привычный голод.

Однажды, в середине февраля, мы с приятелем из интерната отправились в ближайшие окрестности города, чтобы на пустых полях поискать подножного корма – забытую в земле брюкву или какие-нибудь другие овощи. На обочинах шоссе в некоторых местах уже появилась первая яркая зелень. В голубом небе плыли пушистые облака, и нежаркое еще солнце согревало тело и душу. И вдруг мы услышали отдаленный, но уже густой и тяжелый звук множества моторов.

В небе на горизонте, сначала в виде точек, появилось великое множество самолетов. Они быстро приближались, увеличиваясь в размерах, и вскоре заполнили своим гулом все пространство. Высоко-высоко бесконечными шеренгами шли тяжелые четырехмоторные американские бомбардировщики Б-17, «летающие крепости», которые мы раньше видели на картинках. Волна за волной они уверенно, грозно и неотвратно летели с юга на север и остановить их никто не мог.

Некоторое время спустя, с севера, куда шла эта бесконечная армада, стал доноситься рваный, ухающий звук. Земля загудела. Это были отзвуки творившейся в 60 км от нас трагедии – уничтожения города-красавца Дрездена.

Гораздо позднее я увидел обошедшие весь мир фотографии руин этого города, на которых трудно было определить, где раньше стояли дома, а где проходили улицы.

Так поработали «летающие крепости», роковой путь которых мы с приятелем видели в небе под Литомержицем.

Гибель английского летчика

В марте и начале апреля мы с тем же приятелем снова несколько раз ходили за город все с той же целью – поиска на

полях чего-нибудь съедобного. Однажды на дороге, что шла меж полей, мы встретили одного русского в какой-то непонятной полувоенной форме и разговорились с ним. Оказалось, по его словам, что он - расконвоированный пленный (в это время были уже и такие, так как охранять всех было некем), который пытался было бежать на восток, навстречу Красной армии, но немцы его схватили, однако по какой-то причине в концлагерь не упрятали.

Мы никаких вопросов ему не задавали – просто слушали его рассказ. И вот от него мы узнали потрясающий нас факт, что в Советском Союзе работающие люди получают по карточкам ежедневно по 800 граммов хлеба, а дети, вроде нас, – по 300 граммов. Нам же в течение всех лет и в Польше, и в Германии давали по 100 граммов на человека. Это всего лишь один кусок, который можно съесть сразу или разделить на две-три части и потом уже ни о чем другом, кроме этого куска, больше не думать.

Обсуждая эту встречу, мы продолжали свой путь меж полей. В голубом небе в это время на большой высоте появился одинокий самолет, и в воздухе, сверкая на солнце, закружились тонкие полоски фольги, сбивающиеся, как мы потом узнали, с толку радарное оповещение о налете. Вдруг мы увидели, что с неба упало что-то довольно крупное, серебристое. Испытывая острое любопытство и сладкий страх, я побежал к этому загадочно манящему предмету. Сначала я думал, что это неразорвавшаяся бомба и в любой момент готов был распластаться на земле. Но увидев, что к нему бегут несколько немецких солдат, я осмелел и уже без прежнего опасения последовал за ними. Оказалось, что это был сброшенный самолетом опустевший бензобак. Солдаты стали заправлять свои зажигалки остатками бензина, а я вернулся на шоссе, где меня дожидался мой более благоразумный друг. Когда мы уже повернули назад к дому, над шоссе появились два истребителя – охотника.

Английский летчик... Он вышел на вольную охоту и погиб. Скрюченное его тело с оторванной головой и торчащими из опаленной шеи жилами находилось примерно в 100 метрах от пылающего безумным жаром искорёженного самолета. На летчике были бежевый комбинезон с короткими рукавами, короткими штанами и парусиновые туфли. На руках и ногах, как жуткие розовые цветы, раскрылись огромные лопнувшие волдыри с вывороченным горелым мясом. В воздухе стоял тошнотворный запах паленого. Собравшиеся вокруг самолета люди стали искать голову пилота, но, к моему счастью, не нашли. Зато нашли полевую сумку с совершенно сохранившимися картами и документами. Кто-то прочел имя и возраст этого англичанина. Он

был всего лишь на шесть лет старше меня.

А ведь все могло произойти совершенно иначе. Он вместе с другим летчиком вел охоту вдоль шоссе дорог. На бредущем полёте они расстреливали всё подряд: и брошенные машины, и бегущих к спасительным укрытиям людей. Эти истребители пронесли мимо нас и пошли на разворот, а мы с приятелем в это время, сломя голову, кинулись к находившемуся около шоссе небольшому окопчику. Я заметил, что один из самолетов уже вышел из разворота и идет прямо на нас. В последний миг, падая вслед за приятелем в окоп, я увидел, как ко мне стремительно приближаются фонтанчики земли, поднятые пулеметной очередью. В укрытии уже находились два немецких солдата. Один из них был раненый, с перевязанной рукой и головой. Обоих трясла крупная дрожь. А мы, несмышлениши, как только самолет пронесся мимо, выскочили из окопа посмотреть, что делается вокруг. На шоссе пылали машины. А в одном месте горел тот самый сбитый кем-то английский самолет. Другой улетел. И хорошо для нас, что он не вернулся.

Два солдата

В апреле 1945 года, когда власти уже не обращали внимания на бесчисленных беженцев, в дом, где в Литомержице в это время уже жили Надежда Викторовна с Игорем, сумели приехать обе ее дочери. Позвали и меня, так как Надежда Викторовна всегда знала, где я находился. Близился конец войны, и нам всем надо было держаться вместе.

Как-то раз в это время к дому, где мы жили, подошли два человека в полосатой арестантской одежде. На ломаном немецком языке они попросили попить, но один из них сказал другому что-то по-русски. Это были русские военнопленные из лагеря, охрана которого, страшась возмездия за свои злодеяния, разбежалась, предоставив пленным их судьбе, и те разбрелись, еле передвигая ноги. Они могли идти куда хотели и шли, куда глаза глядят.

Один из пленных был высокий и костистый, другой - пониже ростом, тихий. Оба они были настолько худы, что казалось невероятным, как они могут еще передвигаться. Мы завели их в дом. В комнате сразу повис тяжелый запах немых, заживо гниющих тел. Дали воды. Пили они долго, с трудом глотая воду. Потом Надежда Викторовна выложила на стол всю еду, какая только была в доме. И мы, тоже вечно голодные, молча, с состраданием глядели на этих солдат, не зная как еще им помочь. Немного поев, высокий, бывший рядовым, стал рассказывать о себе и о своем молчаливом товарище – младшем офицере. В плен они оба попали ранеными, оглушенными боем. Командир был

контужен близким разрывом снаряда. Из лагеря, где они находились, пленных водили на земляные работы.

Я сам видел эти полосатые колонны под конвоем мордастых автоматчиков с остервенело лающими овчарками. Иногда собак спускали, и они грызли пленным ноги. У высокого на месте икры был страшный, красный «звездный» шрам от вырванного овчаркой куска мышц. В лагере на нарах каждую ночь кто-нибудь из своих умирал от истощения или болезни.

Таня предложила солдатам теплой воды, мыло и большой таз, чтобы обмыться, и они приняли это с большой благодарностью. Когда сняли полосатые куртки, то еще больше ужаснули нас своей худобой – это были живые скелеты, обтянутые темной от грязи кожей. Потом они долго спали на полу а, проснувшись, снова немножко поели и собрались идти дальше, - куда они и сами не знали. В то время бесчисленные массы людей куда-то шли, откуда-то уходили. На дорогах было много людей с тачками и какими-то жалкими пожитками. Кругом стояли пустые, оставленные жителями дома. А на дорогах повсюду валялись брошенные вещи и машины. И наши солдаты влились в этот людской поток в надежде найти путь домой. А путь этот оказался долгим, тяжелым и горьким.

Клад

Однажды под вечер перед домом, где мы жили, остановился сильно запыленный «опель». Из машины вышел высокий офицер СС. Застегивая на ходу свою серо-зеленую длинную шинель, он быстро поднялся на второй этаж, где жила хозяйка дома фрау Г. Рано утром он уехал так же внезапно, как и появился. Соседи по улице сказали, что это был сын фрау Г.

На следующий день эта пожилая, высокомерная немка поманила меня пальцем со второго этажа и, когда я поднялся к ней, прошла со мною в свою комнату и велела взять приготовленный там очень увесистый кожаный мешок. Потом надо было во дворе прихватить лопату и следовать за ней. Она привела меня в дальний угол окружавшего дом сада и приказала рыть там яму. Я долго пыхтел, а она молча стояла надо мной. Наконец, яма глубиной около метра была готова, и хозяйка положила туда принесенный мешок, после чего велела мне яму засыпать, а землю разровнять.

На следующий день она из дома исчезла. Я догадывался, что хозяйка спрятала что-то важное. Но в то время игра вклады меня уже мало интересовала, а откапывать чужие вещи мне и в голову не приходило.

Позже я понял, что фрау Г. закопала там свои или привезенные ее сыном где-то прихваченные драгоценности или

документы, которые они оба, опасаясь задержания при своем бегстве на Запад, не рискнули иметь при себе.

В конце войны

В середине апреля 1945 года, а может немного раньше, в северном пригороде Литомиржеца по приказу немецких военных властей окрестные жители поставили поперек шоссе дорожные противотанковые заграждения - толстые бревна, уложенные между вбитыми в землю сваями. На стенах домов появились плакаты Геббельса: “Wir kapitulieren nicht!”⁹ Тогда же пришло сообщение о внезапной смерти Рузвельта. Оно всколыхнуло агонизирующих нацистов, возбудив в них надежду - о чем говорили даже на улице - на сепаратный выход из войны по сговору с Западными союзниками. Но их иллюзии быстро рассеялись.

А пока в городе стояла тишина, будто уже не было войны. И появился признак безвластия - мародерство. На находившихся недалеко от нас железнодорожных путях жители самовольно открыли несколько товарных вагонов и стали растаскивать обнаруженное в них добро. Я тоже принял в этом некоторое участие - подхватил брошенные кем-то новые коричневые боксерские перчатки, это была моя мечта, и коробочку с круглыми, как таблетки, леденцами. Помню, как вдоль рельсов, не обращая ни на что внимания, понуро шли три пожилых немецких солдата с автоматами за плечами. При немецкой аккуратности и дисциплине это был явный признак развала недавно ещё такой грозной армии.

В начале мая из Праги по радио раздались призывы к восстанию, к сопротивлению немцам, которые еще не сложили оружие. Под занавес войны чехи поднялись на вооруженную борьбу. Вскоре в радиоприемнике раздались звуки выстрелов и крики людей. Затем их сменили немецкие марши. В это время стало известно, что находящаяся на шоссе в направлении Праги американская танковая колонна на помощь пражанам не движется, а Красная армия от города еще далеко.

В какой-то момент пражское радио возобновило отчаянные призывы о помощи и снова отключилось. Потом говорили, что чехам помогли какие-то власовцы. Тем временем над Литомиржецем на малой высоте промчались несколько советских самолетов, которые сбросили большое количество листовок на немецком языке с требованием в 24 часа разобрать все противотанковые заграждения - город будет сравнен с землей. И те, кто поневоле строил эти заграждения, с радостью кинулись их разбирать. Потом кто-то сказал, что видел пронесшихся по городу

⁹ «Мы не капитулируем!».

русских мотоциклистов, и на следующий день 10 мая с севера по шоссе потянулся обоз усталых соломой телег со спящими на них красноармейцами. Так буднично в город входила армия победителей. Некоторые пожилые местные жители, в основном чехи, окружали отдельных солдат и заводили с ними разговоры, перемешивая и коверкая, чтобы было понятнее, славянские и немецкие слова. Один высокий сержант рассказывал, что власовцев они в плен не берут, а тут же на месте их расстреливают. И тут я вспомнил, что совсем недавно, почти в конце апреля, меня на улице остановил какой-то человек и спросил по-русски: «Ты - русский?». Я ответил: «Да». Тогда он позвал меня с собой, и я из любопытства пошел за ним. Он привел меня в двухэтажный дом, и мы спустились в полуподвальное помещение. Все комнаты там были заполнены солдатами в странной для меня полунемецкой форме, говорившими на смешанном украинско-русском языке. Многие лежали на деревянных двухъярусных нарах и были пьяны. Кругом стоял шум, крики, ругань и везде валялось много всякого оружия. Я подумал: «Ну все. Завел меня, и теперь мне отсюда уже не выйти». Но получилось по-другому. Человек, который меня привел, дал мне буханку черного хлеба – сокровище, равного которому я тогда не знал, и ещё очень большой кусок колбасы и вывел на улицу со словами: «Иди, но никому о том, что здесь видел, не говори». Я только кивнул, так как язык меня не слушался, и побежал к дому, где мы жили.

Колесо Фортуны

«Домой, домой, к маме» – стучало в голове. Четыре года я не смел об этом думать и в 12 лет стал, в силу обстоятельств, почти взрослым человеком, который, работая, мог уже прожить один. Лишенный внимания и любви, я перестал, мне казалось, в них нуждаться. И вдруг в моем сознании ярко вспыхнула надежда снова увидеть маму, снова вернуться в тот беззаботный мир, который я потерял с началом войны. В том, что мама и брат Леня в Москве, я не сомневался. Иное невозможно было и допустить. Ведь они оставались там, когда меня увезли в Таганрог, и непременно должны были быть на месте. Вокруг меня шла война, гибли люди, свирепствовал голод, но там, дома, всё несомненно оставалось таким же, как при моем отъезде.

Но Москва была так далеко от Эльбы, от Литомиржеца. Было даже неизвестно, в какую сторону и как ехать. И все же, главным тогда было, что семья Надежды Викторовны и я собрались все вместе, и что мы решили немедленно покинуть дом и город. В это время толпы немцев - стариков, женщин с детьми, не говоря уже о солдатах, в ужасе бежали на Запад, чувствуя

близость расплаты за злодеяния своих войск на Востоке. Так получилось, что первое наше движение было в общем, как потом выяснилось, в западном, то есть ошибочном направлении. Поклажа у нас была так мала, что не отягощала пешего хода по шоссе. Однако, когда все приустиало, мы с Игорем стали махать руками проходившим мимо машинам, и одна из них подобрала всех нас в свой крытый брезентом кузов. Но ехать пришлось недолго: неожиданно со звуком выстрела лопнула шина переднего колеса, и машина съехала на обочину. Водитель, немецкий солдат в форме, стал менять колесо, а мы вылезли из кузова и, разговаривая, стояли на шоссе. В этот момент рядом остановился встречный грузовик–студебеккер. В нём находились красноармейцы и пели мою любимую песню про Катюшу. Они услышали нашу русскую речь и позвали к себе. Без раздумий мы забрались в их машину и поехали в обратном направлении. Теперь уже на восток, в Прагу. Так лопнувшее колесо оказалось нашим «колесом фортуны», и всё стало на свои места. Между тем, красноармейцы открыли несколько банок свиной тушенки, нарезали толстыми ломтями черный хлеб (куски хлеба такой толщины я не видел четыре года) и стали нас кормить. Так мы доехали до Праги. Прошло много лет, но то первое угощение и песня «Катюша» остались для меня незабываемым и дорогим воспоминанием навсегда.

В Праге, которую мы почти не видели, на вокзальной площади меня поразила встреча с одним солдатом, гимнастерка которого была увешена несколькими рядами орденов и медалей. Он стоял на перекрестке в надраенных сапогах и, весело поглядывая вокруг, время от времени разглаживал свои русые усы.

Я остановился перед ним, как замороженный, а он подмигнул и погладил меня по голове: дескать, ничего - жизнь продолжается.

На вокзал нас привели к поезду, который был готов к отправлению, те же солдаты, которые подхватили в свой грузовик на дороге. Они же договорились с кем-то, чтобы нас, как попутчиков, посадили на одну из двух открытых железнодорожных платформ, на каждой из которых стояло по два прикрытых брезентом танка. Их везли в тыл на ремонт. Сопровождали машины несколько танкистов. Наш путь лежал на Будапешт, затем Бухарест и, наконец, через Яссы в Кишинев и Одессу.

В Будапеште наш состав довольно долго стоял в непосредственной близости от берега Дуная, и многие с поезда, в том числе мы, воспользовались этим, чтобы помыться в реке.

Однако «голубым», как у Штрауса, Дунай тогда назвать было трудно: бурая река текла в берегах, сплошь покрытых развалинами ещё недавно, видимо, великолепных домов. Два-три месяца тому назад в этом городе шли ожесточенные бои. А сейчас сияло солнце и будущее казалось светлым.

Смерть танкиста

Смерть танкиста, сопровождавшего танки в тыл, произошла в Румынии, во второй половине мая. Война закончилась, и много народу без каких-либо документов, без соблюдения государственных границ свободно передвигалось по всей Европе. Освобожденные из фашистского плена люди - военнопленные и гражданские, угнанные немцами на работы в Германию, возвращались в свои страны, и мы были в их числе, тоже ехали домой и не знали, что нас там ждет – горе или радость, кто из родных остался жив, и как мы будем жить дальше. Но вопросы отступали перед стремлением «домой, домой» и верой в то, что родные тоже остались живы. Мы чувствовали себя как птицы, вырвавшиеся из клетки в широкое небо. Все наши беды, казалось, остались позади, а в моей груди все время звучало: «к маме!».

Но наш состав шел медленно и к тому же часто и подолгу стоял. Однажды во время такой остановки слышался отдаленный стрекот автоматов и глухие разрывы то ли гранат, то ли мин. Время было еще беспокойное. Местами происходили стычки с отдельными пробивавшимися на запад немецкими частями, в основном остатками войск СС, которым терять было нечего, так как красноармейцы в плен их брали неохотно.

Постояв, поезд снова продолжал двигаться на восток. Танкистов на нашей платформе было трое – два молодых парня и один человек постарше. Последний год они воевали вместе и были друг другу как родные. Тот, что постарше, Сергей Иванович, водитель танка, был из Рязани, где его ждали жена и трое ребятишек. Он любил поговорить о них, вез им нехитрые трофейные гостинцы и надеялся получить отпуск, чтобы побывать дома. Два других танкиста, Паша и Николай, были ребята холостые, веселые и бесшабашные. С окончанием боев они как бы вернулись в свой недогуленный довоенный возраст – дурачились, балагурили, в общем, радовались тому, что целы и молоды, и, как они говорили, очень ждали в своей стороне встреч с девушками. Но тех, что ехали на платформах, не обижали, жалели. Был даже случай, когда находившиеся при составе для его охраны два солдата, которых наши танкисты почему-то называли «разведка», на одном полустанке сильно избили какого-то пьяного майора,

который, размахивая револьвером, кричал ехавшим с нами женщинам: «Мы вас освободили - теперь ложись». В самой Германии, по доходившим до нас слухам, солдаты с немками особенно не церемонились.

В Бухаресте репатриантам в счет контрибуции с Румынии давали довольно крупные суммы денег. Но нам сказали, что ввиду опоздания на один день куда-то, и к кому-то (и это в середине мая!) никаких денег для нас не осталось, и мы продолжали пользоваться щедростью наших танкистов. Они подкармливали нас свиной тушенкой, черным хлебом и вареной картошкой, а ещё супом, который приносили в котелках со своей солдатской кухни, находившейся в одном из вагонов этого поезда. Такая еда по тем временам была роскошной.

С танкистами мы, мальчишки, быстро сдружились и подолгу просиживали у них в танке. Все было интересно - и пушка, и пулемет, и водительские рычаги. Только очень уж тесно было даже для нас, малогабаритных, в этих танках: просто не повернуться, чтобы не набить себе шишку. И как только эти ловкие парни здесь управлялись, да еще на ходу и в бою?!

После Бухареста поезд однажды весь день простоял на какой-то небольшой станции. Как обычно у состава собрались окрестные жители и начался оживленный товаро-продовольственный обмен. Бумажным деньгам не очень доверяли. Лепешки, картошка и даже сало менялись на трофейное барахло, самодельные солдатские зажигалки из гильз и всякую другую всячину - все с собой что-нибудь да везли. Ведь немцы в страхе перед Красной Армией бросали свои дома со всем имуществом и бежали на запад. Не каждый мог пройти мимо брошенного добра, тем более, что солдаты слышали и знали, как некоторые начальники, особенно званием постарше, вывозили все подряд целыми вагонами, а у них, у солдат за плечами был только вещмешок, да на руки можно было надеть несколько пар часов, которые тогда в народе считались признаком богатства.

На толкучке вокруг состава местные жители из-под полы вытаскивали литровые бутылки мутного самогона. Но тем, кто в огне не сгорел, самогон, казалось, был не страшен, и его хорошо брали. Однако в общении с румынами чувствовалась напряженность. Они смотрели на наших солдат исподлобья, недружелюбно. Это были вчерашние, может быть, еще не остывшие враги. Одна пожилая румынка продала нашим танкистам несколько синюшного цвета бутылок самогонного спирта - как потом оказалось, древесного, не питьевого. Она, наверное, знала, что делала и, может быть, делала это не в первый

раз. Поэтому позже сопровождавшие поезд разведчики ее так и не нашли. Между тем Сергей Иванович и Коля, на радостях, что едут домой, изрядно приложились к самогону и залезли в танк, чтобы отдохнуть от базарного шума. Позже Паша, который с ними не пил, заглянул в машину и, увидев, что Сергею Ивановичу плохо, вытащил его на платформу, на свежий воздух. Однако тому становилось все хуже и хуже. Его рвало как будто грязной мыльной пеной, речь стала как-то особенно бессвязной. Но он успел сказать, что в глазах у него совсем темно. Николая Паша нашел во втором танке и также вытащил его на платформу. Тот тоже почти ничего не видел. Медицинской службы ни при составе, ни на полустанке не было, и Таня, имевшая некоторый медицинский опыт, стала промывать отравленным желудки и колоть имевшиеся у нее для своей мамы ампулы камфары для поддержания работы сердца. Но состояние танкистов, особенно больше выпившего Сергея Ивановича, не улучшалось.

Настала ночь. Поезд уже шел полным ходом. Танкисты лежали на платформе между своими машинами, а мы беспомощно сидели рядом. Никто не спал.

Я находился у изголовья Сергей Ивановича и видел каждое его движение. Ближе к полуночи изо рта у него стала пузыриться сине-фиолетовая пена, он вдруг весь напрягся, затем вытянулся и... затих. Паша, увидев это, сразу как-то согнулся и его заколотило в беззвучных рыданиях. Потом он вскочил, схватил свою ракетницу и, размазывая кулаками неудержимые слезы, стал палить в черное небо цветными ракетами и несвязанно выкрикивать: «Сергея, я найду их та...та...та... Убью...», «Всю войну прошел»... На какое-то время он затихал. Потом снова вскакивал, бегал по раскачивающейся на ходу платформе и кричал – вспоминал бои и как дважды вытаскивали друг друга из горящих танков, как в поле вместе хоронили командира. Слезы все текли по его щекам, но он их не замечал. Сергей был ему, как старший, надежный брат. Оба они сражались и терпели все невзгоды. Это было тогда сутью их жизни. И вот перед ним снова черная пустота - снова потеря близкого человека. «Что я скажу его жене и детям? Отвоевал, ехал домой и погиб ни за что?». С этим трудно было смириться.

Настало утро. Лицо Сергея Ивановича стало неузнаваемым – фиолетовым, страшным. На стоянке пришли два солдата-санитара, накрыли тело плащ-палаткой и унесли на носилках. Николай остался жив, но ослеп. Его отвезли в медсанбат.

Пересыльный лагерь в Кишиневе

Эшелон шел из Ясс на Кишинев. Ночью он пересек государственную границу между Румынией и СССР и был остановлен для досмотра немногих попутных пассажиров. На нашей платформе появились пограничники. Освещая лица карманными фонариками, они спрашивали, что мы везем? Но у нас никаких вещей не было, так что и показывать было нечего. И все же у Игоря они нашли альбомчик с почтовыми марками и забрали его.

Утром поезд прибыл в Кишинев. Всех попутчиков организованным порядком под конвоем отвели в выстроенный на пустыре, огражденный колючей проволокой лагерь для своих бывших военнопленных и перемещенных лиц. Никаких строений, кроме сарая для начальства, в огороженном месте не было, зато снаружи вдоль колючей проволоки ходили автоматчики. Так мы снова - теперь уже в своей стране - попали в заключенные. Было очень горько. Не этого ждали натерпевшиеся от немцев освобожденные люди. Все сидели и лежали на голой земле поодиночке либо маленькими группами. Были уже протоптаны тропинки к начальническому сараю и отхожей яме за дощатым прикрытием. Между людьми ходили и вели опросы младшие офицеры. Стали расспрашивать и нас, взрослых и меня с Игорем, но каждого в отдельности. Я сказал, что сам из Москвы, да вот перед войной оказался в Таганроге, а оттуда был угнан в Германию. На свое счастье я все четыре года помнил номер нашего с мамой домашнего телефона и, конечно, назвал его лейтенанту. Некоторое время спустя он снова подошел к нам и сказал: «Мы звонили Евгении Леонидовне, твоей маме. Она жива и здорова. Мы ей сообщили, что ты вот здесь и скоро приедешь домой». В этот момент со мной случилось что-то странное: мне стало не хватать воздуха, и я начал задыхаться. Удивляюсь, как я тогда остался жив. Вскочил, кинулся куда-то бежать, с размаху упал на камни и снова вскочил, не почувствовав боли. Было какое-то временное помешательство. После этого звонка всех нас очень быстро выпустили из лагеря и разрешили ехать дальше, домой. Не всем так повезло, как нам. Некоторые бывшие военнопленные говорили, что они находятся здесь уже несколько недель. Позже я узнал, что не все из них возвращались к себе домой – многих отправляли в Сибирь. Как тут было не вспомнить зашедших к нам в дом в Литомиржеце двух наших почти умирающих от истощения солдат, военнопленных? Как сложилась их судьба?

Нам же выпало большое счастье: моя мама успела сказать лейтенанту, что ее дядя, муж Надежды Викторовны, Анатолий

Дмитриевич Покровский, после сражения под Сталинградом был по возрасту демобилизован и сейчас находится в Таганроге.

Из Кишинева в Одессу мы ехали уже в обычном пассажирском вагоне. Одесса встретила проливным дождем. На вокзале было полно народу, и мы в ожидании поезда на Таганрог нашли в ближайших домах арку, где можно было укрыться от ливня, но, к сожалению, не от бежавших по улице потоков воды. Поздно вечером, уже в темноте, родственники напомнили, что сегодня 4 июня и мне исполнилось 13 лет. Прошло четыре страшных года, но теперь я уже знал, что не один на целом свете, что дома меня ждут мама и брат.

Возвращение

В Таганрог за мной приехал отец. Ночью, когда я спал на полу, в комнате зажгли свет, и я увидел, что за столом с другими взрослыми сидит незнакомый мужчина. Потом я его узнал – это был мой папа Грант. Но я почему-то не испытал никакого волнения. Утром мы с отцом поехали на вокзал, но отправились не в Москву, как я ожидал, а на юг, в город Дербент, где в это время в тюрьме находилась тетя Лена – папина сестра. Она работала на винно-водочном заводе, и ее взяли под следствие за какую-то, якобы, проявленную ею халатность. В это время ее шестилетнюю дочку Сирануш, худенькую, наголо обриту девочку, которую некуда было девать, взяли к себе знакомые тети Лены. Отец рассказал мне потом, что тетя Лена была химиком, человеком в профессиональном отношении очень аккуратным, дотошным и абсолютно честным. Так что ни о какой ее халатности не могло быть и речи. Но на заводе обнаружилась крупная растрата, и виноватое в ней руководство решило свалить вину на тетю Лену. Отец мой не раз побывал в тюрьме, где она сидела, и делал все возможное, чтобы выволить ее оттуда. И, в конце концов, у него это получилось, так как вскоре тетя Лена оказалась в Москве, в отцовской комнате на улице Малые Кочки.

Несколько раз отец по делам сестры бывал на винно-водочном заводе и однажды прихватил меня с собой. Мы пришли в большое помещение, в котором стояли длинные столы, вокруг которых сидели работницы и наклеивали на бутылки этикетки. Отец попросил женщин присмотреть за мной и ушел. В этом зале на подставках лежали огромные темно-коричневые бочки. У каждой внизу был кран, похожий на водопроводный. Чтобы чем-нибудь заняться, я стал помогать наклеивать этикетки. В это время в зал вошел высокий крепкий человек в куртке, видимо шофер. Подойдя к одной из бочек, налил себе полный стакан светло-коричневой жидкости, похожей на крепкий чай, залпом выпил ее,

пошутил с работницами и ушел. Мне показалось, что он выпил что-то очень вкусное, поскольку сразу повеселел, и мне захотелось тоже попробовать этот, видимо сладкий, напиток, тем более, что женщины со смехом меня к этому поощряли. Я налил себе стакан из той же бочки немного приятно пахнувшей жидкости и, как тот шофер, опрокинул в рот. Глаза мои, казалось, выскочили из орбит, дыхание парализовало, и внутри будто все обожгло нестерпимым огнем. Это был коньячный спирт. Да еще на пустой желудок. Одна из женщин быстро дала мне воды, и я стал приходить в себя. Очень скоро мне сделалось легко и весело, кружилась голова и появилась неуверенность в том, что вертикальное положение тела удобно и устойчиво. Я опьянел. Женщины веселились. Вернувшийся отец, пожуриив их за недогляд, отвел меня веселого домой. Вскоре мы с ним сели в поезд на Москву.

В Москву я вернулся 24 июня 1945 года, в памятный день парада Победы и народного ликования на Красной площади. Это была для меня еще одна точная дата в цепи событий того времени. Между отъездом и возвращением в Москву прошла почти вся моя осознанная тогда жизнь. И хотя я не был еще взрослым, для меня жизнь долго потом делилась на «до» и «после» войны.

Из метро мы с отцом вышли на хорошо знакомую мне с довоенного времени Арбатскую площадь, и я сразу почувствовал себя дома. До Тверского бульвара, где у Софьи Моисеевны в это время жили мама и Леня, мы доехали на трамвае. Дверь в квартиру открыла сама мама, и я был поражен тем, что она стала маленькой, меньше меня ростом. В голове и в груди разбушевалась буря, которая позднее в этот день вылилась в нервный срыв. И потом я долго еще привыкал к новой, иной жизни с ее строгой печатью молчания¹⁰ о том, почему у меня были такие долгие «каникулы».

2012 г., Хьюстон



¹⁰ В условиях всеобщего страха в стране в сталинское время.

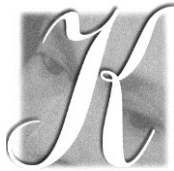
Борис Тененбаум

Тюдоры

Главы из книги

Как следует правильно обращаться к шлюхе, милорд?

I



Кардинал Уолси был безмерно богат. Его дворец, Хэмптон-Корт, сравнивали с королевскими резиденциями - и не к выгоде королевских резиденций. Был у него и еще один дворец в Лондоне, так называемый Йорк Холл. Архиепископы Йорка были богаты и влиятельны, а одной из бенефиций Церкви, которые принадлежали кардиналу, была должность архиепископа Йоркского. Свой высокий статус кардинал любил подчеркнуть. Скажем, он издал постановление, регулирующее количество перемен блюд за пирышественным столом в зависимости от ранга особы, такой пир устраивающей.

Стандартом была тройная перемена, для пяти перемен надо было быть графом или маркизом, для семи - герцогом. Герцогов в Англии в то время было ровно два: герцог Саффолк, муж сестры короля Генриха, герцог Норфолк, отпрыск старинного и знатнейшего рода Говардов, потому что третий, Эдвард Стаффорд, герцог Бэкингем, был осужден в 1521 году и казнен за государственную измену.

Так вот, согласно установлениям кардинала Уолси, кардиналам разрешалось девять перемен блюд - а по удивительному стечению обстоятельств, кардинал в Англии был один, и звали его Томас Уолси. И он действительно любил поесть - у него на кухне служило 73 человека, если считать и поварят.

Как к этому относился герцог Саффолк, сказать трудно - как-никак, он был обязан кардиналу прощением. А вот герцог Норфолк просто выходил из себя, потому что королевский любимец, даже не дворянин, а "*...полное ничтожество, сын мясника...*", ставил себя выше него, герцога Норфолка, знатнее которого были только потомки Плантагенетов.

В общем, как мы видим, положение кардинала было высочайшим, и он не стеснялся это подчеркивать. Понятное дело, помимо поваров, ему служило множество людей - государственные и церковные обязанности Томаса Уолси были нелегким грузом, ему требовался солидный административный аппарат, общей численностью до 500 человек.

Любое появление кардинала Уолси на людях обставлялось как процессия - его сопровождали джентльмены его двора, которые несли символы его власти. Например, жезл лорда-канцлера. А передвигался кардинал, как правило, с максимальными удобствами, в паланкине - поскольку кареты с удобными рессорами еще не изобрели, а ездить верхом он не любил.

Помимо постоянных слуг и секретарей, в штат кардинала входили и сотрудники, служившие по найму, за оговоренную плату или за некие комиссионные за ведение конкретных юридических или коммерческих дел. Все эти юристы и администраторы были людьми высоких профессиональных достоинств - Томас Уолси, всесильный главный министр короля, выплачивал высокие гонорары, и мог обеспечить себе услуги самых лучших специалистов.

Но один человек выделялся даже в этой среде. По сравнению с ним даже сын мясника, Томас Уолси, был аристократом. Звали его Томас Кромвель, и его дед был кузнецом, а отец - Уолтер Кромвель, трактирщиком и владельцем пивоварни.

И ни в какой Оксфорд его не направляли - отец так его бил, что в 15 лет он сбежал из дома, буквально побираясь, добрался до Франции, и там поступил в солдаты. В 1500, так называемом "юбилейном году", французская армия была в Италии - ее вели через Альпы на Милан, а потом - на Рим и Неаполь. Томасу Кромвелю тогда шел 16-й год - по всей вероятности, он родился в 1485. Впрочем, точно это не известно. Как написано в русской версии Википедии:

"...Вскоре он дезертировал из армии, оставив поле боя. Поселился во Флоренции. Здесь стал служащим в банкирском доме Фрескабальди, быстро выдвинулся, курировал финансовые отношения банкира со Святым Престолом. По этой причине несколько раз путешествовал в Рим..."

Вот тут начинаются какие-то непонятные вещи. Нам надо сделать остановку и перечитать текст еще разок.

II

Что это, собственно, значит - "...был принят в банк, где быстро выдвинулся..."? Для поступления в наемные солдаты

мальчишке-новобранцу не требовалось ничего, кроме приличного физического развития - а дальше он или погибал, или обучался владеть оружием. Но для поступления в банкирский дом, пусть даже на работу на подхвате, требовались совершенно другие качества. Например, грамотность. А уж для того, чтобы курировать дела со Святым Престолом, требовалась очень высокая деловая квалификация.

И у нас получается, что юный Томас Кромвель усвоил и грамоту на итальянском языке, и сам этот язык, и делопроизводство, и бухгалтерию, и оказался на таком хорошем счету в банке, что ему выделили ведение дел с чуть ли не важнейшим клиентом банка - с канцелярией папы римского?

Не правда ли, это вызывает интерес, и хочется разузнать, как же это все получилось? Но вот дальше в русской Википедии, к сожалению, содержится полный бред:

"...Интересовался политической жизнью Флоренции, познакомился с трудами Макиавелли..."

Это чушь. Макиавелли написал "Государя" только в 1513, и книга поначалу не была напечатана, а только ходила по рукам в качестве своего рода "самиздата".

А Томас Кромвель, как следует из той же Википедии, к 1513 году из Италии уже несколько лет как уехал. Так что, если еще можно предположить, что он читал копию ненапечатанной книги Макиавелли, то уж ненаписанную книгу читать он никак не мог?

Коли так, мы бракуем русскую версию Википедии - по данному вопросу она, увы, недостоверна. Поиск в источниках понадежнее дает нам следующие сведения: скорее всего, Томас Кромвель пробыл в составе французской армии вплоть до 1503 года, и даже участвовал в битве при Гарильяно, которая произошла в этом году, в самом конце декабря. Он выучил за это время и французский, и итальянский, и латынь, и знал их так, что мог не только говорить на этих языках, но и читать и писать. Латынь он изучал по тексту Евангелия, и в итоге знал Евангелие наизусть.

В общем, к тому моменту, когда он дезертировал, он из 15-летнего полуграмотного английского подростка превратился в очень грамотного 18-летнего юношу, владевшего четырьмя языками.

Да, действительно. Такого человека стоило принять в банк Фрескобальди. Это был почтеннейший банковский дом, с давними связями в Лондоне и в Нидерландах. Фрескобальди, в частности, финансировали сделки, связанные с английской шерстью - и им очень пригодился бы толковый паренек с хорошим английским.

Сколько лет Томас Кромвель проработал у Фрескобальди, неизвестно - вообще все сведения о его юности носят случайный и отрывочный характер. Известно только, что он действительно занимался счетами, связанными с римской Курией, и что он ездил в Нидерланды по делам, связанным с торговлей шерстью, и что в конце концов он оставил банк и занялся самостоятельной деятельностью - ведением дел английских купцов, торгующих в Нидерландах.

В итоге, подзаработав денег, в 1513 году он перебрался в Англию.

К этому времени Томас Кромвель изучил и фламандский, и немецкий языки, и начал серьезно интересоваться юридической практикой - или, используя кальку с английского, "... *легальными вопросами* ...". Есть сведения, что в 1514 он съездил в Рим по поручению архиепископа Йоркского, Кристофера Байнбриджа, и представлял там его интересы в качестве юриста в в так называемом "*Tribunal Apostolicum Rotae Romanae*" - "*Апостолическом Трибунале Священного Римского Колеса*"¹.

К 1520 году Томас Кромвель уже был успешным дельцом, с собственным домом в Лондоне, с солидной практикой юриста - при том, что у него не было никакого формального юридического образования, и никакого юридического диплома. В английской версии Википедии есть сведения - правда, не подтвержденные документом - что в 1523 он даже сумел попасть в Парламент. Это было и нелегко, и требовало основательного имущественного ценза: бюргеру требовался иметь не менее 300 фунтов годового дохода. Согласно справочнику курса валют, для получения эквивалента в теперешних британских фунтах эту цифру следовало бы помножить на 477 - и у нас получится, что Томас Кромвель уже тогда зарабатывал где-то около 140-150 тысяч фунтов стерлингов в год.

А в 1524 году случилось нечто и вовсе невероятное - Томас Кромвель был принят в Грэй-Инн. Так называлась одна из четырех лондонских профессиональных ассоциаций юристов. Эта организация ревниво соблюдала все формальные правила, присущие любой гильдии мастеров, и для нее сам факт приема в свои ряды человека без диплома был делом неслыханным. Но как

¹ Этот странный термин образовался вот почему - судьи в свое время заседали в круглой комнате, называвшейся "Колесо", и название комнаты перешло и на трибунал: The court is named *Rota* (Latin for: wheel) because the judges, called *auditors*, originally met in a round room to hear cases.

было не принять одного из знаменитых адвокатов Англии?

Кардинал Уолси, как уже и было сказано, нанимал к себе на службу самых лучших специалистов своего дела.

Начиная с 1524 года Томас Кромвель стал работать только по его делам.

III

В 2009 году несметная библиотека английских книг, посвященных эпохе Тюдоров, пополнилась замечательной новинкой - в свет вышел роман Хилари Мантел под названием "Wolf Hall". Это можно перевести как "Волчий Дворец". В центре романа стоит человек, который нас в данный момент интересует - Томас Кромвель. Действие происходит в самом начале 1527 года и начинается со встречи Томаса с кардиналом Уолси, в его дворце Хэмптон-Корт, построенном у Темзы.

Кромвель к этому времени уже три года как входит в окружение кардинала. Понятное дело - он не остался незамеченным, и очень скоро стал секретарем кардинала, его юристом и поверенным.

Беседа их протекает в не слишком официальной манере - Томас Кромвель кардиналу уже не только подчиненный, но и друг, и доклад его о поездке в Йорк по делам нескольких небольших монастырей, которые кардинал хотел бы слить с большими обителями, носит не только деловой характер. Кардинал довольно откровенно говорит со своим юристом, и касается крайне деликатных вопросов - например, того, что король Генрих жаждет развода.

Конечно же, Томас Кромвель в курсе дела - у королевской четы есть только один ребенок, и это девочка. Королю - 35 лет, и у него есть сыновья от его любовниц, но ему нужен законный сын-наследник. Это необходимо для продолжения династии Тюдоров, у него нет дела важнее, чем заполучить наконец желанного сына - а королеве уже за сорок, и она совершенно явно уже не способна подарить ему ребенка.

И кардинал в разговоре бросает своему излюбленному сотруднику вопрос - как он думает, "... кого король винит за отсутствие у него сына? ...". Кромвель с легкой иронией высказывает предположение, что король винит королеву. "Нет" - отвечает ему кардинал.

"Ну, тогда самого Бога?" - говорит Кромвель. "Нет" - говорит кардинал Уолси - "он винит меня". И объясняет, что король хотел бы, чтобы ему формально и по всем правилам теологии доказали бы, что он женат по ошибке, что ему не следовало жениться на вдове своего брата, что брак этот неугоден

в глазах господ, и что кардиналу давно следовало бы озаботиться даже не разводом, а аннулированием брака, заключенного по ошибке.

Разговор Томаса Уолси, великого кардинала, и Томаса Кромвеля, его юриста, не так прост, как могло бы показаться. Он наполнен всевозможными нюансами - Кромвель советует кардиналу обратиться за аннулированием брака короля в Рим, и прихватить побольше денег - за деньги в Риме можно сделать все. И тут кардинал внезапно припоминает, что конечно же, его славный Томас бывал в Риме, и знает тамошние обычаи - ведь он попал туда сразу после службы в испанских войсках? "*Во французских*" - поправляет его Томас Кромвель.

"*Но ты ведь умеешь говорить по-испански?*" - спрашивает кардинал.

"*Нет, умею только ругаться...*" - отвечает ему Кромвель.

Собеседники расстаются самым дружеским образом. Кардинал, конечно же, знает, что его юрист в молодые годы послужил во французских войсках, а не в испанских - но проверить не мешает. Он очень мало знает о жизни Кромвеля в давние времена, и он любознателен. Кромвель его любимый сотрудник - но он не единственный любимый сотрудник. Есть и другой, Стивен Гардинер, и они соперничают за предпочтение кардинала, и кардинал находит, что это хорошо. Томас Кромвель откланивается и уходит. Он доволен и разговором, и тем, что сохранил свой козырь в рукаве. Конечно же, он свободно говорит по-испански.

Но зачем кардиналу знать об этом?

IV

Вообще-то, роман так хорош, что его хочется пересказать весь, от начала и до конца, но у нас есть свои задачи. Поэтому ограничимся тем, что перескажем лишь еще одну сцену:

Томас Кромвель снова в гостях у кардинала Уолси, и собирается поговорить с ним о весьма серьезном предмете, но сделать это не может - кардинал распекает, и самым жестоким образом, одного из своих дипломатов. Разнос вызван не профессиональным упущением дипломата, а тем, что он явился к кардиналу с дерзким запросом - его дочь и некий молодой человек сговорились пожениться, и он просит разрешение Его Преосвященства на осуществление этого брака. Однако вопрос этот совсем не так прост, как могло бы показаться. Молодой человек - наследник знатнейшего и очень богатого рода графов Перси, и следовательно, его брак - вопрос политический. А если он политический, то он подлежит ведению кардинала Уолси. И

кардинал задает своему подчиненному по дипломатическому ведомству вопрос - почему мнение кардинала не было запрошено раньше, до того, как молодые люди сговорились друг с другом?

В качестве дополнительной информации кардинал хотел бы узнать у отца сговоренной девицы, где именно происходил сговор, под каким кустом? И что забрал себе в голову отец девушки, если он думает, что он, всего лишь рыцарь, может выдать дочь за наследника главы рода Перси, пэра Англии? Томасу Кромвелю очень хочется вмешаться в разговор, но у него нет ни малейшей возможности сделать это - кардинал Уолси разгневан и в потоке брани, изливаемым им на голову неудачливого просителя, нет ни одной паузы.

Но вот наконец "беседа" закончена, и отец как бы обручившейся барышни выставлен вон. Кардинал, отдышавшись, обращается к Томасу Кромвелю, и спрашивает, что же к привело к кардиналу его любимого сотрудника?

И тогда Кромвель задает ему вопрос:

"Как следует правильно обращаться к шлюхе, милорд, если она - дочь рыцаря?"

"А!" - отвечает ему кардинал, входя, так сказать, в проблему - *"В лицо ты должен называть ее "миледи". А за ее спиной - как ее зовут, кстати?"*

И тогда Томас Кромвель кивает на дверь, куда только что вышел разруганный в пух и прах отец той самой шлюхи, которая является дочерью рыцаря. Шлюху зовут Анна Болейн, а ее отца, сэра Томаса Болейна, кардинал только что смертельно оскорбил. Что же касается Анны Болейн, то Томас Кромвель для того и пришел, чтобы рассказать кардиналу Уолси о важнейшем обстоятельстве.

На нее обратил внимание сам король.

Леди Анна

I

Вообще-то, Томас Кромвель, говоря о *"...шлюхе, у которой отец - рыцарь..."*, несколько преуменьшил проблему. Он вполне мог сказать, что ее дядя - герцог, это было бы сильнее. Дело в том, что сэр Томас Болейн в молодые годы был хорош собой - и сумел жениться "вверх", взяв жену из рода, выше которого хватить было бы трудно. Его жена была дочерью 2-го герцога Норфолка - того самого, которого король так щедро наградил за победу над шотландцами - и следовательно, сестрой его наследника, Томаса Говарда, III герцога Норфолка. Следовательно, дети четы Болейнов были в известной степени Говардами, со всей полагающейся этому

семейству аристократической спесью. Их так и воспитывали. Как уже говорилось - Томас Болейн был честолюбив, и сумел устроить так, что его дочери, Мария и Анна, воспитание получили во Франции, при королевском дворе.

Мария в 1520 году вернулась в Англию, вышла замуж - и очень скоро стала любовницей короля Генриха.

Собственно, точно известно только это. Марии Болейн приписывалось несколько романов еще во Франции, и один из них - с самим королем Франциском Первым. По крайней мере, он любил поговорить на эту тему, и утверждал, что девицы более бесстыжей, чем Мария Болейн, у него в постели не бывало...

Однако что тут правда, а что сплетни и выдумки, выяснить невозможно. Про Марию Болейн мало что известно, даже ее возраст - и то неясен. Возможные даты ее рождения колеблются от 1499 и до 1508. Во всяком случае, замуж она вышла в 1520. Как ни странно, это не отменяет возможности того, что годом ее рождения все-таки был 1508. В те времена девушки, случалось, выходили замуж и в 12 лет - достаточно вспомнить леди Маргарет Бофорт, бабушку короля Генриха VIII.

У Марии Болейн было двое детей - и утверждалось, что один из них, или даже оба, рождены от короля. Однако она довольно быстро отступила в тень перед своей младшей, сестрой, Анной. Она вернулась в Англию в 1522. Точь-в-точь как Марией, ее возраст известен только гадательно - документов не сохранилось. Разные источники указывают разные года - от 1501 до 1507.

Наиболее вероятным считается все-таки 1507. То есть, ей было примерно 19, когда она закрутила свой бурный роман с лордом Генри Перси, по поводу которого так гневался кардинал Уолси. Когда именно она приглянулась королю Генриху, непонятно. Первый раз он увидел ее в 1522, когда она вернулась из Франции. Он в нее влюбился. Если верить энциклопедии, то считается, что знаменитые «Зелёные рукава» («Greensleeves») — посвящение влюбленного короля Генриха VIII своей будущей жене, леди Анне, положенное им на старинную мелодию. Как говорит энциклопедия:

"...Неизвестно, действительно ли эти строки сочинил Генрих VIII, но красивую легенду берегут, — и принято считать, что прекрасная незнакомка в зелёном платье и есть леди Анна Болейн..."

Текст баллады, если кому интересно, есть в Приложениях - а мы пока двинемся с нашей историей дальше.

II

Анна Болейн сводила мужчин с ума. Как она это делала - вопрос хрестоматийный, и ответ на него, пожалуй, столь же хрестоматиен. Все самым исчерпывающим образом объясняет английское выражение "*sex appeal*", которое не имеет удачного русского эквивалента. "*Призыв пола*" - дословный перевод - совершенно не звучит, да и выглядит каким-то замшелло-аптечным.

А в случае с Анной Болейн ни о какой замшелости и речи идти не могло.

Молодой придворный короля Генриха, Томас Уайетт, ухаживал за ней, рискуя жизнью - причем выражение это следует понимать не в фигуральном смысле, а совершенно буквально. Нрав Генриха VIII был уже известен, а влюбленный поэт, зная, что за Анной Болейн ухаживает король, писал даме своего сердца такие строки²:

О СВОЕЙ ГОСПОЖЕ, КОТОРУЮ ЗОВУТ АННОЙ

*Какое имя чуждо перемены,
Хоть наизнанку выверни его?
Все буквы в нем мучительно блаженны,
В нем - средоточье горя моего,
Страдание мое и торжество.
Пускай меня погубит это имя, -
Но нету в мире имени любимей.*

Можно предположить, что она его ухаживания поощряла. Вот строчки из сонета, написанного им уже потом, когда все было кончено:

*Хвала Фортуне, были времена
Иные: помню, после маскарада,
Еще от танцев разгорячена,
Под шорох с плеч скользнувшего наряда,
Она ко мне прильнула, как дриада,
И так, целуя тыщу раз подряд,
Шептала тихо: "Милый мой, ты рад?".*

Доказать, что стихи посвящены именно Анне Болейн, я не могу, но она оставалась его любовью на всю жизнь, да и похоже

² Все переводы стихов Томаса Уайетта даны в переводах Г. Кружкова, взятых из его восхитительной книги "Лекарство от Фортуны", похвалить которую в достаточной мере у меня не хватит слов.

все это на леди Анну. Лорд Перси, на которого она обратила внимание более серьезным образом, от любви к ней буквально спятил.

Так что чему ж удивляться, если Анной Болейн увлекся и король? Он сделал в ее сторону, что называется, "заход" - как правило, этого хватало с головой. И желание короля было законом, и сам он в свои 35 был завидным кавалером, высоким, сильным, с превосходным вкусом ко всякого рода светским забавам вроде музыки или маскарадов. Никаких проблем он не ожидал - в конце концов, Мария Болейн не больно-то и сопротивлялась, и они прекрасно проводили время вдвоем.

Но вот Анна Болейн своему государю в любви отказала. Ну, не следует понимать это так уж буквально. Она, разумеется, показала ему, что полна восхищения перед его талантами, перед его достижениями на турнирном поле, наконец - перед его высоким саном. Но вот спать с ним она отказалась - и ссылаясь при этом на то, что он, упившись страстью, всегда оставляет своих подружек, и стремится к чему-то новому. А ей не хочется быть оставленной. В общем, она отказывалась стать его любовницей - но, так уж и быть, соглашалась стать его женой-королевой.

А поскольку король был женат, и королева у него уже была - требовалось как-то освободиться от уз брака.

И вот этим Великим Делом Генрих VIII и занялся со всей силой, отпущенной ему господом.

III

Так это и стало называться - Великое Дело Короля. Были нажаты все рычаги, и задействованы все средства. Королеву Катерину самым настойчивым образом попросили признать всю ошибочность ее 18-летнего сожительства с ее супругом, который ей, как оказалось, вовсе не супруг, ибо не мог он вступить в брак с вдовой своего брата Артура. Была открыта из архивов бумага, составленная в свое время, еще при Генрихе Седьмом, в которой юный принц Генрих выражал свои сомнения по поводу законности брака с принцессой Катериной. Конечно, сведущие люди прекрасно знали, что никаких сомнений у принца не было и быть не могло, просто в силу его нежного возраста, а сама бумага была составлена юристами его батюшки как средство давления на испанцев в вопросах, связанных с приданым - но куда там? Сейчас каждое лыко шло в строку, и любые бумажки шли в дело.

Наконец, был запрошен Святой Престол, давший когда-то разрешение на брак. Если решение было легко дано, то, наверное, столь же легко будет и развернуть это решение в противоположную сторону? Но нет, нет и нет ... Ничего не

получалось.

Обычно покорная воле мужа, королева Катерина сообщила ему, что готова повиноваться ему во всем, как доброй супруге и положено, но Господа она все-таки чтит выше мужа, и что брак из заключен перед алтарем, и она своих брачных клятв не нарушит.

А папа римский, Климент Седьмой, просвещенный понтифик, вполне понимающий и земные нужды своей многогрешной паствы, и государственные проблемы, связанные с отсутствием принца-наследника, и внимательный, как правило, к запросам влиятельных просителей, в данном случае почему-то уперся.

Почему папа римский уперся, в Лондоне было известно очень хорошо. Дело тут было в том, что в 1527 году случилось событие, потрясшее весь христианский мир: войска императора Карла Пятого взяли штурмом Рим и разграбили его. Сам папа сумел выкрутиться из беды, только уплатив чудовищный по величине выкуп в 400 тысяч дукатов золотом, и теперь являлся более или менее пленником императора.

А поскольку император Карл Пятый был племянником королевы Катерины Арагонской, супруги Генриха Восьмого, папа римский помочь королю Генриху никак не мог - он не был свободен в своих действиях. В романе Хилари Мантел циничный Томас Кромвель, повидавший мир, говорит, что *“...в Италии вопрос с королевой Катериной был бы уже давно решен...”*. Ибо сказано в "Государе" Никколо Макиавелли, что государь должен держаться пути добра, если это возможно, но не чураться и зла, если это необходимо. Макиавелли умер в 1527. Книга его, как мы знаем, была впервые напечатана только в 1532. Но, в конце концов, если Томас Кромвель не читал Макиавелли, то уж с миром и делами мирскими он был знаком как никто другой. А Макиавелли как раз и гордился тем, что *“...описывает мира таким, каков он есть...”*.

В общем, да - будь это все в Италии, наиболее просвещенной части Европы, королева Катерина умерла бы без долгих отлагательств, и проблема исчезла бы вместе с ней. Но дело происходило в Англии, где правил закон, и где даже убийство осуществлялось не кинжалом, а законом.

Король Генрих Восьмой решил действовать юридическими методами.

IV

Собственно, именно этот путь предлагал ему его верный слуга, кардинал Уолси. Сначала он измыслил ловкий ход, которым можно было бы обеспечить престолонаследие. У Генриха

Восьмого был сын от одной из его подруг, похожий на него как две капли воды, названный Генрихом, и с фамилией Фицрой, что, как всякому было понятно, означало Фиц-Рой, или "Сын Короля". Мальчик был всем хорош, только вот что рожден был не в законном браке. Но законности ему можно было добавить - у короля была вполне законная дочь, принцесса Мария. Почему бы не поженить детей короля? А уж ту мелкую подробность, что это, собственно, инцест - ибо матери у них разные, а отец-то один - кардинал брался уладить в Риме. Папа Климент королю Англии в этом не откажет...

Интересно, что против идеи кардинала не возражала даже Катерина Арагонская, жена Генриха. По крайней мере, не возражала открыто...

Но Генрих VIII сочетал в себе две черты характера: во-первых, невероятный, превосходящий всякое воображение эгоцентризм, во-вторых, твердое желание, чтобы "*...все было правильно...*", и чтобы правильность эту признал весь мир. Так что кардиналу, ввиду невозможности переделать желания короля, пришлось попробовать переделать мир. И он попробовал. Отчаявшись переубедить короля, он решил переубедить папу Климента. И привел ему разумный аргумент - ну не может же папа лично заниматься всеми делами на свете? Коли так - почему не делегировать свои полномочия в разборе королевского дела легату Святой Церкви в Англии? А так как легатом, по счастливому стечению обстоятельств, сам кардинал Уолси и является, то и дело будет решено нужным образом, и папа останется в стороне, и не обвалит на себя гнев императора Карла...

Эта схема имела все шансы на успех, но, конечно, зависела от соблюдения строгой секретности. Папа Климент должен был быть поставлен перед фактом - по крайней мере, официально. Ну, подумаешь - передал дело по принадлежности местному куратору, ну, тот ошибся и слегка превысил свои полномочия, ну, взял ответственность на себя - но сам-то папа Климент ни в чем не повинен.

А своего легата по Англии, кардинала Уолси, он строго накажет и приговорит к покаянию...

Все было задумано замечательно, и не менее замечательно исполнено. Посланец кардинала Уолси, его верный ученик и сподвижник, Стивен Гардинер, устроил все самым лучшим образом. Они с папой Климентом достигли полного взаимопонимания, и легат Св. Престола в Англии, Томас Уолси, получил все полномочия, которые требовались Томасу Уолси, верному слуге короля ...

К сожалению, король Генрих все испортил.

Он явился к своей супруге, королеве Катерине Арагонской, и заявил ей, что отныне считает ее не женой, а своей дорогой сестрой, что то, что они в заблуждении своем считали браком, было ужасной ошибкой, но он ее ни в чем не винит, и пусть она считает все прошедшие 18 лет некоторым недоразумением ... Зачем Генриху VIII было рассказывать о таком его убеждении королеве - тому самому человеку, который больше всех в Англии был заинтересован в том, чтобы ему помешать - можно только гадать. Возможно, он был искренне убежден, что единственной заботой его "*... дорогой сестры ...*" все еще было доставление ему радости и покоя, даже ценой того, что сама она будет отвергнута, а ее дочь признана плодом заблуждения и лишена прав и наследия?

Ну, у королевы на этот счет были другие идеи.

V

Из этой истории можно было бы сделать неплохой детектив: один из преданных испанских слуг королевы Катерины, некто Фелипез (Felipez), обратился к королю Генриху с нижайшей просьбой - разрешить ему навестить его больную матушку, проживающую в Испании. К просьбе он присовокупил объяснение причин, по которым он вынужден побеспокоить своими семейными делами самого короля Генриха: дело тут в том, сообщил в своем прошении Фелипез, что он просил о дозволении свою госпожу, королеву Катерину Арагонскую, но вот беда - она ему отказала.

Король был человеком отнюдь не глупым, и конечно же, Фелипезу не поверил. Он немедленно увидел тут умысел - конечно же, просьба была камуфляжем, а на самом деле королева отправляла в Испанию гонца с вестями и с просьбой о помощи. И Генрих решил ответить ей в том же духе - он задумал перехватить гонца, и получить письменные доказательства того, что супруга злоумышляет против своего законного короля и повелителя.

Как сказано у Шекспира в "Гамлете": "*...ну и переполох, когда подвох нарвется на подвох...*". Впрочем, в то время эта пьеса еще была не написана - до ее создания должно пройти немало лет.

Короля Генриха, при всем его бесспорном уме, часто подводил безмерный нарциссизм. Он был очень уж самонадеян, и дела его часто кончались неловкостью, в которой он винил кого угодно, кроме себя. Скажем, во время встречи с Франциском Первым на Поле Золотой Парчи он вдруг внезапно предложил ему посостязаться в борьбе.

Генрих Восьмой был действительно очень силен от

природы, но его оппонент изучал приемы рукопашной куда более серьезно - и на глазах у всех он попросту свалил Генриха ловкой подножкой, к великому его конфузу...

Так вышло и гонцом королевы. Если бы Генрих посоветоваться в этом деле со своим главным министром, то все было бы слажено быстро, четко - и в Англии. Но король советнику своему уже не доверял, решил сделать все сам, и перехватить гонца решил почему-то только во Франции.

В результате Фелипез ушел от погони, добрался до Испании, и немедленно огласил планы Генриха об аннулировании его брака с королевой Катериной. Император Карл Пятый узнал обо всем из первых рук и немедленно - он как раз пребывал в своих испанских владениях. Он немедленно выразил папе римскому Клименту свой формальный протест. Увы, хитрый план решить дело тишком провалился, даже не успев начаться.

Папа отобрал у кардинала Уолси данные было ему полномочия, и направил в Англию нового легата – кардинала Кампеджио.

VI

Лето 1528 года выдалось жарким. В Лондоне началась эпидемия так называемой "потницы" - заболевший покрывался холодным потом, начинал дрожать, и умирал, случалось, в течение нескольких часов. Короля Генриха такие вещи приводили в ужас. Он немедленно уехал из своей столицы, и пустился в долгий путь, кочуя от одной соей резиденции к другой, и нигде не задерживаясь надолго. Анне Болейн он писал самые нежные письма, с клятвами в вечной любви - и при этом король делал все возможное, чтобы избежать личного свидания с дамой своего сердца. Ему кто-то шепнул, что леди Анна не совсем здорова, и что у нее на лбу видели капельки пота... И король писал леди Анне, что, как он знает из надежных источников, *"...потница не так опасна для женщин..."*, и что *"...многие все-таки выздоравливают..."*.

Влюбленная пара, король Генрих Восьмой и леди Анна Болейн, твердо надеялись пожениться уже в этом году. Им было известно, что папа Климент передал полномочия кардиналу Кампеджио еще в апреле 1528 года, что человек он надежный, с Англией давно связанный, что у него есть важное и выгодное епископство в Солсбери, и что ссориться с королем он не захочет...

Кампеджио, однако, долго собирался в дорогу, а ехал еще дольше - вместо нормальных шести недель он ехал из Рима в Лондон долгих четыре месяца. И приехал только в октябре. Помимо официальных папских инструкций, у него были неофициальные, и сводились они к тому, что дело следует затянуть

как можно дольше - а если уж затягивать дальше окажется невозможным, то его следует спустить на тормозах.

А пока что леди Анна - у которой уже был свой двор, и свои придворные, ревностно отстаивающие интересы своей госпожи - писала кардиналу Уолси самые дружеские письма, в которых говорила, что и не знает, сможет ли она когда-нибудь отблагодарить его должным образом...

Ей был нужен каждый друг, на помощь которого она могла опереться - общественное мнение в стране поворачивалось против нее, в пользу королевы Катерины были настроены очень многие. Анну Болейн считали уже не только шлюхой, но еще и ведьмой, околдовавшей короля.

Кардинал Кампеджио был умным человеком, глаза держал открытыми, видел, что происходит - и увиденное ему не нравилось. Он сделал попытку решить вопрос миром - почему бы королеве Катерине не удалиться в монастырь? В этом случае она *"...умерла бы для мирской жизни..."*, но жила бы в монастыре в покое и почете, сохранив за дочерью все ее права и титулы. О том же королеву молили английские прелаты.

Кардинал Уолси даже встал перед королевой на колени. Из этого ничего не вышло - королева отказалась признать, что все это годы она жила во лжи и во грехе.

Она сказала кардиналу Кампеджио, что *"...у нее есть совесть..."*.

VII

Уж что подумал про это заявление кардинал Кампеджио, сказать трудно. Он был старый человек, многое повидал, и, наверное, в искренности королевы не усомнился. Но как кардинал и князь Церкви, с вопросами совести он работал профессионально - долгие годы и на очень высоком уровне. А если ему был все еще нужен урок в этой области, то кардиналу Кампеджио было достаточно только обернуться на Генриха VIII - в ноябре 1528 он выступил с речью, в которой заявил, что единственный мотив его действий - это муки совести, а иначе он никогда не расстался бы со своей *"...возлюбленной сестрой, принцессой Катериной, вдовой его покойного брата..."*.

Ну, а попутно - уже частным образом и в узком кругу - он накричал на кардинала Кампеджио, сказал ему, что коли папа не даст ему освобождения и избавления от постылой жены, то он возьмет дело в свои руки и примкнет к тем государям Европы, которые следуют ереси Лютера, и горе тому, кто встант у него на пути, потому что *"...нет в Англии головы столь замечательной, что не могла бы слететь с плеч по его воле..."*.

Это заявление было сделано при свидетелях - и французский посол сообщает о нем своему двору.

Тем временем юридические баталии шли своим чередом. Кардинал Уолси оспорил буллу папы римского от 1503 года, в которой Генриху давалось позволение жениться на Катерине Арагонской, и шаг за шагом опровергались все те аргументы, которые сейчас приводились как основания для развода.

В Англию была послана заверенная копия этого документа.

Тогда Уолси оспорил аутентичность копии, и потребовал представить оригинал. Справедливо опасаясь, что оригинал в этом случае может *"...бесследно потеряться..."*, ему в этом было отказано.

Королева Катерина, безупречно играя свою роль безупречной супруги, официально просила своего племянника Карла Пятого все-таки выслать оригинал буллы на рассмотрение - но он совету своей тетушки, вряд ли искреннему, не последовал. Дело, таким образом, затягивалось все больше и больше - и наконец нервы короля Генриха VIII не выдержали.

Он велел Уолси назначить день открытого суда для разбора своего дела, и никаких возражений слушать не пожелал.

21 июня 1529 года король Генрих и королева Катерина выступили перед судом. Первым свои показания дал Генрих Восьмой. Он говорил о *"...муках совести, терзающих его из-за ложного брака, заключенного им по ошибке..."* - видимо, эта тема казалась ему выигрышной с точки зрения общественной морали.

Он даже сказал, что если бы закон Божий позволил ему оставаться в том браке, в котором он состоит, он не желал бы ничего лучшего. Но что же делать, если суровый закон не позволяет ему следовать искренним порывам его сердца?

В общем, все шло с его точки зрения как бы хорошо, пока он не сказал о том, что его мнение поддержано петицией, подписанной всеми прелатами Англии.

И вот тут последовало возражение - епископ Джон Фишер заявил, что документа не подписывал, а его имя было использовано без позволения. Король, видимо, оторопел, и не нашел ничего лучшего, как сказать, что все говорят в его пользу, а епископ Фишер – *"всего лишь один человек"* - *"you are but one man"*.

Когда трибунал вызвал королеву, она не стала ничего говорить судьям, а совершенно неожиданно обратилась прямо к Генриху. Она встала перед ним на колени и сказала ему следующее:

"...Сэр, я умоляю Вас, ради любви что однажды была между нами, сжалиться надо мной и даровать мне правосудие, ибо я лишь бедная женщина, иностранка, рожденная вне ваших владений. Здесь у меня нет ни друзей, ни советников. Я могу обратиться лишь к Вам, гаранту правосудия в Вашем королевстве. Господь и весь мир тому свидетель, я была Вам верной и преданной женой... (...) Любила всех, кого любили вы, была на то причина или нет, ради вашего блага, были ли то мои друзья или враги..."

Она еще поклялась в том, что досталась королю Генриху девственницей - одним из возражений, которые он приводил в пользу аннулирования их брака было то, что *"...Господь не позволяет ему коснуться тела женщины, которая однажды была познана его братом..."*

А потом она встала и ушла. И король ей ничего не ответил. На этом, собственно, суд и кончился. Два месяца публичного, на глазах у всего королевства перетряхивания грязного белья ничего не дали. В июле 1529 года кардинал Кампеджио на последнем заседании объявил, что проблема чересчур серьезна, и ее расследовать следует в Риме.

Дело провалилось. И в провале его леди Анна обвинила кардинал Уолси.



Игорь Фунт

Искатель истины

Повесть-размышление вслух, в новеллах



2011 году мир отмечал 100-летие со дня смерти В.А.Серова. Это еще один повод вдуматься в судьбу художника, взглянуть в его незабываемые полотна.

Каждый портрет кисти Серова с такой точностью высвечивает личность его модели, что в нём можно увидеть прошлое, поразиться настоящему и даже предвидеть будущее; недаром современники даже опасались Серову позировать. «Портрет Серова» – этим сказано всё! – вот мнение современников: мастеру удавалось найти такие штрихи, детали, черты, которые обычно ускользают от поверхностного взгляда, но неизменно видимы глазу проницательного художника, и передавал он их с поражающей точностью и определенностью.

Вся жизнь Серова – поиски правды, истины; вспоминаются слова К. Коровина: «Может быть, в нём жил не столько художник, как ни велик он был, – сколько искатель истины».

...Чем больше я смотрю на произведения Серова, тем больше убеждаюсь, что прямота и честность, серьёзность и искренность были главными особенностями Серова как художника: он никогда не лгал ни себе, ни другим – и в жизни, и в искусстве. Не оттого ли его полотна производят впечатление какого-то волшебного раскрытия человеческой души? «Источник строгой, чистой правды жил в душе этого мастера, правдиво и чисто было его творчество. Серовская художественная правда глубже внешней, кажущейся. Он был наделён даром видеть и в людях, и в природе те скрытые характерные черты, которые одни делают правдивую в внутреннем смысле картину» (Ф. Комиссаржевский).

«Серов – наша гордость, наша слава, первый художник-живописец, один из лучших мастеров наших дней. Серова никогда не забудет Россия до тех пор, пока в нашей стране будет жив хотя один художник» (Нилус). И просто любитель живописи, скромно

добавлю я.

...Медленно иду по залу. Мимо «Грозного» Виктора Михайловича Васнецова, его «Алёнушки», мимо картонов с росписями для Владимирского собора в Киеве, у-ух! Рерихи, отец, сын, их немного, но всё равно любопытно увидеть оригиналы, побывать на высотах духа и мысли великих искусников, лицезреть-изведать их Бога-Человека. В памяти всплывают строки из древней поэзии:

Если вы хотите Бога увидеть глаза в глаза –
С зеркала души смахните муть смиренья, пыль молвы.
Тогда, Руми подобно, истиною озаряясь,
В зеркало себя узрите: ведь всевышний – это вы.

И всё же... Простите, но, как ни крути, значительней и важнее для меня являются произведения Валентина Александровича Серова. Замер... Вот они – «Верушка Мамонтова», «Девочка с персиками», «Маша Симонович», «Девушка, освещённая солнцем». А там, дальше, портреты Коровина, Морозова, Юсуповой, Шаляпина. Сотни раз мы, заскоруждые провинциалы, видели их репродукции в альбомах, книгах, и вот, наконец, оригиналы! – живопись, графика, и самые-самые известные, и те, которые не выставлялись в советское время, всего около трехсот работ.

Это случилось, «упало с неба» в девяностом, когда, помните? – стране вообще ни до чего не было дела, но добрые люди смогли-таки разместить экспозицию к 125-летию со дня рождения Серова, пусть не в Третьяковке, рядом – в Инженерном корпусе. Там, за окнами выставки, великая страна шумно, пьяно улетала в счастливое, прекрасное наверняка, далеко... Походил, успокоился (ну их! – суетные кривлянья) и начал неторопливо разглядывать-разгадывать, сравнивать, вспоминать, анализировать. Хм, и так до сих пор, уж двадцать лет.

Неразрешимая загадка

Л. Андреев признавался: «Я не сумел бы описать Серова. Описал бы Горького, Шаляпина, любого писателя – Серов невыполним для беллетристического задания! Весь он был для меня неразрешимой загадкой, неразъясненной и влекущей к себе. Я чувствовал в нём тайну и не находил слов, чтобы разгадать эту тайну». – О какой тайне говорил писатель? Понятно, речь идет о тайне творчества, о серовских произведениях. В чём же их тайна? Как мне захотелось ее разгадать!

Не подумайте, ради бога, что я воображаю себя умнее Л.

Андреева и сумею-таки найти те слова, которые он не находил. Но почему бы не попробовать, не высказать догадки, предположения? Ежели меня занесёт, вы скажете мне об этом, а когда буду приближаться к истине (ну не смейтесь... как бы приближаться!) и что-то станет более ясным, вместе порадуюсь.

А портрет был замечателен!

Этой женщине я благодарен за всё, если можно так выразиться по прошествии века с той давности: за то, что она была дружна с Серовым, позировала ему, вспоминала его, без сомнений, любила его как двоюродного брата, уважала как великого художника. Разглядываю её: очаровательная молодая барышня с милым русским личиком, огромными доверчивыми глазами, смотрит прямо на зрителя. Не удивительно, что Серов решил написать портрет этой девушки: он восхищался её красотой, умом, добротой. Как сложилась ее судьба?

Знаете, она прожила долгую жизнь. Вместе с мужем оказалась вдали от России, во Франции, пережила годы фашистского нашествия, разлуку с родными. Даже в старости её узнавали – по портрету, да-да! – тому самому знаменитому серовскому портрету – «Девушка, освещённая солнцем». Ведь на нём изображена она, Мария Яковлевна Симонович.

...Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлечлись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Ближе всех сестёр была к Серову Маша: почти одногодки, они дружили, переписывались; мать Серова, когда возникали трудности в отношениях с сыном, просила именно Машу поговорить с Антошей («Помоги ему выбраться из невольной хандры, поговори с Тошей»). Летом 1888 г. Серов снова приехал в Домотканово, тверскую усадьбу своего друга В.Д. Дервиза, где отдыхали и сестры Симонович.

«Однажды Серов искал себе работу и предложил мне позировать, – вспоминала Мария Яковлевна в 1937 году. – После долгих поисков в саду, наконец, остановились под деревом, где солнце скользило по лицу через листву. Задача была трудная и интересная для художника – добиться сходства и вместе с тем игры солнца на лице. Помнится, Серов взял полотно, на котором было уже что-то начато, не то чей-то заброшенный портрет, не то

какой-то пейзаж, перевернув его вниз головой, другого полотна под рукой не оказалось.

– Тут будем писать, – сказал он.

Сеансы происходили по утрам и после обеда – по целым дням, я с удовольствием позировала знаменитому художнику, каким мы его тогда считали, правда, ещё не признанному в обществе, но давно уже признанному у нас в семье. Мы работали запоем, оба одинаково увлекаясь, он – удачным писанием, я – важностью своего назначения.

– Писаться! – раздавался его голос в саду, откуда он меня звал. Усаживая с наибольшей точностью на скамье под деревом, он руководил мною в постановке головы, никогда ничего не произнося, а только показывая рукой в воздухе. Вообще, он никогда ничего не говорил. Мы оба чувствовали, что разговор или даже произнесённое какое-нибудь слово уже не только меняет выражение лица, но перемещает его в пространстве и выбивает нас обоих из того созидательного настроения».

Серов работал увлечённо, хотел уловить и запечатлеть характер модели, настроение: и трепет листвы, и перебегающие по лицу и фигуре девушки солнечные пятна, блики, и сам прозрачный воздух. Однажды Маша не смогла позировать, когда Серов работал над портретом. Мимо пробегала Аделаида – Серов окликнул её: «Ляля, посиди в тени». – Она весело села на Машино место, он начал писать. Но у Ляли был тогда флюс, тень получалась неверная, и Антоша прогнал её. Думаю, не из-за флюса скорее, а из-за её слишком уж весёлого настроения.

...«Дорожка в саду, где мы устроились, – продолжает свой рассказ Мария Яковлевна, – вела к усадьбе, и многие посетители, направляясь к дому, останавливались, смотрели, иногда высказывали своё мнение о сходстве. Серов всегда выслушивал всё, что ему говорили о его живописи, подвергал высказанное мнение строгому анализу, иногда ограничиваясь одной улыбкой, или посылая острое словцо в адрес удаляющегося критика. Часто такие посетители жестоко действовали на него, и он говорил с унынием: «Ведь вот, поди же, знаю, что он ничего не смыслит в живописи, а умеет сказать, что хоть бросай всё, всю охоту к работе отобьёт!» Он не боялся ни соскоблить, ни стереть ту свою живопись, которая его не удовлетворила, и тогда часть лица и рук шла насмарку: он терпеливо и упорно доискивался своего живописного идеала».

Шли дни, месяцы – Серов продолжал работать почти без перерыва, сеансы откладывались только из-за плохой погоды. В эти ненастные дни он писал пруд в Домотканове, а Маша, добрая

душа, стояла рядом и отгоняла комаров, которых было великое множество у пруда, они, сволочи, не давали художнику работать.

Три месяца усердствовал Серов над картиной. И, наверное, ещё бы продолжал, но Маше пора было ехать в Петербург, в школу Штиглица, где она занималась скульптурой. Серов на прощание подарил своей натурщице три рубля, больше не мог (увы, его всю жизнь мучило безденежье!). Но Маше и эти деньгигодились.

Валентину Александровичу всё казалось, что работа над портретом не окончена, что нужно ещё что-то дописать, исправить. А портрет был замечателен! Таким очарованием юности, красоты, чистоты душевной веяло от лица Маши, столько ожидания счастья было в её глазах! Что предстоит ей в жизни, будет ли она счастливой? Почему-то очень хочется, чтобы судьба её сложилась хорошо, чтобы ей всегда светило солнце, ласкали лучи, вот как на портрете.

Он впервые выставлен Серовым на 8-й периодической выставке Московского общества любителей художеств в 1888 году. Говорили, П.М. Третьяков долго, словно в забытьи, стоял перед серовским полотном... и приобрел его ещё до открытия выставки. «Дивная вещь, одна из лучших во всей Третьяковской галерее. До такой степени совершенна, так свежа, нова», — восхищался «Девушкой, освещенной солнцем» И. Грабарь.

Были и оценки странные: художник пренебрегает «формой рук, торса, через что выходит у него портрет полнолицей девушки — с короткими и сухими руками, не имеющими ни округлости, а также ни мяса, ни кости» — таким было мнение одного критика, чья фамилия сейчас вряд ли кому интересна.

Другой (В.Е.Маковский) изволил шутить: «Кто это стал прививать к галерее Павла Михайловича сифилис? Как это можно назвать иначе появление в его галерее такой, с позволения сказать, картины, как портрет девицы, освещённой солнцем? Это же не живопись! И кто это за любитель нашёлся прививать эту болезнь Павлу Михайловичу?!»

«Портрет представляет смелую попытку художника перенести на полотно все разнообразные рефлексы и тона, падающие на фигуру девушки при солнечном освещении леса, — пробует разобраться в своем впечатлении от серовской работы третий критик, — этого хроматического эффекта и добивался художник, оставляя в стороне самую фигуру; впечатление получается оригинальное, непривычное, но мы всё-таки чувствуем, чего добивался художник».

Время, неумолимое время показало, что создание Серова —

одно из лучших явлений в русском искусстве! Понимал ли это сам художник? Думаю, да. Незадолго до кончины он сказал о своей картине: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уже не вышло: тут весь выдохся». – Серов здесь слишком самокритичен: он создал ещё немало шедевров.

И всё же «Девушка, освещённая солнцем» стоит на особом месте в истории русского искусства! Мне кажется, именно в этом портрете проявилось то, что станет главным в эстетике Серова, – его идеал прекрасного: гармония душевной и телесной красоты, естественность, доброта человека. Они и рождали в художнике светлые поэтические чувства, радость, душевную приподнятость, которые передаются зрителю и очаровывают его, делая навсегда серовским пленником.

...В одном из писем сестре Нине Мария Яковлевна рассказала такой случай. Как-то пришел к ним знакомый, инженер, тоже русский, стал играть в шахматы с Соломоном Константиновичем, мужем Марии Яковлевны. Гость всё время поглядывал на русский календарь, висевший на стене. На нём была помещена серовская «Девушка, освещённая солнцем».

Придя во второй раз, сосед спросил:

– Мне это напоминает тот портрет, который я тридцать лет тому назад видел в Москве. Чей это портрет?

– Моей жены Марии Яковлевны, – ответил Соломон Константинович.

Гость крайне удивился.

– Я очень изменилась? – спросила Мария Яковлевна.

Их соотечественник ответил:

– Глаза те же. – После этих слов он весело погрузнел.

Представляете... Оказывается, женщина на этом портрете была его первой любовью. Он ходил чуть ли не каждый день в Третьяковку, любовался серовской «Девушкой». И вот теперь, в далекой Франции, в деревне, вдруг встретил ту, которую любил, любил безумно, безотчетно!

Уходя, он сказал:

– Я... я... – Собрался с духом: – Благодарю, благодарю вас за глаза!

Марии Яковлевне было тогда 72 года.

Поиски «ничто»

Критик Голушев как-то сказал Серову:

– Я свой портрет вам, пожалуй бы, не заказал.

Серов засмеялся и спросил:

– Почему?

– Да вы, пожалуй, сделали бы такое открытие в моей фигуре, до которого я и сам не доходил, и показали бы меня с такой стороны, что мне после этого и показываться в публику было совестно.

– Да-с... что ж делать? – ответил Серов. – Меня ужасно интересует это нечто, глубоко запрятанное в человеке.

Поиск этого «нечто», глубоко запрятанного в человеке, в природе, обществе, – это и был поиск истины, сущности, и к этому всю жизнь стремился В.А.Серов.

Ненаглядный Мика

Однажды Валентин Александрович пришёл в гости к М.А.Морозову, миллионеру, крупнейшему московскому коллекционеру. Во время их беседы в комнату шумно вбежал сын Михаила Абрамовича Мика, прелестный игривый мальчуган. Он так доверчиво подошёл к Серову, так трогательно, пристально вглядываясь в глаза, говорил с ним, что Серов воскликнул:

– Я напишу Мику!

В следующий раз, к приезду Серова, в гостиной поставили детское креслице, Мика уселся в него, Серов расположился рядом и начал писать. Работал и вспоминал-рассказывал малышу сказки: про Бову-королевича, Илью Муромца, Руслана и Людмилу. Мика слушал, широко раскрыв чудные глазки, и сам начинал пересказывать дяде-художнику то, что слышал от няни, от папа и мама. Потом они смеялись друг над другом, потешаясь, отдыхая, Мика нарезал пару кругов по большому залу, затем вновь принимались за работу.

Кажется, портрет получился, считал Серов. Супруги Морозовы не могли налюбоваться на своего ненаглядного Мику! Мика Морозов, Михаил Михайлович Морозов, стал крупнейшим советским театральным деятелем, шекспироведом, профессором.

«Мой несравненный друг»

Не будь Федора Ивановича Шаляпина, многие будущие знаменитые певцы вовсе бы не увлеклись пением. Шаляпин многим открыл глаза на красоту русской музыки, народной песни. Нам дорога каждая мысль, слово, грамзапись Шаляпина. Каждая его фотография, его портреты; многие художники писали великого артиста: Репин, К. Коровин, Кустодиев, Головин, А. Исупов и др. Писал Шаляпина и Серов...

Однажды Серов с товарищем ехал на извозчике. Вдруг загремел на всю улицу такой знакомый красавец-бас: «Анто-о-он!» – Не узнать его было невозможно! Но Серов не обернулся, не

откликнулся, с тоскою сжавшись, проехал мимо. Только через несколько минут проговорил тихо, с болью: «Шаяпин». Он порвал с ним, резко, непримиримо, хотя любил... любил и обожал как человека, артиста.

...Они познакомились в 1897 году в Мамонтовском театре. Шаяпин увидел замечательные серовские декорации, костюмы к спектаклям. Увлёкся серовской манерой метко схватывать куски жизни, небольшим количеством слов и двумя-тремя жестами дать точное и полное понятие о человеке, форме и содержании произведения искусства.

Обратил внимание на молодого певца и Серов. Прослушав в его исполнении какую-нибудь партию, арию, он спрашивал: «Ты понимаешь, что поёшь?» – Это заставляло Шаяпина думать о характере роли, о её сценической интерпретации. Он старался и в жизни, и на сцене быть выразительным, пластичным, как Серов: так Шаяпин проходил школу вокального и сценического искусства. И вскоре он становится выдающимся артистом, певцом, покорявшим зрителей и красотой голоса, и сценическим мастерством. И роль Серова в этом весьма велика.

Серов и Шаяпин были очень дружны. «Мой несравненный друг» – называл художника певец, вспоминал, как часто он и Серов блуждали по невысоким заснеженным московским улицам, часами беседовали о театре, живописи: «Сколько было пережито мною хорошего в обществе Серова!»

«Дорогой Антось – пишет артист, вернувшись с гастролей. – Сделай нерукотворное счастье – прибудь ко мне. Очень соскучился по тебе». – И художник мчался к другу, чтобы послушать его пение, поговорить по душам. «Валентин Серов казался суровым, угрюмым и молчаливым. Вы бы подумали, глядя на него, что ему неохота разговаривать с людьми, – вспоминал Шаяпин. – Да, пожалуй, с виду он такой. Но посмотрели бы вы этого удивительного «сухого» человека, когда он с Константином Коровиным и со мною в деревне отправлялся на рыбную ловлю: какой это сердечный весельчак и как значительно-остроумно каждое его замечание». Таким Серова знали только самые дорогие ему люди.

Валентин Александрович любил писать Шаяпина: сохранилось двадцать работ-портретов, зарисовки, эскизы костюмов и грима для Шаяпина в роли Олоферна и Варяжского гостя. Среди них лучший – портрет Шаяпина, выполненный углём в 1905 г.

Дочь певца И.Ф. Шаяпина вспоминает: «В большом зале, где стоял рояль и где работал отец, Валентин Александрович

Серов написал его портрет углём. В этом портрете Серов замечательно передал непосредственность и русскую широту Шаляпина. Отец охотно позировал Валентину Александровичу, а в перерывах, когда они отдыхали, моя мать угощала их чаем».

...Вот он, этот портрет! Мимо него не пройдешь равнодушно: это выдающееся произведение русского искусства! Шаляпин изображен во весь рост, он полон вдохновения, сил, энергии, он словно поёт громовую «Дубинушку». Прав был Фёдор Иванович: каждый серовский «портрет – почти биография». И в шаляпинском портрете можно прочесть всю его жизнь.

Шаляпин – человек из народа, такого же могучего, сильного, талантливого. Много досталось ему, походил он по жизни своими ногами, видел трудную жизнь людей, «тяжёлая лапа жизни поцарапала ему шкуру» (Горький). На этого с виду грубоватого, неприступного, много повидавшего человека «откуда-то сверху пролилось дивное дарование» (Голоушев), и талант этот не дал ему пропасть, затеряться. Он «вышел в люди», он высоко поднялся, завоевал вершины искусства.

Портрет Шаляпина был впервые выставлен Серовым в 1906 году на выставках «Союза русских художников» в Москве и «Мира искусства» в Петербурге. Портрет был принят публикой и прессой восторженно! «Великолепный Шаляпин Серова, ещё раз доказывающий всю мощь художника-портретиста, подчеркнувшего во всей фигуре артиста черты гениальной характеристики таланта-самородка», – писал один критик. «Изображенный Серовым Ф.И.Шаляпин стоит как живой. Рисунок безукоризнен. Сходство поразительное», – восхищается другой. Третий считает: «Серов дал в портрете то, что дало возможность Шаляпину сделаться великим художником – душу, большую душу большого артиста». Ещё одно интересное мнение: «Высокий, с выправкой денди, как будто бы с десятого поколения привыкший носить фрак – Шаляпин ни в ком из непосвящённых не вызвал бы сомнения в высокой аристократичности своего происхождения. Есть какая-то аристократическая тайна в этой способности соборного певчего из крестьян превратиться в европейца».

...И вдруг меж Шаляпиным и Серовым произошёл разрыв. В 1911 году артист стал невольным участником верноподданнической демонстрации хора Мариинского театра во время представления оперы «Борис Годунов», на котором присутствовал Николай II. Хористы встали на колени и запели гимн «Боже, царя храни»; вынужден был присесть и Шаляпин, чтобы не торчать колом (при его-то росте!) на сцене. Газеты живо раздули скандал: вот, мол, Шаляпин, во главе хора, стоял на

колених, пел.

Бескомпромиссный Серов жестоко осудил своего друга за коленопреклонение, написал ему письмо, скорбно сетовал: «Что это за горе, что даже и ты кончаешь карачками. Постыдился бы». Подобный же упрёк содержится и в послании Горького: «Если бы ты мог понять, как горько и позорно представить тебя, гения! – на колених перед мерзавцем».

А ведь и это, и это событие предвидел, предсказал Серов в своём портрете Шаляпина! Я снова и снова смотрю на него. Да, талантлив, могуч, красив. И в то же время есть в нём (особенно в лице) что-то двойственное, чувствуется многовековая смиренность народа, стеснительность что ли... долготерпимость, привычка к безмолвию («народ безмолвствует» Пушкина).

Мне кажется, Серов предсказал всю трагическую жизнь Шаляпина: предстоящее в недалёком будущем расставание с родиной, блуждание по далёким странам, шумную славу, известность, богатство, неизлечимую болезнь, страстное желание вернуться в Россию, смерть на чужбине... Ошибаюсь?

Прекратились встречи Серова и Шаляпина, переписка. Напрасно Шаляпин искал возможность объясниться – Серов избегал его. Помирились ли они? И.Ф. Шаляпина, дочь певца, утверждает, что да. Но доказательств нет. А вскоре Серова не стало. «Как ужасно огорчила меня смерть Валентина Александровича Серова, – с тоской пишет Фёдор Иванович дочери. – Какой чудный это был человек, удивительный художник».

Согласимся с критиком: «В истории русского портрета серовский портрет Шаляпина всегда будет знаменовать расцвет искусства, а образ Шаляпина сохранится на вечные времена». Хотя сам Серов был недоволен портретом: «Это только часть Шаляпина, а я задумал дать его всего!» (Свидетельство Грабаря.) Собирался писать портрет Шаляпина заново. Не успел.

Кстати, был один нюансик на радость злорадствующим критикам...

«Волшебная ошибка»

Одному приятелю Валентин Александрович то ли в шутку, то ли в серьёз советовал: в картине надо обязательно «что-то подчеркнуть, что-то выбросить, не договорить, а где-то ошибиться: без ошибки – такая пакость, что глядеть тошно».

Придирчивые критики не раз указывали на ошибку Серова в портрете Шаляпина: у него слишком длинная правая нога! Серов, конечно, видел это, но переписывать не стал: «волшебная

ошибка» (Мейерхольд) подчеркнула монументальность, могучесть Шаляпина! ...Несмотря ни на что, лучшего, любимого друга Валентина Александровича.

«Предчувствие трагедии»

...Он был очень богат, миллионер. Совладелец известной тверской мануфактуры. Скуп, любил деньги, драл копеечку со своих рабочих, как дерут лыко с дерева, – нещадно. На улучшение условий жизни трудяг не желал тратиться вовсе, был против строительства новых общежитий, возражал против театра, чайной для рабочих, отказывал в грошовых пособиях. Не раз на его мануфактуре происходили волнения, жестоко подавленные войсками. Когда он проезжал в экипаже по Твери, вслед ему неслось: «Кровопийца! Смотри, подавишься нашей кровью!»

Он был транжира и мот. На званые обеды и ужины, на «лукулловы пиры» в ресторанах деньги валил без счёта. Однажды проиграл в карты в Английском клубе табачнику фабриканту Бостанжолго более двух миллионов рублей. Переживал, мучился? Ничуть. Уехал домой, выспался хорошенько, утром встал и поскакал по своим делам, к вечеру намереваясь отыграться.

Любил поесть и выпить. Обедал по-русски, с размахом, с цыганами, песнями – половые бегали как ошпаренные, меняя посуду, блюда, вина. Любил посмеяться, подурачиться. Его грубоватые, смачные шутки об актрисах столичных театров широко ходили по Москве.

Журналист, сотрудничал в газетах и журналах (псевдоним Михаил Юрьев или М.Ю.). Критик – озорник, ругатель. От него доставалось правительству, земству, людям искусства. Так он «долбил» Серова (в передаче художника Переплетчикова): «Вот, например, Серов. Разве его первые портреты можно сравнивать с последними? Разве он написал что-нибудь лучше «Верушки Мамонтовой»? А почему? Теперь он известность, он боится написать скверно, эта боязнь сковывает его». – Лихой автор не стеснялся и чужие мысли выдавать за свои, что-то от кого-то краем уха услышит и шпарит: «Если повесить со старыми мастерами Сомова, Бенуа или Серова, то едва ли эти художники выдержат».

По образованию историк, он был приват-доцентом Московского университета, автором монографии «Карл V и его время», «Спорные вопросы в западноевропейской исторической науке». Его роман «В потёмках» по решению комитета министров приговорен к уничтожению.

Страстный коллекционер: увлекался русской и французской живописью новейшего времени. «Относился к своей

задаче коллекционера с большой любовью и тонким чутьем» (С.Дягилев). В его коллекции было 83 произведения, в том числе полотна В.М. и А.М.Васнецовых, Врубеля, Головина, К. и С.Коровиных, Левитана, Сурикова, Серова. Из французских живописцев – Ван Гог, Гоген, Дега, Э.Мане, К.Моне, Ренуар, Тулуз-Лотрек (коллекция была впоследствии подарена его женой Третьяковке). Он любил заниматься общественными делами, слыл за честнейшего человека, даже был назначен казначеем Московской консерватории. Догадались?

...Михаил Абрамович Морозов стоял перед Серовым в 1902 году, стоял в одной из комнат своего особняка, и Валентин Александрович писал его портрет. Знал ли всё Серов о Морозове? Наверное, знал. А о чём не знал, догадывался: интуиция у него была незаурядная.

Они были знакомы уже десять лет после той выставки, где экспонировалась картина Серова «Осень. Домотканово». Михаил Абрамович тогда всех коллекционеров опередил, прилетел прямо домой к Серову, уговорил его продать картину, деньги немалые дал. И Серов уступил, хотя картина эта была дорога ему: изобразил он скошенное поле, дальний лес, одинокую женскую фигуру. Писал в милом его сердцу Домотканово, где писал «Девушку, освещённую солнцем», «Заросший пруд», портрет жены «Лето», Надю и Лялю Симонович, своего друга В.Д.Дервиза, хозяина домоткановского дома.

Серов и Морозов часто встречались – на выставках, в театре, не раз обедали вместе. Морозов очень уважительно относился к художнику. Предложил написать свой портрет. Мастер согласился. Но прошло ещё несколько месяцев, прежде чем он стал работать над портретом. Он приходил к Морозовым, обедал, ужинал у них. Ходил по комнатам, разглядывал коллекцию картин хозяина. Иногда в беседе с ним доставал блокнот, делал наброски. Уже и Маргарита Кирилловна, жена Морозова, удивляться начала: «Ходит и ходит, чай пьёт, а работать не работает».

В один день, после сытного обеда, Михаил Абрамович повёл гостя в свою галерею, рассказывал где, у кого и за сколько купил ту или иную картину. Был он в сюртуке, с трудом застёгивавшемся на животе, сверкали его глаза за стеклами пенсне – любил миллионер поговорить об искусстве, о художниках, покритиковать тех, похвалить других.

– Вот так и буду вас писать, – вдруг сказал Серов. Быстро набросал рисунок на листке: Морозов, широко расставив ноги, стоит, крепкий, кряжистый, полный энергии.

Разглядываю огромный портрет Морозова. Он во всём

великолепии своего могущества, властолюбия, жизнелюбия. От него так и пышет здоровьем, силой, умом. Серов написал Морозова во весь рост, он глядит на зрителя сверху, он словно говорит: «Ну, кто меня сильнее, богаче? Кто меня удержит в моих делах, желаниях? Знаю, никто!» – Стоит крепко, как могучее дерево, словно вращая в землю. Вот он, хозяин жизни, владелец фабрик, заводов, картин, презирающего капитала!

У него голова мыслителя, учёного. Умные, пронизательные, всё понимающие глаза за стеклышками пенсне, сократовский лоб, борода и усы под Чехова. И громадное, мощное туловище Гаргантюа! Из сопоставления – чрезмерно большое туловище и небольшая голова – возникает впечатление противоречивости, неестественности всего облика Морозова, ощущение, точнее, предчувствие чего-то страшного. Оно усиливается контрастом с изящной статуэткой, стоящей на полке за спиной Морозова.

И ещё, заметьте, портрет написан в тёмных тонах (сюртук, брюки, туфли, пол, стены). Лишь белым пятном выделяются некоторые детали. Этот чёрный цвет как будто нагнетает трагедию, которая вот-вот произойдёт.

Портрет М.А. Морозова вызвал разноречивые отзывы: кому-то он нравился, кто-то смеялся над ним, говоря, что Серов изобразил «чудовище», «монстра», «современного Молоха», не пощадил модели, написал чересчур правдиво, окарикатурил её. Писали о «кругленьком, весёленьком, красненьком, бодреньком Морозове» (Стасов) – и только. Морозов заплатил за портрет тысячу рублей. Мог бы и больше. Ну да он не привык со своими церемониться.

Когда друзья спрашивали об этом портрете самого Серова, он молчал, замыкался в себе. Будто что-то его беспокоило, грызло. Что же? Через год М.А. Морозов умер.
Разорванная акварель

Одна из лучших, пожалуй, самая «личная», взволнованная работа Серова – «Портрет Г.Л. Гиршман!»! Красивая, изящная женщина повернулась лицом к зрителю, вся она – молодость, очарование, воплощенная женственность. Изумителен цвет картины – серые, коричневые, красноватые тона играют-переливаются. Стройность фигуры модели подчёркивают флаконы на туалетном столике, изогнутые формы рамы зеркала.

Чего только не говорили критики об этом произведении, об изображенной женщине: «красавица-кокетка», «красавица в золотой клетке», «аристократка, лишённая души и внутреннего богатства», «картина Серова сатирически обрисовывает правящий

класс». И всё невпопад!

Генриетта Леопольдовна Гиршман была необыкновенной женщиной. Её называли первой красавицей Петербурга и Москвы. Ею восхищались Горький, Брюсов, Шаляпин, Станиславский, Качалов, Добужинский, Сомов. «Замечательно милая женщина Генриетта Леопольдовна; чем больше её видишь, тем больше её ценишь; простая, правдивая, доброжелательная, не гордая, – восхищался Гиршман художник К.А.Сомов. – При её красоте совсем не занята собой, никогда о себе не говорит. Но, по-моему, она несчастлива».

К.С.Станиславский написал в альбом Генриетте Леопольдовне: «Ваша роль в русском искусстве значительна. Для того чтобы процветало искусство, нужны не только художники, но и меценаты. Вы с мужем взяли на себя эту трудную роль и несли её много лет, талантливо и умно. Спасибо вам обоим. История скажет о Вас то, чего не сумели сказать современники. Пусть сознание исполненного красивого дела облегчает Вам посланное всем нам испытание. Душевно преданный и любящий Вас К.Станиславский».

А В.И.Качалов в честь Генриетты Леопольдовны «разразился» стихами:

Вам, Генриетта, милый наш КАЭС
О «меценатской» Вашей пишет роли...
А я, давно влюблённый в Вас балбес,
Прошу любить меня легко, без боли,
Как буду радостно любить я Вас,
Пока не стукнет мой последний час.
(КАЭС – так актеры называли К.С. Станиславского.)

В 1904 году супруги Гиршман познакомились с В.А.Серовым. Муж Генриетты Леопольдовны заказал художнику портрет жены. Серов в первый раз пришел в дом супругов Гиршман, недалеко от Красных ворот. «Я была очень молода, застенчива, разговор был общего характера, касался живописи, искусства, художественных интересов, – вспоминала Генриетта Леопольдовна. – Валентин Александрович зарисовывал, приглядывался, и я стала к нему привыкать».

Серову очень понравилась эта умная, образованная, простая и скромная женщина, симпатичная, без замашек богатых выскочек, и он приходил к новым знакомым почти каждый день. В одну из встреч Генриетта Леопольдовна рассказала о себе. Родилась она в Петербурге. Мать её была пианисткой, отец – торговец, человек большой культуры. В их доме бывали скрипач

Ауэр, виолончелист Вержбилович, певец Каминский. Родители собирали картины русских художников. Генриетта Леопольдовна училась игре на фортепьяно, пению, языкам, готовилась стать оперной певицей. Увлекалась живописью и занималась в студии О.Э.Браза.

В 1903 году она вышла замуж за Владимира Осиповича Гиршмана. Старше её на 18 лет, он слыл интереснейшим человеком: его отличала редкая любовь ко всем видам искусства – к живописи, ремёслам, старине. Он собрал уникальную коллекцию произведений русских художников, старинной мебели, ковров, серебра, стекла, табакерок. На неё были потрачены огромные деньги. Владимир Осипович составил прекрасную библиотеку, знал несколько языков, очень много читал.

Жену свою Владимир Осипович любил нежной, преданной любовью, предоставил ей возможность совершенствоваться в искусстве, и после замужества Генриетта Леопольдовна продолжала учиться живописи (у Архипова и Юнга), игре на фортепьяно (у композитора А.Н.Корещенко), пению (у А.И.Книппер, профессора Московской консерватории).

...Работа над портретом Генриетты Леопольдовны затянулась на год: у неё родилась дочь, ей пришлось прервать позирование. Этим портретом Серов не был доволен. Закончив портрет в рисунке, он стал переводить его на холст, а картон с акварелью порвал и бросил в незажженный камин. Рисунок очень нравился Генриетте Леопольдовне, и когда Серов ушёл, Владимир Осипович достал куски картона, спрятал их. Позже, в Париже, он отдал акварель в реставрацию. Восстановленный серовский портрет Генриетты Леопольдовны висел в дальней комнате гиршмановского дома, его никому не показывали, не давали на выставки.

Дружба художника с этими славными людьми крепла. Летом он приезжал в их имение, «был очаровательным гостем», любил продолжительные прогулки, катанье на лодках и на тройках, езду верхом, стрельбу в цель (в этом Генриетта Леопольдовна составляла ему конкуренцию). Серов начал работать над другим портретом Генриетты. Он видел, как расцвела, похорошела она, стала увереннее в себе. Проявились её творческие интересы: она сближается с московскими музыкальными кругами, с художественным театром, помогает мужу в покупке картин; совместно с С.П. Дягилевым Гиршманы организуют выставку произведений русских художников в Париже. В 1906 году Гиршманы были избраны почетными пожизненными членами парижского Салона.

Серов пишет Генриетту Леопольдовну на фоне зеркала, у туалетного столика, в чёрном платье с белым горностаем на плечах. И себя изобразил – его фигура видна в зеркале, он словно приобщается к духовной жизни этой прекрасной женщины. Впервые портрет был экспонирован на выставке «Союза русских художников» в 1907 году, отзывы были самые разные.

«Портрет поразителен по живописи» (Мейстер). «Целое событие в художественном мире этот портрет... здесь столько свежести, столько мощи! Такие блестящие краски!» (Брешко-Брешковский). «Всё виртуозно, начиная от схематичной цветовой гаммы до малейших деталей. Здесь искусство высокой техничности» (Милиоти). «Портрет не принадлежит к числу удачных серовских портретов... Он (Серов) так нехорошо написал лицо, что кажется, будто с освещённой левой щеки и верхней губы только что сбрита прекрасная борода и усы» (Кравченко). Некий критик возмущался, что модель стоит в позе «еврейского танцора», другой не заметил ничего хорошего в картине, только «прелестный красноватый флакон на туалете». Эти отзывы доходили до Генриетты Леопольдовны, она лишь пожимала плечами, посмеивалась над своей «бритостью», очень любила свой портрет.

В 1910 году её постигло большое горе – умерла дочь. Несчастье потрясло бедную женщину, она потеряла голос. Серов как мог, успокаивал её и, наверное, желая отвлечь от грустных мыслей, предложил Генриетте Леопольдовне снова позировать. Сам выбрал ей платье, синий тюрбан, необычную позу, набросал углем овал. Называя свой портрет «коронным», шутил: «Чем я не Рафаэль, чем вы не Мадонна». Но закончить не успел. Однажды Генриетте Леопольдовне позвонил сын художника и сказал:

– Папа не может придти сегодня, так как он умер.

«Не стало близкого, дорогого друга, замечательного художника и прекрасного человека. Ему было всего 46 лет. Сколько было планов, столько возможностей впереди. Но судьба решила иначе», – с болью вспоминала Генриетта Леопольдовна.

После революции, в 20-х годах, Гишманы уехали во Францию, жили в Париже, где Владимир Осипович содержал художественный салон. Генриетте Леопольдовне суждена была долгая жизнь, она пережила Серова на 59 лет, мужа – на 34 года. В глубокой старости сохранила обаяние своей личности, светлый ум. Жила прошлым, среди картин Бенуа, Сомова, Юона, Малявина, Л. Пастернака, Серебряковой, Серова.

Вспоминала своего незабвенного друга: «Говорят, Серов был человек угрюмый, молчаливый и нелюдимый. Это совсем неверно. Он скорее любил слушать, но угрюмым и нелюдимым его

назвать нельзя. С нами он никогда не был угрюм, часто смеялся, так как был смешлив и, по сути, был человеком скорее весёлым, чем мрачным. Кто-то сказал, что Серов не любил людей. Такой великий портретист не мог не любить свои модели! Шалапина он, например, обожал». На видном месте в её комнате до конца жизни висел тот серовский, разорванный им рисунок.

Признаюсь, мне очень по душе серовские портреты Г.Л.Гиршман. Великая благодарность художнику за то, что он запечатлел её с такой любовью и уважением. Низко кланяюсь памяти Генриетты Леопольдовны, сказочной её красоте, вдохновившей художника-поэта на создание лучших его произведений. И вот ещё что...

Мне раскрылась ещё одна черта эстетики Серова. В портретах Маши Симонович, Фёдора Шалапина, Г.Л.Гиршман, М.Н.Ермоловой проявилась великая любовь Серова к русскому человеку, богатому душой, умом, талантом. В этих портретах чувствуется личность Серова, его безграничная искренность, душевность, влюбленность в возвышенную красоту, человечность, аристократизм духа русских людей. Мою мысль подтверждает П.А.Нилус: «Он (Серов) владел секретом того, что является наиболее притягательным в художнике-портретисте. Он обладал удивительной способностью уловить в лице отражение внутреннего мира человека, самых сокровенных глубин души его и с большим мастерством передавал это в своих картинах, оживляя полотно и заставляя краски служить проводниками наблюдательности и таланта художника. Реализм Серова сочетается в нём с особой, ему лишь свойственной искренностью, которая всегда чувствуется в его произведениях».

Воплощение душевной доброты

В.Брюсов писал о «ясновидении» Серова: «Вглядываясь в лицо модели, он видел то, что было, что есть, и что будет с человеком». – Невероятно, правда? Но это так. Я убедился в этом на примере судьбы М.А.Морозова, и ещё более подчеркивают это удивительное свойство художника судьбы княгини Юсуповой, М.Н.Акимовой, Николая II, чьи портреты выполнил Серов.

...В этом портрете всё красиво: изображенная на нём женщина, её платье, картины на стене, даже её собачка. Всё дышит теплом, радостью, счастьем! Около портрета я заметил много девочек, должно быть, студенток. Смотрят зачарованно на княгиню Юсупову в великолепном платье, среди роскошной обстановки. А ведь если любую из этих милых девочек посадить в подобное платье, посадить на такой диван, – не хуже будет

выглядеть, подумалось мне. Выглядеть... Но станет ли умней, значительней?

Княгиня З.Н. Юсупова не только изумительно выглядела: она была незаурядной личностью. Она могла стать знаменитой артисткой, как М.Ф.Андреева или О.Л.Книппер-Чехова. К.С.Станиславский, увидев Зинаиду Николаевну на благотворительном спектакле в пьесе Ростана, на коленях упрасивал её бросить всё и вступить в труппу Художественного театра, посвятить себя искусству. «Она была не только умна, воспитана, артистична, но была также воплощением душевной доброты, – влюбленно пишет сын Зинаиды Николаевны Ф.Ф. Юсупов. – Никто не мог устоять перед её очарованием. Она была сама скромность и простота. Многие политические деятели ценили прозорливость моей матери и обоснованность её суждений. Она могла бы стать главой политического салона».

Если слова сына о матери кажутся пристрастными, то вот мнение о княгине Юсуповой человека, которому можно смело доверять, – блестящего русского офицера и дипломата А.А.Игнатьева: «Она была не столь красива, сколь прелестна с седеющими с ранних лет волосами, обрамляющими лицо, озарённое лучистыми серыми глазами, словом, она была такой, какой изображена на знаменитом портрете Серова».

Серов писал портрет Зинаиды Николаевны и других членов её семьи (мужа, сыновей) в Архангельском, имении Юсуповых. «Деликатность, простота в обращении и благожелательность моей матери способствовала большой её дружбе с художником» (Ф.Ф.Юсупов), и потому Серов чувствовал себя в Архангельском легко и свободно. Жене сообщал: «Славная княгиня, её все хвалят очень, да и правда, в ней есть что-то тонкое, хорошее».

Валентин Александрович, как всегда, работал неторопливо, сеансы были продолжительны, но Зинаида Николаевна не жаловалась. Правда, не без лукавства говаривала: «Я худела, полнела, вновь худела, пока исполнялся Серовым мой портрет, а ему всё мало, всё пишет и пишет!» – О Боже! Женщин веками заботили одни и те же незатейливые, трогательные мелочи, вдруг подумал я. Ведь и Серов мог думать о том же, глядя в прекрасные глаза, рисуя их, улыбаясь чему-то своему...

В перерывах художник беседовал с Зинаидой Николаевной, и это тоже доставляло ему огромное удовольствие: она много читала, любила петь, вдохновенно играла на фортепьяно произведения Вагнера, к которому был неравнодушен и Серов. Подружился художник с Ф.Ф.Юсуповым, искавшим достойный

путь в жизни. «Валентин Александрович, человек гуманный и убеждённый защитник всех неимущих, своими долгими и дружескими беседами словно «оформил» все мои сокровенные мысли и чувства, – вспоминал Юсупов. – Его передовые взгляды оказали влияние на развитие моего ума». Став наследником огромного юсуповского состояния, он раздавал крестьянам земли, создавал благотворительные учреждения. Через много-много лет он с благодарностью говорил о Серове: «Это был превосходный человек, и он оставил у меня самое дорогое и сильное впечатление».

Юсуповы восхищались портретом Зинаиды Николаевны, остались навсегда большими поклонниками таланта художника, часто говорили: «Помилуйте, какими деньгами можно оплатить такую художественную работу?!» Снова слово Ф.Ф.Юсупову: «Этот портрет я считаю самым лучшим из портретов, исполненных Серовым».

Зато как досталось портрету от критиков! В нём видели лишь «портрет модного туалета», «тоскующую птицу в золотой клетке». Каких только недостатков не находили критики в портрете! «Дисгармонию красок», «небрежные мазки», «вымученная поза», «фон кричит, а лицо выглядит безжизненно», «наскоро намеченное платье, неудачно подобранное».

Более прозорливые современники писали об этой серовской работе: «Одно из серьёзнейших произведений художника» (Грабарь), «произведение Серова прекрасно по психологии личности» (Михайлов), изображенная на портрете женщина – «нежная, изящная и утонченная» (Голоушев).

А что сам Валентин Александрович? Он был доволен этим портретом, радовался, что ему удалась улыбка Зинаиды Николаевны. Передав естественность, простоту, огромную душевную доброту Юсуповой, художник словно бы предсказал и ее будущую жизнь: она посвятила себя служению людям, помогала тем, кто нуждался в тёплом, добром слове.

После 1917 года Зинаида Николаевна эмигрировала в Италию, занималась общественной деятельностью: всемерно старалась помогать русским людям, оказавшимся за границей без средств к существованию. Организовала белошвейную мастерскую, в ней шили бельё для русских эмигрантов; открыла бесплатную столовую. Всю жизнь была щедрой меценаткой. Кстати, на её средства построен римский зал музея изящных искусств в Москве.

Художник и царь

Этот портрет пролежал в запасниках ГТГ свыше 70-ти лет. Кому-то было нужно скрывать его от нас, кому-то было необходимо, чтобы мы не знали всесторонне творчество Серова: кто-то был убежден, что это знание не пойдёт на пользу ни нам, ни ему. Хорошо, что ушло в безвозвратное прошлое время, когда такое было возможно. Итак, портрет императора Николая II. Возле него толпа, спорят, негодуют, размышляют. А подумать, действительно, есть о чём.

...Царский портрет. Это должно быть, по традиции, что-то внушительное, помпезное, огромное. А тут небольшой поясной портрет сидящего человека в простой одежде без всяких регалий, скорее провинциального капитана, словно сошедшего со страниц повести Куприна. И это государь?!

Известно, как непримиримо относился художник к царю, какие карикатуры на него рисовал, как навсегда разошелся с Шаляпиным, вставшим на колени перед самодержцем. И вот на тебе – какой портрет царя-батюшки написал. Где же истина? Разберемся-с...

Серов работал по заказам. В 1896 году получил выгодный заказ – написать портреты царской семьи. Весной 1900 года начал работать над портретом Николая II. Видимо, была у художника вначале мысль написать парадный портрет: он искал, переделывал эскизы, портрет не получался. «Однажды он сказал, что сегодня последний сеанс, – вспоминает Ф.ФЮсупов. – Николай II, в скромной серой тужурке, сел за стол, положив на него руки... И тут художник схватил и общий облик, и особый взгляд царя».

Обычно Серов молчал, когда работал над портретами. Но однажды заговорил об участии арестованного С.И.Мамонтова, мецената искусства, друга многих русских художников и артистов. «Все мы – Васнецов, Репин, Поленов – сожалеем о том, что случилось с Саввой Ивановичем», – сказал Серов.

Царь ответил, что уже дал распоряжение, и Мамонтов освобождён из тюрьмы; добавил, что Третьяков и Мамонтов много сделали для русского искусства. Серов был растроган и рад несказанно. А в другой раз произошло вот что: в зал вошла царица Александра Федоровна, встала за спиной художника, проговорила:

– По-моему, вы не так написали правую сторону лица моего супруга.

Замечание взорвало Серова, он встал и, передавая палитру и кисть, предложил:

– Может, вы сами поправите, ваше императорское величество? – Серов не терпел, когда кто-нибудь рассматривал его

незаконченную работу. После этого царица больше не приходила на сеансы. Царь, как ни странно, промолчал.

И вот портрет закончен. Художник изобразил царя простым человеком, оставшимся наедине с собой: он задумался, он, кажется, предвидит всю будущую историю России, за которую он был ответственен и власть над которой скоро так бесславно потеряет. Серов передал заурядность царя, его неспособность руководить огромной страной, даже растерянность его перед этой величайшей ответственностью, волей случая выпавшей на его долю. И царя становится по-человечески жаль, даже проникаешься сочувствием к этому маленькому человеку. «Не в свои сани не садись», – вспоминается хорошая пословица.

Современники высоко оценили серовскую работу. Остроумов: «Одно из лучших произведений Серова». Грабарь находил, что в портрете изумительные глаза: «...Да-да, детски чистые, невинные, добрые глаза. Такие бывают только у палачей и тиранов. Разве не видно в них расстрела девятого января?»

Однажды Серов принёс портрет для показа на заседание членов «Мира искусства», пришёл пораньше, в зале ещё никого не было. Он пристроил портрет на стуле таким образом, что руки царя оказались на одном уровне со столом. Сам отошёл в сторону, наблюдая за реакцией входящих. Первый вошедший остолбенел. Второй сказал: «Здрате, ваше императорское величество!» Третий сорвал с головы шапку. Иллюзия присутствия живого царя была поразительна! Серов сделал авторское повторение портрета, оно поступило в Третьяковку. И хорошо, что сделал, потому что дальнейшие события в стране развернулись и против царя, и против серовского портрета.

...В октябре 1917 года группа солдат вышла из Зимнего дворца, волоча взятую в спальне царицы картину. Солдаты рвали её штыками, прокололи глаза человеку, изображённому на портрете. Мимо проходили ученики-художники, узнали портрет Николая II и попросили его у солдат: это-де работа знаменитого художника Серова. Её нужно отдать в музей. Солдаты швырнули им картину, и ученики принесли её художнику Нерадовскому. Он сохранил портрет. На выставках демонстрируется его авторское повторение.

События 1905 года – расстрел безоружных людей, зверства казаков – окончательно выветрили из Серова все утопии относительно царя, его милостей. Он видел кровавую бойню, он был так потрясён, что однажды потерял сознание.

Серов сделал целый цикл сатирических листов, обличающих царя, его верноподданных убийц, – «Солдатушки,

бравы ребятушки...», «Разгон демонстрации казаками в 1905 году». Серов и Поленов подписались под письмом, протестующим против того, что во главе Академии художеств стоит великий князь Владимир Александрович, руководивший расстрелами шедшей к Зимнему дворцу безоружной толпы. В знак протеста оба художника вышли из состава Академии. И после 1905 года Серову поступали заказы на портреты высоких особ царствующего дома, но художник отвечал решительно: «Я в этом доме больше не работаю».

Шедевр кисти Серова

В кресле, опершись рукой на валик, сидит женщина. У неё красивое, одухотворенное лицо с чудными глазами, чёрные волосы. Поражают контрасты этого плотна: синий валик кресла, блеск драгоценностей, палевое платье модели, ярко-красная, словно пропитанная кровью, подушка. Эти контрасты привели в недоумение К.Коровина:

– Эх, Антоша, – сказал он, – дал бы ты мне написать эту подушку, совсем другое было бы дело.

На что Серов, смеясь, ответил:

– Подушку, наверное, я написал хуже тебя, а ты вот мне так лицо напиши.

Действительно, лицо написано так, что, посмотрев на него, долго его не забудешь. Кто же изображенная на портрете женщина? Какова судьба модели? И почему именно так написал её Серов?

...О Марии Николаевне Акимовой (Акимян) «ничего не известно», говорят одни источники, другие утверждают, что «повесть её жизни необычна». Вот некоторые данные о ней.

Мария Николаевна родом из небогатой дворянской семьи. В юности познала нужду, лишения. Полюбила студента из разночинцев, и он любил её. Но родители выдали Марию Николаевну за богача-коннозаводчика. Жёну он любил страстно, но ещё больше любил карты, игру. И однажды за ночь просадил всё своё состояние. Утром нашли его труп в реке: решил ли проигравшийся искупаться и утонул, или бросился в воду сам, или что ещё похуже... – так и осталось невыясненным.

На несчастную вдову хищной стаей набросились кредиторы, ростовщики – и от распродажи городских домов, поместий, заводов мужа ей не досталось ни копейки. Снова нужда, бедность. Через несколько лет Мария Николаевна познакомилась с южным помещиком, человеком умным, любителем искусств, собравшим большую коллекцию произведений русских и

зарубежных художников. Красота молодой женщины поразила его, он полюбил её. Но жениться на ней не мог – уже был женат на нелюбимой женщине, за которую взял огромное приданое и, в случае развода, не получал ничего. Продав несколько полотен из своей коллекции, он выручил немалые деньги и подарил их Марии Николаевне, обеспечив ей вполне сносную жизнь. Они поженились, когда умерла жена помещика.

Серов писал портрет М.А.Акимовой в 1908 году, в тот период, когда все её тревоги и несчастья остались позади, минувшие воспоминания улетели-растворились, как дурной сон. Она была счастлива. Но жить Марии Николаевне оставалось немного: резкие повороты судьбы, переживания, частые болезни сломили её силы. Вскоре она умерла.

Видно, с каким увлечением писал Серов портрет Марии Николаевны. И живописные контрасты на полотне – это словно отражение её тяжелой, противоречивой судьбы. В конце 1908 года портрет экспонировался на выставке «Союза русских художников». Он поразил современников: «Голова написана так, как Серову редко удавалось» (Грабарь); «Снова в портрете индивидуальность самого изображенного лица. В бледном личике с чертами грузинского или армянского типа есть что-то, дающее целую повесть о женской жизни» (Голоушев); «За прекрасно написанным лицом, в котором так просто разрешены технические трудности, чувствуется нервная, немного уставшая душа современной женщины. Долго не отходишь от портрета, манит он своей глубиной» (Гуров); «Портрет г-жи Акимовой прямо изумителен по красиво, легко и художественно решенной красочной задаче. Серов – мастер громадного художественного значения, гордость, слава и надежда русского живописного искусства» (Лазаревский); «Это шедевр кисти Серова. На мой взгляд, – лучшее свидетельство постоянного роста этого художника и лучшая, наиболее «радости» дающая вещь всех выставок этого года» (Миклашевский). Какими же средствами добился такого результата художник? – вопрошает критик.

Серов реалистически передает то, что видит. Но это реализм, далеко ушедший от «реализма» передвижников: у Серова есть и «толкование» природы, и художественный субъективизм. «Если вы взгляните и вникните в нежную живопись этого лица, вы увидите не только импрессионизм (передача мерцания природы, подчеркивание цветовых контрастов, примат впечатления), вы найдёте и стилизацию в тонах и линиях, подчеркнутое выявление именно этого характера, как он запечатлевается в душе художника. Всё это есть, но всё это применено с таким чувством меры, с

изящной скромностью, с подлинным художественным целомудрием, без дешевых эффектов, без выкриков, без модничанья».

Мне очень нравятся слова Миклашевского о реализме, об импрессионизме и стилизации в портрете Акимовой. Серов постоянно шёл вперед, легко осваивая то, что рождало в искусстве новое время, новые течения в живописи. За портретом Акимовой появились такие полотна, как портреты М. Сарьяна, И.А. Морозова, И. Рубинштейн (как же за них досталось Серову!). Но они не были случайными в творчестве художника: они были закономерными страницами его художественного пути.

Золотое горло Таманьо

А ведь было время, когда советская молодежь повально увлекалась итальянской музыкой: бредила итальянской оперой, часами слушала неповторимые голоса Тито Гобби, Ренаты Тебальди, Марио дель Монако, Марио Ланца. Поколение хрущёвской оттепели, молодые люди, студенты восхищались пением Аделины Патти, Титта Руффо, Энрико Карузо, Франческо Таманьо.

Конечно, в те далёкие 50-е, 60-е годы грамзапись почти полувековой давности не давала представления о подлинном звучании голоса Таманьо. Но, кто помнит, когда слушали на «древних» проигрывателях коронную арию Отелло из оперы Верди, – всё равно поражались мощному звуковому напору, непрерывной звуковой волне, беспредельному дыханию певца, прорывавшемуся даже через некачественную грамзапись и вечно срывающиеся иглы звукоснимателей. Это было неподражаемо, это было восхитительно, это был Таманьо – «король теноров», как его называли!

Увлекался пением Таманьо и Серов. Необычайно музыкальный, он с детства погрузился в мир музыки. Отец его – выдающийся русский композитор, автор опер «Юдифь», «Рогнеда» и «Вражья сила». Мать тоже была композитором, виртуозно играла на фортепьяно. Валентин Александрович часто жил у родственников, близких, знакомых людей, также тесно связанных с музыкальным искусством. Надя и Маша Симонович увлечённо музицировали в четыре руки, и Серов любил их слушать. Его друг В.Д.Дервиз хорошо пел романсы Чайковского. Добрые знакомые Серова – супруги Блаرامберг: Павел Иванович – композитор, его жена – оперная певица. А в какую среду – музыкальную, артистическую, творческую! – попал Серов в доме Саввы Ивановича Мамонтова: сам «великолепный Савва» пел и играл на

фортепьяно, учились музыке его сыновья, сверстники Серова, владели фортепьяно частые гости Мамонтовых С.П. Спиро, И.С. Остроумов. В мамонтовской опере пели лучшие русские артисты: Н.И.Забела-Врубель, В.Н. Петрова-Званцева, Е.А.Цветкова, Т.С.Любатович, А.В.Секар-Рожанский. В 1897 году в театр пришёл Ф.И.Шалапин. Савва Иванович приглашал в свой театр известных зарубежных певцов: ван Зандт, Девойода, Мазини, Таманьо.

Серов слушал русских и зарубежных певцов с упоением, был влюблён в их пение, и потому с восторгом принял предложение Мамонтова написать портрет ван Зандт, Мазини и Таманьо.

В первый раз Серов услышал Таманьо в 1887 году в Венеции. «Вчера были на «Отелло», новая опера Верди: чудная, прекрасная опера, – писал он жене. – Таманьо молодец – совершенство». Как и восторженные итальянцы, Серов без конца кричал: «Браво, Таманьо!» – Буря аплодисментов, нескончаемые вызовы, цветы – это был грандиозный успех! После спектакля огромная толпа ждала певца на улице. Когда он вышел из театра, его подняли на руки и понесли к дому, где жил Франческо. И, перекрывая шум толпы, он снова пел из Отелло. Незабываемое зрелище!

1891 год. Франческо Таманьо поёт роль Отелло в мамонтовском театре (опера помещалась тогда в Шелапутинском театре на Театральной площади). Он появился на сцене в длинном белом плаще, загримированный мавром. Раздались первые звуки его голоса – красивые, феноменальной силы, поддержанные могучим дыханием, огненным темпераментом. Зрителей словно вдавило в спинки кресел – такова была сила голоса Таманьо! И он звучал всё сильнее, все мощнее.

Раздались крики в зале:

– Вы слышали когда-нибудь подобное!

– Вот это голос!

– Это невероятно!

Самые экспансивные любители итальянского бельканто бросились к рампе:

– Браво, Таманьо! Бис!

«К концу спектакля Таманьо стоял совершенно один, больше и выше всех, – феномен как голос, – громада как певец, как актер, – восторженно вспоминал критик С. Кругликов. – Слушатели были ошеломлены, озадачены, потрясены до слёз; рассуждать они не могли; пораженные только что развернувшимся пред ними истинным талантом; они все, как один человек, приняли дружеское участие в бесконечной, неистово бурной

овации. Впечатление было невыразимо сильное, подавляющее».

Давайте теперь вспомним рассказ И.Л.Андронникова «Ошибка Сальвини»: актер малого театра Остужев свидетельствует, что Таманьо проходил вокальную партию Отелло с самим Верди. Наблюдая, как артист играет финальную сцену, композитор остановил его и сказал: «Дайте мне, синьор Таманьо, ваш кинжал». – Верди вышел на сцену, поднялся на возвышение, подождал, когда оркестр сыграет нужную фразу – и вдруг воткнул клинок себе в грудь. Все, кто был на сцене и в зале, ахнули! Всем показалось, что кинжал проткнул насквозь тело композитора и вышел из спины. Верди побледнел, протянул руку к лежащей Дездемоне, шагнул по ступенькам, стал вдруг оседать и упал, покатился по ступенькам... актеры бросились к нему: были убеждены, что он мёртв. И тут Верди поднялся:

– Синьор Таманьо, я думаю, вам лучше умирать так.

Таманьо был талантливым актером, Верди мог бы быть им доволен: когда Таманьо-Отелло, наблюдая за сценой Кассио и Дездемоны, комкал и разрывал занавеску, публика верила: этот Отелло задушит... и не только Дездемону, но и половину партера.

В дни, когда Таманьо пел на сцене Большого театра, студенты не брали билеты: они слушали певца с Петровки, его голос проникал на улицу через слуховые окна. Остужев шутил, что если бы Таманьо захотел и запел во всю мощь своего голоса, то театр, поменьше Большого, загремел бы в тартарары. Таким певцом был Франческо Таманьо!

И вот Таманьо, сам великий Таманьо! – сидит перед Серовым. Наверно, впервые художник отступил от своего правила – портретируемый должен позировать молча, не двигаться: Таманьо рассказывал о себе, мешая русские, итальянские и французские слова, иногда вставая, жестикулировал, напевал.

– Синьор Антонио, в детстве, в школе, играя с товарищами, я порой так орал, что они затыкали уши. Мы часто бегали на речку к водопаду. Вода оглушительно шумела, падая на камни, и мы соревновались, кто перекричит водопад. Тут у меня не было равных!

– Мальчиком я пел в церковном хоре, – продолжал Таманьо. – Однажды так увлёкся, что запел и перекричал весь хор. Меня услышал маэстро Педротти, стал учить музыке и пению. А знаете, синьор Антонио, как меня учил петь маэстро Педротти? О, это незабываемо! Он заставлял меня бегать по лестнице вверх-вниз, вверх-вниз – петь при этом! И я бегал... пел какую-нибудь арию Россини в медленном темпе, потом быстрее... ещё быстрее... престо... престиссимо! Потом замедлял... ещё

медленнее... анданте... И вновь ускорялся... так он развивал моё дыхание, силу и выносливость голоса.

– А знаете, синьор Антонио, как я пел в первый раз на сцене? О, это незабываемо! Я дебютировал в опере Доницетти «Полиевкт». Я дрожал как виноградный лист, ноги мои подкашивались. Педротти стоял в кулисах – я посмотрел на него. Он показал мне, как я бегал по лестнице вверх-вниз и пел. И вдруг я успокоился, ведь теперь-то я не на лестнице, а в театре, это же гораздо легче, тут надо просто петь – и всё! И я запел. Публика приняла меня очень хорошо, и я был счастлив.

– Зато когда я дебютировал в роли Отелло в «Ла Скала», я выдержал настоящее сражение с публикой. О, это незабываемо! Публика привыкла слушать Марио, Рубини, Ансельми, Тамберлика, Мазини. Она не хотела меня слушать, свистела, кричала. Но я безжалостно усмирил публику первыми же звуками моего голоса, заставил замолчать – и потом делал с ней, что хотел! Я победил публику!

...Серов писал портрет певца – и любовался им: огромного роста, косая сажень в плечах, мощная грудь, прекрасная, гордо поставленная голова, вдохновенное лицо! Он в чёрном с красноватой искрой колете, на нем фаустовский берет. Он словно только что после спектакля, он ещё полон огня, переполнен чувствами юного Фауста. В золотистом, ярком тоне пишет Серов лицо, шею, бороду певца, сияют, искрятся его глаза!

В.А. Серов был доволен своим портретом. Перед этим он писал портрет Мазини, но о своей работе отозвался сдержанно: «Недурён, то есть похож, и так вообще... немного сама живопись мне не особенно что-то, цвета несвободные». А портрет Таманьо он высоко оценивал (по свидетельству Грабаря). Художник Ульянов вспоминал необыкновенный восторг, который охватил студентов Училища живописи, ваяния и зодчества, когда они увидели на выставке портрет Таманьо.

На русской художественной выставке в парижском Осеннем сезоне 1919 года были выставлены серовские портреты Ермоловой, Федотовой, М.А.Морозова, К.Коровина, Таманьо и другие. Критики отмечали произведения «превосходного Серова, художника, обладающего изумительным чувством колорита и правильным рисунком». Критик А.Кауфман, увидев портрет Таманьо на выставке в Риме, назвал его «превосходным портретом».

Однажды Серов гостил у В.О.Гиршмана (это он купил портрет Таманьо). Серов сказал ему, показывая на портрет: «Ты чувствуешь, что у этого человека золотое горло?» – Он стоял и

влюблено смотрел на Таманьо.

Я тоже смотрю на великого певца и вижу, что всё в нем, в серовском портрете, поёт: краски, полутона, ликующее лицо артиста! Да, у Таманьо было «золотое горло»!

Вот и заканчиваю мои раздумья вслух о великом художнике. Я не затронул его пейзажи, графику, иллюстрации. Думаю, к разговору о Серове русские люди будут возвращаться и возвращаться, пока живет внутри нас грандиозное, непререкаемое наследие предков, крепя нам дух, вселяя в нас силы и веру в Россию-мать, в её правду, истину.

Сумел ли я хоть немного приблизиться к разгадке тайны серовского творчества? Писал о Серове как «искателе истины», его прямоте и честности в искусстве, его творческом идеале и о многом другом. Должен признаться, когда смотришь на полотна Серова, всякий раз открываешь что-то новое для себя, чего раньше не замечал. Это свойство подлинного искусства.

...Я ещё и ещё разглядываю любимые произведения: портрет Маши Симонович, Шаляпина, Г.Л.Гиршман, Юсуповой, Акимовой, Таманьо. Вспоминаю чью-то хорошую мысль: Серов писал свои картины так, словно бы начатое им полотно было его последней работой, отдавая всего себя творчеству. Не отсюда ли его правдивость, искренность? В творчестве Серова преобладает оптимистическое, мажорное отношение к миру. «Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное, – говаривал художник. – Скучны ноющие люди... Везде кругом тяжело и грустно, надо находить и другую, бодрую сторону». – И этим все сказано. Верно замечено, что у Серова был избыток сил, свежести, мужественности.

Он писал портреты, пейзажи, рисунки, акварели, пастели, иллюстрировал литературные произведения. Работал очень ровно, кажется, у него практически не было слабых вещей, сказал один из его современников. Как не согласиться с этим замечанием! Всюду, к чему прикасалась его талантливая рука, – всюду виден прекрасный, чудесный мастер!

Серов – один из первых русских художников, который показал, что так называемая оконченность не всегда хороша, что иной раз недоговоренность выразительнее многосложного и многотрудного высказывания. Серов ответил на чеховский призыв «нужны новые формы» – и нашел их, опираясь на вечные классические идеалы и традиции: его формы современны, доступны восприятию, убеждают самобытностью, чистотой, красотой. Серов ввёл русскую живопись в 20-й век.

...Пустеют выставочные залы, гаснут огни. Пора уходить.

Там, за окнами галереи, великая страна перешагнула первую десятку лет нового века. Сбылись ли чаянья людей, творцов, неистово верящих в счастливое будущее детей России, внуков, потомков? На прощание подхожу к картине, с которой началась известность художника В.А.Серова.

Девочка с персиками

Летом 1887 года Серов приехал в Абрамцево к Мамонтовым. Его здесь очень любили. Хорошо было жить в Абрамцево и Серову. «Живу я у Мамонтовых, – сообщает художник О.Ф.Трубниковой. – Почему? На каком основании я живу у них? Нахлебничаю? Но это совсем не так – я пишу Савву Ивановича. Сей портрет будет, так сказать, оплатой за моё житьё, денег с него я не возьму. Я их (Мамонтовых) так люблю, да и они меня, это я знаю, что живется мне у них легко сравнительно, что я прямо чувствовал, что я принадлежу к их семье, люблю я Елизавету Григорьевну, то есть я влюблён в неё, ну, как можно быть влюблённым в мать. Право, у меня две матери».

Однажды дети Мамонтовых играли на дворе. Верушка (так все звали общую любимицу Веру) вбежала в комнату, где сидел Серов. Черноглазая, с румянцем на щеках, с копной густых каштановых волос, в розовой кофточке с чёрным бантом – она была чудо как хороша в свои 12 лет! Залюбовался девочкой и Серов, уговорил её родителей, чтобы Верушка позировала ему для портрета. Писал и чувствовал, работа спорится, всё идет, как надо. Работал по несколько часов в день, весь август и начало сентября, не уезжая из Абрамцево, хотя друзья звали его приехать к ним. Отговаривался: «Я должен писать Верушку, чтобы что-нибудь вышло». Творил, ощущая свою силу, умение – так родилось «одно из самых замечательных произведений русской живописи» (Грабарь).

Трудно оторвать глаза от этого портрета. Вспоминаются слова Серова: «Все, чего я добивался, это особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь на картинах». Именно свежестью веет от этого полотна: от лица и фигуры девочки, от лежащих на столе персиков, от растущей за окном зелени, от колорита картины – переливов серебристо-розовых, синеватых, коричневых, зеленоватых тонов, игры светотени.

Свет, удивительный свет струится от картины: излучает свет лицо Верушки, её глаза, одежда, льется свет из окна комнаты! Свежесть, свет, чистота, непосредственность, естественность, свойственные Верушке, дарят произведению Серова вечную молодость. Портрет художник подарил своей второй матери –

Елизавете Григорьевне Мамонтовой.

В 1888 году Московское общество любителей художеств объявило конкурс на лучшее произведение историко-бытовой, жанровой, пейзажной и портретной живописи. Решил принять в нём участие и Серов (это был его первый конкурс). «Может быть, послать на него портрет Верушки?» – спросил он Елизавету Григорьевну. Она подумала-подумала – и согласилась. Портрет выставили – и Серов получил за него премию. «Я доволен, – радуется художник. – Всякие, разные мысли, вроде того, например, что я художник только для известного кружка московского, умерщвлены. Итак, моё вступление благополучно, и то хорошо».

В том же году открылась 8-я периодическая выставка Московского общества любителей художеств. На ней были представлены произведения К. Коровина, Левитана, Малютина, Архипова. В.А.Серов привез три полотна: «Пруд», «Портрет П.И.Бларамберга», «Верушку Мамонтову» («Портрет В.М.» – так он был подписан).

И что же? «“Портрет В.М.” произвел сенсацию!» (Головин). «Художники и особенно мы, молодежь, будущие художники, не отходили от этого интригующего “Портрета В.М.”, – вспоминал Грабарь. – Нам было ясно, что появился новый большой художник с каким-то особым, непривычным лицом, которое не напоминало решительно ни одного из известных мастеров».

Серов сразу, в одночасье, стал знаменит. О нём писали, о нём говорили, им восхищались: «Замечательная вещь, это живая действительность» (Поленов); «Лучшим и совершеннейшим из всех является, по моему мнению, искренне-наивный, простой, задушевный портрет молодой девицы Мамонтовой» (Стасов); «Портрет этот поражает прежде всего жизненностью и простотой манеры» (Сизов). «Это последнее слово импрессионального искусства. Рядом висящие портреты Репина и Васнецова кажутся безжизненными образами, хотя по-своему представляют совершенство... Это ново и оригинально», – говорил Остроухов, увидев портрет Верушки Мамонтовой в Абрамцевской галерее.

Любопытны и такие отзывы: «Портрет В.М., если исключить голову, – неоконченная вещь. Стол, на который облокотилась девочка, – едва загрунтованное полотно с несколькими мазками белой краски» (Флеров); другой критик убеждён, что в картине «лицо написано очень бойко, экспрессивно; в аксессуарах колорит и рисунок очень слабы и небрежны. Думается, художник просто кокетничал своей небрежностью». Как видите, Серова упрекали за то, что он своё

полотно не закончил, что он небрежен, даже кокетничает! (Вот уж что совсем несвойственно было Серову.)

А что сам Серов? Как он относился к своему произведению? «Я сам ценю и, пожалуй, даже люблю его. Вообще, я считаю, что только сносных в жизни и написал – этот, да ещё «Под деревом» (речь идет о «Девушке, освещенной солнцем»).

Приведу слова Грабаря о «Девочке с персиками» (кстати, это название принадлежит ему): «Этот портрет, являющийся одной из лучших картин, когда-либо написанных русским художником, произвел впечатление откровения в тогдашних художественных кругах Москвы, и никто не хотел верить, что автору его, никому до того не известному Серову, ещё недавно только минуло двадцать два года. Портреты «Девушка с персиками» и «Девушка, освещённая солнцем» – две такие жемчужины, что, если бы назвать только пять совершенных картин во всей новейшей русской живописи, то обе неизбежно пришлось бы включить в этот перечень». – С этим трудно не согласиться.

До свидания. Храни Господь Россию!



Лазарь Фрейдгейм

Ошибочная атрибуция картины об открытии Америки



В мире имеется бесчисленное множество книг, картин, гравюр и рисунков, посвященных истории открытия Америки Христофором Колумбом, а также легендам, связанным с этим событием. Более пяти веков накапливается разнообразная Колумбиана.

К 400-й годовщине открытия Америки Колумбом в 1892 г. две мануфактуры выпустили жаккардовые полотна, посвященные открытию Америки, которые приведены ниже (Фиг. 1 и 2).



Фиг. 1.



Фиг. 2.

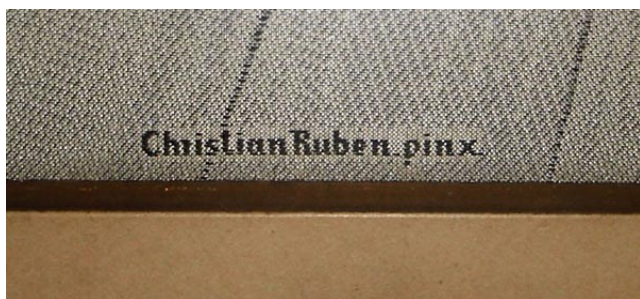
Дальнейший анализ будет относиться к установлению авторства художников этих двух редких по исполнению работ.

Позволю себе сразу отметить, что я не являюсь нейтральной стороной. Картина, показанная на Фиг. 1, с детства знакома мне. Такая картина и сейчас висит у меня дома.

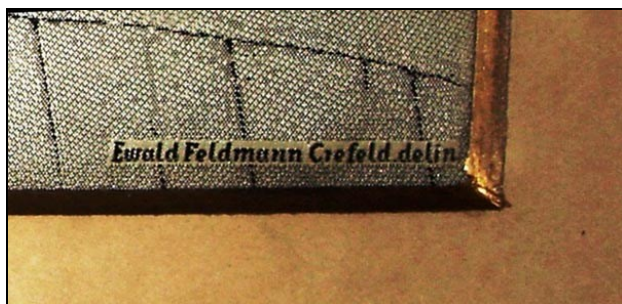
В нижней части этой картины даны вытканые сведения об авторах (Фиг. 3а, 3б, 3в):



Julius List Crefeld tex. (Фиг. 3а)



Christian Ruben pink. (Фиг. 3б)



Ewald Feldmann Crefeld delin. (Фиг. 3в)

Имена исполнителей: художник Христиан Рубен, а также Эвальд Фельдман (подготовка производства) и Юлиус Лист (ткачество) из Крефельда. Работа выполнена на мануфактуре

Юлиуса Листа в старинном немецком городе Крефельде (Германия, Северный Рейн-Вестфалия).

Крефельд (Krefeld, до 1929 г. – Crefeld) был основан в 1105 под именем Кринвельд. Город был давно известен изготовлением шелков и бархата, Шелковая промышленность особенно быстро развивалась после предоставления городу монополии в 1760 г. королем Пруссии Фредериком II. В Крефельде работало около 30 шелковых мануфактур.

Для более полной характеристики города можно отметить музеи Крефельда: Немецкий музей текстиля (Deutsches Textilmuseum) и Музей культуры шелка (Haus der Seidenkultur).



Фиг. 4

В нижней части второй картины указано место изготовления (Фиг. 4), но не указаны авторы. Из этой подписи следует, что картина под названием «Колумб видит Америку» (“Columbus Sighting America”) выполнена на фабрике Arlington Mills в Лоуренсе, штат Массачусетс, США.



Фиг. 5

В 1898 г. была издана великолепная по оформлению и полноте книга об Арлингтонской мануфактуре. В нее включено приложение, посвященное этой картине (приложение В, стр. 121-

127) /1/ как одной из самых выдающихся работ фабрики. О художественной первооснове жаккардового полотна в книге написано следующее: это копия с оригинального живописного полотна, которое находится в Национальной галерее в Берлине, Германия. Художник Герман Фрейхольд Плюддеман (Hermann Freihold Plüddemann), немецкий живописец, автор исторических сюжетов. Картина имеет международную известность.

В 2004 г. в Германии была издана монография профессора Эккерхарда Мэя (Ekkehard Mai), посвященная творчеству художника Г. Плюддемана /2/. В ней значительное внимание уделено картине художника с интересующим нас сюжетом (Фиг. 5). Она считается одним из лучших произведений живописца.

Картина многие годы находилась в коллекции Национальной галереи в Берлине. Перед самым началом II Мировой войны в 1939 г. она была предоставлена для выставки в Колберг (ныне Польша), родной город художника Г. Плюддемана. Видимо, во время войны картина погибла. В настоящее время неизвестны и ее копии. Однако эта картина многократно публиковалась в виде иллюстраций в книгах и журналах. В монографии Э. Мэя приведен обширный список таких публикаций.

Репродукция картины художника Х. Рубена из Национальной галереи в Праге, выполненная в 2008 г., показана на Фиг. 6.



Фиг. 6

В классической энциклопедии Брокгауза и Ефрона /3/ в статье о художнике Христиане Рубене написано: "Колумб открывает Америку" – лучшее из его произведений, сделавшееся

популярным, благодаря изданным литографическим и полнотиражным копиям с него». Статьи о Г. Плюддемане в энциклопедии не было.

Техника машинного жаккардового плетения изобретена французом Жозефом Жаккардом (Joseph Marie Jacquard). В 1801 году он изобрел ткацкий станок сложного плетения, благодаря чему стало возможным изготавливать такие ткани сложного плетения в промышленных условиях. Работа направляется автоматами с помощью перфокарт, а сейчас – компьютеров. Предварительно контуры узора срисовываются ткацким рисовальщиком на канвовую бумагу с модели, выполненной художником, и заполняются графическими элементами различных переплетений (так называемое патронирование). Для художественной росписи наиболее подходят шелковые ткани. Роспись по шелку является исключительно трудоемким делом. Каждое полотно приходится создавать по точкам, подобно развертке телевизионного изображения. Для картины необходимо более 2 миллионов точек. На выполнение такой работы уходило примерно 1000 часов. Полностью процесс изготовления мог занять 2-2,5 года.

Приведу только несколько цифр из описания процесса изготовления американской картины:

Для создания образца для жаккардового плетения была сделана копия размером 2,1 x 2,9 м. – в 3 раза больше площади оригинала.

Количество использованных перфокарт – 21 024.

Общее количество точек в картах – 4 162 750!

Таким образом, можем констатировать: в 1892 г. к 400-й годовщине открытия Америки две шелковые мануфактуры, расположенные в старом и новом свете, выпустили на шелке жаккардовые многофигурные картины. Изображение на обеих картинах в большей части очень схожи. Автором картины, сделанной в Германии, указан Христиан Рубен. Автором картины, сделанной в Америке, указан Герман Плюддеман.

Налицо не согласующаяся между собой информация. Авторами источника двух очень схожих жаккардовых изображений указаны два разных художника! Еще со времен появления Козьмы Пруtkова бытует пропись, что если на клетке с тигром написано «лев», не верь глазам своим. В почтенной старой книге написано «Плюддеман». Глаза говорят «Рубен». Но даже для очевидного желательного объективного подтверждение, необходим анализ возможных предположений. Где истина? Предмет для небольшого

детективного, почти криминального расследования...

Попытаюсь кратко сформулировать цель такого расследования:

Полотно американской мануфактуры выполнено по картине (гравюре) Рубена, а не Плюддемана, как это указано в источниках конца XIX века и повторено многократно позднее.

Для начала отметим, что технология получения патрона для воспроизведения оригинала жаккардовыми машинами не оставляет возможности искажения или неточного переноса прототипа на полотно. Таким образом, сравнение изображений тканых повторений эквивалентно сравнению оригиналов.

Есть много различных работ, посвященных открытию Америки и построенных на легенде появления земли в момент назревшего бунта команды против Колумба. В том числе работы Плюддемана и Рубена, показанные на Фиг. 5 и 6.

В конце XIX века в 1893 г. вышла монография о живописи и исторических материалах, посвященных Колумбу /4/. Эта работа является одним из самых полных источников информации по иконографии Колумба. Книга содержит сжатый перечень работ (иногда с краткими пояснениями) объемом более 200 страниц. Раздел X книги целиком посвящен картинам, имеющим почти тождественные названия: открытие Америки или первый взгляд на Новую землю. Обе анализируемые картины входят в этот перечень и следуют подряд под номерами 51 и 52 (стр. 153):

51. RUBEN, (CHRISTIAN.) COLUMBUS DISCOVERING LAND, (1843.) Prague Gallery.

52. PLÜDEMANN, (HERMANN.) COLUMBUS DISCOVERING LAND, (1836.) National Gallery, Berlin.

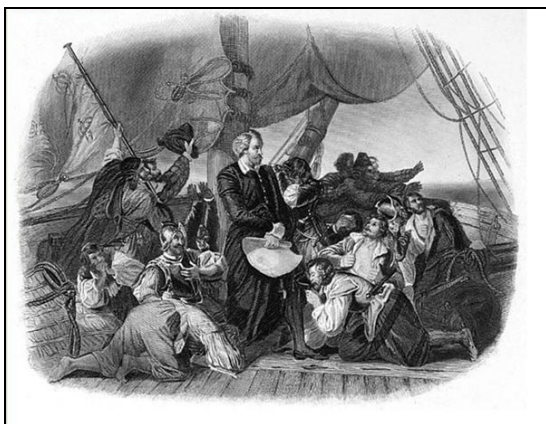
51. Христиан Рубен, Колумб обнаруживает землю, 1843, Пражская галерея.

52. Герман Плюддеман, Колумб обнаруживает землю, 1836, Национальная галерея, Берлин.

Большинство картин этого раздела монографии показывают на фоне мачт парусного корабля гордо стоящего человека с устремленным в даль взглядом. Все они различны в деталях, но почти тождественны в передаче сюжета победы воли Колумба над обстоятельствами. Работы Плюддемана и Рубена наиболее выразительны в воплощении этой устремленности к вновь обретенной земле (и это притом что Колумб считал, что достиг давно известную Индию!). Картина Рубена содержит наиболее динамичную композицию.

Это, в частности, точно подчеркивается овалом на гравюре из Грейнджер коллекции (Granger Collection), автором сюжета

которой называют Х. Рубена (Фиг. 7). Эту репродукцию прислал мне несколько лет тому назад основатель и бессменный директор коллекции Вильям Гловер (William Glover).



Фиг. 7

Отметим еще раз, что при сходстве сюжета воплощение его в картинах Плюддемана и Рубена явно различно. Даже облик Колумба значительно отличается один от другого. В частности, на картине Рубена он показан с бородой, а на второй – с гладко выбритым лицом.



Фиг. 8

При отсутствии достоверных прижизненных портретов Колумба эта деталь облика постоянно является предметом споров, например, при обсуждении сюжетов юбилейных марок 1893 г. На

одном из наиболее популярных портретов 1519 г., хранящемся в музее Метрополитен, кисти Себастьяна дель Пиомбо (1485-1547) (Sebastiano del Piombo) Колумб изображен без бороды (Фиг. 8).

При сравнении полотен мануфактур Крефельда и Лоуренса кажется, что американская картина является фрагментом немецкой.

Попробуем поставить небольшой эксперимент.

1. На более полном варианте из Крефельда выделим совпадающую часть изображения;

2. Отрежем исключенную часть;

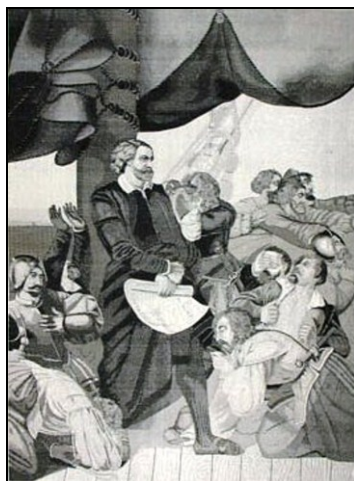
3. Распечатаем в одинаковом масштабе оба фрагмента картин (Фиг. 9 и 10)

4. Наложим один вариант на другой и сравним.

Придирчиво, внимательно...



Фиг. 9



Фиг. 10

Подведем итог эксперимента:

1. Весь рисунок на американской картине совмещается с рисунком из Крефельда;

2. На сравниваемом фрагменте картины из Крефельда остаются частично отсеченные фигуры;

3. На месте этих фрагментов на американской картине пустота.

Можно представить, как с традиционными инструментами – ножницами и резинкой – получить из более полного изображения фрагментарное. При этом, конечно, на зачищенной

части оказывается композиционная пустота. Да и частично отрезанные фигуры (см., например, крайне правую голову в шляпе-шлеме) заставляют усомниться в целесообразности их присутствия в такой композиции.

Весьма проблематичным является предположение о вторичности работы автора более полного изображения. При этом пришлось бы предположить, что Рубен абсолютно точно перенес основную часть (1:1 – до штрихов одежды), но дополнил улучшающими композицию полотна фигурами, а также деталями, выявляющими смысл некоторых слегка бытовавших фигур в меньшем варианте.

Приходим к выводу: жаккардовые картины сделаны по одному и тому же оригиналу. Художники – авторы оригинала - не могут быть разными.

Имя Христиана Рубена указано на более полном варианте изображения (Фиг. 1). Авторство этого художника подтверждает Сабина Хассель (Sabine Hassel) из Немецкого музея текстиля (Крефельд), в экспозиции которого имеется такая картина.

Остается еще один гипотетический вариант: каждый из названных художников имеет картину с почти неразличимыми отличиями. (Определяя чуть более смело, случай плагиата).

Наличие такого сюжета открытия Америки у Христиана Рубена не вызывает сомнений. Наличие точно такой же картины у Германа Плюддемана остается попытаться проверить. Современных американских источников по этой теме найти не удалось. Выяснять вопросы с авторами публикаций конца XIX века затруднительно. Лучше перспективы выяснить точность информации об авторе в Национальной галерее в Берлине. Музейная информация мало подвержена временному влиянию. Современной обильной информации этого музея о работе Плюддемана «Колумб открывает Америку» постоянно сопутствует надпись – теперь картина отсутствует. Сам же музей долго молчит... Но в итоге любезно присылает репродукцию исчезнувшей картины Г.Плюддемана и высказывает мнение, что жаккардовые картины выполнены на основе свободно трактуемой картины Г. Плюддемана.

Поиск позволяет найти современные публикации о художнике Плюддемане. Главные из них это работы немецких специалистов: уже цитированная монография /2/ и развернутый биографический очерк Идис Хартман. Пытаюсь установить контакты с авторами. Пишу автору монографии Эккехарду Мею, профессору факультета философии Кельнского университета, и Идис Хартман, специалисту-исследователю, в Музей современного

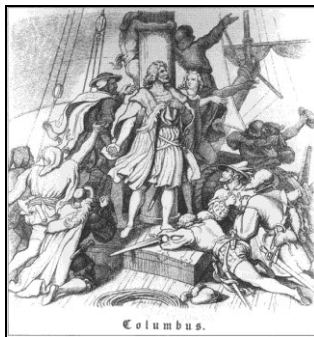
искусства в Карлсруэ (*Museum fuer Neue Kunst*).

В разделе биографического очерка, написанного Идис Хартман, посвященного теме Колумба в творчестве Г. Плюддемана, картины с таким содержанием нет. В подробном перечне работ художника в монографии Эккехарда Мэя указаны три работы Г. Плюддемана, изображающие момент обнаружения земли Колумбом.

Обратим дополнительно внимание, что Плюддеман неоднократно обращался к этому сюжету на протяжении многих лет. На Фиг. 11 и 12 показаны две такие работы. Первая из них, написанная 1835 г., предшествует основной работе, показанной на Фиг. 5. Вторая работа выполнена через много лет – в 1852 г. В каждой из приведенных картин художник сохраняет неизменной композицию произведения. Ни в одной из работ нет композиционных решений, приближающихся к картине Христиана Рубена, которая, кстати, датируется 1843 г. – внутри временного диапазона вышеназванных работ Германа Плюддемана. У каждого из них сохраняется свой «канонический» подход в рамках легенды об открытии Америки.



Фиг. 12



Фиг. 11

По поводу авторства жаккардового полотна американской мануфактуры, показанного на Фиг. 2, Эккерхард Мэй безапелляционно констатирует: «Действительно, живопись и шелковое переплетение отличаются только в деталях и людях, но никакого сомнения, что живописная работа Плюддемана (и, возможно, его гравюра на дереве для "Deutsches Balladenbuch", 1852, которая повторяет его известную композицию 1836 г.), находящаяся в the Consul Wagener Collection, источник сюжета для Вашей картины. Христиан Рубен (1805-1875) был живописцем, который учился в Дюссельдорфской академии. Он, должно быть,

знал работы Плюддемана». *(Здесь для подлинности я пытаюсь сохранить непростой строй текста немецкого автора).*

Национальная галерея в Берлине также полагает возможным авторство Плюддемана.

«Источник сюжета» - с таким утверждением трудно спорить, тем более что источником в обоих случаях является старая легенда о бунте на корабле и молении о прощении бунтовщиков в момент счастливого обнаружения земли. На полотне есть Колумб, есть мачта и паруса, есть коленопреклоненные матросы... Но авторство картины – это совсем другое. Было бы странно обнаружить приписывание авторства картины «Даная» Рембрандта кисти Рубенса из-за сходства библейского сюжета и даже поз натурщицы на одноименных картинах двух художников. При этом напомним, что в монографии /1/ было написано, что американское полотно - это копия с оригинального живописного полотна Германа Плюддемана, которое находится в Национальной галерее в Берлине. Понятию «копия» столь различные варианты изображения точно не соответствуют.

Любой незашоренный взгляд засвидетельствует, что изображение на американском полотне это не копия с картины Плюддемана из музея в Берлине. Но с той же очевидностью приходится констатировать – это копия центральной части картины Рубена из музея в Праге. Специалисты из музея ткачества в Крефельде называют имя именно этого автора.

Каждая группа специалистов считает за истину авторство художника, картины которого ей ближе, предполагая, что есть одна оригинальная работа, послужившая основой жаккардовых полотен. Но разные эксперты указывают работы разных художников! Характеры оппонентов определяют степень безапелляционности высказываемых мнений. К консенсусу среди экспертов прийти не удалось.

С другой стороны, обращает на себя внимание, что оба художника (Рубен (1805-1875), Плюддеман (1809-1868) жили практически в одно и то же время, учились в одной и той же академии в Дюссельдорфе, общались, как можно предположить, с одними и теми же людьми своего круга. Работы каждого из них уже в то время были в экспозиции известных музеев.

Наличие очень близкого заимствования не могло бы пройти мимо внимания специалистов, художников, друзей. Оно не могло бы не найти отражения в литературе или в воспоминаниях. В то же время наличие сходных сюжетов картин у двух современников, специализирующихся на изображении

исторических событий, никакого внимания привлечь не могло.

Г. Плюддеман и Х. Рубен имели работы с похожими названиями, но не идентичные, естественно, по изображению, технике и т.д. Впоследствии близость названий сыграла провоцирующую роль, и работа одного из художников была отождествлена с другой работой второго художника. Последующие авторы и комментаторы по ошибке назвали это второе имя через много лет, когда художники уже покинули этот свет. Герман Плюддеман был известным художником, специализировавшимся на исторических сюжетах, и поэтому могло показаться естественным его авторство изображения, выполненного американской мануфактурой. Тем более что непосредственно на тканой работе не было указано имя художника.



Фиг. 13

Возможно, что непосредственным образцом для обеих жаккардовых картин явилась не живописная работа Х.Рубена из пражской галереи, а гравюра, выполненная немецким художником Францем Ханфштеглем (Franz Seraph Hanfstaengl, 1804-1877). На большеформатных литографиях с этой гравюры авторство Рубена было указано непосредственно в тексте названия, размещенном под литографией. Отпечатки с гравюры Ф.Ханфштангеля по картине Х.Рубена были сделаны в 1850 г. в качестве новогоднего подарка всем членам ассоциации художников Мюнхена. Также известна раскрашенная вручную литография с указанием автора Х. Рубена, выпущенная примерно в 1850 г. Херлин & Хенсел (Herline & Hensel) (Филадельфия) (Фиг. 13).

С результатами этой работы в предварительном порядке я познакомил сотрудников музея современного искусства в Бостоне (Museum of Fine Arts, Boston MFA). В фондах музея имеется жаккардовая картина американской мануфактуры с указанием в каталоге автора Плюддемана. Они признали правильными высказанные выше доводы. В каталоге музея сейчас автором указан Х. Рубен. Однако по-старому осталось ошибочное указание, что гравюра принадлежит Плюддеману.

Мы убедились в близости изображений на картинах обеих мануфактур, при этом в экспозиции Пражского музея имеется картина Х. Рубена с тождественным изображением. В то же время у Г. Плюддемана во множестве известных публикаций такого изображения нет. Все это заставляет предположить, что прототип сюжета открытия Америки Колумбом для жаккардовых полотен принадлежал Христиану Рубену, а не Генриху Плюддеману. Анализ изображений и всех источников убедительно подтвердил это. Детальный поиск не дал ни одного объективного факта, противоречащего такому выводу.

Вызывает некоторое удивление, что проблема этого несоответствия, сомнительности атрибуции полотна американской мануфактуры возникла только через 120 лет после создания картины. Но, так или иначе, можно считать, что ошибка ныне устранена. Следуя старой мудрости: лучше поздно, чем никогда...

Библиография

1. Tops, a new American industry a study in the development of the American worsted manufacture by Arlington Mills (Book), 1898, p. 121-127.
2. Ekkehard Mai: Hermann Freihold Plüddemann – Maler und Illustrator zwischen Spätromantik und Historismus (1809–1868). Ein Werkverzeichnis., Böhlau, Köln 2004, ISBN 3-412-06204-9, p. 8, 164-166.
3. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон, Энциклопедический словарь, 1890-1907, Статья «Христиан Рубен».
4. Néstor Ponce de León, The Columbus Gallery. The 'Discoverer of the New World' as represented in Portraits, Monuments, Statues, Medals and Paintings Historical Description, New York: N. Ponce de Leon, 1893, p. 153.



Игорь Ефимов

Джон Чивер (1912-1982)

Из книги «Бермудский треугольник любви»

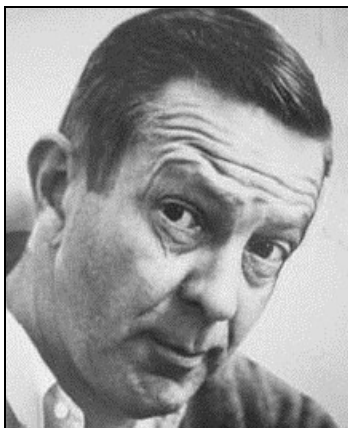


АС: Если бы Голливуд заказал мне сценарий биографического фильма о Джоне Чивере, я бы начал с такой сцены: Бостон, 1974 год; раннее утро в неприбранной квартире; на столе, на полу, под кроватью – пустые бутылки, грязная одежда, апельсиновая кожура. Аспирант Бостонского университета, Лоренц Шварц, открывает дверь своим ключом, подходит к голому человеку, лежащему в кровати, будит его, помогает одеться. Они вместе выходят из дома, направляются к близлежащему дайнеру. Усевшись за стол, обитатель квартиры пытается закурить, но пальцы не слушаются, спички ломаются одна за другой. Официантка, не дожидаясь заказа, приносит ему стакан водки со льдом. Он начинает по-птичьи, поднеся губы к краю стакана, стоящего на столе, отхлёбывать. После нескольких глотков пальцы его перестают дрожать, и ему удаётся взять стакан рукой. Следующий кадр: знаменитый писатель Джон Чивер, в сопровождении Шварца, неуверенными шагами входит в университетскую аудиторию и начинает занятия со студентами.

ТЕНОР: Нет, я бы для начала выбрал другой эпизод – случившийся на восемь лет раньше. Джон Чивер беседует с психиатром и объясняет ему, что пришёл поговорить о нервном расстройстве своей жены. Она постоянно подавлена, огорчается и тревожится по пустякам, проявляет необъяснимую враждебность к своему замечательному супругу. Эта враждебность уже довела его до пьянства и импотенции. Необходимо что-то предпринять. Да, она согласилась подвергнуться обследованию, ждёт в приёмной. Входит Мэри Чивер, усаживается рядом с мужем, психиатр начинает расспросы. Наплыв. После часовой беседы психиатр остаётся с Чивером наедине и объясняет ему, что с женой всё в порядке, она не нуждается в помощи врачей. А вот ему срочно нужно заняться своим душевным здоровьем. Тревожные симптомы указывают на следующие расстройства: нарциссизм, маниакальная

депрессия, эгоцентризм, бегство в мир иллюзий и безудержное фантазирование, позволившее ему выстроить эту защитную версию о психическом заболевании жены.

БАС: Когда я думаю о творчестве Чивера, мне на ум приходит такая метафора. Представим себе купца из сказки, приплывшего на корабле в неведомую страну. Его неистощимая фантазия способна наполнить трюмы корабля самыми разнообразными товарами. Проблема в том, что он не может уловить, какой товар будет пользоваться успехом на незнакомом рынке, а какой останется нераспроданным. Каждое утро он является в свою лавку с новой порцией товара и с недоумением и досадой смотрит на покупателей, равнодушно проходящих мимо изделий, столь похожих на те, которые ещё вчера шли нарасхват. Писатель Чивер часто приходил в растерянность от похвал, расточаемых каким-то его произведениям, и возмущался, когда редакторы и критика отвергали то, что казалось ему явной удачей.



Джон Чивер

ТЕНОР: При этом с фантазией своей он обращался очень осторожно. Так дрессировщик обращается с тигром, львом, слоном, когда не уверен в полной послушности своих зверей. Предпочитал срисовывать своих персонажей с живых людей, которых он хорошо знал. На страницах его рассказов и романов без конца всплывают образы и отдельные черты отца, матери, старшего брата, жены, её родственников, собственных детей. Фрейдистам в его биографии всегда будет раздолье. Ну чем, чем ему могла так досадить в детстве его мать, что он поносил её потом с таким же упорством, с каким его кумир Хемингуэй

поносил свою?

БАС: Начать с того, что она не скрывала от него обстоятельств, сопутствовавших его рождению. У супругов Чивер уже был один сын, Фред, взаимная любовь их увяла, и они не имели намерения заводить новых детей. Однако во время большого банкета ассоциации бостонских торговцев оба выпили по несколько «манхетенов» и ночью забыли об осторожности. Джон был на семь лет младше брата и всегда болезненно ощущал себя обделённым родительским вниманием. Другой постоянный пункт обвинений: когда отец разорился и семья начала погружаться в нищету, мать «унизила» до того, что открыла лавку сувениров. Маленький Джон не мог без презрения смотреть на отца, шатавшегося по дому без дела, но ещё сильнее презирал мать за её деловую хватку, практичность, умение ладить с поставщиками и покупателями.

ТЕНОР: Хотя вообще-то абстрактные ценности культуры ценились в семье Чиверов очень высоко. Мать зачитывалась романами и религиозными книгами, посещала театр, отец музицировал, тётка рисовала картины, а сын её стал пианистом. Чтение книг было главной страстью Джона Чивера с детства, он проводил часы, погружаясь в Диккенса, Шекспира, Фолкнера, Чехова, Филдинга, Флобера. Также любил театр, музыку. В школе, правда, успехами не блистал, перебивался тройками и двойками даже на уроках английского. «Чего может добиться в жизни человек, не могущий освоить основы арифметики?», – говорила его мать. Зато талант рассказчика открылся в нём очень рано. Учительница литературы была поражена, когда двенадцатилетний Джон сочинил у неё на глазах и рассказал перед классом историю в духе рассказов Киплинга.

БАС: Жалкое положение отца в семье вызывало сочувствие Джона и усиливало раздражение против матери. Та, в добавление к лавке сувениров, открыла ещё небольшой ресторан и работала в нём допоздна. Только когда уходил последний посетитель, она давала поесть мужу. «Боже, чем я заслужил такое отношение?!», – восклицал тот. Но при этом ни за что не согласился бы на работу, которую считал ниже своего достоинства. «Все хозяйственные заботы – женское дело, – учил он сына. – Помни, что ты из рода Чиверов, что твои предки приплыли сюда в XVII веке». Понятия гордой нищеты были крепко усвоены Джоном на всю жизнь, и он предпочитал скорее голодать, чем унизиться до подёнщины.

ТЕНОР: Наиболее распространённым путём к самоутверждению для американского подростка был спорт. Однако

и здесь Джону не повезло. Он был маленького роста. Перенесённый в раннем детстве туберкулёз оставил шрамы в его лёгких, так что путь в бейсбольную, футбольную или хоккейную команду был для него закрыт. Он выучился кататься на коньках, плавать, ездить на велосипеде и всю жизнь старался находить время для спортивных упражнений. Вообще придавал огромное значение своему внешнему облику: держался прямо, не толстел, пускался в долгие пешие прогулки, купался в холодной воде. Но это не могло принести ему того, о чём он мечтал, – признание и славу.

БАС: Признание и слава могли придти только из мира литературы. Он оставил школу и написал рассказ «Исключённый», который был вскоре напечатан в известном журнале «Нью Рипаблик». Опубликовать первое произведение в восемнадцать лет – немногие литераторы имели такую удачу в начале пути. Но пройдёт ещё много лет, прежде чем на свет появится самостоятельный и оригинальный писатель Джон Чивер. А пока он подрабатывал развозкой газет и проводил вечера со старшим братом, который взял его под своё покровительство. Иногда они застревали в городе за полночь, и их отец, недовольный этим, запирали двери дома. Однажды Фред попытался пролезть внутрь через боковое окно и наткнулся в гостиной на отца, поджидавшего его с пистолетом в руке. Впоследствии Джон утверждал, что он проснулся в своей спальне от выстрела и, спустившись вниз, увидел пулевое отверстие в стене. «Ты не должен был этого делать, дэд», – сказал побледневший Фред.

ТЕНОР: В начале 1930-х Фред Чивер неожиданно увлёкся идеями национал-социализма и уговорил брата совершить совместную поездку в Германию. Джон остался равнодушен к парадам под свастикой и расистской пропаганде, оценил только немецкое пиво. Фред же был в восторге от идей фюрера, от культуры дисциплины и от великолепного качества всего, что имело на себе марку «сделано в Германии». По возвращении Джон пытался заинтересовать редактора в «Нью Рипаблик» своими путевыми впечатлениями, но тот остался равнодушным. На другом конце политического спектра у Чивера возникли контакты с представителями коммунистической прессы, которые объясняли молодому литератору, что он не напишет ничего путного, пока не отдаст своё перо на службу борющемуся пролетариату.

БАС: Где-то в это же время у Джона возобновились отношения с одноклассницей, которой он увлёкся ещё в школьные годы. Они случайно встретились на занятиях в скульптурной мастерской, открывшейся в Бостонском музее искусств. Их

общение неизбежно привело к тому, что девушка познакомилась и с Фредом тоже, и тот загорелся ещё сильнее, чем его брат. У него к тому времени уже была приличная работа, и выглядел он солиднее и надёжнее. Практичная девушка выбрала Фреда, и вскоре они поженились. Неизвестно, как Джон пережил этот удар. Но писатель Чивер будет мстительно воскрешать брата и его жену в своих произведениях и дневниках много-много раз.

ТЕНОР: Однако центральная фигура рассказа «Прощай, брат мой» – того самого, которым Чивер откроет последний, самый большой свой сборник, опубликованный за три года до его смерти, – ничем не напоминает Фреда. Этот унылый адвокат, без конца меняющий службы, друзей, места проживания, способный видеть только плохое и тёмное, отравляющий семейные каникулы своим детям, братьям, матери, жене мрачными пророчествами о том, что их чудесный дом на краю утёса через пять лет смоем океан, что мать сопётся, что невинная ежевечерняя игра в бэзгамон сведёт его родственников с ума, больше напоминает самого Чивера на пике его мизантропии. И когда рассказчик, доведённый до ярости чернотой, текущей из его брата, наносит ему на пляже удар палкой по голове, мне всегда казалось, что этот удар автор наносил себе – тому себе, который, сам того не желая, причинял столько горя и тоски самым близким для него людям.

БАС: Годы депрессии были унылой порой для Чивера. Рассказы не печатали, мелкие рецензии приносили гроши. Он мог бы умереть от голода в Нью-Йорке, если бы брат не подбрасывал ему по десять долларов в неделю. Другим спасительным поплавком оказался Яддо – Дом творчества для писателей, композиторов и художников, находившийся вблизи города Саратога. Директриса этого приюта для бедных муз ценила Чивера и старалась продлить его визиты. Но он часто искушал её терпение: купался в бассейне голым, выпивал, заводил любовные связи, удирал в город на ипподром и спускал на скачках последние деньги.

ТЕНОР: Одна из его возлюбленных вспоминала потом, что в его отношении к женщинам чувствовалась двойственность: с одной стороны, он жаждал их страстно, с другой стороны, тяготился своей зависимостью от этого влечения. Другая подруга навещала его в Вашингтоне, и, как только входила в квартиру, он тянул её на диван, и через пять минут всё бывало кончено. После этого ошастливленный Чивер отпускал девушку искать в городе других развлечений. Сам же впоследствии писал в дневнике: «Я хотел жениться почти на каждой девушке, с которой я переспал. Я хотел жениться и иметь сыновей и дом, и я категорически

отрицаю, что мною двигал только страх разоблачения, страх, что моя бисексуальность выплывет на свет».

БАС: В конце жизни Чивер написал роман «Фальконер», в котором гомосексуальная любовь была описана страстно и убедительно. Большой вопросительный знак неизбежно вырастал в голове каждого читателя. Корреспондентка журнала «Ньюсвик» (между прочим, собственная дочь Чивера) спросила его напрямую: «Были в вашей жизни случаи гомосексуальных отношений?» После некоторой паузы он сказал: «Да, таких случаев было немало – в возрасте от девяти до одиннадцати лет». Действительно, он любил шокировать знакомых рассказами о том, как они с одноклассником упоённо мастурбировали друг друга. Но после посмертного опубликования его дневников выяснилось, что эпизоды любовных отношений с мужчинами имели место на протяжении всей его жизни.

ТЕНОР: Встреча Чивера с будущей женой произошла в лифте. Мэри Винтериц работала секретаршей в заочной школе для начинающих литераторов, которая располагалась на том же этаже, что и контора литературного агента Чивера. Её сердце было отзывчиво на чужие несчастья, а молодой человек, оказавшийся перед ней, явно заслуживал сострадания: исхудавший, нервный и такой низкорослый, что рукава его пиджака закрывали кисти рук. Они начали встречаться, и вскоре обнаружили много общего: оба считали себя нежеланными детьми, оба знали, что такое бедность и одиночество, оба были страстными книгочеями с детства. Мэри снимала маленькую комнатёнку, и, как она рассказывала впоследствии, Чивер просто незаметно вселился туда. Доступа к кухне у них не было, и Мэри жарила бараньи рёбрышки на электрической плитке и варила горошек в кофейнике.

БАС: Они поженились в марте 1941 года. Саркастичный Чивер писал в дневнике, что настроению невесты подошла бы слегка видоизменённая подвенечная клятва: «Я *снисхожу* до того, чтобы принять тебя в качестве законного мужа». В декабре Америка вступила во Вторую мировую войну, и вскоре начинающий писатель Джон Чивер был превращён в начинающего солдата. Недостаток образования и низкий коэффициент интеллекта не позволили ему подняться по лестнице чинов. Долгое время он оставался рядовым, и его жалование в военном лагере было мизерным. Зато ему повезло быть переведённым в войска связи. Здесь его сослуживцами оказались такие литераторы, как Ирвин Шоу и Вильям Сароян. А 22-й пехотный полк, в котором Чивер служил до перевода, в 1944 году понёс тяжёлые потери при высадке в Нормандии и в последовавших боях

на полях Европы.

ТЕНОР: Перевод в войска связи не был случайным. В 1943 году издательство «Рэндом Хауз» выпустило первый сборник рассказов Джона Чивера «Как живут некоторые люди». Друзья уговорили влиятельного офицера в Вашингтоне прочесть его. Книга произвела такое сильное впечатление на майора Шпигельгласа, что он нажал на нужные пружины, и соответствующий приказ был отправлен в штаб 22-го полка. В том же году Мэри родила дочь Сьюзен, и счастливый отец чувствовал себя на седьмом небе. Только весной 1945 года ветры войны унесли его на Тихоокеанский фронт военных действий. Он видел истощённых жителей Манилы, бродящих среди разрушенных домов, необрунные трупы, бумажные японские деньги, плавающие в лужах, однако в настоящих боях участвовать ему не довелось.

БАС: Примечательно, что Чивер оказался почти единственным писателем своего поколения, в творчестве которого военные впечатления не оставили никакого следа. Хемингуэй, Мэйлер, Воннегут, Сароян, Шоу, Сэлинджер и многие другие пытались художественными средствами проникнуть в грозную тайну феномена войны. Чивер явно избегал этой темы так же, как он всю жизнь избегал соприкосновения со страстями политики. Только частный человек интересовал его и только во взаимоотношениях с другими частными людьми. Общественная сторона индивидуума для него не существовала. В дневнике он однажды записал: «У меня нет памяти на боль». Похоже, у него также не было памяти на военные и политические баталии, потрясавшие его современников.

ТЕНОР: Возможно, именно эта особенность сделала его в послевоенные годы любимым автором «Ньюоркера». Именно пристальное вглядывание в повседневную жизнь было характерным для рассказов, печатавшихся в этом журнале. Но Чивер умел разбавить реалистическую канву неожиданным вторжением фантастического элемента. В рассказе «Исполинское радио» (1947) герой покупает жене новый приёмник. Она пытается слушать музыку, но в звуки Моцартовского квинтета вдруг начинают вторгаться телефонные звонки, шум пылесоса в соседней квартире, постукивания поднимающегося лифта. Дальше – больше и хуже: из репродуктора доносятся голоса других обитателей дома, семейные ссоры, плач детей, любовные стоны, крики женщины, избиваемой сожителем.

БАС: Вернувшийся с работы супруг застаёт жену в слезах. «Зачем ты слушаешь, если это приводит тебя в такое расстройство? – восклицает он. – Я выложил четыреста долларов

за этот приёмник, чтобы ты могла получать удовольствие от музыки, а ты...» Но жена безутешна. Она обнимает мужа и взывает к нему: «Какая ужасная жизнь приоткрылась мне! Правда ведь, мы с тобой не такие?! И никогда не были такими. Мы всегда были добры друг к другу, и у нас двое замечательных детей, и в нашей жизни нет ничего тайного и грязного, и мы не проводим дни в ссорах из-за денег, и мы счастливы, правда ведь – мы счастливы?»

ТЕНОР: И тут муж срывается. Все накопившиеся в нём тревоги и обиды вдруг изливаются на жену. Почему она до сих пор не заплатила за платье, а ему сказала, что заплатила? И когда она научится бережнее обращаться с деньгами? Его положение на службе ненадёжно, фирма вообще может закрыться. «Ты ужасаешься тому, что соседи в квартире 11-С планируют присвоить бриллиант, потерянный их гостьей, а сама не отдала родной сестре ни цента из наследства, причитавшегося вам обоим. И хладнокровно пошла на аборт, убила нашего ребёнка!»

БАС: Чивера не зря сравнивали с Чеховым. Такое же пристальное вглядывание в людские слабости, душевную мелкость окружающих, в убожество жизни, часто спрятанное за приукрашенным фасадом. «Ведь мы не такие!» восклицает жена, но рассказ – устами мужа – безжалостно отвечает: «Такие – и даже хуже». Не исключено, что многих читателей привлекал именно этот грустный взгляд писателя на мир.

ТЕНОР: И всё же Чивер никогда не принимал позу сатирика-моралиста, выносящего обществу безжалостный приговор. Во всём его творчестве лейтмотивом проходит порыв человеческой души – столь свойственный и ему самому: *стать лучше*. В начале 1950-х в его дневнике появилась такая запись: «Я приближаюсь к моему сорокалетию, не свершив ничего из того, что я был намерен свершить. Не достиг даже творческого совершенства, над которым я бился всё это время. Убогое положение, занимаемое мною, – не результат злой судьбы, а моя вина. Где-то в середине пути мне не хватило сметки и мужества овладеть тем, что было мне дано... Мелкость, посредственность моих трудов, безалаберность моих дней – из-за всего этого мне так трудно вставать по утрам... Каждое утро я говорю себе: ты должен ковать крепче, работать напряжённее, оставить что-то, чем твои дети могли бы гордиться... Потом провожу пять-шесть часов за пишущей машинкой, в сломанном кресле, всё подвергая сомнению, начиная с себя, глядя, как рушатся стены моей души».

БАС: Легко себе представить, как человек столь безжалостный к себе мог обращаться со своими близкими. Жене приходилось терпеть постоянные сарказмы в свой адрес за плохо

приготовленную еду, за жалкую учительскую зарплату, за участие в организации «Женщины-избирательницы», за «неправильное» воспитание детей. Дочь Сьюзен росла упрямой, замкнутой, толстела на глазах и была трагически далека от той белокурой стройной красавицы, какой мечтал её видеть отец. Его любовь к ней выражалась бесконечными пощёлками, запираанием еды, поучениями, шлепками. От сына он требовал, чтобы тот участвовал в спортивных играх, улучшал отметки и перестал говорить и смеяться «как женщина». Сьюзен начала настоящую охоту за спрятанными крекерами, пирожками, шоколадками, сыром, рылась в шкафах и холодильнике и в результате съедала вдвое больше того, чего ей недодавали за столом. «Это была война не на жизнь, а на смерть», – вспоминала она потом.

ТЕНОР: После двенадцати лет брака взаимное охлаждение супругов стало бросаться в глаза окружающим. Холодность жены рождала в душе чувство одиночества, одиночество нужно было глушит выпивкой, от выпивки учащались случаи импотенции, они, в свою очередь, усугубляли холодность жены. В какой-то момент они даже обсуждали возможность разойтись на время. Запись в дневнике: «Я – как заключённый, пытающийся сбежать из тюрьмы неверным путём. Возможно, дверь открыта, а я всё рою туннель чайной ложкой. И возможно, это только углубляет яму под моими ногами». И тут же – неожиданно – строчки полные нежности: «Мэри утром, спящая, выглядит, как та девушка, в которую я влюбился. Её круглые руки лежат поверх одеяла. Каштановые волосы рассыпаны. Непреходящее ощущение серьёзности и чистоты».

БАС: Дневник Чивера – это, конечно, произведение особого рода. Я бы поставил его в один ряд с дневниками Кьеркегора, Толстого, Кафки. Освобождённый от тревоги «заплатят мне за эти строчки или нет?» он даёт перу лететь по бумаге свободно, запечатлевая поток собственных чувств и порывов, со скоростью судебного стенографа. Сюда же влетают мимолётные впечатления, зарисовки уличных сценок, лиц прохожих и пассажиров в поезде, запах ветра с реки, стук каблучков по асфальту, женское плечо, покрытое загаром. Это у Хемингуэя он научился открывать колдовство, таящееся в нанизывании казалось бы случайных деталей, и наслаждаться им. Но именно дневник приоткрывает нам, как безнадежно он был прикован к самому себе. «Что я сейчас чувствую? Как выгляжу в глазах других? Как отнесутся ко мне эти люди? Где мне достать денег, чтобы оплатить растущую стопку счетов?» Даже когда он вопрошает, какими вырастут дети или как вызвать улыбку жены,

всё возвращается к нему, замыкается на нём самом: *мои дети, моя жена*.

ТЕНОР: Русский поэт Тютчев говорил, что цель его беспорядочного существования каждый день заключается в одном: избежать сколько-нибудь длительного общения с самим собой. Чивер же, наоборот, большую часть дня проводил наедине с собой. Даже когда он садился за пишущую машинку, ему было трудно отвлечься от себя и уделить достаточно внимания вымышленным персонажам. Именно поэтому из рассказа в рассказ у него кочуют те, кто оставил глубокий след в *его* душе: властная самоуверенная мать, брат, пытающийся поучать всех окружающих, печальная жена, обделённая чувством юмора, непослушная дочь, способная срезать отца убийственной остротой.

БАС: И ещё он очень боялся стареть. Герой рассказа «О, юность и красота!» пытается в сорок лет поражать друзей любимым трюком своей молодости: превращает домашнюю мебель в спортивные препятствия и устраивает забег, перепрыгивая по очереди через стул, кушетку, кресло, детскую кроватку, тумбочку. Силы и ловкость уже не те, он падает, ломает ногу, но не сдаётся. В конце рассказа жена, пытаясь дать сигнальный выстрел для очередного забега, случайно подстреливает мужа. (Не всплывает ли здесь опять тень Хемингуэя и несчастного мистера Маккомбера?) В других рассказах герои с тоской разглядывают в зеркале появляющиеся морщины, седые волосы, вылезший живот. Да и в жизни Чивер доходил до безрассудства, пытаясь доказать себе и другим, что птица юности не покинула его. Перенес тяжёлый инфаркт, он уже через неделю выпивал прежнюю дозу коктейлей, катался на велосипеде, купался в холодной воде и танцевал джигу на столе.

ТЕНОР: В течение двадцати лет Чивер пытался написать настоящий большой роман, и наконец его усилия увенчались успехом. Реакция критиков на выход «Хроники семейства Уопшотов» (1957) была смешанной. Один писал, что автору не удалось вырваться из традиций журнала «Ньюйоркер». Другой восхвалял роман как настоящую семейную сагу, разворачивающуюся в прибрежном городке к югу от Бостона, «блестяще сочетающую кипучую весёлость, печаль и нежность». Третий отмечал сюжетную разбросанность, выражал мнение, что роман похож на связку рассказов. Четвёртый объявлял автора – при всём его даре сатирика и стилиста – сентиментальным подростком.

БАС: В своё время я честно дочитал роман до конца, но далось мне это нелегко. Там время от времени всплывают картины,

написанные пером настоящего художника. Но неспособность – или нежелание – автора создавать сквозной сюжет рождала во мне ощущение обмана. Так бывает и в повседневной жизни: твой собеседник сопровождает рассказываемую историю вставными анекдотами, приятными улыбками, многозначительными паузами, мечтательным закатыванием глаз, и ты не сразу понимаешь, что по сути *ему нечего рассказать*. Он просто упивается потоком своей гладко льющейся речи, он любит говорить и радуется тому, что законы вежливости не позволят тебе просто встать и удалиться. Впоследствии я прочитал в дневниках Чивера, что он и сам чувствовал эту главную слабость «Хроники». Не раз он пишет про старого Уопшота: «Он неважен, он незначителен, он никому неинтересен. Любовь нигде не всплывает на этих страницах, и проза выглядит манерной».

ТЕНОР: Сыновья старшего Уопшота, Мозес и Коверли, пополнили толпу подростков, захлестнувшую американскую литературу в 1950-е годы. Холден Колфилд Сэлинджера, Лолита Набокова, Коллин Фенвик Трумена Капоте, Нил Клугман Филипа Рота и множество других – это всё ровесники и бунтари против мира родителей. Растущее благополучие в стране расширяло горизонты возможного для юного поколения. У многих теперь была *своя* комната, *свои* карманные деньги, *свой* радиоприёмник, порой даже *своя* машина. Литература, музыкальный мир, телевиденье, кино вынуждены были подстраиваться к вкусам пятнадцатилетнего потребителя. Вспомнить только такие фильмы, как «Вестсайдская история», «Бунтарь без причины», «На восток от Эдема».

БАС: Автор великолепных рассказов Джон Чивер в его попытках писать роман напоминает мне замечательного лодочного мастера, который бы поставил перед собой задачу пересечь океан. Лодочник не умеет строить большой корабль, но он тешит себя иллюзией, будто достигнет цели, связав между собой двадцать-тридцать отличных лодок. Именно таким сооружением представляется мне «Хроника семейства Уопшотов» – скоплением неоконченных рассказов о главе семейства, его жене, двух сыновьях, покинувших родной дом уже в первой части, эксцентричных тётках. Побочные персонажи появляются без всякой связи, исполняют свою короткую роль, иногда просто роняют две-три реплики и исчезают. Мы пытаемся проникнуться сочувственным интересом к главным героям, но и они, по авторскому произволу, пропадают на десятки страниц. Ветры большого повествования разрывают лодочную флотилию, выбрасывают на берег обломки.

ТЕНОР: Да, редакторы и критики не раз спрашивали автора, что стало, например, с девушкой Розали, покоровившей сердце старшего сына Мозеса? Куда девалась незаконная дочь главы семейства, Леандра Уопшота? Но Чивер отмахивался от их претензий и отказывался что-то менять в романе. В своих импровизациях он следовал художественному инстинкту, а не логике драматического действия. Когда персонажи наскучивали ему, он оставлял их и выводил на сцену других. Ему казалось, что в этом он следует примеру обожаемых им британских классиков: Филдинга, Стерна, Теккерея.

БАС: Большое место в романе занимают куски из дневников Леандра Уопшота. Их обрывистый стиль, с коротко обрубленными предложениями, напоминает стиль дневников самого Чивера. Ведение дневника занимало огромное место в его жизни. Он всюду возил с собой пачку тяжёлых блокнотов и заносил в них самые интимные мысли и переживания. Инстинкт не обманывал его – художественная насыщенность этих текстов была захватывающей. Но дневники Леандра, внешне похожие по стилю, оказываются скучным перечнем житейских мелочей, занимавших неинтересного старого человека. В них не было и тени душевной боли, безжалостного суда над самим собой, сверкающего на страницах дневника автора романа об Уопшотах. В лучшем случае – сентенции, прославляющие дар жизни и красоту мироздания.

ТЕНОР: Человек слаб и грешен, говорит нам Чивер, но *желание лучшего* никогда не умирает в нём. Каким-то образом его персонажи находят выход из бездны отчаяния и одиночества. После смерти старого Уопшота сыновья обнаруживают записку с наставлениями им: «Никогда не занимайся любовью, не сняв штанов... Пиво на виски – слишком много риска... Держись прямо. Восхищайся миром. Цени нежную любовь женщины. Полагайся на Господа». А недобрую богатую родственницу Джустину постигает кара: куратор из музея Метрополитен объявляет ей, что полотна Тициана и других итальянцев, которыми она так гордилась, являются подделкой. Но автору этого мало: он насылет на замок старухи пожар и сжигает его дотла.

БАС: Во время чтения романа я продолжал недоумевать, каким образом эта разваливающаяся конструкция могла завоевать успех у читателя, получить Общенациональную премию за лучшую книгу (1958), принести автору членство в престижном Институте искусства и литературы. И лишь в главе 34-й я нашёл возможное объяснение. Сто лет спустя после войны за освобождение негров в Америке XX века началась скрытая

гражданская война за освобождение от клейма позора адептов однополой любви. Среди образованных людей всё сильнее нарастало стремление защитить гомосексуалистов от гонений, помочь им обрести человеческое достоинство. В главе 34-й с большим сочувствием описаны гомосексуальные порывы, пережитые Коверли Уопшотом, а потом – и его отцом. «В том, кто любит, нет места для глупости и злобы», – говорит Уопшот-старший. Мне кажется, роман Чивера вынесло к славе таким же ветром, каким в своё время была вознесена «Хижина дяди Тома».

ТЕНОР: Действительно, в начале 34-ой главы автор честно предупреждает, что в ней речь пойдёт о гомосексуализме и предлагает тем, кого это не интересует, пропустить её. Так прямо коснуться этой темы до Чивера посмел только Джеймс Болдуин в книге «Комната Джованни», но её действие разворачивается во Франции. Когда молодая жена оставила Коверли Уопшота, он чувствовал себя очень одиноким. И ухаживания молодого начальника, его приглашение отправиться вместе на десять дней в Англию взволновали его. «В его глазах мир должен был быть таким местом, в котором подобный порыв не подвергнется бы осуждению». Но секунду спустя он представил себе, как, поддавшись порыву, он утратит любовь всех прелестных женщин, которых ему предстоит встретить в жизни, и отшатнулся от соблазителя. Спору нет, невидимая гражданская война продолжается и в наши дни, и в ней по-прежнему можно погибнуть, как это убедительно показано в фильме «Горбатая гора».

БАС: Соблазны кинематографа не миновали Чивера. Он боялся Голливуда, он видел череду писателей, чей талант был размыт служением целлулоидному идолу. Но безденежье донимало так сильно, что в конце 1960 года он принял предложение киностудии Фокс писать адаптацию романа Лоуренса «Пропавшая девушка». Оказавшись оторванным на шесть недель от семьи, он задыхался от одиночества в роскошном номере гостиницы в Беверли Хиллс и счастлив был встретить старого знакомого по Дому творчества в Яддо. В дневнике появилась запись: «Провёл ночь с К. К чему это может привести? Может быть, грех произошёл от стечения обстоятельств. Ведь это случалось всего три раза в моей взрослой жизни. Я знаю свою неуправляемую натуру и пытаюсь удерживать её рамками творчества. Искренне надеюсь, что это не повторится... Надеюсь, я не принесу боли тем, кого люблю».

ТЕНОР: Страх разоблачения преследовал Чивера всю жизнь. Но в конце 1950-х гомофобия в стране поднялась на новую

ступень. В штате Массачузетс однополая любовь считалась «отвратительным и постыдным преступлением против природы» и каралась тюремными сроками. Коллега Чивера по Совету управляющих колонии Яддо, профессор Арвин, попал в тюрьму за то, что у него нашли порнографические открытки гомосексуального характера. Семнадцатилетняя Сьюзен спросила у отца, как это могло случиться и почему этих людей преследуют так жестоко. Он не нашёл, что ответить, и вышел из комнаты сердитый и подавленный.



Чивер с женой Мэри

БАС: После рождения третьего ребёнка арендованный домик в окрестностях Нью-Йорка стал тесен семейству Чиверов, и решено было переезжать. Городок Оссининг на левом берегу Гудзона привлёк их внимание своими живописными улочками, обвивавшими прибрежные холмы. Вопрос, как всегда, упёрся в деньги. С конца 1940-х Мэри получала каждый квартал небольшие суммы из наследства, оставленного ей умершей бабушкой, но гордый супруг отказывался принимать эти деньги для хозяйственных нужд. Теперь накопленные десять тысяч пошли на уплату аванса, и в начале 1961 года семья вселилась в двухэтажный дом, окружённый вязами, имевший посреди участка пруд с игрушечным домиком для уток, фруктовый сад, луг и живые изгороди из тиса. Мэри была счастлива, а Джон говорил, что выплаты банку заставят его в течение ближайших двадцати лет писать по рассказу в неделю, а вечера тратить на сочинение пьес и сценариев.

ТЕНОР: Несмотря на расширение жизненного пространства, миру не суждено было установиться в семье. Подросшая Сьюзен больше не обливалась слезами, слушая попреки отца, а отбрывала его репликами, отточенными в долгий

семейной войне. «У тебя в разговорах всегда звучало только две струны, – говорила она. – Одна – история наших предков, другая – твоё детское чувство удивления перед миром. Но теперь обе струны порвались». Или: «Ты говоришь не то, что думаешь, и думаешь не то, что говоришь». Когда в доме гостил её друг-студент, Чивер следил, чтобы они спали в разных комнатах, требовал, чтобы не обнимались на диване в гостиной.

БАС: Поток попреков в адрес жены тоже не ослабевал. «Жить с интеллектуалкой, – писал Чивер, – это всё равно, что впустить в дом гремучую змею. Она не умеет сложить столбик простых чисел или постелить постель, но будет читать тебе лекции о внутреннем символизме произведений Камю, пока обед поджарит на плите».

ТЕНОР: Кипевшая ярость искала выхода. В рассказе «Океан» жена героя настолько рассеяна, что начинает поливать лужайку во время сильного дождя. Или случайно заправляет салат мужа не уксусом, а бензином. В другой раз, вместо соли и перца, сыпет в телячьи котлеты отраву против жуков. «А может, это уже не случайность, но преднамеренность?» – думает муж. В рассказе «Образованная американка» герой вынужден после рабочего дня сидеть с четырёхлетним ребёнком, убирать дом, чистить серебро, потому что жена погружена в благородные общественные кампании и в писание критической биографии Флобера. Однажды муж возвращается домой и обнаруживает ребёнка в жару, оставленного в спальне без присмотра. Оказывается, жена уехала в город на какой-то митинг, а нанятая присматривать девчонка ушла домой помогать матери. В конце безжалостный автор даёт ребёнку умереть.

БАС: По сути Чивер всю жизнь оставался моралистом, вообразившим, что он знает, какую роль положено играть каждому, и возмущавшимся, когда эта роль не выполнялась. Его дневник переполнен обвинениями себе за то, что он не достиг в семье и обществе статуса непререкаемого авторитета, не поднялся до уровня той роли, которую можно было бы считать достойной. Из этого постоянного мучения и родился, я думаю, один из лучших его рассказов – «Пловец».

ТЕНОР: По свидетельству Сьюзен, этот рассказ был уцелевшим обрывком сожжённого романа. Солнечное летнее утро наполняет сердце героя, Неда Меррилла, беспричинной радостью жизни, и в голове его рождается славная затея: оставить жену на попечении друзей, с которыми они накануне вечером слегка перебрали, и отправиться в свой дом ВПЛАВЬ! Да-да – плыть, переходя из бассейна в бассейн на участках многочисленных

богатых знакомых, населявших их округу.

БАС: Когда я читал этот рассказ в первый раз, мне по-детски хотелось, чтобы затея удалась. Чтобы в каждом доме друзья радовались появлению Неда, как это случилось в домах Грэхемов и Банкеров, угощали выпивкой, просили задержаться. Но когда он в середине пути наталкивается на дерево, окружённое опавшей жёлтой листвой (что случилось с летом?), на чью-то запертую калитку, на бассейн без воды, я понял, что путешествие в пространстве превращается в путешествие во времени. Стоя у дома Велчеров и глядя на объявление «продаётся», Нед пытается вспомнить, когда эти друзья решили расстаться со своим чудесным домом? И когда он с женой в последний раз отказался принять их приглашение на обед? Неделю назад? Месяц? Год?



Джон Чивер с дочерью Сьюзен

ТЕНОР: Именно в этой сцене в голове героя всплывает вопрос, который Чивер должен был много раз задавать себе: «Неужели моя память слабеет? Или я так упорно дрессировал её не помнить ничего неприятного, что разрушил её способность отличать фантазии от правды?» В очередном доме хозяйева пытаются выразить ему сочувствие по поводу обрушившихся на него бед – он заявляет, что не понимает, о чём они говорят, что никогда он свой дом не продавал и что с детьми не случилось ничего плохого. Они ждут его дома и встретят, когда он завершит свой оригинальный заплыв.

БАС: Солнце сменилось холодным ветром с дождём, мускулы пловца ослабели, он уже с трудом – пользуясь лесенкой, такой позор! – вылезает из очередного бассейна. В какой-то момент ему нужно пересечь двухполосное шоссе, и он вынужден долго стоять на обочине в своих мокрых трусах, а из пролетающих

машин его осыпают насмешками, кто-то запускает консервной банкой из-под пива. Потом он оказывается в общественном парке и плывет в бассейне для отдыхающих, натываясь на других купальщиков, держа голову над сильно хлорированной водой, подчиняясь грубым командам спасателей на вышках. И, наконец, финал: в холодных сумерках Нед подходит к своему дому и видит, что оборванный ветром жёлоб повис над окном, ворота гаража поржавели, все двери заперты. Дом тёмный и пуст. И судорога сострадания сжимает сердце читателя.

ТЕНОР: Рассказ имел огромный успех, Голливуд снял фильм по нему с Бертом Ланкастером в главной роли. В 1964 году вышел роман Чивера «Скандал в семействе Уопшотов», два новых сборника рассказов. Журнал «Тайм» напечатал большую статью о нём, поместил портрет на обложке. Впервые бедность отступила, пришло признание, и семья Чиверов получила возможность путешествовать по свету. Они побывали в Италии и Египте, Японии и Корее, Англии и Испании, отдохнули на Майорке и Кюросао.

БАС: В Советской России у Чивера сложилась репутация критика американского общества, и он трижды побывал там по приглашению Союза писателей, подружился со своей переводчицей, Татьяной Литвиновой. Его гонорары в рублях невозможно было превратить в твёрдую валюту и увезти из страны. Закупив достаточное число меховых шапок и деревянных матрёшек для подарков, он предложил оставшиеся деньги Литвиновой, чтобы та могла хотя бы купить себе пальто. Но та заявила, что подаренные деньги она потратит на поддержку подпольных публикаций Самиздата. Чивер, всеми силами избегавший вмешательства в политику, дарить деньги не стал.

ТЕНОР: Просветы появились и в делах амурных. Жизнерадостная вдова, Сара Спенсер, жившая неподалёку, многие годы, получая «Ньюйоркер», первым делом искала в нём рассказы Джона Чивера. Познакомившись с ним и узнав, что он чувствует себя ужасно одиноким, потому что жена отправила его спать в другой комнате, она предприняла необходимые шаги, чтобы развеять его одиночество.

БАС: В дневнике появилась запись: «Я пригласил её в ресторан в Покипси, а потом мы устроили весёлую борьбу на её кушетке... “Вам бы нужен молодой человек, а не я”, говорю я ей. “И два, и три, и четыре молодых человека”, отвечает она». Чивер даже сознался ей в своих гомосексуальных порывах. Но разбитная вдова заверила его, что это вздор, что она в жизни не встречала мужчину, умеющего так откликаться на женские ласки. Видимо,

импотенция как-то испарилась под гостеприимной крышей миссис Спенсер.

ТЕНОР: В эти же месяцы способность Чивера влюбляться в мужчин тоже была вознаграждена. В писательской колонии Яддо он встретил старого знакомого, композитора Неда Рорена, который к тому времени привлёк к себе внимание как автор весьма откровенной книги о геях. В течение недели двое были неразлучны: разъезжали по округе в автомобиле Чивера, пикничковали, пили джин из термоса, занимались любовью два-три раза в день и однажды настолько забыли об осторожности, что устроились под столом для пинг-понга. Правда, впоследствии Рорем не без удивления вспоминал, что из всех анатомических даров ему доставался только рот возлюбленного – ничего другого.

БАС: Зато на литературном фронте дела вскоре опять пошли вниз. Завершение романа «Скандал в семействе Уопшотов» сам Чивер так комментировал в своём дневнике: «Когда я дописал его, моим первым инстинктивным порывом было покончить с собой или сжечь рукопись». Пять лет спустя был закончен и опубликован роман «Буллит-Парк». Про это произведение один критик писал, что оно перегружено чёрным юмором, другой – что в погоне за диковинным и абсурдным автор уже окончательно махнул рукой на правдоподобие. Пока я читал «Буллет-парк», мне несколько раз хотелось снять телефонную трубку, позвонить Чиверу и спросить: зачем вы заставили меня читать первую главу про семейство Хаммеров, покупающих дом в городке, если потом они исчезают из повествования на сто двадцать страниц? Только я проникся сочувствием к семейству Нейлсов и их заболевшему сыну-подростку, как они провалились в небытие на восемьдесят страниц. И эти восемьдесят страниц будут посвящены воскресшему Хаммеру, разъезжающему по всему свету в поисках какой-то жёлтой комнаты. Только для того, чтобы на последних двадцати страницах свести оба семейства в нелепом эпизоде: обезумевший Хаммер пытается совершить ритуальное убийство сына Нейлсов путём сожжения его на церковном алтаре. Неужели вам, наплевать, верит читатель вашему рассказу или нет?

ТЕНОР: Мне кажется, беда Чивера-романиста и беда Чивера-человека выросли из одного корня: всякий новый знакомый и всякий выдуманный персонаж *слишком быстро наскучивали ему*. Бесконечное многообразие человеческих чувств и характеров не увлекало его. Живых людей он провоцировал сарказмами и всякими едкими замечаниями, чтобы сделать их поинтереснее для себя, персонажам приписывал всякие экстравагантные поступки и черты, чтобы заинтересовать

читателя.

БАС: Кажется, он воображал, что всем людям свойственны одни и те же желания и все эти желания ему заранее известны: иметь хорошую работу или капитал, хорошее жильё, почётное положение в обществе, любовь жены и детей, успех у женщин, крепкое здоровье, привлекательную внешность. И в этом убеждении он был очень близок тысячам благодарных читателей журнала «Ньюйоркер».

ТЕНОР: В его произведениях почти нет героев, увлечённых какой-нибудь абстрактной идеей, забывающих себя в благородно-жертвенном порыве или в религиозном экстазе. Попытки жены Мэри принять участие в общественной жизни только раздражают его, порыв дочери ехать в Южные штаты, чтобы принять участие в борьбе за права негров, вызывает град насмешек.

БАС: К писателям, пытавшимся выйти за рамки маленького индивидуального «я» он относится с открытой враждебностью. В какой-то момент пишет эссе «Чего никогда не появится в моём следующем романе», куда включает пародию на Холдена Колфилда. В письме редактору «Ньюйоркера» называет Сэлинджера «шестисортным». В рассказе «Мир яблок» явно выводит в пародийном виде Роберта Грейвза, знаменитого мэтра британской литературы, автора исторического бестселлера «Я, Клавдий» и множества других книг и сборников стихов.

ТЕНОР: В этом рассказе старый поэт Аза Баскомб вот уже сорок лет живёт в уединённой вилле в горах Италии (Грейвз жил на Майорке) и снисходительно принимает текущих к нему поклонников. Рисуя внутренний мир поэта, Чивер явно наделяет его всеми слабостями и порочными порывами, присущими ему самому. Баскомб увенчан многими литературными наградами, призами и медалями, но тоскует по Нобелевской премии. Проснувшись ночью, он с ужасом осознаёт, что не может вспомнить имя Байрона и наутро начинает отчаянно тренировать свою память. Вместо весёлых детских стихов из-под его пера вдруг начинает выползать похабщина и порнография. В общественном туалете он любит идиотским лицом педераста, за деньги предлагающего себя всем желающим. На концерте классической музыки занимает себя тем, что мысленно раздевает певицу. Баскомб мечется: где искать спасения от этого наваждения?

БАС: Только в церкви – туда автор и приводит своего героя. Религия занимала важное место в жизни Чивера. Молитва перед трапезой была обязательным ритуалом в его доме. В 1955

году он прошёл обряд конфирмации. В дневнике и письмах друзьям объяснял, что главным импульсом для этого было безмерное чувство благодарности Творцу за дар жизни. В том числе – и благодарности за любовный экстаз. «Прожив много лет как гибрид человека и таракана, я обнаружил недавно, что таракан исчез... В нашем появлении на свет таится любовь, даже если мы были зачаты дряхлой парой в дешёвом отеле». В церкви он посещал раннюю службу, потому что в неё не включалась проповедь. Его литературный вкус не позволял ему примириться с тавтологией и грамматическими ошибками, делаемыми проповедником.

ТЕНОР: И всё же религия не могла помочь Джону Чиверу в безжалостной войне, которую он вёл с собой каждый день. «Нет, сегодня я не прикоснусь к спиртному до самого ланча. Ну, хорошо – дождусь полудня и там позволю себе один стаканчик. Нет-нет, глоток джина, который я сделал, поднимаясь в спальню, не засчитывается.» На следующий день первый стаканчик не прорваться уже за завтраком, а дальше следовали другие. Очень часто необъяснимые вспышки его раздражения против домашних происходили от того, что он искал возможность проскочить мимо них к буфету или в кладовку. Бутылки с джином и виски запасливо прятались в платяном шкафу, в письменном столе, на книжных полках, даже в кустах рядом с автомобильным въездом.

БАС: Попытки обращаться к психиатрам не приносили успеха. «О чём я буду с ними беседовать, если они не читали моих книг? – жаловался Чивер. – Они не читали даже Диккенса, Флобера, Гончарова. Единственное, о чём они хотят говорить, – моя мать. И пытаются убедить меня, что я ненавижу женщин. Смешно! Знали бы они, какое любовное письмо я получил вчера от Хоуп Ланге!» Под свои частые измены он подводил теоретическую базу. Вина за них лежала не на нём, а на обществе, которое упрямо пыталось сохранять мораль ушедшей в прошлое эпохи. Раньше пожизненный союз мужчины и женщины был необходим для успешного выращивания урожая и воспитания детей. В индустриальную эпоху, когда работа разбрасывает членов семьи порой на недели и месяцы, порой на десятки и сотни миль, соблюдать правила моногамного супружества практически невозможно.

ТЕНОР: Роман Чивера с актрисой Хоуп Ланге тянулся штрихпунктиром через многие годы. После того как она разошлась со своим мужем, режиссёром Эланом Пакулой, они встретились в Нью-Йорке, и это событие было отражено в дневнике Чивера: «Мы содрали одежду друг с друга и славно провели три или

четыре часа, перемещаясь с дивана на пол и обратно. Я был не на высоте, но наплевать... Мы имели вдоволь всего: в ход шли пальцы, языки, титьки и попки, объятия до треска костей и серьёзные объяснения в любви». Хоуп потом отзывалась о Чивере с теплом, говорила, что это самый горячий мужчина из встреченных ею в жизни. Правда, слишком занятый собой, не очень отзывчивый на нужды партнёрши. «Мне он нравился, но жить с ним я бы не могла. В нём слишком много от школьника».

БАС: Вспомним, что в рассказе «Пловец» бывшая возлюбленная тоже говорит герою: «Когда ты повзрослеешь?». Ну, разве мог бы взрослый серьёзный мужчина, даже подвыпив, хвастаться своими любовными приключениями перед женой и детьми. «Он мог изменять, мог напиваться в городе, – рассказывала Мэри, – но к обеду всегда исправно возвращался домой.» Наблюдательная Сьюзен потом писала, что отец её не любил говорить о чувствах – только о фактах, событиях, сценках, поступках. Он был сосредоточен на том, что можно видеть, слышать, обнять, ощущать, мог подробно рассказать, *что* он проделывал с такой-то дамой в таком-то отеле, но не о том, какие эмоции это в нём пробуждало.

ТЕНОР: Устав от измен мужа, Мэри тоже завела роман с женатым чёрным публицистом и рассказывала о нём своему психиатру. Она стала нарядно одеваться, занималась йогой, аккуратно посещала парикмахерскую, писала стихи, которые впоследствии были опубликованы в сборнике под названием «Нужда в шоколаде». Мало того – она потеплела к собственному мужу и ненадолго вернула ему доступ к своей постели. Тот не мог поверить своему счастью, и это нашло отражение в дневнике: «Я оседлал мою возлюбленную и мы умчались в счастливое путешествие, какого у меня уже давно не бывало».

БАС: Из рассказа в рассказ у Чивера проходит образ жены, разочарованной в муже, недовольной своей судьбой, обуреваемой странными порывами. Муж же, как правило, видит себя бодрым, внимательным к жене и детям, разумным, немного опечаленным несовершенством мира. Но сын Федерико, слушая разговоры родителей за столом, однажды взял лист бумаги, написал на нём слева «он», справа – «она» и стал рисовать чёрные галочки под соответствующим местоимением каждый раз, когда один из собеседников наносил другому словесный укол. Через полчаса под «он» скопилось 25 галочек, а под «она» – только три.

ТЕНОР: Жалобы на одиночество – лейтмотив всего творчества Чивера, его дневников и писем. Он активно общался с сотнями людей, но это общение часто нагоняло на него скуку.

Похоже, он часто говорил окружающим неприятные вещи только для того, чтобы придать общению остроту, разрушить пресность разговоров о погоде и процентах на закладную. Люди отшатывались от него, и так это и тянулось по кругу: спасаясь от дракона одиночества, он попадал в пещеру дракона скуки, вступал с ним в сражение, побеждал, но при этом снова оказывался один на один с самим собой.

БАС: Смены настроения у отца болезненно били по детям. Сьюзен доставалось за то, что у неё долго не было ухажёров. Потом ухажёры появились, дочь приводила их в дом, но Чивер обращался с ними коварно: приглашал, например, вместе косить луг или пилить поваленное дерево и там, наедине, говорил им что-то такое, что они уходили взбешёнными. Старший сын, Бен, тоже приводил в дом своих друзей и подруг, но доставало и им. В одного начинающего поэта Чивер вдруг запустил стаканом из-под виски. Подругу, пытавшуюся защищать Бена, обозвал «шлюхой». Когда Бен женился, молодые долго бедствовали, и сыну часто приходилось просить денег у отца. Чивера возмущали не сами просьбы, а то, что они делались – как он полагал – по требованию жены. («Не сумел поставить себя в семье!») Младший сын, Фред, уже в тринадцать лет был ростом выше отца и мог отпихнуть его, если тот слишком донимал его попреками и угрозами.

ТЕНОР: С одной стороны, детям в семье Чиверов с малолетства внушалось, что внешность неважна, а главное – суть, душа человека. С другой стороны, делясь впечатлениями о встреченных людях, отец давал в первую очередь внешние приметы. Женщина была либо «очень привлекательна», либо «выглядела классно», либо была «шикарной блондинкой», либо была никем. Мужчина был либо «одет с иголочки», либо имел «отличный загар», либо «тюремную бледность», либо «бегающие глаза». «Выглядеть кем-то важно потому, что это отражает внутренние достоинства», объяснял он окружающим.

БАС: Заповеди достойного поведения, внушавшиеся ему отцом, Чивер старательно передавал своим сыновьям. Первая была: «никогда не делайте женскую работу в доме». Вторая: «никогда, ни в коем случае не занимайтесь мастурбацией; это саморазрушительно, это закрывает вам путь к женщине!» Каково же было их удивление, когда после смерти отца из его дневников они узнали, что сам он предавался этому пороку вполне регулярно. Одна из записей: «Во время суходрочки я воображаю, как скоро окажусь между ног Хоуп или в горле у Неда». В другом месте он сознаётся, что ему необходимо два-три оргазма в неделю. А как их получить, если жена так холодна и неприветлива?

ТЕНОР: В 1971 году Чивер вдруг нашёл себе странное занятие: стал вести литературный кружок в тюрьме Синг-Синг. Отчасти его вдохновил на это пример Чехова, который вдруг оставил на время писание рассказов и отправился в далёкое путешествие, чтобы увидеть своими глазами каторгу на острове Сахалин. Чиверу не пришлось покрывать тысячи миль, тюрьма располагалась прямо в Оссининге, но была местом не менее опасным, чем Сибирь с её морозами и медведями. Как раз в те месяцы взбунтовались заключённые одной из тюрем на севере штата, и администрация Синг-Синга боялась, что огонь бунта перекинется и на их заведение. Заключённые, являвшиеся на занятия в литкружок, говорили Чиверу: «Из тебя получится отличный заложник».



Бен Чивер, сын

БАС: Большинство обитателей тюрьмы были чёрными или латиноамериканцами. Литературных способностей они не проявляли, приходили в основном, чтобы спорить и переругиваться. Но Чивер ощущал странную близость с ними, всегда принимал их сторону в их стычках с надзирателями и администрацией. Сюзен потом писала в своих воспоминаниях: «Отец отождествлял себя с заключёнными. Как и они, он был одновременно виновен и неповинен, как и они – отрезан от общества, отделён от него, но только не решётками и вооружёнными охранниками, а чем-то посложнее».

ТЕНОР: С одним из «студентов» по имени Доналд Ланг у Чивера завязались дружеские отношения. Поначалу тот отнёсся к преподавателю с недоверием, считал, что он является в тюрьму только для того, чтобы было о чём рассказывать на светских вечеринках. Но постепенно лёд таял, и в какой-то момент Ланг

сказал Чиверу: «Всё же не понимаю, где такой шибздик, как ты, набирается духу являться в наше разбойничье гнездо».

БАС: Впоследствии Чивер способствовал условно-досрочному выпуску Ланга из тюрьмы, помогал ему найти работу и жильё, даже купил автомобиль. Это из разговоров с Лангом он черпал яркие описания тюремной жизни, которые потом всплывут в романе «Фальконер». На счастье Чивера и его семьи доброта по отношению к закоренелому преступнику не привела к трагическому исходу, как это случилось с Норманом Мэйлером десять лет спустя. Мэйлер опубликовал свою переписку с сидевшим пожизненно убийцей Генри Эбботом. Книга стала бестселлером, либеральному истеблишменту удалось добиться выпуска заключённого. Выйдя на свободу, тот вращался в литературных кругах, заводил романы, шатался по ресторанам. Но уже через три месяца натура взяла своё, и Эббот ни за что, ни про что, на глазах у прохожих, зарезал юношу-официанта.

ТЕНОР: Среди заключённых Чивер чувствовал себя на месте, но попытки преподавать в университетах безотказно приводили к резкому подскоку ежедневных доз алкоголя. Мне кажется, нехватка формального образования делала для него, при его самолюбии, пребывание в академической среде мучительным. Деньги он тратил безалаберно, роман «Буллит-Парк» успеха не имел, и в начале семидесятых он снова был беден, оттеснён в тень, поэтому согласился вести курс в университете штата Айова. Однако летом 1973 его сразил первый инфаркт, и преподавательская карьера повисла на волоске.

БАС: В больнице у пациента начались галлюцинации. Ему казалось, что он в российской тюрьме в Москве и что по коридору больницы проезжают не контейнеры с обедом для больных, а тюремные фургоны с арестованными. Он рвался убежать, сдирал с себя провода датчиков и кислородные трубки, так что его пришлось привязать к кровати. Сьюзен принесла газету с хвалебной рецензией на сборник рассказов – он вообразил, что ему подсовывают протокол его признаний в шпионаже для подписи, и швырнул газету на пол.

ТЕНОР: Всё же, оправившись от инфаркта, осенью он поехал в Айову и провёл там обещанный курс, а на следующий год поехал преподавать в Бостонский университет. Эпизоды, подобные тому, которым вы хотели бы начать биографический фильм о Чивере, случались там не раз. Всё закончилось тем, что Фред Чивер должен был приехать в Бостон, вынести на руках пьяного брата из квартиры и отвезти его домой. Джон Апдайк, из дружеских чувств, взялся довести студентов, записавшихся на курс

Джона Чивера, до конца семестра.

БАС: В апреле 1975 года случилось невероятное: Джон Чивер согласился пройти месячный курс лечения от алкоголизма в ньюйоркской больнице. Он оказался в одной палате с четырьмя другими алкоголиками, каждый из которых имел свою историю жизненного провала: неудачливый вор, разорившийся владелец кафе, безработный матрос, покрытый татуировкой, танцор, уволенный из балетной труппы. Ни пациенты, ни врачи слыхом не слыхали о литературных достижениях Чивера. Соседи по палате издевались над его странной манерой говорить, злились на ироничные смешки, выпускаемые им по самым неожиданным поводам. Наблюдающий врач записала в журнале: «Ему не нравится видеть себя в негативном свете, и он одновременно осмеивает манеры бостонского бомонда и пытается подражать им. Стараюсь уговорить его отказаться от позы фальшивой весёлости и стать вровень со своей человеческой природой».

ТЕНОР: Помогла ли работа врачей или в Чивере возродилась столь свойственная ему жажда жизни, но второе чудо произошло: он вышел из больницы излеченным. Ни капли спиртного в течение дня, а вечерами – посещения групп Анонимных алкоголиков, где участники обменивались рассказами о своей судьбе и помогали друг другу сохранять трезвый образ жизни.

БАС: Дочь Сьюзен однажды поехала с отцом на такое собрание и была поражена тем, что она там услышала. Впервые в жизни она столкнулась с взрослыми людьми, которые говорили о своих чувствах так, будто они несли ответственность за них, могли их как-то контролировать. В её кругу это было абсолютно не принято. Если она сердилась на своего возлюбленного за флирт с другой женщиной или впадала в панику, когда он проводил уикенд с женой и детьми, ей было привычно обвинить в своих страданиях его и только его. Бывшие же алкоголики рассказывали, как они пытаются изменить собственные реакции на происходящее вокруг них.

ТЕНОР: Сьюзен заметила, что изменилось и отношение отца к ней и к семье. «Казалось, он впервые стал замечать нас», пишет она. К жене Чивер старался быть внимательнее и добрее. Однажды, вернувшись домой, та рассказала, что видела в антикварном магазине вазу, которая ей очень понравилась, но показалась слишком дорогой. Чивер немедленно поехал в магазин и купил вазу для неё. Вскоре и творческие силы вернулись к нему, и он смог возобновить работу над романом «Фальконер».

БАС: Многие герои рассказов Чивера осуществляют те

порывы, которые он сам явно испытывал в душе, но не решался превратить в действие. В рассказе «Взломщик из Шейди Хилла» герой, оставшись без работы, по ночам залезает в дома богатых друзей и крадёт их бумажники. В рассказе «Просто скажи мне – кто?» ревнивец подходит на перроне к человеку, которого он подозревает в связи со своей женой, и без лишних слов сбивает его с ног ударом кулака. Героиня рассказа «Пять-сорок-восемь» под дулом пистолета заставляет лечь лицом в грязь начальника, который сначала соблазнил её, а потом уволил. В уже упоминавшемся рассказе «Прощай, брат мой» герой бьёт палкой по голове занудного брата. В романе «Фальконер» снова всплывает малоприятный брат. Но теперь палка превращается в кочергу, и брат погибает.

ТЕНОР: Я бы назвал этот роман «раскрепощением Джона Чивера». Впервые он позволил себе ничего не выдумывать, а писать только то, что ему довелось увидеть или испытать самому. Наркомана Фаррагута суд объявляет виновным в убийстве брата и отправляет в тюрьму Фальконер. Тюремный быт описан великолепно благодаря долгому общению с заключёнными Синг-Синга. Состояние наркомана, оставшегося «без заправки», с большим знанием дела воссоздано пером бывшего алкоголика. Снова всплывают мучительные отношения с братом, матерью, отцом, летают обвинения, уже знакомые нам по рассказам и дневникам.

БАС: Опять достаётся жене героя. В тюрьме Фаррагут вспоминает, как после тяжёлого инфаркта он был отправлен домой для выздоровления и зывал к жене, прося проявить хоть немного доброты к нему. «Доброта? – спросила жена. – Что ты сделал когда-нибудь для меня, чтобы заслужить мою доброту? Что я имела от тебя? Пустая и бессмысленная жизнь. Подённая, пыль, паутина. Автомобиль, который не заводится, и зажигалка, которая не загорается. Клинический алкоголизм и наркомания, переломы рук и ног, сотрясение мозга, а теперь ещё и сердечный приступ... Единственный выигрыш для меня от твоего пребывания в больнице: три недели стульчак в туалете оставался сухим...»

ТЕНОР: Любимая тема Чивера – тема одиночества – достигает апогея в тюремной обстановке. Бывшей мимолётной возлюбленной Фаррагут пишет: «Вчера вечером смотрел комедию по телевизору. Там показали, как женщина слегка тронула мужчину за плечо – только слегка, но я потом лежал в кровати и плакал». В середине романа – блистательное описание зарождающейся гомосексуальной любви, многими оттенками напоминающее отношения Чивера с его возлюбленными. Даже

чудесное освобождение героя из тюрьмы Чивер не стал выдумывать – взял готовым из «Графа Монтекросто» (беглец прячется в саване умершего соседа, и его выносят на волю).

БАС: Глубокие любовные переживания наполнили жизнь Джона Чивера с момента встречи с аспирантом Университета Айовы, Эланом Гурганусом, в 1973 году. Его письма к Элану полны неподдельной нежности: «Бесценный Элан, как приятно было получить твоё письмо и говорить с тобой по телефону. Это не стон отвергнутого любовника, но спокойный и ясный зов. Я так люблю тебя. Мне радостно знать, что ты существуешь, даже там, далеко, на берегах Айовы... Помнишь, я говорил, что всегда хочу оставаться любящим, но необязательно любимым? Это полная чепуха».

ТЕНОР: Гурганус был приветлив и почтителен с Чивером, но на его любовные призывы не откликался. Другое дело – Макс Зиммерман. К моменту встречи с Чивером в Университете Штата Юта (Солт Лэйк Сити) он успел покинуть сначала мормонскую церковь, потом – жену, потом – инженерную профессию, и целиком отдался литературе. Чивер взялся помогать ему на этом пути, уговорил покинуть Юту ради Восточного берега, устроил ему место в колонии Яддо. Хотя тридцатилетний Макс без большого энтузиазма принимал ласки шестидесятипятилетнего возлюбленного, их роман продолжался до самой смерти Чивера, и в дневниках обоих этим отношениям посвящено много страниц.

БАС: По мере своих сил Чивер помогал карьере своих возлюбленных. Рассказ Гургануса он устроил в «Ньюйоркер», Зиммера ввёл в литературный мир, рекомендовал издателям его произведения. Но сам угрызался порой корыстностью своих усилий. В дневнике писал: «Как жестока, ненатуральна и черна моя любовь к З[иммеру]. Я пожираю его молодость, загоняю в трагическую изоляцию, лишаю собственной жизни. Любовь должна была бы учить, показывать нашему возлюбленному то, что мы знаем об источнике света». Но и Макс тяготился иногда положением, которое он занял в доме Чивера. «Раз он решил, что это нормально для меня находиться рядом с его женой и детьми, я тоже принял это как нормальное положение дел... Наверное, так ведут себя люди на Восточном берегу, думал я. Но сидеть за семейным столом всего лишь час спустя после того, как мы занимались наверху любовью, мне было мучительно тяжело».

ТЕНОР: В середине марта 1977 года вышел номер «Ньюсвика» с портретом Чивера на обложке и с интервью, которое он дал Сьюзен для журнала. Мгновенно продажа романа «Фальконер» подскочила под небеса. Первые 25 тысяч

экземпляров исчезли из магазинов, и «Кнопфу» пришлось срочно допечатать ещё восемьдесят тысяч в твёрдой обложке. Критики состязались в восхвалениях. Три недели роман продержался на вершине списка бестселлеров. Последовавшее издание в мягкой обложке разошлось тиражом триста тысяч.

БАС: Чивер не любил возвращаться к старым вещам, предпочитал жить сегодняшним и завтрашним днём. Поэтому издателям пришлось долго уговаривать его на публикацию большого сборника его рассказов. Выпущенный в 1978 году семисотстраничный том имел ещё больший успех, чем «Фальконер». Последовавшие торжества и почести можно было сравнить с коронацией. Ассоциация критиков объявила сборник лучшей книгой года, в обход таких произведений, как «Мир глазами Гарпа» Джона Ирвинга и «Переворот» Джона Апдайка. Гарвардский университет присвоил звание почётного профессора. Издательство «Кнопф» подписало договор на следующий роман, уплатив аванс в пятьсот тысяч долларов.

ТЕНОР: В большом сборнике есть рассказ, который называется «Метаморфозы». Он, мне кажется, таит в себе ключ к пониманию главного приёма Чивера-прозаика. Рассказ представляет собой серию маленьких новелл, переносящих античные мифологические сюжеты, собранные Овидием, в XX век. Одна из новелл, например, повествует об успешном сотруднике финансовой фирмы, его жене и детях, его богатом доме, собаках, яхте. У него случается маленькая неприятность на службе: он, не постучавшись, зашёл в кабинет начальницы в тот момент, когда она, совершенно обнажённая, обнимала директора фирмы. После этого начинаются странные явления: где бы герой ни наткнулся на собак, они начинали рычать и лаять на него. Новелла кончается тем, что собаки загрызли до смерти Ларри Актеона. Здесь фамилия-подсказка помогает читателю вспомнить миф о Диане-Артемиде, которую подкравшийся охотник Актеон увидел купающейся и которая покарала его за это. Но во многих других рассказах фантастично-сказочное так искусно спрятано за ширмой дотошно реалистического, что читатель не замечает момента, когда его вводят в миф, и с доверием проникается его драматической красотой.

БАС: Похожую двойственность, а вернее – многослойность, мы находим и в стилистике Чивера. Её колдовство заключается в том, что любая фраза, начавшаяся в ключе обыденного, может вдруг – без всякой причины – распуститься поэтическим цветком. В рассказе «Пловец» описывается приближение дождя: «Внезапно начало темнеть; это

был тот момент, когда остроголовые птички перестраивают свою песнь в уверенное и щемящее приветствие надвигающемуся шторму». Магией рассказчика птицы превращаются в соучастников человеческой драмы, и это переносит повествование из бытового слоя в бытийный, готовит читателя к вторжению *мифа о пловце в никуда*. В другом рассказе для описания ночи в обычном американском посёлке вдруг, без всяких объяснений, врываются призраки далёкого прошлого: «в такие ночи короли в золотых доспехах пересекают горы на слонах».

ТЕНОР: Чтобы уходить от плоской однозначности, чтобы не быть предсказуемым, Чивер часто вводит интонацию *вопрошания*. И в дневниках, и в художественных произведениях мы на каждой странице наталкиваемся на вопросительные знаки. В том же абзаце, откуда вы взяли цитату о птицах, встречающих шторм, далее следуют вопрошания героя, обращённые неизвестно к кому: почему я люблю грозу? почему простое дело захлопывания дверей и окон наполняет меня радостным возбуждением? откуда берётся уверенность в приближающихся счастливых переменах при звуке первых капель дождя?

БАС: Возвращаясь к роману «Фальконер», я бы так определил его суть: это история узника, рвущегося на свободу. Только тюрьма, в которой Чивер ощущал себя заключённым, построена не людьми. Её стены, балки и решётки выстроены из каких-то глубинных основ человеческого бытия. Большинство людей легко смиряется с этим и спешит устроиться внутри стен с минимумом неудобств. Только не Чивер. Он рвётся на волю неразумно, безнадежно, отчаянно. Огромный читательский отклик на роман я готов объяснять тем сочувствием, которое каждый из нас испытывает к попытке смелого беглеца: удастся или нет?

ТЕНОР: В привычных нам категориях реальной жизни мы можем сказать, что попытка не удалась. Ни мировая слава, ни богатство не принесли Чиверу спасения от чувства одиночества, томившего его всю жизнь. Когда он умирал от рака летом 1982 года, жена и дети сменялись у его постели, сотни друзей и читателей справлялись о ходе болезни, десятки газет готовили места для некролога. Но и на смертном одре он не мог удержаться от сарказмов в адрес близких. «Как это умно с твоей стороны, Сузи, предположить, что я просил не просто выключить нагреватель, а также выдернуть штепсель из розетки». И дочь поневоле вспомнила сотни подобных замечаний, начинавшихся с «как это умно с твоей стороны», и сердце её сжалось тоской.

БАС: Тем не менее, после смерти отца дети делали всё возможное, чтобы память о нём не умирала. В 1884 году Сьюзен

опубликовала воспоминания под названием «Домой до темноты». В 1988 году под редакцией Бена вышли избранные письма Чивера. Затем дошла очередь и до дневников. Чивер при жизни обсуждал с сыном возможность их издания и был очень рад получить от Бена поддержку этой идеи.

ТЕНОР: В 1990 году Сьюзен устроила аукцион. Она пригласила видных издателей в свою квартиру, где на столах были разложены все 28 заполненных блокнотов. Приглашённым была дана возможность знакомиться с текстами в течение нескольких часов. Один из них писал впоследствии: «Впечатление от дневников осталось гнетущее. Жизнь Чивера предстала передо мной как шатания между отчаянием, тоской и беспричинной эйфорией, кончавшиеся обычно мастурбацией и бутылкой».

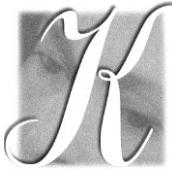
БАС: Но, ко всеобщему изумлению, представитель издательства «Кнопф» предложил купить право на издание за миллион двести тысяч долларов. Сделка совершилась, и книга сначала появилась отрывками в «Ньюйоркере», а в 1991 году вышла отдельным томом. Скандал был немалый, одни ругали и возмущались, другие хвалили искренность автора и смелость издателей. А были даже такие, которые ставили «Дневники» в один ряд с «Исповедями» Блаженного Августина, Руссо, Толстого.

ТЕНОР: В финале романа «Фальконер» Фаррагут, сбежавший из тюрьмы, встречает в ночном городе человека с чемоданом и горой всяких пожитков у ног. В ожидании автобуса двое разговорились, и человек рассказал свою печальную историю. Его выселили из квартиры. Нет, не за просроченную плату – деньги у него есть. Но хозяйка дома, из тех вечных вдов, которые остаются вдовами даже если их муж сидит на кухне и пьёт пиво, которые ненавидят жизнь в любой её форме, цвете и запахе, объявила его нарушителем мира и спокойствия. «Меня выселили за то, что во мне есть всё, что свойственно человеку, – объяснял новый знакомый. – Я произвожу шум, я иногда кашляю по ночам, иногда насвистываю, занимаюсь йогой. Шум, выпускаемый мною, расходится вверх и вниз по лестнице, и за это меня выселили из квартиры». Не скрыт ли в этом персонаже печальный автопортрет Чивера, каким он видел себя? Постоянно «выселяемым», вытесняемым из мира за то, что не умел подавлять в себе нормально общечеловеческое и тем самым превращался в «нарушителя мира и спокойствия»?



Лариса Миллер

«СТИХИ ГУСЬКОМ»



нига VIII: апрель 2012 г. – май 2012 г.

«Стихи гуськом. Книга VII (февраль – март 2012 г.):»
«Стихи гуськом. Книга VI (декабрь 2011 г. – январь 2012 г.):»
«Стихи гуськом. Книга V (октябрь-ноябрь 2011 г.):»
«Стихи гуськом. Книга IV (август-сентябрь 2011 г.):»
«Стихи гуськом. Книга III (июнь-июль 2011 г.):»
«Стихи гуськом. Книга II (апрель-май 2011 г.):»
«Стихи гуськом. Книга I (февраль-март 2011 г.):»

31 мая 2012 г.

Тоска, ты посягаешь на минутки,
Часы мои и дни? Не выйдет. Дудки.
Уже я отдала тебе, тоска,
Расцвет и зрелость – лучших два куска.
Хоть ты и говоришь, что обнищала,
Я срок остатний счастьем обещала.
2012

29 мая 2012 г.

Ох, какого же ты напустила туману,
Жизнь моя! Мне туманности не по карману.
Я прозрачности, ясности полной хочу.
Очевидности жажду. А впрочем, шучу.
Я люблю закидоны твои, заморочки.
Мне по нраву тот факт, что не ставишь ты точки,
Что беседы с тобою теряется нить
И не ясно помиловать хочешь? Казнить?
2012

Гуси-лебеди летят
И меня с собой уносят.

Коль над пропастью не сбросят,
То на землю возвратят.

Но отныне на века —
Жить на тверди, небу внемля,
И с тоской глядеть на землю,
Подымаясь в облака.
1975

28 мая 2012 г.

Не пойму, где кончаешься ты,
И где я начинаюсь.
Если жить не отчаешься ты,
То и я не отчаюсь.
Коль поднимешься завтра чуть свет,
То и я встану тоже.
Без тебя меня попросту нет
И не будет, похоже.
2012

27 мая 2012 г.

Мне с жизнью не скучно один на один,
Не скучно нисколько.
Мы с нею давно друг на друга глядим.
Ах, дали бы только,
Позволили б только с ней наедине
Остаться подольше.
Подобного случая видимо мне
Не выпадет больше.
И, глядя как жизнь поднимает крыла
И машет крылами,
Увлечься хоть сколько-то я не смогла
Другими делами.
2012

25 мая 2012 г.

А я и не думаю бегать за ним.
Оно за мной бегаёт круглые сутки.
Для отдыха нет у него ни минутки.
Оно называется счастьем моим.
То вдруг зажурчит, как весенний ручей,

То, птицей прикинувшись, звонко поддакнет,
То рифмою вспыхнет, то весело звякнет
От рая домашнего связкой ключей.
2012

24 мая 2012 г.

Я жить хочу. Хочу. И даже очень.
Но только на условиях своих:
День должен наступать для нас двоих,
И нас двоих должны баюкать ночи.
И эти птицы - я так рада им -
Они слышны должны быть нам двоим.
2012

22 мая 2012 г.

Не объявить ли забастовку?
Не сочинить ли нам листовку?
Мол, всё. Перестаём стареть.
И умирать не станем впредь.
Не будь мы вялы и инертны,
Мы были бы давно бессмертны.
2012

21 мая 2012 г.

Казалось в детстве, что любая дверь
Ведёт туда, куда мне очень надо.
И, вроде, я давно уже не чадо,
Но верю в то же самое теперь.
Хоть эта вера - знаю я сама -
Совсем не признак зрелого ума.
2012

20 мая 2012 г.

Цветы я люблю, но от них я в слезах.
Они ведь умрут у меня на глазах.
Всем видом своим они ночью и днём
Меня уверяют: «Всё бренно, всё бренно».
Внушают: «Всё бренно, всё бренно кругом».
А я так хочу говорить о другом.
2012

18 мая 2012 г.

Ах, вечность, изменился ли твой лик
Из-за того, что можно сделать «клик»
И моментально поменять картинку,
И кое-что пока убрать в «корзинку»,
И, передумав, из неё достать,
И быстро чью-то жизнь перелистать,
И, заведя страничку в интернете,
Забуть про то, что существуют нети?
Мы и тебе страничку заведём,
И о тебе мы что-нибудь найдём,
И упомянем карму или прану.
Ну что молчишь? Тебе по барабану?
2012

17 мая 2012 г.

А был ли мальчик? Девочка была ли?
Их небеса целинные пылали?
Им под ноги ложился ли ковыль?
И что же это было – небыль? быть?
И, если быть, то что же с нею стало
Потом, когда грядущее настало?
2012

30 апреля 2012 г.

О Господи Боже, куда я попала?
Здесь так всего много, здесь так всего мало!
Так много любви, но её не хватает.
Так музыки много – не вся долетает.
Так много веселья, но неуголима
Печаль. А душа – она неопалима,
Хоть вечно с огнём беспощадным играет,
От счастья дрожит, от тоски умирает.
2012

29 апреля 2012 г.

Мы будем жить, покуда не умрём.
А выбросим часы с календарём,
То не умрём. Ведь жизнь – такое чудо,
А смерть – природы глупая причуда.

Не надо у неё на поводу
Идти покорно. Я и не иду.
Успешно всем смертям сопротивляюсь,
Чему сама всё время удивляюсь.
2012

27 апреля 2012 г.

Я на молочном языке пишу, на млечном.
О бесконечном я пишу и скоротечном.
О преходящем я пишу и о бессрочном.
О чём – неважно. Важно лишь, что на молочном.
Который, видно, до рождения впитала
Ещё когда пылинкой в воздухе витала.
2012

24 апреля 2012 г.

Столько разных дверей, на которых написано «вход».
Столько разных дверей, на которых написано
«выход».
Если что неизменно, так это приход и уход.
Входишь – дверь распахни, а уходишь – прикрой её
тихо.
А ведь входим-то мы непрерывно: проснулись -
вошли
В новый день, в новый свет. А ночами уходим,
уходим,
Чтобы снова придти. Мы здесь что-то такое нашли,
Для чего ну никак мы единственных слов не находим.
2012

23 апреля 2012 г.

Я очень обрадуюсь, если пойму, что бессмертие есть.
Я очень обрадуюсь, если бессмертие правдой
окажется,
Хотя мимолётностей разных, летучестей разных не
счесть,
А с ними бессмертная вечная жизнь совершенно не
вяжется.
Но, знаю, летучести эти нужны, чтоб была новизна.
И, если останемся здесь навсегда, то поймём, что
летучее –

Оно возвращается, преображённое, точно весна,
Которая где-то маячит и ждёт подходящего случая.
2012

22 апреля 2012 г.

Назад никак, никак нельзя вернуться,
Но, слава Богу, можно оглянуться.
И это создаёт такой объём,
Который не даёт и окоём.
Все прошлые восторги и обиды
Есть часть той затонувшей Атлантиды,
Которую без помощи, одна
В любой момент могу достать со дна
Души и памяти. Судьбе благодаренье
За то, что есть и это измеренье,
И эта даль, и эти ширь и высь,
Которым я могу сказать: «Явись!»,
И явятся, добавив слёз и смеха
И породив невысказанное эхо.
2012

20 апреля 2012 г.

Я уловила верный пульс, я в ритм попала.
Вот капля первая прозрачная упала
С карниза ветхого. А вот летит вторая.
Погода ветреная, свежая, сырая.
Я – крохобор. Я собираю счастья крохи.
Капель весенняя есть тоже пульс эпохи –
То слишком медленный, то крайне учащённый.
Его нащупать может только посвящённый.
2012

Ослепительные дни
Длятся, не кончаются.
Маков яркие огни
Там и сям встречаются.

Рябь в глазах от пестроты
И от разных разностей...
Отложи свои труды,
Умирай от праздности.

День сверкает точно брешь,
Мысль течёт ленивая,
Грушу спелую заешь
Столь же спелой сливою,

И следи полёт шмеля,
Иль следи за бабочкой,
Или как плывёт земля
Вместе с этой лавочкой.

2001

«Ослепительные дни»

Песня Михаила Приходько и Галины Пуховой:
<http://www.larisamiller.ru/pesni11.html>

17 апреля 2012 г.

А небо для того, чтоб на него смотреть.
А птицы для того, чтоб пенью их внимали.
А жизнь затем, чтоб мы её не понимали,
Но за неё готовы были умереть,
Как за свою любовь единственную, ту,
Что превращает в свет любую темноту.
2012

16 апреля 2012 г.

Нет чтобы по-английски удалиться.
Всё время тянет с кем-то поделиться,
Всё рассказать. Ведь столько разных тем,
И есть чем поделиться. Но зачем?
Зачем делюсь и что хочу услышать?
Не то стремлюсь узор словесный вышить
На белом фоне? Или это есть
Мой способ выжить? Домыслов ни счесть.
Но надо ль строить разные догадки?
Мне важно, что в продаже есть тетрадки
С загадочной пометкой «Главбумпром»,
А в них листы – хоть покати шаром –
Пусты, пусты. Бог даст, я их заполню.
Вот вспыхнула строка. Её запомню
И запишу, когда приду домой.
О жалкий, о счастливый жребий мой!
2012

15 апреля 2012 г.

Ах, кто кого? Понять бы – кто кого?
Меня меняет мир иль я меняю
Сей мир, когда стихами заселяю
Большую территорию его?

Но разве мне не мир стихи шептал?
Не он ли шепчет мне и днём и ночью
Где точке час, где время многоточью,
Где чёрт бузил, где ангел пролетал?
2012

14 апреля 2012 г.

А будущего нет. Оно ушло.
Оно, вернее, настоящим стало.
Оно маячить вдалеке устало
И в мой текущий день легко вошло,
Свою улыбку подарив ему,
Загадочность свою, своё сиянье
И даже, чтоб украсить одеянье,
Ему вручило светлую кайму.
2012

13 апреля 2012 г.

И, несмотря на то, что столько мной
Написано, я темы ни одной,
Ну ни единой темы не закрыла.
Зато я клад один, другой отрыла.
На клад я набредаю каждый миг.
Ищу строку, а нахожу тайник.
2012

12 апреля 2012 г.

- Да ничего особенного там
И не было. Убожество и хлам
В твоей замоскворецкой коммуналке –
Клопиные следы и коврик жалкий,
И вата между рамами зимой.

- Да-да. Всё так. Но я хочу домой

В своё гнездо, к тем окнам, к тем соседям,
К той детворе. Давай туда поедем.
Там во дворе – волшебная сирень.
Там у соседки – сильная мигрень.
Мигрень – какое сказочное слово
И как звучит загадочно и ново!

Там город мой, в котором я росла,
Который я, к несчастью, не спасла,
Там город мой, домашний и зелёный,
Людьми, которых нету, населённый,
Тот город, что моим когда-то был,
А стал чужим. И сам себя забыл.
2012

11 апреля 2012 г.

Ты всем недоволен? На всех рассердился?
А сколько таких, кто совсем не родился?
Совсем не успел появиться на свет?
Тех бедных, кого просто-напросто нет,
Кто не залезал к маме под одеялко,
Чтоб сказку послушать? Тебе их не жалко?
2012

9 апреля 2012 г.

Ах, мир есть театр? Значит, понарошку
Должны мы умирать. Никто дорожку
Земную нам не может перекрыть,
И надо полыхать и землю рыть,
То бишь блистать в неповторимой роли.
А, коль придёт черёд стенать от боли,
Или, устав от боли, умирать,
То надо помнить: мы должны играть,
И, замертво упав, должны подняться,
И, отряхнувшись, снова жить приняться.
2012

7 апреля 2012 г.

Нет, мы не плачем, мы не плачем.
И, будь мы хвостиком собачьим
Любой длины и толщины

С рождения оснащены,
Мы им бы весело виляли,
Безумно радуясь, что взяли
Нас погулять на белый свет,
Где можно взять волшебный след.
2012

6 апреля 2012 г.

Ах, стихи мои, вы не идите за мной.
Я отсюда уйду, ну а вы оставайтесь.
Что бы ни было здесь, ни за что не сдавайтесь.
Оставайтесь, прошу, на орбите земной.

Где? Наверное, в душах сохраненной всего.
В чьих-то душах советую вам поселиться.
Там не будете вы ни хиреть, ни пылиться,
И огня не утратите вы своего.
2012

5 апреля 2012 г.

До чего мы продвинуты! Как мы умны!
До чего люди прежние были темны.
Сколько дров наломали несчастные предки.
До чего среди них мудрецы были редки.
Мы-то знаем сегодня как надо бы им
Поступить с негодящим режимом своим.
Знаем где они дрогнули, что упустили.
Мы бы этого точно уж не допустили.
До чего же мы в прошлых эпохах сечём.
Только вот почему подпираем плечом
Нашей собственной кровли опорные балки.
Да и стены в щелях. Да и вид у нас жалкий.
2012

4 апреля 2012 г.

Ты говоришь – не видишь чуда?
Лишь дом и улицу свою?
Попробуй встать где я стою,
Попробуй поглядеть отсюда.

Ты видишь? Улица вон та

Ведёт к дверям. А в двери эти
Войдут любимый твой и дети.
Ну чем не райские врата?
2012

3 апреля 2012 г.

Мне нравятся фильмы с открытым финалом,
Когда можно выбрать меж гибелью, балом,
Объёмом, разлукой, рассветом в горах,
Меж горьким «Увы» и восторженным «Ах!».
Чудесна поездка с открытой датой:
Прощайте, до скорого, буду когда-то.
2012

2 апреля 2012 г.

Мне очень надо повиниться.
Прости, снегирь. Прости, синица
За то, что ваш короче век,
Чем мой. Как будто человек
Есть важная такая птица.

У вас прощения прошу
За то, что дольше вас дышу,
За то, что я грешу, в чём каюсь,
Тем, что, как вы, летать пытаюсь –
Незримым крылышком машу.
2012

А птица на лету стареет,
В том воздухе, в котором реет,
Которым дышит, где поёт,
Свой совершая перелёт,
Где лёгкий дождик крылья мочит,
Куда душа моя так хочет.
2009



Нахум Виленкин

Между летом и летом (цикл)

...так нескончаем день
что кажется
ему минут не хватит
и он у ночи их возьмет взаймы
а там снаружи эпилог зимы
всех кошек непременно
обрюхатит
и этой жизни очевидный жест
способен заслонить
собой другие знаки
как например
дождя глухую жесть
в холодном полумраке...

...хлещет ветер -
как хлещет из крана
как выхлещут водку -
от невольной вины незаметно меня уберёт
размыкается круг
потому что замкнуло проводку
из опущенных рук
выпадает последний упрек

високосной
строкой у виска
на секунду зависнуть
вискарем заполняя сомнений мелькнувшую тень
полагаясь на истину смысла
как истины высшей
будет день – будет пища
и возможно еще один день...

...Аялон покидал Тель Авив полусонной гюрзой
по колено в воде - это дождь барабнящий прозой
как же ты неуместен январь со своєю грозой

как полночный прохожий зимою с охапкой мимозы
нерешительный байкер скучает один под мостом
позабыв что уже повзрослели разбойные гёрлы
этот город чужой - оставляю его на потом -
на потом воспаленье миндалин держащих за горло...

1

*Ссыпается пыльца в сухой остаток,
Как будто лето затирает швы -
Границу полутени с полусветом.*
Валентина Ботева

...ну как уйти от полной немоты
от полусвета полутемноты
от запаха пыльцы в сухом остатке
пускай ты слеп как слепы все кроты
пускай остаток сух до черноты
и не по праву родовые схватки

и как уйти от полной тишины
когда ни ложь ни правда не слышны
не соблазниться детской глухотою
и повидав неблизкие края
опять вернуться на круги своя
и примириться наконец с собою...
треугольная философия
...что эта жизнь – один глоток
который выпить так непросто -
ведь философский колобок
упрятал уличный наперсток

как вычерпать ее до дна -
на вынос ветер високосный -
как будто истина дана
для путешествия в трех соснах

сквозь черно-белое окно
умчит безудержно и лихо
проливши горькое вино
за тополями на плющихе

то ледоход то ледостав
и кончиком хвоста болида

мелькнет на сердце начертав
два треугольника Давида...
2012



Лорина Дымова

Вы уснете – а жизнь пролетит



... х, нет, не навсегда.
Всего лишь в гости.
Пришли из тьмы.
Потом?
Опять во тьму...

Крупье на стол небрежно бросил кости –
Придется – что ж! –
Довериться ему.

А потому среди крутых коллизий,
В немислимом своем житье-бытье
Не рыпайся, ведь жизнь твоя зависит
Не от тебя, дружок, а от крупье.

Он всё оценит
И назначит сроки.
Он предусмотрит каждый поворот.
Живи себе – и никакой мороки.
Плюй в потолок – и никаких забот.

Плохо спим, болеем гриппом,
Ждем тепла и мая.
Жизнь ползет себе со скрипом,
Словно неродная.

Тускло, пасмурно, уныло –
Некуда деваться!
Это чтоб не жалко было
С нею расставаться.

Обижаются, смеются,
Леденцы грызут беспечно,
выпивают, расстаются –
Будто жить собрались вечно.

Вечеринки, взгляды, сплетни,
Танцев бешеные ритмы –
Будто месяц в небе летнем
Не наточен, словно бритва.

Я бы их предупредила,
Объяснила, убедила:
Дорогие человеки,
Вы явились не навеки!

Забывать о том негоже
И надеяться на чудо.
А они мне строят рожи
И кричат: - Иди отсюда!

Как вы можете спать?
Вы уснете – а жизнь пролетит.
Я вчера прилегла ненадолго
И вскоре проснулась –
А в окне все иначе:
Затравленно ветер гудит,
И бредут вдоль домов
Силуэты и тени, сутулясь.

День светился и пел,
И наряжен он был, как жених,
Но едва отвернулась – сбежал,
Как сбегают со свадьбы.
Ну, пожалуйста, не повторяйте
Ошибок моих.
Я и спать не легла бы –
Вот только заранее знать бы.

Нужно быть начеку,
Коли ты своей жизни не враг:
Неразрывна у яви и сна
Круговая порука.
...Я уснула – был день,

А проснулась – и в комнате мрак.
Я уснула – была молода.
А проснулась – старуха.

БЕССОННИЦА

Скоро утро. Баю-баю.
От бессонницы хмельная,
Вспоминаю, вспоминаю...
Темной речкою плыву.
У окна сосна хромая...
Я ребенка пеленаю...
И уже не понимаю,
Что во сне, что наяву.

Говорю себе спросонок:
Что за бред? Какой ребенок?
Сын? Но вроде из пеленок
Вырос он давным-давно?
И совсем уж не по теме
Шмель сидит на хризантеме...
- Успокойся! Это Время
Крутит старое кино.

Я, представьте, в главной роли!
Под венцом, в больнице, в школе,
Люди, звери, феи, тролли –
Словом, полный винегрет!
...Звезд тускнеют многоточья,
Дрозд в окне поет все звонче
Слава богу, сеанс окончен.
В зале вспыхивает свет.

День постучался в дверь,
И я его узнала.
Он был похож на день
Такой же, век назад.
Шальное пенье птиц,
Из веток опахало,
И солнечных лучей
Прозрачный водопад.

Сияла синева,
Как будто после стирки,

И день вошел в мой дом
В накидке голубой.
Он был точь-в-точь как тот –
Как будто под копирку,
Как будто брат-близнец,
И все-таки другой.

Я видела его –
И в этом все различье! –
Как будто сквозь туман,
Сквозь мутное стекло.
Ничто – ни зыбкий свет,
Ни переливы птичьи –
Не трогало меня,
Увы, и не влекло.

Жизнь движется к концу,
Хоть и бежит по кругу.
Уже петух вдали
Три раза прокричал.
И были с этим днем,
Мы не нужны друг другу,
Лишь по ошибке он
Мне в двери постучал.

КОНВОЙ

Куда ни ткни, везде любовь,
И боль – куда ни ткни.
Пойди дорожкой любой –
Везде они, они.
Пойди туда, пойди сюда,
Налево поверни –
Там грусть, тут радость, там вражда,
Но это всё – они.
От них не ускользнуть тайком
Под сводом темноты,
Не сделать вид, что незнаком,
Что ты вообще не ты.
Не ерпенься, дорогой,
И навсегда усвой:
Любовь и боль – надежный твой
Пожизненный конвой.

ВАЛЬС В ТЕМНОТЕ

Ты не тот.

Я не та.

Мы не те.

И танцуем мы вальс в темноте,
чтобы света слепящий ожог
не поведал нам правду, дружок,

что не те,

что не тот,

и не та.

Что давно уже жизнь

Прожита.

РАЙСКАЯ ПТИЦА

-...и были глаза у нее прозрачно-зеленые,

Кудряшки на лбу, спиральки и завитушки.

И вечно мужчины, мальчишки, в нее безнадежно
влюбленные...

- Простите... вы это о ком?

- Во-он о той старушке.

- Старушке? Вы шутите? Ох, я давно уже так не
смеялся!

По-моему вы переборщили маленько.

- Один, говорят, из-за нее так даже стрелялся.

Другой, говорят, растратил казенные деньги.

- Трудно поверить... А это не вы стрелялись,
случайно?

Признайтесь... Да мало ли что с нами было когда-то!

- Вы угадали, конечно же, я. Это вовсе не тайна.

И я, кто же еще, отсидел восемь лет за растрату.

Но была она в те времена!.. Словно райская птица!

Ради нее унижался я, лгал, лицемерил...

- А если бы кто-то сказал, в кого она превратится?

- О, я убил бы его! Я никогда б не поверил.

Мне говорили, не может быть бóльшей блажи,

Ты платишь, мне говорили, слишком большую цену!..

...И тут умолкают главные персонажи.

По замыслу режиссера, дальше немая сцена.

СТИХИ О РОДИНЕ

Завидую тому, кому мила,
Страна, где он живет и где родился,
Где пусть он даже и не пригодился,
Но сердцем к ней присох – и все дела!

Когда поют грузины "Тбилисо",
У них глаза становятся другие.
И жалко мне тогда, что ностальгии
По мне не прокатилось колесо.

Я на другом осела берегу,
И дни мои то веселы, то тяжки,
Но никакие белые ромашки
Я не лелею и не берегу.

Когда во сне я снова в той стране,
Всегда боюсь, что не сбежать оттуда.
Нет, что вы, я чернить ее не буду –
Пускай! Но только не со мной, не мне.

Ни ностальгии, ни одиночества.
Я не вернусь, если даже захочется
еще раз увидеть знакомые тропки,
Недлинную улицу, зданья-коробки.
Ах, нет, я не выйду из аэропорта
На площадь, которая в памяти стерта,
И не поеду, как раньше бывало,
Маршрутным такси до Речного вокзала.
Уходят в тупик ошалевшие рельсы.
Взбесились автобусы, спятили рейсы.
Меняет былое свои очертания,
И изменилось давно расписание.



Григорий Канович

Местечковый романс

(продолжение. Начало в №5/2012)

10



ердачные условия для супружеских утех, может, ещё как-то годились, но совсем не подходили для успешной портновской работы.

Шлеймке собрал из разрозненных частей свой «Зингер», который ещё сильно пах заводской смазкой. Его счастливый хозяин за отсутствием свободной площади был вынужден на время оставить своего железного коня внизу, возле отцовской колодки. Можно было бы, конечно, затащить швейную машину и на чердак, но только отъявленному глупцу и недотёпе могло прийти в голову стать клиентом такой пошивочной мастерской.

Молодожёны долго судили-рядили, как выйти из этого безотрадного положения, и, в конце концов, решили снять однокомнатную квартирку. После хлопотных поисков они нашли подходящее жильё – запущенную полуподвальную комнату у Эфраима Каплера, которому в самом центре Йонавы принадлежал не только трехэтажный дом, но и самый большой магазин колониальных товаров.

Наконец-то Шлеймке и Хенка, спустившись с чердачного рая, куда в распахнутые настежь оконца душными ночами залетали летучие мыши, поселились на новом месте. Вся их мебель состояла из грубо сколоченного стола, четырёх просиженных стульев, выдавшего вида скрипучего дивана, изъеденного древоточцем и продавленного Хенкиными сестрами – баловницами и попрыгуньями. Украсили жильё сверкающий новизной и надеждой новёхонький, ещё не оседланный «Зингер» и большое старинное зеркало, в которое когда-то гляделись дед и прадед-каменотес моего будущего отца. А сейчас на примерках в него будут глядеться Шлеймкины клиенты.

– Не очень-то шикарная обстановка, – сказал своей

молодой жене Шлеймке.

– Да, у Кремницеров обстановка, пожалуй, пошикарнее, – усмехнулась Хенка. – Таковую рухлядь они вообще в глаза не видели, они на свалку выбрасывают мебель получше нашей.

– Нечего отчаиваться. Мы с тобой не лежебоки и не белоручки, работы не боимся. Годик-другой попотеем и, как твои Кремницеры, всю ненужную рухлядь и барахло тоже выбросим на свалку. Господь Бог, сотворив землю, тоже оставил на ней немало всякой ветоши и не всё сразу расставил по местам.

Они действительно не ленились, работали в поте лица, не считаясь со временем и не жалея себя.

Шлеймке до полудня строчил на старом «Зингере» у Абрама Кисина, а после полудня взнуздывал собственного рысака и мчался во весь опор к своей удаче, не гнушаясь самой черной работой. Он не был ни мнительным, ни привередливым – шил даже саваны. Он уверял, что работа, в которой кто-то нуждается, не бывает стыдной. Стыдно сделать её плохо.

Не отставала от него и Хенка. С утра она нянчила подростов Рафаэля, а по вечерам ходила убирать квартиры к йонавским лавочникам, к раввину Элиэзеру, к директору и учителям идишской школы, которую из-за младших сестёр и братьев, нуждавшихся в её присмотре, так и не смогла закончить.

На первых порах основную долю доходов, как это ни странно, Шлеймке получал не от своих заказчиков, а от именитых местечковых портных. Такие признанные умельцы, как Абрам Кисин и Гедалье Банквечер, никогда никому не отказывали и принимали заказы от всех, кто бы к ним ни приходил; однако считали для себя зазорным корпеть над шитьем крестьянских сермяг, ватников и овчин, сюртуков и курток из дешевого неподатливого материала. Местечковые знаменитости за небольшую плату охотно сплавляли оскорбляющие их достоинство излишки способному новичку, который вдруг вздумал стать их конкурентом и самонадеянно открыл собственное дело, но не очень-то в нём пока преуспел. Шлеймке же чувствовал свои силы и способности и хотел работать не подпольно на этих светил, а трудиться под собственной вывеской на себя и свою семью. Но для этого надо было, чтобы о тебе по местечку начали бродить слухи. И желательно громкие и хвалебные.

Эти слухи, круглосуточно курсировавшие по Йонаве, были в то время единственной беспроектной и надёжной рекламой. Влияние её на клиентов без всякого преувеличения было огромным – эти резвые слухи могли либо вознести мастера-новичка до заоблачных высот, либо привести к разводу со своей кормилицей-

иглой.

Вот она-то, эта молва, очень помогла счастливику Шлеймке. Широкому её хождению от дома к дому особенно способствовало семейство Кремницеров.

«Вы слышали, – вдруг прокатилось по местечку, – этот старый фронт реб Ешуа Кремницер нашел себе нового портного. Из-за преклонного возраста он перестал ездить к Зелику Слуцкеру в Каунас и переметнулся к этому кавалеристу Шлеймке Кановичу, который уже шьёт ему из бостона новый костюм. А реб Эфраим Каплер своему молодому квартиранту недавно заказал пиджачную пару и демисезонное пальто из коверкота».

Реб Ешуа и впрямь вознамерился помочь способному новичку – он первым из богачей в Йонаве пришел к нему шиться. Злопыхатели утверждали, что старик не столько заботился о славе бывшего кавалериста, сколько старался угодить его жене Хенке – очаровательной пышке. Как реб Ешуа сам прилюдно признавался, он в неё был немно-о-жечко влюблён и – «ах, если бы не этот год рождения, не эта отвратительная цифра в паспортной графе, если бы не треклятая поджелудочная железа и вечно ноющая печень, то сами, господа, понимаете, я бы не оплошал...».

Он явился к Шлеймке с темно-синим отрезом отборной английской шерсти, выложил его в тесной квартирке молодой четы на стол, накрытый простой клеёнкой, и что-то буркнул про неказистую обстановку, мол, так скромно жили в шатрах наши предки, изгнанные в древности из Египта. Шлеймке стойко выслушал укоры знатного заказчика и осторожно, словно боясь его поранить замусоленным сантиметром, снял с него мерку. Светясь безмолвной благодарностью к тестю славной Этель, сноровистая Хенка быстро, под диктовку Шлеймке, записала размеры почтенного реб Ешуа – длину рукава, ширину плеч, объём талии, – в купленную впрок ученическую тетрадь, на обложке которой был изображен литовский герб со скачущим в светлые дали витязем в защитном шлеме.

Когда Кремницер уже собирался уходить, Хенка остановила его вопросом:

– Реб Ешуа, интересно было бы узнать, как наши предки – изгнанники из Египта жили в своих продуваемых шатрах, когда пошли за нашим праотцем Моисеем и очутились в Синайской пустыне?

– Да не будет в обиду вам сказано, но у наших далеких предков, следовавших за Моисеем по раскалённой пустыне, как и у вас в доме, кроме веры и надежды, сначала почти ничего не было. Ни мебели, ни рукомойника, ни, простите, туалета. Ни-че-го! И всё-

таки, всё-таки они с Божьей помощью добрались до земли Обетованной. Доберётесь и вы до лучшей жизни.

Через неделю Шлеймке без всякого надзора и поучений Абрама Кисина самостоятельно сшил реб Ешуа Кремницеру первый в своей портновской жизни костюм. Реб Ешуа каждую субботу надевал его и демонстративно, как ходячий манекен, медленно, почти церемониальным шагом отправлялся через всю Йонаву на утреннее богослужение в синагогу. Не успев ещё усесться на свое место в первом ряду, он с плутовской усмешкой на чисто выбритом лице спрашивал у своих знатных соседей:

– Ну, что, господа хорошие, скажете?

– Реб Ешуа, это вы о чём? О процентной норме, которую власти ввели для евреев, поступающих в университет имени Витаутаса? – с нескрываемым любопытством отозвался хозяин местечковой пекарни, завзятый палестинофил Хаим-Гершон Файн, который открыто мечтал о том, чтобы его внуки выпекали халы не в Йонаве, а в свободном от арабов и турок Иерусалиме под боком у самого Господа Бога. Достав молитвенник, он напоследок бросил: – От наших правителей-антисемитов можно всего ждать.

– Что до процентной нормы, реб Хаим-Гершон, так это, без всякого сомнения, неслыханное безобразие, – со снисходительной улыбкой ответил реб Ешуа. – А что до властей в Каунасе, то старые ли прохиндеи нами правят, новые ли, для нас, евреев, не имеет никакого значения. Рыба, реб Хаим-Гершон, бывает свежей, а вот власть, какую бы ты ни выбирал, всегда оказывается тухлой и с душком. Но давайте оставим в покое политику. Я сегодня решил похвастаться перед вами своей обновкой.

– Хвастайтесь!

– Как вам нравится мой новый костюм?

– Костюм? – опешил тот. – Костюм отличный. Сразу чувствуется мастерская рука реб Гедале Банквечера.

– Помилуйте, реб Хаим-Гершон, причем тут мастерская рука Гедале Банквечера? Это сшил другой мастер – молодой Шлеймке Канович.

– Неужели тот самый первый в Йонаве, а, может, не только в Йонаве, а во всей Литве еврей-кавалерист? Это он так хорошо сшил?

– Представьте себе, он самый, – подтвердил реб Ешуа.

– Не может быть! Неужели этому научили его в самой грозной и боеспособной кавалерии в Европе? – съязвил Хаим-Гершон Файн.

– Этот дар у него от Бога. То, что даёт Господь, никакая кавалерия дать не может.

– Вот не ожидал.

– Ничего удивительного. Разве каждому из нас при рождении Господь не дает какой-нибудь дар? Вам, пекарю, например – лучше других выпекать из бесформенного теста самые вкусные в местечке баранки и булочки, пироги и пирожные, а ему, портному, – на зависть всем шить из безликого куска материи красивую одежду. Очень рекомендую, любезный реб Хаим-Гершон, воспользоваться при случае его услугами. Не пожалеете! Ручаюсь! Он шьёт не хуже, чем вы, уважаемый, печёте ваши булки.

Слухи о способностях Шлеймке множились всё же быстрее, чем количество его клиентов, и молодожёны в свободное от основной работы время занялись обустройством своего шатра, в котором, по выражению реб Ешуа Кремницера, почти ничего, кроме веры и надежды, не было.

Первым делом они купили самую необходимую для продолжения рода вещь – двуспальную кровать с новым, надёжным матрацем без скрипа. Затем на местной мебельной фабрике приобрели в рассрочку широкий дубовый стол и шесть стульев с высокими спинками, на крепких ножках и с устойчивыми сиденьями – для гостей и клиентов любого веса. Потом пригласили хромоногого маляра Евеля, дальнего родственника Рохи, чтобы он побелил потолок и стены. Евель не заставил себя долго ждать – на завтра же приковылял с лестницей, ведерком с краской и кистью.

Красил он неторопливо и тщательно, приятным баском напевая популярные песенки о лесных маргаритках; о безымянных красавицах, с которыми никто на свете не может сравниться; об озорном плясуне-раввине, не только корпящим над Торой, но и выкидывающим со своими учениками разные коленца. Кисть Евеля двигалась, послушно следуя за приятным для слуха мотивом; она то плавно скользила, то поражала неожиданными взмахами и взлётами. Был маляр не только хромоног, но и близорук, носил очки, из-под которых нет-нет да задорными искорками вспыхивали вьедливые черные глаза, не вяжущиеся с его унылым лицом. Разговаривал он только в перерывах, когда спускался с лестницы, вытаскивал из кармана сатиновый кисет, свивал из папиросной бумаги самокрутку и смачно затягивался дымком.

– Ну, как там, Шлеймке, в этой славной литовской кавалерии? Тамошние лошади, наверно, евреев тоже не шибко любят? – посасывая свой табачный леденец, басил он. – Лягаются, брыкаются?

– Лошади как лошади. Больше всего, Евель, они любят овес. Им до евреев нет никакого дела. Главное, чтобы торба была полна овсом. А кто торбу наполняет – еврей или цыган-конокрад, – им всё равно.

– Что ты говоришь? Оказывается, у ихних лошадей есть какая-никакая совесть.

– Есть, есть, – посмеиваясь, подбадривал вечно унылого Евеля Шлеймке.

– Я всегда считал, что у домашних животных – у кошек, у коз, у дворняг – совести, пожалуй, больше, чем у человека. Зачем, скажи на милость, человеку эта совесть? Только лишняя обуза. Ему и без того жить тяжело. Скоро будет ровно четверть века, как я перебеливаю стены.

– Ого! Ну и что?

– А вот что. Сколько я за свою жизнь этих стен перебелил, убей меня, не помню. Но в одном я убедился.

– В чём же?

– Дерево и камень можно перебелить. А человека вряд ли... Жалко, очень жалко! У Отца небесного при сотворении всего сущего, видно, белил на всех не хватило. А ты, Шлеймке, я вижу, здоровье своё бережешь – не куришь.

– Не курю.

– Долго жить собираешься?

– Собираюсь долго шить, – отшутился Шлеймке. – А дым, Евель, застит игольное ушко. Потом нитку не проденешь.

– А ты за словом в карман не лезешь. Ладно. Перекурили, и – за работу. К вечеру вы с женой эту зачуханную конуру не узнаете, я сделаю из неё картинку.

Квартира после побелки и в самом деле преобразилась до неузнаваемости. Казалось, от белизны в ней стало просторнее и дышать легче.

– У Евеля золотые руки, – поразилась Роха, которая пришла после побелки на смотрины. – Надо бы и у нас сделать ремонт. Но для кого? Айзик уехал, Лея улетела, Мотл со дня на день переберётся со своей Сарой в Каунас, где его тесть купил доченьке парикмахерскую. Ремонт для кого? Разве что для мышей и пауков. Пусть уж всё остаётся, как было. Какая разница, откуда тебя навсегда вынесут – из роскошного дворца или из убогой лачуги?

– Ты, мама, неправа, – попытался настроить её на более радостный лад Шлеймке. – Пока человек жив, он должен что-то делать, чтобы как-то украсить свою жизнь.

– Это так. Но я, сынок, всегда думала, что жизнь украшают не маляры, не сапожники, не портные, не парикмахеры, а дети. Ты

хоть знаешь, сколько я их на свет родила, сколько их своим молоком вскормила?

– Кажется, одиннадцать.

– Десять. А сколько их у меня осталось?

Квартиру запрудило тягостное молчание.

– Может, чайку с нами попьёте. Я вчера купила на базаре у бородача-старовера свежий липовый мёд, – прибегнула к неловкому маневру Хенка, надеясь отвлечь свекровь от дурных мыслей.

– Их у меня осталось четверо: двое рядом со мной, один в Каунасе и один, Йоселе, – в доме для умалишенных в Калварии. Возомнил, видишь ли, что он птица – не то щегол, не то грач. – Она достала из-за пазухи носовой платок, вытерла глаза. – А чайку я, Хенка, выпью, почему бы не выпить, обязательно выпью. Но сначала пусть Шлеймке мне письмо прочтёт. Потом мы вместе и на фотокарточку посмотрим.

– Письмо от Леи? – спросила Хенка.

– Нет. От Айзика. Из Парижа.

Шлеймке взял у матери письмо и, не мешкая, приступил к чтению. Айзик писал, что, слава Богу, жив-здоров, что работает в людном Латинском квартале в крупной скорняжной мастерской, принадлежащей мсье Кушнеру, бессарабскому еврею, который очень хорошо к нему относится и ценит его способности. Далее он уведомлял всех своих близких, что жалованье у него приличное, даже очень приличное, и что скоро он перестанет холостяковать и женится на любимой девушке из Кедайнйя Саре Меламед.

– Мазлтов! – бросила Роха. – Только я не понимаю, зачем надо было ехать в Париж, чтобы жениться на девушке из соседнего местечка?

– Мама, не перебивай. Дай я дочитаю письмо до конца, – сказал невозмутимый Шлеймке.

«Дорогая мама, дорогой папа, вместе с моими братьями Мотлом и Шлеймке и милой сестрой Хавой, на этой фотографии, которую сделал за два франка уличный фотограф, вы увидите меня и мою будущую жену Сару. Мы находимся возле самой высокой башни в мире, построенной инженером Эйфелем. Снимок получился так себе, не очень удачный, но на свой фотоаппарат у нас пока нет денег. Напишите, как вы живёте, что у вас нового и попросите Этель Кремницер, чтобы она наш парижский адрес написала на вашем конверте по-французски. Так письмо скорей дойдёт до Парижа. Ваш любящий сын и брат Айзик и его избранница Сара».

Чтец отдышался. Он не был силен в графологии, а почерк Айзика напоминал репейник, и пробраться через все каракули и

закорючки было делом непростым. Когда Шлеймке закончил чтение, все принялись рассматривать фотографию.

– Айзик тут, на снимке, настоящий иностранец, – не удержалась от восторженных восклицаний Хенка. – В шляпе набекрень и в длинном до пят плаще, в ботинках с дырочками, чтобы ноги, видно, в жару не потели. Да и его Сара хороша – стройненькая, постриженная под мальчика, на высоких каблукках, красивый шарфик на шее. У нас такой нигде не купишь.

– Я уже их успела два раза посмотреть, – с подчеркнутым равнодушием промолвила Роха. – Мне Айзик больше нравился в картузе со сломанным козырьком, в льняной рубашке навывпуск и в кожаных ботинках на толстой подошве, которые смастерил Довид ко дню его рождения. Что ни говорите, а мне он больше нравится живой, а не на фотографии.

– Что ты городишь? Не бери греха на душу. Он и сейчас живой, – напустился на неё Шлеймке.

– Живой, живой, – затараторила Роха. – Но не для меня, а для его Сары. Пусть они только оба будут счастливы. Долго-долго. Я им этого от всей души желаю. Но я мать, а матери, согласитесь, горько узнавать о счастье своих детей только от почтальона.

– Давайте чай пить, – предложила Хенка. – От наших споров и разговоров он не закипит.

– Давайте, – кивнула Роха и засемила за ней на кухню. – Я помогу тебе.

Хенка вскипятила в чайничке на примусе воду, заварила ромашковый чай и направилась было в столовую, чтобы разлить его по фарфоровым чашечкам, купленным Этель в Германии и подаренным ей к свадьбе, как её остановила свекровь:

– Задержись, пожалуйста, на минуточку. Надо нам, Хенка, с тобой серьёзно поговорить, – полушёпотом произнесла Роха, как бы намекая на исключительную важность и неотложность разговора.

Хенка застыла с чайничком в руках и приготовилась внимательно выслушать очередные назидания и советы свекрови.

– Вы только, Хенка, не спешите, – спокойно сказала Роха.

– С чем?

– Не с чем, а с кем. Какая же ты недогадливая! Ты что, только на свет родилась? – сказала свекровь. – Сначала встаньте на ноги, обустройтесь, а уж потом обзаводитесь наследниками, чтобы они у вас не бегали по местечку босыми и голодными.

– Ручаться не могу, но мы, Роха, постараемся. Если, конечно, получится. Вы же сами знаете – остерегаешься, остерегаешься и в одно мгновение можешь оплошать и попасться,

как уклейка, на крючок к рыболову.

Роха раскатисто рассмеялась.

– Что правда, то правда. Это я по своему опыту знаю. Иначе десять раз подряд, как говорится, на эту удочку не попадалась бы. С моим неуёмным рыболовом, который почти каждую ночь закидывал и закидывал свою удочку, трудно было договориться. Но вы будьте начеку. А за мои назойливые советы ты меня прости. Мне самой хочется скорее стать бабушкой. Дождаться внуков. И не в этой хваленной Америке, не во Франции с её башней-дылдой, а тут, где я родилась и умру.

– Будут у вас внуки и там, и тут. С такими рыболовами, как ваши трудолюбивые сыновья, вы ещё со счёта собьётеся.

– Из твоих уст, Хенка, да нашему Всемилостивому, но глуховатому Господу Богу прямо бы в уши. И всё же не спешите.

Они выпили чаю, посетовали, что Лея не даёт о себе знать, не пишет, может, болеет – ведь даже в счастливой Америке люди болеют и, страшно вымолвить, умирают.

– Напишет, напишет, как только устроится, может, ещё за какого-нибудь богатого еврея замуж выскочит, – успокоил её Шлеймке.

– Пусть за бедного, но хорошего, – пробормотала Роха. – Хороший человек может стать богатым. А вот богатый хорошим – никогда. Богатый может им только притвориться. А как твои дела? – обратилась она к Шлеймке. – Люди идут к тебе или проходят мимо и... к Гедалье Банквечеру? У тебя даже вывески нет. Да, по правде говоря, её и вешать-то некуда.

– Портному нужно имя, а не вывеска. Дела неплохи, стало намного больше заказов, ко мне потянулись не только евреи и литовцы, но даже староверы, и не только йонавские, но и те, которые живут в окрестных деревнях. Пронюхали, что за пошив беру гораздо дешевле и шью не хуже.

Чаепитие подходило к концу, когда вдруг зазвенел дверной колокольчик, и в побелённую комнату вошел дородный, гладколицый, с ухоженными, оранжерейными усами домовладелец Каплер.

– Инспекция, – сказал он.

– Милости просим! – пропела Хенка, встала и услужливо подвинула к нему свободный стул. – Может, вы, господин Эфраим, с нами вместе почаёвничаете и свежего липового меду отведаете.

– Благодарю вас сердечно, но, если позволите, я почаёвничаю с вами в другой раз. У меня важная встреча с нашим бургомистром. А он ужасный педант. Не любит, когда опаздывают. Не скрою, я большой любитель липового меда. Чую его запах за

версту. Он пахнет так, что можно сойти с ума! – Эфраим Каплер своим зорким, неусыпным оком придиричливо оглядел квартиру. – Красота! Этот хромоножка Евель, хоть порой и закладывает за воротник, прямо-таки кудесник. Говорят, что Господь и моего квартиранта умением не обидел. Это ли не роскошь – иметь в собственном доме собственного портного? Может, мне уже больше не тащиться тридцать с лишним километров на примерки к Зелику Слуцкеру в Каунас и перейти на местное обслуживание? А?

Шлеймке благоразумно промолчал. Не в его привычках было напрашиваться.

– Молодые глаза видят гораздо лучше, чем старые, – промолвил Каплер, понежив пальцами усы, за которыми он ласково ухаживал, как за редкостным растением.

– Попробуйте, реб Эфраим. Мой муж не самозванец и не портач. Он, поверьте, сошьет вам не хуже, чем Абрам Кисин или Гедалье Банквечер, – смело бросилась в омут преданная Хенка.

– Гедалье Банквечер стар и тяжело болен. А реб Абрам уже, к великому нашему сожалению, никому ничего не сошьёт.

– Как это? Почему же он больше никому не сошьёт? – удивилась Роха.

– Так уж в этом подлунном мире устроено – когда одни спокойно сидят в тепле и попивают чай с липовым медом, другие в том же самом городе и в то же самое время готовятся кого-то проводить в последний путь. По вашим глазам я вижу, что вы ещё ничего не знаете.

– Кисин умер?! – в ужасе воскликнул Шлеймке, обожжённый догадкой.

– Да. Как всегда, он с самого утра сидел за своим «Зингером», нажимал на педаль и доехал не до обеда, а до смерти. Недаром сказано в писании: не знает человек своего места и часа. Рано или поздно мы все туда съедемся. Теперь у нас в местечке остались только двое мастеров – ты и Гедалье Банквечер. Больше мужских портных нету.

– А такого, как реб Абрам, светлый ему рай, и не будет – отозвался о своём работодателе Шлеймке.

На кладбище, где с миром покоились евреи Йонавы с незапамятных времен, Абрама Кисина провожала не толпа, а горстка его старых клиентов и соседей.

Место для себя предусмотрительный реб Абрам Кисин купил заблаговременно на пригорке рядом с могилой жены Хавы, скончавшейся прошлой осенью от кровоизлияния в мозг. Кисины были бездетны, и кроме тихой, как сон, домоправительницы Антанины, богобоязненной литовки, говорившей на идише не

хуже раввина Элизера и на протяжении многих лет служившей им верой и правдой, оплакивать его было некому. Единственный, да и то дальний, родственник покойного Авидгор Перельман, который никогда не побирался на самом еврейском кладбище, а только за его воротами, стоял у открытой ямы и заглядывал в эту разверзшуюся пропасть с пугливым любопытством, словно примерялся к ней или придирчиво оценивал её глубину. Глаза его были сухи. Как он уверял, на всех в жизни слёз все равно не напасёшься. Поэтому оплакивать следует не столько мёртвых, сколько в первую очередь живых, которым ещё предстоит мучиться, но которых ждёт та же неминуемая участь.

Раввин Элизер, на досуге писавший стихи на высокопарном иврите про Иосифа и его братьев, про подвиг Маккавеев и про мудрость царя Соломона, произнес кадиш и, передохнув, как бывший верный клиент Абрама Кисина позволил себе несколько отсебятин, сдобренных лирическими отступлениями и цитатами из Пятикнижия. Рабби возвышенно рассуждал о том, что, когда придет Машиах, то в первую очередь воскреснут из мертвых старые мастера, и реб Абрам Кисин одним из первых непременно возвратится из рая на родину, в свою Йонаву. Редкостный умелец, он снова, как после отдыха в курортной Паланге, войдет в свой дом на Костельной улице, сядет за свою швейную машину, сотрёт с неё осевшую за время его вынужденного отсутствия пыль и на радость всем своим живым землякам примется шить с прежним рвением и энергией.

Тут остролов Авидгор Перельман не преминул внести в жизнеутверждающую, высокопарную риторику местечкового пастыря свою скромную лепту:

– Омейн! Тем более что путь из рая сюда, в Йонаву, не такой уж далёкий. До какой-нибудь Америки реб Абраму добираться было бы куда трудней.

Провожане пропустили злую шутку нищего мимо ушей и стали понемногу расходиться.

У кладбищенских ворот, украшенных деревянными гривастыми львами, которые держали в своих когтистых лапах чаши, полные потусторонней благодати, к Шлеймке с опаской приблизилась домоправительница Кисина, Антанина, и обратилась к любимому работнику и ученику покойного то ли с просьбой, то ли с советом:

– Может, ты, Шлеймке, мне поможешь? Племянник хозяина Берл – не портной, а жестянщик, и живет он не в Литве, а в Латвии, в Елгаве. На похороны дяди Берл не успел. Пока приедет, пока во всём разберётся, пройдет немало времени. Ума не

приложу, что теперь делать с этими недошитыми вещами. Отдать заказчикам? Но я ведь не знаю, что кому принадлежит, если они вдруг нагрянут и потребуют от меня свое добро назад.

Не давая мужу рта раскрыть, в разговор вдруг вмешалась сметливая Хенка.

– Зачем, поне Антанина, отдавать? Шлеймеле, как известно, бывший его подмастерье и, можно сказать, ученик. Он дошьёт. Он разберётся, чей пиджак и чьё пальто. Никакой путаницы не будет. Не беспокойтесь! Каждый в лучшем виде обратно получит всё, что ему принадлежит. А вырученные деньги за пошив пойдут реб Абраму Кисину на памятник. Все недошитые вещи мы с вашего разрешения вместе перенесём к нам. Если кто-нибудь захочет забрать своё добро и пойти к Гедалье Банквечеру, пусть забирает на здоровье. Правильно вы поступили, поне Антанина. Ведь и нам в трудную минуту добрые люди пришли на помощь. Почему же другим не помочь? Правильно я, говорю, Шлеймке?

– Правильно, – произнёс Шлеймке, обескураженный хитроумным предложением Хенки. Такой прыти он от неё не ждал, хотя сразу смекнул, что печётся она не столько о памятнике покойному Кисину, сколько о своём муже, о его добром имени. Нет лучше рекламы, чем бескорыстие и благодеяние. Всё местечко заговорит о Шлеймке Кановиче. Слышали? Себе, оказывается, ни цента не возьмёт. Все деньги передаст Антанине, которая подыщет в своей деревне подходящий для надгробья камень, её родичи привезут его на телеге на кладбище, а каменотёс Иона в память о реб Кисине высечет на нём полагающиеся усопшему еврею скупые слова.

– Спасибо, – растрогалась Антанина. – Мой хозяин, вечный ему покой, всегда говорил, что Шлеймке далеко пойдёт, и очень жалел, что Господь Бог не дал ему такого сына.

На следующее утро Хенка с помощью Антанины перенесла все невыполненные заказы в дом Эфраима Каплера.

С того летнего утра в жизни Шлеймке произошёл негаданный и благоприятный перелом. Мало того, что никто из бывших клиентов Кисина не отказался от его услуг, все до единого согласились, чтобы Шлеймке за покойного реб Абрама дошил их пальто и костюмы. И вышло аккуратно так, как и задумала сообразительная Хенка – заказчики поспособствовали росту авторитета молодого мастера и притоку новой работы.

Шлеймке работал весело, с воодушевлением, «Зингер» почти не умолкал.

Каплер от трудового неистовства квартиранта не был в

восторге. Он не раз спускался со второго этажа, который занимал целиком, и принимался сердито выговаривать Шлеймке за то, что от немолкающей пулеметной дробы «Зингера» он, Эфраим Каплер, просыпается среди ночи и до самого рассвета не может сомкнуть глаз.

– Ты, что, дружище, шьешь и по ночам? Тебе что, белого дня не хватает? Нельзя ради работы жертвовать отдыхом и снами, которые даровал нам Господь Бог в награду за дневные труды. Он и сам в седьмой день отсыпался и нам заповедал беречь силы в нашей горемычной жизни. Мир-то Он создал днём, а не ночью.

– Ничего не поделаешь – заказов много. Приходится шить и днём, и ночью. Заказчики нетерпеливы. А я работаю один. Правда, мне иногда помогает жена – советы даёт, уютю на кухне накаливает, мерки в тетрадку записывает. Собираюсь по Хенкиному совету обучить ремеслу её брата-говорюна. Вдвоём будет легче.

– По-моему, шить по ночам – это, дружище, не что иное, как унижение своего мужского достоинства, – сказал реб Эфраим Каплер и криво усмехнулся в свои картинные помещичьи усы. – Ночами евреи не шьют, а сам знаешь, что делают. Как на эти причуды смотрит твоя супруга?

– Нормально.

– Нормально?! – У реб Эфраима Каплера от гневливого удивления дёрнулась щека, а густые, с проседью, брови взлетели вверх. – А как же с Господним заветом – *пру у-рву*. Ты меня понял?

– К сожалению, нет, реб Эфраим. Переведите мне, пожалуйста, завет нашего Господа на доступный идиш. Иврит, к сожалению, вытек из моей памяти.

– Плодитесь и размножайтесь.

– А-а! Ну, с этим у нас, надеюсь, будет всё в порядке. Но простите меня за двусмысленность, реб Эфраим, в чужое гнездо свои яйца кладет только кукушка. А мне бы очень хотелось заработать на своё гнездо.

– Что ж, дело твое. Если ты и дальше будешь упорствовать и так безумолчно стрекотать по ночам, то вам придётся подыскать другое жильё, – предупредил трудолюбивого квартиранта страдающий от бессонницы усатый реб Эфраим Каплер, не терпящий никакого неповиновения от тех, кто от него зависит.

Предупредил и, не попросившись, удалился.

Осмотрительный Шлеймке, предпочитавший ни с кем не лезть в драку, вял предупредению Эфраима Каплера и обуздал своего коня. Не бросать же только что обустроенную квартиру и снова переселяться на чердак – в тесноту, в духоту, к летучим

мышам.

Он продолжал работать с прежним рвением, но свою лошадь, как он окрестил «Зингер», ставил в конюшню ещё до полуночи, чтобы, упаси Боже, не потревожить драгоценный сон реб Эфраима Каплера, а по субботам вообще не выводил её из стойла. Со всеми заказами Кисина он справился в срок, а вырученные деньги по договоренности передал через Антанину приехавшему из Елгавы племяннику покойного – жестянщику Берлу, костлявому еврею-заике, чтобы тот израсходовал их на памятник.

Каменотёс Иона высек на плоском овальном камне, поставленном на попа, традиционную надпись «Здесь погребён», а также имя и фамилию покойного. Но позволил себе и некую вольность – пустил долотом вдоль камня тонкую нить, оборванную на середине, а под ней иголку, как бы выпавшую из рук на холодную могильную плиту.

Роха не могла радоваться на успехи сына и всюду превозносила его и свою невестку.

– Он-то мне не изменит ни с Францией, ни с Америкой, ни с Палестиной! Он-то нам с Довидом наверняка тут закроет глаза, – пылко доказывала она себе и всем знакомым.

Радовалась тому, что у молодого портного растёт клиентура, и семья Кремницеров.

– А кто был его Колумбом? – вопрошал, подчеркивая свои заслуги, реб Ешуа. – Кто первый открыл его для мира?

В местечке мало кто знал, кто такой Колумб. Наверно, и сам суровый бургомистр Йонавы, крестьянский сын, не слышал о такой фамилии.

Время между тем утекало, как тихие ручейки в реку, без водоворотов и всплесков. В Литве больше никого не расстреливали. Новый президент, как ему по должности было положено, произносил поучительные профессорские речи и даже не гнушался иногда посещать провинцию. Завернул он однажды и в Йонаву, послушал на площади в исполнении смешанного хора учеников литовской гимназии и учащихся местечковой ивритской школы «Тарбут» государственный гимн: «О, Литва, отчизна наша, ты страна героев...» и, удостоверившись в любви к родине своих юных подданных разных национальностей, весьма довольный вернулся в столицу, в свой президентский дворец.

Без потрясений утекала в вечность и жизнь в Йонаве.

Хенка исправно ходила на работу к благожелательным Кремницерам. Правда, подросший и вытянувшийся Рафаэль уже не нуждался в её играх и сказках.

– Ты неправильно говоришь, – заявил Рафаэль, выслушав в очередной раз рассказ о ползунье-улитке, научившейся летать, как ласточки и синицы, и жить на деревьях. – Улитки не летают.

– Это же, Рафаэль, в сказке. А в сказке, мой дорогой, в отличие от жизни всё возможно.

– Я спросил у дедушки Ешуа, и он мне сказал, что летают только мухи, комары, пчелы, осы, даже куры в курятнике летают, но плохо. А у этих улиток никаких крылышек нет. Ты меня просто обманываешь. А мама говорит, что обманывать нехорошо.

Рафаэль уже подолгу обходился без няни: крутил ручку шарманки и слушал какие-то песенки; строил из кубиков дома; прокладывая из картонных листов с нарисованными рельсами и вокзалами железную дорогу, по которой двигался скорый поезд с разноцветными вагонами. На дверях вагонов вместо номеров были нарисованы крупные буквы французского алфавита. Когда мальчику надоедало слушать песенки, быть строителем – путейцем, он доставал книжку с животными всех континентов – слонами и медведями, жирафами и кенгуру, ланями и лосями, которых можно было раскрасить цветными карандашами. Хенка со своей летающей улиткой была бессильна соперничать с этими чудесными картинками и живописным букварем, привезёнными Ароном Кремницей своему сыну из недостижимого обольстительного Парижа.

Хенку мучили угрызения совести. Она ловила себя на мысли, что из няньки превратилась в исповедницу Этель, от которой незаслуженно получает (вовсе не за опеку Рафаэля) приличное жалованье. Ей платят за то, что она ежедневно выслушивает её искренние и печальные исповеди. Хенке, конечно, не хотелось этого жалованья лишаться, но она и не желала получать его за безделье. За сочувствие и за сострадание к своему ближнему Господь Бог не велит брать мзды, ни мелкой, ни крупной, никакой.

Не забывала Хенка и давние наставления родителей о том, что врать – великий грех, но и правду на этом свете надо говорить не с поспешностью, а с умом и осторожностью потому, что хоть правда и красит человека, но она его, увы, не кормит. Хочешь жить – крутись. Такова испокон веков, мол, была еврейская доля. Но Хенка с такой унижительной долей мириться не хотела.

– Мне хорошо с вами, – сказала она и запнулась.

– И нам с тобой хорошо, – отозвалась Этель.

– Но я Рафаэлю уже не нужна.

– Ты всем нужна: и мне, и Рафаэлю, и реб Ешуа, – сказала Этель.

– Рафаэлю уже со мной неинтересно. Что я ему могу дать? Я всего-то три класса начальной школы закончила. Вот и осталась неотесанной деревенщиной. А Рафаэль про летающих по небу улиток и про мышек, которые подружились с котёнком, и прочую дребедень уже слушать не хочет.

– Главное, Хенка, душа. Что с того, что кто-то на свете знает всё, обо всём и обо всех, если душа у него давно окаменела.

– А что это за штука – душа? Это, если по-простому выразаться, то же самое, что и сердце?

– Не совсем. Сердце есть у всех. А душа, к сожалению, дана не каждому. Ты задаешь мне, милая, вопросы, на которые даже наши мудрецы затруднялись дать вразумительный ответ. Я тоже над этим ломаю голову. Что это за штука – душа? Может, я вздор несу, но душа – это, по-моему, то, что человека из двуногого млекопитающего делает человеком и что нельзя похоронить в могиле, ибо душа бессмертна. Она противится тлену и отлетает в небо, смерть не властвует над ней.

– Эти объяснения не для моего ума.

– И не для моего тоже. Давай лучше вернёмся к нашим делам. С чего ты взяла, что ты не нужна? Никто никаких претензий к тебе не имел и не имеет. Ты свой хлеб даром не ешь. Не поверишь, но я уже и не представляю, как мы без тебя жили бы. Так что, как бы ты ни хотела с нами расстаться, мы всё равно тебя не отпустим. А что касается Рафаэля, то ты права – сейчас с ним меньше надо возиться. А вот за своего тестя я боюсь.

– А что с ним?

– Снова слёг. Доктор Блюменфельд прописал ему порошки от боли в печени и таблетки против высокого давления. Он велел, по крайней мере, в течение недели соблюдать постельный режим, но реб Ешу всё время порывается встать, одеться и – в лавку. На все мои уговоры не нарушать предписаний доктора он не обращает никакого внимания, только отмахивается и, как ни в чём не бывало, отвечает: «Я хочу умереть, стоя за прилавком!». Чувствую, что я одна с ним не справлюсь. Хоть Арона из Парижа вызывай. Где это слыхано, чтобы у благоразумного человека была такая мечта – умереть, стоя за прилавком?

– А сколько лет он уже за ним стоит?

– При мне уже лет десять. А вообще-то, наверно, куда больше – с той поры, когда он сдал лесные дела Арону. Все двери домов и склады в Йонаве, все деревенские амбары и хаты, все мельницы в округе запираются замками и засовами, купленными в лавке реб Ешуа. Крестьяне его в шутку за глаза величают Петром-ключником. Он знаком с их детьми и внуками, знает, как зовут

каждого покупателя. Для них он – самый лучший еврей на свете. Берёт недорого, даёт в долг и не торопит с возвратом. Когда он был моложе, то ездил к некоторым из них в гости и даже самогон с ними попивал.

– Он действительно самый лучший, – поддержала мнение крестьян Хенка. – Дай Бог ему здоровья!

– Дай Бог, – пожелала ему и невестка, но слова о том, что реб Ешуа – самый лучший еврей на свете, почему-то не повторила.

– Может, мне снова на недельку стать за прилавок?

– А ты поговори с ним. Как знать, вдруг согласится. Сейчас он не спит, читает Танах. Постучись к нему, – сказала Этель.

Хенка постучалась и через мгновение услышала:

– Всегда.

Она тихо, почти на цыпочках, вошла в комнату и поздоровалась.

– О! Кого я вижу! – оживился реб Ешуа. – Вижу не этого зануду Блюменфельда, не Этель с её таблетками и пивками, а хорошенькую женщину! Что ты стоишь? Садись!

– Вам, реб Ешуа, нельзя столько говорить, – Хенка придвинула к постели больного плетёное кресло и села. Реб Ешуа Кремницер лежал на диване в цветастой пижаме, укрытый до пояса пуховым стёганным одеялом, и трудно дышал. – Мне, моё золотко, говорить ещё можно, а вот жить уже нельзя. Нельзя! Что за радость – своей никчемной жизнью портить жизнь другим?

– Неправда. Ничью жизнь вы не портите. Не выдумывайте и не наговаривайте на себя.

– Правда, правда. Если бы я отправился к праотцам, как мой ровесник Абрам Кисин, всем стало бы куда легче.

Реб Ешуа откашлялся, отпил из стакана морковный сок и после долгого молчания, не глядя на Хенку и словно разговаривая с самим собой, продолжил:

– Тогда Этель от скуки не томилась бы годами в этой дыре, как в застенке. В два счета упаковали бы они чемоданы и – фюить отсюда! – Реб Ешуа, несмотря на одышку, по-мальчишески задорно присвистнул. – Их тут ничего не держит.

– А родина?

– Родина? Плевали они на эту родину. Тем более что Этель родилась в Германии, а не в Литве.

– Но она тут столько лет прожила.

– Уедут себе покойненько и про всё и про всех забудут. Да и что им вспоминать? Литовские ливни и метели? Пьяных мужиков на местечковом базаре? Лавку, которая была для меня, старика, такой же забавой, как для Рафаэля его деревянная лошадка? Лишь

бы не мешал, не путался у родителей под ногами.

– Вам, реб Ешуа, доктор запретил напрягаться. Выбросьте из головы все дурные мысли и, пожалуйста, скорее выздоравливайте.

– Не могу от такого пожелания отказаться, – выдохнул реб Ешуа Кремницер. – Но вся беда в том, что мусора в моей голове – хоть отбавляй, а выпрыгнуть его оттуда уже нет сил. Многое там годами лежит и попахивает гнильцой

– Тут уж вы перегнули палку.

– Поживешь – убедишься. Мне, конечно, грех обижаться на Господа Бога. Но жаловаться Вседержителю на свои недуги и тяготы ни один раввин на свете не запрещает. Господь не обошёл меня своей милостью. Спасибо Ему за то, что дал мне удачливого сына. А вот за то, что вдобавок не дал такой дочери, как ты, я должен пенять только на самого себя. Поленились мы с Голдой. Если я ещё с Божьей помощью встану на ноги, то первое, что сделаю – поеду в Каунас к своему нотариусу.

Реб Ешуа снова замок, подождал, пока отстоитя накопленная горечь и сквозь неё просочатся нужные слова, и тихо промолвил:

– Пришла пора позаботиться о завещании. Мало ли чего может случиться с дряхлым старцем. Мне всё равно, кто купит наш дом, меня не интересует, когда Арон увезёт отсюда семью. А вот лавка... Не хочу, чтобы она досталась случайному человеку. Может, я ещё при жизни удивлю друзей и недругов своей последней волей. Ни за что не догадаешься, кому я намереваюсь отписать свою лавчонку.

– А я не умею отгадывать.

– Возьму и отпишу её тебе. Что ты на это скажешь?

– Что вы?! – встрепенулась Хенка. – Как только вам такое могло в голову прийти?! Вы и так уже нас избаловали своей добротой. Не смейте об этом даже заикаться. Пока вы болеете, я, если хотите, могу ещё раз заменить вас и встать за прилавок. До вашего выздоровления. Но не как хозяйка. Живите до ста двадцати лет и сами в ней хозяйничайте, сколько сможете! Господь Бог должен бы таким добрым людям, как вы, не убавлять годы, а прибавлять.

– Наш Господь Бог может всё сделать, но почему-то не спешит. А почему? А потому что люди есть люди, иначе они никогда не умерят свои аппетиты и не усмирят свою гордыню.

– Полежите спокойно. От разговоров вы только расстроитесь, и вам, не дай Бог, станет хуже.

– Спасибо, что зашла. Ты на меня действуешь намного

лучше, чем таблетки доктора Блюменфельда, – сказал реб Ешуа после короткой передышки и стал искать под одеялом платок, чтобы вытереть предательские глаза.

– Реб Ешуа, вы на меня за мою откровенность не сердитесь, но в будущем я не намерена торговать или нянчить чужих детей, я собираюсь рожать собственных. Видно, я на другие подвиги не способна. Моя мама всегда втолковывала в голову всему табунку своих дочерей, чтобы они не забывали: у каждой еврейки, богатой ли, бедной ли, нет на свете работы важнее, чем делать с хорошим мужем других евреев.

Реб Ешуа Кремницер прыснул.

– С тобой, Хенка, поневоле выздоровеешь. Это тебе, а не сухарю Блюменфельду надо платить за каждый визит чистоганом.

Она поклонилась на прощание и вышла так же тихо, как вошла.

11

Наплыв заказчиков в полуподвальную мастерскую продолжался, и безотказный Шлеймке работал на износ. Опасаясь за его здоровье, заботливая Хенка предложила мужу взять в ученики-помощники её непутёвого, но боевитого брата Шмулика. Отец Шимон, изгнанный в четырнадцатом году в Оршу и ставший невольным свидетелем русской революции, не зря прозвал своего сына Шмуде-большевик, так, как звали в тех краях бунтовщиков, стремившихся сбросить с трона царя Николая. Необычное прозвище прилепилось к нему прочно и надолго. Шмулик, правда, не призывал к свержению президента Сметоны, но почём зря поносил существующие в Литве порядки и превозносил до небес своего кумира – покойного вождя трудящихся всего мира Владимира Ленина.

– Когда-нибудь ты кончишь, как этот несчастный пекарь, который бросил выпекать баранки и стал призывать бедняков к бунту. Принялся глупец убеждать всех, что пора бы последовать примеру русских и заменить власть буржуев в Каунасе на такую, как в России. За эту болтовню тебя, баламута, могут запросто угостить и пулькой, – ворчал отец – сапожник Шимон, предрекая сыну печальное будущее. Старик никак не мог взять в толк, как лысый русский покойник может быть вождём всех трудящихся в мире.

Трудолюбивому Шлеймке нужен был не борец с буржуями, не пламенный сторонник покойного Ленина, о котором он и слыхом не слыхал, а старательный работник. Его не интересовали разговоры о свободе, равенстве и братстве. Он знал, что на земле равенство устанавливают только могильные черви. Испокон веков, мол, при всех властях на свете будет существовать неравенство, никуда не

исчезнут бедные и богатые, не переведутся заключённые и тюремщики, а что касается братства, то порой даже брат со своим кровным братом до самой смерти не могут побрататься из-за десяти соток неплодородного суглинка, доставшегося им в наследство.

Но отказ грозил обернуться крупной ссорой с Хенкой, и Шлеймке уступил ей.

Первое время Шмулик воздерживался от обличений местных властей и восхвалений нового строя в России. Он работал молча, сосредоточенно, не втягивал Шлеймке ни в какие дискуссии и вскоре стал отличным брючником, а ведь начинал с того, что утюжил канты, латал дыры, изредка садился за швейную машину и по указанию Шлеймке учился вышивать в строчку.

Шлеймке удивляли не только портновские способности шурина, но и его начитанность и осведомлённость. Тот где-то в Каунасе раздобыл старый трескучий радиоприемник «Philips», сам его починил и слушал по вечерам новости по-литовски, по-русски и по-немецки, толком не владея ни одним из этих языков.

– Надо всё-таки знать не только о том, что происходит у тебя под носом и под окнами, – миролюбиво сказал он своему учителю.

– Зачем?

– Мы же не на луне живём, не в загоне, как скот, который должен знать, что существует только изгородь да пучок сена.

– Надо, Шмулик, прежде всего, знать не то, что творится за нашими окнами и за изгородью, а что творится в собственной душе и в голове. Там и следует наводить порядок, а не устраивать бунты, – попытался изложить свою точку зрения осторожный Шлеймке.

– Это верно. Но от всего того, что творится в мире, зависит и то, что будет с нами и нашим домом. А что мы с тобой, скажи, пожалуйста, тут, в захудалом нашем курятнике, видим и слышим? Квохчем, поклёвываем по зернышку, высиживаем своих цыплят, радуемся всякой чепухе вроде лишнего цента, и больше ни о чём не желаем знать. А если завтра, например, разразится война и начнутся погромы? Ты, например, что-нибудь слышал о злодейских планах такого фрукта, как Адольф Гитлер и его дружков? Не слышал, конечно.

– А кто он такой, что я должен слышать о нём и о его планах?

– Он отъявленный подлец и ненавистник евреев! Это во-первых. Во-вторых, его сообщники грозятся избавить мир от пархатых кровососов и всех нас выкосить поголовно. Как тебе такая перспектива?

– Мало ли водится на свете сумасшедших.

– Пока, слава Богу, мало, но их численность растёт с каждым днём.

– Если ты станешь заниматься подсчётом безумцев и негодяев, то мы, Шмулик, уж точно ничего путного с тобой не сошьем. Тебе надо шить и меньше слушать этот свой поганый «Philips». А о сумасшедших пусть заботятся доктора, – спокойно сказал Шлеймке и повторил: – Надо шить. Только бездельник без остановки чешет языком, а болтовня никакой пользы никому не приносит, а напрямик ведет в худер-мудер. Ты, что, по тюремной похлёбке соскучился?

Брезгливое отношение Шлеймке к доморощенным бунтарям вроде бедного пекаря, расстрелянного в назидание его единомышленникам-евреям и одураченным последователям, не помешало Шлеймке и Шмулику не только сработаться, но и подружиться.

Шмулик схватывал всё на лету, был беззлобно насмешлив и необидчив. С ним, завзятым спорщиком и хулителем угнетателей-буржуев, таких, как усаатый напыщенный домовладелец Каплер, угрюмому Шлеймке было легко и интересно.

Пригодились перегруженным заботами молодожёнам и недюжинные кулинарные способности Шмулика. Хенка до самого полудня была занята в лавке, а после обеда помогала справляться по дому Этель, приученной только к чтению романов, ежедневному копанию в своей истерзанной разлукой душе и гаданию на картах о туманном будущем. Успевала Хенка посидеть и у постели лежачего реб Ешуа, вручить ему дневную выручку, передать приветы от покупателей и их пожелания – мол, помним вас, реб Ешуа, и ждем, выздоравливайте.

Поэтому Шмулику частенько приходилось для Шлеймке и для самого себя что-то варить, жарить, печь. Вместе ели, а после еды вместе мыли посуду, прекращая споры о мировых болячках и недугах и откладывая конец света назавтра.

Когда Шмулик узнал о намерении увядающего чудака и филантропа Кремницера отписать Хенке свою лавку, как только сестра вернулась вечером домой, устроил ей при Шлеймке настоящий допрос.

– Ну?

– Что – ну?

– Ты, надеюсь, не стала корчить из себя благородную девицу из дома графа Потоцкого или племянницу президента Сметоны и не отказала старику?

– Отказала. А ты хотел, чтобы я согласилась и сломя голову бросилась ему руки целовать?

– Вы только посмотрите на эту гордячку, – надулся Шмулик. – Можно подумать, что у тебя уже есть одна лавка колониальных товаров в Каунасе, на аллее Свободы, а другая – дорогой парфюмерии и женской косметики – в самом центре Парижа!

– Шмулик, – с какой-то примирительной грустью сказала Хенка. – Не строй из себя дурака! Кто на чужое добро зарится, у того никогда своего добра не будет.

– Нет у Кремницеров никакого своего добра. Нет! Леса за Риетавасом – не их, и лавки, купленные за вырубленные и сплавленные за границу деревья, тоже не их. Все это добро принадлежит народу.

– Что же, Шмулик, по-твоему, выходит? Что и подаренный на свадьбу «Зингер» тоже не мне принадлежит, а этому твоему народу? – встал на защиту Хенки, поинтересовался у поборника равенства и братства Шлеймке.

Брат Хенки не нашелся, что ответить.

– Не народ, Шмулик, за этим самым «Зингером» сидит. Если хочешь знать, народ – плохой хозяин. Никакой собственностью он управлять или распоряжаться не может. Её приумножают только единицы, так сказать, частники, – снисходительно наставлял на верный путь своего помощника Шлеймке. – Подумай сам – ведь и человека, слава Богу, никто и нигде скопом не делает. Каждый по мере сил и способностей старается производить его на свет без посторонней помощи. Самостоятельно, по-моему, получается куда лучше, чем при полной поддержке народа, – сказал Шлеймке и, довольный своей проповедью, разулыбался.

Хенка поддержала его благодарным взглядом. Тем более что от всех скрывала свою главную тайну – уже два месяца она носила под сердцем своего первенца, уверенная в том, что родится именно мальчик. Свою тайну Хенка твердо решила до поры до времени никому не выдавать, скрывать от всех – даже от собственного мужа. А вдруг возьмёт и ненароком проговорится Рохе, которая ещё совсем недавно советовала ей остерегаться и не спешить с прибавлением семейства, хотя и сама своего старшего – «француза» Айзика родила в неполные двадцать. Хенка, конечно, понимала, что беременность – это такая тайна, которая с каждым днем саморазоблачается и никакими уловками её все равно ни от кого не удастся скрыть, но все же хранила упорное молчание, оберегая себя от ядовитых упрёков и брюзжания непреклонной

свекрови.

Первая, кто заподозрила, что Хенка беременна, была прозорливая Этель Кремницер.

Они были в гостиной одни. Рафаэль спал, а реб Ешуа в своей комнате томился от одиночества и забвения.

– Ты, милочка, в последнее время, как мне кажется, чуть-чуть раздалась вширь? – с какой-то плутовской подковыркой промолвила хозяйка. – И вроде бы даже ходить стала осторожнее, словно боишься споткнуться даже на нашем гладком паркете. Может, ты уже случайно рыбёшку поймала? Признавайся! На меня ты можешь смело положиться – никому не разболтаю.

Кому-кому, а ей Хенка не могла соврать. Этель сама не раз, пусть прозрачными намёками, пусть негаданными обмолвками, делилась с ней тайнами, которые никому другому не поверяла.

– Поймала, – призналась Хенка.

– В добрый час! Ты неверишь. Избалованная барышня, неженка, я всегда мечтала народить кучу детей, но Арон всячески сопротивлялся, мол, сейчас многодетные семьи – пережиток, в Европе и в Америке они не в моде. Такие семьи можно, дескать, ещё встретить в недоразвитой, дикой Африке и в глубоком, скучном захолустье, где у провинциалов кроме этого необременительного и сладостного занятия нет никаких других развлечений. А по-моему, дети никогда не выходили и никогда не выйдут из моды.

Она вздохнула, помолчала и тихо, как будто самой себе, сказала:

– Что ни говори, а ты молодец. В молодости рожать намного легче. Даст Бог, будет у нашего Рафаэля друг или подружка. А, может, сразу и друг, и подружка.

– Ой! – вскрикнула Хенка. – Вы мне так напророчите двойню! Одного бы нам прокормить и вывести в люди. Кого Всевышний пошлёт, того с благодарностью и примем.

– Главное, чтобы всё прошло благополучно. Я, к сожалению, в доме росла совершенно одна. Мама, правда, родила двойню. Тогда мы жили в Германии, в Берлине, на Фридрих Шиллер штрассе. Моя сестра Эстер, которая родилась на четверть часа раньше, чем я, не дожила и до трёх лет.

– А что с ней было?

– Врожденный порок сердца. Сейчас мне кажется, что было бы куда лучше, если бы тогда вместо неё умерла я.

– Так говорить грешно. Ведь Господь Бог слышит каждое наше слово. Хозяин жизни, Он может на вас обидеться и за такие ваши слова ещё и наказать.

– Он уже давно наказал меня. Скажи на милость, разве это

жизнь? – вырвалось у Этель, и тут её так понесло, что она не могла остановиться: – Живу, как монахиня, под боком тещь с набором болезней и премудростей, муж в бегах... Единственная радость и утешение – Рафаэль.

Хенка не смела её прерывать. Это с Этель бывает. Что-то вдруг нахлынет на неё – и она распахнётся настезь. Но та неожиданно свернула совсем на другую дорожку.

– Я очень рада за тебя. Арон всё время беспокоился о том, кому достанется наш домашний магазин игрушек, которые он со всех стран Европы привозил для своего любимчика. Если у тебя родится мальчик, то пусть он станет их наследником. Надеюсь, ты не откажешься и от гардероба подросткового Рафаэля. Я ничего не выбрасывала, и не из-за скупости, аккуратно всё складывала для его будущего братика: летние и зимние штанишки, рубашечки с вышивкой, замшевые курточки, шапочки с помпончиками, кожаные ботиночки. Но напрасно старалась. А теперь уж, видно, не судьба мне стать матерью во второй раз. Зачем этому добру зря пропадать?

– Доживём до того счастливого урожайного дня... – уклончиво ответила Хенка. – Может, родится не мальчик, а девочка. Но я хотела бы поговорить с вами совсем о другом. Не об игрушках.

– Со мной ты можешь говорить о чём угодно.

– Когда я округлюсь, как бочка, за прилавком в таком виде, думаю, не стоит мне появляться. Придётся найти замену. Реб Ешуа туда, к великому сожалению, уже вряд ли вернётся.

– Наверно. Его состояние оптимизма не внушает. Он почти не встает с постели, никого не хочет видеть, чаще всего разговаривает с самим собой. А я превратилась в больничную сиделку. Вскрываю среди ночи и бегу к нему в комнату, чтобы удостовериться, дышит ли он или не дышит. – Помолчав, она с печалью продолжала: – Арон настроен решительно: всё имущество в Литве продать и, несмотря ни на какие отцовские отговорки, переехать в Париж. В последнем письме написал, что еврейские местечки – это вообще вопиющая нелепость, добровольная тюрьма, разве что без решёток и надзирателей, где томятся тысячи и тысячи незащитных евреев, и что не пройдет и полвека, как всё это вместилище бедности, ограниченности и наивной веры в могущество Господа Бога исчезнет с земли вместе со всеми своими обитателями. Евреи, мол, так самой природой устроены, что им нужна не клетка, не огороженный скотский загон, а простор, чтобы можно было во всю ширь развернуться.

– Ого! Куда же, по его мнению, мы все денемся? Улетим, как журавли, в теплые страны? Или все умрём от чумы? Тут он, по моему, пересолил, – оробела Хенка.

– Такой уж он у нас горячий. Всегда с плеча рубит. Может нечаянно срубить и то, к чему топором и прикасаться-то нельзя.

– Жалко будет с вами расставаться, – сказала Хенка. – Уж вас-то в Йонаве некем будет заменить.

– До расставания пока не близко. Арон, как ветер, очень порывист и переменчив. Ты ещё успеешь родить, прежде чем окончательно выяснится с нашим переездом, – подбодрила её Этель. – Так что пока можешь дальше спокойно работать.

Домой Хенка возвращалась с тяжёлым сердцем. Арон увезёт отца из местечка, и она, будучи в интересном положении, не только лишится приличного заработка, но и верных друзей. Мысленно Хенка отдаляла срок неотвратимого расставания, но у неё не было сомнения в том, что оно, это расставание, скоро наступит. Хоть бы после всех этих передраг её благодетель реб Ешуа остался жив!..

Дома Хенка лишний раз убедилась, что плохая новость в одиночку не ходит – к ней обязательно по пути пристроится какая-нибудь скверная компаньонка.

Слёг отец Шлеймке. У Довида была незалеченная чахотка. Время от времени она давала о себе знать громоподобным кашлем и кровохарканьем.

– Он у меня со дня свадьбы только и делает, что кашляет и кашляет. Такое впечатление, как будто он, женившись на мне, мною, словно рыбной костью, подавился. Никогда не забуду, как под хупой мой бедный избранник так раскашлялся, что ни одного слова раввина никто не услышал, – всякий раз рассказывала Роха одну и ту же историю доктору Блюменфельду, за которым Хенка успела сбегать на другой конец местечка.

Доктор наклонился над прикорнувшим Довидом и, не задавая домочадцам лишних вопросов, невесело сказал:

– Как говаривал в Цюрихе мой учитель – профессор Людвиг Сеземан: «Картина тут и без вскрытия абсолютно ясна!». Я принёс швейцарские таблетки. Принимать каждые четыре часа, после еды, в течение пяти дней. И постельный режим – лежать в тепле, лежать, лежать и помалкивать.

– У меня много работы, – сквозь дрёму простонал Довид. – Как я могу лежать?

– Я за тебя поработаю, – отозвалась Роха. – Не первый раз берусь за шило и молоток.

– Вы умеете сапожничать?

– Если понадобится бы, я и лошадь сумела бы подковать, – неожиданно похвасталась Роха. – А уж подмётки подбить – для меня сущий пустяк. Моя невестка Хенка и дочь Хава будут пять дней

готовить для нас еду, а я сяду за колодку. Когда Довид хворает, я всегда вместо него сажусь сапожничать – молоток или шило в руки, шпильки в рот, и вперед с Божьей помощью!

– Вот это да! – восхитился Блюменфельд.

– Нужда всему научит, – сказала Роха и – что редко бывало – растрогалась: – Какое счастье, что вы здесь! Что бы мы, доктор, делали, если б вы остались со своим Людвигом в этом Рюрихе?

– Не в Рюрихе, госпожа Канович, а в Цюрихе. Есть такой город в Швейцарии, – поправил её Блюменфельд. – Почему не остался? Потому что тут, по-моему, мы чуточку ближе к Господу Богу, да и Он вроде бы ближе к нам, – отшутился доктор. – У истоков реки, у её устья вода, как утверждают, чище. А ведь тут – наши истоки.

– Что-то я, доктор, в местечке Господа Бога пока ни разу не встретила. Может, из-за своей врождённой близорукости не заметила, а, может, мы с Ним просто по разным улицам ходим. Когда я топаю по Рыбацкой улице, он вышагивает по Ковенской. И наоборот!.. – Роха раскатисто рассмеялась и, отдышавшись, сказала: – Хенка, подай, пожалуйста, доктору стул.

– Вы лучше сначала дайте больному первую таблетку, а я ещё минуточку-другую с вами постою.

– Бегу!

И Хенка, обрадованная тем, что, пусть и ненадолго, сможет унести подальше свой набухающий живот, бросилась с лекарством к затихшему свёкру.

– Если, как вы говорите, Всевышний в Йонаве чуточку ближе к нам, грешным, чем к тем, кто живёт в больших городах за границей, то почему же здешним людям так нелегко живётся?

– Почему? А потому, что мы ещё тут с вами продолжаем верить в то, что Он неусыпно следит за каждым нашим шагом и печётся не столько о нашем кошельке, сколько о наших душах.

– Ага, – буркнула Роха с нескрываемой обидой. – Мог бы Отец небесный позаботиться и о беднячком кошельке.

– Ничего не попишешь – истинная вера никакими банкнотами не оплачивается. Сами знаете, в чём наша беда.

– Нет, не знаю.

– Беда в том, что золотой телец эту нашу веру уже почти повсюду забодал своими рожками. Но как человек ни преклонялся перед деньгами, а на бессмертие их ни у кого не хватит.

– На завтрашний день не хватает. Что уж говорить о вечной жизни, – сказала Роха.

Ицхак Блюменфельд помолчал и сочувственно оглядел

давно не белёные, облупившиеся стены. На одной из них в застеклённой рамке на старом дагерротипе сиротливо прижимались друг к другу далёкие предки не то Рохи, не то трудяги Довида.

– А остался я в Йонаве из-за покойного отца, стряпчего и ходатая Генеха Блюменфельда, люди должны его ещё помнить, – выдохнул доктор.

– Как же, как же... Ваш отец евреям на самый верх всякие прошения и жалобы писал – то нашему бургомистру, то в Каунас тамошним властям, – охотно подтвердила Роха.

– Отец в письмах в Цюрих требовал, чтобы я приезжал хотя бы на каникулы. «Я стар. Кто знает, может случиться так, что твои каникулы совпадут с моими похоронами», – как-то написал он и пожаловался на недуги и одиночество. Вы не поверите, мои последние студенческие каникулы как раз совпали с его кончиной. С тех пор я со своей матерью Златой и отцом Генехом, да будет благословенна их память, ни разу не расставался и уже никогда не расстанусь.

Доктор Блюменфельд застегнул пиджак, захлопнул свой волшебный чемоданчик и уже у самого выхода промолвил:

– Если реб Довиду станет хуже, и снова, не приведи Господь, начнется кровохарканье, сразу же дайте мне знать.

– Дадим, дадим, – осыпала его скороговоркой Роха. – Все давно знают, что, когда требуется помощь, то до вашего дома, доктор, намного ближе, чем до Дома Господнего, – не преминула ещё раз попенять Всевышнему сварливая сапожничиха.

Целую неделю Роха сидела за колодкой и с остервенением колошматила по ней молотком, словно вымещая накопившуюся обиду на свою незавидную долю. Большой Довид хриплым голосом с кровати подсказывал ей, какую обувь в первую очередь надо чинить, а какая пускай дожидается его выздоровления.

– Начни с набоек для штиблет ксендза – я обещал его экономке поне Магдалене, что в понедельник будут готовы... У самой колодки кирзовые сапоги балагулы Шварцмана, который клянётся, что у него уже в люльке был тридцать шестой размер, а сейчас – сорок седьмой. Врёт, конечно. Правда, такой огромной клешни я в нашем местечке ни у кого не видел. Но уж не сорок седьмой! Его послушать, так у него всё большое – снизу доверху.

И хихикнул.

– Похабник ты, сквернослов несчастный! Я сама без твоих советов разберусь. Не слепая. А ты поменьше болтай. Лежи и выздоравливай. Раскукарекался, видишь ли...

Не переставая восхищаться сапожничьим умением

свекрови, Хенка все-таки старалась не попадаться ей на глаза и по возможности держаться подальше от колодки. Она то вертелась на крохотной кухоньке, то спускалась за картошкой в погреб, то выходила во двор, где подкармливала немногочисленную домашнюю живность – красавца-петуха с гусарской выправкой и трёх обольстительных хохлаток, которые и в будни, и в праздники регулярно, как по расписанию, несли крупные, в желтизну, яйца.

Управившись с приготовлением пищи и уборкой в доме больного свёкра, Хенка отправлялась до позднего вечера на службу к смятенной Этель, которая жила в ожидании команды из Парижа складывать чемоданы и готовиться с немощным реб Ешуа и Рафаэлем в дальнюю дорогу. Домой, к Шлеймке, Хенка возвращалась поздним вечером, чтобы ни свет ни заря снова через всё сонное местечко бежать на Рыбацкую улицу.

Увлечённая в первые дни работой, Роха никакого внимания на невестку не обращала и в мужнином кожаном фартуке с прилежанием орудовала шилом и молотком.

В понедельник, как и говорил Довид, за ксендзовскими ботинками явилась экономка поне Магдалена, сухопарая, круглолицая женщина с задумчивыми глазами, подёрнутыми дымкой печали, как будто только что снятая с какой-нибудь старинной иконы. Она расплатилась с Рохой, отказалась от положенной сдачи, бережно вложила в дорожную суму ботинки пастыря и, как птичка, пропищала:

– Святой отец просил вам передать, что он обязательно помолится за здоровье вашего мужа. Он говорит, что за всех мастеров надо молиться. И за евреев и за христиан. Ведь апостолы наши тоже были мастерами. – И истово перекрестившись, вдобавок оставила на память в хате сапожника горсть дремучей латыни: – *Laudator Jezus Kristus!*

После ухода Магдалены Роха принялась за кирзовые сапоги балагулы. Она всё время что-то бормотала себе под нос, видно, допытывалась у Пейсаха Шварцмана, как это он ухитряется так быстро сбивать подметки – он же день-деньской не вышагивает по шербатым тротуарам местечка, а восседает на облучке и, любуясь лесами и полями, только помахивает грозным багатом.

Хенка же продолжала метаться от одного дома к другому и по-прежнему играть с Рохой в бессмысленные и утомительные прятки, пока ей в одно прекрасное утро не надоело скрытничать. Ловчи не ловчи – её тайна с каждым днем всё явственней выпирает из-под усеянного ромашками ситцевого платья. Чего она должна стыдиться – ведь понесла же не от безродного цыгана, не от

бабника Бердичевского – владельца придорожного кабака, а от её, Рохи, родного сына!

– Я должна сказать вам что-то очень важное, – решив открыться суровой свекрови, сказала она и вдруг замолкла, не зная, как же следует к ней обращаться: угодливое «мама» не подходит, а непочтительное «Роха» застывает на губах.

– Что это за похоронный тон? Если ты действительно хочешь что-то важное мне сказать – скажи без всякого стеснения! Голову никто у тебя не снимет! – наставительно произнесла Роха. – Какие могут быть между нами «цирлих-манирлих»?

– Я жду.

Это всё, что от волнения сумела выдать Хенка, надеясь на догадливость свекрови.

– Евреи испокон веков всегда чего-то ждут. Кто ждёт Машиаха, кто крупного выигрыша в лотерее, кто наследства от родни из Америки. А ты чего, Хенка, ждешь?

– Я жду ребенка, – легко простилась со своей тайной невестка и погладила живот.

– Вот это новость! – воскликнула Роха, вскочила из-за колодки, засоренной обрезками кожи и неиспользованными шпильками, подошла к невестке и усталилась на неё так, словно впервые в жизни увидела. – Не убереглась, значит, – сказала свекровь, скорее радуясь, чем укоряя.

– Не убереглась. Разве с вашим сыном убережешься? Вы уж меня, растяпу, простите, – вздохнула Хенка.

– За что? – удивилась Роха, от радости забыв о своих предостережениях не торопиться с беременностью. – Неужели надо просить прощения за то, что одним евреем на свете будет больше?

– Может, еврейкой.

– Сойдёт и еврейка. Пошли, порадуем Довида. Радость – самое лучшее лекарство на свете. Жаль, что Бог выдает нам, горемыкам, её только по капелькам. И то редко. – Роха вдруг прослезилась. – В добрый час! Будем теперь, Хенеле, ждать с тобой вместе.

Хенка оцепенела – так ласково её до сих пор называла только мама.

Роха сняла фартук, и они обе вошли в соседнюю комнату, где под стёганым ватным одеялом, глядя на затканый паутиной потолок, лежал больной Довид.

– Хватит, лентяй, болеть! – пророкотала Роха. – Пора браться за дело и зарабатывать на подарок внуку!

– Внуку? Какому внуку? На какой подарок? Кого-кого, а

внука мы с тобой, кажется, ещё не сделали.

– Ты раньше в местечке перед всеми хвастался, каких ты, мол, мальчиков мастеришь. Оказывается, что и твой сынок Шлеймке по этой части – тоже мастак. Ты что – не рад?

– Рад, рад. Внуки – это же, так сказать, наши проценты на старости. Сам ничего не вкладываешь, а счет растёт. Хи-хи-хи... – обрызгал Довид жену и невестку мелкими смешками.

– Вы только посмотрите на него! Какие мысли приходят ему в голову! – съязвила Роха.

– Как видишь, приходят. Я свою голову на ночь, как дверь, не запираю. Лежу, смотрю в потолок и думаю о всякой всячине, например, о жизни и смерти.

– Ого!

– О том, зачем мы на этом свете живём? Что от нас останется после того, как мы навсегда простимся с молотком и шилом, с метлой и шваброй? А если ничего-ничегошеньки? Если останется только пыль? Так стоило ли вообще родиться на свет? Ради чего? Только ради полевого камня на могиле с твоим выцветшим именем Довид и фамилией Канович? Вот о чём я думаю, когда не кашляю...

– Думай сколько угодно, но только не кашляй, – не желая перечить мужу и прилюдно подтрунивать над его умственными способностями, произнесла Роха и добавила: – Зима на носу. Тогда с тобой, кашлюном, хлопот не оберешься.

12

Зима 1927 года выдалась в Литве как никогда суровой. Озорная, искрящаяся солнечными бликами Вилия, которая вместе со своими притоками обвивала Йонаву, как драгоценным ожерельем, была закована в каторжные кандалы льда. Без передышки мели свирепые, непроглядные метели, а снежные сугробы с каждым днём всё ближе и ближе по-воровски подкрадывались к окнам вросших в землю хат, заглядывая внутрь и обдавая жильцов смертным холодом. К счастью, в местечке всю зиму никто не умирал, похоронное братство бездельничало, отдыхало, а оба кладбища – и еврейское, и католическое – плотно и надолго накрыло общим вязким саваном.

Шлеймке уговаривал Хенку, которая была уже на шестом месяце, в холода ни в коем случае не выходить из дома, сидеть в натопленной квартирке и на время отказаться от работы у Кремницеров.

– Простудишься и получишь жалованье не литами, а в виде воспаления легких.

– Из-за морозов Этель отпустила меня на четыре дня и дала

мне свою тёплую беличью шубку. В такую же стужу она носила в ней своего Рафаэля и ни разу не заболела. И ещё шерстяную шаль впридачу. Можешь не беспокоиться. Ничего со мной не случится.

– Зачем в твоём положении рисковать здоровьем? Обойдёмся без их полочки.

– А я не из-за денег.

– А из-за чего же? – терзал он её.

– Если я тебе скажу, ты вообще назовешь меня полоумной, – не уступала Хенка.

Разве он поймёт, что за время службы в доме Кремницеров она превратилась из няньки и служанки чуть ли не в полноправного члена семьи. Этель даже намекала, ещё до свадьбы, что, если Арон всё же настоит на своём решении, и они переедут во Францию, то она с радостью прихватит с собой и Хенку.

Несмотря на все старания Шлеймке и поддакивания Шмулика им редко удавалось её переубедить. Вот и на этот раз они были вынуждены признать своё поражение. Увязая в снегу и ёжась от стужи, Хенка все-таки отправилась к своим подопечным.

В доме Кремницеров из всех углов на неё повеяло неизбывным унынием. Этель было трудно узнать. Она вдруг состарилась, скукожилась, то и дело судорожно запахивала пушистую кофту, словно старалась унять озноб, хотя в гостиной было довольно тепло. Истопник Пятрас по утрам и вечерам исправно разжигал огонь в кафельной печи и в камине. Да и реб Ешуа до неузнаваемости похудел, с трудом передвигался по гостиной, опираясь на свою любимую палку с толстым набалдашником, на котором был изображен не то миниатюрный крокодил с плотоядно разинутой пастью, не то допотопный ящер. Кремницер садился в обитое плюшем кресло и, не моргая, неотрывно смотрел на роскошную люстру, как на далекую планету, куда, казалось, он и сам скоро собирается переселиться. Иногда он нечленораздельными словами, какими ещё недавно изъяснялся его маленький внук Рафаэль, подзывал Этель или Хенку:

– Пипи, пипи.

И одна из них, чаще – Хенка, реже – Этель, отводила его в туалет. А иногда, чего греха таить, и не попевала.

Когда реб Ешуа ещё не заговаривался, то всерьёз говорил им, что он очень хотел бы умереть не где-нибудь на чужбине, а на родине, в Йонаве и упокоиться на родном кладбище. Там, где, по его глубокому убеждению, ещё существует невидимая глазу жизнь мертвых. Там, где он после смерти окажется среди своих близких: мамы Голды, отца Дова-Бера, брата Исаяи и своих многочисленных друзей и благодарных покупателей. А с кем, спрашивал он, я буду

общаться на кладбищах в Париже или в Берлине? С жуликоватым торговцем недвижимостью, который и родной-то идиш давным-давно забыл? Или с заносчивым банкиром, который по утрам ни с кем не здоровался? И не доказывайте мне, уверял реб Ешуа, что мы из праха вышли и в прах превратимся! Человек, если он не куча костей с нарощим слоем мяса, никогда весь не умирает. Он и после смерти нуждается в обществе милых его сердцу людей...

Беспомощность реб Ешуа, его беспамятливость угнетали Этель. Боясь, что свёкор действительно умрёт, и все похоронные хлопоты лягут на её плечи, она посылала Арону в Париж тревожные телеграммы с настойчивой просьбой срочно приехать в Йонаву. Тот свято обещал, называл даже конкретные даты, но всегда находил какую-нибудь важную причину, чтобы отложить свой приезд.

– Видно, дела его задерживают, – заступалась за Арона Хенка. – Да реб Ешуа пока никуда и не собирается.

– Дела, дела, – повторяла Этель. – Какие могут быть дела, когда отцу так плохо. – И вдруг с болью выпалила: – У него там, видно, появилась женщина.

– Моя мама говорила, что разлука похожа на цыганку-гадалку. Мало ли чего она может нагадать. Не спешите верить её предсказаниям, – сказала Хенка и обняла Этель.

Реб Ешуа смиренно сидел в своем кресле, вертел палкой с живописным набалдашником, полуослепшими глазами смотрел на висящую над обеденным столом потухшую планету и бессмысленно улыбался, и от этой улыбки Этель ещё больше ёжилась.

Только Рафаэль прыгал в гостиной со скакалкой и, счастливый, сбиваясь со счета, учился успешно преодолевать первые в своей жизни препятствия.

На исходе зимы Арон внял просьбам жены и прибыл в Литву. Дома он всех шумно расцеловал и одарил привезёнными из Парижа гостинцами. Рафаэлю торжественно вручил огромного плюшевого медведя, Этель – дорогую жемчужную брошь. Для отца приволок в чемодане груды новых лекарств, а Хенке преподнес летнее шёлковое платье в горошек, с воланами и пояском. Не теряя времени, Арон объявил, что долгий период жизни семьи Кремницеров, перекочевавшей из Германии, из родного Дюссельдорфа в Литву и обосновавшейся в Йонаве два с половиной века тому назад, вскоре придёт к своему естественному историческому концу.

– Папу я увезу и устрою в престижный дом призрения с круглосуточным медицинским обслуживанием. А пока не продадим дом и лавку, тебе, Этель надо набраться терпения и подождать. Скоро я и вас заберу. – Арон глянул на Хенку и, улыбаясь, сказал: –

Взял бы я и Хенку, но вряд ли с таким ответственным грузом муж её отпустит.

– Не отпустит.

Арон шутками, улыбочивостью и скороговоркой старался сгладить свою врожденную сухость и деловитость.

– Доктор Блюменфельд – хороший специалист, спасибо ему, но в Париже, я полагаю, лекари более опытные. На чудо в нашем случае, увы, надеяться нечего, но, может, папа под наблюдением именитых французских эскулапов ещё немножко продержится.

– Папа хотел остаться на родине, – осторожно вставила Этель. – Вместе с мамой...

– На родине? – переспросил Арон. – А где, по-твоему, эта наша родина? Там, где мы родились, и где единственная наша привилегия заключается в том, что нас хоронит хевра кадиша под звуки древней молитвы? Или там, где мы не отщепенцы, не изгои, не дармоеды и нахлебники, которых винят в подрыве основ и во всех смертных грехах? Нет! Родина там, где нас не лишают возможности жить без всякого клейма, жить и развиваться не по кратковременной барской милости, а по прирожденному праву наравне со всеми!

– Нет для нас такого места, – спокойно сказала Этель. – Нигде. Ни в Литве, ни во Франции...

– Не буду с тобой спорить. Но что касается папы, то другого выхода я не вижу. Не могу же я в таком состоянии оставить его на попечение милого доктора Блюменфельда, который, кстати, и меня в детстве от кори и скарлатины лечил.

– Поступай так, как велит тебе твое сердце. Это же твой отец, Арон. К сожалению, его самого уже не спросишь, хочет ли он в Париж или не хочет.

– Уверю, долго вам ждать не придется. У меня уже есть на примете хороший и сговорчивый покупатель. Как только окончательно договорюсь, тут же прикачу за вами. Вы, наверно, думаете, что мне в Париже без вас лучше, чем с вами. Глубоко ошибаетесь!

А как же с гаданьем цыганки-разлуки насчет измены, вдруг мелькнуло у Этель, и хоть полностью эти подозрения она не отвергла, но первый раз в них серьезно усомнилась.

В Йонаве Арон Кремницер пробыл целую неделю, был чрезвычайно ласков и внимателен к каждому, сходил с Этель на еврейское кладбище и поклонился заснеженным памятникам матери и дяди Исаяи. Отогревшись у пышущего жаром камина от стужи и кладбищенской печали, он – в который раз! – попытался заговорить

с отцом, но тот снова не узнал его, как будто перед ним был не сын, а залётный странник. Старик молчал и с пугающим любопытством по-прежнему разглядывал свою далекую и манящую.

Перед тем, как уехать с беспамятливым отцом из Йонавы в Париж, Арон решил встретиться с доктором Блюменфельдом. Тот ведь на зубок знал все болезни своего давнего пациента и партнера по субботнему покеру реб Ешуа.

– От беспамятства, к сожалению, никакого лекарства у медиков нет. Ещё не изобрели. Возьмите с собой препарат для улучшения сердечной деятельности. Не мешает и пакетик со снотворным. Дорога ведь до Франции неблизкая.

Проводы были скромными. Реб Ешуа укутали в семь одежек, вывели из дому под руки и усадили в машину, которую Арон вызвал из Каунаса. Этель с тестем уместились на заднем сиденье, а сам лесоторговец уселся рядом с водителем, тем же сумрачным литовцем, который привёз на свадьбу Хенки новёхонький «Зингер».

Хенка и зацелованный родителями Рафаэль неподвижно стояли возле машины и с грустью смотрели, как те усаживаются. Нянька хлопала носом, вытирала глаза и с трудом удерживала мальчика, рвавшегося к автомобилю.

– Мама скоро приедет, она только проводит дедушку на поезд и вернётся, – успокаивала его Хенка и уже откровенно плакала.

Рафаэль испуганно косился на плачущую Хенку и лениво помахивал отъезжающим теплой vareжкой. Машина недовольно заурчала, обдала их голубым облаком газа и лихо рванулась с места.

– А почему ты, Енька, плачешь? – спросил Рафаэль, так и не научившись правильно выговаривать её имя, когда та в детской стала его укладывать спать.

– Я не плачу. Это просто снежинки попали мне в глаза и растаяли.

– А почему мама и папа меня поцеловали, а дедушка – нет? Он всегда меня целует.

– Доктор запретил ему целоваться. Горлышко у него болит, – неумело отбивалась Хенка.

– А почему он со мной не разговаривает, молчит и молчит? – не унимался упрямец.

– Потому что дедушка всё, что хотел сказать нам всем, уже сказал. Когда, Рафаэль, и мы станем старенькими и друг другу уже всё скажем, тогда мы с тобой, как дедушка, тоже замолкнем. А теперь, миленький, тебе пора спать! – сквозь слезы пробормотала Хенка, не надеясь, что мальчик на самом деле что-то понял из её

мудреных рассуждений.

Уложив его в кровать и насытившись его молниеносным целомудренным посапыванием, Хенка сама легла рядом на диванчик и стала молиться за своего благодетеля реб Ешуа. Но это не было молитвой в обычном смысле слова, это был беззвучный, с глазу на глаз, разговор с Господом Богом.

– Господи! Реб Ешуа Кремницер был у нас в местечке твоим достойным посланцем и заслужил твоей великой милости, – зашептала в темноте Хенка. Она была уверена, что её мысли передаются по ночному воздуху Вседержителю прямо на небеса. Прислушиваясь к тишине и, словно дожидаясь внятного отклика на свою мольбу, Хенка стала перечислять все достоинства и добродетели реб Ешуа Кремницера.

Но тут разговор вдруг оборвался – в своей кровати заворочался Рафаэль и несколько раз громко и смачно чихнул. Хенка вскочила со своего нагретого ложа, накинула мальчику на ноги шерстяной плед и снова обратилась к Господу Богу – единственному во всем местечке слушателю, который никогда не возражает своему собеседнику.

– Почему же Ты, Всемогущий, не удостоил своей великой милости реб Ешуа? – укоряла она Владыку мира, как укоряет соседка своего провинившегося соседа. – Может, забыл об этом из-за того, что Тебе со всех сторон докучают бесконечными просьбами? Но Ты сейчас, прошу Тебя, сейчас вспомни о нём и облегчи его страдания. Не гневайся на меня, Отец Небесный, растолкуй мне, пожалуйста, почему Ты чаще наказываешь бессилием и немотой тех, кто служит Тебе верой и правдой, чем тех, кто унижает Тебя лицемерием и ложью, хотя и клянется Тебе в любви и почитании?

Тихо посапывал Рафаэль, а нянька ещё что-то, словно в полубреду, бормотала и сама не почувствовала, как от усталости под это безмятежное сопенье Рафаэля уснула.

Но Господь Бог, о котором Хенка теперь думала чаще, чем когда-либо раньше, может, из-за того, что ждала ребенка, может, просто из жалости к смертельно больному реб Ешуа, её Господь Бог явился ей во сне. Почему-то Всевышний смахивал на доктора Блюменфельда, только без его волшебного чемоданчика, без очков в роговой оправе, и был совсем по-другому одет. Доктор Блюменфельд носил вельветовый пиджак с потертыми рукавами, сшитый Абрамом Кисиним много лет назад, а Господь Бог был одет в белоснежную тунику из чистого литовского льна. Ей снилось, будто Господь и Блюменфельд встретились в опустевшем от богомольцев палисаднике синагоги. Они все стояли рядышком –

она, Господь Бог и доктор Блюменфельд, который всегда заступался перед Отцом небесным за реб Ешуа и воздавал ему хвалу за благотворительство и другие добродейния, не забыв при этом упомянуть и подаренную Шлеймке на свадьбе заграничную швейную машину «Зингер».

– А кто тебе, Хенка, сказал, что я покарал реб Ешуа Кремницера? – попытался защититься Господь Бог и снисходительно глянул на неё. – Ничего подобного! В самые трудные минуты я воодушевлял и поддерживал высокочтимого реб Ешуа. Ты, наверно, хочешь попросить за него. Так не стесняйся же – проси!

– Прошу Тебя, чтобы реб Ешуа живым добрался до Парижа, – взмолилась Хенка.

– Он доберется до Парижа, – ответил ей Господь Бог. – Честное слово, доберется.

Шлеймке и Шмулик не верили в её причудливые сны, которые она сама от скуки сочиняла, когда укладывала Рафаэля, стараясь придуманными «майсес» скрасить не только свои серые будни, но и безотрадное существование родичей.

Но на этот раз её сон оказался вещим, и всё счастливо совпало – реб Ешуа с Божьей помощью и впрямь живым добрался до Парижа.

Через неделю после отъезда реб Ешуа Этель, окрылённая обещаниями мужа, поспешила поделиться с Хенкой благими вестями от Арона из Парижа:

– Реб Ешуа сразу же по приезде поместили в один из лучших тамошних домов призрения. Его состояние по-прежнему очень тяжёлое, но не безнадежное.

– Чтоб не сглазить!

– И переговоры о продаже нашего имущества, кроме лесных угодий, вроде бы продвигаются вполне успешно. Сделка должна состояться ближе к весне. Скоро, как уверяет Арон, мы будем все вместе, а Рафаэль пойдет в первый класс уже не к фанату идиша Бальсеру в Йонаве, а во французскую школу в Париже.

– Грустно будет расставаться, – сказала Хенка.

– Мне уже и сейчас грустно, – призналась Этель. – Если уж Арон посоветовал понемногу избавляться от лишних вещей, стало быть, расставание уже близко. Он у тебя давно спрашивал, кому бы отдать все вещи и игрушки нашего шалуна, когда тот вырастет... Ну, с игрушками всё, по-моему, ясно. Ты их, конечно, заберёшь.

– Сначала надо родить. Свекровь говорит, что пока цыпленок не вылупился, грех думать о его оперении. Она суеверная. Когда черная кошка перебегает дорогу, Роха застывает на месте, как

снежная баба, а потом, оттаяв от страха, сворачивает в другой переулок.

– А сколько тебе осталось с твоим бременем ходить? – спросила Этель, не проявлявшая к Рохе никакого интереса.

– По моим расчетам я должна рассыпаться в начале будущего года, в середине марта или в апреле. Так говорит и наша знаменитая повитуха рыжая Мина. Через её руки прошла половина евреек в местечке. Больше у нас не к кому обращаться. Доктор Блюменфельд лечит женщин только до пояса, – и Хенка залилась смехом.

До весны ещё было недели две-три, зима уже начинала чахнуть. Ночами кое-где выпадал нестойкий иней, а днем всё чаще припекало весёлое беззаботное солнышко.

Единственным подлинным провозвестником приближающейся весны старожилы Йонавы по справедливости считали беднягу Авигодра Перельмана.

– Для нищих зима – погибель, – однажды в лютый январский мороз объявил Авигодор плененному ненадолго добряку Шлеймке. Молодой мастер и в прошлом сдавался ему в плен – ни разу не проходил мимо Перельмана, не подав ему какую-нибудь монету, и пользовался у старика большим уважением. – Морозы, метели, сугробы по колено – всё это, извините, не для нашего брата, это для нас всегда оборачивается громадными убытками, – продолжал Авигодор. – Сидишь, черт возьми, целыми днями дома, грызешь вместо французской булки свои ногти и ждешь, когда же птички защечечут, когда ручьи потекут, когда деревья зазеленеют. А весной, как ни крути, наш народ добреет, весной евреи свои кошельки куда охотней расстегивают. Весной, Шлеймке, даже собаки на нас, нищих, тише лают. Выйдешь на улицу – благодать, дыши полной грудью, протягивай на каждом шагу руку. А если тебе твои соплеменники ничего и не подадут, то зато хоть руки, как зимой, не обморозишь.

Чахнувшая зима сдаваться без боя не хотела. Она трепала Йонаву студёными северными ветрами и лупила её градом. Но в очнувшееся от слячки местечко на панихиду зимы с пересвистом, курлыканьем и цвенканьем уже слетались стаи пернатых.

Слетались отовсюду в Йонаву не только птицы, но и добрые весенние вести.

Почтальон Казмирас, завзятый собиратель заграничных марок, принёс в дом Рохи сразу два письма: одно – из Франции, другое – с вложенным странным листком на английском языке – из Америки.

– Это, Казис, что за листок? – Роха при нём открыла

письмо и уставилась на непонятные литеры. – Это, по-твоему, на каком языке написано?

– На денежном. Это вам из Америки чек на пятьдесят долларов прислали, – объяснил Казимирас Рохе и, глянув на обратный адрес на конверте, сказал: – От какого-то Леа Фишер.

– Леа Фишер – это не мужчина, а наша дочка. Ну, уж если фамилия новая, стало быть, Леечка вышла замуж!

– Что ни говорите, а дети у вас, у евреев, хорошие. Они пишут родителям отовсюду, иногда присылают деньги. Не то, что наши олухи.

– Да и не от всех наших помощи дождешься.

– Боже мой, сколько ваших уже укатило в Америку, Уругвай, Аргентину, Бразилию, – вздохнул Казимирас, – но родной дом они всё-таки не забывают. Может, я не прав, но, если бы не эмигранты, то нашу местечковую почту, наверно, давным-давно закрыли бы на замок, нечего было бы мне разносить, и остался бы я без куска хлеба. Разживутся за границами ваши сыновья и дочери и вас заберут отсюда. И останется Йонава, а, может, и вся Литва без евреев.

– Не останется Йонава без евреев. Что бы ни случилось на свете, один еврей в Йонаве всегда останется – это Господь Бог, – сказала Роха. – Так что голову себе, Казис, напрасно не морочь и успокойся. Почту твою на замок не закروют. Лучше после субботы приходи за марками. Я их для тебя приберегу. А отклеивать их ты будешь сам.

13

Всякий раз, когда быстроногий Казимирас приносил на Рыбацкую письма из Америки или Франции, Роха принималась печь свой фирменный пирог с изюмом и устраивала дома торжественное чаепитие для всех оставшихся в местечке родичей. Самым грамотным из детей был Шлеймке, который всё-таки умел читать и сносно писать на идише. Когда-то в хедере он – хоть с ленцой, хоть не ведром, а половником – успел почерпнуть кое-какие знания у свирепого меламеда реб Зусмана. Меламед реб Зусман частенько награждал своего ученика звонкими ударами линейкой по рукам за то, что тот не смотрел в Танах, который был раскрыт на Божьих заповедях и который учитель заставлял зубрить, а тарасился в окно на дерущихся из-за хлебной крохи голодных и суматошных воробьев. В армии Шлеймке подучился у сослуживцев литовскому языку и мог на нём изъясняться, правда, с сильным акцентом и ошибками в падежах. Ему-то обычно и выпадала в семье честь первому просматривать все казённые бумаги и прочитывать поступающие из-за границы письма. Пробегая глазами всё

написанное и опуская несущественные подробности, Шлеймке делал самовольный отбор и, не затягивая чтение, старался всячески приблизить приятный момент расправы с вожделенным пирогом. Обычно он ограничивался только кратким пересказом содержания того, что написали в своих письмах брат и сестра.

– Итак, слушайте, – возвестил он, косясь на ещё не початый соблазнительный пирог. – Наша недотрога Леечка не только удачно выскочила замуж, но вместе с мужем Филиппом открыла в Бронксе, поблизости от Нью-Йорка, лавку. Выбрали они для продажи ходкий товар – миндаль, инжир, изюм, грецкие орехи, чернослив, урюк, финики, фиги, апельсиновые корочки в сахаре, хурму, пряности. И, слава Богу, не ошиблись. Спрос на сухофрукты и пряности превзошёл все ожидания. От покупателей – польских, румынских и русских евреев отбоя нет. Купили Фишеры и двухкомнатную квартирку, расположенную, правда, в негритянском квартале. Только выглянешь в окно, пишет Леечка, только шагнёшь за порог, и тебе тут же померещится, что ты сам через минуту весь измажешься слоем сажи.

Смех за столом позволил Шлеймке глотнуть чайку и отведать кусочек маминого пирога.

В конце письма Леечка просила у всех прощения за то, что на праздник Пейсах посылает только пятьдесят американских долларов. В будущем году, если эти черные соседи-громилы из снедаемой их зависти не подпустят красного петуха и не подожгут лавку и если доходы будут, к нашей общей радости, расти, Леечка клятвенно обещала свой пасхальный подарок увеличить вдвое, – закончил свой пересказ Шлеймке и сделал передышку.

– А дальше что? – спросила Роха.

– Дальше? А дальше наша щедрая Леечка каждому из нас по старшинству, начиная с её любимой сестрички Хавы и кончая горячо любимым отцом, шлёт не доллары, а сердечные приветы из Бронкса, добрые пожелания и нежно всех обнимает и целует.

Объятия и поцелуи не вызвали такого восторга и благодарности, как чек на пятьдесят американских долларов, и все дружно и охотно «эмигрировали» во Францию, чтобы выслушать, какими добрыми вестями их попотчует Айзик.

Подкрепившись очередным куском пирога с изюмом, Шлеймке взялся за письмо брата. Никакого денежного чека, к большому сожалению, он не обнаружил, но вынул из конверта открытку, на которой была изображена высокая арка, украшенная скульптурами и барельефами, и, не мешкая, пустил её по кругу.

– Эти французы с жиру бесятся, строят посреди города Бог весть что. Разве такая постройка пригодна для жилья, или для того,

чтобы укрыться в непогоду от ливня? – проворчала Роха, глядя на открытку и протягивая её своему хилому мужу Довиду. – Кому, объясните мне, понадобились эти дурацкие разукрашенные ворота?

– Минуточку, минуточку! Сейчас мы всё с вами узнаем, – сказал Шлеймке и после непродолжительной разведки миролюбиво объявил: – На обратной стороне открытки Айзик собственноручно сделал по-еврейски приписку: «Эту великолепную арку возвели в честь прославленного французского императора Наполеона».

Никто за столом о Наполеоне толком не знал. Всех интересовали не арки-шкварки, как выразилась языкастая Роха, не императоры, а то, как в этом самом Париже живут-поживают Айзик и Сара.

– И это, Шлеймке, всё, что после такого долгого перерыва соизволил нам написать твой старший братец? – возмутилась непримиримая Роха.

– Ещё он написал, что дела у них, только бы не сглазить, идут неплохо. Хозяин скорняжной мастерской – прижимистый мсье Кушнер, оказался не таким уж скопидомом – повысил Айзику жалованье на целую треть. Айзик с Сарой намереваются скопить немного франков и на недельку приехать в гости в родную Йонаву или провести свой летний отпуск где-нибудь близ нашего местечка на озерах. А пока пускай все родичи, дай Бог им здоровья, полюбуются дивными красотами неподражаемого Парижа.

– Приедут в гости, когда нас на свете не будет. Положат камешек на могилу и спокойно вернуться в Париж к своим дивным красотам, – с нескрываемой горечью выпалила Роха.

– А в конце своего письма Айзик написал, что они с Сарой уже серьёзно подумывают обзавестись наследником, – попытался Шлеймке утешить приунывшую мать.

– А чего тут подумывать? – вставил молчун Давид. – Тут нечего долго думать, тут мужчине дело делать надо. Взяли бы, Шлеймке, с тебя и с Хенки пример, и вперед!

Чтение писем в родительском доме обычно перемежалось сетованиями Рохи на судьбу-злодейку и горькими слезами. Как ни странно, но от благополучных сообщений Айзика и Леи она испытывала не столько естественную радость, сколько обострённое чувство безвозвратной утраты. Её вдруг охватывали неодолимая, смешанная с обидой тоска и безудержное желание выместить свою злость на тех, кто её оставил.

– На кой мне эти их чернильные нежности и объятья, эти их неживые поцелуи, эти открытки? – вскипела Роха. – На кой мне эти инператоры и чужие красоты, которых я никогда в жизни не увижу? На кой мне их доллары? Ведь того, чего я больше всего хочу, этого

нигде за деньги не купишь, это не продается ни в Америке, ни в Париже, ни в Йонаве. – Она тяжело задыхалась, открытым ртом хлебнула воздуху и прохрипела: – Если вы такие уж умники, ответьте мне, о каких детях, по-вашему, мечтает каждая еврейская мама? О бумажных? Из писем с заграничными штемпелями? Со снимков за два франка? Или еврейской маме нужны дети из её плоти и крови?

После этих слов тишина за столом, казалось, смёрзлась в лёд.

И вдруг в этой мёрзлой тишине, как тёплый дымок из трубы в холодное зимнее утро, взвился тихий голос её невестки.

– Уж извините меня, мама, но вы к ним несправедливы, – Хенка впервые осмелилась назвать её так, как в жизни до сих пор называла только свою родительницу. – Не обижайте их напрасно. Сейчас, когда я сама жду ребенка, я понимаю, как вам больно, очень больно. Ничего не поделаешь, так устроена жизнь, она дарит и она же подаренное отнимает. Разве важно, где ваши дети любят вас – рядом на Рыбацкой улице или за тысячами километров отсюда? Главное, по-моему, чтоб они везде были счастливы.

– Посмотрим, что ты, Хенка, запоёшь, когда у тебя отнимут самое дорогое, – не осталась в долгу Роха.

– По-моему, для матерей, страдающих от разлуки с детьми, нет на свете выше награды, чем их благополучие и счастье.

Пирог с изюмом родичи до конца так и не доели и разошлись, не поссорившись, но и не договорившись.

– Молодец! – похвалил жену по пути домой Шлеймке. – Это ты здорово ей сказала – главное, чтоб дети были счастливы, и не важно, в Йонаве или в Нью-Йорке. – Он помолчал и, покосившись на её увеличившийся живот, спросил: – Сколько ещё осталось?

– Мало. Совсем мало.

– Ты не собираешься ещё раз показаться этой рыжей кудеснице – Мине? Надо бы. Глаз у неё намётанный. Всякое при родах случается, сама знаешь. Бывает, что приходится в Каунас ехать. Я ради спокойствия даже успел поговорить со своим одногодком – Файвушем Городецким. У него легковой автомобиль, при надобности он отвезёт нас в Еврейскую больницу; как-никак – друг, вместе футбольный мяч за казармой на пустыре гоняли.

– Собираюсь. По ночам он так колотит ножками, как будто требует, чтобы его немедленно выпустили, – сказала Хенка.

Рыжая Мина по профессии была белошвейкой и зарабатывала на хлеб насущный шитьем блузок с кружевами, а вовсе не родовспоможением. Помощь роженицам она оказывала из милосердия, без всякой корысти. Сама Мина никогда не рожала,

рано овдовела. Муж её – шорник Гершон Теплицкий – в молодости утонул в Вилии, и с тех пор несчастливица старилась одна.

– Детей у меня в Йонаве не счесть, – горько шутила Мина. – Правда, у всех у них – другие мамы.

Дородная, с мужскими, мускулистыми руками, с копной рыжих волос, упрямо не желавших сесть, Мина по первому зову спешила на помощь не только к роженицам-еврейкам, но и к местечковым литовкам и даже к женам староверов, живущих в окрестных деревнях. Кроме неё в Йонаве не было ни одной иудейки, которую благодарные роженицы-христианки непременно приглашали бы на крестины своих младенцев.

Жила Мина напротив синагоги в одноэтажном кирпичном доме, унаследованном от состоятельных родственников утопленника-мужа. Гостью она знала со дня её появления на свет, потому что принимала у Хенкиной мамы все роды, а шорник Гершон приходился троюродным племянником Хенкиному отцу – Шимону Дудаку.

– Давно меня тут дожидаешься? – спросила подросевшая Мина Хенку, которая долго прохаживалась вокруг её дома и заглядывала в занавешенные окна – не шевельнутся ли на них занавески?

– Недавно.

– Дождь ли льёт, вьюга ли воет, я, душечка, обязательно отправляюсь в синагогу на утреннюю молитву. Утром Господь Бог ещё бодр и внимателен к молящимся. К вечеру Он очень устаёт, как и все старики. А мне, старухе, хочется, чтобы Он выслушал первой не жену мельника Вассермана, а меня. Ведь больше, как подумаешь, в нашем местечке и не с кем поговорить по душам. Все говорят о деньгах или о своих болячках. Болячек у всех всегда много, денег всегда у всех мало. Ну, ладно, пошли в дом! Во дворе только куры с петухами переговариваются.

Хенка вошла в чисто прибранную светёлку с вазончиками герани на подоконниках, с застеленным цветастой скатертью столом и массивным, из добротного дерева, комодом. На недавно побелённой стене висела единственная фотография – молодой, смеющийся Гершон в рамке, покрытой сусальным золотом.

– Садись, – предложила Мина и подвинула гостье стул. – Ты еще, видно, по утрам беседуешь не с Отцом небесным, а со своим муженьком в постели.

Хенка промолчала. Начало её обескуражило. Ведь она же решила прийти сюда не за тем, чтобы вести такие разговоры о Боге.

– Я тоже с Ним не говорила до страшного дня, когда утонул

мой Гершон. Если ты в жизни ещё не теряла тех, кого любишь, не тревожь Его своими мелочными жалобами. Нечего засорять уши Всевышнего всякой шелухой. Он и без того уже давно неважно слышит.

Хенка чувствовала себя неловко. Она хотела, чтобы Мина подсказала ей, как себя вести в последние недели беременности, а затем и согласилась бы принять у неё роды, дала бы на худой конец какой-нибудь совет, но ей неудобно было прерывать хозяйку.

– Ну ладно, – как бы угадав желание Хенки, промолвила суровая, не заискивающая перед роженицами безутешная Мина, – сейчас ты мне покажешь все твои прелести, я осмотрю тебя с ног до головы и попытаюсь сказать, что тебе, душечка, в скором времени судьба готовит – лёгкие роды или тяжёлые.

Повитуха водрузила на переносицу очки в роговой оправе и стала придирчиво осматривать фигуру растерянной Хенки.

– Встань, пожалуйста, вон у того не занавешенного окна. Там больше света. Так лучше видно. А теперь повернись ко мне боком. Так, так, – приговаривала Мина. – Теперь все твои прелести у меня как на ладони. Фигуренция твоя, прямо скажем, для родов не очень-то подходящая. Но против матушки-природы, милочка, не попрёшь. Какой тебя мама с папой слепили, такой ты все отмерянные тебе денёчки и проживёшь на белом свете. А твой арестант, по всему видать, уже томится в своей одиночке. Уже рвётся, бунтовщик, из тюрьмы, уже топает ножками и грозит своему надзирателю кулачками. Отпирай, мол, скорее, по-доброму, по-хорошему прошу. Так или не так? – огорошила Мина своей тирадой Хенку.

– Так. Рвётся. Топает ножками...

– Что ж! Так и должно быть. У человечка срок заключения кончается, а его, видишь ли, не выпускают на свободу.

– Почти кончается.

– Так вот, – подытожила суровая Мина, – если судить по твоему животу, арестантик твой – весьма внушительных размеров, а таз у тебя, уж ты прости меня за прямоту, подкачал.

– Подкачал? Таз?

– Да, таз. Узковатый он у тебя. Мог бы он, душечка, и пошире быть. Чем шире ворота, тем доверху нагруженному возу легче из этих ворот выкатиться. Боюсь, что в помощницы я тебе не гожусь. Ведь я, милочка, даже не акушерка, действую по старинке – тут нажму, там нажму, пупок отрежу, пупок перевяжу. А ты, голубушка, подумай – если тебе, не приведи Господь Бог, понадобится при родах другая помощь, что мы тогда с тобой делать-то будем?

– Другая? Какая?

– Помощь доктора, а не повивальной бабки. Где ты в нашем местечке таких докторов найдёшь? Не прокатиться ли тебе с твоим бунтарем-богатырем в Еврейскую больницу в Каунас? Будет и у меня спокойней на душе, и у тебя, хорошая моя, страхов поубавится.

– Я подумаю, Мина.

– Ты подумай, а я, моё золотко, наверно, брать грех на душу не стану. Рисковать при родах неразумно. Это из прыщика можно без риска гной выдавить. А такого богатыря, как твой первенец, не выдавишь. Чует моё сердце – нелегко тебе достанется его приход.

– Спасибо, – понурила голову гостя.

Напуганная Хенка решила от Шлеймке ничего не скрывать.

– Мина языком зря молоть не станет, – сказал Шлеймке, когда Хенка поделилась с ним своими страхами. – У неё опыт о-го-го! К её словам стоит прислушаться. На месте рожать, конечно, дешевле, но в Каунасе – надёжнее. Не волнуйся, с Файвушем Городецким я уже договорился. Он не подведет. А ты сиди дома, никуда не ходи. Я предупрежу Этель.

– К ней я сама схожу.

– Смотри у меня! – пригрозил он ей с наигранной строгостью. – Не вздумай только там полы мыть...

Этель и Рафаэль встретили её с прежним радушием, но в их поведении уже сквозила легко уловимая отстраненность. И Этель, и Рафаэль смахивали на утомленных пассажиров, которые сидят на вокзале и нетерпеливо ждут опаздывающего поезда.

– Я не прощаться пришла. Надеюсь, мы до вашего отъезда в Париж ещё увидимся. По-моему, мне удастся справиться быстрее, чем господин Арон за вами приедет, хотя вы оба его и очень ждёте.

– Он приедет в апреле, – сообщила Этель. – К счастью, всё уже продано. И лавка, и дом. Надо только запаковать вещи и перевезти. Кроме мебели. С мебелью морока.

– Главное, что наконец-то вы перестанете жить на два дома и будете вместе с Ароном.

– Не вместе, а рядом. Под одной крышей, – невесело произнесла Этель. – Это будет, пожалуй, поточней.

Хенка машинально кивнула головой. Она рассеянно слушала думала о Еврейской больнице в Каунасе, о приближающемся небывалом испытании в её жизни.. Зацепившись взглядом за пустое плюшевое кресло, в котором обычно сживал угасающий реб Ешуа, Хенка вдруг встрепенулась:

– А как там наш реб Ешуа?

– Ничего хорошего. Ни жив, ни мёртв. Арон нанял для него

круглосуточную сиделку. Она его одевает, раздевает, кормит с ложечки, укладывает спать, иногда вывозит в коляске под сень каштанов на бульвар. – Этель перевела дух и, как бы давясь словами, выдохнула: – Все люди боятся смерти. А ведь смерть для кого-то – последняя великая Божья милость. Но не будем о грустном.

– Не будем, – поддержала её Хенка, хотя и не представляла, о чём же дальше с ней говорить.

– Я уверена, мы ещё встретимся. Жизнь – циркачка, неизвестно, какой кульбит она может завтра выкинуть. Поэтому я решила тебе выплатить жалованье за два месяца вперед, – сказала Этель. – Только, пожалуйста, не возражай. Деньги всегда пригодятся. А игрушки Рафаэля и его вещички я выбрасывать не стала. Если же разминёмся, всё оставлю у Антанины, домоправительницы покойного Абрама Кисина. Когда-то она прислуживала и в нашем доме. Ах, если бы все её соплеменники были такими же славными, как она.

– Что до соплеменников, то у всех они разные. Наши братья-евреи – не исключение. Не всеми можно похвастаться, – сказала Хенка и добавила. – И напоследок: простите, если я за время моей службы что-то не так сделала... или сказала...

– Ну что ты! Лучшей подруги у меня тут не было. Я тебя никогда не забуду, – Этель подошла к Хенке и обняла её. – Рафаэль, ну-ка, поцелуй Еньку!

Рафаэль мгновенно бросился к своей няньке и, когда та нагнула голову, неумело поцеловал её в щеку.

У Хенки предательски заблестели глаза.

– Не робей! Страшно только в первый раз рожать. Всё будет хорошо, – сказала Этель. – Всё будет хорошо, – повторила она. – Я буду за тебя молиться.

Хенка поклонилась и шагнула к выходу.

– А деньги?

– Но ведь я их не заработала.

– Заработала, заработала, – заметалась Этель. – Возьми! В Еврейской больнице никто бесплатно не рожает. – И насилу сунула ей в карман пальто конверт. – С Богом!

Возле входа в синагогу Хенка столкнулась с вездесущим, как сам Господь Бог, Авидором Перельманом. Увидев издали Хенку, он приосанился, причесал шершавой ладонью седые, вздыбившиеся кудри и, когда та подошла поближе, картинно поздоровался.

Хенка вежливо ответила ему и, не пускаясь в долгие разговоры, достала денежку и протянула нищему.

– Премного благодарен, – прогудел Авигодор. – У беременных легкая рука. Кроме того, получаешь как бы от двоих сразу. – Он ухмыльнулся беззубым ртом. – Не буду задерживать. Тебя, должно быть, ждёт твой Шлеймке. У меня к тебе только одна маленькая просьба – роди, пожалуйста, доброго и щедрого человека. Нищих и богатых, злых и жадных на свете полным полно, а добрых...

– Постараюсь.

У Шмулика подобных просьб не было. Забыв об угнетателях всех мастей, он, как мог, старался перед родами ободрить сестру и привёл ей в пример самоотверженную маму:

– Хочу тебе, Хенка, напомнить, что наша мама родила десять детей, – объявил он таким торжественным голосом, как будто лично к этому был причастен.

– Ну и что из этого, по-твоему, следует? – спросила Хенка.

– А из этого следует вот что: только так можно укрепить наши рабочие ряды. Когда мы, пролетарии, на одного барского сыночка или дочечку произведём на свет по девять своих здоровяков, то всем угнетателям и шкуродёрам уж точно не поздоровится.

– Вот ты сам, Шмулик, со своей будущей жёнушкой эти рабочие ряды и укрепляй силачами и здоровяками.

– Ты, что, сестрица, шуток не понимаешь? Я от тебя десяти вовсе не требую.

– Понимаю, понимаю. Но если бы это тебе надо было не сегодня-завтра рожать, ты не стал бы со мной такие шуточки шутить.

Ночью у неё начались схватки.

Шлеймке бросился будить своего друга Файвуша Городецкого, который одним из первых в Йонаве пересел с облучка телеги за руль подержанного американского «Форда». К счастью, Файвуш не спал, и оба тут же направились к машине.

По пути к роженице они заехали на Рыбацкую улицу к Рохе, которая тут же вызвалась сопровождать Хенку до самой больницы. Но мужчины уговорили её остаться – а вдруг, мол, какой-нибудь заказчик постучится в дверь опустевшей мастерской и спросит о том, где же мастер, который велел ему прийти на примерку.

Пока притихшая Хенка сидела и корчилась от боли, Шлеймке торопливо собирал нужные для родильного дома документы, Файвуш Городецкий заводил страдающий астмой мотор, мешая Эфраиму Каплеру уснуть по его неотменимому расписанию, а Роха подбирала тёплую одежду для Хенки, чтобы в дороге не простудилась.

Ночи в конце марта были ещё холодными. Кое-где в оврагах и низинах белели островки снега, а на окнах поблёскивали затейливые кружева изморози.

До Каунаса ехали долго. Файвуш Городецкий вёл по мощённому булыжником пути свой выдавший виды «Форд» с опаской, боясь растрясти доверенный ему драгоценный груз, и молча вглядывался в тускло освещённую фарами темноту. Молчал и Шлеймке.

– Вы чего это молчите, как на кладбище? – вдруг послышалось с заднего сиденья.

– Мы думали, что ты спишь, – отозвался Шлеймке. – Не хотели беспокоить.

– Да, с таким спутником, как мой бунтовщик, поспишь... – вздохнула Хенка. – Дай Бог нам до больницы добраться. А до Каунаса ещё далеко?

– Больше половины пути мы уже отмахали, – сказал неразговорчивый Файвуш. – Через четверть часа к городской черте подъедем.

– Потерпи немножечко, – попросил Хенку Шлеймке.

Машина и впрямь вскоре въехала в погрузившийся в глубокий сон сумрачный пригород Каунаса, наобум застроенный дряхлыми деревянными домишками. Петляя по улицам и переулкам, «Форд» медленно приближался к цели – к знаменитой на всю Европу больнице. Иногда из какой-нибудь подворотни выскакивала, словно ошпаренная фарами, бездомная собака, и Городецкий резко нажимал на тормоза, а Хенка вскрикивала от испуга.

Наконец из густого, враждебного сумрака выплыла и ярко высветилась своими многочисленными окнами приютившаяся в старом городе Еврейская больница.

Файвуш высадил пассажиров, пожелал грузной и неповоротливой Хенке удачи, развернул машину и, подкрепив добрые пожелания протяжными автомобильными сигналами, покатил обратно.

Первое, что поразило Хенку и Шлеймке, было не внушительное здание больницы, а приёмный покой, где и сестры, и доктора, и уборщицы говорили на идише, как в каком-нибудь йонавском дворе.

– Добрый день, – сказал коренастый, чисто выбритый мужчина, в белом халате и круглой белой шапочке. Он принял у Шлеймке документы и, тщательно изучив их, пробасил: – Будем знакомы. Я – доктор Бенцион Липский, заведующий гинекологическим отделением. Прошу вас подняться со мной на второй этаж для первоначального осмотра, – обратился он к

роженнице. – А вас, к сожалению, я буду вынужден разлучить с вашей женой до её выписки. Посторонним лицам находиться в нашей больнице строго запрещено. У вас в Каунасе есть место, где вы могли бы переночевать?

– Есть. У брата.

– Вот и хорошо. А утречком приходите. Спросите внизу доктора Липского, я выйду к вам и всё подробно расскажу. А теперь поцелуйте свою вторую половину и – до свидания, до завтра.

Ошарашенный муж так и сделал – нескладно обнял Хенку, поцеловал и пожелал удачи.

Доктор откланялся и вместе с Хенкой исчез в длинном, пропахшем лекарствами, загадочном коридоре.

На ночлег к брату Мотлу Шлеймке не отправился. Город он знал плохо, немудрено было провинциалу в предрассветном сумраке заблудиться. Поэтому он благоразумно решил дожждаться наступления утра под светящимися окнами больницы. Всё равно он сейчас нигде не сможет уснуть.

Никогда Шлеймке не чувствовал себя таким одиноким и беспомощным, как в ту ночь. Он кружил вокруг трехэтажного здания госпиталя, стараясь угадать, за каким залитым желтым светом окном корчитя от боли Хенка. Небо было затянуто плотной рогожей облаков, только иногда они, как овцы, разбредались в разные стороны, и в образовавшейся полынье то тут, то там вспыхивали затерявшиеся звёзды, с которыми Шлеймке переглядывался и даже первый раз в жизни принялся беззвучно переговариваться. Он вдруг вспомнил слова матери, что звёзды – это глаза рано умерших невинных младенцев, и его вдруг охватила какая-то неодолимая оторопь. Шлеймке отвел от небосвода взор, но звёзды, как будто преследуя его, по-прежнему сияли перед ним во всей своей яркости и блеске.

Когда утром к нему выйдет с доброй вестью доктор, Шлеймке отправится к брату Мотлу, побреется, помоеся, купит в цветочном магазине самый большой букет роз и помчится в Еврейскую больницу к Хенке и новорожденному сыну. Ему очень хотелось, чтобы родился мальчик, он даже для него уже имя придумал – Барух. Благословенный. Мысли о сыне вытеснили из головы все тревоги и страхи, посеянные повитухой Миной.

Занималась заря. В окнах больницы стал постепенно гаснуть припорошенный болезненной желтизной свет. Только из операционной в тающий сумрак продолжало изливаться ослепительное свечение низко свисающих с потолка ламп. Судьбоносная ночь подходила к концу, и наступал, как сказано в Писании, день первый.

Озабоченный Шлеймке несколько раз справлялся в приёмном покое у миловидной барышни про доктора Бенциона Липского, но всё время получал от неё вежливый, но неопределённый ответ:

– Доктор Липский сейчас либо на обходе, либо на операции. Зайдите, пожалуйста, чуть позже.

На вопросы, когда же он, примерно, освободится, учитывая барышня только недоумённо пожимала плечиками и кокетливо строила статному сероглазому посетителю глазки.

Голодный, измученный дурными предчувствиями, Шлеймке неотрывно следил за каждым снующим в приёмном покое человеком в белом халате и в такой же белой шапочке, но доктор Липский как сквозь землю провалился.

И только часа через два Шлеймке увидел, как тот медленно спускается по лестнице, и в нарушение всех больничных запретов бросился к доктору навстречу.

– Похоже, вы всю ночь под окнами простояли, к брату не пошли.

– Не пошёл.

– От стояния под окнами больному легче не становится. И давно вы меня тут ждёте? – произнёс мощный Бенцион Липский ровным бесцветным голосом, которым привык сообщать и плохие, и хорошие новости.

– Давно.

– Наверно, от долгого ожидания вы изрядно изнервничались.

– Да.

– Нам надо с вами серьёзно поговорить.

По хмурому непроницаемому лицу доктора Шлеймке понял – случилось что-то непоправимое.

Они прошли в холл, сели за небольшой журнальный столик друг против друга, и Шлеймке, не дожидаясь, пока Липский заговорит, вдруг выпалил:

– Скажите, доктор, моя жена жива?

– Жена ваша жива, жива, – с поспешностью и подчеркнутой услужливостью откликнулся Бенцион Липский.

– Это главное, – выдохнул Шлеймке.

– Роды были тяжелые. Не обошлось, увы, без крайнего средства – кесарева сечения, то есть без операции на брюшной полости.

Наступившая пауза длилась недолго. Но в холле вдруг стало нестерпимо душно.

– Во всех клиниках мира такая операция, – после

передышки продолжал Бенцион Липский, – до сих пор сопряжена с большими рисками и опасностями для матери и ребенка. Но в исключительных случаях врачам не остается другого выхода – приходится браться за скальпель. – Бенцион Липский пустился в рассуждения об ограниченных возможностях медицины, чтобы хоть ненадолго оттянуть печальное известие. – Жизнь вашей жены мы, слава Богу, сохранили, а вот ребёнка, несмотря на все наши усилия, спасти не удалось.

– Это был мальчик? – задуманным от горя голосом нашёл в себе мужество спросить Шлеймке.

– Да. Поверьте, мы сделали всё от нас зависящее. Но доктора не Боги.

Шлеймке угрюмо слушал и после каждого объяснения только всё больше мрачнел.

– Сочувствую Вам всем сердцем, – скорбно произнес Бенцион Липский. – Но как ни горька правда, врачи не могут по требованию больного или его ближайших родственников отменять или замалчивать её.

– Когда я смогу навестить жену? – замороженными губами прошептал Шлеймке.

– Думаю, что завтра-послезавтра.

– А когда их можно будет обоих забрать отсюда и увезти домой... в Йонаву?

В холле наступила вязкая, болотная тишина. Казалось, слышно было, как у недавнего солдата Шлеймке под холщёвой рубашкой ухаёт сердце.

– Когда? – Простой вопрос застал Бенциона Липского, закалённого чужими несчастьями, врасплох. Он не знал, что ответить. – Спрошу у профессора Ривлина. Жену, может, через неделю, может чуть раньше. В зависимости от того, как будет проходить заживление. – Доктор Липский помолчал, избегая самой болочей темы – мертворожденного ребенка. – А вы, господин Канович, поезжайте-ка домой! В беде нельзя долго оставаться одному.

– Нет, нет, – отрезал Шлеймке.

– Вы здесь только ещё больше измучаетесь. И как бы вам самому не понадобилась помощь медиков. Тем, что будете круглосуточно кружить вокруг больницы, вы ей не поможете. Так и быть – в порядке исключения я разрешу вам навестить вашу жену. Но с одним условием. Пять минут. И ни одной минуты больше. Я засеку время. Иначе меня за самоуправство выгонят из больницы. Идёмте!

Хенка лежала в просторной палате на высоких белых

подушках. Её густые волосы как будто растрепало ветром, и они упрямо напоздали на прикрытые глаза, но она их не откидывала, как черную, траурную вуаль.

– Ты? – Хенка безошибочно узнала мужа по медвежьей походке и дыханию.

– Я... – Он наклонился к постели и осторожно прикоснулся небритой щетиной к щеке Хенки, которая вдруг безудержно зарыдала.

– Не плачь. Будь умницей, не плачь... Я тебя очень, очень... ну ты сама понимаешь... – как в бреду, повторял он, готовый и сам навзрыд заплакать от горя и злости на судьбу. – Чего-чего, а этого никто и никогда у нас не отнимет. Ты меня слышишь? Никто. И никогда. До самой смерти будем друг друга... – Он не договорил, захлебнувшись от собственного беспомощного признания в любви...

– Как, Шлеймке, дальше жить? Как? – простонала она, и слова её снова потонули в судорожных рыданиях.

– Будем жить. Горе – это ведь, Хенка, не преступление, беда это ведь не позор.

И тут он услышал скрип двери и заторопился.

– Я скоро приеду... скоро...

Неумолимый Бенцион Липский сжалился над ним и добавил ему ещё минуту на прощальный поцелуй. Шлеймке прильнул к жене, и две крупные слезы скатились на белое, как саван, одеяло.

Слух о несчастливых родах облетел всё местечко. Как говорила Роха, несчастья у евреев всегда обгоняют черепаху-радость, которая общей бывает редко.

Сразу же по приезде в Йонаву Шлеймке отправился к рабби Элиэзеру. В знак великой скорби тот долго молчал, сдержанно, по-пастырски охал, вздыхал, теребил свою бороду с проседью и печально изрёк:

– Да укрепит Господь твой дух, майн кинд.

– Я пришел к Вам, рабби, за советом. Как быть, когда я его привезу сюда?

– Вопрос твой понятен, сын мой. – Рабби Элиэзер снова подоил свою кишашую мудрыми мыслями бороду и сказал: – Мертворождённых младенцев мужского пола не велено обрезать и нарекать каким-нибудь именем. Запрещено сидеть шиву и ставить им на могиле надгробный памятник. И хоронить их должно без кадиша.

– То есть – просто закопать?

– Да. Родителям и родственникам, правда, при этом не

запрещается посещать место захоронения и с подобающим прилежанием за ним ухаживать. Свяжись с Хацкелем, главой похоронного братства, он тебе всё объяснит и всё сделает, как положено.

– Этот «немец» ничего не знает. Никто не может нам запретить сидеть шиву, – возмутилась Роха. – Что с того, что рабби Элизер не запишет его имя в Книгу судеб. Обойдемся и без его записи. Памяти безымянной не бывает.

– Может, всё-таки дождёмся Хенки, – предложил Довид. – Без неё как-то неудобно.

– Не стоит растравлять и без того её истерзанную душу. Подумайте сами – сначала похороны, а потом шива. Человек может и не выдержать, – промолвила Роха. – Всем миром такую страшную утрату не лечат.

Вняли её голосу, а не Довида и не этого тильзитского «немца» рабби Элизера, и обе семьи в течение семи траурных дней исправно сидели дома и никуда не выходили.

Даже богохульник Шмулик вопреки своей твердой уверенности, что Бога придумали эксплуататоры, чтобы задурить голову трудящимся массам, смиренно скорбел вместе со всеми.

– В горе надо проявлять пролетарскую солидарность, – сказал он, усаживаясь рядом с шурином. – Сегодня моя сестра мне дороже всякой справедливости.

На скорбные посиделки не погнушался прийти и домовладелец Эфраим Каплер – в бархатной ермолке, с чёрной ленточкой в петлице; забежал подвыпивший маляр Евель с ведёрком краски и неразлучной кистью; посетили дом на Рыбацкой улице тишайший доктор Блюменфельд и повитуха Мина.

Не преминул отметить своим присутствием и выразить свое искреннее и бескорыстное сочувствие скорбящим и Авигдор Перельман.

– Никто, Шлеймке, не может понять, как тебе тяжело, – сказал он, сев напротив него за поминальный стол. – Мне так тяжело никогда в жизни не было. Было голодно, холодно, одиноко. Не раз хотел на себя руки наложить и сказать всем «адыю», да воли у меня, слабака, не хватило. Но с такой бедой я всё-таки не сталкивался. Ты только, солдат, не раскисай, не сдавайся. У тебя ещё всё впереди. Не то, что у меня, никчемного человека. Я ведь уже прожил все возможные времена – прошлое, настоящее и даже будущее. И, слава Богу, что нет четвёртого времени.

– Спасибо, Авигдор, спасибо, – ответил Шлеймке, не уверенный в том, что тот поставит точку.

И угадал.

– Если можно, ещё пару слов вдобавок.

– Можно.

Шлеймке не мог ему отказать, хотя его, как и всех в местечке, раздражала чрезмерная склонность Авигодора к мудрствованию и суесловию, к которым он пристрастился в Тельшайской ешиве.

– Лучше, конечно, было бы, если бы твой сынок родился живым и здоровым. Но ты на меня, ничтожного червя, не сердись за мои слова. Я всегда говорю то, что думаю, потому что уже никого и ничего не боюсь.

– Знаем, знаем, – подтвердил Шлеймке, пытаясь остановить его излияния.

– Может, твой мальчик в последнюю минуту передумал – не пожелал выходить в этот паршивый, трижды проклятый мир и остался в чреве матери. Там ему было тепло и сытно. Ты только на меня, Шлеймке, не сердись. Если наш безжалостный Бог наказывает таких добрых людей, как ты и твоя Хенка, зачем, скажи, нам вообще нужен такой начальник, как Он? Мог же Всевышний отдать все мои семьдесят четыре года кому-нибудь другому, глядишь, другой прожил бы более достойную жизнь, чем я.

Он посидел ещё немного, съел булочку с маком, запил сельтерской, подремал на стуле, встал и стал собираться.

– Пора возвращаться на свое рабочее место – на тротуар, – сказал он и, сгорбившись, ушел.

– Я думал, он свихнувшийся, а у него светлая голова и вполне развитое классовое сознание, – удостоил Авигодора Перельмана мелкой монетой похвалы Шмулик.

– С его умом он мог бы стать раввином, – сказал Шлеймке. – Но Авигодору не повезло. Его Хаечка сбежала с каким-то приказчиком, а он, вместо того, чтобы найти себе другую жену, увязался за какой-то заезжей бабой, и всё полетело в тартарары. А потом, когда от него удрала и эта блудница, жизнь Авигодора галопом покатила вниз: началось с браги и кончилось бездомностью и нищенством.

Вскоре после ухода Авигодора Перельмана стали понемногу расходиться и другие сидельцы.

Последней квартиру Рохи-Самурая, выстуженную печалью и невозвратной утратой, покинула повитуха Мина.

– Береги Хенку, – сказала она Шлеймке. – Теперь ей надо заново родиться.

За день до окончания семидневного траура Шлеймке отправился в Каунас. От автобусной остановки до Еврейской больницы он добирался резвым солдатским шагом.

В приемном покое он сразу обратился к своей старой знакомой – миловидной, кокетливой барышне с просьбой немедленно связать его с доктором Бенционом Липским. Та ничего ему не ответила, сняла трубку и позвонила в родильное отделение.

– С вами, доктор, желает срочно встретиться один посетитель. Он говорит, что вы его знаете, и что он уже раз приходил сюда к жене-роженице.

– Кто такой? Откуда? – поинтересовался доктор Бенцион Липский на другом конце провода.

– Минутку!

Барышня вопросы доктора переадресовала Шлеймке.

– Из Йонавы. Канович, – сказал приунывший Шлеймке.

– Спасибо, – барышня благодарно повернула к гостю свою изящную, словно вылепленную, головку и чётко передала по телефону доктору в родильное отделение все сведения. Дождавшись отсюда ответа, она заморгала своими глазками-вишенками и сообщила Шлеймке: – Господин Липский будет к вашим услугам через четверть часа. Доктор очень сожалеет, что никак не может с вами встретиться раньше.

Свое слово Липский сдержал. Он пришёл ровно через четверть часа, поздоровался и тут же предложил Шлеймке выйти с ним во двор и без помех, с глазу на глаз, на свежем воздухе потолковать о серьёзнейшем деле. Когда оба примостились на деревянной скамейке, он вдруг осведомился.

– Вы не курильщик?

– Нет.

– А я до сих пор, представьте, не могу отвыкнуть. Бросал несколько раз и через день-два снова начинал коптить небеса. Не возражаете, если я немного подымлю у вас под носом?

– Не возражаю.

– А теперь – о деле. Возле костёла – стоянка извозчиков. Выберите повозку и подъезжайте к больнице. На первых порах вашей супруге даже при умеренной ходьбе надо избегать лишних нагрузок, чтобы, не приведи Господь, не разошлись швы. – Он полез в карман, достал портсигар с монограммой, вынул папиросу и закурил. – Как вы сами понимаете, с той чудовищной ношей, которую вам выдадут по расписке в больничном морге, ходить по городу невозможно. У нас в таких прискорбных случаях с согласия родителей иногда хоронят на каком-нибудь ближайшем еврейском кладбище, – Бенцион Липский глубоко затынулся и, запустив в небо голубое колечко, продолжал. – Надеюсь, вы не считаете меня извергом или мясником. Я тоже отец, и прекрасно понимаю, какую цену вы всеми своими нервными клетками платите за то, что

произошло. И я, поверьте, тоже расплываюсь. Моя плата, конечно, несравнимо меньше, чем ваша. Но, поверьте, и я плачу! Но я доктор. И мой долг при надобности вовремя включать сирену, возвещающую об опасности.

– Я, конечно, возьму извозчика. Иначе я и не думал, – сказал Шлеймке.

– Вы, по-моему, человек стойкий, не хлюпик и не размазня.

– Да. Не к лицу мужчине расслабляться, но всему есть предел, – произнес Шлеймке. – С вашего позволения я, пожалуй, пойду за извозчиком.

– Да, да, сходите, голубчик, это совсем недалеко, костёл отсюда хорошо виден. Но я как врач должен ещё кое-что вам сказать.

– Слушаю.

– Вашей жене, к сожалению, лучше больше не беременеть. Последствия повторной беременности могут обернуться для неё катастрофой. Это не только моё мнение, это мнение консилиума.

– Консилиума?

– Совета врачей. Только вы, ради Бога, как можно дольше ей об этом не говорите. Надеюсь, вам не надо объяснять, что среди всех живых существ на свете более самоотверженных, чем любящие женщины, нет. В своей любви они не останавливаются ни перед чем. Вплоть до безумия и самоубийства. Они абсолютно не считаются ни с какими врачебными советами и запретами.

– До сих пор у меня от моей жены не было никаких тайн.

– Тем не менее – будьте осторожны. Осторожность ещё никому не повредила.

– Благодарю вас за предупреждение.

Шлеймке поднялся и направился в сторону костёла.

На площади в ожидании седоков сучали возницы. Шлеймке остановил свой взгляд на первом же попавшем в поле его зрения – приземистом, нахохлившемся от безделья и скуки носатом мужичке, похожем не то на оседлого цыгана, не то на соплеменника-еврея.

– Свободен?

– Йе, – ответил возница на чистейшем идише. – Залезай!

– Я не один. Надо подъехать к Еврейской больнице. Я там возьму жену и – на автобусную станцию.

– За деньги я могу подъехать куда угодно. Хоть на край света. Хоть в Палестину. Почему бы нет? Ха-ха-ха! – заржал он. – Залезай, залезай! Евреям я делаю скидку. Десять процентов! А на большие расстояния скидываю даже пятнадцать-двадцать.

Подкатили к входным дверям Еврейской больницы,

Шлеймке в сопровождении доктора Липского поднялся на второй этаж и вывел под руку из палаты еле живую, словно окаменевшую Хенку.

Внизу по распоряжению Бенциона Липского их уже ждал рослый санитар с тщательно завернутым в простыню тельцем моего мертворожденного брата.

Шлеймке попрощался с доктором и помог Хенке забраться в бричку.

Был март 1928 года. Литва только что торжественно отпраздновала десятилетний юбилей своей независимости, и по всему городу на всех еврейских и литовских домах победно ещё развевались на ветру чуть примятые трехцветные праздничные флаги.

– Въё-о-о, Песеле! – выкрикнул извозчик. – Она у меня в Каунасе знает каждый адрес. Скажешь ей: Песеле, к ресторану «Метрополь», к Офицерскому собранию или к резиденции президента Сметоны, с которым наши богатые еврейчики по вечерам в карты режутся, моя лошадь без всякого понукания сама вас доведёт. Мы с ней не первый год утюжим эти улицы, катаемся туды-сюды. Надо же – четвероное животное, а голова у неё прямо-таки еврейская.

– Нельзя ли попросить вашу умную Песю, чтобы она бежала не очень резво, не то она из нас всю душу вытрясет. Жена после тяжёлой операции. А на автобус мы не опаздываем.

– Понял! Моя Песеле чаще всего трясёт наших недругов. Она, скажу вам, чует антисемитов на расстоянии. Но стоит ей только услышать от седока маме-лошн, как она тут же переходит с рыси на лёгкий шаг, – продолжал балагурить возница. – Она у меня большая любительница идиша. Только говорить не умеет. А жаль.

Хенка сидела неподвижно, отрешившись от всего, что её окружало. Казалось, ничто, кроме тупой ноющей боли, для неё не существовало. Она не замечала ни мужа, ни балагура-возницы, не обратила никакого внимания и на Бог весть откуда взявшийся сверток, белевший на коленях онемевшего Шлеймке.

Шлеймке не решался заговорить с ней, отвлечь от горестных мыслей; он и сам был совершенно подавлен и прятал свое отчаяние и растерянность в глубокий, захлопнутый железной крышкой погреб молчания.

Цокала копытами послушная Песя, бормотал себе под её цокот какой-то пошлый мотивчик разудалый возница, и выморочный город, словно во сне, проплывал мимо, как гряда надгробных камней.

– Приехали! – сказал балагур и вежливо попросил Песю

остановиться.

Шлеймке расплатился с ним остатками Хенкиного жалованья, и вскоре они пересели на рейсовый автобус.

Пассажиров можно было пересчитать по пальцам. Водитель автобуса, плечистый, немногословный литовец, в отличие от Песи никого не щадил. Он не объезжал ни рытвины, ни выбоины, ни корневища на дороге. Машина трещала, подпрыгивала, как громадная лягушка. Хенка придерживала ладошкой норовившее вырваться из-под платья разбушевавшееся сердце, а Шлеймке, обхватив руками сверток, то и дело прижимал его к груди, чтобы тот, не приведи Господь, от неожиданных толчков не упал бы и от удара об пол не раскрылся бы на виду у всех пассажиров.

По просьбе Шлеймке никто его на станции не встречал. Встретят и начнут допытываться: что, да как, да почему? Господь Бог евреев, лишенных любопытства, не создал. Видно, поэтому они в любое время и по любому поводу донимают бесконечными вопросами не только друг друга, но и Его самого на небесах.

Как говорит неисчерпаемый Шмулик: каждый нормальный еврей состоит из одних подкожных вопросительных знаков.

Маленькая съемная квартира была битком набита родичами с обеих сторон. Пригласила Роха и доктора Блюменфельда – мало ли что может произойти с Хенкой, которая ещё не оправилась от несчастья.

– Как хорошо, что ты уже с нами, – сказала моя бабушка своей невестке. – Храни тебя Господь. Всегда и всюду.

– Омейн, – прогудел мой дед сапожник.

Его тут же поддержали родители моей мамы, которые дружно повторили за сватами:

– Омейн.

– Все мы желаем вам скорейшего выздоровления, – сказал доктор Блюменфельд, но не мог удержаться от наставления: – Дорогая Хенка, теперь надо отключиться от всего, что было, и переключиться на то, что будет. Пожалуйста, не уговаривайте себя, что солнце навсегда закатилось. Наступит утро, и оно всё равно взойдёт.

Хенка в ответ не проронила ни слова, смотрела на всех отсутствующим взглядом и улыбалась так, что все ёжились от её обречённой улыбки.

– Неразумно, дорогая, тушить огонь, подбрасывая в него сухие поленья, – почти шёпотом произнес Ицхак Блюменфельд, а перед тем как попрощаться, добавил: – Отавляю вам пакетик с безвредными пилюлями снотворного. Примите одну пилюлю, и утречком встанете бодрой.

К снотворному Хенка не притронулась и уснула только под утро.

– Шлеймке ушёл, скоро вернётся, – объяснил ей Шмулик, когда сестра проснулась.

– Куда?

– Не знаю.

Велеречивый Шмулик был на редкость скуп на слова, хотя знал, что Шлеймке ушёл договариваться с главой похоронного братства Хацкелем Берманом о дне погребения мертворождённого сына.

На обратном пути Шлеймке завернул на Рыбацкую к матери.

– Чего это среди бела дня ты к нам заявился? – спросила

Роха.

– Был у Хацкеля.

Имя нелюдимого гробовщика Хацкеля Бермана звучало в Йонаве, как пароль.

– Ясно. Когда похороны? – только и спросила моя бабушка.

– Завтра. Я забежал, чтобы посоветоваться с тобой. Хенку брать или не брать?

– Ты что, с ума сошел? Хочешь её добить? Не брать, конечно. Когда она окрепнет, все вместе туда и ходим. От живых всё равно ничего не утаишь. Хацкель Берман первый проговорится о том, кого он похоронил.

Моего старшего брата Баруха – Благословенного, ни разу не запеленатого в пелёнки и не кормленного молоком матери, не записанного ни в одной повременной книге, похоронили на закате солнца, между двух молоденьких, стройных сосёнок, ещё не обжитых крикливыми и равнодушными к мертвым воронами. Последние солнечные лучи предвечерним золотом нежно окрасили края глубокой могилы, слишком просторной для такой крохи. Оба моих деда в сатиновых ермолках, обе бабушки в черных платках и в длинных платьях до пят, мой неверующий отец в картузе с твёрдым парусиновым козырьком, а также дядя Шмулик, будораживший земляков своими боевыми призывами к свободе и всеобщему равенству, неподвижно стояли над вырытой ямой. И все вздрагивали от каждого хлопка падающей с лопаты мокрой, ещё не оттаявшей за зиму глины. Суеверный дед Шимон едва слышно читал запрещённый рабби Элизером кадиш. Могильщики вытирали со лба праведный пот и разравнивали для красоты безымянный холмик.

Солнце село за тучу, и родичи молча разошлись по домам.

Две недели Шлеймке не притрагивался к иголке, не взнуздывал своего железного коня. Недовольные заказчики обивали

порог и торопили его, грозясь перейти к Гедалье Банквечеру, но он отделялся обещаниями и занимался только Хенкой.

На «Зингере» строчил Шмулик, отгоняя свою врожденную и спасительную лень куплетами русской революционной песни о вихрях враждебных, которые веют над всеми бедняцкими головами.

При сестре Шмулик умерял свой гневный голос до шёпота, ибо вся квартирка была пронизана не враждебными ветрами мести и ненависти, а уныньем и печалью. Он и Шлеймке всеми силами старались вывести Хенку из пугающего состояния полного безразличия ко всему, что происходило вокруг. Она сторонилась всех близких, избегала встреч с роднёй, относилась с какой-то брезгливостью к словам утешения и участия, не отвечала на вопросы, пропуская мимо ушей натужные шутки, сидела с утра до вечера у открытого окна, смотрела на прохожих, на плескающихся в лужах непривередливых воробьёв и на свадебные пируэты голубей. Стоило ей на улице услышать плач или крик ребенка, Хенка тут же задёргивала занавеску и пальцами затыкала уши. По примеру говитухи Мины она стала регулярно ходить в синагогу и подолгу горячо и неумело молиться.

Иногда к ней, почти невменяемой, подходил деликатный рабби Элизер и, впадая в ересь, говорил:

– Бывают в жизни такие случаи, когда всемогущий Бог, как простой смертный, сам нуждается в помощи. И порой в большей мере, чем мы, грешные. Вот ты Ему, милая, сейчас и помоги, попытайся перебороть своё отчаяние, а слабость превратить в силу. Слабых Всевышний жалеет, а сильных поддерживает.

Она не понимала, о чём он говорит, но отвечала рабби Элизеру благодарными слезами.

Дома Хенка ни к чему не прикасалась. На кухне хозяйничала свекровь: варила, стряпала, она же убирала квартиру, стирала, а Шмулик, с малолетства приученный мамой готовить еду, с какой-то одержимостью помогал ей – откладывал иголку с ниткой, засучивал рукава и принимался чистить картошку или шинковать капусту.

Так длилось до того памятного дня в начале лета, когда Хенка вдруг тихо и внятно, ни к кому не обращаясь, спросила:

– А где наш мальчик?

Шлеймке с утра до вечера не отрывался от «Зингера», дробь которого заглушала все чёрные мысли, обомлел от её вопроса, но быстро сумел взять себя в руки. Солгать он ей не мог.

– Мы его похоронили.

– Мы? Где?

– Здесь. На пригорке, – каждое слово колючей костью

застревало у него в горле.

– А почему без меня?

– Ты тогда была ещё очень слабой. Мы посоветовались и решили: после того, что ты перенесла в Каунасе, не подвергать тебя ещё одному тяжелому испытанию. Ты бы, Хенка, не выдержала, сломалась...

– Я хочу его видеть, – произнесла она таким тоном, как будто речь шла не о покойнике, а о живом человеке.

– Хорошо, хорошо, – согласился Шлеймке, не успев вникнуть в безысходный смысл невольной и страшной её оговорки. Когда только скажешь.

– Завтра же.

– Завтра так завтра.

Ему очень хотелось, чтобы она ещё о чём-то просила, расспрашивала, упрекала. Он готов был оправдываться, каяться, виниться, но жена упорно молчала, и он больше не посмел рта раскрыть.

Петля между надгробиями, они добрались до безымянного пригорка, на котором покоилось их такое же безымянное, не издавшее ни одного писка дитё.

Солнце освещало скромный глиняный холмик, отливавший багрянцем.

Жужжали пронырливые шмели; щеголяли однодневным, ослепительным великолепием только-только вылупившиеся из кокона бабочки, хрупкие крылышки которых были немислимой божественной расцветки; звонко и задиристо заливались в кустах можжевельника оборотистые сойки; в густой, сочной траве шныряли хитроумные добычливые мыши-полёвки; деловито, без усталости сновали от одного надгробья к другому отважные муравьи. Даже роковые вещуньи-вороны, разомлев на солнце, прихорашивались на деревьях.

Всё как бы назло им жило, двигалось, переливалось всеми цветами радуги, бездумно ликovalo и плодилось.

Хенка наклонилась, зачерпнула горсть могильной земли и стала пересыпать её из одной руки в другую. Шлеймке был уверен, что вот-вот она начнёт сыпать этой мокрой глиной, как пеплом, свою голову, навзрыд расплачется, но та неподвижно стояла с непроницаемым лицом перед холмиком и так же неторопливо, словно священнодействуя, цедила сквозь пальцы крупницы кровенившей глины на сиротливую могилу.

Хенка и Шлеймке простились с сыном и в скорбном молчании, увязая по колено в кладбищенской отаве, добрались до последнего, неземного, приюта своих дедушек и бабушек, которые

рожали по десять детей не в Каунасской Еврейской больнице, не в Париже, не в пригороде Нью-Йорка, в Бронксе, а под залатанной дранкой крышей своего дома в захолустной Йонаве. Хенка и Шлеймке поклонились им и молча принялись выкорчёвывать неприлично разросшиеся вокруг могильных плит колочки. Выместив на сорняках горечь и обиду на свою незавидную долю, несчастливые внуки медленно направились к тронутым гнильцой воротам кладбища, заложенного первыми евреями-поселенцами в стародавние времена, когда всеильный император Наполеон опрометчиво повёл свои победоносные войска по литовскому бездорожью в Россию.

Дальше молчать было нестерпимо, что-то оставалось между ними недоговорённым и неизбежно требовало выхода.

Ещё среди громоздившихся надгробных памятников новая, накатившая волна отчаяния заставила Хенку первой заговорить о том, что всё время её мучило, и о чём, скрепя сердце, она все время молчала.

– Скажи мне, пожалуйста, только не выкручивайся, зачем я тебе такая сейчас нужна?

После несчастных родов, ещё в больничной одиночке, она уговорила себя, что Шлеймке непременно бросит её, найдёт другую, которая народит ему кучу детей и у которой на молодом теле не останется ни одной меты, ни одного шва.

– Какая? – Шлеймке не сразу сообразил, о чём она с таким неистовством говорит.

– Кому нужна захиревшая яблоня, которая не плодоносит?

– Откуда у тебя берутся такие глупые сравнения?

– Откуда? Когда доктор Липский выписывал меня из больницы, он по секрету сказал, что мне больше беременеть нельзя. Второй раз, предупредил доктор, это может закончиться катастрофой не только для ребёнка, но и для самой роженицы. На благополучный исход ни одна больница в мире роженицам никакой гарантии не даёт. Вот я тебя прямо и честно спрашиваю, зачем, скажи, тебе под боком нужна жена-катастрофа?

– Доктор Липский и мне по секрету сказал примерно то же самое. Ну и что? Сказано в десяти заповедях, которые Господь на горе Синай продиктовал праотцу Моисею: «Не убий», а сколько людей убивают на войнах друг друга без всякого содрогания и жалости? Сказано: «Не кради», а сколько одни бессовестно крадут у других, у своих же ближних, которых Господь Бог повелел любить, как самих себя? – Шлеймке не мог остановиться. Он говорил и говорил. Лицо его пламенело, в глазах сверкала непривычная ярость.

– Я за себя не боюсь, – спокойно продолжала Хенка. – Люди дважды не умирают. Но ты же, наверно, не станешь перечить доктору Липскому. Послушаешься его.

– Не понял.

– Будешь придерживаться наложенного на нас запрета и круглый год поститься. Ты же мне зла не желаешь. Ведь не хочешь, чтобы я погибла.

– Нет. Зла я тебе не желаю. И не хочу, чтобы ты погибла.

– Но ты пойми, удел любой женщины не соблюдать запреты, а нарушать их, ради материнства, ради продления рода. Что это за яблоня, у которой и ствол крепкий, и крона пышная, но которая хиреет и не плодоносит. Тебе быстро надоест нежиться в её тени и наслаждаться не сладостью плодов, а только шелестом её желтеющих и опадающих листьев.

– Давай, Хенка, без этих твоих вычурных сравнений. Ты что – разучилась говорить со мной по-простецки, без всяких этих словечек?

– Ты уверен, что в один прекрасный день не возьмёшь топор, не срубишь эту яблоню и не высадишь новую, плодоносную? – не отступала она.

– Опять ты с этими своими красотостями. Ничего я не высажу и никого не срублю. Объясни коротко и ясно – что тебя так беспокоит?

– Ты меня не бросишь?

– Вот это уже понятный, человеческий разговор. Брошу. Но только тогда, когда ты сама меня бросишь или, как ты выражаешься, срубишь и вместо меня в своём саду что-то или кого-то высадишь.

– Тогда и умереть не страшно.

Хенка, отчаявшаяся и истосковавшая, упала ему на грудь, нечаянно повалила своей тяжестью наземь и вдруг принялась, судорожно целовать его в губы, в щеки, в лоб. Вороны с высокой сосны косили на них свои роковые, вьедливые глаза и громким презрительным карканьем безуспешно отпугивали странную бесстыдную пару, которая для своих любовных ласк не нашла себе лучшего места, чем высокая кладбищенская трава.

– Сумасшедшая, сумасшедшая, – повторял Шлеймке, тщетно пытаясь высвободиться из цепких, жадных объятий и встать на ноги.

Дома они застали полицейского Гедрайтиса, который на выученном за долгие годы службы в еврейском местечке идише вёл назидательную беседу с неблагонадёжным Шмуликом.

– Шолем алейхем, понас Винцас, – зачастил мой хмурый и неулыбчивый отец.

– Алейхем шолем, – вежливо ответил полицейский и, как ни в чём не бывало, продолжал не предвещавший ничего хорошего Шмулику разговор.

Разговор шёл на сей раз не о пошиве нового костюма, а – кто бы мог подумать! – о ветрах враждебных, веющих над бедным братом Хенки и всеми честными трудящимися мира. Оказывается, Шмулик Дудак успел прославиться в местечке не столько как отменный портной, сколько как лютый враг богатеев. Незлобивый Гедрайтис пришел, чтобы от имени своего начальства вынести ему первое строгое предупреждение за то, что Шмулик своими подстрекательскими речами мутит еврейскую молодёжь.

– Я, господин Дудак, давно знаю вашего отца – уважаемого сапожника Шимона, у которого чинил ботинки и сапоги, – произнес полицейский и откашлялся. – Знал я и вашего деда Рахмизля. И деда Шлеймке – каменотёса Берла, – польстил он и молчаливому хозяину дома. – Все они были настоящими умельцами, мастерами своего дела.

– К чему это вы мне рассказываете?

– К чему? Как старый друг вашей семьи, я со всей прямотой хотел бы вам, пока не поздно, сказать, что куда полезней заниматься своим делом и хорошо зарабатывать, чем по воскресеньям на базарной площади перед какими-то олухами во всю глотку орать «Долой диктатора Антанаса Сметону!». Нет справедливости выше, чем работа. А баламутить народ накладно и опасно. Такими выкриками семью не прокормишь.

Шмулик в спор не ввязывался, стоял, крепко закусив зубами нитку.

– Мой совет, господин Дудак, берите пример со своих родичей, а не с тех бунтовщиков, которых иногда приходится утихомиривать пулями. Но не буду вам больше мешать! Шейте, шейте, – пробасил Гедрайтис, шелкнул сапогами и удалился.

– Доиграешься, Шмулик, – сказала Хенка. – Придётся носить тебе передачи в тюрьму.

– Договорились. Ты – искусная стряпуха и хорошо знаешь, что я люблю гусиную шейку, рубленую селедочку и картошечку с черносливом, – сказал Шмулик, радуясь, что Хенка чуть ожила.

В доме и впрямь легче стало дышать, как будто в нём раздвинули стены и невидимым насосом вдоволь накачали свежего воздуха. Роха не могла наглядеться на воспрянувшую Хенку. И, чтобы освободить её от повседневной готовки, она без устали что-то пекла, жарила, варила и в тяжелых кастрюлях или в большой плетёной корзине всю эту снедь волокла сюда, в эту крохотную квартирку. Ведь непростое это дело – досыта накормить двух

здоровенных мужиков, не жалующихся на отсутствие аппетита и не страдающих язвой желудка! Сколько ни накладывай в миску, всё наверху.

– Кушай и ты, – подстёгивала она Хенку. – Тебе нужно очень много кушать. В два раза больше, чем всем нам вместе взятым. Ты же, деточка, в этой больнице так отошала. Ну, просто ходячий скелет! А была же – кровь с молоком.

Шлеймке работал и днём, и ночью, что называется, не покладая рук. Даже Эфраим Каплер смилиствился и не гневался на него за то, что стрёкот «Зингера» не даёт ему спать по установленному графику. Ведь у них такое несчастье! Лютому врагу не пожелаешь!

После Судного дня неожиданно-негаданно в квартиру Хенки и Шлеймке явилась престарелая домоправительница покойного Абрама Кисина поне Антанина с битком набитым мешком, завязанным бечёвкой.

– Поздравляю, – пролепетала Антанина фальцетом, надломленным глубокой старостью. – Давно собиралась к вам. Собиралась, собиралась, и вот, наконец-то собралась. Не раз корила себя: как тебе, Антанина, не стыдно перед людьми? Столько времени прошло, а ты до сих пор не передала им то, что оставила для них госпожа Этель. Надо же – всё у меня вылетело из дурной головы.

– Что вы нам не передали? – спросил Шлеймке.

– Ваша жена знает. Госпожа Этель перед отъездом оставила для вас два мешка. Вот этот побольше – с игрушками, а другой, поменьше, – с вещами.

– Мешок с игрушками? – вытаращился на Антанину Шлеймке, проработавший вместе с ней в доме покойного Абрама Кисина не один год.

– Да, с игрушками. А в другом мешке – костюмчики, штанишки и рубашечки Рафаэля. Этот мешок я принесу на следующей неделе, когда пойду к заутрене.

И подслеповатая Антанина стала по-старчески неторопливо развязывать бечевку.

– Чего тут только нет! – старуха с восхищением вынимала из мешка дары. – Целый магазин цацек и побрякушек из Франции, Испании, Германии, Латвии.

Обескураженные Шлеймке и Хенка грустно переглянулись. Видно, отшельница Антанина ничего про их беду не слышала.

– Возьмем? – чуть слышно спросил Шлеймке, и голос его дрогнул.

– Игрушки возьмём. Почему бы не взять. Я не суеверная, в

дурные приметы не верю, – на удивление твердо и быстро промолвила Хенка и повернулась к тугоухой домоправительнице Абрама Кисина. – Спасибо, поне Антанина! Мы сами пришли бы за ними. Вы уже и так за свою жизнь натаскались вдоволь.

– Что? – переспросила та. – С недавних пор я что-то совсем неважно слышать стала и почти всё забываю. Ах, эти годы, ах, эти летящие годы! Чего они только не делают с человеком! Портят слух, тиной глаза затягивают, ноги цепями сковывают. Шаг ступишь, и тут же ищешь местечко, где бы присесть. Беда на старости приходит в дом не гостьей, и не на час-другой, а хозяйкой и надолго, ох, как надолго! Гони её прочь, не гони, она всё равно не уберётся.

– Не знаю, как вас и благодарить, – растрогалась Хенка.

– Это не меня надо благодарить. А госпожу Этель. Она – ангел. Храни её Бог.

– И вам полагается спасибо, – сказала Хенка. – Игрушки ещё, я надеюсь, нам пригодятся.

Что он, Шлеймке, слышит? Игрушки ещё пригодятся?! Значит, несмотря ни на какие запреты Хенка снова решила беременеть! Назло судьбе, с риском для собственной жизни! Доктор Липский оказался провидцем: любящие женщины самоотверженны до безумия. Они готовы на всё. Их не остановишь.

Не прошло и полугода, как моя мама действительно второй раз забеременела и через то же самое кесарево сечение, в той же самой Еврейской больнице на сей раз, слава Богу, вполне благополучно родила живого мальчика и сама осталась жива.

Тем мальчиком был я.

Острая на язык бабушка Роха прозвала меня запретным плодом, но тильзитский «немец» рабби Элизер в середине июня 1929 года вписал в Книге судеб не моё прозвище, а два нормальных имени – Гирш-Янкл (Григорий-Яков). Второе имя должно было, видно, подстраховывать первое и отпугивать от него всякие болезни и несчастья. Увы, не все недуги и не все несчастья удалось отпугнуть.

Не удержал я, к сожалению, в своей плоскодонной памяти, какие заграничные игрушки, которые должен был получить в подарок мой старший брат Барух, достались по злой воле рока мне. Только отчётливо вижу самую притягательную игрушку, захватанную холёными пальчиками Рафаэля, – затейливую шарманку, которую Арон Кремницер привез своему наследнику не то из Парижа, не то из Берлина. У этой шарманки вся поверхность была покрыта блестящим лаком и разрисована потешными зверьками – лисицами, зайчиками, медвежатами и экзотическими кенгуру и пони. А сбоку – ручка. Покрутишь, бывало, её раза два, и

вдруг изнутри польётся трогательная, похожая на колыбельную мелодия.

Как ни странно, но эта диковинная шарманка чудится мне до сих пор, а её мелодия звучит в моих ушах. Её пронзительные, шелестящие, как листья, звуки, поныне обвевают мою густо засеянную сединой голову и уведут за собой на Рыбацкую улицу, в ту давнюю еврейскую Йонаву. Я сижу за компьютером и как будто не выстукиваю букву за буквой, а, как в непостижимо далёком детстве, кручу ручку той удивительной шарманки. Медленно, крупным планом, как в немом кино, перед глазами один за другим проплывают мои незабвенные земляки. Слушаю эту бесхитростную мелодию, и снова оживают, выстраиваются в один дружный ряд мудрствующие нищие и трудолюбивые портные, богатые меценаты и доморожденные, как мой дядя Шмулик, преобразователи мира, мечтавшие о свободе, о недостижимом равенстве и мифическом братстве. Вслед за ними к этой пестрой компании присоединяются «немецкий» раввин Элизер, нелюдимый гробовщик Хацкель, незлобивый страж порядка, любитель мацы полицейский Винцас Гедрайтис. Тот самый Гедрайтис, который не раз советовал пылким малограмотным перелицовщикам мира из бедных еврейских семей не обольщаться и не обольщать своих собратьев пустыми мечтами о земном рае по русскому образцу и вопрошал их на идише: граждане-евреи, зачем вам растрачивать своё время и силы на ремонт чужих порядков, на перелицовку чужой жизни или на короткие прогулки в наручниках по тюремному дворику? Не лучше ли чинить дырявую обувь, шить костюмы и пальто, лапсердаки и сермяги, брить и лудить, ставить в избах печи, покрывать черепицей крыши, и за это в Литве вам только спасибо скажут.

Увы, спасибо Литва не сказала, хотя большинство её граждан-евреев и вняло разумному совету стража порядка. Но это нисколько не изменило дальнейшую скорбную участь тех, кто этому легкомысленно поверил...

Куда же ты, скажи мне, шарманка-чужестранка, ещё меня приведёшь под свою незатейливую, щемящую мелодию? Куда? В сгнувшую школу к моему первому учителю, поборнику и радетелю идиша – Бальсеру; в местечковую синагогу, превращенную в заурядную пекарню, или на лысый пригорок, к безымянной могиле моего старшего брата Баруха, от которой не осталось и следа.

На этом вечном обиталище мертвых шумят только захиревшие сосны, чернеют растрёпанные гнёзда суматошных ворон и роятся воспоминания. Я стою под их палящими лучами и что-то в смятении шепчу дарёной шарманке, не переставая крутить

жестяную ручку, и медведи и зайцы вместе с лисицами, пони и кенгуру хором вторят моей неизбывной скорби и печали.

Воспоминания, воспоминания! Не они ли самое долговечное и живучее кладбище на свете?

Оно, это никем не охраняемое кладбище, нерушимо и нетленно. Его уже никому не удастся ни осквернить, ни растащить по камешку, чтобы построить для себя жильё, стены которого сложены не из кирпича, а из надгробных плит, исписанных древними письменами; по нему уже никто не осмелится пройти кованным солдатским сапогом, ибо земля там негасимым пламенем горит под ногами нечестивцев.

Да будет же благословенна память всех, мирно упокоившихся на этих, страшно вымолвить, уютных, обильно политых горячими слезами еврейских погостах. Мои навеки ушедшие земляки до сих пор принимаются отлетевшими от плоти голосами будоражить из-под безгласного кладбищенского дёрна притупившийся слух Господа Бога и пытаются с Его помощью пробиться к черствым сердцам живых, взывая к беззащитному добру и к убывающей с каждым днём справедливости.

апрель – октябрь 2010



Евгений Кузьмин

Ахерон (цикл рассказов)

Безвременье



десса. Ранняя осень. Солнце и приятная прохлада. И от этого возбуждение, ощущение возможности решить любую проблему. А ответы вдыхаются с воздухом. От них не хотелось запирается в глухое помещение. И я двинулся вдоль деревьев, поглядывая на море, раскинувшееся внизу. Недалеко от Шахского дворца я замешкался. Посмотрел на низкую часть псевдокрепостной стены, на лестницу, словно ожидая оттуда чего-то, отвернулся и взгляд мой встретился с добрыми глазами незнакомого старичка. Он пристально смотрел мне в лицо и слегка улыбался. Я почувствовал некоторую неловкость.

- Прошу меня простить, - деликатно отозвался старик. - Я вовсе не хотел вас беспокоить. Просто запомнил ваше лицо. Вы сидели рядом со мной на лекции архитектора Бесчастного.

- Возможно..., - я знал, что на меня все и везде почему-то обращали внимание. Теперь, же когда я пишу эти строки, это утратилось. Видимо, лишь с возрастом я впитал, абсорбировал обыденность.

- Вы не производите впечатления внимательного человека. Это понятно. Академическая рассеянность... Но не суть. Мне интересна ваша специальность. История.

- Ну, мне тем более, - я попытался шуткой сгладить ощущение нелепости происходящего.

- А ведь интересно прикоснуться к прошлому! Многим кажется, что там ответы на вечные вопросы. Впрочем, любая наука ищет ответы, но находит лишь мнения. А вы что, молодой человек, думаете на сей счет?

- Я болел этим, когда выбирал специальность. Но после испугался беспочвенности. Я люблю лишь факты.

- И как же их можно выяснять?

- Есть множество способов. Трудно в трех словах представить предмет в деталях... Все методы несовершенны... О прошлом человек знает немало. И пробелы стремительно

закрываются.

- Но настоящих ответов нет.

- Это зависит от постановки вопроса. Направление поиска задается субъективными установками. А что бы вы конкретно хотели разузнать?

- А вы бы не хотели прикоснуться к прошлому, вдохнуть его воздух, пообщаться с давно ушедшими людьми?

- Вы меня приглашаете на спиритический сеанс? Забавно было бы сделаться историком, получающим информацию не из книг, а непосредственно от давно умерших людей. Хотя честнее ли пришельцы из былых времен, чем наши современники? Если нет, то не вижу в подобных беседах никакого смысла.

Старик помедлил, не отводя от меня взора. В воздухе на какое-то время повисла напряженная пауза. Дотянув до нужной точки, мой неожиданный собеседник вдруг пустился в многословие. Он произнес монолог о том, что и вопросы и ответы, в сущности, ничего не дают. Мы не можем их связать воедино, в некую внятную цепочку. Мы выдумываем взаимодействие фактов. И это лишь наши субъективные построения. А объективная действительность слабо с ними соотносится. Нет понимания исторических законов. История не позволяет просчитать будущее. А значит, все наши представления о прошлом иллюзорны. Они являют нам лишь нагромождение фактов, сдобренные теоретическими измышлениями. А сами факты мы видим неверно, неполно, без запахов и вкусов, без ощущения контекста. А ведь именно эти детали и придают объем происходящему, наполняют его мириадами смыслов, оттенков, соединяющих мир, историю в единую цепь. Я робко пытался возразить – история важна для самосознания человека, а для предсказаний есть цыганки. Всего пять минут назад они пытались мне прорицать, а себе устраивать будущее. Это было здесь, в двух шагах, на Тёшином мосту. И даже их отчетливая и простая практичность обернулась ничем. А вы говорите о вещах невероятной сложности. Да, разумеется, удобную историческую, отличную от настоящей связь между фактами придумывает себе человек. Объективное же взаимодействие событий интересно лишь на столько, насколько его готово принять, ассимилировать наше сознание... Но мои увещевания оказались тщетными. Собеседник разгорячился и пламенно изрыгал слова, давно принятые им за абсолютные истины. Лишь в какой-то благодатный миг, когда мой мозг уже отказывался воспринимать интенсивную болтовню, он прервал буйные потоки речи и театрально громко, предельно внятно, с расстановкой провозгласил: "А вы бы хотели попасть в прошлое,

скажем, лет на семьдесят-сто назад?"

- Это та же современность. Разницы с нашим временем не так много. Дрянная политика. Я люблю античность, средние века...

- Вы бы там не прижились, - сказал он, пристально оглядев меня. - Люди так быстро меняются, что и вообразить себе трудно. У современного человека слишком мало стыковок с теми, кто жил столь давно. Посмотрите на старые, детские фотографии. Жизнь и ее интерьер меняются просто стремительно. А наш мир лет 1000 назад - это другая вселенная, непонятная, непостижимая.

- Хорошо. Ради науки будущего я готов слетать и в прошлое, - ухмыльнувшись, пошутил я.

Ирония бывает опасной, а глупые шутки, тем более, добром не заканчиваются. Как через много лет после этого события говорил мой шестилетний сын: "Папа, не смейся все время, а то вырастешь дурачком". Но тогда, возле Шахского дворца, моя тупая острота была воспринята моим (случайным ли?) собеседником с предельной серьезностью. Лишь я закончил ее бормотать, как раздался треск. Перед глазами, словно в поломанном кинопроекторе, задергались кадры... черный кадр... оп!

Я возле Дюка... Не понимаю, отчего могло произойти это смещение в пространстве. Из-за коварного осеннего ветра? Когда я летел во времени, то поток воздуха мог сместить мое тело в пространстве. Но ветер был с моря. А я двигался по его направлению. Впрочем, за целую эпоху, что я летел, ветер мог меняться самым неожиданным образом. Да и оказался я, кажется, в другом времени года. Похоже, была поздняя весна или раннее лето.

Все узнаваемо, но выглядит при этом несколько необычно. Глаз мой не наметан на поиск деталей окружающего мира. И был я чересчур возбужден. Так что не схватил я разницу рационально. Но самый запах воздуха был несколько иным... Пыли, что ли в нем было больше. Еще что-то похожее на аромат лука. Запечатлелось, что дома немного выше. Оглянулся, а лестница все кривая и покореженная, с выбоинами. Да и цвет другой... Так ведь она из мрамора! А внизу, на месте Морвокзала какие-то ангары, нелепые грязные строения. Я обернулся. Справа были какие-то навесы, что-то похожее на кафе. Даже не подумал, работает ли это заведение... А впереди Екатерининская площадь и все те же два старых здания, образующие как бы выход...

От неожиданного изменения обстановки я чувствовал себя неловко. Я огляделся. Много растерянных людей. Все как-то нервозны и озабочены. В целом лица какие-то другие,

непривычные. Иной тип. Мне было не до пристального их изучения. Но как-то подумалось, что люди в большей степени ориентированы вовне, больше озабочены своим видом, чем мы сегодня. Точнее говоря, они здесь, в прошлом, больше проявляют инициативу, выпячиваются, даже если хотят остаться незамеченными, в то время как мы, в наше время, стремимся "быть личностями" посредством полного слияния с ландшафтом. Поэтому люди там, что ли, ярче, разнообразнее, грубее, душевно сильнее, в большей степени хваткие, менее гибкие, но и более принципиальные, чем мы. Есть какая-то поза, стильность, нетривиальность в их движениях.

Все это пронеслось в моей голове с фантастической скоростью. Прошли считанные мгновения... И почти сразу я заметил, что некоторые прохожие как-то особенно всматривались в меня, некоторые даже показывали пальцами. В самом деле, одежда, общий вид у меня были необычными. Я слишком бросался в глаза. Лишь бы не встретиться с представителями власти или жуликами... Как историк я, очевидно, напротив, должен был стремиться к правителям, политическим деятелям, известным бандитам. Но что они мне все захотят сказать? Интервью мне точно не взять. Да если бы и удалось побеседовать с "выдающимися личностями", то что? Пересказ прокламаций и популярные устные переложения отрывков из собственных собраний сочинений? Гораздо больше можно узнать из личной переписки, воспоминаний, даже из художественной литературы.

Но нужно выбирать, убраться в парк, в подворотню, скрыться. Вперед! И я решительно двинулся в сторону Екатерининской площади. Не лучшее место, чтобы спрятаться... Но там город. Там будет видно...

Я прошел совсем немного, глянул по направлению движения... Присмотрелся... И, о, ужас! На площади колючая проволока! В центре памятник, завернутый в грязную, замызганную рогожу, увитый веревками, с какими-то болтающимися красными звездами. А слева солдаты мочатся в сторону улицы. Я не стал испытывать судьбу и изменил направление - пошел в сторону горсовета по Приморскому бульвару. Наверное, это было глупо. От людей нужно было скрываться с противоположной стороны. Я же тогда чисто инстинктивно двинулся подальше от кафе, которое было справа, а теперь осталось за спиной.

Везде чернели кучки оживленно говорящих людей. Я попытался затесаться в самую сомнительную из них, чтобы затеряться. Глупая идея. Нужно выбирать общество по себе. Но я

плохо соображал. В той экстремальной ситуации рефлексы определяли мое поведение. Это все моя проклятая скромность и боязнь профессиональной непригодности!

И вот... Скопление пьяных солдат, матросов, босяков. Толпа будировала... Или даже более того. Кто-то весь забинтованный, несчастный пробивался в центр. Бедный инвалид... Ой! Ну и ну! Да это же мой старинный знакомый! Мумия из археологического музея! Я видел ее много раз с возраста где-то четырех лет. А после она мне часто мерещилась в нишах коридора коммуналки по улице Садовой. Как же я сразу не признал этой физиономии, прекрасно знакомой мне и широкой муниципальной общественности! Однако публика оказалась непросвещенной. Многие стали возмущаться: "А это что за пережиток буржуазной медицины?" Или: "Тебе, брат, лечиться надо!" Но мумия гордо задрала голову, сделала широкий жест и разинула пасть.

- Нас тут за босяков держут! Кушайте, господа хорошие, фигу с гарниром из слез!

- А тебе-то что? - громко возразил кто-то, лузгая семечки.

- Я здесь, потому что шум восстания, сила народного гнева пробудили меня к жизни! - возразила мумия.

- Ша, бля! Это наш человек. Я знаю этого забинтованного товарища по "Мертвецкой", - по-военному поддержал оратора чей-то властный голос.

- Ты за кого? - понеслось по толпе.

- Я за Ленина. Он один по-настоящему из наших.

Так были установлены важные факты. И мумия приступила к агитации (как она сама выразилась, к "свободному полету моей методики"). К своему стыду, я мало что запомнил из ее рассказней. Слова мне показались лишеными рационального смысла, логической последовательности. Звучали фантастические инсинуации, низкая ругать, беспощадные проклятия на головы всех мыслимых и не мыслимых людей, на все народы, нации, на все классы и категории. То была эманация в слова абсолютных ненависти, презрения, боли. Присутствовало в речи и много личного. Помню, мумия рассказывала, как она была лишена возможности деятельности, самореализации, жирные обыватели тыкали в нее пальцами, а их детишки смеялись. Вшивые интеллигенты делали вид, что пытаются ее сохранить, заботятся о ней. Но это все чепуха. Мумия была уверена, что она - жертва всемирного заговора. Якобы, она нужна была толстосумам лишь для извлечения прибылей. Только поэтому смотрители денно и ночью оберегали ее.

Однако меня удивила реакция толпы на глупые завывания мумии. Люди светились от счастья, их глаза сияли безумным фанатизмом и радостью. Кто-то шумно плакал. Слушатели воспринимались как единый организм. Речь их объединила, дала им ощущение причастности, полезности или, точнее, бесполезности для стоящих рядом.

Потом я много размышлял об этом. Как логически бессвязные обличения, лишённые последовательности и следов здравого смысла могут воздействовать на толпу? Как, например, Гитлер, полнейшее ничтожество и неудачник повел за собой людей? Мне кажется, что он дал ощущение своего тождества толпе таких же несчастных. Он выразил все их отчаянье, боль своей жизнью, своей биографией, которую он смог прочертить в жутких проклятиях. Возможно, он умел ненавидеть жгучее, сильнее всех. А только это экстатическое богохульство и имеет смысл в данной ситуации. Потому что разум свидетельствует против таких ораторов и их слушателей. Ведь РАЦИОНАЛЬНЫЙ выход из бедственного положения - долгое и упорное самосовершенствование. Но не каждый готов это принять.

А тогда, слушая мумию, у меня прозвучали в сознании слова: "Отчаянье - это великий грех". Я закрыл глаза, готовясь к чему-то непостижимо страшному... Звуки таяли, пропадали... Казалось, я теряю сознание...

Я разомкнул веки. Предо мной стоял все тот же старик, с которым я беседовал о смысле исторической науки. А рядом Шахский дворец. "Ну, что? Я подбросил вам интересные материалы", - нелепо улыбаясь, сказал пожилой любитель истории. Я же в ответ покраснел и попытался поскорее с ним распрощаться. У меня было гадкое ощущение, словно я прикоснулся к чему-то бесконечно грязному.

De praestigiis daemonum, или книга Тота **Приобретение**

Я двигался сквозь Нахлаот. Это такой район Иерусалима с очертаниями, кажущимися аморфными. Возможно, Нахлаот и имеет четкие географические границы. Но мне он знаком больше как состояние неприкаянной души. Кажется, начинается он с базара. А где заканчивается, я не знаю. Он как-то неожиданно нахально врывается в пределы дорогой, благопристойной Рехавии. Районы непостижимым образом делят участки святой земли. Но результаты интересны только специалисту.

Старые арки позади рынка, а за ними тихие дворики с мирными незлобивыми мечтательными алкоголиками,

наркоманами и поэтами. Везде камень. Но вот и обрывок травы, подобие газона. Я, было, на него ступил, но опомнился и спросил женщину, настойчиво и неизменно назойливо рассматривающую одну, незримую для трезвого человека точку: "А здесь можно ходить по траве?" Пауза и вязкий, скрипучий, с оттенком удивления ответ: "Молодой человек, по траве не ходят, ее курят".

Все правильно. Мир нестабилен в точке своего возникновения. Есть некое горнило, центр всего сущего. И этот источник не вписывается в созданные из него рамки. Отчуждение. Плоть от плоти. Мой старинный друг, добрый интеллигент из Москвы, философ и врач по двум своим высшим образованиям, с неким своим знакомым латинистом три года готовились к вызыванию Сатурна, бога размеренности и стабильности. Но когда заклинания были прочитаны, мир за пределами магического круга поплыл, расплылся, утратил привычные формы. Горе-колдуны убоялись и затерли святые имена от греха подальше, лишь бы не вышло чего-нибудь такого, к чему они усердно и долго стремились. Этого они ожидали?

Я уселся на скамейку и приступил к ожиданию. Не то, чтобы я начал это только сейчас. Всю жизнь чего-то ждешь. А потом, не дождавшись, умираешь. Может оно и к лучшему.

Дело в том, что я заказал книжку у одного торговца. Он обещал мне ее доставить в этот, затерянный в центре города, дворик.

Книга... Всегда рассчитываешь в новом тексте открыть последнюю окончательную высшую истину. Это, вероятно, оттого, что я с детства привычен к некоторой труднодоступности печатного слова. А теперь, пожалуйста. Все и на любом языке. Открываешь и видишь новое частное мнение... Не более.

Но теперь, продавец печатной продукции обещал нечто особенное. Он утверждал, что достал знаменитую книгу Тота, часто упоминающуюся в древнеегипетских и коптских текстах. Якобы она содержит абсолютную мудрость.

Когда-то, в юности, я ошибочно считал позднеантичные тексты, включенные в так называемый "Герметический корпус", ставшие окончательно собранием, корпусом лишь в эпоху Ренессанса, идентичными этой самой легендарной книге Тота. Их недоступность наделяла их волшебными свойствами. Что можно было разыскать, кроме статей в сборнике "Мерз" и каких-то отчетов о научных конференциях? Зелинский. Его книга "Соперники христианства" имеет раздел о 'Герметическом корпусе'. Но сочинение было изъято из библиотеки Одесского государственного университета где-то в годы, непосредственно

следующие за Гражданской войной. По обычаям того времени книгу передали монастырю. Мне стоило немалых трудов несколько воскресений подряд охотиться на зрителя библиотеки, отца Тита, на узком пространстве между трапезной и кельей, в которой он спал в свободное от потребления пищи время. Все тщетно. Гермес ускользал от меня. Какой-то молодой монах, отметив мое нетипичное поведение, решил со мной заговорить. Не знаю зачем. Каждому свое. Но книгу я получил на одну ночь, вместе с кипой душеспасительной литературы, для равновесия. Равновесие нужно, чтобы не падать. А я запомнил монаха под именем Гермоген. Хотя, при этом уверен, что звали его иначе. Это какие-то мои образы, ассоциации, которые лишь путают. Важно, что через годы, уже в Израиле, я обнаружил разные издания и переводы 'Герметического корпуса'. Они были в свободном доступе в Национальной библиотеке. Я надеялся отыскать в них истину, но нашел лишь новую загадку без ответа. Хотя это всего лишь древние тексты, которые сохранились вне контекста своей эпохи.

А теперь в тихом Иерусалимском дворике ко мне подошли две странные личности. Но что меня в них удивило я сейчас уже и не помню. Может быть, их удивительное появление вместо моего старого знакомого. Так или иначе, они двинулись ко мне.

- Женья?

- Да.

- У Вити запой. Мы принесли вам книгу.

- А вы давно знакомы с Витей?

- Да. Можно сказать, с самого рождения. А он о нас не рассказывал? Я Дима Луцатто, а это, - он указал на своего приятеля.- Эдик Ариман.

Эдик Ариман был явно неразговорчив. Он только странно смотрел на меня, словно я ему что-то должен.

Но главное - приобретение. Обычная книга *in folio*. Переплет вульгарен. Твердый, картонный, блестящий. Какие-то яркие картинки на египетский манер. Я перевернул страницу и увидел лишь сплошные иероглифы. Но, возможно, то была иератика? Но не более того. Ни предисловия, ни послесловия, ни имени издателя, издательства, ни указания на тираж. Ничего.

- Вы читаете по-древнеегипетски? - обратился Луцатто.

- Нет. Я удивлен. Я надеялся, что здесь есть какой-то перевод.

- Священные книги не читают, на них молятся.

- Но зачем же нужны книги, из которых невозможно почерпнуть информацию?

- Вся информация уже содержится в вашей душе. Если вы будете спать с этой книгой, расположив ее у своего лба, то увидите во сне ее содержание в той степени, в которой оно должно быть вам открыто.

Тридцать шекелей не жалко отдать за святость. Что с ней делать разберусь потом. Напоминает мое давнишнее прикосновение к книгам Лосева. Они по-русски, но содержали столько неизвестной для студента младших курсов информации, что неясно как с этим всем быть. С этой лавиной невозможно спорить. Ее можно отринуть или принять в неизменном виде, заучивая текст наизусть. И учил, и зубрил. А потом нашел свой путь и все забыл. Единственное, что сбереглось в памяти - однажды, читая Лосева, я едва не опоздал на поезд. Но разве это существенно? Истина в вечности, где нет опозданий? Хотя, возможно, самое опоздание становится вечным?

Остаток дня пролетел незаметно. Хотелось лишь уснуть на старом, в определенном смысле вечном, Западе Востока. И вот...

Сон первый

Мерзкого вида старая злобная ведьма околдовала меня. Точнее я восторгаюсь ее красотой, ощущаю ее прекрасной, хотя разумом понимаю всю чудовищность ее уродства. Я не отдаю отчета своим действиям. Я полностью в ее власти.

Сон второй

Большой помпезный дом конца девятнадцатого века. Я торопливо подхожу к нему, все время пялясь в землю. Зачем я здесь? Над дверью огромное полотно, на котором написано: "Дурдом". Я вхожу. Внутри, напротив входа, стена и два пути в стороны, один налево, другой направо. Но ведут они в одно и тоже место. Я вышел в огромный зал. Для посетителей поперечный коридор, который вычленен из основного пространства деревянной сплошной балюстрадой, с вырезанными на ней, но не вмонтированными в нее колоннами. Она достигала приблизительно уровня живота-груди. Остальное пространство, за ограждением, разделено фанерными перегородками на множество небольших, одинаковых квадратов. В каждом квадрате находится по одному психу. Не от слова ли "Психея?" Все это сплошь люди с какими-то невообразимыми физическими уродствами. Мне неприятно глядеть на них. Я стараюсь не всматриваться. Вдруг один сумасшедший начинает на меня пялиться. Я прячу лицо в большой воротник своего серого пальто. Но через, буквально, секунду безумец направил на меня свой перст и неистово завопил: "Ты - Раскольников, я тебя узнал!" Меня охватывает ужас. Как можно было так глупо расколоться?

Сон третий

Пустынная зимняя ночная улица. Совершенная, непроницаемая, торжественная, интимная, волнующая абсолютная тишина. Лежит белый как сон снег. На нем фиолетовые отблески. Приподнятое настроение, щекочущее волнение. Но к чему? Я готов. Пощипывает морозец. Температура где-то градусов минус пять. От легкого ветерка слегка покачиваются фонари, болтающиеся на проводе большие лампы, в обрамлении жестянки. Висят они на черных деревянных столбах. Я выхожу на середину проезжей части, покрытой девственным снегом. Машин нет и не предвидится. Я пытаюсь летать. У меня не очень хорошо получается. Сам собой появляется некий человек, очень изящный, одетый очень театрально, в черное и красное, на плечах плащ, на голове берет, на ленточке висит шпага. Я понимаю, что это Люцифер. Никакого удивления. Это было ожидаемо. Также мне ясно, что если бы кто-то появился на улице, то он бы увидел только меня. Люцифер был невидим для посторонних, но мне он явился не как дух, прозрачный призрак, а как вполне материальный субъект. Он обучает меня летать. Это дается мне легко. Я вовсе не боюсь высоты. Ни с чем несравнимая радость полета.

Иллюзия пробуждения

Я проснулся в полной уверенности, что пошел снег. Но стоял жаркий иерусалимский день, который, впрочем, не мог меня переубедить в реальности моей иллюзии. Я мучительно пытался вспомнить, действительно ли я научился летать или мне это лишь приснилось. Слишком уж все явственно для сна. Пробовать мне не хотелось. Для этого было слишком мало времени. Ведь летаю я все равно медленно и плавно. В любое место я смогу быстрее попасть пешком. А дел много. Следует торопиться.

Но важно другое. Мне казалось, что я смогу по-новому организовать свою жизнь. Мне лично ничего не надо. Мне важна цель, а не череда событий. Но мной полностью владела мысль, что если я займусь магией, то сумею обмануть Сатану. Я овладею его приемами для борьбы со злом. Это глупо. Идиотизм. Но вся наша жизнь - это нелепость. И лишь безумные идеи наполняют ее смыслом. Но они не могут исправить зла. Зло порождает лишь зло, но не добро. Но одержимость новым, энтузиазм не позволяют мне признать очевидное, то, что я прекрасно понимаю. Безусловно, Луцатто и Ариман хорошо об этом знали... Теперь, конечно, сон стал явью, но и явь, при этом, стала сном. Существование вне грез утратило яркость и смысл.

Круги на воде

*Возраст кирпича определяется по кругам на воде,
вызванным падением этого самого кирпича в воду.*

Народная примета

1. Кирпич номер 1.

Известная своей оголтелой ролью в местном литературном сообществе Серпантина Ивановна Кудряшова, слегка подергивая узким носом, брезгливо повертела длинными крючковатыми пальцами тетрадку с моими рассказами и определила направление дискурса:

– Великое это изобретение, бумага. Трудно себе даже представить чем люди раньше подтирались. Пергамент не обладает необходимой гибкостью, а папирус, я полагаю, жутко кололся.

– Мне не хватает жизненного опыта. Все понятно.

– В некоторых странах его и сегодня можно наработать.

– Обычно люди делятся на тех, кто гоняется за опытом и на тех, кто живописует истинны в закрытой комнате. Это разные типы людей...

Серпантина Ивановна на последнее заявление ответила лишь презрительной усмешкой. Зачем я вообще оправдываюсь? От этого только хуже. Оправдания доказывают слабость и являются провокацией, призывом к дальнейшему подавлению. То есть эффект абсолютно противоположен цели. Жертва всегда сама идет на заклатие, провоцирует своего обидчика. И ладно.

Я вовсе не расстроился словам Кудряшовой. И моя самонадеянность имела свою историческую подоплеку. Когда-то в 1980 или 1981 моя мама со своей сестрой, моей тетей, искали в магазинах приличное пальто. Невозможно даже вообразить в большей степени бесполезного занятия. Что было реально в ту эпоху обнаружить в магазинах, кроме хамства? Благо, за него хоть денег не просили.

В одном из магазинов, кажется, в ЦУМе, к ним подошла импозантная женщина с большими и печальными темными глазами: "Вы не пальто ищите?" В самую точку! Троица отошла в сторонку, завязалась торговля. Долго не могли договориться. И, в конце концов, сошлись на том, что женщина с выразительными глазами, в качестве довеска к пальто предскажет судьбу моей маме, тете и их детям. "Я боюсь этой силы, в ней великий грех", - вовсе не набивая себя цену, а скорее оправдываясь сама перед собой, лепетала "гадалка". Зачем это нужно было моим родственникам? Сейчас трудно сказать. В предсказания они тогда не верили. Очевидно, им хотелось маленьких "буржуазных развлечений" на

сером и беспросветном советском фоне. А тогда, среди скучных слов, произнесенных тайком, мне предрекалось великое будущее.

Впоследствии, я случайно услышал эту историю и свято уверовал в ее правдивость. Потому что так мне хотелось. Да и нехорошо жить без веры.

2. Кирпич номер 2

Есть очевидная разница между предсказанием и откровением. Одно вовсе не подразумевает другого. Так не сбылось пророчество библейского пророка Ионы. И это Иону расстроило. Он передал слова Бога о страшной каре. И что? Люди исправились, Бог их простил. Формально, в словах не было лжи. Ведь помилование раскаявшимся подразумевалось. Но авторитет Ионы как прорицателя был подорван. И все же, Иона - известный пророк, сообщивший божественное откровение, но не сумевший предсказать будущее.

Знание будущего не идентично знанию истины. Иногда между двумя знаниями нужно выбирать. Но мне хотелось остановиться на том, что тешит мое самолюбие. И независимо от соответствия реальному положению вещей, этот выбор заставляет работать, будоражит кровь, влечет вперед. А сверхъестественное проникает в сознание, становится доминантой установкой... Оно было в начале, у основания порывов, оно же определило веру в будущее.

Духи помогут. Они дадут ответ. В спиритических сеансах я участвовал еще в довольно юном возрасте. То было популярное занятие среди детей в пионерских лагерях или просто вечерами в компании друзей. Но теперь общение с потусторонним приобрело систематический характер. Я вращал блюдце практически каждый вечер. Компания призывавшихся обитателей иного мира менялась. Но особое внимание я уделял классическому духу российского спиритизма, Александру Сергеевичу Пушкину.

Я грезил получением некой сверхинформации, которая одарила бы меня властью над элементами, обеспечила бы меня материалами для гениальных произведений. А духи ломались как стыдливая барышня или бесстыжий телевизор. Да и я ведь знал ответы, но не находил вопросов. Причина тому - фантастическая уверенность в высшей миссии. Если духи подтверждали мои идеи, то это казалось банальностью. Если опровергали, то я считал их обманщиками.

Но, вдруг, однажды, произошло необыкновенное развитие событий. Хотя стремительным его, возможно, и не назовешь. Как и все реальное. Жизнь в бегах с автоматом случается только в глупых фильмах.

Началось все, пожалуй, с одной беседы. Я был в гостях у моего знакомого антропософа Святослава. Он был душой компании. Образцовый человек тех перестроечных лет, наполненных честными, бесстрашными разговорами на любые темы.

Святослав поддерживал свое щедрое тело лишь хлебом и чаем, расходуя все свои немаленькие доходы на книги. Его библиотека знатна, поразительна. Она содержала всевозможные дорогостоящие раритеты. Любопытно, что воры к нему проникали неоднократно, все переворачивали, но ничего не брали. Видимо, они располагали информацией о заработках хозяина квартиры, но ценностей, кроме книг, в доме не было. А воры ничего не смыслили в букинистике.

В тот день у Святослава собралась изрядная компания последователей Рудольфа Штейнера и просто любопытствующих. А я заговорил о спиритизме. На меня обрушились возражения: с душами умерших нет общения, они ушли, остались фантомы, не сохранившие основ человеческих личностей, а еще можно общаться с низшими демонами, от которых ничего хорошего ожидать не следует. Далее пошли многочисленные ссылки на Рудольфа Штейнера и на его предтечу, Елену Блаватскую.

В какой-то момент, долго ёрзавший на стуле Святослав, выскочил из-за стола и бросился в соседнюю комнату. Несмотря на громкие увещания антропософского сообщества, было слышно, как он роется в бумагах. К нам он вернулся с каким-то коротким машинописным текстом, в несколько листов, сочинением Штейнера на обсуждаемую тему. Работа была мне подарена, хотя тогда любая подобная печатная продукция была в большой цене. Однако все это лишь убеждало меня в правильности избранного пути. В самом деле, какое мне дело до статуса демонов и до личностей умерших? Мне любезны собеседники из другого мира, неслыханные тайны (пусть и ложные), громы и молнии. А если мне хором возражают самые разные люди, значит мое мнение особенное, неординарное, отличное от общепринятого. Значит я не из стада, не из толпы, а "право имею".

3. Кирпич номер 3

Я тщетно пытался читать сочинение Штейнера в троллейбусе. Мой мозг отказывался усваивать очень простой и ясный текст. Подташнивало, кружилась голова.

Уже возле дома мне встретился знакомый художник. Он экзальтированно заговорил о мире духов, о добрых ведьмах и злой инквизиции, о подлости Бога и печальном благодетельстве Сатаны, то

есть о разных штампах массовой культуры. Я в душе посмеивался над этой его зависимостью от дешевого кино и не очень мудрых книг. Хотя я и сам пребывал всецело во власти массовой культуры. Тогда как раз вульгарные представления о духовном были доминантными как никогда. Ведь им в то время противопоставляли еще более глупые и вульгарные советские коммунистические штампы, в которые уже никто не верил. Собственно, тогда дело дошло до того, что уже и идеологи редко читали классиков марксизма-ленинизма. Да и как мог скучный партийный функционер или герой-колхозник противостоять Фредди Крюгеру? Разве писульки зажавшихся интриганов от литературы способны конкурировать с изяществом Эдгара По и Валерия Брюсова? Амулеты и заклинания в этой ситуации были полезнее и эффективнее всех сочинений Брежнева.

Так или иначе, вскоре выяснилось, что мощные словесные потоки знакомого художника - только предисловие, только оправдание личной прощбы. Он знал про мои спиритические увлечения и желал присутствовать при вызове духов. Я сомневался. Духи являлись ко мне регулярно. Я с ними общался ежедневно и не только во время сеансов. Они снабжали меня всякой информацией, в том числе о грядущем, о каких-то мелких тайнах моих знакомых. А я пользовался своей осведомленностью. Так что у меня была некая слава мелкого волшебника-чудодея местного значения. Я, конечно, не выделял фокусов, о каких в то время много врал по телевизору. Но все же... Для начало неплохо. И вот теперь я испугался - что если духи не явятся? Как это скажется на моей славе? Но отказать другу я не мог. И с сердцем, переполненным опасениями, я дал свое согласие. Мы договорились на вечер следующего дня. Пусть.

После я старался не думать о предстоящем сеансе. Хотелось избавиться от лишнего, сохранить силы, дабы показать себя во всей горделивой магической красе. А духи ломались ко мне. Всюду летали какие-то сущности фиолетового цвета, напоминающие небольшие летающие тарелки с хвостиками вниз, 5-10 сантиметров в длину. Они появлялись ниоткуда. Пролетали какое-то расстояние и исчезали. Меня кто-то постоянно звал. Я оборачивался, искал источник голоса. Но все тщетно. А между тем голос был слышен совершенно отчетливо и ясно. Его было трудно приписать воображению.

Но я был непоколебим. Для шоу нужны силы и невозмутимость духа. Только бы все прошло благополучно.

4. Кирпич номер 4

Все шло привычно. Вопреки всем опасениям, посторонний, то есть напросившийся художник, не мешал мне сконцентрироваться. Он не болтал, не вмешивался, но только спокойно сидел, сосредоточено всматриваясь и вслушиваясь. Даже отказался класть руку на блюдо. Так что я быстро привык к зрителю. Точнее, я попросту забыл о его существовании, спокойно занимаясь вызыванием, не отвлекаясь ни на что. "Дух ты пришел?" Ответ положительный. Отлично. Шоу обеспечено.

Начало банально. Духи классической истории и литературы давали глупые ответы на дурацкие вопросы. Умные вопросы попросту не придумывались. Изобрести интересную проблему - путь к ее решению. У того, кто не умеет искать мудрых ответов, откуда у него опыт и знания для достойных внимания вопросов? Но не в этом суть. Не в словах. Главное, я велик. Я проник в мир иной. Духи охотно общаются со мной. Они нашли меня достойным.

В какой-то момент, блюдо задвигалось не как для ответа на вопрос. Впрочем, возможно, я уже позабыл детали. Допуская, что какая-то провокация с моей стороны имела место. Но последовательности я уже сейчас не помню. Все произошло как-то слишком неожиданно. Ситуация была новой, непредвиденной. А я испытал потрясение и растерянность.

Итак, "дух Пушкина" сообщил, что я ошибаюсь относительно его личности. Собственно, все призываемые мной на спиритических сеансах персонажи - фальшивки. Под личиной каждого из них мне является один и тот же обитатель мира теней, с которым я сейчас и имею честь вести беседу. Он совсем не дух мертвого. Он демон, возвышенный и гордый, могущественный и великий. И пора бы мне это понять. Я должен отказаться от всяких глупых кривляний и ложных имен. Есть простое и ясное заклинание, которым может быть вызван общающийся со мной демон: "Аура Бегемот".

Потом, уже на следующий день, меня забавляла краткость и нелепость заклинания. Но тогда я был потрясен и сражен. От двух простых слов веяло холодом и ужасом... и темной радостью. Вот так успех! Со мной приятельствует демон, сам указавший как его призывать!

Впрочем, я также был крайне растерян. Я не знал, что ответить демону и постарался поскорее распрощаться с ним. До скорого. Я уповал на стремительное развитие событий.

Отправив духа домой, я обернулся к знакомому художнику: "Видел! Видел!" Но тот крепко спал в сидячем

положении.

Я насилу растолкал художника, который теперь выглядел очень подавленным и растерянным: "Не знаю, как такое могло случиться, я совсем не хотел спать, накануне я специально хорошо выспался и отдохнул". Ему было стыдно и неудобно. Он постарался поскорее распрощаться и уйти.

Мы открыли дверь. Возле нее, с внешней стороны, лежал огромный слизняк, словно он шпионил за мной, подслушивал. Как он сюда попал? Просто немыслимо! Да и размеров он был необычайных. Никогда раньше я не видел таких крупных слизняков.

5. Кирпич номер 5

Внешне словно бы ничего и не было. Обычными будничными делами я занимался в привычном масштабе и режиме. Не сошел на нет и мой постылый досуг. Я ходил в гости, в театры, читал и рассуждал. Но вся деятельность была подчинена вечерним общением с демоном. Собственно, он распространил свое влияние на всю мою жизнедеятельность, активно раздавая советы, что я должен делать и что не должен. За невыполнение он грозил мне разными жуткими карами.

А я слушался. Не из-за боязни, а дружбы с демоном ради. Что будет, если он меня оставит? Ведь он главная моя связующая нить с иными мирами. Он своими проявлениями доказывает действенность и реальность магии.

Полезность была сомнительной. Нет. Не так. Скорее, вред от моего общения с демоном проявлялся со всей очевидностью. Я худел и бледнел. До болезней, серьезнее, чем простуда, дело не дошло. Но я был очень здоров от природы. Это, кажется, выручало меня тогда.

Советы, указания и пророчества, изрекаемые мне демоном, все сплошь крайне простые и недостойные внимания. Он советовал не пойти, скажем, сегодня в театр. Обещалось, что я познакомлюсь с прекрасной дамой, либо услышу музыку, которую раньше не слыхивал (хотя я всегда твердо знал, на что хожу), либо получу откровение, которое перевернет всю мою жизнь (хотя она и так катилась кувyrком). А, бывало, демон советовал не идти, потому что мне балкон упадет на голову, меня задавит автомобиль, покусает бродячая собака. Мой духовный покровитель вмешивался и в вопросы питания, одежды, музыки, литературы и живописи. Он себя позиционировал универсальным специалистом по всем проблемам. Я же ему иногда отправлял просьбы - писал на небольших листках бумаги, потом их аккуратно сворачивал и сжигал.

Парадоксальным во всей этой истории было то, что все утверждения демона оказывались ложными. Какому бы его указанию я не последовал, я обнаруживал ошибку. Его пророчества не сбывались с завидной регулярностью. Я долго сносил это, видя причину ошибок в своем недостаточно точном исполнении указаний демона. Ведь всегда есть какая-то маленькая деталь, которая специально не оговорена и приходится самому принимать решения на свой страх и риск. Но все же в какой-то момент меня начали мучить серьезные сомнения. Я решил устроить демону экзамен, убедив его сообщить мне выигрышные номера в Спортлото. Моя просьба была удовлетворена. Я заполнил билет... и проиграл. Демон объяснил: он солгал, чтобы спасти меня. Истинному магу нельзя концентрироваться на материальных выгодах. Демон посоветовал мне все время думать лишь о вещах духовных.

6. Кирпич номер 6

Связь с внешним миром терялась. Многие проблемы, если не большинство, можно с легкостью разрешить, задумавшись о ситуации и правильно ее оценив. Я же перестал думать о простой реальности. И со временем простые навыки адекватного реагирования на обстоятельства утрачивались. Вместо простого размышления о себе, о людях, которые меня окружают, я обращался к демону. А демон лгал.

Я чувствовал - происходит саморазрушение. Я бы оставил общение с демоном, да уже не мог. Сложно в одно мгновение расстаться с тем, что уже составляло саму основу существования, костяк, базу всех рассуждений в течение последнего года. Целого года. А ведь мне с детства твердили о ценности времени. Музыкальную школу, вуз необходимо закончить только к определенным годам, успеть вырастить сына, посадить дерево и тому подобное. Важно еще все время посматривать при этом на часы. Как можно просто выбросить в корзину проделанное за год?

Между тем, демон подчеркивал духовность, уходил в теоретизирования и создавал ощущение приближения ответственного момента. "Сейчас-сейчас, еще недолго осталось" - все время звучало в моей голове. Постоянное волнение и предвкушение главного момента в моей жизни заполнило все мое существование.

И вот однажды, демон создал ощущение праздничной торжественности. Он говорил с пафосом, поэтично, но настойчиво, окружая любое утверждение намеками и недомолвками, провоцируя мое любопытство. Так что к главному наказу он подвел меня осторожно. А я был готов принять любую

глупость за откровение. И таковая последовала. Демон повелел мне отправиться ночью на кладбище, где я полностью избавлюсь от всех страхов, получу окончательное знание о том свете и стану абсолютно духовной сущностью. Наткнувшись на мои колебания, он принялся меня высмеивать: "Разве трусу дано повелевать миром духов? Разве страшится спирит душ умерших? Разве боится истинный рыцарь духа материальных угроз". Нет, я, пожалуй, и не испугался. То был не страх. Просто жуть и мрак в глазах. Я ощущал всем телом и душой, что если пойду на кладбище, умру. А если не пойду? Буду трусом. Зачем тогда вообще жить? Выживу - хвала мне. Умру - хвала мне. Какая разница жить или умереть? Все мы не вечны. Рано или поздно все мы там будем. Все равно когда именно это случится.

7. Кирпич номер 7

"Принять послушание" - таков мой выбор, неизбежно вытекающий из всех действий и мыслей последнего времени. Поэтому с наступлением сумерек я отправился на кладбище. Было до крайности, непереносимо жутко - поразительно, неожиданно для меня самого. Откуда этот ужас? Ведь я уже давно старался проникнуть в мир мертвых. Страх смерти? Но что мне до нее? Все равно я уже давно живу между мирами. Погибнув, я, наконец, смогу пристать хоть к какому-нибудь берегу.

Спускался туман и в нем окончательно утрачивалось чувство реальности. В сознании мелькали картинки из фильмов ужасов, которых я немало посмотрел на видео. И я твердо решил не сходить с центральной аллеи. Не хотелось спотыкаться, набивать шишки и синяки. Пусть я умру, но только не инвалидом.

Шорохи, шорохи, шорохи. Непостоянные, редкие, короткие. Они поражали сердце как выстрелы. Словно кто-то пытался прошептать: "Все, вот твой конец". Но... Шорох затихал, и ничего не происходило. В этом отсутствии развития событий я обнаружил ужас постоянного ожидания. Я пришел умереть. Так что в спасение я не верил, где-то в глубине душе, все-таки, надеясь на него. От предвкушения самого последнего момента исходил животный страх, который никак не удавалось одолеть.

Сознание захватывала неведомая молитва, придуманное, спонтанное обращение к Богу. Я хотел ее подавить, вытеснить, - ведь я служу Дьяволу, - но не мог. Душа металась в бреду, утрачивая самоконтроль. Где-то завывла собака. Внезапно. В сердце екнуло. И опять ничего.

Восприятие становилось все более мутным. Фантазия перемешала субъективное с объективным. Здесь и там мне виделись огоньки. Но я уже не мог понять существуют ли они вне

моего сознания или являются лишь плодом моего больного страхом воображения. Я стал оборачиваться на какое-то движение. Я улавливал боковым зрением какие-то фигуры, тени. Но стоило мне к ним повернуться, как они исчезали. А я видел лишь какие-то заросли и могилы. Иногда растения покачивались и я думал: "Вот куда скрылся мертвец".

Со временем я свыкался с обстановкой. На душе становилось спокойнее. И я стыдился такой перемены. И пришел в место ужасов. Здесь положено бояться. Но страх оставлял меня. А я все бродил. И так, к моему удивлению, встретил рассвет. Я жив. По сути, ничего не случилось.

8. Круг замкнулся. Рябь на воде

Так возникла серьезная, хотя и вполне традиционная для русскоязычного человека проблема - "Что делать?" Мир колдовства стал моим миром. Я так вжился, так влился! Мне некуда идти... Но нужно. Возврата нет. К знакомому демону я больше не обращался. Хотя и находился все еще под влиянием сил ада. В моей комнате сами собой падали предметы, раздавались стуки непонятого происхождения, летали фиолетовые фигуры. Иногда в углу я видел черта, зеленого, на троне, словно нарисованного акварелью. Он пытался дать мне какие-то распоряжения. Но я начал молиться. И, в конечном счете, все постепенно, пусть в течение длительного времени (где-то года или двух), но прошло.

Однажды я рассказал эту историю знакомому экстрасенсу, уповая на какое-то напутствие. А он дал сомнительное объяснение произошедшему. Ведь мы, на самом деле, ничего толком не понимаем, не знаем и не можем знать. Так что любые мнения носят условный, относительный характер.

Экстрасенс порадовался за меня: не каждому удастся избавиться от занятий магией. Это засасывает как болото, а итог - гибель.

- Ты словно бросаешь камни в воду, не понимая, куда полетят брызги и какими будут круги. А вода все мутнее, все неспокойнее. Получается, ты как бы строишь из этих камней нестабильность, заканчивающуюся катастрофой.

- Но почему же Дьявол так посмеялся надо мной. Или не посмеялся? В чем смысл всей этой идиотской истории? - вопрошал я.

- Дьявол может воздействовать на человека изнутри или снаружи. В его власти истреблять людей, подослав убийцу, кирпич с крыши, направив пьяного водителя. Но так он уничтожит лишь тело, но не душу. А ты давал ему возможность овладеть тобой.

Точнее, открыто демонстрировал свое желание передать Нечистому свою душу. Однако Дьявол не мог сделать тебя своим слугой. Ты слишком добросердечный. Поэтому тебя так просто не отбить у Бога. Единственная лазейка - зацепиться за твою гордыню и уничтожить тебя через нее. Дьяволу следовало спешить, чтобы не потерять тебя однажды. Однако он не успел или вообще не умел овладеть тобой в достаточной степени для твоего истребления изнутри. А, как ты понимаешь, убей он тебя извне, он бы не получил твою душу.

– Ммм.

– Помнишь историю Иштар и Гильгамеша?

– Смутно. Я читал этот текст. Но мало из него вынес.

– Там Иштар тщетно стремилась овладеть Гильгамешем.

Не подобравшись к его внутреннему миру, в гневе она насыпает на него убийцу-быка извне. Гильгамеш оказывается сильнее. Действие богини не приводит к гибели героя. Поэтому Иштар убивает лучшего друга Гильгамеша, Энкиду. Почему его? Ты не задумывался?

– Действительно. Странно. Иштар борется с Гильгамешем, а уничтожает Энкиду.

– Потому, что душа Энкиду была в ее власти, в отличие от души Гильгамеша. Энкиду жил с проституткой. А Иштар - богиня женщин легкого поведения. Умирая, Энкиду осыпает свою сожительницу проклятиями, понимая причину своей гибели.



Нина Горланова, Вячеслав Букур

Рассказы на голоса

Геополитический принтер



ень был трижды хорош.

Во-первых, хмельной сосед не стучал к нам и не кричал: «Я вас разбомблю!»

Во-вторых, врач-травматолог, которую две недели вызывали, твердо обещала прийти.

А в-третьих, ММ., ТТ и ПП, сговорившись по интернету, решили купить нам лазерный принтер. И вот деньги пришли из Нетании (а из Парижа и Москвы еще ранее).

Мы разнежено готовились к приходу врача: к фиалкам обратились с просьбой расцвести, по стенам набили гвозди в изысканном беспорядке и повесили картины, то есть рыб, ангелов и те же самые цветы.

- Нина, а в красной раме, что за динозавр в очках?

- Не смей! Это Бродский!

И тут влетает фотомодель с дымчато-виноградной кожей. Посмотрела на картины – и у нее сразу запотел пушок над верхней губой.

- Вячеслав Иванович, когда вы прооперированы? Почему в карточке нет копии выписки?

- В регистратуре нам не сказали, чтоб мы сделали копию.

- Я в регистратуре не работаю. Эти претензии не ко мне.

- Дело в том, что мы тоже там не работаем.

- Вдруг врач-фотомодель так начала красиво, значительно пресмыкать шей.

- Тогда почему вы не оставили оригинал? – спросила она.

- Он нам нужен, без него в самолет не сядешь. Ведь титановый сустав – это металл.

- Вы что, на самолетах собираетесь летать? – нежно засмеялась фотомодель травматолог.

Она кидала вокруг краткие взгляды, как будто мелко клевала: как это без штор и без люстры летать? Она еще раз нежно засмеялась, а мы заспорили: да, представьте себе, собираемся

летать: пен-клуб вот приглашает в Израиль, мы мечтаем ко гробу Господню...

- Как некрасиво вы себя ведете, - удивилась травматолог.

- Нет, вы некрасиво.

- Нет, вы.

- Нет, вы!

Она посмотрела на часы и скороговоркой сказала:

- Принимайте твердые сыры: в них кальций, чай подкисляйте лимоном, и мед. Ходите строго на костылях.

Как всегда после визита врача, мы окончательно разболелись. Лежали и смотрели на фиалки, а фиалочки рады бы помочь, да у них нет ни идей, ни денег – один только фиолетовый мохнатый взгляд.

Вечером пришла младшая дочь – она весь день искала работу. Устала, думала, родители поддержат, а они тут разлеглись.

- Что случилось? Папа, ты же утром был на ногах, в поисках носков бормотал: «Выходите, если вы мужчины»!

И принялись мы рассказывать ей про врача все в лицах:

- Она вся - эрос до космоса...

- И думает: зачем такие живут.

- Ну, мама, ну ты сама говорила, что врачи мало получают, поэтому тянут энергию с пациентов.

Мы замолчали. Тогда Агния решила порадовать нас письмами от друзей и открыла электронную почту.

- Вас так все любят!

- Неужели выдвинули на премию?

- Какая премия! Лучше! Опять пришло предложение купить яхт-клуб!

- О, яхт-клуб - мечта всей жизни!

Сначала врач, потом эти спамы. Конечно, правда так и полезла из нас, все сжигая.

- Напишу сейчас же всем, что не собираюсь я покупать этот принтер!

- Лучше диван купить.

- А ты, Слава, только о диване и думаешь!

- А ты носишься тут всю жизнь, не даешь мыслям собраться!

Тут судьба послала нам Р.В. с пачкой листовок и пачкой печенья. Как всегда, мы обманулись его человекоподобием и усадили пить чай. Мы знали, что он обижен на весь мир, как всякий революционер, но откуда они все, профессиональные

разрушители, берут каменные лица, которые надевают на свою обиду?

Поев его печенья, мы вынуждены были его послушать. А он говорил:

- Наш антиглобалистский комитет приглашает вас на пикет. Сколько нас эта Америка может иметь.

Ну, мы доели это прекрасное рассыпчатое печенье с прослойкой ежевичного варенья, а потом ответили:

- Мы сами себя каждый день губим. Где ты видишь Америку? К нам приходила травматолог и вдребезги разнесла все наши мысли и чувства и сидит теперь в наших головах и точит, точит, все превращая в труху.

Вдруг камень лица Р.В. размягчился, порозовел от счастья, что он может нас просветить:

- Ведь тот факт, что врачи мало получают и злобствуют, также обусловлен геополитическим влиянием США. Им нужно, чтобы Россия вымерла...

От этого головоломного выверта мы пришли в себя, как от нашатыря:

- Ленин дурак, и вы все такие же.

И даже не нужно было указывать на дверь, Р.В сам убежал, еще более закаменев лицом.

Затем пришла соседка, укоряя, что кто-то украл лампочку на площадке. Мы молча ждали ее ухода.

- Вы что, стыдитесь своей бедности? – оживилась соседка. – Ведь это горды-ыня.

Наша соседка всегда говорила правильно, но почему-то после ее ухода хотелось лезть на стенку.

- Зато мы с тобой лучше всех, верно?

После этого мы два часа смеялись.

После этого зять два раза подвозил свое вишневое вино, но его не хватало на разгорание любви внутри. Но чтобы стать добрее, нам хватило.

А ведь кто добрый, тот может и соврать. Напишем, что купили принтер! Зачем огорчать друзей. Вот узнать бы, что такое они пьют, что всегда всех любят, в том числе и нас уже много лет

- Давай все-таки бросим монету: врать – не врать?

- Нет, монета - это какое-то недоверие к дружбе. Друзья – они ведь все поймут.

- Зачем же врать? Правда, только правда! Там от Мишиного вина что-то осталось?

Приехала средняя дочь Даша и стала увещевать нас: сколько можно лежать, вы ведь еще не в лагере, ничего уж такого

страшного не случилось!

- Случилось! Мы оба на пенсии, люстры нет...

- Так спустимся и в соседнем доме все купим! Там сейчас семь магазинов.

- Нет, уже восемь.

И мы встали, взяли принтерные деньги... Да как начали покупать мед, твердые сыры, постельное белье, люстры, шторы...

Когда пришли домой, Даша открыла электронную почту и сказала:

- Тут вам банкеты предлагают – на 400 человек.

- Маловато будет.

Октябрь 2005 г.

Моя страна Эроссия

Рассказ на голоса

О ком сейчас пойдет речь? Мы здесь ее называем Петровская.

Вячеслав. Позвали нас больше чем в Москву – в Переделкино. Воды там не было, пахло в нижнем регистре...

Нина. Но зато был необыкновенный доклад Фотины «Гендер и культура». Он такое сильное впечатление произвел, что я забыла суть его.

В. А меня ты не забыла?

Н. Ну что ты говоришь!

В. Значит, я все еще слабое впечатление произвожу.

Н. Когда шли к Пастернаку, то жались к заборам, потому что новые русские летели в своих потусторонних машинах. Вот вам и Переделкино! Но храм поверженный – всё храм...

В. Известный культуролог – назовем его Ночевым – шел и кланялся деревьям.

- Смотрю на корни, - шептал он, - склоняюсь. Смотрю на вершины – возношу лицо к небу. Это моя родина – Эроссия!

- Давайте не будем, - откликнулась Девушка с мослом из Челябинска. – Мы куда шествуем! Вдумайтесь – к Борису Леонидовичу.

(Ночев развернулся и ушел готовить выступление. Уж слишком горячо его просили выступить, он был тронут).

В. Икарус-гармошка, поворачивая, ударил по луже так ловко, что брызги грязи попали мне прямо в губы. Не выше, ни ниже. Это был поцелуй самой Весны!

Н. Петровской с нами еще не было. Но мы предвкушали вымечтанную встречу. Так, размечтавшись о встрече, я нечаянно села в гостиной на место Пастернака, экскурсовод три раза сказала: «Вот он – показав на аравийский профиль на стене – на

этом самом месте, где вы сидите, говорит тост за великую русскую литературу, после получения Нобелевской премии...»

В. Экскурсовод была подобрана как раз такая, в духе любимых женщин Бориса Леонидовича, - пышная. С нею могла соперничать только Лифчик - автор «Записок на комбинашке».

Н. Прожив за два часа жизнь Пастернака, все были истощены, хоть и бодры. Не шутка – жизнь гения, хоть и в фрагментах, через себя пропустить! Побежали-поползли в столовую. Поели, и довольство разлилось по всем организмам, украшая их. Последние силы всегда оказываются предпоследними! А почему с нами до сих пор нет Петровской - когда же грянет встреча? Фотина (между нами Фотка) сказала, что скоро. А кто-то из мужчин добавил:

- Да что вы все спрашиваете про Петровскую? Еще наплачетесь от нее!

У нас переняло дух:

- Плакать от веющего свежего ветра? Да ее «Три бабушки в голубом» в годы застоя... О москвичи! Когда вы отучитесь поедом есть друг друга!

В. На другой день, умывшись минералкой из бутылки и придя на завтрак, узнаем, что утром будет Ночев, а в четыре часа – психодрама. То есть Петровская приближалась.

Ночев резко вздрогнул, согрел нас всех проснувшимся взором, раскинул в стороны экстатические кости свои и сказал громовым голосом:

- Равенство полов – это, конечно, хорошо. Но женщины перестали рожать, трепетно формируя свою личность. Человечество теряет энергию! Раньше фаллос твердо смотрел в будущее, потому что бесконечная цепь поколений открывалась перед ним!

Н. Его слушали разнообразно. Москвичи смотрели на Ночева с лицом гордости: это наш переделкинский чудак, ни у кого такого нет.

В. Членкор Ночев применял ухватки ослабевшего мачо: он резко выпрямлялся и окидывал феминисток таким взором: «Упади передо мной! Чего тебе мучиться!» И на мгновение он верил, что все вот-вот повалится в волшебную грудку, а потом не торопясь в ней ройся и выбирай себе.

Н. Да Лифчик могла бы одна всю грудку заменить. Потом спохватывалась и накладывала сеть хмурости на свое свежее лицо: я ведь сюда пришла для умных отправлений.

В. У Девушки же с мослом во всем облике чувствовалось, что она в укромном уголке иногда себя жует тайком. Других же

использует в качестве специй! А здесь, взбодрившись от чрезмерной остроты и терпкости Ночева, она взяла тон львиного рыка:

- У вас ни одной новой мысли! Фаллоцентризм!

Н. Между тем Переделкино, умащиваясь солнечными кварталами посреди мохнатого леса, довольно шумело. Ему, видевшему самоубийства, аресты и предательства, все протекающее в нем сейчас казалось очень нормальным. Милые, продолжайте, журчите речами!

Все разом почуяли вяние гения места, что выразились в виде необыкновенного аппетита. Пообедав, разбрелись по номерам – набраться сил перед психодрамой.

В. Там десятым планом в каждой комнате был даже и альков, так что в мучительно-сладкую послеобеденную дрему проникали призраки каких-то мушкетеров и королев.

Н. После чего - помятые торопливым сном, но довольные - спозлзлись мы вокруг стола на психодраму. Тут Петровская и образовалась, стряхивая остатки стремительных пролетов. Вся свежая, вся в бежевом! Ну, в бежево-голубом слегка. Свои шестьдесят четыре она подавала как сорок четыре, и так оно и было.

- Ничего себе бабушка в голубом, - завистливо сказала я.

- Мы тоже не стареем, а только все четче проявляемся, - стал оправдываться ты.

В. Из бежевой-голубой красоты неожиданно раздался голос какой-то едкой кислоты:

- Пациенты! Все сядем поближе! Я не должна напрасно связки напрягать. – Руки у нее жесткие – даже на взгляд.

Н. Этот ее голос и жесты сразу воссоздали во мне образ Ядвиги - из университета – человека с трудной судьбой, которая хотела, чтобы все вокруг разделили с нею все трудности.

В. Помню, излагала она тяжелую судьбу «г» фрикативного в южнорусских говорах, написала на доске греческую «гамму», а потом как запустил тряпкой прямо в рот студенту со второго ряда: «Что вы зеваете! Смотрите сюда!»

Н. Так вот оно, наше трудное счастье – эта встреча!

В. В общем, у нас была драма еще до психодрамы. Как только мы увидели Петровскую, похожую на Ядвигу...

Н. Все послушно пересели и стали обдумывать вопрос Петровской: «С кем человек может разговаривать, когда он один?» Посыпалось:

- С телевизором.

- С супом.

- С умершими близкими.

- С иными мирами.

Последнее сказала Лена из Вологды. И тут же увесисто огребла от Петровской:

- Вам нужно к психиатру, а у нас здесь – психодрама.

Лена не смутилась:

- А фантасты пишут про иные миры.

В. Бежать, бежать, трусливо думали мы. Но есть же терпеливые, мужественные люди. Попали в капкан – достойно себя ведут, не обгрызают лапу. Вот Лена начала лепить иную психическую сущность:

- Ты поужинал?.. Ну, пиджак снимай. Я с краешку лягу. В общем, так: сверху я худенькая, а внизу я в теле. Что, ты этого не любишь? Пусть будет наоборот. Что значит – неумелая? Да, все когда-то в первый раз. Почему-почему – деньги нужны, вот и почему. Слушай, я кладу трубку, и ты больше по этому номеру никогда не звони, понял? Что мне эти вонючие деньги? (Пауза) Ну вот что: минут через пятнадцать перезвони. Может, я успокоюсь и приду в себя.

- Это уже лучше, - прохладно сказала Петровская. – Но вы ничем не подчеркнули, что телефонный секс потребляют только мужики. Насколько женщины выше мужчин!

Н. Время изменило свой ход. Раньше время – это был неслышный ветерок, который подталкивает тебя в спину. А тут вдруг ледяной поток, который сносит все живое!

В. Напротив нас сидела Арина Пацевич, она показывала соседке рисунки своего сына, а нас звала своим взглядом и мыком своим: «Давай улетим, то есть удерем отсюда к чертовой матери!»

Н. Мы согнулись, скорчились, показывая собравшимся всем видом: душою мы с вами, но сейчас нам срочно нужно по делам... А если есть такой волшебный подарок, как вода в трубе, то и помыться перед отвалной.

В. Арина удивленно проводила нас завистливым взглядом: «Я не могу уйти, я отвечаю здесь за все, а вы что - не знали, что все гении такие, как Петровская?»

Н. Где мы? И где та волшебница, что тешила нас весь конец прошлого тысячелетия своими рассказами? Может, эта в бежевом держит ту волшебницу в коморке и кормит сухарями: сухарь – рассказ, сухарь – рассказ.

В. И собаки переделкинские набежали, участвуя в нашей жалости к затворнице, стали подвывать, провожая от одного корпуса к другому. А мы замкнулись в телефонную будку и стали кричать в потную трубку московским друзьям:

- Таня! Сережа! Ужас! Приезжайте! Пропадаем! Отвальная начнется в шесть. Машина на ходу? Значит, успеете!

Н. Мимо нас, освеживших в очередной раз свою кожу минералкой, возвращался с пробежки Ночев. Мощно дыша. Мы поделились с ним недоумением о психодраме.

На отвальной все спешили сказать хорошие слова.

В. И только Девушка с маслом свое: «Букур, зачем ты говорил про орешник, когда мы шли к Пастернаку! Всегда ты все не к месту... орешник – орешник...». Но это она уже просто так – надо же израсходовать боеприпасы до конца.

Н. А что ты говорил про орешник?

В. Что раньше видели орешник и думали: орешник. А сейчас видим орешник и думаем: Тарковский.

Н. На отвальной метрессы-психодрамессы не было.

В. И мы жадно и нетехнично выпивали, чтобы навсегда забыть психодраму. Но все вздрогнули, когда дверь банкетного зала открылась. Однако это вошли вызванные наши друзья Таня и Сережа.

Н. Арина Пацевич кинулась тебе навстречу своими голыми красивыми плечами:

- Вот ты где, наш общий муж! Букур, пойдем, и эту свою жену прихвати. Сейчас будем дегустировать новый психоккоктейль «Три бабушки в голубом».

Ингредиенты: вино «Медвежья кровь», водка, минералка, и все это смешивается рукой Лены из Вологды, потому что эту руку жала Петровская. И что особенно удивительно, все лица так же комкались после приема напитка, как после встречи с кумиром русской литературы.

В. Дегустация коктейля «Три бабушки в голубом» стала переломным моментом: монолит сборища стал растрескиваться по кружкам. Фотка призывала всех собрать со столов оставшееся, и мы зашуршали пакетами, мечтая допить, доесть и доболтать по номерам. Нас, вместе с Таней и Сережей, увлекла за собой Таня Ж. Мы уже полюбили ее голос и ее гитару, похожие на чай с диковатыми травами...

Н. ...горчащими, целебными... И тут распахнулись банкетные двери, и в самый центр общения – изнеженный, беззащитный – ворвалась бронзовой походкой Петровская.

В. Подрагивая породистой статью, она вскричала:

- Как хорошо, что я успела!

Н. Фотина затрясла меня за руки и катастрофическим шепотом: «Нина, тост! Скорее тост!»

В. Это вроде как капитан, который наслаждается ромом, а

потом как заорет:

- Рифы! Налетим!! Спасите!!!

Петровская повела вокруг цепким угрюмым взглядом психодраматурга: вовремя ли я пришла, у всех ли растворились в вине и в водке все мои острые справедливости в ваш адрес.

Н. Но при первых словах тоста глина угрюмства треснула и стала обваливаться неправильными кусками.

В. Ты сказала про солнце что-то...

Н. Не что-то, а вот что: «Меня упрекали... такие умные люди, что многое у меня написано под Петровскую. Но она была наше солнце многие годы, и невозможно жить под солнцем юга и не загореть. Я предлагаю тост за наше солнце!»

В. Тут Девушка с мослом зашептала, одновременно пиля локтем твое ребро: «Стерва! Ну и стерва ты! Перехватила мой тост! Я про это хотела сказать!»

Н. Дальше последовало от Петровской такое аллаверды: «Сегодня я сдавала в «Библиоглобус» пять пачек своих пьес и одну пачку стихов моего друга поэта Ч. Мои-то взяли, а тоненький сборник Ч. завернули, сказали – он не стоит. Я была поражена: оказывается, продавцам нужно, чтобы книжка стояла. В буквальном смысле – на прилавке. Так выпьем же за то, чтобы у нас у всех все стояло!»

Н. Петровская поставила жесткой рукой недопитый бокал, и эта крюковатая рука преобразилась пластилиново в сторону, грудь поднялась и песня полилась. Голос у нее оказался мощный, на грани истощности, но четко отслеживающий границу и ни разу ее не перешедший.

Сиреневый туман над нами проплывает,

Над тамбуром горит прощальная звезда.

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

Что с девушкой я прощаюсь навсегда.

В. Я тоже вместе со всеми вкрапил свой неотесанный бас, и, плывя в песне, вспомнил арабов. Я им в мединституте русский прививал, в том числе и с помощью этой песни. Но для пылких арабов многие русские слова были очень длинными, и они незаметно заменяли. Получалось все гораздо трагичнее:

А доктор не спешит, а доктор понимает...

Н. Дальше последовали хореические песнопения, и Девушка с мослом пустилась в пляс.

В. И мы увидели, что она – не Девушка с мослом, а просто сама Древняя Греция.

Н. И я тебя обняла.

В. Это я тебя обнял.

Н. А Сережа – Таню. А Ночев приобнял наше нынешнее солнце - Петровскую.

В. Никаких не было компаний, а только все люди.

Н. Вот тут-то ты и заорал, подумав, что ты дома, что ли: «Вы являете собой разные типы женской красоты! А я сейчас изображу разные типы мужской красоты!» Сначала ты вышел на полусогнутых с хищным перекосом рта. Потом жадно потянулся скрюченными пальцами к лифчику Лифчика.

В. А когда Арина Пацевич повела своими невинными свежими плечами, Ночев упал перед ней на донкихотские колени и то ли поцеловал край ее платья, то ли шептал: «Женщина-деревец, женщина – недра плодородные». Потом рывком вскочил и заухал как леший:

Феминиста полюбила,
Феминисту отдалась.
Ощущенье получила,
Будто грантом разжилась!

Н. И тут - все сметающий взрыв одобрения. Лена из Вологды бросилась к Ночеву с лобызаниями и с шалью – вся в варварских серебряных розах – и закрыла ею его и себя.

В. Будто удалилась с членкором за волшебные кулисы.

Н. Художник с глиняной книгой, сияя терпко-горчицной красой, выступил под лучи всеобщего внимания: каким-то чудом он соорудил из трех кресел трон для Петровской.

В. Но через секунду она себя свергла с него, схватила наших блаженно полуобморочных Таню с Сережей, еще и волхвованием руки создав из всех два отряда.

Н. Первый отряд грозно двинулся: «А мы просо сеяли, сеяли».

В. Художник с глиняной книгой со счастливым лицом стал вращать в ряды супротивного отряда: «А мы просо вытопчем-вытопчем!»

Н. И все включились в древние сельхоззаботы, выражаемые притопами, горделивой статью. Таня Ж. сбегала за гитарой, но зря: сторожиха окончательным голосом протрубила: «Закрываю! Одиннадцать часов!»

В. Я пошел провожать Ночева на его дачу. Членкор после выпивки стал хрупок и трепетен - непредсказуемо клонился в разные стороны. Но тут же бодро продолжал искать различия

между российским и американским мироощущениями. Я подхватывал то его самого, то его мысли. Хорошо было! И приблизился забор их дачи. Ночев сказал:

- Дальше меня не провожайте. Я должен сам огрести свои семейные радости. Да, вот так: их разбеганье, и слиянье, и поединок роковой.

Он скрылся за дверью, а я еще постоял и послушал: вроде криков не было. Пойду спасать жену от Петровской. Захожу – а вы уже целуетесь. Видимо, уже не спасти!

Н. Я сказала ей: «Счастлива была с вами познакомиться». И она сияла ответным счастьем. Но это не означало, что если бы она встретила нас с утра, ей бы не захотелось нас улучшить сильными талантливыми словами, вроде тех, что были раньше: диагноз, пациент.

В. Но завтра пространство между нами с помощью поезда начинает расти и расти. И вот мы в Перми! И нас не достать!

Н. А сейчас я сяду и напишу письмо, что доехали и с какими приключениями.

В. Зачем ты хочешь огорчить Ночева?

Н. Нет, это я Тане Ж. Ночеву я так быстро не могу, надо подумать.

В. Ну да, ему ведь надо писать про мать сыру землю и про Эроссию...

Нина Горланова

КТО ТАК ДЕЛАЕТ!

Жили-были два соседа: человек и антисемит.

Последний был главным редактором одного журнала, а фамилия его заканчивалась на «ко». И фамилия его жены была на «их», и дети были русоволосые, голубоглазые, про них гости говорили:

- Приятно взглянуть на чисто славянского ребенка!

Сосед-человек пришел сюда не в гости, а за делом:

- Дай мне пьесы Володина.

- У меня нет. А зачем? Ведь Володин - еврей.

- А почему ты Шагала повесил? Он кто, по-твоему, русский или француз?

Ляля сидела в кресле и жадно впитывала все эти разговоры. И главный редактор решил поставить-таки соседа на место:

- У меня гостя, а ты... В литературе должно быть что-то светлое! А то таких мерзавцев я через себя каждый день пропускаю...

Ляля видела, что сосед как бы русский: глаза зеленые, морда широкая, волосы пшеничные. Она с удовольствием мысленно оглядела себя - пышную блондинку с серыми глазами. В то же время она чувствовала, как шеф ее напряжен против своего соседа, поэтому обрадовалась, когда тот ушел. Потом она взяла «свою» рукопись и попрощалась.

- Сын заболел, вот и пришлось просить вас, - оправдывался главный редактор. - Владельцу холдинга нравится эта пьеса... хочет в театры разослать.

- Да постараюсь сегодня сделать.

Дома Ляля показала мужу рукопись: мол, шеф просил как можно скорее. Толик скис - они вечером собирались в гости.

- Ну и ходим в гости. Я быстро напишу рецензию. А чего напрягаться-то - одноактная комедия.

- Ну, это ведь надо препарировать, - ныл Толик, листая рукопись и зачитывая реплики из нее: «Но об этом никто не знает, значит, этого как бы не было! Репарка: в зале несколько минут запах малинового варенья (варят прямо на сцене)».

Толик потрогал свои почки и махнул рукой. Ляля знала, что даже запах малинового варенья не мог он переносить из-за болезни почек, а уж само варенье даже и не попробовал никогда.

Она села читать пьесу.

Странная это была вещь.

Один друг позвал другого на поминки. Отсюда и название: «Годины». И хотя никто из близких не умер, но... «он мне все равно нужен для одного дела. Пойду».

Пришел, а там стол накрыт, запах малинового варенья, и такая встреча:

- Я не мог тебя не позвать на эти поминки, ведь год назад умерла твоя душа.

А друг-то уже привык к странностям своего однокашника, да и очень он был ему нужен. Решил сидеть... Главным действующим лицом была душа, то умирающая, то воскресающая; автор писал, что ее роль должна играть девушка, запеленатая широкой белой лентой, как на древнерусских иконах.

Эти иконы сбили Лялю - она стала искать что-то славянофильское, но пьеса оказалась типичным перевертышем, когда плохой в конце оказывается хорошим и наоборот, прием, выдающий автора-новичка.

Ляля выписала несколько цитат, потом приняла позу кучера и расслабилась - нужно отдохнуть перед работой.

Она задремала, и во сне пьеса представилась ей как кусок загустевшего воздуха. Вот так и только так можно взять его в руки, а по-другому уже нельзя - промахнешься! И с одной стороны на самом деле оно больше, чем с другой, притом синее. С той же стороны, где оно меньше, пахнет мылом. И сказать-то больше нечего...

Она проснулась. Ах, все эти символы!..

И вдруг она вчиталась в фамилию автора. Феликс Смирин!

Вот, значит, что: еврейские штучки. Сразу стало понятно содержание пьесы, ее издевательский характерный, между прочим юмор.

Ее проверяют? Ее, Лялю?

Нужно... разгромную рецензию.

Ляля напечатала первую фразу: «Эстетические категории определяются из соотношения идеала и действительности. Комическое предполагает...»

Про себя она в это время думала так: «Я совсем не против евреев, но нужно процентаж соблюдать». Эти слова она слышала недавно на дне рождения шефа. Еще тогда его сын получил три телеграммы-молнии! Ужасно интересный вечер получился. Сын Игорь был подработчиком, тоже рецензировал, на одну еврейскую пьесу он так разозлился, что посоветовал автору рукопись сжечь. И вот с интервалом в час стали приносить телеграммы.

«Рукописи не горят» - была первая.

Вторая оказалась длинной: «Рукописи сжег, жду дальнейших указаний насчет Рабле, Боккаччо и прочей нецензурщины». Наконец принесли третью: «Рукописи сжег, лежу в психушке - вышли денег на лечение». Гости тогда очень веселились, но Ляля решила сейчас, что она на «Годины» напишет неуязвимо... чтобы никаких потом телеграмм.

И тут позвонила Лидочка Воронова - очень кстати. Ляля ей рассказала про пьесу, про автора, и Лидочка, как всегда, начала тараторить на эту тему. Для нее лично, для Лидочки, разницы не существует: она общается с евреями и неевреями, но теоретически первые были запрограммированы но полностью творческой личности, только вот у них нет сердца Христова, то есть той юродивости, которая есть у русских, нет у них этого отдавания последней рубашки...

Ляля прервала ее:

- Фантазия у них есть, но они ее не туда напрягают...

Но Лидочку непросто было остановить. Она продолжала:

- Нужно у них учиться, и их учить! Учиться - личностному раскрытию, а учить - вот этой сердечности, жертвенности.

Толик подошел и спросил шепотом:

- Она опять о чем-то интеллектуевом?

Он Лидочку недолюбливал: всего на год раньше их приехала в Москву, а уже так закрепились здесь, такие завела знакомства, что им трудно было рассчитывать на подобное даже через пять лет жизни здесь. Он сказал:

- Еще год назад приходила к нам, а теперь лишь звонит. Скоро все связи прервутся. Мы же не возвращаемся там, где она...

Ляля считала, что и там, где вращаются они, есть немало полезных людей, и она считала их интересными. И даже хорошо, что они в разных кругах! Ляля могла пересказывать то, что слышала от Лидочки, в своем окружении - у нее были удивительные воспроизводящие способности.

- Препарировала? спросил Толик.

- Сейчас, Лидочкины слова некоторые... вставлю, и все.

Они вышли пораньше, и Ляля успела забежать в редакцию, чтобы отдать секретарю свою рецензию. Та быстро сунула ее в стол, где прикрепила к какому-то конверту. И на нем-то, на этом порванном конверте Ляля вдруг увидела свой... свой адрес! Пермский, конечно. Бывший свой.

- Отчим! Под псевдонимом прислал!..

Молниеносно сообразила: «Писать новую уважительную рецензию два дня работы, а завтра как раз обещала шефу... А! Пусть будет, как есть. Во-первых, отчим все равно не узнает, что я узнала. А во-вторых, он ведь на самом деле еврей - вот пусть и получит».

- Анекдот знаете? - спросила секретарша - Идет дракончик и плачет. «Что ты плачешь, где твоя мама-то?» - «Съел. Очень кушать хотелось». - «Ну, а папа-то хоть жив?» «Нет. Съел его». «Так бабушку-то с дедушкой хоть пожалел?» - «Нет, съел их. Кушать хотел». - «Кто же есть-то у тебя? Старшие братья или сестры?» - «Нет никого, съел я их». - «Так как же ты живешь теперь?!» - «А вот так и живу - сирото-о-о-й...»

Ляля дернула руку к конверту, чтобы взять обратно рецензию, но спохватилась: два дня лишней работы!

- Чернота, - сказала Ляля про анекдот, а про себя подумала: «Как жаль, что мы, рецензенты, не пишем под псевдонимом».

Она была напряжена против отчима давно. Он с двенадцати лет таскал ее по театрам, заставлял ходить в студию, читать «Фауста» в разных переводах.

Вечно он писал свои сценки и рассылал их по редакциям! Собирал студенческий жаргон, когда Ляля поступила в университет, всех ее гостей замучивал глупыми вопросами о жизни, записывал все реплики на маленькие бумажки, которые совал в конверты, кульки и старые материны сумочки. Количество таких накоплений росло. Ляля говорила друзьям, что в старости у отчима и матрац и наволочка будут набиты такими бумажками, он их ночами иной раз будет описывать. А по утрам доставать и просушивать, распространяя на всю квартиру творческий запах мочи, ругая сына за рваную клеенку и прочее... Да, у Ляли был единоутробный брат: сын матери и отчима. Он на двенадцать лет моложе Ляли. Теперь там его таскают по театрам и тычут в «Фауста».

Ляля вспомнила, как в последние годы в Перми отчим ее особенно раздражал. Все казалось неприятным: как он ест, выбирая рыбные кости прямо на стол, как сплевывает в унитаз, не смывая плевков, а в нем всегда сгустки крови, а мать еще его защищает:

- В Перми у всех плохая печень, вот и сосуды проницаемые!

Когда у Ляли в первый раз в слюне показались прожилки крови, да и Толику хотелось жить в Москве, мать сразу подсуетилась, словно давно мечтала разделить их с отчимом. Как раз нашлись знакомые. Этот самый главный редактор, который сейчас опекал Лялю, был женат на маминой однокурснице, и в Перми были ее родители, старики, не очень-то пышущие здоровьем, поскольку всю жизнь прожили именно в Перми, где такая вода, и все это оказалось на пользу Ляле. Ведь за ними нужен уход, и мать Ляли все взяла на себя. Даже уколы, бывало, сама им ставила - она была известнейшим врачом.

Все делалось для того, чтобы Ляля поступила в аспирантуру, но пока удалось только устроиться в журнал. Значит, отчим не перестал писать свои «сценки», только теперь посылает их под псевдонимом!..

Ляля не хотела говорить об этом Толику, поэтому вышла с деловым видом и взяла мужа под руку.

Когда они пришли, все уже ваховали.

Ляля села напротив толстяка-холостяка Миши Лапина, которого она еще год назад выбрала муляжом-тренажером, и с тех пор обкатывала на нем приемы своего кокетства: то ноги

переставляла, то крылышки на сарафане поправляла, то руки вдруг захотела умастить персиковым кремом - помогала хозяйке посуду унести и вымыть перед горячим. И вот кожа показалось - будто бы - суховатой. Ляля красиво умащивала перед Мишей свои руки кремом. И холостяк не устоял.

- Чтоб сподручнее пошшочкины ставить? - спросил он взволнованным голосом, якобы шутливо передразнивая пермский говор.

- Ну что ты, кому пошшочкины? - Ляля быстро погладила его по руке.

Миша разволновался, стал ходить возле Ляли кругами.

А Толик потом удивлялся, откуда в Ляле неистощимые запасы женственности: уж вроде он их истреблял, расхищал, а они все не уменьшились. Он не знал, что Ляля отрабатывала их на тренажере, как - впрочем - и некоторые высказывания.

- Писала рецензию на одного Феликса, - сказала она Мише. - Сколько их в науке и искусстве. Надо бы процентаж ввести!

- Ну и кто выиграет? - ответил Миша, явно думая о другом. - Мы и так отстали от Америки, куда уж дальше-то. У Петра Первого и то был Шафиров - приближенный еврей.

- Не слыхала.

- Ну вот, Шафирова не знаешь, а еще антисемитка! Я на вас вообще удивляюсь. Вот стоит твой Толик и листает Фолкнера, а бедный Уильям всю жизнь боролся против расизма. При этом Толик - славянофил, но думает: он-то уж понимает Фолкнера как никто другой.

Возникло напряжение. Ляля поняла: Миша раздражен против нее, потому что она водит его за нос своим кокетством, она быстро думала, как его умастить - с москвичами она не должна ссориться ни в коем случае. В конце концов, наплевать ей на все национальности, если удалось пристроиться к национальности под гордым названием «москвич». И она вспомнила про мечту Миши о черепе собаки и с кавказским радушием предложила:

- А мы-то тебе череп собаки приготовили подарить! Уже в коридор выставили, к порогу. Но забыли взять.

Миша как-то странно замолчал. Словно говоря: «А мой череп никому не пообещаете?» Потом кивнул. Пошел к столу и стал с жадностью холостяка поедать конфеты. У Ляли с Толиком не было детей, но пятилетнее замужество отбило у Ляли охоту к таким юношеским удовольствиям, как конфеты. Столько все время забот, жизненно важных. Всегда нужно думать, что

говорить. Это москвичи могут что угодно высказывать - а ей-то нужно еще как следует закрепиться здесь. Ляля себя пожалела...

Получив разгромную рецензию, отчим, наверное, побежал к жене. То есть Лялиной матери. Ляля так и представляла, как он кричал:

- Кого мы воспитали! Что она пишет! Намеки на...

А мама, всегда выражавшаяся со свойственной медикам грубостью, конечно, скажет:

- Как! Наша Ляля, зачатая в сессию, учившаяся на отлично, стала такой дурой!

- При чем тут «зачатая в сессию»! - закричит отчим. - Она попала из грязи в связи, вот и результат.

Но так или не так проходил весь этот разговор, мать позвонила Ляле поздно вечером и сразу начала кричать:

- Ляля, что ты написала папочке! «Герои не отражают национальных черт русского народа: нет жертвенности. Нет юродивости, отдавания последней рубашки». На что ты намекаешь?

- Мама, о чем ты говоришь? спросила Ляля.

- О твоей рецензии.

- Никакой рецензии ему я не писала, - стояла на своем Ляля.

- Ну, он под псевдонимом... посылал.

- Мама, кто же так делает! Если он под псевдонимом, то хотя бы позвонили мне, предупредили: мол, если попадет, то... А так я не знаю, просто... Кто так делает-то!

- Так... Но даже если не нам: зачем так писать, такими словами.

- Мама, это дело служивое: я тут не виновата, нужно, - отвечала Ляля, уже придумавшая, как отвечать.

И разговор перешел на своеобразие Перми – новый министр культуры такое придумал и т.п.

- Я думаю, как вас сюда перевезти, мама - ты ведь знаешь! Да, должна пещись о вас, об ваших нуждах. Почто ты меня упрекаешь?

Так шутить - с использованием старинного произношения - Ляля научилась здесь.

Сокращено 31 мая 2012



Соня Тучинская

В Переулке Ильича



«Переулке Ильича» под заголовком «Маленькая повесть» было опубликовано в августовской книжке «Звезды» за 2010 год. Условием мгновенного «попадания» в номер было сокращение печатных знаков в тексте на 30%. А если целиком – томись в общей очереди, причем, никто не мог сказать, как долго. Нужно ли говорить, что я без раздумий приняла первый вариант. Любой пишущий меня поймет. Сегодня (поклон и благодарность Редактору) пришло время опубликовать этот текст целиком.¹

*И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...
Саша Черный*

*Ссорились. Тиранили подруг.
Спорили. Работали. Кутили.
Гибли. И оказывалось вдруг,
Что собою жизнь обогатили.
Игорь Губерман*

Не было бы счастья...

В середине 70-х после защиты дипломной работы меня не взяли «по распределению» ни в один из ленинградских «почтовых ящиков», куда кафедральное начальство надеялось пристроить меня в качестве молодого специалиста. Институт Сварки, который был верным оплотом по найму на работу «лиц еврейской национальности», начал в том далеком году сотрудничать с Америкой в области космических исследований. Этого заурядного, в общем-то, факта было достаточно, чтобы оплот пал. Евреев, закончивших ЛЭТИ по моей скучной специальности, стало просто некуда девать. На кафедре мне так и сказали: «В "Сварку" больше

¹ <http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/8/tu5.html> – публикация в «Звезде».

не берут». Советуем Вам, Соня, немедленно начать искать работу самой». «Кого не берут?» – бестактно спросила я кафедрального советчика, который деликатно опустил неприличное к употреблению слово в расчете на мою понятливость. Вопрос был риторический. Один быстрый взгляд в зеркало давал на него совершенно исчерпывающий ответ.

Как жаль, что простым смертным отказано в провидческом даре увидеть свое, хотя бы не столь отдаленное, будущее. В противном случае в тот мартовский день, когда мне не удалось «распределиться» в закрытое НИИ, я не брела бы зареванная к станции метро Петроградская, недоумевающая, как же можно найти работу самой, когда таких, как я не берут даже по указке. Совсем напротив, обладай я этим тайным знанием, я бы радостно и вприпрыжку побежала по Петроградской стороне, благодаря по дороге судьбу, которая, в конечном раскладе, оказалась ко мне столь благосклонна.

Со мной произошло как раз то, что в известном анекдоте того времени обозначалось формулой – «но почему евреям опять повезло?». Вместо того чтобы каждое утро, минуя вооруженную тетку на проходной, приходиться в «режимное учреждение» и отбывать там скучнейшую восьмичасовую каторгу, да, к тому же, еще вешать на себя какие-то уровни секретности, из за которых обладателя этих ненужных ему секретов могли потом запросто не пустить в турпоездку по Румынии, не говоря уже о Югославии, вместо всего этого я начала работать в лаборатории бесконтактной техники, которая располагалась в подвале обычного жилого дома, по адресу Переулок Ильича 12, буквально в трех минутах хода от Витебского вокзала.

Здесь я сознательно опускаю из общего хода повествования драматический рассказ о том, как после трех месяцев бесплодных метаний по городу, мне, наконец, удалось выйти на эту, благословенной памяти, контору в переулке Ильича, опускаю до того самого момента, как я начала там трудиться в качестве специалиста по высоковольтным установкам.

Лаборатория бесконтактной (тиристорной) техники принадлежала научно-исследовательскому институту, который находился в другой части города. Продукция института применялась исключительно в мирных целях, что было в то время большой редкостью – практически, все ленинградские НИИ работали тогда на военную промышленность. Мирным характером продукции определялось очень многое: свободный вход и выход, вольное расписание прихода-ухода, коллективное употребление спиртного под видом отмечания каких-то бесконечных

пролетарских праздников и пугающее количество евреев обоого пола среди инженерного состава. Это последнее обстоятельство создавало в институте в целом, и в находящейся на отшибе лаборатории, в частности, некую семейную атмосферу. Необходимо отметить, что настроения, царившие в этой «семье», были самого цинического, фривольного, и, что восхищало меня больше всего, антисоветского свойства. Очевидно, что о лучшем месте для начала трудовой деятельности нельзя было и мечтать. Мое ликование по этому поводу было так велико, что даже отравленный миазмами подземелья воздух лаборатории не мог умалить его ни на йоту. Кто в молодости думает о таких пустяках?

Чтобы попасть в лабораторию надо было с лестничной площадки первого этажа довольно долго спускаться вниз по вонючей щербатой лестнице доходного дома, постройки середины XIX века. До революции это помещение явно предназначалось для дворницкой. Подвал был такой глубокий, что прохожие, мелькающие за его мутными оконцами, просматривались не выше щиколоток. Лаборатории принадлежало несколько комнат. По углам этих комнат были расставлены мышеловки. Первой приходила на работу техник Валя Курышева и совершала обход помещения. Затем она, победоносно держа издохших крыс за длинные, голые хвосты, выбрасывала их в мусорный бак. Изнеженные еврейские девушки, завидев Валю с добычей в руках, с визгом бросались врассыпную.

Рубашов

Месячное жалованье у инженеров было тогда 100-150 рублей, в зависимости от категории. Заведующий лабораторией Рубашов зарабатывал с учетом кандидатской надбавки – 350 и считался зажиточным человеком. Он был убежденный холостяк, дома готовкой не занимался и на ужин часто покупал себе в «Кулинарии» на Загородном цыпленка табака рублей эдак за пять, если мне не изменяет память. Это рассматривалось как проявление расточительства и неоправданного шика. «Сухую бы я курочкой питался», – острили завистники.

Рубашов был jovialный толстяк «Жванецкого» типа. В обращении с людьми ему была свойственна поистине царственная простота. К тому же, на нашу удачу, у него был особый стиль общения с подчиненными. Я бы сказала, что это был стиль великодушного снисхождения к их мелким слабостям и недостаткам.

У него был высокий, «убегающий» лоб мыслителя и грустно-насмешливые карие глаза под длинными телячьими

ресницами. В тот год, когда я пришла в лабораторию, ему исполнилось сорок. Надо заметить, что 40 лет казались мне тогда возрастом почти патриаршим. Рубашов ходил в твидовом пиджаке, курил сигары, прекрасно играл на пианино, в теннис и шахматы, печатался в научных журналах и писал книги по электротехнике. О выходе очередной книги оповещал нас так: «Господа, в продажу поступил новый роман малоизвестного прозаика Рубашова, "Необычные приключения высоковольтного выключателя в промышленных сетях горно-обогатительных комбинатов"».

По глупости, вполне искупаемой молодостью, я находила, что у моего начальника был хотя и один, но очень серьезной недостаток – маленький рост. Сам он, к этой болезненной для большинства низкорослых мужчин теме, относился, как, впрочем, и ко всему остальному на свете, с грустной иронией. «Александр Македонский, Наполеон и генерал Нельсон не слабее вас, господа, преуспели в этой жизни», – любил он перечислять известных ему великих коротышек, последовательно загибая при этом пальцы правой руки. На первой же общелабораторной сходке, для которой было закуплены батареи дешевого крепленого вина, мне пришлось в голову покуражиться на эту рискованную тему. Я подошла к Рубашову и, прицельно глядя ему в глаза, громко и отдельно продекламировала из Маяковского: «Ты один мне ростом вровень, стань же рядом, бровью к брови». А росту во мне в ту пору было неполных метр шестьдесят. Дерзость эта прошла мне даром. Ответом на нее был громкий хохот нетрезвых коллег. Причем громче и одобрительней всех смеялся сам Рубашов. Так как припомнить истинные мотивы этой нелепой выходки не представляется за давностью лет возможным, лучше всего приписать ее губительному влиянию дешевого портвейна.

Короче, при внешних данных, которые любого другого превратили бы в мрачного, закомплексованного неудачника, он излучал такую спокойную уверенность в себе, которой мог бы позавидовать любой заурядный длинноногий красавец. Уверенность, подкрепляемую, кстати, неизменным успехом у женщин.

Дозволение всех этих шуточек не отменяло дистанции существующей между ним и нами.

– Ну-с, чем, Вы, сударыня, хотите меня сегодня порадовать, – спрашивал он меня, стоящую на пороге его кабинета с недавно выданным техническим заданием в руках:

– Я не успеваю, Григорий Маркович. Мне придется настаивать, чтобы срок сдачи моей части проекта был перенесен на месяц, – лепетала я.

– Настаивать, уважаемая, лучше всего на лимонных корочках», – отвечал он, улыбаясь и одновременно давая понять, что разговор окончен.

Вообще, было бы неверно предположить, что вольная атмосфера, царившая в лаборатории, существенно влияла на качество выпускаемой нами продукции. Мне, к примеру, по некоторому раздумью, удалось восстановить в памяти дикое название одного из моих удачно и вовремя сданных проектов – «Расчет колебательных процессов, возникающих вследствие короткого замыкания в силовых цепях Кустанайского Горно-Обогажительного комбината, контролируемых тиристорными выключателями».

Забегая вперед, не могу не вспомнить, как в конце ноября 1989-го, за месяц до отъезда, я в последний раз зашла утром в рубашовский кабинет подписать увольнительный «бегунок». На душе было пусто и черно. Они все оставались, а я уезжала.

– Уважаемая коллега, – произнес он дурацким, «советским» голосом и со значением посмотрел на стенные часы, которые показывали ровно девять, – не забудьте рассказать своему первому американскому работодателю, что, живя здесь, за все 15 лет своей работы Вы пришли на службу вовремя только один раз, в день увольнения. Не забудьте. Этого требует простая справедливость.

В каждую свою поездку в Ленинград я привожу им всем подарки. Но подарок для Рубашова я всегда выбираю с особым тщанием и любовью. Благодаря этому удивительному человеку, прожив половину жизни в советском зазеркалье, я умудрилась так и не познать мерзости работы в типовом «советском учреждении».

Боря

В бывшей дворницкой в Переулке Ильича, 12 царил дух казацкой вольницы. В это же самое время дышать в родном отечестве становилось все труднее. Свинцовые сумерки, в который уже раз, сгущались над огромной страной. Сумерки неумолимо угрожали перейти в ночь, «ту ночь, которая не ведает рассвета».

Солженицын после длительной травли – в изгнании. Сахаров – в насильственной ссылке, в Горьком. Сотни и тысячи других, тоже чистейших, но не защищенных, как эти двое, мировой славой, власти гноили во Владимирском Централе, в мордовских лагерях, в закрытых психиатрических лечебницах при МВД.

Сажали не только за изготовление, но и за распространение книг неугодного государству содержания. В

выхолощенных цензурой литературных журналах нечего стало читать.

Нам повезло больше, чем многим нашим соотечественникам. Живя в смрадную пору развитого социализма, мы читали лучшие книги, запрещенные всеильным режимом.

Запрещенные книги приносил Боря. Попал он к нам как специалист по источникам питания, но, практически, исполнял роль портативной передвижной библиотеки нелегальных изданий.

Книги, за хранение которых давали тогда срок, он носил в простой, сетчатой сумке для овощей. Его могли повязать прямо в метро, с его нелепой авоськой, в которой в такт вагонной качке болтались ксерокопии второго тома «Архипелага» или «Окаянные дни» Бунина или, того хуже, «1984» Оруэлла. Опасаясь за Бороно благополучие, а так же из корыстной боязни потерять такого уникального сотрудника, мы на один из его дней рождений скинули ему на солидный портфель из кожзаменителя.

Необходимо отметить, что в отличие от Рубашова, природа наградила Бору выдающейся внешностью. У него было все, чтобы могло бы импонировать молодым, романтическим женщинам: высокий рост, широкие плечи и прекрасная, буйно-кудрявая голова римского юноши. При взгляде на его лицо приходили на память иллюстрации к книге «Римский скульптурный портрет».

Несчастье Бори заключалась в том, что ко всему материальному, включая свою собственную внешность, Боря относился с величайшим презрением. Он редко стригся, носил войлочные боты под названием «Прощай молодость» и легко обходился ложкой, когда ел макароны. У Бори была одна уникальная особенность – любой, самый что ни на есть обывательский разговор, он подымал на недостижимую метафизическую высоту. Достигал он этого методом анонимного цитирования. Цитаты, без упоминания имени породивших их авторов, растворялись в его собственной речи целиком и без остатка, как азотные удобрения в почве. К примеру, если поднятая в курилке тема касалась красивых женщин, Боря молниеносно осаждал собеседников встроенной цитатой из Бродского:

Дева тешит до известного предела
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятье невозможно, ни измена!

Когда, поначалу, кто-то из женщин имел глупость заметить ему по поводу его войлочных бот, что сейчас такие никто не носит, Боря, ни секунды не задумываясь, язвительно вопрошал

ее словами Генри Дэвид Торо, которым он в то время очень увлекался:

– Позвольте уяснить, кем мне приходится эти «Никто», и почему они так авторитетны в вопросе, столь близко меня касающемся.

Некоторые, наименее гуманитарно продвинутые Борины коллеги, не догадывающиеся о синтетическом характере его речи, считали его филологическим гением и никак не могли взять в толк, что он, собственно говоря, делает в рубашовской лаборатории.

Однажды Борина страсть к цитатам чуть не погубила его.

На Лиговке

В тот день мы отмечали на работе день рождения Рубашова. Когда все было выпито, Рубашов предложил перенести сходку на Лиговку, где он единолично проживал в роскошной двухкомнатной квартире, из одного окна которой в погожий день можно было даже разглядеть сияющий вдалеке купол Исаакия. Облицованный серым гранитом, сталинской застройки дом находился в необычайно престижном месте – прямо напротив концертного зала Октябрьский, в двух минутах ходьбы от Площади Восстания.

Предложение было заманчивое, но день – будний, и поэтому его смогли принять только трое членов коллектива, которых в тот день не ждали дома дети и пасущие их на дачах мужья. Это были уже знакомая всем Валя, я, пишущая сейчас эти строки, и любимица всей лаборатории Таня Кучина. Таня играла в общественной жизни коллектива такую огромную роль, что было бы странным не посвятить ей хотя бы несколько строк. Не погрешив против истины, можно сказать, что Таня была создана природой с максимально возможным приближением к совершенству. У нее был ироничный ум и веселый компанейский характер. Она все знала заранее и всех примиряла, а также умела хранить тайны. Она прекрасно готовила и великолепно шила. К тому же Таня была замечательной красавицей, но к своей роковой для мужчин внешности относилась очень спокойно. В такую женщину просто нельзя было не влюбиться. В нее и были тайно или явно влюблены почти все работающие в лаборатории мужчины, за исключением, пожалуй, только двоих – Рубашова и Бори.

Однако, чтобы не потерять нить рассказа, пора вернуться к его главному герою. Боря был в тот день как-то особенно мрачен и ушел раньше других. Я успела увидеть его широкою спину, исчезающую в проеме двери. По тому, как неуверенно он

продвигался к выходу, было видно, что Боря сильно пьян. Этот факт не вызвал ни у кого ни малейшей озабоченности, так как после лабораторных пьянок он нередко покидал эти стены не совсем твердо держась на ногах. Мы ушли почти сразу вслед за ним, коллективно приняв решение направиться к Рубашову пешком, благо на дворе стояла середина июня, и в 8 вечера на улице было светло как в полдень. На подходе к метро Площадь Восстания я остановилась как вкопанная, пораженная необыкновенным видением: нелепо выкидывая длинные ноги в каких-то старорежимных, плетеной кожи сандалиях навстречу нам, но не видя нас, бежал со страшным и каким-то растерзанным лицом Боря. За ним, почти уже настигая его, неслись два одинаково упитанных молодца с красными повязками дружинников на рукавах. Груды добровольных стражей порядка по-женски тряслись под трикотажем футболок. Уже на наших глазах молодцы настигли свою обессиленную погоней жертву и, заломив ей руки за спину, поволокли по Лиговке. В «обезьянник», в двенадцатое тащат – безошибочно предположил Рубашов. И, действительно, следуя за быстро удаляющейся троицей, мы через минуту стояли у входа в 12-е отделение милиции Смольнинского района, за дверью которого только что исчезла кудлатая Борина голова.

Внутри нашему взору открылась следующая идиллическая картина: за столом сидел белобрысый, деревенского вида паренек, настолько юного вида, что его можно было принять за старшеклассника в форме сержанта милиции и, не останавливаясь, строчил что-то со слов стоящих у стола дружинников. По-видимому – протокол задержания. На столе лежала милицейская фуражка, против устава снятая с сержантской головы по причине небывалой жары. В загоне, именуемом «обезьянником», находились кроме Бори, две изнуренного вида немолодые женщины, профессия которых угадывалась с первого взгляда. Это были привокзальные проститутки, взятые, почти наверняка, во время облавы на соседнем с милицейским участком Московском вокзале.

Сам Боря, как нам показалось, дремал, уронив на грудь свою живописно растрепанную голову. Когда мы вошли, он поднял голову, посмотрел в нашу сторону равнодушными и несколько осоловелыми глазами, затем задержал взгляд на двух несчастных созданиях, сидящих рядом с ним за загородкой, и, обращаясь к сержанту с невыразимой горечью в голосе, вдруг произнес:

– Посмотрите, до какого вырождения довели вы свой народ. Это же полная антропологическая катастрофа. Взгляните на

этих людей – продолжал Боря, указывая при этом в качестве живого примера на измученные лица своих соседок по клетке, затем на все еще багровых от погони дружинников и, что переходило уже все границы, на нас четверых. Затем он, выдержав небольшую паузу и с уже нескрываемым отвращением оглядывая разом всех присутствующих, медленно чеканя каждое слово, изрек:

– Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы.

При последних словах обе проститутки, которых он в числе прочих использовал в качестве наглядного примера, с ужасом взглянув на Борю, отодвинулись от него на максимально возможное расстояние.

– Боря, уймись, подумай о маме, – прерывающимся от волнения голосом выкрикнула Валя, как обычно не узнавая в Бориной крамоле встроенной цитаты, на сей раз из Чернышевского.

Но Боря и не думал униматься.

– Проповедники кнута, апостолы невежества, поборники обскурантизма и мракобесия, панегиристы татарских нравов – что вы делаете?! Взгляните себе под ноги: ведь вы стоите над бездною... – разразился Боря следующей гневной филиппикой.

– Во дает!! Говорит, как пишет!!! – бескорыстно восхитилась Таня. Надо заметить, что тут было чем восхититься: в своей последней эскападе Боря использовал один из самых великолепных пассажей из знаменитого письма Белинского Гоголю.

Рубашов молча взирал на весь этот зверинец, причем с каждым следующим Бориным демаршем лицо его мрачнело все больше и больше.

– А вы, граждане, собственно, какое имеете отношение к задержанному, – строго спросил юный представитель правоохранительных органов, который, временно оторвавшись от писания протокола, все это время, вместе с онемевшими от изумления дружинниками, внимал вошедшему в раж Боре.

– Товарищ сержант, – вступила Таня, улыбнувшись самой неотразимой из своих улыбок. Борис Дмитриевич работает инженером в нашей лаборатории. – Ну, собрались интеллигентные люди, выпили лишнего по случаю дня рождения шефа, дело такое, с кем не бывает. Шеф у нас – кандидат наук, книги научные пишет, – фамильярно похлопывая по плечу натянуто улыбающегося Рубашова, – сказала Таня, видимо, пытаясь за счет его достижений восстановить ущерб нанесенный Борей. Однако рубашовские достижения никакого впечатления на «товарища сержанта» не

произвели.

– Это будет занесено в протокол: в присутствии нескольких свидетелей задержанный допускал высказывания антисоветского характера, а также оскорбительные высказывания в адрес всего советского народа – после некоторой паузы, поправив соломенный чубчик, сформулировал свое отношение к происходящему юноша в милицейской форме.

На эти слова, замолкнувший было Боря, встрепенулся и медленно поднявшись с грубо-окрашенной скамьи, со скрещенными на груди руками и склоненной на грудь головой стоял какое-то время безмолвно. Но долго молчать было не в Бориных правилах, и через мгновение он печально и тихо заговорил:

– Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа. Но я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертými устами.

– Что это? – брезгливо спросил, глядя на меня, Рубашов, когда Боря смолк.

– Я думаю, это – спонтанный ответ на предъявленные ему сержантом обвинения.

Рубашов продолжал вопросительно смотреть на меня.

– Отрывок из «Апологии сумасшедшего» Чаадаева, если Вам это интересно, – ответила я на его безмолвный вопрос, и в голосе моем невольно прозвучало ничем неприкрытое восхищение перед феноменом Бориной памяти.

– Ну, надо же, а врачи говорят, что алкоголь разрушает память, значит – врут врачи, – с недоброй усмешкой заметил он мне в ответ.

В отличие от меня, неумное красноречие, обуявшее Борю в «обезьяннике», не представлялось Рубашову ни в малейшей степени забавным. Кроме всего прочего, весь этот зоопарк происходил в день его рождения, и день этот кончался. Так что не удивительно, что Рубашов пребывал в состоянии величайшего раздражения, что вообще говоря, было нашему боссу абсолютно не свойственно.

А представление, тем временем, продолжалось: страстные монологи главного героя, массовка, зрители. При этом во всем происходящем было такое естественное чередование комического и трагедийного, какое бывает только в спектаклях, поставленных очень хорошим режиссером. Но по мере продвижения этой пьесы к развязке дело принимало все боле и более опасный для Бори оборот. Речь уже шла не о том, что его, раздетого догола, будут

поливать ледяной водой из шланга на цементном полу вытрезвителя Смольнинского района, а о чем-то, чреватом значительно более серьезными для Бориной жизни последствиями.

Я поняла, что настал мой выход.

– Товарищ милиционер, я лучше других знаю задержанного. Позвольте мне объяснить, что произошло, – придав своему лицу, насколько это было возможно, кротости и смирения, обратилась я к вершителю Бориной судьбы.

– Ну, попробуйте, – ответил он вполне доброжелательно. Белобрысый чубчик придавал ему почти детский вид. Мне даже показалось, что сержантику втайне нравилось безумие, происходящее во время его сегодняшнего дежурства. По крайней мере, это было не так скучно, как иметь дело с обычными алкашами, проститутками и другими мелкими нарушителями социалистической законности.

– Соня, не унижайся перед ними, – вдруг совершенно неуместно в складывающихся обстоятельствах выкрикнул из своего загона Боря. Этот крик трезвеющей Бориной души был хладнокровно мною проигнорирован.

– Дело в том, – продолжала я, ласково глядя в бледно-голубые, в коротких соломенных ресничках, глаза юного милиционера, – что произошло недоразумение. В словах Бориса Дмитриевича не могло быть ничего антисоветского, так как он всего лишь дословно повторил то, что писали в своих трудах великие революционные демократы середины XIX века, такие например, как Николай Чернышевский, Виссарион Белинский и другие. (Имя полузапрещенного Чаадаева я, на всякий случай, не упомянула.) Вы ведь их в школе проходили, помните?

– Ну, проходили, – неуверенно сказал милиционер.

– Я думаю, вы согласитесь со мной, что в середине девятнадцатого века не существовало таких понятий как советская власть или советский народ. Это возникло потом, как естественная реакция на деспотизм царского правления.

– А что он говорил про рабов? Что все советские люди рабы и внизу и наверху? – с детской обидой в голосе спросил сержант.

– Тут все очень просто. Это слова Чернышевского. Он адресовал их не советским людям, а лишенному политического самосознания русскому народу и правящей им монархической верхушке. А вы слышали, что Ленин сказал об этих словах Чернышевского?

– Да, слышал, – совсем уже неуверенно сказал мальчик в милицейской форме, – но как точно будет, не помню.

На память я в то время, как впрочем и сейчас, не жаловалась, и поэтому легко смогла восстановить ленинскую фразу, прочитанную когда-то для сдачи зачета по истории партии.

– Ленин сказал, что по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Вот что сказал Ленин. Если хотите, вы можете найти эту фразу в полном собрании его сочинений.

Прекрасно сознавая, что в счастливый финал этой истории почти невозможно поверить, я все-таки должна довести вас до этого неправдоподобного финала.

Борю отпустили. На поруки. Дело не завели. В вырезвитель не отправили.

Когда мы вместе с ним покинули богоугодное заведение на Лиговке, было уже 10 часов вечера. Боря к этому времени окончательно протрезвел и стал искать телефон-автомат, чтобы успокоить мать, не дождавшемуся его к ужину.

На улице все еще было светло, как днем и Рубашов повторил свое приглашение. Валя, вселенская доброта, предложила дожидаться Борю и пойти догуливать день рождения вместе с ним.

– Я думаю, господа, что на сегодня Бори было более чем достаточно, – оборвал ее Рубашов, причем, твердость его тона не подразумевала дальнейшую дискуссию.

Рубашов жил буквально в следующем по Лиговке доме.

У себя он быстро метнул из холодильника на стол колбасу, сыр, фрукты, плеснул себе коньяку, сел за фоно и, то и дело прихлебывая из бокала, необычайно душевно исполнил свой коронный номер – грузинскую песню «Сулико». На русском языке, конечно.

Наш Монтень

Валя Курьшева гордилась, что у нее был такой необыкновенный сослуживец, и ласково называла его «наш Монтень». И, действительно, имя этого философа эпохи Возрождения буквально не сходило в то время у Бори с языка. За его фантастическую эрудицию Валя прощала Боре все. Даже то, что он приглушал радио во время трансляции передачи «в рабочий полдень». Боря терпеть не мог советской эстрады, но особую ярость у него вызывала почему-то песня в исполнении любимой Валиной певицы Валентины Толкуновой – «Поговори со мною мама», неизменно исторгающая слезы у Вали, скучающей по оставленной в деревне маме. В отличие от Вали, Боря проживал вместе с мамой в малогабаритной квартире на Гражданке. Мама

Боря была обыкновенной советской женщиной, из тех, что в молодости пели «про паровоз», к тому же, очень словоохотливой. Она страстно мечтала его причесать, остепенить и главное – удачно женить.

«Добрая жена да жирные щи – другого добра не ищи», «И в раю жить тошно одному» – внушала мама Боре за вечерним чаем. Тематические пословицы и поговорки о необходимости женитьбы она заботливо подбирала, пока Боря был на службе. Возможно, что во всем этом и крылась причина столь сильной неприязни Бори к этой ни в чем не повинной лирической песне.

Судя по всему, мечтам, которым предавалась Борина мама, не суждено было сбыться. Причиной этому было то, что Боря глубоко презирал советский институт брака и семьи (как впрочем, и все другие гражданские и военные образования, учрежденные советской властью), и при этом не делал из этого тайны. Очень скоро молодые, незамужние женщины стали обходить его стороной. Нужно ли было этому удивляться? Кому охота зря терять время. Правда, по достоверным источникам, у Бори имелась дочь. О происхождении дочери Боря говорил загадочно и невнятно: «Просто ее мать зашла ко мне один раз за вторым томом Плутарха, Издание Литпамятники, 1963 года...».

Боря, так же как и Рубашов, был убежденным холостяком. Нет, пожалуй, Боря был нечто большим, чем просто убежденным холостяком. Он был страстным и неуклонным противником семейных уз, полагая, что они отвлекают мужчину от единственного достойного его, истинного мужчины, занятия – борьбы с деспотическим советским режимом. «Враги человеку домашние его», – пугал он Валю Курьшеву, которая была уверена, что автором этих знаменитых слов был сам Боря. При всей своей чудовищной и даже патологической образованности Боря во многом был детски наивен. К примеру, он свято верил, что советская власть падет, как только «народонаселение» – так Боря называл своих соотечественников – узнает правду об ее злодейской сущности. Узнать же правду оно, лишенное доступа к сам- и тамиздату, могло только от Солженицына, Шаламова и других запрещенных авторов, включая маркиза де-Кюстина, неизвестно как попавшего в эту компанию. Приняв за аксиому эту ложную и утопическую доктрину, к которой он одно время умудрился приобщить и меня, Боря все свои силы, время и деньги тратил на закупку, хранение и распространение соответствующей литературы. К сожалению, в процессе своей благородной миссии он так увлекся, что перестал замечать, что открывает уже открытые глаза. «Народонаселение» московско-питерских НИИ,

давно изжив последние иллюзии, печально наблюдало, как все возвращается на круги своя.

Думая о Боре нельзя обойти одного довольно печального для него обстоятельства. Боря был человеком глубоко пьющим, и этот извечный русский недуг был, пожалуй, единственно тем, что хоть как-то роднило его с поголовно пьющим населением его социалистической родины. Но Боря не был бы Борей, если бы поводы для пьянства у него были те же, что и у 300 миллионов его соотечественников. В начале мая, когда страна дружно отмечала весенний праздник Труда, Боря принципиально воздерживался. Зато начиная с 27 мая, на который падал день рождения Петра Яковлевича Чаадаева, он, что называется, отрывался по полной. Факт появления на свет первого русского западника был для Бори событием такой важности, что отмечать его он начинал «по-еврейски», т.е. накануне вечером, с «первой звездой». Таким образом, добраться до работы на следующий день у него уже не было никакой возможности. В силу этого обстоятельства, Боря вынужден был и весь следующий день пить здоровье великого русского философа, друга Пушкина и декабристов.

Глубочайшее духовное родство между Борей и Чаадаевым было основано на страшном приговоре, который оба они вынесли России. Только Чаадаев сделал это на 150 лет раньше. «Прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее нет» часто повторял вслед за своим кумиром Боря, как бы от своего имени. Хорошо, замечу я от себя, что советские люди, за исключением пары, тройки помешанных на русской литературе евреев, понятия не имели о том, кто такой Чаадаев и потому пребывали в счастливом и безмятежном неведении относительно своего невыносимого настоящего и отсутствующего будущего.

Чаадаев окончательно отвлек нас от болезненной темы непобедимого пристрастия Бори к алкоголю. Пристрастие это имело бы какое-то оправдание, если бы оно, хоть на время, превращало его из желчного меланхолика в жизнелюбивого сангвиника. Но, к великому сожалению, «приобщение к таинствам Бахуса», как витиевато сам Боря именовал неразборчивое потребление крепких спиртных напитков, не могло снять с него тот груз ответственности за неразумное человечество, которое он добровольно возложил на свои широкие плечи. Не веселило оно Борину душу. Печаль Бори была неизбывной. Она носила экзистенциальный характер и подымалась до уровня всемирной тоски.

В этом месте у меня возникло досадное ощущение, что грандиозная, во всех смыслах этого слова, фигура Бори, вызывает к

иному литературному жанру, нежели незатейливые заметки о паноптикуме, имевшем место в одном из питерских НИИ в начале 80-х годов прошлого столетия. И хотя я еще не знаю, к какому именно жанру, эпиграф к этому ненаписанному тексту у меня уже есть:

«Стремление к истине святой,
Да вера в голос благородный
Своей души, да дух свободный -
Вот катехизис ваш простой».

Или нет, пожалуй, вот этот подойдет лучше:

«Есть кони уж от природы
Такой породы, –
Скорей его убьешь,
Чем запряжешь».

Не трогать Валу!!!!

Рубашов наблюдал за неравной борьбой Бори с советской властью со снисходительным равнодушием, в котором проглядывалась, хотел он этого или нет, известная доля презрительной жалости. На все летние месяцы он без всякого сожаления засылал Борю на сельхозработы в подшефный совхоз. Не вызывает сомнения, что уровень политического сознания местных жителей деревни Заханье, Волосовского района, куда Боря обычно определялся на трехмесячный постой, становился к концу лета значительно выше, чем в среднем по району.

Но один раз Боря получил от босса приказ немедленно приостановить свою просветительскую деятельность. А случилось это так.

Как-то Валя Курышева зачитывала нам цитаты из ставшей для нее настольной книги под названием «Метафизическая природа русского пьянства». Нет нужды упоминать имя того, кто снабдил ее этим научным пособием. С помощью этой книги Валя надеялась понять, наконец, истинную причину наследственного пьянства, которым страдал Валин «благочестивый». Так она называла мужа.

Читающая вслух Валя привлекла внимание проходящего мимо Рубашова. Лицо его по мере Валиного чтения, приобретало все более сосредоточенное и напряженное выражение.

– Гриш, послушай, очень интересно, благоверному своему хочу дать на изучение, – сказала Валя, которая единственная была с Рубашовым по имени и на ты. Простодушная Валя, не чужая надвигающейся на Борю беды, перешла к следующему параграфу.

Помнится, там было что-то по поводу русских пословиц о пьянстве, «в которых поднимаются наружу древние и мистические пласты коллективного бессознательного русского народа».

Слова «коллективное бессознательное» из уст Вали произвели совершенно неожиданное воздействие на Рубашова. Не прерывая увлеченную чтением Валу, он резко развернулся и подошел к Боре, который в состоянии глубокой экзистенциальной тоски смотрел в осциллограф.

– Зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет, – нарушил он Борино уединение, – и, кстати, прихватите с собой Софию Александровну.

То, что Рубашов назвал меня по имени отчеству, было тревожным предзнаменованием. Все в лаборатории, включая его самого, называли меня Соней.

– Господа, – тихо, но угрожающе, обратился он к нам, закрывая дверь в свой кабинет. – Я настоятельно прошу вас не трогать Валу. И заметно возвысив голос в сторону печально внимающего ему Бори, медленно и разделяя слова на слоги, повторил: «Ва-лю – не тро-гать!!.. Иначе я буду вынужден принять соответствующие меры».

Валя была родом из Калининской области, куда ездила каждый отпуск помогать матери собирать лук. Несмотря на то, что муж у нее, как уже было сказано, был запойный алкоголик, Валя, вопреки расхожему мнению, и не думала впасть ни в какие депрессии.

Попутно хочу заметить, что Валя бесконечно разочаровала бы американских феминисток, доведись им познакомиться с ней в то время. Она абсолютно не вписывалась в излюбленный феминистками образ несчастной жертвы мужа-алкоголика. Валя была веселая, доброго нрава и необыкновенно толковая в своем деле.

Одна из немногих, она приходила на работу, исключительно для того, чтобы выполнять свои обязанности техника.

Вот почему Рубашов был так обеспокоен, чтобы евреи не заманили Валу в свои сети. «Мистические пласты» и «коллективное бессознательное» явились для Рубашова зловещим признаком того, что за Валу уже взялись основательно.

Ханин и другие

На весь коллектив из 20 человек имелся только один пожилой партиец, Ефим Моисеевич Ханин, который занимал загадочную должность заместителя Рубашова по научно-

экономической работе. Его печальные глаза за толстыми стеклами очков часто смотрели на нас с молчаливой укоризной. Идеологически близкие ему люди – члены институтской партийной ячейки были далеко, в главном здании института. В любом случае он не мог бы разделить с ними боль по поводу творимых в переулке Ильича безобразий, так как к чести Ефима Моисеевича, доношением он не занимался и в стукачах не состоял.

Безобразия творились у нас повсеместно, но в одной из комнат, выделенной под курительную, они носили особенно вызывающий характер. Обычно, после обеденного перерыва, народ гурьбой валил в эту комнату на перекур. Буквально через несколько минут лица курильщиков терялись, как в густом тумане. К несчастью, Ефим Моисеевич был человеком курящим, что время от времени вынуждало его становиться свидетелем идейно чуждых ему разговоров. Особенно непереносимым для чуткого партийного уха Ханина был один страстный и нескончаемо ведущийся в лабораторных кулуарах диспут, тему которого для краткости можно обозначить как «фашизм vs. коммунизм». Дело в том, что одним коммунизм как идеология представлялся опаснее фашизма, к этой фракции, среди прочих, принадлежал, разумеется, Боря. В то время как другие полагали совершенно обратное, третьи же, в свою очередь, приводили доказательства в пользу того, что отличия носят формальный характер и в принципе, это одно и то же. Если дискуссия по этой животрепещущей теме разгоралась в присутствии Ефима Моисеевича, ему приходилось немедленно ретироваться, чтобы не стать невольным соучастником творимого непотребства. Иногда, впрочем, обсуждались темы самые заурядные, житейские: о детях, футболе, машинах, женщинах, тряпках, огородах, ремонтах и еще черт знает о чем. В такого рода беседах Ефим Моисеевич принимал самое активное и оживленное участие, как бы давая нам понять, что в данном случае у Партии нет никаких нареканий и претензий к собравшимся.

Существовала еще одна, не менее трепетно обсуждаемая и тоже не имеющая разрешения дилемма: Толстой и Достоевский, Москва и Петербург, певец плоти и певец духа. Эта была самая малочисленная, но часто собирающаяся на заседания фракция. Она состояла из двух человек. Тон в ней задавал тот же Боря, который, как тогда говорили, «был зачат под знаком Достоевского». На стороне Толстого выступал автор этих строк, защищая своего кумира от лживых и поверхностных обвинений в дешевом проповедничестве и лицемерии.

Однажды из-за меня, а точнее из-за моей патологической

лени произошел некий забавный случай, имеющий прямое отношение к Ханину. Это было в 1982 году, сразу после ноябрьских праздников. Кончался обеденный перерыв. Я сидела за своим столом и дочитывала «Осень Патриарха». Под невыразимо прекрасные звуки адажио Альбини, которые лились из радиоприемника, я благополучно дошла до последней страницы, до того места, где описана смерть казавшегося бессмертным старца, того, кто лежал «...чуждый жизни, глухой к неистовой радости людских толп, что высыпали на улицы и запели от счастья...». Внезапно божественные звуки адажио оборвались, и в комнате установилась зловещая тишина. Через несколько мгновений голос диктора объявил о том, что умер Брежнев.

Я еще не успела пережить потрясения, вызванного мистическим совпадением событий вымышленного и реального мира, как ко мне подбежала секретарша Рубашова, Марина Черемных, с пунцовым от обуревающих ее чувств лицом. Марина находилась в состоянии крайней степени возбуждения, так как ей поручили немедленно организовать сходку, причем не обычную лабораторную пьянку, по рублю с носа, а нечто значительно более грандиозное, так, чтобы размах празднования был адекватен породившей его причине. Марина пихнула мне в руки старую рубашовскую кепку.

«Обойди всех, с мужиков – по трехе, с женщин – по два» – скороговоркой проговорила она и со всех ног умчалась хлопотать дальше. Мне захотелось еще раз, теперь уже другими глазами, перечитать о «неистойой радости народных толп» при известии о смерти того, кто, казалось, никогда не умрет, и поэтому я стала оглядываться, ища кому можно было бы перепоручить кепку. На глаза мне попала Ирочка Брук, восемнадцатилетняя девица, не прошедшая по конкурсу в текстильный институт минувшим летом и где-то с неделю назад прибившаяся к нам в качестве лаборантки. Ее невероятной длины ноги, слегка прикрытые короткой юбкой, отвлекали от работы мужчин и вызвали тихую зависть у женщин. По интеллекту вслед за этой девушкой шли уже цветы. Передав этой ненадежной кандидатуре Маринин инструктаж в придачу к кепке, я вернулась к Маркесу. Первый человек, к которому подошла ничего не подозревающая о его партийной принадлежности Ирочка, был, разумеется, Ефим Моисеевич.

– Мы собираем деньги на празднование смерти Леонида Ильича, с Вас – три рубля – звонко отпечатала Ирочка за моей спиной. Хорошо, что она не сказала «Дорогого Леонида Ильича» – подумала я. Хотя в этот день Ханин выглядел особенно неприкаянным и даже раньше ушел с работы, я не думаю, что он

по настоящему был опечален смертью «казавшегося бессмертным старца». Просто он, наверное, не хотел быть свидетелем очередных, причем вполне кощунственного свойства бесчинств, творимых «в этот траурный для партии и всего советского народа день» в Переулке Ильича.

Весна в Питере

В здешних краях, где я живу последние 20 лет, нет времени года. Вернее, время есть, а смены его нету. На поэтическом языке это райски прекрасное, но быстро приедающееся однообразие именуется «Вечной Весной». Именно здесь, «где небо синее и не слиняет хоть на час» и «где розы блещут в декабре», декабрь этот почти не отличается от июля, и климатически совпадает с погодными условиями, которые обычно налаживаются в Питере к концу апреля. Только там весну ждали как божью награду, как драгоценное избавление от бесконечно долгой зимы.

...Зима кончалась гортанными выкриками теток, бойко торгующих вялые венички мимозы у Витебского вокзала накануне 8 марта. Впрочем, ничего специфически ленинградского в этом не было.

Где-то к середине марта снег сворачивался вплотную к домам черными, сверкающими на солнце толевыми рулонами. Помню изменение состава воздуха весной, но описать это не берусь, не умею.

Когда в апреле от безоблачной синевы неба и яркого солнца начинало слепить глаза, мы покидали наше подземелье и небольшими стаями, в зимних пальто нараспашку, захватывая весь отведенный на обед час, а иногда и сверх того, шатались по Загородному. Женщины, сбросившие опостылевшие за зиму шапки, хорошели на глазах.

Примерно в то же время, к середине апреля, на столе, в главной комнате лаборатории, где мы совместно поедали принесенную из дому еду, появлялась религиозно почитаемая в Питере корюшка и ее вечные весенние спутники – до неприличия длинные и бесполезные парниковые огурцы. Особым питерским деликатесом считалась даже не жареная, а маринованная корюшка.

Иногда в мае вдруг внезапно задувал ледяной ветер и становилось холодно, как зимой. Коренные ленинградцы давно к этому притерпелись. В отличие от них, «дети юга» страдали ужасно, не могли свыкнуться, кутались, индеели от холода. У нас работала супружеская пара, Лида и Сережа Стабровские. Лида была красавица-украинка, высокая, с гибкой талией, и густым,

рдеющим румянцем на запущенных щеках. Сережа – ленинградец, тощий, бледнолицый, бывший блокадный ребенок.

По замужеству Лида перебралась из Полтавы в Ленинград, где бы вполне прижилась, если бы не чудовищный, на ее полтавский взгляд, климат.

Особенно страдала она от внезапных майских холодов. Ее все успокаивали, разъясняли ей, что это ненадолго, говорили что-то про зацветшую черемуху или внезапно пришедший в движение ладожский лед. Лида покорно кивала головой, но при этом в глазах ее, ярко-синих, как небо над родной Полтавой, стояли слезы.

В нижнем отделении рабочего стола у Лиды хранилась большая банка, с «эликсиром жизни», к которой она часто прикладывалась сама, а также угощала нас. Туда входили перемолотые орехи, мед, масло, коньяк. Сама Лида искренне считала, что эта чудодейственная смесь помогала ей пережить «питерские весны».

И прощаться легко, только некая грусть...

Так случилось, что весна 1989-го оказалась моей последней весной в Питере.

19 декабря, в день похорон Сахарова, лаборатория бесконтактной техники, в неполном, но дорогом мне составе, пришла проститься со мной на Варшавский Вокзал, откуда поездом Ленинград-Варшава я уезжала из Питера навсегда. Помню, что день выдался серый, слякотный, промозглый, как раз под стать тому, что творилось в душе. Мы с Таней приехали на вокзал первыми, в груженном чемоданами такси. Она ночевала у меня, мы не спали всю ночь, паковали вещи, а больше курили, говорили так, как никогда раньше, как говорят перед долгой разлукой только очень близкие люди... От бессонной ночи ее лицо на вокзале казалось еще тоньше, прозрачнее.

Рубашов пришел в новой дубленке, но со старым портфелем, кожа которого стиралась и старела буквально на моих глазах в течение последних 15-ти лет. Немедленно по приходе из этого портфеля была извлечена бутылка армянского коньяка. Предусмотрительная Валя принесла граненые стаканчики, заботливо обернутые в обрывки старых газет, чтоб не побились в трамвайной давке. Все наперебой пытались острить, изо всех сил старались развеселить меня, но веселья не получалось, и лица моих, почти уже бывших сослуживцев, были сумрачно-печальны, несмотря на вмиг опустошенную бутылку.

Валя, кроме стаканчиков, привезла на вокзал торбу, полную банок с домашними консервами, которую она, добрая

душа, тащила на себе через весь город. Содержимое банок варьировалось от заливного из кролика до брусничного варенья.

– Бери, бери, кролик мамин, по траве бегал, а там, небось, нитратами людей травят, – говорила, подверженная многолетней антиамериканской пропаганде, Валя.

До этого Лида Стабровская, с заплаканными ярко-синими глазами, и сама совершенно посиневшая от холода, вручила мне двухлитровый бидон со своей чудодейственной смесью.

– Там это не нужно, там всегда тепло – попыталась я отвертеться от ненужной мне тяжести.

– Все равно возьми, нервы будете этим лечить, там ведь самое главное в депрессию не впасть, – настояла Лида.

В момент, когда Лида передавала мне из рук в руки свой драгоценный бидон, я увидела в начале перрона Борю, который приближался к нам быстрым, нервным шагом. Буйно-кудрявая голова моего непутевого друга со спутанными декабрьским ветром волосами заметно возвышалась над толпой провожающих. Шапок он не признавал. Я впервые с болью заметила, что «золото его волос тихо переходит в седость».

Боря был необыкновенно мрачен. Уже пять дней он неутешно горевал по ушедшему Сахарову. Видно было, что активно «приобщаться к таинствам Бахуса» он начал давно, со дня его смерти. На момент моего отъезда, который пришелся на самый разгар «перестройки», мы с Борей были подписаны и распространяли в народе 10 периодических изданий – по пять на каждого, включая, к примеру, такой ежемесячник как «Трезвость и культура». В каждом из 10 изданий печатали то, за что еще совсем недавно сажали. Мой отъезд увеличивал нагрузку на Борю ровно в два раза.

На перроне Варшавского вокзала я получила от него прощальный подарок.

– Это тебе там пригодится, – сказал он, протягивая мне подарочное издание «Божественной Комедии». Когда поезд тронулся, и пронзительно дорогие мне лица стали медленно исчезать в ранних декабрьских сумерках, я открыла книгу на заботливо заложенной закладкой странице и слепыми от слез глазами прочла оказавшиеся пророческими строчки:

Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.
Но худшим гнетом для тебя отныне
Общенье будет глупых и дурных,
Поверженных с тобою в той долине.

За двадцать лет жизни в Америке я работала в десятках компаний. Как правило, они располагались в прекрасных комфортабельных дворцах из стекла и бетона, в которых были учтены все правила эргономики. Припоминаю даже, как одна, нанявшая меня на контракт, компания в Силиконовой долине сдала самый современный из всех своих корпусов в короткую аренду голливудской студии для съятия фильма «О будущем». Вход во все эти компании контролировался с помощью электроники. Но никогда я не открывала ни одну из этих высокотехнологичных дверей с тем чувством невыразимой радости бытия, с каким каждый божий день последних пятнадцати лет моей питерской жизни я отворяла подвальную дверь бывшей дворницкой дома номер 12 по Переулку Ильича.

Сан-Франциско



Елена Матусевич

Из цикла «Весна в Лейпциге»

На главной улице рояль



толпе, впереди, вся другая, волоокая, с профилем. Непомерно темны, расширены от звуков глаза. Она вся – наверх: ее цветок к его солнцу, к его чужому солнцу чужой музыки. Молода и прекрасна дева Корана. Забыты девочка, висящая справа, младенец, висящий слева, он, напирющий сзади, плешивый и низкий, с вывихом бедра. Она одна, впервые одна, нежно вырезана, отрезана от мягкой, липкой, тягучей, как сырая арабская лепешка, дремоты невинности.

Но уже мутно, толсто, тяжело, как ослепший циклоп, крутит он коричневой головой. Уже тянет, тащит, давит растревоженным жиром на прямой, гибкий, сочный росток ее предательства, ее новой, только что случившийся отдельности. Еще не понимая, с трудом, она поворачивается к нему, смотрит, и, не в силах, отводит, опускает, закрывает веки. Тонкой прохладной судорогой легли между ними нежные чужие звуки. На главной улице рояль. Шопен. Весна. Европа.

В парке

В прелестном парке прелестного города первый теплый день, и все счастливы. Вылезли наружу муравьи, птахи, студенты, старички. Весь парк ест мороженое. Мы тоже: я малиновое, он ванильное. На поребрике красивый папа с красивой курчавой девочкой и красивым младенцем едят шоколадное. В прелестном парке прелестного города фонтан, уточки, сирень, тюльпаны, качели и кафе-гриль.

Пожилая чета набрала пива, сосисок и кофе. Горчица на сосиске, сосиска на булочке, булочка на тарелочке, старик тянет все это в рот. Сосиска не дается, скользит, скачет, брызжет горчицей и жиром: у него сильно дрожат руки. Он подхватывает, упускает, ловит бородатými губами, лижет, пачкается.

Ее передергивает тошнотой: «Ты что? Ты что, не знаешь, что ты не можешь так есть? Больше не можешь? Ты не знаешь?»

Руками, с двух сторон, как шорами, закрывает она его от соседних столиков. Дрожа от брезгливости и стыда, накаливает и подает ему сосиску. Он ест булочку отдельно, успешно. Сосиска на вилке обретает равновесие, и она убирает руки, распрямляется, берется за кофе. Еще немного, и она улыбнется, погладит его по гречневой руке, а он виновато поднимет лохматые брови. По столу поползет муравей, и старик услужливо подвинет к нему просыпанный из пакетика сахар.



Александр Матлин

О вредности устного счёта



Марине повезло: через месяц после приезда в Америку она получила свою первую работу. Везенье это было сказочное и совершенно необъяснимое, потому что английского языка Марина не знала. Она начала учить его по пути в Америку, и за два месяца ожидания американской визы в Италии выучила “спасибо”, “до свиданья” и ещё несколько слов и выражений, полезных в быту, но никак не пригодных для того, чтобы отвечать на вопросы во время интервью. Почему её взяли на работу, она так и не поняла.

Работа была в небольшом магазине детских товаров в Беверли Хиллс, самом дорогом и престижном районе Лос-Анджелеса. В этом магазине младенческие ползунки стоили в три раза больше, чем брючный костюм, который Марина купила себе специально для работы. Маленький плюшевый мишка стоил столько, сколько Марина тратила на еду за целый месяц. Чтобы далее не травмировать читателя, я не буду приводить всего прејскуранта. Несмотря на заоблачные цены в магазине, зарплата Марины была весьма скромной: два доллара в час.

В те старые добрые времена минимальная зарплата в Америке была по закону 2,25 в час, так что хозяйка магазина миссис Варшоски, элегантная крашеная блондинка среднего с плюсом возраста, недоплачивала Марине 25 центов, тем самым, нарушая закон. Чтобы избежать конфликта с правосудием, миссис Варшоски платила Марине наличными. Это устраивало всех, кроме, разве что, федерального налогового управления, но оно об этом ничего не знало и, представьте себе, так и не узнало до самого конца нашего повествования. Поэтому речь сейчас не об этом.

В обязанности Марины входило мыть витрины, пылесосить полы и подавать кофе особенно важным покупателям. Магазин был маленький, покупатели заходили редко, поэтому Марина легко справлялась со своими обязанностями. К концу дня у неё даже оставалось время на то, чтобы читать детские книжки,

что повышало её уровень английского языка. Это не ускользнуло от внимания миссис Варшоски.

– Мерайна, – сказала она, обращаясь к Марине со щедрой улыбкой. – Ты хорошо работаешь. Я очень довольна. Я должна тебя вознаградить дополнительными обязанностями. Ты будешь помогать нам вести бухгалтерию. Ты знаешь цифры?

Она говорила громко и медленно, чтобы Марина наверняка её поняла. Всё равно, Марина не поняла ничего из того, что сказала миссис Варшоски, но на всякий случай ответила:

– Окей.

– Прекрасно! – сказала миссис Варшоски. – Мне не зря говорили, что русские девушки очень умные. Садись.

Она достала из стола пачку каких-то жёлтых листков, похожих на квитанции, и открыла толстую бухгалтерскую книгу.

– Это, Мерайна, называется *инвойс*, – членораздельно сказала она, показав на квитанцию. – Это счёт за товар, который мы купили на прошлой неделе. Понятно?

Марина опять ничего не поняла, но кивнула головой.

– Вот здесь, – сказала миссис Варшоски, показав пальцем на угол *инвойса*, – указана сумма. Ты должна скопировать её в эту книгу. Вот в эту колонку. Вот так.

Она записала сумму в колонку и торжествующе посмотрела на Марину. Потом она взяла другой *инвойс* и тоже записала его сумму в должную колонку, под предыдущей суммой.

– Дальше делай это сама, я посмотрю, как у тебя получится, – сказала она, передавая ручку Марине.

На этот раз по жестике миссис Варшоски Марина поняла, что от неё хотят. Она быстро переписала в книгу суммы *инвойсов*, коих было штук десять, положила ручку на стол и выжидающе посмотрела на свою работодателя.

– Фантастика! – сказала миссис Варшоски, задохнувшись от восторга. – Теперь я сама вижу, что русские девушки очень умные. Дальше будет самое трудное. Ты должна сложить все эти числа и записать результат вот сюда.

Она подвела черту под колонкой чисел и показала пальцем в то место, куда следовало записать результат.

– Триста пятьдесят шесть шестьдесят, – сказала Марина, с трудом выговаривая английские слова.

– Что ты имеешь в виду? – спросила миссис Варшоски.

– Триста пятьдесят шесть шестьдесят, – повторила Марина.

– Я не понимаю, что ты говоришь.

Марине стало ясно, что миссис Варшоски плохо разбирает

её произношение. Она взяла ручку и написала в колонке под чертой: \$356.60. Миссис Варшоски нахмурилась.

– Ты меня не поняла, – сухо сказала она, зачеркивая то, что написала Марина. – Тебе надо больше заниматься английским языком. Прежде, чем писать, ты должна сложить все эти числа, а уже потом заносить результат в книгу. Складывать надо с помощью калькулятора. Знаешь, что это такое?

Повернувшись в сторону, она закричала:

– Линда, принеси мне калькулятор!

На зов явилась помощница миссис Варшоски Линда, тоже крашеная блондинка такого же туманного возраста, как миссис Варшоски, только слегка увеличенная в объёме.

– Покажи Мерайне, как пользоваться калькулятором, – сказала миссис Варшоски.

Калькулятор показался Марине чудом. В то время электронные калькуляторы только появились в Америке. В Советском Союзе о них никто не слышал. Там считали на счётах, от которых в бухгалтериях стоял треск, как на стрельбище. Или на других оглушительных устройствах, увесистых цельнометаллических арифмометрах “Феликс”, получивших среди инженеров ласковую кличку “Железный Феликс”.

– Смотри внимательно, как я это делаю, – сказала Линда. – Потом ты будешь это делать сама.

Она начала складывать числа, медленно нажимая кнопки калькулятора. После каждого нажатия кнопки она поворачивалась к Марине и спрашивала:

– Понятно?

Дойдя до конца колонки, она сказала:

– Теперь самое важное: итог. Надо нажать вот сюда.

Она нажала на кнопку знака равенства, и на экране калькулятора высветился результат: 356.60.

Наступило гробовое молчание. Марина вопросительно смотрела на Линду, ожидая дальнейших инструкций. Линда в испуге смотрела на миссис Варшоски. Наконец, миссис Варшоски сказала, слегка побледнев:

– Откуда ты узнала?

Марина вопроса не поняла, но уловила, что хозяйка чем-то недовольна, и поэтому сказала на всякий случай:

– Окей.

– Откуда она узнала? – повторила вопрос миссис Варшоски, на этот раз, обращаясь к Линде.

За долгие годы работы с миссис Варшоски Линда усвоила, что на вопрос нужно отвечать, независимо от того, понимаешь ли

ты вопрос и знаешь ли ответ. Она сказала:

– Наверно, она выкрала у меня из стола калькулятор, потом выкрала у вас из стола *инвойсы*, сложила их, запомнила сумму и всё положила на место.

– Зачем?

– Откуда я знаю? – чуть не сказала Линда, но во время спохватилась и правильно ответила на поставленный вопрос:

– Чтобы получить прибавку. А может, просто случайно угадала.

Миссис Варшоски задумалась. Потом она достала из стола два листка розового цвета.

– Смотри, Мерайна, – сказала она. – Это возвраты. Это то, что мы вернули нашим поставщикам. Их надо вычесть из общей суммы.

Она записала под колонкой суммы возвратов со знаком минус, показала пальцем, куда нужно занести результат, и сказала:

– Линда, покажи ей, как делать вычитание.

– Триста двадцать один сорок, – сказала Марина.

– Ты лучше помалкивай и делай, что тебе говорят – сказала Линда, зная, что Марина её не поймёт.

Она медленно продемонстрировала Марине процесс вычитания, нажала на знак равенства, и на экране высветилось: 321.40.

Линда и миссис Варшоски в ужасе посмотрели друг на друга. Миссис Варшоски сказала изменившимся голосом:

– Окей, Мерайна, можешь идти.

Когда они остались вдвоём, миссис Варшоски убрала *инвойсы* в стол, перевела дух и сказала:

– Ну, что будем делать?

– Надо позвонить в полицию, – решительно сказала Линда. – Или Бёрни Гринбергу.

Бёрни Гринберг был юристом, к которому миссис Варшоски обращалась в случаях крайней необходимости. Они были старыми друзьями, и поэтому Бёрни не брал с неё денег за короткие телефонные звонки. Конечно, если разговор затягивался, тогда Бёрни присылал счёт. Он ценил своё время.

Бёрни внимательно выслушал рассказ миссис Варшоски о странной русской девушке, которая не умеет говорить по-английски, но при этом складывает и даже вычитает числа, не пользуясь калькулятором. Он глянул на часы и вынес такой приговор:

– Здесь что-то нечисто. То, что ты рассказываешь, невозможно. Она явно знает какой-то фокус. Тебе надо от неё

избавиться как можно скорее; при таких способностях, ты никогда не знаешь, что она может устроить. Особенно, если она, не дай Бог, научится говорить по-английски. Не вздумай звонить в полицию, эта русская у тебя работает незаконно. Прибавь ей 25 центов, оформи её на постоянную работу, как полагается, а потом увольняй. На каком основании? На том, что у неё чересчур высокая квалификация. А пока что, не разрешай ей считать в уме. Скажи, что американские профсоюзы этого не допускают. Я тебе пришлю счёт за четверть часа. Привет.

Миссис Варшоски последовала совету своего юриста, и неделю спустя Марина в слезах навсегда покинула магазин детских товаров в Беверли Хиллс.

Прошло несколько лет.

Мы точно не знаем, сколько именно лет, да это и не имеет значения для такого маленького рассказа. Важно то, что годы прошли, у миссис Варшоски выросли дети, и вот уже самый младший из них, Джейк закончил колледж и пригласил свою маму на выпускное торжество.

Просторный холл университета кипел радостью, и по нему бесцельно слонялись празднично одетые молодые люди, бывшие студенты, а теперь дипломированные специалисты, со своими счастливыми мамами. Джейк подвёл миссис Варшоски к стройной, элегантно одетой шатенке и сказал:

– Мама, познакомься. Это моя учительниц, профессор математики миссис Бродин.

– Хелло, миссис Варшоски, – сказала Марина. – Рада вас видеть. У вас очень способный сын.

– Мерайна, это ты? – выговорила миссис Варшоски, с трудом приходя в себя от шока. – Когда ты стала профессором математики?

– Очень давно, миссис Варшоски. Задолго до того, как мы познакомились, – сказала Марина, демонстрируя безупречное владение английской грамматикой. – Как идёт ваш бизнес?

– Ничего. Спасибо. Я его закрыла. Можно тебя кое-что спросить? Джейк, подожди нас за тем столом.

Она отвела Марину в сторону.

– Мерайна, дело прошлое. – В голосе миссис Варшоски звучала мольба. – Скажи, откуда ты знала результаты сложения и вычитания?

– Посчитала.

– Как ты могла посчитать без калькулятора?

– В уме. У нас в школе, в четвёртом классе были уроки устного счёта. А разве вас в школе не учили считать?

– В школе, – задумчиво повторила миссис Варшоски. – В школе у меня был выбор: арифметика или сексуальное образование. Я выбрала сексуальное образование.

Она помолчала и добавила со вздохом:

– Видишь, Мерайна, каждый делает выбор по своему призванию.

– Это правда, – согласилась Марина. – Хорошо, что у меня не было выбора. Не знаю, куда бы меня завело моё призвание.

Они расцеловались.



Анри Труайя

Два рассказа

Перевод Эдуарда Шехтмана



оланж Виолянс, популярная романистка, воздела очи к потолку, губы её дрогнули, и она разразилась фразой из последней главы своей предпоследней книги:

– Дорогой мой, я люблю тебя всей силой моей разбуженной женственности!

– О! Соло! - выдохнул молодой человек, идущий за ней по пятам. Он не был романистом и потому не сумел ничего более добавить к этому краткому и безыскусному выражению своей страсти.

Неумение изъясняться придавало Жаку Бруйеду особенную привлекательность и служило ему куда большую службу, чем самое изощренное красноречие. Потому что у Соланж всегда был случай вволю поговорить за двоих.

– Ты! - вскричала она, оборачиваясь и обвивая своими знаменитыми руками его шею. - Ты разве не чувствуешь пряного привкуса нашего любовного свидания в моём рабочем кабинете? Ты в самом сердце моей жизни, в пульсирующей глубине моего гения, в тайном алькове моих романов. Они будут ревновать к тебе, у, неутомимое чудовище!

И она поцеловала его за ухом, как это проделывала героиня «Ароматной гибели», её первой книги, познавшей успех.

– О! Соло! - снова подал голос Бруйеду. Она приложила к его губам свой изящный палец и прошептала:

– Умолкни, роковой ангел, я провижу, куда стремятся твои упования! Когда ты говоришь, мне кажется, что некий присосок ползёт и впивается в моё сердце. Возьми меня своими большими руками мужчины, растопчи мою стыдливость, умерь моё неистовство, и я сумею отблагодарить за всё, чего ты добьёшься, обманув мою бдительность!

– А ты уверена, что твой муж не вернётся до конца недели? - осведомился Бруйеду.

– Мой муж? Разве у меня есть муж? - воззрилась на него Соланж.- Нет, потому что ты здесь! Нет, потому что я тебя люблю! Нет, потому что мы счастливы!

– Он уехал поездом в семь пятнадцать, будто так?

– Может быть! Я не знаю об этом ничего! Не задавай мне вопросов! Не напоминай о существовании расписаний, всей этой цифири, о разных там косвенных налогах и пешеходных дорожках!

– Как ты замечательно говоришь, Соло, и как же я тобой восхищаюсь! Ты, видно, сказала ему, что в его отсутствие поработаешь над новой книгой?

– Моя новая книга - это ты, у, чёрное солнце, крыло дикой бабочки, луч и слеза!

– О! Соло! Ты околдовала меня, - простонал Бруйеду.

Он с восхищением смотрел на эту высокую, полную, красивую блондинку, чьё лицо как лампа светилось в притемнённой комнате. После шести месяцев связи с женой директора (фирма «Измерительные приборы Минюс») Жак Бруйеду всё ещё удивлялся своему везению. Он, верно, был строен, черноволос и холост. Но никогда не предполагал, что столь заурядных качеств вполне достаточно, чтобы завоевать любовь великой Соланж Виолянс, чьё фото и имя то и дело попадали на страницы парижских газет. А всё началось совершенно случайно. По окончании лекции Соланж на тему «Феминизм и развитие торговых обменов с Северной Африкой» в частном отеле патрона давался банкет. Сюда Леон Виолянс пригласил и своего юного секретаря Бруйеду. Сидя неподалёку от романистки, юный секретарь сразу попал под обаяние этого изобилия плоти. Не прошло и трёх дней, как мечты Жака стали осязаемой (причём хорошо) реальностью. С тех пор - вот уже полгода - он ничего лучшего для себя и не желал.

Отъезд толстяка Виолянса на конгресс в Брюссель был неожиданным подарком.

– Наконец-то, - решила Соланж, - мы сможем отдаться нашей страсти без помех и в обстановке, достойной её и нас самих.

Сейчас в доме царил тишина - слуг она заблаговременно уснула. Первые быстрые поцелуи, и она увлекла Бруйеду в свой будуар в китайском стиле (красный цвет, циновки, специфические ароматы), где их ждал тонко сервированный ужин. «Ну точно, как в «Сокровище плоти» - вспомнилось Бруйеду, проникающему в эту сказочную комнату. И он обнял Соланж перед цветником из креветок и ломтиков задумчивых томатов.

– Мужчина! Злой мужчина! Безжалостный воин в

освящённых доспехах! - отбивалась Соланж.

– Соло! Соло! – ещё крепче сжимал её Бруйеду. - Я не голоден...

– Не соблаговолите ли вы замолчать и соблюдать приличия за столом, нерадивый пастух небесных пастбищ!

– Соло! Соло!

– Разворачивайте-ка салфетку, берите в руки вилку и забудьте о любви! Ах, какой праздник! Я ног не чувю под собой от счастья! Я...

Внезапно она умолкла с распахнутым ртом, взгляд её застыл, а кончик носа побелел от беспокойства. В замке входной двери поворачивался ключ. Потом шаги мужа пропороли безмолвие. Тяжёлые размеренные шаги. Шаги хозяина. Казалось, все предметы в доме вторят им с почтительным дребезжанием. Дверь будуара открылась, и Леон Виолянс утвердился перед растерянной парой как шкаф. У него был длинный, вытянутый до отказа нос, синеватые дряблые щёки и великолепный мрачный рот, вздрагивающий под рыжими усами. Он кулаком двинул себя по ляжке, этакому образчику первосортного окорока, и набычился.

– Что вы здесь делаете?

– Леон... - начала Соланж (она ещё успела подумать: «Надо же! Будто из «Мести самца»).

– Что вы здесь делаете, Бруйеду? - повторил Леон Виолянс, в голосе его зазвенел металл.

Жак, ссутулившийся и побелевший, в молчании пожёвывал губами. Сейчас всё это произойдёт... грохот опрокидываемых стульев, звон битой посуды, град пощёчин. Его дело пропащее. Соланж потеряна навсегда, а толстяк Виолянс скорее всего вызовет его на дуэль. Он способен на всё, этот разъярённый вепрь. Растерянный Бруйеду бросил умоляющий взгляд на свою подругу. Он увидел, что Соланж ничуть не в лучшем состоянии. С опущенной головой и полузакрытыми глазами, она, казалось, оцепенела.

– Ну! Я вас спрашиваю! - рявкнул Виолянс. Соланж вздрогнула. Ещё несколько секунд и отвечать будет поздно. Но что сказать? Изо всех сил она призывала на помощь героиню, порождённых её богатым воображением романистки.

Но никто - от баронессы д'Андињи до малютки Сюзи Амбруаз, от утончённой Элиан Болли до страстной Нана де Гратада - не откликнулся на её мольбу. Нет, положительно на неё нашло затмение! Она, Соланж Виолянс, которая в своих творениях не раз спасала женщин от вульгарных семейных сцен, насмешкой стирала в порошок столько разъярённых мужей, примиряла

множество поссорившихся пар, она не могла теперь ничего придумать для собственной защиты!

Сказали бы, что весь её ум ушёл в книги, ничего не осталось для грубой действительности. А этот дурачина Бруйеду терзал, между тем, пуговицы на манжете. А жирный Леон ритмическими толчками надувался как воздушный шар... Сейчас он должен лопнуть. Это точно. Чтобы выиграть время она пробормотала:

– Ты... ты разве не уехал в Брюссель?

Вот этого не следовало говорить. Бруйеду поморщился. Леон сардонически усмехнулся и прорычал:

– Я никому не даю отчёта! Я сам требую его! Меня внезапно задержали телеграммой, довольна? Но этот-то что делает здесь?

– Ну... ну, всё очень просто, - проблеял Бруйеду.

– Да, очень просто, - подхватила Соланж.

– Вы так считаете? - сверкнул белками глаз Виолянс. - Что он делает здесь, у меня, перед накрытым столом, вместе с моей женой, одетой в пеньюар?

– Вот, значит ...- начала Соланж, - мсье Бруйеду пришёл... и как раз, когда он пришёл... я со своей стороны...

Брови Леона сошлись в одну грядку у переносицы. Рот искривился, руки сжались в кулаки.

– Что ты там такое себе вообразил? - зашепила Соланж. - Опомнись. Существуют подозрения, которых женская стыдливость не может допустить. Есть же границы этой... разнузданности супружеской ревности. Я требую хотя бы минимума уважения, а равно и желания понять другого. Мсье Бруйеду пришёл ко мне, это правда...

– Счастлив, что признаешь это...

– Пришёл, ко мне, чтобы... чтобы...

– Да, чтобы?... - прищурился Леон.

– Гм... хм... это очень деликатная вещь... Есть одно дело...

– Я не вижу, какого рода дело может быть у тебя с моим личным секретарём!

– Дело... дело...

Бруйеду крупно потел. Соланж стояла вся красная с растрепавшейся причёской и увлажнёнными глазами. Виолянс бормотал сквозь стиснутые зубы:

– Негодяи, мелкие негодяи...

– Дело... а! Я не должна была тебе этого говорить... он просил меня молчать...

Вдруг ангельская улыбка коснулась уст Соланж. Она

глубоко вздохнула и произнесла сладким голосом:

– Ты хочешь знать всё? Ладно! Бедняжка Бруйеду, я сейчас просто обязана раскрыть ему наш маленький секрет.

Жак почувствовал, как сердце у него полетело в пятки.

– Да, да, - глухо промолвил он.

– Так вот, - выпрямилась Соланж. - Бруйеду пришёл ко мне потому, что недавно написал роман и ему нужна моя поддержка у издателя.

– Что ты мне тут поёшь? - поднял брови Леон.

– Ничего, кроме правды, мой дорогой.

Виолянс перевёл взгляд с жены на секретаря, а с него на кончики своих башмаков. Внезапно он разразился смехом.

– Ну и ну! Надо же!

– Смеяться не над чем, - сухо заметила Соланж. - В романе Бруйеду масса достоинств. Но наш молодой автор скромнен, как скворец. Мне стоило труда уговорить его показать рукопись. Он не хочет, чтобы ты думал, будто он забросил свою работу в бюро ради литературных занятий.

– Что за вздор! - живо возразил Леон. - Не дубина же я какая-нибудь.

– То же сказала ему и я, мой ангел. Однако он не показался успокоенным и просил держать в секрете наше... небольшое сотрудничество. Я подумала, воспользуюсь-ка твоим отсутствием, чтобы обстоятельно поговорить с ним о романе.

Леон Виолянс с недоверием слушал эти успокаивающие слова. Не сразу, но он давал себя уговорить, к нему возвращалось благодушие. Порозовевший, с глазами-щёлочками, он похлопал по плечу своего секретаря:

– Ну и скрытный же вы тип! Он тоже подался в литературу! Это какая-то болезнь! Бруйеду романист, романист Бруйеду! Извините меня, но я не могу ещё к этому привыкнуть.

– Я тоже, мсье Виолянс, - прошептал Бруйеду. Леон зашёлся в смехе:

– Шутник! Не пример ли моей жены подвигнул вас?

– Э - э... да, да, - кивнул головой Жак.

– О, тогда за вас отвечает она, тогда понятен и этот ужин, и поддержка у издателя. А скажите, малыш, этот роман... Как же он называется?

– Называется? - словно эхо повторил Бруйеду, и колени его ослабли.

– Да, называется.

– «Уста полны огня», - молниеносно нашлась Соланж.

– Названьице из легкомысленных, ты не находишь,

дорогая? - усмехнулся Леон. – «Уста полны огня»! Ну Бруйеду, ну повеса! Забавно будет прочесть такое! Это чтение согреет меня зимними вечерами. Оно вернёт мне мои двадцать лет. «Уста полны огня»!

Истерзанный Бруйеду попытался изобразить улыбку.

– Каков же сюжет? - спросил Виолянс.

– Ну... сюжет самый простой... Речь идёт о мужчине и женщине...

– Они любят друг друга?

– Да.

– Дьявольски оригинально, малыш!

– То есть нет... они не любят друг друга... Или, точнее, сначала не знают, что любят, а на самом деле любят, потом они думают, что любят, тогда как не любят больше и, наконец, они думают, что не любят уже друг друга, а на самом деле любят...

– Какая прозрачность!

– Не мучай ты этого беднягу, Леон. Он так робок. Каждый молодой автор припорошён пылью стыдливости, затянут паутиной сомнений, объят тревогами девственности... В нём столько неискущённости, свежести и хрупкости, что уподобить его можно конфетке из первого снега.

– Сильно сказано, - восхитился Виолянс. - Я надеюсь, что снежная конфетка окажет нам честь отобедать сегодня с нами. И мы выпьем за здоровье его романчика. Ещё прибор, Соланж.

За столом Виолянс был в хорошем - до отвращения - расположении духа. Он подтрунивал над Бруйеду, над фривольным характером его вдохновения, он упрекал Жака за богемный образ жизни и предсказывал ему, что лет в 80 он станет членом Французской Академии. Бруйеду сносил всё это с неподвижным лицом сомнамбулы. Он словно окаменел на краю стола и не мог ни думать, ни говорить, ни владеть как следует вилок. Уловив, что он страдает, Соланж изредка бросала на него взгляды, полные горячего сочувствия. На прощанье она шепнула ему:

–Завтра вечером жду тебя в «Зелёном абрикосе».

Бар «Зелёный абрикос» был довольно изысканным заведением. Оранжевые стены, столики из каштанового дерева, отражения неярких светильников словно застыли в бокалах с мерцающим шампанским... Интимная музыка лилась сквозь резные перегородки. Бармен сбивал коктейли, похожие на расплавленный металл; за его спиной теснились ряды бутылок, пестрели фотографии из журналов.

«Зелёный абрикос» считали своим тайно встречающиеся

пары, молодые женщины, свободные и усталые, неразговорчивые подростки, встающие в полдень, зрелые девицы с поджатыми губами экспертов и старые мумифицированные господа. Воздух здесь казался пропитанным ароматом любви и респектабельного порока.

Соланж Виолянс, чьи прославленные черты скрадывало приглушённое освещение, втолковывала своему любовнику:

– Он ничего не заметил, мой дорогой. Но он хочет прочесть твою книгу. Я сказала ему, что «Уста полны огня» уже начали печатать в издательстве Патио и что книга выйдет через два месяца, самое большее.

– Но, Соло, ведь она не написана!

– Точно. Значит, ты должен её написать.

– Я? - вздрогнул Бруйеду. - Да я ведь с трудом составляю деловое письмо, а ты хочешь...

Лицо Соланж стало непроницаемым.

– Ты любишь меня? - поинтересовалась она.

– Да.

– Тогда садись и пиши.

– Что... писать-то?

– «Уста полны огня».

– Это просто смешно.

– Я тебе помогу.

– Но с таким заглавием, о боже!

– Обстоятельства навязали нам его.

– А двухмесячный срок?

– Он подстегнёт наше вдохновение!

Бруйеду раскачивался с потерянным лицом над своим коктейлем.

– Ну грязная история! Только этого не хватало! Та ещё морока! - причитал он.

– Соланж полоснула его взглядом, острым как бритва:

– Несчастное создание! Я придумала, как отвести от тебя опасность стать посмешищем, сохранить в целостности наш союз, я отыскала поистине чудесное спасение, рискуя при этом погибнуть под градом коварных вопросов... вот он, триумф! Какие же ты находишь слова, чтобы меня отблагодарить! «Та ещё морока и этого только не хватало!» Что бы ты делал, если бы меня не осенило произвести тебя в романисты?

Бруйеду опустил голову.

– Ладно. И всё-таки... Ведь я никогда этим не занимался...

Божественная нежность расслабила лицевые мускулы Соланж.

– Это правда, что нашему ремеслу не научишься вдруг, не станет за ночь ворона соловьем. Но любовь созидает чудеса. Название книги, которое я ощущаю, как вызов нелепой ревности Леона - вот, что меня вдохновляет, вот, что даёт жизнь веренице моих персонажей с их встречами и расставаниями, с малейшими деталями их разговоров. Я вижу, вижу... О! Какое счастье! Я напишу эту книгу. Вернее, напишем её мы. И честь будет спасена, мой дорогой Жак! Бери бумагу. Энтузиазм творца повелевает мне немедленно выступить в поход. Пиши же: «Однажды прохладным осенним вечером баронесса Улет...»

Время от времени Жак Бруйеду осмеливался предложить идею, бросить слово или кусок фразы, всё это тотчас включалось в текст.

– Любовь делает тебя умнее, - поощряла его Соланж. - Я вижу, как искорки пляшут на кончиках твоих волос.

Сотрудничество их оказалось - сверх всяких ожиданий - плодотворным. Каждый вечер Соланж и её любовник встречались в «Зелёном абрикосе», каждый вечер они прибавляли к книге по главе и каждый вечер они сожалели, что не додумались раньше разнообразить свои отношения столь приятным времяпрепровождением.

К исходу месяца книга была готова. Ещё через месяц она вышла в издательстве «Патио» за подписью Бруйеду и с предисловием Соланж (в коем была фраза: «этого молодого человека открыла я»).

Бруйеду подарил экземпляр романа на роскошной бумаге своему шефу. Вечером тот признался жене:

– Сказать ли тебе, что некоторое время я думал о ловком обмане, считая Бруйеду таким же писателем, как и себя!

Леон поцеловал свою супругу за ушком и в щёку, а спустя неделю купил ей брошь из драгоценного камня с изображением Купидона, дабы доказать силу своей любви.

Что касается Бруйеду, то им овладело новое беспокойство. Втянутый против воли в эту авантюру, он опасался, что пресса теперь задаст ему, никому неведомому автору. Он со страхом представлял себе статьи, в которых объединившиеся в стаю рецензенты, пожонглировав именем Бруйеду, отпустят его в конце своих опусов голым, общипанным, обсмоленным и выпотрошенным. Он чувствовал, что его существо словно распахнуто, и он вручён публике со всеми своими тайнами, пороками, ошибками во французском, родинками, короче, вместе с подтяжками. Он более не принадлежал себе. Он стал человеком, «который в руках у всех».

Соланж пыталась унять эти страхи, довольно странные в мужчине. Она будила в нём честолюбие ссылками на авторитет писателей в обществе. Но он всё время тупо повторял: «Это не ремесло, а проституция какая-то!»

Появились первые статьи - впечатление было такое, словно с высоты ухнула лавина. Оправдались худшие опасения Бруйеду. Казалось, что все критики Франции сговорились начать боевые действия против него. Их голоса - от самого влиятельного мэтра до последнего газетного щелкопёра - слились в едином крике тревоги и негодования: «Роман бесцветный и халтурный... Сумбурный ум... Стиль спятившего кондитера... Персонажи сработаны из фанеры...». Кто-то даже написал о «рвоте розовым маслом». Это уже был предел!

Затравленный Бруйеду молча сносил всю эту брань. Каждый день почта приносила очередную порцию насмешек и поношений. Но он ведь ничего от этой книги не ожидал. Он вообще не хотел её писать! Что нужно этим улюлюкающим журналистам? Почему они так ополчились против него? Почему подняли на смех, зачем сделали несчастным? Он перестал спать по ночам. Внезапный приступ печени уложил его на неделю в постель.

Когда он вернулся в бюро, коллеги встретили его с притворно сочувственными лицами. «Старина, - сказал один из них, - я снова перечитал пасквильную статейку о тебе. До чего же люди могут быть злыми!» Ему вторил другой: «Когда же они оставят тебя в покое? Только о тебе и говорят. И в каких выражениях! Ты бы лучше печатался под псевдонимом, ей-богу».

Толстяк Виолянс своей умильной и коварной улыбочкой злил Бруйеду больше всех. Было похоже, что неудача Жака ласкает ему душу. Он только что не мурлыкал подобно коту, устроившемуся у миски с молоком. Приходя утром в бюро, он вперял в свою жертву долгий сладострастный взгляд. Потом приближался к Бруйеду, клал руку на плечо и отечески осведомлялся о его здоровье и здоровье родителей. Жак, изнурённый этими приготовлениями, ждал, когда патрон приступит к главному. Наконец Виолянс, испустив вздох сожаления, вытягивал из кармана помятую газету и бережно вручал её секретарю.

– Я вам тут принёс кое-что, - говорил он с напускным равнодушием. - Читайте заметку на последней странице.

Он облизывал свои губы гурмана и добавлял: - Это бесчестные наскоки.

Пока Бруйеду осиливал текст, он всё время чувствовал,

что Виолянс будто дегустирует его смятение и стыд.

Впрочем, Леон и сам толком не сумел бы сказать, что его так радовало в этой злополучной истории с Бруйеду. У него было впечатление, что он взял реванш у своего секретаря, хотя в чём он мог упрекнуть этого робкого парня? Какую победу он мог одержать над ним, когда у них не было никакого повода для противоборства? Всё это было одновременно и глупо, и как-то по-детски.

Поначалу Соланж пыталась образумить мужа. Она объяснила ему, что мнение прессы имеет лишь относительную ценность и что немало шедевров французской литературы было при своей первой публикации подвергнуто разному. Но Виолянс не хотел ничего слышать. Борясь с ним, Соланж постепенно уступала, более того, заражалась настроением своего супруга. Конечно, малыш Бруйеду никогда не претендовал на звание романиста. Конечно, Соланж большую часть книги сочинила или исправила сама. И уж конечно, этот оглушительный неуспех несколько не умалял мужских достоинств молодого человека. Все это так, но Бруйеду уже был не героем в звенящей кольчуге, как когда-то, а задержанным, озлобленным и незначительным писателем. Романистка имеет право на воздыхателя, который не пишет, но не воздыхателя, который пишет плохо. Соланж не могла помешать себе жалеть и презирать своего любовника, ставшего её собратом по перу. Ей было стыдно за него. Нет, воистину, она заслуживает лучшего!

Однажды некий парижский хроникер печатно удивился тому странному факту, что великая Соланж Виолянс унизилась до предисловия к книжке столь ничтожного автора, Соланж почувствовала себя лично задетой. Назначив свидание Бруйеду в «Зелёном абрикосе», она пришла туда, опоздав, с лицом страдающим и взором потухшим.

– Читай это, - сказала она слабым голосом. Бруйеду, закончив статью, пробормотал:

– Что ты хочешь, чтобы я сделал?

– Вот те на! - возмутилась Соланж, - По твоей милости меня рвут на части, ищут со мной ссоры, донимают как хотят, а ты не находишь и одного слова негодования!

– Ты могла бы не писать предисловия...

– Очень хорошо! Ни один издатель тебя бы не напечатал.

– И пусть! Книжонка не увидела б света! Это было бы самое лучшее, я так понимаю.

Соланж всплеснула руками как крыльями.

– Восхитительно! А мой муж, что он? Он-то что сказал

бы, не будь книга опубликована? Чтобы сохранить наш союз, чтобы тебе не лишиться меня, я согласилась взять под опеку эту бумажную каракатицу, а ты столь бессовестно сводишь на нет жертву, которую я принесла! О! Вы, мужчины, вы роковым образом непоследовательны! Ваш эгоизм беспримечителен! Если бы я знала...

– Что знала?

– Нет, ничего, - уже тише сказала Соланж, умеряя свой гнев. - Я пришла сюда не за тем, чтобы беречь твои раны, а чтобы выработать план боевых действий.

– Опять! - простонал Бруйеду.

– Да! - гаркнула Соланж. - Не вообразил ли ты, что я позволю глумиться над моим любовником, моей любовью и собственным добрым именем, не крикнув этим подонкам: «Погодите у меня, голубчики!» Я несу ответственность за твой дебют. Ты проиграл первый раунд. Надо выиграть следующий...

Жак похлопал ресницами и негромко спросил:

– Что ты такое замыслила, Соло?

– Тебе надо написать новую книгу, притом шедевр, чтобы заткнуть пасть тем, кто нас облаивает.

– Новую книгу?

– Вот именно. И эту книгу ты напишешь уже сам.

– Но не смогу я, не смогу! - возопил Бруйеду, и настоящие слёзы выступили у него на глазах.

– Или ты напишешь новую книгу, или я исчезну навсегда из твоей жизни. Выбирай, - сказала Соланж напоследок.

Бруйеду выбрал писательскую тропу.

Тридцать семь дней Жак искал новый сюжет. На тридцать восьмой он понял, что самым разумным будет писать роман без сюжета. Он с жаром принялся за дело. Работа эта оказалась странной и удивительной. Бруйеду выплескивал на бумагу всё, что приходило ему в голову, презирая законы логики и синтаксиса, даже самые простые. Он с безмятежностью громоздил ошибки орфографические на ошибки пунктуационные. Он тщательно исследовал мысли скаковой лошади и какого-нибудь микроба, впавшего в истому. Он плодил героев, умиравших через десять страниц, и героинь, менявших имя и цвет кожи по обстоятельствам. Он описывал слогом поэта содержимое ночного горшка и языком золотаря провинциальную молодую девушку, собирающую лилии для своей матушки. Время от времени он прерывал повествование, чтобы вклинить рекламу патентованного средства или песенный куплет, или коммерческое письмо, или грязный выпад против общества, или же уравнивание с 12-ю

неизвестными. Целое получалось нелепым, резким, но совсем новым и очень самобытным.

Бруйеду отстукивал текст прямо на машинке. Вдохновение тащило его. Вспоминая свои недавние трудности с составлением простого доклада, Жак и сам дивился той внезапной чудесной лёгкости письма, что обнаружилась в нём. Иногда по ночам словари шелестели у его ушей. Хоровод наречий обмахивал его с приятным шорохом. Прилагательные источали во тьме острые ароматы. Существительные падали прямо в рот, как спелые плоды. Целый мир казался не более чем некоей конструкцией из слов, точек и запятых. Бруйеду просыпался в испарине, бежал к машинке и переносил черным на белое свои фантазмагории. Лупя по клавишам, он приговаривал:

– Соло, Соло! Ты сделала меня другим человеком!

Самым трудным было положить конец этому роману-поток. Не связанный никаким героем, никакой вообще заботой о сюжете, Бруйеду не мог остановиться. Это было сильнее его: всё должно было излиться. И вот однажды, работая с особенным пылом, он неосторожным движением повредил машинку. Это происшествие он счёл перстом судьбы. Пора кончать, решил он. Текст обрывался посередине фразы. А, так оно и лучше. Бруйеду взял ручку и написал слово «конец» внизу страницы.

Своему новому литературному детищу, законченному как раз за девять месяцев, Жак дал имя «Небытие». Это было знаком скромности. Он предложил его издательству «Патио», это было знаком верности. Он посвятил его «Соланж Виолянс, несравненному мастеру французской литературы», а это было знаком писательской благодарности.

Против ожиданий, пресса, исчерпавшая, видно, свой запал в первый раз, оказала новой книге Бруйеду благожелательный приём. Некоторые критики нашли её «элегантной», «хорошо задуманной», «налитой необычной силой». Один старый журналист даже отозвался о "Небытии", как о «небольшом перле культуры».

Начиная с первых статей, Жак почувствовал, как перед ним замаячила надежда. Конечно, речь не шла о шумном успехе, но эти похвалы там и тут, эти пусть шаблонные слова одобрения тоже чего-то стоили. В бюро больше над ним не посмеивались. Не кидали больше газет на его стол. Иные из коллег просили даже подписать книгу на память. Бруйеду не был от природы тщеславен, но ему приятно было обелить себя в глазах товарищей и Леона Виолянса.

Он особенно надеялся этой маленькой победой раздуть

любовный пламень в сердце своей Соло. Она была очень занята последнее время и, когда согласилась встретиться с Бруйеду в «Зелёном абрикосе», миновал месяц, как книга появилась в продаже.

– Ну что, милая Соло? - начал Жак, подвигаясь на мягкой обитой оранжевым скамье, чтобы дать ей место. - Сумел ли я заглазить свою невольную вину перед тобой?

Соланж задумчиво смотрела в пространство с гримаской разочарования. Потом легонько тряхнула искусно уложенной причёской. Потом сказала:

– Критики были любезны. Но не надо задирать носа, мой милый.

– Я и не думал его задирать:

– Та-та-та, все вы одинаковы. Стоит какому-нибудь безвестному рецензенту бросить пяток-другой заумных комплиментов, как вы распускаете перья. Вы растёте в своих глазах. К вам не подойди. И вы ступаете по коврам, расстеленным в заоблачных высях... Ей-богу, всё это смешно!

– К чему ты это, Соло?

– А к тому, что твоё сочинение мило, но не более. И что тешить своё самолюбие рановато.

– Какое там самолюбие? И не тешу я его...

– Ты так думаешь? - язвительно осведомилась она. - Ха! Посмотри на себя в зеркало. Ты лопаешься от радости, тебя душит довольство Ты... ты... Кстати, в «Небытии» полно ошибок, а глава седьмая вообще никуда не годится.

– Соло!

– И вот ещё... вчера я видела Огюста Пиоша из Французской академии. Он сказал мне: «Небытие»? Эта книга не заслуживает другого названия!» Сожалею, что огорчаю тебя. Но это для твоего же блага, малыш. Для твоего же блага...

Бруйеду не понимал, что за злой бес овладел Соланж.

– Ты предпочитаешь, чтобы «Небытие» разделили так же, как и «Уста»? - спросил он.

– Не задавай мне глупых вопросов. Если хочешь меня разозлить, скажи это сразу, я лучше уйду от греха подальше. Смотри-ка, в нём столько самодовольства, что он не может уже выслушать и невиннейшего замечания. Очень хорошо! Очень красиво! И это только начало! О-ля-ля!

Когда Бруйеду попытался её обнять, она отстранилась, смерив его ледяным взглядом:

– Мне надо уходить.

Жак остался наедине со своим аперитивом, размышляя о

тайнах женской души. После двух часов раздумий он решил, что поведение Соланж совершенно необъяснимо и что надо с ней встретиться как можно скорее вновь. Но очередные свидания не принесли желанного мира. От раза к разу Соланж становилась все более нервной и злой. Куда только девались её красочные выражения. Обнимать себя она позволяла лишь против воли. Случалось даже, что она хвалила своего мужа, чего не было раньше.

Некоторое время спустя она выпустила книгу под названием «Индиго», имевшую немалый успех. Её фото замелькало повсюду, в витринах и литературных журналах. Имя Соланж по всякому поводу упоминалось в светских разговорах. Издатель буквально носился с её книгой. Когда заходила речь о предстоящем присуждении премии Рекамье, называли только её имя. Этот блеск новой славы размягчил сердце Соланж, и она даже упрекала себя, что столь несправедливо обращалась с Бруйеду. Она вновь увиделась с ним и не скупилась на советы и ласки. Жаку казалось, что это сон, и он благословлял небо за то, что оно дало ему снова припасть к этому источнику радостей.

Дамы из жюри, присуждавшего премию Рекамье, заседали уже минут сорок пять, и Соланж с мужем ждали в китайском будуаре победного звонка. У неё не было серьёзных соперников в этом литературном состязании. Последние опросы предсказывали «Индиго» полный успех. Хвалебные статьи уже ждали своего часа в типографиях. Издатель Соланж напечатал 150 000 экземпляров её романа дополнительно в предвидении массовой распродажи. Толстяк Виолянс заказал банкет в ресторане «Максим» для прессы и менее удачливых соискателей премий.

Однако Соланж любила создавать видимость риска и беспокойства.

– Чего так тянуть? - спросила она. - Чего рассусоливать, когда достоинства моей книги признаны единодушно?

– Они женщины, - урезонивал её Виолянс, - а женщины любят поговорить. Они и не подозревают о твоём волнении.

– А я и не волнуюсь. Просто хочу, чтобы всё это кончилось.

Она с неприязнью оглядела мужа, сытого, благодушного, заполнившего собой всё кресло - сигара во рту и хлопающие свиные глазки.

– Ты уверен, что телефон исправен?

– Конечно.

– Проверь-ка.

Леон снял трубку, послушал ровное гудение, трубку

повесил.

– Ну?

– Всё нормально, - ответил он, позёвывая.

– Что меня сердит больше всего, так это твоё спокойствие.

Можно сказать, что тебе моя судьба безразлична.

– Что ты, я просто уверен на твой счёт. Ты получишь премию Рекамье, вот увидишь...

– Заметь себе, что, если я её не получу...

– Тебе будет всё равно!

– Ты угадал.

Он улыбнулся. Воцарилось молчание, в котором, казалось, потрескивали искры возбуждения. Соланж убедилась в зеркале, что туалет её изысканно строг. Мысленно она повторила текст речи для радио. Жажда почестей, шума вокруг её имени, света юпитеров сжимали ей сердце. Губы её поминутно сохли. Руки стали лёгкими, как из ваты. Ей казалось, что сейчас она упадёт в обморок от накатывающего временами блаженства.

– Который час? - прошептала она.

– Два.

– Они спятили, спятили! О мой бог! Я чувствую, как нервы мои накручиваются на зубчатый барабан. Я проваливаюсь, да-да! Я проваливаюсь внутрь себя самой!

Она поморгала и опустилась на канapé с лёгкостью облачка.

– Два часа десять минут, - промолвил Виолянс. И в этот момент телефонный звонок прорезал тишину дома.

– О небо! - воскликнула Соланж. Одним прыжком она была у аппарата. Пальцы её на трубке побелели от напряжения.

– Алло! Алло! Говорите громче...

Вдруг Леон увидел, что жена его бледнеет, а челюсть её начинает мелко трястись.

– Кто? Кто-кто? - задыхалась Соланж. Неясный голос жужжал будто с другого конца света.

– Алло! Алло! - надрывалась Соланж. - Не слышу! Кто? Бру... Бруйеду! Ах!

Она чуть не уронила трубку и перед Леоном предстала мертвенно-бледная, взмокшая, растрёпанная фурия, изрекшая замогильным голосом:

– Премию получил Бруйеду.

– Вот так раз, - протянул Виолянс. - Он, что ли, отправил туда свою книгу?

– Надо думать, хотя мне он об этом ни слова. Хорошенькое дело! Такую премию такой дешёвке, этому

«Небытию»!

– Послушай, - сказал мирным тоном Виолянс. - Я сожалею, что не ты получила премию, но последняя книга Бруйеду не дешёвка. Насколько мне были противны его «Уста», настолько «Небытие» кажется сносным. Будем справедливы...

Он осёкся. Сдавленный стон Соланж прервал его. Она воинственно потрясала своими слабыми кулаками.

– Молчи! Не зли меня! - шипела она. - Книжка Бруйеду - это муть на дне корыта, это вибрион гнилой литературы! Тебе это скажут все! Только низкими интригами он получил премию! Может быть, он переспал с председательницей жюри?

– Помилуй, ей семьдесят пять!

– Я всего жду от этого выскочки!

– Бруйеду выскочка?

– Самый настоящий! Надо быть слепцом вроде тебя, чтобы этого не видеть! О! Какой стыд, какой стыд!

Она искренне удивлялась в этот миг, что могла когда-то любить Жака, этого плута и... и... бандита. Сейчас в ней кричала только писательница, у которой тайком похитили славу. Она чувствовала себя способной разорвать на части своего мучителя, оплевать его, опозорить... Потом бы она изошла горячими слезами, но это потом.

Виолянс, захваченный врасплох, не знал, как её успокоить. Он пробормотал:

– Да не огорчайся ты, душа моя. Будет у тебя другая премия.

– Я хотела эту... Вернее, я не хотела никакой... Но Бруйеду! Ненавижу его! Ненавижу...

– Он не злой парень...

– Не собираешься ли ты его защищать?

– Почему бы нет? Ты готова затоптать этого ягнёнка, который тебе ничего худого не сделал. Я же скорее радуюсь его удаче. Раз уж не тебе дали эту премию, так пусть её получит он, а не другой.

– А вот я предпочла бы именно другого, любого другого, только не его.

– Но почему, Соланж?

– Потому что он... он... Ах, Леон, ты просто глуп! Ты раздражаешь меня, поддерживая это чудовище, это воплощение двоедушия и похоти. С этим надо кончать! Открыть тебе всё? Ладно. Этого хотел ты, запомни!

Она метнула в мужа испепеляющий взгляд и сказала глухо:

– Он мой любовник.
– Что? - вспыхнул Виолянс.
– Бруйеду мой любовник... Его книга были лишь уловкой...

Когда Виолянс схватил её запястье и так тряхнул, что чуть не треснули кости, она взвыла:

– Всё к чёрту! Гром и молния! Я падаю!

– И, действительно, упала в обморок.

Назавтра Леон Виолянс пригласил Бруйеду к себе в кабинет и отхлестал его по щекам перчатками из кожи американской свиньи.

Затем они обменялись визитными карточками, а дальше - выбор секундантов и дуэль по всем правилам на автоматических пистолетах. Бруйеду был ранен в ягодицу. Этот скандал прибавил ему известности.

Недавно он выпустил третью книгу. Поговаривают, что у него даже есть шансы быть избранным во Французскую Академию.

Наваждение

У м-ль Паскаль было постное лицо с впалыми щеками, острым носом и круглыми глазами злой птицы. Её волосы, припудренные перхотью, были стянуты назад и увенчаны на затылке большим шиньоном, ощетилившимся шпильками. Единственные украшения, которые она позволяла себе к лёгким платьям из тёмной шерсти, были брошь-барометр и бутон розы, сработанный из ноздреватого материала (она называла его «афганским камнем»). Зелёная шаль с унылой бахромой покрывала ей плечи. Движения её были порывисты. Она сжимала вашу кисть, как поворачивают дверную ручку.

Вот уже пять лет м-ль Паскаль подвизалась заместителем начальника бюро в юридическом управлении Министерства путей сообщения. Низкие закулисные интриги мешали её продвижению по службе, она знала, чего стоит хваленый дух справедливости, царивший в отделах кадров. Годился любой повод, чтобы её унижить. Так, например, размах работ в её бюро требовал трёх или даже четырёх служащих, ей же дали лишь одного, свежеиспечённого выученика коммерческой школы, совершенно неспособного сладить с порученным ему делом.

Его звали Юш. Бледное дурацкое лицо, мокрые губы... Его рыжие усики, казалось, наклеены под носом, как почтовая марка. Он всегда был простужен. М-ль Паскаль нередко говорила: «Он, конечно, примитив, но, по крайней мере, никогда не пьёт.

Ведь иначе от него бы разило, не так ли?». Она относилась к нему с ледяным презрением, разговаривая только по работе и поручая самые нудные дела; порой гоняла его в другой конец Министерства, в случаях, когда он ей порядком намозоливал глаза. Дело в том, что в довершение несчастья, их столы стояли друг против друга, а тесная комната не позволяла разместиться по-другому.

Однажды мсье Юш пришёл на службу, опоздав на час. Он был почти выбрит, одет в выходной костюм и улыбался с юношеской робостью. Он кротко извинился и сказал:

- Сегодня было открытие второго салона «Художественной группы служащих Министерства путей сообщения»...

Он остановился набрать воздуха, затем потупил глаза, округлил губы и выдохнул:

- Я там выставляюсь.

Это сообщение удивило м-ль Паскаль, на лице её с минуту боролись между собой деланный интерес, снисходительная жалость и начальственная спесь.

- Ладно... Я как-нибудь пойду посмотреть.

- Это в клубе Гамбетта. На первом этаже. И вход бесплатный.

- Совсем хорошо... Но сейчас есть нечто более срочное. Вы уже ответили на письмо мсье Кардебоша по поводу уплаты издержек специального надзора, относящихся к управлению Национальным обществом СПЛН?

Мсье Юш рухнул на стул как подкошенный; м-ль Паскаль могла поздравить себя, что столь энергично вернула его к суровым трудовым будням.

В пять часов, завершив одну ответственную работу, она решила и в самом деле посетить картинную галерею «на первом этаже». Она поправила шаль, взбила чуть увядшую причёску и покинула бюро с торжественностью корабля, выходящего в открытое море.

Второй салон «Художественной группы» разместился в большом зале, сером и холодном. Кладбищенская тишина наваливалась на вас уже с порога. Посетителей было совсем мало, они неслышно ступали и говорили только шёпотом.

Выставка этих образчиков любительского искусства могла лишь успокоить администрацию относительно направления умов её персонала. Полотна являли зрителю тронутые меланхолией закаты оранжевого солнца, белую пену на зелёных волнах, разбивающихся о чёрные скалы где-то в Бретани, поля

пшеницы, золотистый цвет которых соперничал с цветом мака-самосейки. Во множестве были также представлены котята в корзинах, с глазами как кнопки, пегие козочки, кролики с розовыми носами и вьющиеся растения на фоне старых пурпурных занавесей. Всё это было прелестно, невинно, это так умиляло. Душа м-ль Паскаль чувствовала совершеннейшее родство с душами коллег, посвящающих часы досуга столь достойным занятиям.

Она уже направлялась к выходу, как вид четырёх полотен, висящих несколько на отлёте, поверг её буквально в оцепенение. То были картины с обнажёнными женщинами. На одной из них бесстыдница с рыжими волосами и кремовой кожей нагло развалилась на коврик перед кроватью. На второй - красотка, оседлав стул, курила сигарету и смотрела в пустоту профессионально похотливым взглядом. Третья женщина, откинувшись на спину, сладострастно потягивалась перед зеркалом. И, наконец, четвёртая опасно трогала ножкой воду в эмалированном тазу. Тела всех женщин были выписаны с вызывающим натурализмом и отталкивающей непристойностью, от которой тошнило. Никакой вуали в виде спасительного тюля, никакой целомудренной дымки, искусно расположенных листиков... Можно было видеть всё!

М-ль Паскаль, краснея от смущения, подошла ближе, чтобы узнать фамилию художника. Она прочла... Ей показалось, что сейчас её хватит удар: под всем этим непотребством была нацарапана подпись – «Юш».

Домой она возвращалась в остром нервном возбуждении. Как ей держаться? Похвалить своего служащего? Но ведь это означало бы, что она одобряет его неприличные творения. Негодовать? По какому праву? Совсем промолчать? На этом последнем решении она и остановилась.

Но утром её мучения возобновились снова. Что говорят о ней за глаза? Без сомнения, её жалеют, зная, что каждый день по восемь часов она уединяется с этим молодчиком, способным на подобные гадости! А может быть... насмеются над её бедой? Не передаются ли уже анекдоты о паре «Паскаль – Юш»? «Она, видно, не скучает там с таким хватом!». Мысль эта была для неё нестерпимой.

Новыми глазами смотрела теперь м-ль Паскаль на мсье Юша. Она удивлялась, как это раньше не различала в его облике явных признаков порочности. Это бледное лицо, эти потухшие глаза говорили о тяжком пробуждении после ночей разврата. Эти беспокойные порою движения рук свидетельствовали о любовных

излишествах. А запинаящаяся речь заставляла вспомнить невнятный язык страсти. О! Она представляла себе его в мастерской среди арабских подушечек, мехов, курильниц для благовоний, выбирающего позу для своей уже раздетой натурщицы и намеренно оттягивающего время любви. И потом, вкусив от гнусных ласк какой-нибудь блудницы, он приходит в бюро, садится лицом к ней, уставляется в бумаги, но в уме его еще роятся видения вакханалий.

Распалённая этими мыслями, м-ль Паскаль чувствовала, как липкий взгляд мсье Юша останавливается на ней, потом будто присасывается и ползёт по лицу подобно улитке. Этот человек раздевал её глазами. Она была распята перед ним как какая-нибудь из его моделей.

Временами кровь ударяла ей в голову. Она вертелась на стуле, вставала, выходила в коридор. Но когда возвращалась, тёмные зрачки её служащего снова в неё впивались и снова у неё было давящее впечатление, что её оценивают, что её выбирают, как последнюю рабыню на мавританском рынке. «Рано или поздно, - думала она, - он попытается овладеть мною». И она дрожала как лист целый день, пока не наступало время идти домой.

Однажды утром двое рабочих зашли в бюро и обратились к Юшу:

- Мы принесли диван, который вы заказали, мсье.

У м-ль Паскаль упало сердце. Как оно уверено в себе, это чудовище! Она украдкой взглянула на него. Он казался удивлённым. Он утверждал, что не подписывал никакого заказа. Навели справки и оказалось, что произошла ошибка: диван предназначался в другую комнату. Но м-ль Паскаль страдала от сердцебиения до самого вечера.

После случая с диваном несчастная жила в терзаниях: «Когда это случится? Сегодня? Или завтра?» Ей казалось, что мсье Юш свернулся пантерой на краю своего стола. Порой когда он просил передать ему папку¹, она испытывала необыкновенное волнение. Слова «отказ от кредита» или «заявка на подряд» приобретали в её уме чувственную окраску, о которой она прежде и не подозревала. М-ль Паскаль забросила работу. Она не осмеливалась более его одёргивать. Она изнемогала в пугающем ожидании неизбежного. Но мсье Юш не спешил. Он играл с нею,

¹ По-французски «папка» звучит так же, как «сорочка», «отказ» - как «самозабвение», а «подряд» - как (отдалённо) «согласие».

словно кот с мышью. Собравшись как-то с духом, она спросила его:

- Вы рисуете с натуры?

Он прищурился в улыбке сатира:

- Большею частью. Но случается рисовать интересный объект и по памяти.

Её-то, конечно, он рисовал «по памяти». Его ящики, должно быть, забиты рисунками, на которых она в том же одеянии, что и падшие девки из картинной галереи. Не выставит ли он эти наброски в ближайшем салоне? И тогда всё Министерство путей сообщения увидит её такой, какой она не показывала себя никому! Как же помешать этому унижению, думала м-ль Паскаль. Но в то же время нечистая радость проникала в её сердце. Да, по мере того, как шли недели, она всё больше поддавалась странной власти мсье Юша. Находясь рядом с этим исчадием, она чувствовала, что пачкается и сама. Греховные мысли преследовали её по ночам. В голову лезли сцены безудержного разгула в стенах бюро среди зелёных папок. Он говорит ей «ты». Она гладит ему волосы, как какая-нибудь куртизанка. Пробуждалась она в испарине и с пересохшим горлом. Она жаждала ринуться с ним в пучину экстаза. Её раздражало, что он с этим тянет...

Однажды м-ль Паскаль пришла в бюро одетая в светлое платье и отчаянно накрашенная. Сдавленным голосом она спросила его:

- Вас не позабавило бы сделать мой портрет?

- Я никогда не рисовал портретов, - произнёс он.

Она сникла от смущения.

- Ну да, я знаю... ведь вы специалист по обнажённым...

- Ничуть, - пробормотал он, - их выставил коллега Рюш из общего секретариата...

И прибавил с детской улыбкой:

- А я... я рисую котят.



Алла Цыбульская

Огюст Вилсон и его пьеса «Ма Рэйни»



мя этого афроамериканского драматурга (August Wilson) известно в Америке и незнакомо в Европе. Между тем, его талант получил широкое признание на родине, и он неоднократно становился лауреатом Пулицеровской и «Тони» (Tony Award) премиями за пьесы, объединенные заглавием «Цикл века», и посвященные судьбам его соотечественников. Они были поставлены в театрах всей Америки и на Бродвее. Молодой автор довольно рано достиг огромного успеха. И все же... Рожденный в Америке, в Питсбурге в 1945 году, он ощущал себя наследником и носителем африканской культуры, объясняя это тем, что познания, полученные им от матери, были переданы ей от ее матери, и как вековая традиция проникли в его плоть и кровь. В течение его земной жизни, прерванной раком в 2005 году, этот просвещенный образованный человек испытывал чувство изгойства, вызванного принадлежностью к унижаемой и истязаемой черной расе. Саднящее чувство горечи, ущемленное чувство собственного достоинства пронизало его знаменитую публичную речь в 1995 году произнесенную в Театральном центре О'Нила: "Земля, на которой я стою". Оказалось, что эта земля и античных драматургов Еврипида и Софокла, и европейских Мольера и Расина, и американских Т.Уильямса и О'Нила... Но из общего исторического процесса развития мысли он вычленяет в отдельное явление мир африканского искусства, выросшего из боли поколений, переживших рабство, суд линча, а в более шадящие времена – сегрегацию. И в итоге он приходит к радикальному решению-требованию: его пьесы никогда не будут ставить режиссеры, принадлежащие к белой расе.

По его мнению, они никогда не поймут страдания людей черной расы. Поэтому он настаивает на сохранении национального искусства и драматических театров, в которых играют только черные актеры. Поэтому он против ассимиляции. Эту речь деятели театра, заполнившие зал, встретили овациями стоя. Но

полемический ответ выдающегося театрального режиссера и критика Роберта Брустейна в статье, опубликованной в 1996-ом году, заострил внимание на спорной во многом позиции О.Вилсона.

– “Белые не могут понять черных?” - восклицает Р.Брустейн и продолжает: “Можно утверждать тогда, что современные евреи не могут понять евреев, живших две тысячи лет тому назад, потому, что они сами никогда не испытали власть фараонов.” Что же касается сохранения театров с составом актеров исключительно афроамериканского происхождения, то это ведет к сепаратизму и само- сегрегации. Абсурдно идти по этому пути! Ведь следуя ему, можно придти к созданию школ только для черных детей, к коммунам, состоящим только из афроамериканского населения, к замкнутости, из которой нужно выходить, а не пребывать в ней...



Этот диалог вели два интеллектуала, принадлежавших к национальностям, подвергаемым предубеждениям и притеснениям. И все же в позиции Р.Брустейна очевидна большая взвешенность и доказательная логика. О.Вилсон свою боль преодолеть не смог. И она пронизывает его “Цикл века” и стоящую особняком пьесу, полное название которой может шокировать: “Ma Rainey’s Black Bottom”, что означает в прямом переводе “Черная задница Ма Рэйни”. И тут имеется в виду национальный танец –

black bottom dance. Но у названия есть второй смысл, и он апеллирует к прошлому. Black bottom – это черное дно, черное прошлое. И оказывается, раньше или позже, черное прошлое настигает и губит.

А блюз как явление национального искусства - мелодического и пластического - имеет своей основой то самое тяжелое черное прошлое, black bottom.



Пьеса “Ma Rainey’s Black Bottom” нынешней весной оказалась поставлена в бостонском драматическом театре Хантингтон режиссером Лайслом Томми. Время действия – начало 20-х годов XX века. Место действия – Чикаго. Сюжет на первый взгляд не содержит особых событий. Они нарастают постепенно и происходят в месте, где собирается для репетиций и звукозаписи квартал джазовых музыкантов, сопровождающих пение звезды блюза Ма Рэйни. Вам незнакомо, уважаемый читатель, это имя? Случилось так, что о блюзовой певице Бесси Смит мы слышаны. Но Ма Рэйни(1886-1939) ее современница и соперница была не менее, а даже более знаменита. Однако, ее имя нам - выходцам из России неизвестно. А именно оно поставлено как заглавие пьесы, где не она главная героиня. И не очарование блюза, выразившего целую эпоху, становится манящим в этой драме. Автор припасает такое смещение смыслов, такой поворот от зажигательного black bottom dance в заглавии к испепеляющему black bottom прошлого, что отбрасывает действие к тяжелой и безысходной трагедии.

В атмосферу спектакля вводит и данный на заднем фоне декорации облик Чикаго: типично американские красные кирпичные стены домов, повернутые не с фасада, а со стороны асфальтированных дворов без единого дерева, с неизменными

железными пожарными лестницами... Художник Клинт Рамос умело вмонтировал этот унылый городской пейзаж в раскрытый вид дома, где идут репетиции. Итак, фронтально слева над лесенкой, ведущей вверх, расположена выгородка студии грамзаписи, где за стеклом широкого служебного окна беззвучно что-то делают менеджер (Вил ЛеБоу) и владелец (Томас Дерра), а справа внизу находится репетиционная комната. Освещение попеременно фокусируется на той стороне, где происходит действие, внизу или наверху. Итак, в репетиционную комнату поочередно входят музыканты джаз-банда. И когда все четверо, сияя белозубыми улыбками, ощущением значимости и блеска своего мастерства, набриолиненными волосами, элегантными модными пальто с меховыми воротниками появляются, обмениваясь дружескими приветствиями, они выглядят как на фотографии, предназначенной для автографов.



Как говорят в таких случаях ведущие концертов сегодня: “Встречайте!”

Но сцена эта происходит не сегодня, а почти век тому назад И век тому назад эти люди были ближе к ушедшему 19-му столетию, чем к будущему 21-му... Почему-то опаздывает сама Ма Рэйни, и они начинают подготовку. Звучит ритмическая заставка. – “One, two, you know what to do”, - отсчитывает один из музыкантов. Они – это: тромбонист Катлер - (Джи.Валмонт Томас), контрабасист Слоу Дрэг – (Гленн Тернер), трубач Ливии - (Джейсон Боуэн), пианист Толедо - (Чарльз Велдон)... Однако, этот чудный момент, когда один берет в руки смычок, другой пробует звук трубы, третий пробегает пальцами по клавишам, и все сливается в единое звучание джаз-банда, слишком короток... Причем имитация игры актерами исполняется безупречно, и даже

берет сомнение, неужели они только касаются инструментов, а звук идет по записи...

Как бы сказали сегодня, под "фанеру"...

Но Ма Рэйни нет и нет, и это вызывает общее беспокойство. А обещающее праздник начало внезапно круто сворачивает в сторону от радужности. Музыканты тихо переговариваются, шутят, спорят, вспоминают истории. И истории эти исполнены даже при пересказе ужаса. Например, о том, как один негр поехал навестить заболевшую мать в другой город, оказался на железнодорожной развилке, пошел искать мужскую уборную, узнал, что она только для белых, отправился искать ту, в которую ему можно было войти, но его подстерегли несколько белых, схватили и жестоко избили. Эти подробности были абсолютно достоверны. Ведь известно, что только в начале 60-х годов XX века черное население Америки получило право ездить в автобусах вместе с белыми... За улыбками музыкантов, предназначенных для публики, прятался мир боли. И Ливии - самый молодой, красивый и чуть легкомысленный, ведь он пришел сюда, сделав дорогую покупку - сверкающие острыми носами туфли, которые он и полировал, и гладил, и дышал на них прежде, чем надел, вдруг мрачнеет и раскрывает перед товарищами свое прошлое. Ему было 8 лет, когда случилась трагедия, врезавшаяся в его память на всю жизнь. Отец оказался успешным по своей работе, семья жила в собственном домике. Однажды отцу понадобилось уехать на несколько дней. Почти вскоре после того, как за ним закрылась дверь, в дом вошли 8 белых мужчин, и, невзирая на отчаянные крики и мольбы матери, изнасиловали ее на глазах у мальчика. Отец вернулся и попытался отомстить. Он застрелил трех из насильников. Но остальные поймали его и повесили на дереве. Так Ливи узнал, что такое суд линча. Рассказывая, Ливи - Джейсон Боуэн меняется в лице. Веселый легкий пластичный он словно каменеет...

Когда, наконец, появляется экзотическая экстравагантная и явно немолодая Ма Рэйни (Иветт Фриман), тягостная атмосфера уже зависла. Но и сама Ма Рэйни появляется взвинченная. Она входит как примадонна, с шиком, в роскошно скроенном пальто, в сопровождении двух молодых протеже - очаровательной Дусси Мэ (Джонис Абботт-Прагг) и племянника (Кори Аллен), последнего она хочет подключить к ансамблю как участника, и как ни странно, полицейского. Что случилось? Ее машина по дороге вышла из строя. И она решила нанять кэб. Но тут выяснилось, что цветному населению не разрешено пользоваться такси. И Ма Рэйни в ярости устроила скандал...

Да, автор несомненно приводит абсолютно правдивые факты. Процветавшая Америка была запятнана жестокостью, известной нам исключительно по “Хижине дяди Тома” Гарриет Бичер-Стоу или романом И.Л.Доктороу “Рэгтайм” Но власть предрассудков сохранялась и в более поздние годы. Впрочем, как всюду и везде, проблема с полицейским легко улаживается с помощью денег. Менеджер Ирвин буквально слетает вниз из студии и вкладывает в руку полицейского купюры... Между тем, назревает новый конфликт. Талантливый Ливи хочет записать свою версию песни для альбома, той самой “black bottom dance”. Ма Рэйни отдает распоряжение о записи прежней, ей привычной. Тем более что она решила ввести в состав исполнителей своего племянника. Но он не попадает в ритм, не ловит вступления при синкопах. Парень выглядит просто как дурак! И Ливи угнетен...



И все же наступает великолепный эпизод, когда песня звучит целиком. Голос Иветт Фриман – низкий, красивый, волнующий выпекает джазовые модуляции. В финале она танцует, покачивая бедрами, поворачиваясь, эффектно и призывно, завораживающе и бесстыдно, чуть-чуть отставляя зад, и наблюдая за реакцией: “Что скажете, да, я такая!” Таким на улице вслед мужчины цокают.

А в театре зал бешено аплодирует, но... Бал окончен, эпизод пролетел, пьеса написана не для развлечения!

Внимание автора фокусируется на Ливи, кто становится все более расстроенным. Актер Джейсон Боуэн психологически выразительно передает переход от беспечности его героя к подавленности. Только, что Ливи пытался обольстить чернокожую и грациозную Дусси Мэ, но в свете последовавших обстоятельств забывает о ней. Отвергнута его версия, его аранжировка песни для записи альбома. К тому же появляется владелец студии - полноватый белесый тип, сплывающий пальцы при подсчете

денежных купюр, которые он дает Ливи за продажу нот песни в его версии. Вместо записи. Но для Ливи – это унижение, несправедливость. И он в ярости рвет и швыряет на пол деньги. Потом он раздражается на шуточки друзей по поводу его новых туфель. Раздражение перерастает в ссору. Ссора в схватку. Толедо оказывается между ним и Катлером.



Нечаянно Толедо слегка наступает на ногу Ливи. Не помнящий себя Ливи кричит, что Толедо испортил его туфлю и замахивается на него рукой, в которой внезапно оказывается нож. Нож насмерть поражает безобидного Толедо. И только видя ставшее безжизненным тело товарища, Ливи осознает свое ослепление, катастрофу, в которой виновен.

Сцена проведена с огромным драматизмом. Сначала растерянность и недоумение участников, потом ужас содеянного переданы правдиво и сильно. Незначительная ссора не давала повода разрядиться кровавым путем. И кто к ней пришел? Тот, кто сам был жертвой кровавых злодеяний! Тот, чью душу, психику, человеческую природу исковеркали, надломили! Гибель Толедо от руки Ливи – это двойная трагедия. И автор подводит к осознанию того, что герой, совершивший преступление, был обречен своим прошлым изначально. Его black bottom настигло его спустя годы. И жизнь не только Толедо, но и Ливи фактически обрывается. Он уже никогда не запишет свой альбом, свои версии, не обнимет хорошенькую девушку.. Он понесет наказание...

Огюст Вилсон писал свои пьесы, в которых постоянно слышен голос протеста. В своей вышеупомянуемой программной речи, он сказал, что для него нестерпима мысль о театре, построенного по принципу развлечения, устраиваемого рабами для белого хозяина и его гостей. Поэтому он никогда не предлагает зрителям салонные пьесы с шаблонными масками добрых или

злых персонажей in black faces. Он создает живые образы в переплетении противоположных свойств и обусловленные расовыми и социальными барьерами.

Он ищет самоидентификацию, и, отказываясь от ассимиляции, стремится сохранить самоуважение и самозащиту народа. И поэтому обозначенная им “земля, на которой я стою”, отмечена чувством амбивалентности в самоопределении расовых, культурных и философских различий. А это значит, открыта для встречи с остальным миром и прежде всего с миром театра, где со времен античности не обвиняют, а оплакивают заблудшего героя.



Уголовные хроники сегодняшних газет в Америке показывают высокий уровень преступности среди черного населения. Дело суда и суда присяжных выносить приговор.

Как пишут сегодня об этом в репортажах, “подсудимый находится под стражей за оскорбление действием”.

Сила искусства в том, чтобы вызвать сострадание к герою, и тогда, когда он на скамье обвиняемых. И зрителю хотелось бы взять его на поруки.



Нина Воронель

Маленький канатоходец

(или "Коварство и любовь")



Пьеса посвящена романтическим отношениям между Рихардом Вагнером и Михаилом Бакуниным, завершившимися их совместным участием в Дрезденской революции 1849 года. Революция была разгромлена и руководители ее арестованы, - все кроме Вагнера, который спас свою шкуру, посодействовав своему зятю, заместителю начальника полиции города Хемниц, в аресте своих сподвижников. В результате зять помог Вагнеру бежать за границу, где он 16 лет провел в ссылке, а Бакунин был приговорен к смертной казни, которую австрийское правительство из милости заменило выдачей мятежника русскому царю Николаю I, лично его ненавидевшему. Семь страшных лет Бакунин просидел в темной камере Петропавловской крепости, откуда был сослан в Сибирь после смерти Николая. Из Сибири он умудрился бежать через Японию в Европу, где посвятил остаток своей жизни созданию теоретических и практических основ террористического движения. Кем стал Вагнер, знает весь мир.

Бывшие друзья много лет прожили в полужизне от друга на берегу Люцернского озера, но ни разу за эти годы не пожелали встретиться.

Пьеса написана в стиле трагической комедии или, вернее, в стиле комической трагедии.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

РИХАРД ВАГНЕР – крошечный человечек, почти карлик.

Возраст зависит от ситуации.

КАНАТОХОДЕЦ – альтер эго Вагнера, высокий, красивый, молодой.

МИШЕЛЬ БАКУНИН – красавец огромного роста.

ЖЕНЫ ВАГНЕРА:

1-я жена, **МИННА** – рано постаревшая блядюшка

2-я жена, **КОЗИМА** – очень высокая, дочь Франца Листа

КЛАРА – сестра Вагнера
ЗЯТЬ – муж Клары, полицейский высокого ранга
НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ МАССОВКА – официанты,
революционеры, полицейские, штурмовики

1939 год. Крыша пражского концертного зала Рудольфинум – по краю крыши расставлены бюсты великих композиторов, среди которых Моцарт, Бах, Бетховен, Вагнер и Мендельсон. Внизу под звуки военного марша проходит германская оккупационная армия.

ГОЛОС ЛЕЙТЕНАНТА: *(внизу)* Взвод, стой! Двое - на крышу мар-рш! Сбросить оттуда бюст еврея Мендельсона!

На крышу по пожарной лестнице поднимаются два солдата, бродят среди бюстов.

1 СОЛДАТ: *(кричит вниз)* А как узнать, который Мендельсон? Табличек с именами нет.

ГОЛОС ЛЕЙТЕНАНТА: *(снизу)* Сбрасывай того, у которого самый большой нос!

2 СОЛДАТ: *(указывая на бюст Вагнера)* Значит, этот. Видишь, какой у него рубильник?

Раскачивают бюст Вагнера и сталкивают вниз. Слышен грохот и звон.

ГОЛОС ЛЕЙТЕНАНТА: *(снизу)* Идиоты! Что вы наделали? Это же Рихард Вагнер – любимый композитор фюрера!

Площадь перед Рудольфинумом.

ЛЕЙТЕНАНТ: *(разгребая осколки, вглядывается в лицо разбитого бюста)* Точно, Вагнер! *(кричит солдатам)* Спускайтесь быстрее и валите отсюда, пока никто нас не засек! *(убегает, СОЛДАТЫ бегут за ним)*

С крыши спускается канат, по канату спускается МАЛЕНЬКИЙ КАНАТОХОДЕЦ, склоняется над бюстом Вагнера.

КАНАТОХОДЕЦ: *(щупает осколки бюста Вагнера и плачет)* Бедный Рихард, тебе очень больно? Какие невежды, спутали величайшего композитора всех времен Вагнера с жалким задавакой Мендельсоном!

Бюст оживает, превращаясь в живого РИХАРДА.

РИХАРД: Это все мерзавец Мендельсон! Это он мне подстроил! Он давно мечтал, чтобы я разбился! Никогда не забуду, как надменно он улыбался, когда моего "Тангейзера" освистали в Париже. Он стоял на лестничной площадке у входа в оперный зал и сиял от радости, что "Тангейзер" провалился. *(Грозит кулаком в сторону крыши)* Недолго тебе там стоять наверху и ликовать! Попомни мое слово, наглый жиденок, я с тобой еще поквитаюсь!

Появляется ЛЕЙТЕНАНТ с солдатами и с тачкой.

ЛЕЙТЕНАНТ: *(указывает на бюст Вагнера)* Этого отправить в ремонт и выяснить, какой негодяй его сбросил. *(два солдата увозят бюст Вагнера на тачке)* А вы – марш на крышу и сбросьте жида Мендельсона, он третий слева!

Солдаты поднимаются на крышу, через минуту слышен грохот и звон осколков. Лейтенант и солдаты уходят.

КАНАТОХОДЕЦ *идет по канату над сценой, где появляется шатер бродячего цирка. Слышны обрывки музыки и шум ярмарочной толпы.*

КАНАТОХОДЕЦ: Вот так и болтаюсь в воздухе с тех пор, как Рихард вообразил себя канатоходцем.

Входят РИХАРД и КОЗИМА – она очень высокая, он очень маленький. Задрав головы, они смотрят на КАНАТОХОДЦА.

КАНАТОХОДЕЦ: Это случилось, когда они с Козимой во время прогулки зашли в шатер бродячего цирка на базарной площади. Юный канатоходец, бесстрашно улыбаясь, шел по канату под потолком. Рихард не мог оторвать от него глаз.

КАНАТОХОДЕЦ отступает, но находит равновесие и идет дальше. КОЗИМА выбегает из шатра и, закрыв глаза ладонями, прислоняется лицом к столбу. Заметив, что Козимы нет рядом с ним, РИХАРД протискивается сквозь толпу и подходит к ней.

РИХАРД: *(отводя ее ладони от глаз)* Что с тобой?

КОЗИМА: *(вся дрожит)* Я не могу спокойно смотреть, когда человек так отчаянно рискует жизнью.

РИХАРД: Ты имеешь в виду меня?

КОЗИМА: *(шепчет испуганно)* Нет, нет, что ты! При чем тут ты?

РИХАРД уводит КОЗИМУ и возвращается.

РИХАРД: Я вдруг понял, что канатоходец – это я, и она, конечно, тоже подумала обо мне. Ведь я всю жизнь иду над бездной по туго натянутому канату и не знаю, когда сорвусь.

КАНАТОХОДЕЦ: Не успел я родиться, как весь мир вокруг меня рухнул – армия Наполеона бежала из России через наш город, русская армия ее догоняла. И моя бедная мама, загрузив в телегу восемь детей и меня, двухмесячного, пустилась наутек от войны. Отец умер по дороге от тифа, но мама довезла меня живым до Дрездена.

РИХАРД: Мне не было и полугода, как мама вышла замуж за друга отца Людвига Гейера, и до тринадцати лет меня звали Рихард Гейер.

КАНАТОХОДЕЦ: Представляете, создатель новой немецкой оперы – великий Рихард Гейер. *(Кувыркаясь на канате,*

дразнит РИХАРДА) Рихард Гейер – ку-ку! РихардГейер – ку-ку!

РИХАРД: Заткнись!

КАНАТОХОДЕЦ: Чего ты сердишься? Может, тебе в этом имени слышится что-то еврейское?

РИХАРД: С чего вдруг еврейское?

КАНАТОХОДЕЦ: Вообще не вдруг. Ты прекрасно знаешь, что многие евреи называли себя по именам городов, в которых жили.

РИХАРД: Ну и что?

КАНАТОХОДЕЦ: А то, что под Дрезденом есть городок Гейер!

РИХАРД: Какая чушь! Это тебе наболтал подонок Ницше? Подумать только – много лет он был моим лучшим другом. Он неделями жил у нас в Байройте. Но в конце концов пришлось отказать ему от дома из-за его гнусных сплетен.

КАНАТОХОДЕЦ: Но какая-то правда в его сплетнях была, иначе ты бы не выгнал из дому своего лучшего друга.

РИХАРД: А даже если у Людвига Гейера была капля еврейской крови, при чем тут я?

КАНАТОХОДЕЦ: Злые языки говорят, что ты очень похож на своего отчима. Я даже сравнивал его портрет с твоим – просто одно лицо!

РИХАРД: *(заходится в истерике)* Заткнись, сейчас же заткнись, или я убью тебя! *(подпрыгивает, пытается сдернуть КАНАТОХОДЦА с каната, но не может дотянуться)* Скотина! Гнусная скотина!

КАНАТОХОДЕЦ: Такая же гнусная, как и ты! *(протягивая РИХАРДУ руку)* Ну, схвати меня, схвати! Слабо тебе, малыш! Слабо!

РИХАРД: *(мечется по сцене, напрасно подпрыгивая и швыряя в КАНАТОХОДЦА разные предметы. Визжит)* Убь-ю-ю-ю!

КАНАТОХОДЕЦ: *(усаживается на канате, закинув ногу за ногу)* Ну, убей, убей! Только кем ты будешь без меня? Еврейчиком Рихардом Гейером? Ведь это я, а не ты - Рихард Вагнер, гордость немецкой музыки!

Появляется КОЗИМА и пытается успокоить РИХАРДА

КОЗИМА: Тише-тише, не надо так кричать.

РИХАРД: *(отталкивая ее)* Пошла вон, старая шлюха!

КОЗИМА: *(берет крошку РИХАРДА на руки, как ребенка и качивает)* А-а-а! А-а-а! Тише-тише, детка, зачем так грубо?

РИХАРД: А что, разве ты не шлюха? Скольких детей ты родила от меня, пока считалась женой Ганса?

КОЗИМА: Не могла же я признаться Гансу, что ты мой любовник? Он был тогда дирижером всех твоих опер.

РИХАРД: Но дети-то были мои?

КОЗИМА: Твои, конечно, твои! А-а-а-а! *(продолжает укачивать Рихарда)* Ведь ты же любишь этих детей? Ты их обожаешь!

РИХАРД: *(постепенно утихает)* Да, да я их обожаю! Где они? Идем к ним скорей!

КОЗИМА: *(ставит РИХАРДА на ноги и ведет за ручку)* Вот и хорошо, вот и славно! Идем домой к детям. *(КАНАТОХОДЦУ)* Он ведь совсем не злой. Просто у него случаются приступы – он орет, топает ногами, всех бранит, а потом затихает и становится как шелковый. Помню один ужасный случай, перед самым фестивалем, когда он устроил скандал в ресторан "Странствующий рыцарь".

Появляется ресторан "Странствующий рыцарь", РИХАРД и КОЗИМА сидят за столом с двумя братьями-мастерами.

РИХАРД: Вы уже месяц назад должны были изготовить плавательный аппарат для хора в "Золоте Рейна". А его все нет.

1 БРАТ: *(смущенно)*...Да вот не успели...

2 БРАТ: Герцог Мейнингенский заказал нам новые ширмы для своего театра, и весь месяц мы были заняты этим заказом...

РИХАРД: Почему его заказом, а не моим?

2 БРАТ: Он же герцог...

РИХАРД: *(вскакивает и в приступе ярости начинает швырять на пол тарелки)* Значит, я, Рихард Вагнер, создатель искусства будущего, для вас такой же клиент, как этот хер собачий? Он только тем и хорош, что получил титул по наследству!

КАНАТОХОДЕЦ: *(влетает в окно и раскачивается на люстре)* Агу их! Агу!

РИХАРД: *(срывает со стола скатерть с посудой и бутылками)*. Да я его! Да я вас! В землю втопчу!

КАНАТОХОДЕЦ: *(раскачиваясь)* Так их, гадов! Дави их, как клопов!

РИХАРД вскакивает на стул, срывает люстру и падает на пол в судорогах. КАНАТОХОДЕЦ шлепается на пол.

РИХАРД: *(медленно поднимается и озирается по сторонам)* Что это было – землетрясение, ураган?

КОЗИМА: Ты немного погорячился, дорогой.

КАНАТОХОДЕЦ: *(взлетая на канат)* Совсем немного.

Чуть-чуть побушевал!

РИХАРД: *(озираясь)* И все это я натворил? Разбил эти тарелки и бутылки с вином?

КАНАТОХОДЕЦ: Но не я же, ты понимаешь?

РИХАРД: Да, да! Конечно я! Какой позор! Но я ничего не помню! *(бужается на колени перед мастеравыми)* Простите меня, господи! И мы снова будем работать вместе, да? Ведь скоро мой знаменитый фестиваль!

КАНАТОХОДЕЦ: Как, он уже знаменитый? Он ведь еще не состоялся!

РИХАРД: Он будет очень знаменитый, помани мое слово!

КАНАТОХОДЕЦ *хохочет*, КОЗИМА *уводит* РИХАРДА. *Перед ними возникает их дом – над входом выбито его имя "Винифрид" – "Утоли мои печали".*

КОЗИМА: Ну, вот мы и дома.

РИХАРД: Как хорошо вернуться в наш замечательный дом, который я спланировал сам.

РИХАРД И КОЗИМА входят в высокий зал, который, как в церкви, уходит под крышу. В центре на помосте стоит рояль.

КАНАТОХОДЕЦ: *(ходит по канату, натянутому между этажками)* Остроумно, не правда ли? Гости видят только высокий, уходящий под крышу сводчатый зал и грациозные галереи, окаймляющие второй и третий этаж.

РИХАРД: А винтовые лестницы, соединяющие наши личные спальни, встроены во внутренние углы комнат. Они напоминают хитроумное строение человеческого тела, в котором все грязное и низменное спрятано глубоко под кожей...

КАНАТОХОДЕЦ: ...так что для обозрения остается лишь красивое и возвышенное. Адольф Гитлер обожал этот дом – он специально приезжал в Байройт, чтобы пожить там и набраться вдохновения.

РИХАРД: А кто такой Адольф Гитлер?

КАНАТОХОДЕЦ: Человек, который сделал тебя знаменитым.

РИХАРД: *(опускаясь в кресло у рояля)* Козима, сыграй мне что-нибудь.

КОЗИМА: Но я должна приготовить детям ужин.

РИХАРД: Дети подождут. Сначала сыграй для меня, мне что-то нездоровится.

КОЗИМА: *(садится к роялю)* А что сыграть?

РИХАРД: Что-нибудь из моего любимого.

КОЗИМА: *(вопросительно)* Из твоего любимого?

РИХАРД: Может, хор пилигримов из "Гангейзера"?

КАНАТОХОДЕЦ: Конечно, из "Тангейзера"! Разве может быть любимой чья-то музыка, кроме своей?

РИХАРД: Я же не виноват, что еще никем не создана музыка, равная моей!

КОЗИМА играет, РИХАРД некоторое время слушает, но через минуту вскакивает.

РИХАРД: *(кричит)* Нет, нет, не так! Зачем ты при ля-минор нажимаешь на педаль?

КОЗИМА: Но у тебя тут написано – педаль.

РИХАРД: Мало ли что написано! А ты должна сама чувствовать, когда надо нажимать на педаль, а когда не надо.

КОЗИМА: *(обиженно)* Хорошо, если я не чувствую, играй сам!

КАНАТОХОДЕЦ: Она-то играет хорошо, просто твоя музыка никуда не годится - откуда ты взял, что в мире нет тебе равных?

РИХАРД: Ты прав, тысячу раз прав, - они мне не равны, эти еврейско-итальянские скорописцы! Они не равны мне, они гораздо, гораздо лучше! И потому она так плохо играет мои опусы – они ей просто противны. *(КОЗИМЕ)* Не стесняйся, доставь себе удовольствие, спой арию Виолетты из "Травиаты" этого шута горохового Джузеппе Верди! Она ведь так тебе нравится!

КОЗИМА: *(обиженно вскакивает и захлопывает крышку рояля)* Откуда ты взял, что она мне нравится?

РИХАРД: Я слышал, как ты ее напевала, когда накрывала стол к завтраку.

КОЗИМА: Как ты мог это слышать? Ведь когда я накрывала стол к завтраку, ты еще нежился в своей роскошной ванне.

РИХАРД: Ты же знаешь, какой у меня слух – он проникает сквозь стены.

КАНАТОХОДЕЦ: *(спрыгивает с каната и открывает рояль)* И правда, почему бы не спеть что-нибудь из "Травиаты"? Например, этот дуэт! Давай, Козима, подключайся – у нас отлично получится. *(играет)*

РИХАРД: Давай, Козима, пой с ним, а я послушаю. Может, пойму, от чего весь мир сходит с ума.

КОЗИМА: Ты правда хочешь, чтобы я стала это петь? Ты же терпеть не можешь Верди!

РИХАРД: А может, если вы с ним хорошо споетесь, этот скорописец мне понравится.

КАНАТОХОДЕЦ и КОЗИМА, все больше увлекаясь, исполняют дуэт Альфреда и Виолетты.

РИХАРД (*лежит в кресле, закрыв глаза. Но через пару минут вскакивает и кричит*): Хватит! Прекратите! Вы меня уже убедили, что ваш Верди намного лучше моего Вагнера. Как у него все весело, как изящно, как остроумно! И правы эти жида и журналисты, когда пишут, что на спектаклях Вагнера от скуки даже мухидохнут!

КАНАТОХОДЕЦ: (*перестает петь*) Ты же сам попросил нас спеть.

РИХАРД: Я думал ты споешь и посмеешься, а ты... а ты... как враг, как чужой! И ее увлек – вон как она расчирикалась!

КОЗИМА: Дура я, дура! Ведь сотни раз обещала себе не поддаваться на твои просьбы.

РИХАРД мечется по залу и карикатурно поет арию *Вioletты*.

РИХАРД: Я ги-и-бну, к-а-а-к роза, от бури ды-ы-ыханья!

КАНАТОХОДЕЦ: (*пытаясь вспрыгнуть на канат*) Надо же, даже петь не умеет, как следует! А еще композитор!

РИХАРД: (*успекает сдернуть его с каната*) Ты у меня сейчас посмеешься! (*хочет сбросить его с помоста*)

КОЗИМА: (*испуганно*) Осторожней, Рихард! Я не хотела тебе рассказывать, но лучше расскажу. Помнишь, того отважного канатоходца из бродячего цирка? Я узнала, что он недавно погиб.

РИХАРД: (*потрясен*) Как погиб? Разбился?

КОЗИМА: Да, разбился бедняга - сорвался с каната во время представления.

КАНАТОХОДЕЦ: Отпусти меня скорей. Я тоже могу разбиться.

РИХАРД: (*бережно ставит КАНАТОХОДЦА на рояль*) Боже, какой ужас! Ведь я мог тебя уронить! Прости меня, я сам не свой в последние дни! У меня голова кругом идет! Ведь мне до сих пор не удалось расплатиться с прошлогодними долгами.

КОЗИМА: Так обидно, что, несмотря на успех, дефицит после фестиваля оказался непомерный.

РИХАРД: И я не почел за стыд, я, Рихард Вагнер, пошел на поклон к сильным мира сего. И где же они, эти богатые покровители искусств?

КОЗИМА: Нашлась только одна старая дама, которая отвалила нам от своей пенсии сто марок. Но что такое сто марок при дефиците в сто пятьдесят тысяч?

РИХАРД: А какой был фестиваль! Просто чудо! "Кольцо Нибелунгов" было сыграно три раза подряд, хотя музыкальные жида раньше присудили, что поставить его невозможно!

КОЗИМА: Но Рихард совершил невозможное, он собрал

вместе сто пятьдесят выдающихся музыкантов и создал невидимый оркестр. Он посадил их всех в оркестровую яму, какой больше нет нигде, ни в одном театре мира!

Все это время КАНАТОХОДЕЦ, который стоит на рояле делает РИХАРДУ какие-то странные знаки, прикладывая руку к щеке.

РИХАРД: Что с тобой? У тебя зуб болит, что ли?

Раздается громкий стук в дверь.

КОЗИМА: Кто это может быть в такой час? *(идет к двери)*
Кто там?

ГОЛОС: Посылка от господина Шнапауфа!

КОЗИМА: *(открывает дверь и берет коробку)* От какого Шнапауфа? От парикмахера? С чего вдруг?

РИХАРД: *(шепотом)* Я пропал! Посылка от Юдит! Из Парижа!

КАНАТОХОДЕЦ: *(Рихарду шепотом)* А я тебя предупреждал, но ты – ноль внимания. Теперь расхлебывай, как хочешь.

РИХАРД: *(подбегает к Козиме и пытается выхватить коробку)* Это так, ерунда! Я попросил парикмахера купить мне кое-какие вещи.

КОЗИМА: *(тянет коробку к себе)* Какие вещи?

РИХАРД: *(вырывает у нее коробку)* Я ведь не знаю, что он купил. *(выбегает во внутреннюю дверь)* Я сейчас посмотрю и тебе расскажу.

КОЗИМА: *(бежит за ним)* Я тоже хочу посмотреть!

КАНАТОХОДЕЦ: *(пляшет на канате на уровне второго этажа)* Она тоже хочет посмотреть, что прислала тебе Юдит!

РИХАРД: *(появляется на галерее второго этажа)* Тебе некогда, ты должна готовить ужин детям!

КОЗИМА: *(длинноногая, большими прыжками догоняет малютку Рихарда)* Я только одним глазком гляну и пойду готовить ужин!

КАНАТОХОДЕЦ: *(подлетает к Козиме и повисает у нее на плечах, чтобы ее задержать)* Куда ты? Ты совсем не думаешь о детях, а им давно пора спать.

КОЗИМА *отталкивает его, но уже поздно – Рихард захлопывает дверь перед ее носом. КОЗИМА плачет.*

КАНАТОХОДЕЦ: *(обнимает Козиму)* Не плачь, что тебе до этих тряпок? А внизу тебя ждут голодные дети.

КОЗИМА: *(вместе с КАНАТОХОДЦЕМ спускается по канату).* Я уверена, что Шнапауф тут ни при чем. Это все затеи нахальной парижской кривляки Юдит! Она просто вешается

Рихарду на шею!

КАНАТОХОДЕЦ: Ну, что ты несешь? Она ему во внучки годится!

КОЗИМА: Что с того? Я годилась ему в дочери, но это его не остановило! *(хочет повернуть обратно вверх)* Нет, я так не могу! Я должна вернуться и узнать, что там, в этой посылке.

КАНАТОХОДЕЦ: *(перехватывает ее руку и не пускает)* Оставь, зачем нарываться на скандал? Ты только рассердишь его и все. *(подталкивает Козиму вниз)* Иди к детям, а я поднимусь к нему и выясню, в чем дело.

КОЗИМА: *(неохотно подчиняясь)* И все мне расскажешь?

КАНАТОХОДЕЦ: *(удирая вверх)* Конечно, расскажу.

КАНАТОХОДЕЦ *влетает в окно гардеробной комнаты, где Рихард уже запер двери и поспешно разрезает веревки. Садится на край роскошной ванны, в стену над которой впрессована огромная перламутровая раковина.*

КАНАТОХОДЕЦ: Чего ты так торопишься? Даже руки дрожат.

РИХАРД: *(жадно запуская руки в глубину коробки, выдергивает оттуда отороченные кружевами сорочки и прижимает их к лицу)* Чувствуешь, духи Юдит? Мне кажется, что она здесь, рядом со мной!

КАНАТОХОДЕЦ: И какая тебе от этого польза? Ты ведь помнишь, как она отшатнулась, когда ты притянул ее к себе и пытался поцеловать?

(Входит Юдит – она молода и прекрасна)

ЮДИТ: Марш Валькирий взволновал меня так же, как когда-то в юности клавир "Летучего Голландца". Я попробовала его сыграть, - и мне вдруг открылось величие драмы и музыки. *(Садится к роялю и многократно пытается сыграть трудный пассаж из увертюры "Летучего Голландца")* Я довела родителей до безумия бесконечными повторами одной и той же мелодии. Они орали, выли, топали ногами, но не могли меня остановить.

РИХАРД: *(пытается ее поцеловать)* Как ты прекрасна!

ЮДИТ: *(вскакивает и отталкивает его, так что он отлетает в угол)*. Нет, нет, только не здесь! А вдруг войдет Козима? *(выбегает)*.

КАНАТОХОДЕЦ: Когда она убежала, ты зажег свет над большим зеркалом и увидел свое старое-старое лицо со сморщенной кожей, вяло обвисающей под подбородком.

РИХАРД: *(отшивырявая рубахи)* Ну, зачем ты напоминаешь мне об этом? Зачем? КАНАТОХОДЕЦ: Затем, чтобы ты не дурил себе голову этой любовью. Ты старик, понимаешь?

Старикашка!

РИХАРД: Ты прав! Я тоже на месте Юдит не захотел бы прижаться к такому лицу своими молодыми губами.

КАНАТОХОДЕЦ: Ради чего же рисковать? В конце концов Козима все узнает и не простит.

РИХАРД: Кто знает, - может, и простит. Ведь простила же она мой роман с королем Людвигом. А ведь он был не такой платонический, как с Юдит.

КАНАТОХОДЕЦ: Так то был король, он долги твои оплачивал! А теперь - зачем тебе на старости лет рисковать ради платонического романа?

РИХАРД: Именно это мне и нужно – ходить по канату на грани разоблачения. Опасность придает моему роману с Юдит ту остроту, которая подстегивает мои нервы до звенящего напряжения.

КАНАТОХОДЕЦ: Так и сдохнешь от этого напряжения, старый дурак! РИХАРД: Напряжение необходимо мне для работы над "Парсифалем". "Парсифаль" – моя последняя радость, моя лебединая песня, после нее остается только смерть. *(Звучит "Танец цветов" из "Парсифаля", Рихард, забывши обо всем испуленно дирижирует)* Ты слышишь? Слышишь? Ты видишь, как меняются краски и цвета при каждом новом аккорде? Только Рихард Вагнер может создать такую музыку! Слышишь - каждому аккорду соответствует свой цвет?

КАНАТОХОДЕЦ: Не могу сказать, что слышу, но раз ты говоришь, значит, так и есть.

РИХАРД: Ладно, хватит болтать. Лучше посмотрим, что еще прислала мне Юдит. *(выплескивает на пол два атласных халата)* Халаты! *(любовно их разглядывает)* Розовый и лиловый, как я просил!

КАНАТОХОДЕЦ: Ишь, кружевами обшиты со всех сторон! Интересно, сколько денег ты ей на это перевел?

РИХАРД: Столько, сколько нужно, чтобы она при покупке не думала о цене.

КАНАТОХОДЕЦ: К чему такая роскошь? При твоих-то долгах!

РИХАРД: *(снимает домашнюю куртку, надевает лиловый халат, и, покачивая бедрами, крутится перед зеркалом)*. Да, я расточителен и балую себя роскошью, но мне это необходимо, чтобы воссоздать в музыке мир своей фантазии.

КАНАТОХОДЕЦ: Экий врун! Так я и поверил, что истинная фантазия нуждается в роскоши и баловстве!

РИХАРД: *(Подобрав фалды подола, привстает на*

цыпочки и любуется своим отражением) Разве можно объяснить, какой это адский труд - писать музыку? Этому нельзя научиться, и каждый раз надо начинать сначала. *(разворачивает пакет, завернутый в газету, вынимает хрустальный флакон)* Парижские духи – Юдит обо всем подумала!

КАНАТОХОДЕЦ: Интересно, во сколько эти духи тебе обошлись?

РИХАРД: Какая разница? Юдит не останавливается перед ценой. Она понимает, как мне нужны благовония! Ведь я вынужден ограждать свою душу от пошлых, будничных запахов реальной жизни. *(опрыскивает себя духами и надевает второй халат. Делает пируэт перед зеркалом)* А ведь хорошо, правда, все еще хорошо? Парень хоть куда!

КАНАТОХОДЕЦ: Ну, куда-куда с такой одышкой? Двух поворотов толком не сделал, а пыхтишь, как паровоз!

РИХАРД: Ничего – еще минуточка, и одышка пройдет. *(наклоняется, чтобы поднять упавшую газету, в которую был завернут флакон)* Надо парижскую газетку выбросить осторожно, чтобы Козима не догадалась, от кого посылка. *(расправляет газету, чтобы сложить и вскрикивает)* Посмотри, кто это? Чей портрет?

КАНАТОХОДЕЦ: *(смотрит через его плечо? Уж не Мишеля ли? Нет, это не он. Или он так изменился? Тяжелый, больной, отечный!*

РИХАРД: Конечно, это он, Мишель Бакунин! Разве можно его с кем-нибудь спутать?

КАНАТОХОДЕЦ: Что же о нем пишут?

РИХАРД: *(вглядывается в газетную страницу)* Шрифт какой-то мелкий и мутный. *(хватается за сердце)* О Боже! Мишель умер!

КАНАТОХОДЕЦ: Тебе, небось, померещилось. Ведь французский у тебя не ахти какой.

РИХАРД: Да нет, я читаю: от десятого июля семьдесят шестого года.

КАНАТОХОДЕЦ: Значит, прошло больше года?

РИХАРД: *(читает)* "Неделю назад, 3 июля 1876 года, на православном кладбище швейцарского города Берна были преданы земле останки покойного Мишеля Бакунина. Навсегда ушел от нас мятежник, прирожденный партизан революции".

КАНАТОХОДЕЦ: Выходит, со смерти Мишеля прошло столько времени, а ты и не знал. Даже и не почувствовал, что Мишеля нет в живых.

РИХАРД: А ведь в каком-то затаенном уголке моей души

он присутствовал всегда. И саднил как больной зуб.

КАНАТОХОДЕЦ: *(выхватывает газету и читает)* Не забудем его слова: "Буду счастлив, когда весь мир будет пылать в пламени разрушения"

РИХАРД: *(продолжает по памяти)* "... чтобы легко вздохнуть наследникам, надо хоронить мертвеца. Это буйство похорон и есть моя жизнь..."

КАНАТОХОДЕЦ: *(восхищенно)* Точно! Запомнил слово в слово! А ведь сколько лет прошло!

РИХАРД: Почти тридцать! Это было в сорок девятом.

КАНАТОХОДЕЦ: *(читает)* "Ни смертный приговор, ни годы тюрьмы не смогли сломить..."

РИХАРД: *(плачет)* Боже милосердный! Мишель умер, а я его так и не повидал!

КАНАТОХОДЕЦ: Ладно, нечего нюни распускать! Хотел бы, повидал бы!

РИХАРД: Ты же все знаешь! Ты понимаешь, что я не мог посмотреть ему в глаза? Смертный приговор, годы тюрьмы – и все из-за меня! Подонок я, сволочь последняя!

КАНАТОХОДЕЦ: Ладно, Рихард Гейер, перестань скулить! Его бы все равно схватили, и без тебя. Он был такой авантюрист, всегда лез на рожон.

РИХАРД: Пусть бы схватили, но не по моей наводке! Ты же знаешь, как я его любил! Я всем пожертвовал, чтобы быть рядом с ним! Я на баррикады ради этого пошел!

КАНАТОХОДЕЦ: Ну и дурак! Что ты забыл на баррикадах? Ты был главный дирижер Королевской оперы!

РИХАРД: Воистину дурак! Всем пожертвовал и все потерял – имя, родину, музыку! Все-все потерял, и Мишеля тоже! А теперь он умер, его больше нет и никогда не будет!

КАНАТОХОДЕЦ: Ты помнишь, как ты увидел его в первый раз?

РИХАРД: Разве можно это забыть? Я дирижировал Девятую симфонию Бетховена. *(поворачивается спиной к залу и дирижирует. Звучат последние такты Девятой симфонии)*. Зал был полон... *(раздается шум оваций)* Я прошел в гардеробную...

КАНАТОХОДЕЦ: *(заглядывает)* К тебе рвется какой-то незнакомый господин в черном фраке. Впустить?

РИХАРД: Впусти.

Входит МИШЕЛЬ в черном фраке – красавец огромного роста.

МИШЕЛЬ: *(поднимает Рихарда и держит в руках, как ребенка)* Это было потрясающе! Когда мы уничтожим этот подлый

мир, мы оставим только вас и Девятую симфонию Бетховена!

РИХАРД: А зачем этот мир уничтожать?

МИШЕЛЬ: *(бережно ставит Рихарда на стул, чтобы говорить с ним, как с равным)* Затем, что вся современная культура прогнила и пора с ней кончать!

КАНАТОХОДЕЦ: А что ты ему ответил?

РИХАРД: Не помню. Может быть, не ответил вовсе. Я не мог оторвать глаз от его прекрасного лица - это был мой Зигфрид. Мне представилось, что я всю жизнь ждал встречи с ним.

Раздается робкий стук в дверь.

ГОЛОС КОЗИМЫ: *(за дверью)* Рихард, Рихард! ты выйдешь к ужину? Дети уже сидят за столом.

РИХАРД: Уже иду! *(поспешно сбрасывает халат и натягивать сброшенную с плеч домашнюю куртку)* Никак пуговицы не застегну, пальцы совсем не слушаются.

ГОЛОС КОЗИМЫ: *(за дверью)* Так ты идешь или нет?

РИХАРД: Иду! Еще секунда и иду! *(КАНАТОХОДЦУ)* Пальцы занемели, как быть?

КАНАТОХОДЕЦ: Ты слишком разнервничался из-за Мишеля. Давай, я застегну! *(застегивает)* Ни к чему показывать при детях, что ты расстроен.

РИХАРД: *(по дороге к лестнице)* Дети вовсе не так чувствительны, как ты думаешь. Вчера я застиг их в центре моего могильного холма.

КАНАТОХОДЕЦ: Того самого, который ты насыпал над своей будущей могилой?

РИХАРД: Я спросил, что они делают. Они ответили, что ищут червей для своей черепахи! На моей могиле, представляешь?

КАНАТОХОДЕЦ: *(вскакивает на веревку)* Что с них взять? Могила-то будущая, а ты пока еще жив.

РИХАРД: Когда я умру, к этой могиле будут приходить миллионы!

КАНАТОХОДЕЦ: *(Хихикает)* Миллиарды!

РИХАРД: Да, миллиарды! Я ясно вижу их – вот они толпами валят к моему театру и часами стоят в очереди за билетами...

ГОЛОС КОЗИМЫ: Так ты идешь или нет?

КАНАТОХОДЕЦ: Хватит! Спускайся с облаков и иди ужинать. *(начинает спускаться вниз)*

РИХАРД: Можно я спущусь с тобой?

КАНАТОХОДЕЦ: Иди лучше по лестнице, так спокойней будет.

Рихард входит в столовую, садится к столу,

КАНАТОХОДЕЦ спускается на канате и садится на спинку его стула

КАНАТОХОДЕЦ: *(шепотом)* Ты расскажешь Козиме про Мишеля?

РИХАРД: Не сейчас. А то она спросит, откуда я узнал.

КАНАТОХОДЕЦ: Но надо ей сказать, что он умер. Пусть помянет его перед сном.

РИХАРД: Да что он ей? Она ведь не была с ним знакома. Тогда я был женат на Минне.

КАНАТОХОДЕЦ: Ну конечно! Как я мог забыть? На бывшей артисточке, блядюшке Минне! Она терпеть не могла твоего Мишеля.

КОЗИМА: Что с тобой, Рихард? Ты совсем ничего не ешь.

РИХАРД: Что-то аппетита нет. И голова кружится.

КОЗИМА: *(испуганно)* Опять голова кружится? Скорей побегу, принесу капельки, прописанные тебе от головокружения. *(выходит)*

РИХАРД: Конечно, Минна терпеть его не могла, особенно после той истории с колбасой.

КАНАТОХОДЕЦ: Что за история? Не помню.

РИХАРД: Я уговорил Минну пригласить Мишеля к нам на ужин.

КАНАТОХОДЕЦ: Ну да, большая победа. Она считала, что ужинать вы должны только тет-а-тет.

РИХАРД: Но Мишель мог прийти только вечером. Он все дни прятался от полиции в каком-то подвале, и выходил наружу лишь после наступления темноты.

У стола сидят РИХАРД и МИННА

МИННА: Не понимаю, что ты нашел в этом русском медведе. Зачем он тебе?

РИХАРД: Он вовсе не медведь, а истинный аристократ.

МИННА: Если он такой аристократ, почему за ним гоняется полиция всех стран Европы?

РИХАРД: Потому что он посвятил свою жизнь борьбе с деспотизмом.

Появляется МИШЕЛЬ все в том же черном фраке, садится к столу.

МИННА: А вам не холодно в этом фраке? Январь у нас холодный.

МИШЕЛЬ: Хотя он не такой холодный, как в России, я был бы рад, если бы вы одолжили мне какой-нибудь шарф.

РИХАРД: Шарф? Я сейчас поищу. *(выбегает)*

МИННА: Но почему бы вам не носить пальто?

МИШЕЛЬ: Потому что ни у кого нет пальто моего размера.

МИННА: Но разве нельзя купить?

МИШЕЛЬ: Неужто Рихард не говорил вам, что я не признаю ни денег, ни собственности?

РИХАРД: *(возвращается с шарфом)* Вот шарф! Отличный, я вам его дарю.

МИННА: Не дари! Он же не признает собственности.

РИХАРД: Тогда давайте ужинать. Ведь все, что мы съедем, становится нашей собственностью. *(Минна выходит)* Вы ведь признаете немецкую колбасу, Мишель?

МИШЕЛЬ: И еще как! У нас в России немцев называют колбасниками.

КАНАТОХОДЕЦ: Внимание! *(Минна входит с большим блюдом, наполненным тонко нарезанными колбасами разных сортов)* Грядет колбаса!

МИННА: Вот наша немецкая колбаска. *(ставит на стол хлебницу)* А вот наш немецкий хлеб для бутербродов!

МИШЕЛЬ: Зачем портить колбасу хлебом?

РИХАРД: *(берет ломтик хлеба и делает то, что говорит)* Мы тоненько намазываем на хлеб масло и кладем сверху ломтик колбаски...

МИШЕЛЬ: А мы делаем иначе! *(протягивает огромную руку к блюду с колбасой, загребает полную горсть колбасных ломтиков и разом забрасывает их в рот).*

МИННА: *(потрясена)* Ах! Что вы делаете?

МИШЕЛЬ: А зачем церемониться с каждым кусочком, когда горстью гораздо вкусней?

МИННА: Но так же нельзя!

МИШЕЛЬ: Кто определил, что можно и что нельзя? Когда мы покончим с вашим гнилым обществом, мы покончим со всеми вашими нельзя!

МИННА: *(нервно вскакивая)* Мне что-то нездоровится. Я пойду лягу. А уж вы тут как-нибудь сами посумерничайте. Эту лампу я возьму, а вам зажгу другую. *(ставит на стол перед Рихардом лампу и уходит)*

МИШЕЛЬ: Я, кажется, ее испугал?

РИХАРД: Она в последнее время стала очень пуглива. А какая раньше была оторва – то и дело сбегала с каким-нибудь офицером. Я с ума сходил от ревности... *(прикрывает глаза рукой)*

МИШЕЛЬ: Я всегда говорил, что от баб надо держаться подальше!

РИХАРД: *(продолжая прикрывать глаза ладонью)* Но я

так ее любил, так боялся ее потерять!

КАНАТОХОДЕЦ: А я все спрашивал – на черта она тебе
сдалась, такая блядища?

РИХАРД: Ты помнишь ту маленькую шхуну, на которой
мы бежали от кредиторов?

КАНАТОХОДЕЦ: Из Риги в Лондон, да? Вскоре после
женитьбы? Когда случился ужасный шторм?

*Шторм. РИХАРД и МИННА стоят на палубе шхуны,
которую шторм с воем швыряет то вниз, то вверх.*

МИННА: Мы утонем? *(начинает громко молиться)* Боже,
великий и милосердный, не дай бушующей стихии поглотить нас с
Рихардом по отдельности, пусть лучше нас убьет удар молнии,
пока мы вместе!

РИХАРД: *(все так же прикрывая глаза рукой)* В ее
молитве под свист ветра и рев моря была дивная музыка, которая
легла в основу увертюры к "Летучему Голландцу". И за это я
прощаю ее глупые претензии, ее пронзительный голос, и даже ее
неспособность понять глубину моих замыслов.

МИШЕЛЬ: Почему вы прикрываете глаза?

КАНАТОХОДЕЦ: Они болят у него от яркого света.

МИШЕЛЬ: *(поднимает руку так, что она заслоняет
Рихарду лампу)* Так будет лучше?

РИХАРД: Так он и просидел все два часа нашей беседы,
держа свою ладонь между мною и лампой.

Входит Козима, Мишеля она не видит.

КОЗИМА: Вот твои капли. Ты так ничего и не съел?
Хочешь колбаски? *(Ставит на стол блюдо с тонко нарезанными
колбасами).*

РИХАРД: *(протягивает руку к блюду, загребает полную
горсть колбасных ломтиков и разом забрасывает их в рот).*
Прекрасная немецкая колбаска!

КОЗИМА: *(потрясена)* Ах!

КАНАТОХОДЕЦ: Что ты делаешь?

РИХАРД: Я всего лишь помянул Мишеля. *(Козиме)* Ты так
устала. Иди спать, детка, а я еще поколдую над книгами.

КОЗИМА: *(по пути к двери)* Что же было в этой посылке?

РИХАРД: Ты сейчас ложись спать, я тебе утром расскажу.

КОЗИМА: *(приостанавливаясь)* Расскажи сейчас.

КАНАТОХОДЕЦ: *(подталкивая ее к лестнице)* Иди, иди
спать – ведь с ног валишься.

*Козима неохотно идет наверх, КАНАТОХОДЕЦ бежит
вслед за ней по веревке.*

РИХАРД: Она легла?

КАНАТОХОДЕЦ: *(возвращается)* Она поднялась из гардеробной наверх, в спальню. Можешь итти.

РИХАРД *идет на цыпочках в лиловый салон Козимы и открывает ящик бюро.*

КАНАТОХОДЕЦ: Что ты ищешь?

РИХАРД: Дневник Козимы. Мне необходимо вспомнить, чем я был занят в тот день, когда Мишель умер. *(листает дневник)* Вот – 1 июля прошлого года: первый прогон "Сумерек Богов".

КАНАТОХОДЕЦ: Подумай - первая воплощенная на сцене смерть Зигфрида в день смерти Мишеля!

РИХАРД: Все то время, когда я писал о Зигфриде, я видел перед собой Мишеля. Он, как и Зигфрид, рожденный от предков, тосковавших по солнцу в сумрачных лесах, мог ощущать истинный вкус жизни только на грани гибели, на краю пропасти.

КАНАТОХОДЕЦ: Сознайся, Рихард Гейер, ведь именно эта особенность арийской души, совершенно тебе чуждая, приводит тебя в трепет?

РИХАРД: Что ты знаешь о трепете? О, как я трепетал, гуляя по ночам с Мишелем по набережным Эльбы!

КАНАТОХОДЕЦ: Почему по ночам?

РИХАРД: Я же рассказывал – Мишель прятался от полиции и выходил подышать только ночью.

КАНАТОХОДЕЦ: А почему прятался?

РИХАРД: На него розыск был объявлен по всей Европе – во время революции он сражался на баррикадах в Париже и в Праге.

КАНАТОХОДЕЦ: Просто сражался или вел народ в бой?

РИХАРД: Ты же знаешь Мишеля – чем бы он ни занимался, он всегда вел народ в бой.

В ночном сумраке появляется огромная фигура МИШЕЛЯ, за ним, как собачка на привязи, бежит крошечный РИХАРД.

РИХАРД: Не так быстро, Мишель, я за тобой не поспеваю.

МИШЕЛЬ: Прости. За день ноги так затекают, что необходимо их размять. *(поднимает РИХАРДА, и сажает к себе на бедро, как ребенка)* Слушай – тогда в Париже был месяц духовного пьянства. Я был целый день на ногах, участвовал во всех собраниях, процессиях, демонстрациях. Я втягивал в себя всеми порами упоительную революционную атмосферу.

РИХАРД: *(касается пальцами лица Мишеля)* Сейчас я наконец могу рассмотреть твое лицо. О таком лице я мечтал, когда представлял себе своего Зигфрида.

МИШЕЛЬ: *(в экстазе, не слушая)* Я, МИШЕЛЬ, послан

провидением для всемирных переворотов. Я свергну презренные формы предрассудков, вырву народы из объятий деспотизма и вкину их в мир новый, святой, в гармонию беспредельную!

РИХАРД: Как же ты это сделаешь?

МИШЕЛЬ: *(упоенно)* Для этого нужно создать тайную сеть борцов за свободу. Такие маленькие группки, не знакомые друг с другом и повязанные общим кровавым преступлением. Они будут взрывать мосты, бросать бомбы, сбрасывать под откос поезда!

РИХАРД: А зачем?

МИШЕЛЬ: Чтобы встряхнуть этот мерзкий застойный порядок! Чтобы вдохнуть свежий ветер в окаменевшие мозги!

РИХАРД: Но ведь прольется невинная кровь!

МИШЕЛЬ: Конечно, прольется! Кровь должна пролиться, когда рушатся миры. Я вижу, как через сто лет весь человеческий студень будет дрожать от страха перед кучкой героев, отважившихся на подвиг ради всеобщей свободы.

РИХАРД: Свободы от чего?

МИШЕЛЬ: Свободы от всего! Это будет очень скоро – пусть не завтра, но послезавтра. Я вижу, вижу, как горят города и рушатся стены!

РИХАРД: И тебе никого не жалко?

МИШЕЛЬ: Жалость – жалкая чушь, когда речь идет об освобождении от пут законов!

Из темноты появляется МИННА.

МИННА: Рихард, не пора ли вернуться домой? Хватит бродить по ночам с этим варваром, который даже колбасу не умеет есть по-людски!

РИХАРД: Ты не понимаешь – когда я с ним, в моей душе рождается великая музыка будущего!

МИННА: Врешь ты все про музыку будущего. Знаю я твои штучки! Ты просто в него влюблен!

РИХАРД: Что ты несешь? Какие штучки?

МИННА: Ты хочешь, чтобы я перечислила твоих возлюбленных дружков? Назвала их по именам? Или по датам?

Перед ними проходит вереница теней мужского пола.

МИННА: *(указывая то на одного, то на другого)* Этого? Или этого? А может, этого?

КАНАТОХОДЕЦ: *(соскакивает с веревки и затыкает МИННЕ рот)* Тс-с-с! Или ты хочешь его погубить?

МИННА: *(вырываясь)* Лучше погубить, чем дать ему ночи напролет таскаться с этим...

КАНАТОХОДЕЦ: *(утаскивает МИННУ в темноту)*

Пошла вон, дуреха!

ГОЛОС МИННЫ: Влюблен! Опять влюблен!

МИШЕЛЬ: И как только ты ее терпишь?

РИХАРД: Бог с ней, Мишель. Пойдем, я покажу тебе главную жемчужину Дрездена.

Из темноты выплывает королевская картинная галерея Цвингер.

РИХАРД: Видишь это красивое здание? Это королевская картинная галерея Цвингер. Равной ей нет в мире. Тут собраны лучшие творения художников всех времен.

МИШЕЛЬ: Например?

РИХАРД: Например, Сикстинская Мадонна Рафаэля.

МИШЕЛЬ: А что в ней особенного? Хорошенькая горничная держит в руках незаконнорожденного младенца.

РИХАРД: Ах, так ты там был?

МИШЕЛЬ: Я разок заглянул туда, чтобы понять, кому этот мертвый хлам нужен.

РИХАРД: И что решил?

МИШЕЛЬ: Решил, что никому.

КАНАТОХОДЕЦ: Кому-то все-таки нужен, если твои русские потомки через сто лет украли его отсюда и спрятали глубоко в подвалы, чтобы не отдавать.

МИШЕЛЬ: *(с надеждой)* И сожгли?

КАНАТОХОДЕЦ: Нет, долго отпирались, а лет через пятьдесят все же вернули хозяевам, хотя им очень не хотелось.

МИШЕЛЬ: Жаль, лучше бы сожгли! Представляю себе, как роскошно бы это старье полыхало в пламени революции!

КАНАТОХОДЕЦ: Минна права – и за этим чудовищем ты пошел на баррикады?

РИХАРД: Я бы пошел за ним на край света, если бы он меня позвал!

КАНАТОХОДЕЦ: Ну, а он что?

РИХАРД: А он бы за мной не пошел. Вокруг него было полно любимцев и поклонников, помоложе и покрасше меня. Один пианист из Парижа таскался за ним по всей Европе. И какие-то пражские студенты дни ночи торчали в его холодном подвале. Зачем же ему был нужен я?

КАНАТОХОДЕЦ: Но и ты ведь не хрен собачий, а великий композитор Рихард Вагнер. Он сам сказал, что тебя он оставит в своем новом мире.

РИХАРД: Тебе хорошо говорить – ты молодой и красивый. Ты высокий и стройный, а не Карлик Нос вроде меня.

КАНАТОХОДЕЦ: Это ты видишь меня высоким и

стройным. Таким, каким хотел бы быть сам. *(настораживается)*
Т-с-с! По-моему, наверху скрипнула дверь!

РИХАРД: Козима! Спускается проверять, почему я не иду спать. *(хватает с полки книгу, прячет дневник под рубашку и кладет на него книгу. Храпит).* Хр-р-р! Хр-р-р!

КОЗИМА в ночной рубашке спускается по лестнице, входит в салон и склоняется над РИХАРДОМ, пытаясь рассмотреть лежащую у него на груди книгу. Не решаясь разбудить его, на цыпочках уходит наверх, но идет не в спальню, а в гардеробную Рихарда. Открывает шкафы и находит оба халата и стопку кружевных сорочек. Тем временем РИХАРД вытаскивает дневник из-за пазухи и опять роется в ящике.

КАНАТОХОДЕЦ: *(шепотом)* Чего тебе еще надо?

РИХАРД: Хочу найти приказ начальника полиции о розыске некого Рихарда Вагнера. Вот он! *(вынимает из ящика пожелтевшую газетную страничку, читает):* возраст - 36 лет, рост - низкий, волосы - темно-русые, нос длинный.

КАНАТОХОДЕЦ: Мне кажется, это ты.

Свет гаснет и тут же зажигается – уже утро. РИХАРД и КОЗИМА сидят за столом, накрытым для завтрака.

КОЗИМА: Что это за новые халаты?

РИХАРД: А, ты их уже видела? Это парикмахер Шнапауф заказал у своего мюнхенского портного по моим чертежам. Они тебе понравились?

КОЗИМА: Они, небось, стоят безумно дорого!

РИХАРД: Что делать? Роскошь необходима моей душе во время напряженной работы!

КОЗИМА: Я боюсь, ты работаешь слишком напряженно.

За спиной КОЗИМЫ появляется КАНАТОХОДЕЦ.

КОЗИМА: Вот вчера ты так заработался, что, забыл лечь спать. Я проснулась среди ночи, а тебя нет. Я вылезла из постели и спустилась в салон. Там горел свет, а ты спал в кресле, держа в руках раскрытую книгу Шлегеля "Греки и римляне".

КАНАТОХОДЕЦ: *(хохочет)* Значит, это была книга Шлегеля? А ты и не заметил!

РИХАРД: Мне что-то не по себе, перед глазами все плывет. Не принять ли мне теплую ванну?

КОЗИМА: Конечно, конечно, дорогой. Я распоряджусь, чтобы через десять минут ванна была готова.

РИХАРД поднимается в гардеробную, КАНАТОХОДЕЦ спешит за ним. РИХАРД захлопывает перед ним дверь, но КАНАТОХОДЕЦ протискивается через форточку.

РИХАРД: Ну что ты меня преследуешь?

КАНАТОХОДЕЦ: Я хочу тебе помочь. Ведь ты не собираешься мокнуть в этой ванне?

РИХАРД: А как ты можешь мне помочь?

КАНАТОХОДЕЦ: *(поспешно раздевается и прыгает в ванну)* Я помокну вместо тебя. *(плещется с наслаждением)* Давно мечтал помыться! Я так завонялся, что на меня даже знакомые собаки начали лаять.

ГОЛОС КОЗИМЫ: *(за дверью)* Не очень заливай пол! У Марии болит спина, ей будет трудно вытирать лужи!

КАНАТОХОДЕЦ: Я так и знал, что она будет подслушивать. Что бы ты делал без меня?

РИХАРД: *(усаживается в кресло перед зеркалом)* Ну раз ты здесь, так помоги мне вспомнить тот ужасный май, когда мы с Мишелем повели народ в бой против могучей армии прусского короля.

КАНАТОХОДЕЦ: *(намыливает мочалку)* Это мыло тоже прислала Юдит? *(нюхает пену)* Какой аромат! Ты говоришь, вы с Мишелем повели народ в бой? Что-то я не помню тебя в первых рядах бойцов. Уж не сидел ли ты все эти дни на верхней площадке пожарной башни?

РИХАРД: Ну и что? Кто-то ведь должен был наблюдать за боем, чтобы координировать военные действия?

КАНАТОХОДЕЦ: Значит, ты наблюдал, а Мишель координировал? А как вы оба в эту кашу попали?

Выплывает набережная Эльбы, МИШЕЛЬ во фраке шагает впереди, за ним почти бегом семенит РИХАРД. Уже весна - Мишель без шарфа.

РИХАРД: Ты понимаешь, король нарушил все договоры. Он отказался подписать новую конституцию и разогнал парламент.

МИШЕЛЬ: Не все ли равно, кто правит – король или парламент? И тех, и других надо гнать в шею.

РИХАРД: А кто вместо них будет править?

МИШЕЛЬ: Править должен свободный народ!

РИХАРД: Какой народ ты называешь свободным?

МИШЕЛЬ: Свобода - продукт коллективный. Мы ее должны создать сами, могуществом нашей мысли и силой наших рук.

РИХАРД: Значит ты одобряешь наше решение поднять восстание?

МИШЕЛЬ: Смотря чего вы хотите добиться.

РИХАРД: Ясно чего. Чтобы король снова собрал парламент и подписал новую конституцию.

МИШЕЛЬ: Такое пошлое восстание я ничуть не одобряю.

Я считаю вашу революционную затею мелкотравчатой и буржуазной. Ради нее не стоит строить баррикады.

РИХАРД: Но ты все же придешь завтра на заседание нашего временного правительства?

КАНАТОХОДЕЦ: (*намыливая голову*) Зачем же ты его звал после того, как он обозвал вашу революцию мелкотравчатой?

РИХАРД: Честно? Я жаждал, чтобы он увидел меня среди борцов на баррикадах. Я давно понял, что он не ценит создателей опер, он ценит только разрушителей, людей действия и отваги.

КАНАТОХОДЕЦ: Значит, ты надеялся выглядеть человеком действия и отваги? Чего же ты сбегал с баррикады на верхушку пожарной башни?

РИХАРД: Понимаешь, моя жизнь не принадлежит мне. Еще не созданные, но уже оплодотворенные моим гением замыслы стремятся вырваться наружу. И я не смею подвергать себя опасности. А Мишелю опасность была ничем, Мишель обожал опасность! Он ради нее пришел в ратушу на заседание нашего временного правительства.

МИШЕЛЬ стоит перед невидимой аудиторией:

МИШЕЛЬ: Меня поражает детская неэффективность мер, принятых вами для защиты от прусских войск.

ГОЛОС: Но мы надеемся, что защищаться не придется.

МИШЕЛЬ: Вы надеетесь, что прусские войска отступят без боя?

ГОЛОС ИЗ АУДИТОРИИ: Мы предлагаем королю очень разумный компромисс.

МИШЕЛЬ: А зачем королю компромисс, когда на Дрезден идет армия, готовая вас раздавить?

ГОЛОС ИЗ АУДИТОРИИ: Так что же делать?

МИШЕЛЬ: Защищаться! Но не так, как вы задумали!

ГОЛОС: Вы возьмете на себя руководство?

МИШЕЛЬ: Я не склонен принимать участие в таком любительском спектакле.

ГОЛОС ИЗ АУДИТОРИИ: Но, может, вы согласитесь быть нашим военным советником?

МИШЕЛЬ: Ладно. Пожалуй, я научу вас строить баррикады.

Улица. Прямо на глазах возводится баррикада. МИШЕЛЬ громовым голосом отдает команды.

МИШЕЛЬ: Валите оба дерева и укладывайте поперек! Мешки с песком – сюда! А эту прореху засыпать булыжниками!

РИХАРД: Мишель уже забыл о своем презрении к нашему мелкотравчатому мятежу. Его увлекла сама стихия

революционной динамики: треск выстрелов, запах пороха и вкус опасности.

Вбегают человек в картузе.

ЧЕЛОВЕК В КАРТУЗЕ: *(кричит возбужденно)* Пруссаки уже здесь! Передовые части входят в город!

МИШЕЛЬ: Ничего, пускай входят! Им будут не по зубам наши баррикады.

Начинается артобстрел. Несмолкаемый грохот орудий безжалостно долбит по мозгам. РИХАРД карабкается по пожарной лестнице на башню.

КАНАТОХОДЕЦ: *(пытаясь его удержать)* Ты куда?

РИХАРД: Ты слышишь этот грохот? Я не смею подвергать себя опасности. Я обязан осуществить свои гениальные замыслы.

Где-то совсем близко раздается сильный взрыв и вспыхивает огромный пожар.

ГОЛОСА: Снаряд попал в оперный театр! Опера горит! Пожар! Наша прекрасная опера!

КАНАТОХОДЕЦ: Опера горит, а ты прячешься на башне!

РИХАРД: Опера горит, а ты хочешь, чтобы я спустился вниз и тоже сгорел?

ГОЛОСА: Опера горит! Они сейчас разрушат наши баррикады!

В дыму возникает огромная фигура МИШЕЛЯ с картиной в руках.

МИШЕЛЬ: Ничего они не разрушат! *(карабкается на вершину баррикады и устанавливает там картину)* Пусть только попробуют!

ГОЛОС: Что вы делаете? Это же Сикстинская Мадонна!

МИШЕЛЬ: Именно Сикстинская Мадонна! В нее они стрелять не станут!

ГОЛОС: А если станут?

МИШЕЛЬ: Тем лучше, пусть на них падет позор этого варварства!

ГОЛОС: Но Мадонна погибнет!

МИШЕЛЬ: Подумаешь! Одной хорошенькой горничной будет меньше!

ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ: *(выбегают и хочет поднять картину)* Нельзя допустить, чтобы Мадонна Рафаэля погибла! *(Картина для него слишком тяжела, он не может ее поднять)* Помогите же мне, Мишель.

МИШЕЛЬ: Ну, если вам эта мазня дороже жизни, я могу унести ее обратно. *(уносит картину и быстро возвращается на баррикаду)*. Где же ваши пруссаки? Если они утром вошли в

пригороды, им уже давно пора быть здесь, чтобы мы показали им кузькину мать!

РИХАРД: С высоты пожарной башни хорошо видно, как пруссаки продвигаются по городу. Они врываются в дома, разбирают стены и переходят из дома в дом без всякого риска.

КАНАТОХОДЕЦ: *(надевает картуз и выбегает к баррикаде)* Ну и трусы эти пруссаки! Что им баррикады? На уличные бои они не решаются. Они проходят сквозь стены.

1 ГОЛОС: Вот почему они движутся так медленно!

2 ГОЛОС: А куда им спешить? В конце концов они нас всех перебьют, как котят.

НЕСТРОЙНЫЕ ГОЛОСА: А как же баррикады? Зачем мы строили баррикады?

МИШЕЛЬ: К черту баррикады! Давайте сожжем все деревья вдоль Эльбы – пусть пруссаки задохнутся в дыму.

1 ГОЛОС: Но это столетние деревья! Гордость нашего города!

2 ГОЛОС: Их выращивали наши деды и прадеды!

МИШЕЛЬ: Значит, деревья вам дороже свободы?

РИХАРД: Они там болтают, а пруссаки уже здесь. Они убивают всех подряд. *(поспешно спускается с башни)* Бежать, бежать скорей! *(КАНАТОХОДЦУ)* Иди, скажи им, чтобы разбежались, пока еще можно!

РИХАРД убегает. Грохот канонады усиливается.

КАНАТОХОДЕЦ: *(выбегает к баррикаде)* Пруссаки уже здесь! Уносите ноги, пока их не отрубили!

МИШЕЛЬ: Куда вы? Не разбегайтесь! Кто же будет защищать ваш город?

ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ: *(тащит МИШЕЛЯ за руку)* Идемте отсюда, Мишель. Пруссаки уже захватили весь город.

МИШЕЛЬ: Значит, все кончено? *(вырывается)* Этого нельзя допустить! Ведь только такая жизнь имеет смысл, всякая другая просто тусклое прозябание. *(кричит громовым голосом)* Солдаты Революции! Вернитесь на баррикады! Ведь выбор всего лишь между смертью позорной и смертью почетной! Солдаты Революции! Вернитесь в строй!

КАНАТОХОДЕЦ: Кто бы мог подумать? Защитники баррикады в ответ на его призыв вернулись на площадь!

МИШЕЛЬ: Все на месте? А где же Рихард?

КАНАТОХОДЕЦ: Рихард, где ты? Где ты, Рихард?

РИХАРД: *(бежит по извилистым тропкам, переваливаясь через изгородь)* Какой ужас! Все дороги перекрыты наступающей лавиной прусских войск.

КАНАТОХОДЕЦ: *(Догоняет его семимильными шагами)*
Куда ты бежишь, как угорелый?

РИХАРД: Битва проиграна, даже не начавшись. Впереди разгром, тюрьма, и возможно гибель. *(вбегает в свой дом, кричит испуганной Минне)* Собирай пожитки! Мы должны бежать отсюда!

МИННА: Куда бежать? На чем?

РИХАРД: В Хемниц, к моей сестре Кларе! Мне чудом удалось нанять повозку.

МИННА: Но Кларин муж - помощник начальника полиции Хемница! Он тебя арестует!

РИХАРД: Клара не позволит ему меня арестовать!

РИХАРД с зеленым попугаем в руках и МИННА с собачкой едут в повозке под грохот канонады

РИХАРД: *(затыкая уши)* Я глухну от этого грохота!
МИННА: *(дрожжа)* Мы погибнем?

ПОПУГАЙ: ... погибнем!

МИННА: *(дрожжа)* Нас убьют?

ПОПУГАЙ: ... убьют!

РИХАРД: *(дрожжа)* Не знаю, не знаю!

ПОПУГАЙ: ... Не знаю, не знаю!

РИХАРД: *(щелкает попугая по голове)* Да замолчи ты, попка-дурак!

ПОПУГАЙ: Сам попка-дурак!

РИХАРД: И без тебя тошно - руки дрожат, глаза застилает пелена, все тело обсыпает потом, так страшно.

ПОПУГАЙ: страшно, страшно!

Повозка въезжает во двор Клары. КЛАРА и ее муж – ЗЯТЬ – выбегают навстречу.

ЗЯТЬ: Рихард, пока женщины готовят ужин, пройдем в мой кабинет. Мне надо поговорить с тобой наедине.

Они входят в кабинет, КАНАТОХОДЕЦ пытается протиснуться за ними.

РИХАРД: *(выталкивает его)* Ты же слышал – наедине!

ЗЯТЬ: Признайся, ты у себя в Дрездене сильно замешан в беспорядках?

РИХАРД: *(слабым голосом)* С чего ты взял?

ЗЯТЬ: А с того, что вчера приказик пришел. От высшего начальства. Хочешь послушать? *(Берет со стола листок, читает):* "РАЗЫСКИВАЕТСЯ в связи с недавними беспорядками, в которых он принимал активное участие, Рихард Вагнер, Королевский капельмейстер города Дрездена. Возраст - 36 лет, рост - низкий, волосы - темно-русые, носит очки. В случае ареста,

немедленно доложить по начальству. Фон Коппель, помощник начальника полиции г. Дрездена. Май, 1849".

РИХАРД: Меня? Арестовать? Почему именно меня?

ЗЯТЬ: Не одного тебя, конечно, а все ваше никудышное правительство. И твоих дружков из оперы и твоего русского медведя. Скажи, зачем он полез в чужие дела? Да и ты зачем полез, в толк не возьму. Такой город разорили.

РИХАРД: *(как эхо)* разорили...

ЗЯТЬ: оперный театр сожгли...

РИХАРД: *(как эхо)* сожгли...

ЗЯТЬ: столетние деревья порубили...

РИХАРД: *(как эхо)* порубили...

ЗЯТЬ: А для чего? Чтобы после первого же выстрела разбежаться? Не начинали бы, раз воевать не умеете.

РИХАРД: *(как эхо)* не умеете...

ЗЯТЬ: Да брось ты повторять, как попугай!

РИХАРД: Как же быть?

ЗЯТЬ: Я бы с удовольствием сгноил тебя в тюрьме, да Клара мне жить не дает, все плачет, чтобы я тебя выручил.

РИХАРД: *(хрипло)* Хочешь, я сейчас уеду? Прямо отсюда, из Хемница? В Веймар, там Лист готовит постановку моего "Лознгринга"?

ЗЯТЬ: Уедешь, как же! Тебя тут же схватят, на каждой пограничной станции есть твое описание.

РИХАРД: *(ломая руки)* Что же мне делать?

ЗЯТЬ: Я бы мог вывезти тебя в своей коляске...
(замолкает, давая время этим словам проникнуть в душу Рихарда)

РИХАРД: Но?

ЗЯТЬ ...но я не могу это сделать без твоей помощи.

РИХАРД: Чем же я могу помочь?

ЗЯТЬ: Ты можешь помочь мне арестовать твоих дружков!

РИХАРД: Нет, нет! Ни за что!

ЗЯТЬ: Брось миндальничать! Их все равно схватят, не сегодня, так завтра. Так почему бы не сделать это моей заслугой?

РИХАРД: Заслугой...

ЗЯТЬ: Подкинь их мне – и считай, что ты уже в Веймаре.

РИХАРД: *(дрожит)* Но как же я? Как же они? Ведь мне не простят...

ЗЯТЬ: Да кто узнает? Мы обделаем это дельце шитокрыто. Ты только не болтай и все будет в порядке.

РИХАРД *(громко рыдая)* Но ведь нельзя же! Нельзя!

ЗЯТЬ: Значит, договорились? *(Рихард кивает)*

ЗЯТЬ: Завтра утром ты отправишься в Дрезден...

РИХАРД: *(рыдая)* ...зачем в Дрезден?

ЗЯТЬ: ...и скажешь им, что рабочие Хемница готовы их поддержать.

РИХАРД: *(рыдая)* Я не хочу в Дрезден! Не хочу назад в Дрезден! Там стреляют!

ЗЯТЬ: А в тюрьму хочешь? *(протягивает руку)* Так нам это недолго.

РИХАРД: *(шарахается от него)* Ладно, я поеду, поеду. А зачем?

ЗЯТЬ: Чтобы уговорить их направиться в Хемниц.

РИХАРД: А зачем?

ЗЯТЬ: Затем, чтобы я мог их арестовать.

РИХАРД: А зачем тебе их арестовывать?

ЗЯТЬ: Что ты заладил – зачем, зачем? Да затем, чтобы их не арестовал кто-нибудь другой.

РИХАРД: *(выбегает из кабинета, подбегает к МИННЕ, стоящей с попугаем на плече)* Минна, я возвращаюсь в Дрезден!

МИННА: Зачем?

ПОПУГАЙ: Зачем?

РИХАРД: Что вы заладили – зачем, зачем? Раз возвращаюсь, значит так нужно. *(отправляется в путь в той же повозке).*

МИННА: *(простирая руки)* Вернись, Рихард! Вернись!

ПОПУГАЙ: Вернись!

КАНАТОХОДЕЦ: *(подсаживается в повозку)* Куда тебя несет?

РИХАРД: В Дрезден.

КАНАТОХОДЕЦ: Зачем?

РИХАРД: Затем, чтобы выдать этому негодю Мишеля.

КАНАТОХОДЕЦ: *(в ужасе)* Выдать Мишеля?

РИХАРД: ...и всех остальных.

КАНАТОХОДЕЦ: Зачем ты хочешь выдать их всех этому негодю? Зачем?

РИХАРД: И ты туда же – зачем, зачем?

КАНАТОХОДЕЦ: Но все-таки, зачем?

РИХАРД: *(плачет)* Неужели ты думаешь, что я хочу их выдавать? Или что я хочу ехать назад, в Дрезден? Да у меня от страха все поджилки трясутся!

КАНАТОХОДЕЦ: Не хочешь, так и не езжай!

РИХАРД: Ты хочешь, чтобы меня посадили в тюрьму? И приговорили к смертной казни? Кто тогда напишет моих Нибелунгов? *(рыдает)* Без меня не будет ни Зигфрида, ни Валькирий! *(Раздается грохот артиллерийской канонады,*

РИХАРД затыкает уши) Я умру от этого грохота! Может, лучше вернуться? Пусть сажают в тюрьму!

КАНАТОХОДЕЦ: Что ты трясешься? Раз надо ехать в Дрезден – поехали!

Повозка пускается вскачь. Действие возвращается в ванную.

РИХАРД: Эту была ужасная поездка! Все дороги были перекрыты, так что в город можно было пробраться только окольными путями.

КАНАТОХОДЕЦ: *(поднимаясь из воды)* Дай полотенце! *(вытирается)* По пути нам то и дело встречались остатки нашей боевой армии, бегущей с поля боя. Дай халат! *(Рихард снимает халат с двери)* Нет, не этот, а новый – розовый. *(надевает розовый халат, вылезает из ванны и крутится перед зеркалом)* На мне этот халат сидит лучше, чем на тебе.

РИХАРД: О чем ты думаешь в такую минуту? Я переживаю свое горе, свой позор, а ты занят своей красотой!

КАНАТОХОДЕЦ: Потому что позор был твой, а не мой. Я ведь отговаривал тебя от сделки с этим зятем.

РИХАРД: И что бы со мной случилось? Даже страшно подумать!

КАНАТОХОДЕЦ: Раз так – успокойся и будь доволен, что сумел удрать от наказания.

РИХАРД: Я-то удрал, а бедный Мишель получил по полной катушке. *(плачет)* Страшно подумать, какие пытки он перенес! И это я-Я! Я! – заманил его в ловушку.

КАНАТОХОДЕЦ: Как же ты его заманил? Я что-то подзабыл.

ГОЛОС КОЗИМЫ: Рихард, ты в порядке? Ведь нельзя столько времени сидеть в ванне – это вредно для сердца.

РИХАРД: Я уже выхожу! *(срывает с КАНАТОХОДЦА халат)* Быстрее одевайся и вали отсюда! Встретимся через час в парке.

КАНАТОХОДЕЦ: Она же тебя не выпустит сразу после ванны!

РИХАРД: А спорим – выпустит! *(открывает дверь, говорит КОЗИМЕ)* Ох, и напарился же я! Теперь хорошо бы часок погулять - и можно за работу.

КОЗИМА: Погулять? После горячей ванны? Ты с ума сошел!

КАНАТОХОДЕЦ: *(появляется за спиной КОЗИМЫ)* Ну, что я говорил?

РИХАРД: Мне необходимо проветриться - у меня после

ванны голова кружится

КОЗИМА: Хорошо, раз голова кружится, выйди ненадолго. Только надень теплые боты, вон сколько снега навалило.

РИХАРД: *(надевая боты)* Ладно, боты, так боты, лишь бы она отстала!

КОЗИМА: А горло замотай шарфом!

РИХАРД, закутанный в мохнатый плед, идет по парку, КАНАТОХОДЕЦ прыгает за ним с ветки на ветку.

КАНАТОХОДЕЦ: Она превращает тебя в старика!

РИХАРД: Знаешь, в этих ботах и впрямь тепло и сухо.

КАНАТОХОДЕЦ: Значит, уже превратила!

РИХАРД: Ты сам говорил недавно, что я старикашка.

КАНАТОХОДЕЦ: Это я для того, чтобы ты перестал мечтать о Юдит.

РИХАРД: Напрасно! Я люблю Юдит бескорыстной стариковской любовью, похожей на последние лучи заходящего солнца, которое светит, да не греет.

Когда гаснут последние лучи солнца, наступает непроглядная ночь.

КАНАТОХОДЕЦ: Как красиво сказано! Простите, господин, не вы ли случайно великий поэт Рихард Вагнер?

РИХАРД: Хватит паясничать! Я увел тебя из дому не для того, чтобы обсуждать мои отношения с Юдит.

КАНАТОХОДЕЦ: А для чего?

РИХАРД: Я хотел напомнить тебе, как я заманил Мишеля в ловушку. Впрочем, ты прав. Зачем расковыривать старые раны?

КАНАТОХОДЕЦ: Нет, нет их нужно расковыривать. Для обретения душевного покоя. Ты уже этого не узнаешь, но так советует один старый венский еврей.

РИХАРД: С какой стати я должен следовать советам какого-то старого венского еврея?

КАНАТОХОДЕЦ: Потому что весь мир следует его советам. Так что, давай, выкладывай свой секрет!

РИХАРД: Ты, конечно, помнишь, как проклятый зять потребовал, чтобы я уговорил Мишеля приехать в Хемниц. *(рыдает)* Чтобы Я! Я! Я! выдал ему моего Зигфрида! Ты помнишь первый прогон "Сумерек Богов", первую смерть Зигфрида на сцене? *(музыка из "Сумерек Богов")* 1-го июля прошлого года, точно в день смерти Мишеля!

КАНАТОХОДЕЦ: Поковырял рану? Двигай дальше!

РИХАРД: Ты помнишь, что зять отправил меня обратно в Дрезден? По дороге я встретил временное правительство в полном

составе – они удирали от прусской армии в городок Фрайберг. И тогда я... Нет, нет, даже тебе я не могу это рассказать!

КАНАТОХОДЕЦ: Давай-давай! Все равно ведь расскажешь!

РИХАРД: Я отозвал Мишеля в сторону.

Появляется Мишель.

МИШЕЛЬ: Откуда ты взялся? Куда ты пропал?

РИХАРД: Я отвозил Минну в Хемниц.

МИШЕЛЬ: *(не верит)* Отвозил Минну? В такой момент!

РИХАРД: Не мог же я оставить ее здесь? На растерзание пруссакам?

МИШЕЛЬ: Ладно, дело твое. Но что ты сейчас делаешь здесь?

РИХАРД: Я хочу сообщить вам, что рабочие Хемница ждут вас...

КАНАТОХОДЕЦ: Так-таки ждут? А зачем?

РИХАРД: Ясно, зачем – чтобы поддержать революцию!

КАНАТОХОДЕЦ: Они и вправду собирались ее поддержать?

РИХАРД: Конечно, нет! Я – Рихард Вагнер, соврал. Я - такая сука, такая сволочь, - выдумал, чтобы завлечь их в Хемниц!

МИШЕЛЬ: Ты уверен, что рабочие нас ждут?

РИХАРД: Конечно, уверен. Они вооружились и послали меня, чтобы вам сообщить.

МИШЕЛЬ: Ну и новость! Никак от них не ждал такого героизма.

РИХАРД: Так ждать вас в Хемнице?

МИШЕЛЬ: Я один не решаю. Да и все наши рассеяны по дорогам. Сбор назначен во Фрайберге. Я доберусь туда и посоветуюсь с ребятами.

РИХАРД: Ладно. Ты двигай во Фрайберг, а я вернусь в Хемниц и проверю, все ли там в порядке. *(Возвращается в кабинет ЗЯТЯ)*

ЗЯТЬ: Ты зачем приехал? Твое место там, с твоими дружками – ты должен убедить их, что они должны двигать свои войска в Хемниц.

РИХАРД: Но я не хочу с ними встречаться! Они могут догадаться, что я завлекаю их в ловушку.

ЗЯТЬ: Это твое дело вести себя так, чтобы они не догадались. Ты же у нас артист!

РИХАРД: Что мне оставалось? Только подчиниться. И я помчался во Фрайберг.

КАНАТОХОДЕЦ: А что ты записал в дневнике?

(открывает дневник, читает) "Внезапно меня охватило страстное желание повидать своих друзей, которых я зачем-то покинул, и отправиться в Хемниц вместе с ними". Ну и лицемер!

РИХАРД: Но я и вправду хотел повидать Мишеля. Я чувствовал, что это наша последняя встреча.

КАНАТОХОДЕЦ: И что ты ему сказал?

РИХАРД: Нам не удалось поговорить. После долгих дебатов итти в Хемниц или нет, мы, наконец остались с ним наедине. Я хотел его как-то предупредить об опасности.

МИШЕЛЬ и РИХАРД входят в гостиную и садятся на диван.

РИХАРД: Наконец-то мы остались одни. Я так много хотел сказать тебе, Мишель. *(голова Мишеля склоняется набок, на плечо Рихарда, и он наваливается на него всей своей непомерной тяжестью)*. Ты знаешь, что издан указ о нашем аресте? *(МИШЕЛЬ не отвечает)*. Что ты молчишь? Или тебя это не пугает? *(МИШЕЛЬ громко храпит)*. Ты что, спишь? В такой момент? *(РИХАРД пробует встряхнуть МИШЕЛЯ)* Проснись, Мишель, проснись, я должен сказать тебе что-то важное. *(Но он трясет Мишеля напрасно – сон того слишком глубокий)* Все эти месяцы я так жаждал физического контакта с Мишелем, жаждал его прикосновения к своей коже, предвкушая блаженство электрической искры, которая вспыхнет в моем теле от этого касания. Но я хотел нежной, человеческой ласки, а не этого – бездумного давления тяжелой головы Мишеля на мое плечо. И возможно, если бы он не заснул, я бы все ему рассказал. Но момент был потерян. *(РИХАРД отводит ото лба Мишеля крутые темные кудри, легко-легко касается их губами, высвобождает затекшее плечо, и поднимается с дивана. Мишель безвольно скатывается на сиденье и храпит еще сильнее)*.

РИХАРД: *(выходит)* Больше мы никогда не виделись.

КАНАТОХОДЕЦ: А в Хемнице?

РИХАРД: Что ты спрашиваешь? Ты же знаешь, что их всех там арестовали!

КАНАТОХОДЕЦ: И тебя тоже?

РИХАРД: Нет, мне не удалось приехать в Хемниц вместе с ними. Я гнался за ними, но застрял в дороге и потерял их из виду.

КАНАТОХОДЕЦ: Так-таки застрял?

РИХАРД: Ну да, можешь почитать в моем дневнике. На дороге была ужасная пробка.

КАНАТОХОДЕЦ: Значит, ты застрял в пробке?

РИХАРД: Я же сказал – в застрял пробке!

КАНАТОХОДЕЦ: Так и написано в дневнике? Что ты застрял, а они нет? Что за пробка такая? Им удалось через нее проехать а тебе нет?

РИХАРД: Что ты меня мучаешь? Ведь ты знаешь, что именно так написано в дневнике!

КАНАТОХОДЕЦ: Ох, попадешься ты со своим враньем, Рихард! Кто-нибудь прочитает внимательно и заметит!

РИХАРД: Какой ужас! Кто-нибудь наверняка заметит!

КАНАТОХОДЕЦ: И где же ты был, когда твой дорогой зять их арестовал?

РИХАРД: Нигде я не был! Я тогда еще не приехал в Хемниц!

КАНАТОХОДЕЦ: Ну да, ты ведь застрял в пробке!

РИХАРД: Что ты заладил, как попугай - застрял, застрял? Ты же знаешь, что застрял.

КАНАТОХОДЕЦ: Как ты думаешь, откуда я это знаю?

РИХАРД: Из моего дневника, да?

КАНАТОХОДЕЦ: Ты очень подробно об этом рассказал на трех страницах.

РИХАРД: (*листает дневник*) Черт, и вправду рассказал.

КАНАТОХОДЕЦ: Теперь каждый, кто прочтет, может тебя заподозрить.

РИХАРД: А вырвать эти страницы нельзя?

КАНАТОХОДЕЦ: Нельзя. Помнишь, несколько лет назад Козима красиво переплела два десятка копий этих воспоминаний и разослала всем друзьям на хранение. Так что Боже упаси что-то переделывать - только внимание привлекать! А зачем тебе понадобилось так настаивать, что ты застрял в пробке?

РИХАРД: Я был очень озабочен тем, как бы не приехать в Хемниц до того, как зять арестует Мишеля и остальных. Мне нужно было не просто приехать намного позже их ареста, но и зарегистрировать этот поздний приезд в памяти свидетелей. Мне повезло и я занял место в почтовой карете, которая по расписанию должна была немедленно отправиться в Хемниц.

КАНАТОХОДЕЦ: Да, да я читал, как сразу на выезде вы попали в ужасный людской водоворот, потому что вся дорога была запружена революционной армией, которая тронулась в путь.

РИХАРД: Мимо под барабанный бой шел Вогтландский полк, причем барабанщик бил палочками не только по натянутой коже, но и по деревянной раме барабана.

Слышен перестук барабанных палочек по деревянной раме барабана.

Мучительный перестук палочек барабанщика напомнил

мне перестук костей болтающихся на виселице скелетов, который Берлиоз воспроизвел в финале "Фантастической симфонии". И только когда все войска прошли, моя почтовая карета, наконец, тронулась в путь. Среди ночи я примчался в Хемниц. Вокруг было пусто и тихо. Я побоялся итти к зятю, Я снял комнату в отеле и тут же заснул, как убитый. А на рассвете поспешил туда...

Утро. РИХАРД, запыхавшись, вбегает в кабинет ЗЯТЯ.

ЗЯТЬ: А, явился! Где же ты валандался всю ночь?

РИХАРД: По дороге было столько задержек и приключений, что я прибыл в Хемниц поздно ночью и снял комнату в отеле.

ЗЯТЬ: Интересно, зачем тебе понадобилось ночевать в отеле, если до моего дома от городских ворот всего пятнадцать минут ходьбы?

РИХАРД: Понимаешь, я не решился будить вас среди ночи.

ЗЯТЬ: Так-таки не решился! А что твои жена и сестра всю ночь глаз не сомкнули от волнения, тебе и в голову не пришло?

РИХАРД: Я тоже волновался! Я вскочил с постели ни свет, ни заря и поспешил сюда.

ЗЯТЬ: Уж не для того ли, чтобы спросить о судьбе твоих дружков?

РИХАРД: Конечно, для того, чтобы спросить...

ЗЯТЬ: Что ж ты не спрашиваешь?

РИХАРД: Где они? Что с ними?

ЗЯТЬ: А ты не догадываешься? Здешние гвардейцы силой заставили городскую стражу покинуть свои посты у ворот и заняли их места, готовые арестовать ваше дурацкое правительство сразу по прибытии в Хемниц.

РИХАРД: И что? ЗЯТЬ: Что – что? И арестовали.

По сцене проходит огромный МИШЕЛЬ со связанными руками. Гвардейцы облепили его, как мухи. Слышен перестук барабанных палочек по деревянной раме барабана.

МИШЕЛЬ: А где Рихард? Кто-нибудь видел Рихарда?

ГОЛОСА: Никто его не видел. Он еще не приехал. Он застрял в пробке. Застрял в пробке? (*хохот*) Так-таки застрял? Застрял в пробке! (*Проходят под перестук барабанных палочек*).

РИХАРД: Всех арестовали?

ЗЯТЬ: Всех, кроме тебя. Ты, говорят, застрял в пробке. Но это еще можно исправить.

РИХАРД: Зачем исправлять? Ты же обещал...

ЗЯТЬ: (*хохочет*) А ты, наивный, так и поверил?

Достает из кармана кандалы и собирается надеть их на

РИХАРДА. Врываются МИННА и КЛАРА и бросаются обнимать РИХАРДА.

МИННА и КЛАРА: *(плача, перебивают друг друга)* Ты здесь? Ты жив? Ты на свободе? Тут ходят страшные слухи. Будто всех арестовали. И увезли в кандалах!

ЗЯТЬ: *(пытается спрятать кандалы в карман)* Как видите, не всех. Бедняга Рихард застрял в пробке!

КЛАРА: *(замечает кандалы)* Но ты же не собираешься надеть кандалы на моего брата? В моем доме! *(решиительно забирает кандалы)* И не вздумай, ясно?

МИННА: Только тронь его, я выцарапаю тебе глаза!

ЗЯТЬ: Ладно, благодари своих баб – и в дорогу!

МИННА: В какую дорогу? Куда? Он ведь только-только вернулся.

ЗЯТЬ: Нужно увозить его немедленно, пока там, наверху, не хватились, что его нет среди арестованных!

Полицейская коляска едет по дорогам, на переднем сидении – ЗЯТЬ, на заднем – скорчившись и прикрываясь плащом – РИХАРД. Наступает вечер. Появляется илагбаум и пограничная будка.

ПОГРАНИЧНИК: Стой! Кто идет?

ЗЯТЬ: Помощник начальника полиции Хемница – по делам в Веймар.

ПОГРАНИЧНИК: Ты один? Я слышал, у вас там в Саксонии мятежи и бунты. ЗЯТЬ: Один я, один. Мятежи в Дрездене, в королевской столице. А у нас, в Хемнице, тишь да благодать.

ПОГРАНИЧНИК: *(открывает илагбаум)* Ну, если один, так езжай, с Богом.

ЗЯТЬ: *(отъезжает от илагбаума за угол, останавливает лошадей и открывает дверь коляски)* А теперь вали отсюда, шурина дорогой!

РИХАРД: *(выползает из коляски)* Куда же я среди ночи?

ЗЯТЬ: А это уж не мое дело. Мое дело было до границы тебя доставить, за что скажи спасибо. А тут – иди, куда хочешь. Или назад тебя захватить? Так это мы – с радостью. Там тебя ждут, не дождутся.

РИХАРД: *(бежит прочь)* Ладно, спасибо, поцелуй от меня Клару и Минну!

ЗЯТЬ: *(разворачивается и отъезжает)* Уж я их поцелую, сучек! Так поцелую, что век не забудут!

РИХАРД: Ну, я и пошел, побрел пешочком, пока не добрался до Франца Листа...

КАНАТОХОДЕЦ: Ну вот видишь, и все обошлось!

РИХАРД: Ничего себе – обошлось! Шестнадцать лет я слонялся по Европе бездомный и бесприютный, без крыши над головой и без гроша в кармане.

КАНАТОХОДЕЦ: Конечно, тебе было несладко, но Мишелю пришлось гораздо хуже. В январе 1850 г. суд Саксонии приговорил его к смертной казни. Спустя полгода было объявлено королевское помилование: гильотина заменялась пожизненным заключением. И МИШЕЛЯ передали в руки австрийского суда, который снова приговорил его к смертной казни. Но несколько дней спустя он был передан русским властям. Русский царь Николай, ненавидевший Мишеля лютой ненавистью, объявил, что русского дворянина может наказывать только русский самодержец.

МРАЧНЫЙ ПОДВАЛ В АВСТРИЙСКОЙ ТЮРЬМЕ.
МИШЕЛЬ лежит на каменном полу, прикованный к стене длинной цепью, скованной с металлическим ошейником на его шею. Входит австрийский ОФИЦЕР.

ОФИЦЕР: Арстант Бакунин, встать! Выслушать приговор императорского суда.

МИШЕЛЬ с трудом поднимается с пола, звеня цепью.

ОФИЦЕР (*читает*) Бывший русский офицер Мишель БАКУНИН признан виновным в организации мятежа против его величества императора Австрии, за что императорский военный суд приговаривает его к смертной казни через отсекновение головы.

МИШЕЛЯ потрясен, но силится сохранить на лице подобие улыбки. ОФИЦЕР (*продолжает*)

Однако, идя навстречу пожеланиям его величества царя Всея Руси, император Австрии милостиво соглашается вернуть вышеназванного МИШЕЛЯ его родной стране.

Теперь МИШЕЛЬ не способен даже на подобие улыбки, его лицо выражает только ужас.

МОСТ НА РУССКО-АВСТРИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

Австрийские ЖАНДАРМЫ пересекают мост, ведя с собой МИШЕЛЯ в кандалах. Их встречают два русских ЖАНДАРМА, которым австрийцы вручают узника. Прямо на мосту ему меняют австрийские кандалы на более тяжелые, русские. МИШЕЛЬ пересекает границу, волоча за собой тяжелую цепь.

РИХАРД: Господи, какой ужас! И что с ним там сделали?

КАНАТОХОДЕЦ: Его без суда посадили в одиночную камеру Алексеевского рavelина Петропавловской крепости.

МИШЕЛЬ обследует камеру – потолок слишком низок,

чтобы он мог выпрямиться, единственное окошко забито снаружи досками. Железный стол врыт в пол. МИШЕЛЬ берет со стола ложку и царапает на стене:

МИШЕЛЬ БАКУНИН - 1850

РИХАРД: Ах, эти годы ссылки! Там было всякое – и боль, и обида, и даже любовь! Но главное – музыка! Сколько музыки я за эти годы написал! И еще больше задумал.

КАНАТОХОДЕЦ: А Мишель все эти годы писал только на тюремной стене.

МРАЧНАЯ ТЮРЕМНАЯ КАМЕРА.

В камере БАКУНИН стоит на полусогнутых ногах, упираясь руками о койку – потолок слишком низок, чтобы он мог выпрямиться, единственное окошко забито снаружи досками.

На стене колонка надписей, процарапанных ложкой

М. БАКУНИН, 1850

М. БАКУНИН, 1851.

М. БАКУНИН, 1852

М. БАКУНИН, 1853

М. БАКУНИН, 1854

М. БАКУНИН, 1855

М. БАКУНИН, 1856

БАКУНИН берет со стола ложку и царапает на стене «М. БАКУНИН, 1857»

КАНАТОХОДЕЦ: В 1856 г. Император Николай умер, а в 1857 новый император, Александр II, отправил сломленного Бакунина на поселение в Сибирь. И ошибся: Мишель лишь чуть-чуть очухался, как тут же сбежал – через Сибирь в Европу. И затеял там новый заговор для осуществления международной революции.

РИХАРД: Да, да, Мишель был верен себе. Он говорил, что нужно создать тайную сеть борцов за свободу. Такие маленькие группки, не знакомые друг с другом и связанные общим кровавым преступлением. Они будут взрывать мосты, бросать бомбы, сбрасывать под откос поезда! И прольется невинная кровь!

КАНАТОХОДЕЦ: По его словам, кровь должна пролиться, когда рушатся миры. Он говорил, что видит, как через сто лет весь человеческий студень будет дрожать от страха перед кучкой героев, отважившихся на подвиг ради всеобщей свободы.

РИХАРД: И где же он плел свою зловещую паутину?

КАНАТОХОДЕЦ: Он поселился в Швейцарии, в городке Лугано.

РИХАРД: В Лугано, на берегу Люцернского озера? Ведь там была моя вилла Трибсхен, которую подарил мне Баварский

король Людвиг. Он был тогда в меня влюблен.

КАНАТОХОДЕЦ: Что ж ты не сделал ни одной попытки встретиться со своим возлюбленным Зигфридом, если вы жили совсем рядом?

РИХАРД: *(плачет)* Почему? Ты спрашиваешь, почему? Но ты же знаешь, что я не мог посмотреть ему в глаза! Но теперь это уже не важно. Мишель умер. А я – допишу "Парсифаль" и тоже скоро умру. Слышишь, как неровно стучит мое старое сердце?

ЭПИЛОГ

МОГИЛА ВАГНЕРА В ПАРКЕ В БАЙРОЙТЕ. У могилы стоит постаревшая КОЗИМА, вся в черном. На ветке над ней под музыку из "Парсифаля" качается КАНАТОХОДЕЦ.

КОЗИМА: Уже почти столетия прошло после смерти Рихарда, а все больше и больше людей стремятся попасть на наш фестиваль в Байройте.

Вдруг в могильный покой настойчиво врываются звуки другой музыки, она звучит все громче и громче. Это – "Хорст Вессель", который у нас в России всегда называли "Маршем авиаторов".

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА *(поют)*:

Знамена ввысь! Ряды сплотить теснее!

Нам наплевать на происки врагов!

Ведь чтобы мир избавить от евреев,

На смертный бой любой из нас готов!"

Группа молодых людей в форме штурмовиков врывается на поляну.

1-й ГОЛОС: А вон жид, Рихард Гейер! Сидит на ветке!

2-й ГОЛОС: Ишь где вздумал от нас спрятаться! На могиле Рихарда Вагнера – любимого композитора нашего любимого фюрера!

ШТУРМОВИКИ стаскивают КАНАТОХОДЦА вниз.

КАНАТОХОДЕЦ: *(отбивается и кричит)* Я не еврей! Я и есть великий композитор Рихард Вагнер!

ШТУРМОВИКИ со смехом тащат КАНАТОХОДЦА к маячащей вдали печи с высокой трубой. Над печью надпись: "Арбат махт фрай".

ШТУРМОВИКИ: *(поют "Хорст Вессель", иногда сбиваясь на "Марш авиаторов")*

Все выше, и выше, и выше

Стремим мы полет наших птиц!

КАНАТОХОДЕЦ: А с чего вы так радуетесь, ребята? Ведь вас давно уже нет в живых! Ваш любимый фюрер прикончил вас всех до единого в ночь длинных ножей!

1-й ГОЛОС: Пускай мы умерли, но наша идея победит!
(бросают КАНАТОХОДЦА в печь и поют)

Знамена ввысь! Ряды сплотить теснее!

Нам наплевать на происки врагов!

Из дыма возникает огромная фигура МИШЕЛЯ и затмевает всех.

МИШЕЛЬ: Нет, не ваша идея победит, а моя! Много крови должно пролиться, когда рушатся миры. Я вижу, как сбывается мое предсказание, как весь человеческий студень дрожит от страха перед кучкой героев, готовых на смерть ради уничтожения вашего гнусного мелкотравчатого мира. Все выше, и выше, и выше!



Илья Корман

Акробатика в день казни



книге «Человек без страны, или Америка разБУШевалась» Курт Воннегут пишет: «Лично я назвал бы тупицей любого, кто не читал таких выдающихся произведений американской литературы, как рассказ Амброза Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей»... Это безупречный образец американского гения...».

Если отвлечься от эпатажирующей формы этого заявления, то надо признать, что в оценке рассказа Воннегут прав. Достаточно сказать, что в этом рассказе, вышедшем в свет в 1890-м году, предвосхищены некоторые открытия фрейдовского психоанализа.

И вообще, надо признать: Бирс – классик американской литературы. Может быть, не главный. Он, скорее, из малых классиков, если можно так выразиться. Влияние Бирса испытали, по их собственным признаниям, американцы С. Крейн и Э.Хемингуэй, аргентинец Х.Борхес – здесь речь идёт о влиянии Бирса-писателя, Бирса-автора. Но Бирс влиял на современников и своими суждениями, исполненными холодной и зачастую язвительной наблюдательности, и поступками, изобличившими натуру смелую и неподкупную (известна, например, его открытая «война» против грабительских злоупотреблений Южно-Тихоокеанской железной дороги – война, выигранная Бирсом). Повлиял даже своей таинственной смертью – будучи корреспондентом американской газеты, пропал без вести в охваченной революционными событиями Мексике, что побудило мексиканца Карлоса Фуэнтеса создать роман «Старый гринго».

А вот что пишет Ю.Ковалев в послесловии к сборнику рассказов Бирса «Страж мертвеца»: «Поколение 1890-х» содрогалось, читая рассказы Бирса, и старалось поскорее их забыть. Это удалось, но ненадолго. «Потерянное поколение», рожденное Первой мировой войной, вернуло Бирсу его законное место в истории литературы – место классика. Хемингуэй и Дос Пассос, Олдингтон и Ремарк, равно как и десятки других, менее

знаменитых, но несомненно талантливых писателей XX века, – бесспорные его наследники».

Говоря о влиянии Бирса на писателей разных стран, следует особо отметить вышеупомянутый рассказ «Случай на мосту через Совиный ручей». У этого рассказа вообще славная судьба. Его охотно включают в антологии, он переведён на многие языки, по нему сняли телефильм и несколько кинофильмов. Он лёг в основу «Рассказа о том, как отвалилась голова» Акутагавы Рюноске, новеллы Х.Борхеса «Тайное чудо», романа У.Голдинга «Халуга Мартин» (список, вероятно, не полон).

А вот более раннему рассказу того же Бирса – «Сальто мистера Свиддлера» (1874) – повезло гораздо меньше, несоразмерно меньше. И в общем-то понятно, почему. Во-первых, рассказ появился на свет не на родине писателя, а в Великобритании. Во-вторых, он был включён автором в сборник «Незначительные рассказы» («Negligible Tales»). Ну, «если сам автор своё детище так аттестует», то что же остаётся делать комментаторам?

Но мы не согласны ни с этой логикой, ни с самим Амброзом Бирсом. Рассказ «Сальто мистера Свиддлера», конечно, сильно уступает «Случаю на мосту...» – кто спорит! И всё же он заслуживает того, чтобы к нему присмотреться.

Начнём с явления, может быть, второстепенного – значимости чисел и имён собственных.

Значимые числа

Среди чисел рассказа присутствует особое число: *семь*.

Во-первых, у Свиддлера есть «*семь* часов на то, чтобы пройти пятнадцать миль пешком» (до Флетброка).

Во-вторых, Свиддлер, в момент совершения им сальто, находится в *семи* милях от Флетброка.

Игровая семантика имён собственных в «Сальто...»

1. Слово *Свиддлер* (фамилия главного героя, исполнителя сальто-мортале) можно перевести так: *Крутун*.

2. *Суон-Крик* (Swan Creek). Название города можно перевести: *Лебединый ручей*. И возникает переключка с вышеупомянутым рассказом «Случай на мосту через *Совиный ручей*», в котором также идёт речь о казни через повешение.

(Ниже мы остановимся подробно на переключках между двумя рассказами).

3. *Флетброк* (Flatbroke). Означает: полностью

разорённый; обанкротившийся. Во Флетброке состоялась казнь Джерома Боулза. Состоялась, ибо потерпели крах – *обанкротились* – все попытки мистера Свидлера спасти своего друга.

«Сальто...» и «Случай...»: переклички

1. В обоих рассказах речь идёт о казни через повешение.

2. В «САЛЬТО...» название города: *Лебединый ручей* (должно восприниматься сатирически, ибо горожане, противящиеся акту милосердия, уж никак на лебедей не похожи).

В «СЛУЧАЕ...» название реки: *Совиный ручей*.

3. В обоих рассказах прямая дорога уходит вдаль, сужаясь на горизонте в точку.

«САЛЬТО...»: «Рельсы уходили вдаль между двумя рядами телеграфных столбов, словно застывших в своем унылом однообразии, и стягивались *в одну точку на горизонте*».

«СЛУЧАЙ...»: «Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь *в одной точке на горизонте*, как линии на перспективном чертеже».

4. В обоих рассказах употребляется не совсем обычный оборот *сломанная шея*.

«САЛЬТО...»: «Мое сальто *сломало шею* Джерому Боулзу, находившемуся...».

«СЛУЧАЙ...»: «Пэйтон Факуэр был мертв: тело его, с *переломанной шеей*, мерно покачивалось...».

5. В обоих рассказах главный герой кричит (реально или мысленно), и тема крика – верёвка для повешения.

«САЛЬТО...»: «Обрежьте веревку! Обрежьте веревку!» (Cut him down! Cut him down!).

«СЛУЧАЙ...»: «Наденьте, наденьте опять!» (Put it back, put it back!).

В обоих случаях крик состоит из двух одинаковых половинок, каждая половинка – из трёх слов.

6. Каждый рассказ имеет две концовки: ложную и сразу следующую за ней истинную. Из истинной мы узнаём, что казнь состоялась, *шея сломана*, повешенный мёртв. А в ложной главный герой, находящийся в движении (идуший либо бегущий) встречает кого-то, кто находится (стоит) *на границе двух пространственных зон*. В «САЛЬТО...» такой границей оказывается *окраина города*, и на этой окраине *стоит кучка зевак*: «все смотрели на меня в совершенном изумлении и молчали». А в «СЛУЧАЕ...» такой границей – между дорогой и домом – является *крыльцо*: жена Факуэра на нижней ступеньке крыльца усадьбы «останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья».

Жанровая природа рассказа «Сальто...»

Этот рассказ вряд ли можно назвать реалистическим (в смысле соблюдения исторического и бытового правдоподобия). Простейший пример: город Суон-Крик назван столицей штата. Но в истории США никогда не было штата с такой столицей (а может, и города Суон-Крик никогда не было).

Губернатор вручает бумагу о помиловании утром того дня, когда должна состояться казнь – разве «реалистические губернаторы» так поступают? Бумага о помиловании не идёт по официальным каналам, а вручается Свиддлеру, частному лицу! – тот же вопрос.

Вручается с таким расчётом, чтобы создалась ситуация нехватки времени. Чтобы, не давая неугомонному «частному лицу» опомниться, выманить его на полотно железной дороги – с тем, чтобы оно там явило свои акробатические способности.

Разумеется, отсутствие лошадей и тому подобные препятствия были спланированы *заранее*. И, конечно, во главе заговора стоял губернатор (чего так и не понял Свиддлер – «превосходный ходок», но неважный мыслитель). Сам акт милосердия был элементом заговора, ибо он был задуман таким, чтобы его нельзя было осуществить!

А цель заговора – осуществить цирковое представление, сердцевиной которого станет «сальто мистера Свиддлера».

Вручая Свиддлеру бумагу, губернатор «поясняет»: он, губернатор, не хочет, чтобы Свиддлер надоедал ему всю зиму. О какой зиме идёт речь? Если Свиддлер повезёт и он сумеет предотвратить казнь, то Боулза помилуют. Не повезёт – казнят. Но в любом случае, это произойдёт «сегодня», 9 ноября. При чём тут зима?

Дело в том, что Свиддлер долгое время надоедал губернатору – в прошлом. И вот этот прошлый период губернатор опрокидывает вперёд, в будущее. Опрокидывает логико-акробатическим трюком, подобным тому чисто акробатическому трюку, который через несколько часов осуществит Свиддлер.

Игровая семантика имён, мистика чисел, элементы акробатики в поступках и речах – словом, если и можно говорить о реализме рассказа «Сальто...», то это реализм цирка. Цирковой реализм. Видимо, именно цирковая природа рассказа и определила отношение к нему Бирса как к рассказу второстепенному, «незначительному».

Итак, мистер Свиддлер шагает по полотну железной дороги – той самой, по которой он не смог уехать поездом – якобы потому, что служащие железной дороги уже уехали во Флетброк.

«Рельсы уходили вдаль между двумя рядами телеграфных столбов», но по телеграфным проводам не ушла депеша шерифу во Флетброк – ибо телеграфист отказался её отправлять.

«Справа и слева сплошной полосой тянулось удручающее однообразие прерий», по которым мистер Свиддлер не промчался на лошади – потому что не нашлось для него лошади в Суон-Крике.

Словом, все утренние неудачи материализовались и «охватили» героя снизу и с боков, образовав длинный невидимый «коридор без крыши». Герой может двигаться только прямолинейно – вперёд или назад. В крайнем случае, он может совершить акробатический прыжок вверх – поскольку у коридора нет крыши. Пространство, отведённое герою для движения, ограничено, сжато, спёрто – вот почему «день был ... очень душный для этого времени года».

Вряд ли мы сильно погрешим против истины, если предположим, что до своего рокового прыжка Свиддлер двигался – шаггал – *равномерно*. А раз так, то зададимся вопросом: когда, в котором часу совершил мистер Свиддлер своё сальто?

«Было десять часов. У меня оставалось всего семь часов на то, чтобы пройти пятнадцать миль ... можно было не сомневаться, что я одолею это расстояние и ещё час останется у меня в запасе».

Стало быть, 15 миль – за 6 часов.

А 8 миль – за сколько? Задача «на пропорцию». Ответ: за 3 часа 12 минут. Значит, сальто мистера Свиддлера имело место быть в 12 минут второго.

Точно так же можно узнать время появления Ну-и-Джима. «Не успел я сделать и полумили, как меня нагнал Ну-и-Джим...». 15 миль – 6 часов. Полмили – X часов.

$X=12$ -ти минутам. Стало быть, не прошло и 12-ти минут после выхода Свиддлера на железную дорогу, как его догоняет Ну-и-Джим. Ясно, что Ну-и-Джим поджидал Свиддлера у выхода из Суон-Крика, сразу пошёл за ним вслед и нагнал его примерно в десять минут одиннадцатого.

Строгая рациональность, математическая выверенность деталей рассказа соответствует технической отработанности, точности акробатического трюка.

Короче говоря, ранний рассказ «Сальто...», написанный в

жанре «циркового реализма», интересен как сам по себе, так и тем, что из него вырос «Случай...» – один из шедевров мировой литературы.

Амброз Бирс. СТРАЖ МЕРТВЕЦА. *Рассказы*
Издательство «Азбука», Санкт-Петербург, 1999



Микки Вульф

Беллетристика как провокация



аша редакция расположена в конце улицы Ахим ми-Славита. Это маленькая, забитая автомобилями улочка, уводящая от Амасгер (Слесарной), через стоянку, на склон Аялона (чуть ли не того самого, где Иисус Навин сказал солнцу «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиной Аялонскою!») В этом районе, уже в конце XX века, считается, были бордели и гаражи, а теперь, слава Богу, думают, что одни гаражи. Ну и, конечно, редакция, уж не знаю, к какому жанру ее отнести. Скажем, гараж.

Ахим ми-Славита – означает «братья из Славуты». Имеются в виду два брата из семьи Шапиро, начавшей в 1808 году печатать первый Талмуд на Волыни. Но когда они совсем разошлись, их деятельность, как аккуратно и язвительно пишет дореволюционная «Еврейская энциклопедия», «была представлена пионерами просвещения правительству в черных красках. Было назначено следствие, в результате которого оба брата были обвинены в убийстве, присуждены к наказанию кнутом и поселению в Сибирь, а типография их была закрыта. Старший брат умер в ссылке, а младший был затем помилован и ум. в 1863 г.»

Если открыть книгу Савелия Дудакова «История одного мифа», то в ссылке (я имею в виду другую, книжную ссылку на Зельцера Липмана) можно узнать альтернативный вариант: «Приблизительно в это время братья Шапиро пытались печатать каббалистические книги без разрешения цензуры, за что и были подвергнуты наказанию шпицрутенами, и один из братьев умер под розгами».

Наконец, в «Книге времен и событий» Феликса Канделя указано, что «во время наказания шпицрутенами, у одного из братьев, рабби Пинхаса Шапиро, упала с головы ермолка. Он тут же остановился и под непрерывными ударами поднял ее, лишь бы не сделать ни одного шага с непокрытой головой». Кандель замечает, что они были хозяевами «хасидской типографии». Отсюда становятся понятны «пионеры просвещения» (это

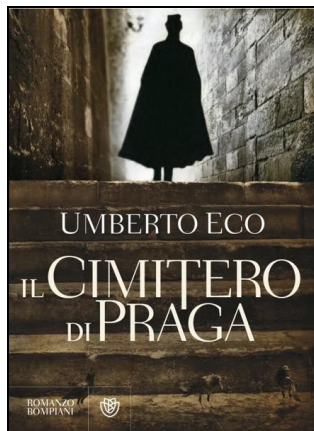
виленская, соперничающая типография, хасидизм, естественно, не признававшая).

Для особо въедливых сообщаю, что современная КЕЭ к судьбе братьев ничего не добавляет, кроме слов «по некоторым сведениям».

Помимо сочувствия к несчастным братьям и уважения к их религиозному чувству, обратим внимание на то, что три варианта этой истории дают три разных сектора освещения, высвечивают их по-разному. И дело не в том, что Зельцер Липман путает шпицрутены с розгами или что она, история, допустим фантастический вариант, случилась с разными братьями, а в том, что сейчас, в 2012 году, уже практически невозможно уточнить, как произошел разгром типографии «ахим ми-славита» на самом деле. Причина проста: это перестало быть важным. История в ее протокольном виде уже ум.

И еще прошу заметить: все три источника считаются достоверными. Во всяком случае, они относятся к серьезной научной или научно-популярной литературе.

Что же можно сказать о беллетристике?



В книжке модного сейчас Умберто Эко – находящегося, как мне кажется, по нисходящей линии между Борхесом и Акуниным – под названием «Картонки Минервы» (в основном это небольшие газетные заметки) есть два эссе, посвященных евреям. Одно из них – «Синагога Сатаны и "Протоколы сионских мудрецов» – я процитирую довольно широко, поскольку в нем заложена большая часть необходимых читателю сведений в очень кратком объеме:

«Я прочел в газетах, будто бы кто-то сказал, что это выражение ("Синагога Сатаны" – М.В.) происходит из "Протоколов сионских мудрецов", этой, как известно, Библии антисемитизма и настольной книги Гитлера. Это неверно: в "Протоколах" есть гораздо худшие фразы, но только речи написаны от лица самих евреев, а значит, ради вящего правдоподобия фальшивки, богоизбранный народ никак не мог связать себя с Сатаной. Разве только русский издатель "Протоколов" Сергей Нилус, комментируя памфлет в 1905 году, говорит, что торжествующий царь Израиля, то есть Антихрист, завоевывает мировое господство, используя "всю мощь, весь ужас Сатаны".

То, что евреи заключили договор с нечистой силой, а значит, и Сатана, и грядущий Антихрист явно отдали бы предпочтение синагоге, – мысль не новая: ее выпестовал традиционный антисемитизм, и она появляется во множестве средневековых текстов. Но формулировка "синагога Сатаны" типична для антисемитизма XIX века.

В 1797 году аббат Баррюэль написал "Мемуары к истории якобинства", где показал, что Французская революция была заговором тамплиеров и масонов, к которому принадлежали Вольтер, Дидро, Тюрго, Кондорсе, д'Аламбер и Гольбах. Евреев Баррюэль не упоминал, но чуть позже некий капитан Симонини поставил ему на вид, что за кулисами стояли именно коварные иудеи, подхватившие традицию Горного Старца¹ (который, кстати сказать, был вообще мусульманин). С этого момента и начинается широкое, в международном масштабе обсуждение еврейского интернационала как подстрекателя всех революций. В 1868 году прусский реакционер Герман Гедше написал под псевдонимом Джон Ретклифф роман "Биарриц", где изображается, как представители двенадцати колен Израилевых встречаются ночью на кладбище в Праге и сговариваются захватить власть над миром. Чуть позже отрывок из этого повествования появляется как подлинный документ, якобы попавший в руки английского дипломата Джона Рэдклиффа, а в книге Бурана ("Иудеи, наши современники", 1881) подрывная речь приписывается главному раввину Джону Рэдклифу, на этот раз через одно "ф". Фальшивку подхватывает "Ревю дез этюд жуиф", и через длинный ряд подложных документов она наконец ложится

¹ Горный Старец – глава раннесредневековой мусульманской секты хашишинов (асассинов, убийц), часто называемых террористами Средневековья.

в основу так называемых "Протоколов".

В католическом лагере эта идея несколько раз появляется в работах Гугено де Муссо², особенно в книге "Евреи, иудаизм и иудаизация христианских народов" (1869), и автор получает особое благословение Пия IX. А термин, о котором мы говорим, вошел в обиход после появления в 1893 году книги "Франкмасонство – синагога Сатаны", которую написал монсеньор Мёрин, иезуит, архиепископ Порт-Луи на Маврикии. В обширном, более пятисот страниц, труде прелат ударяется в углубленный анализ еврейской каббалы, связывает ее с традицией гностиков и манихеев, с тамплиерами и наконец с рождением масонства, которое якобы тоже выдумали евреи. Он долго рассказывает о том, как Сатана являлся в ложи; показывает тесную связь между масонскими ступенями и еврейской мистикой.

То, как эта тема переходит из немецких и русских революционных кругов в публицистику французских и итальянских иезуитов и к французским крайне правым кругам, опираясь на один и тот же весьма ограниченный набор апокрифов, детально воссоздано в книге, которую всем нам следовало бы прочесть: «Благословение на геноцид» Нормана Кона³. Кон, разумеется, разоблачает блеф, но другие авторы используют те же самые элементы для воссоздания мифа. Большой популярностью пользовалась изданная в 1924 году книга некоей Несты Уэбстер "Тайные общества и подрывные движения", где свалены в одну кучу масонство, социализм, большевизм и еврейская угроза (тем же приемом пользовалась и нацистская пропаганда).

И наконец, выражение "синагога Сатаны" широко применялось в католических легитимистских кругах XIX века и даже одушевляло романтическую, народническую тенденцию, плоды которой пылятся в библиотеках епископских семинарий. Это – готовая фраза, за ней тянется запашок ее происхождения, даже если ее и употребляют в страстной проповеди, имея самые благие намерения».

Эссе датировано 1992 годом.

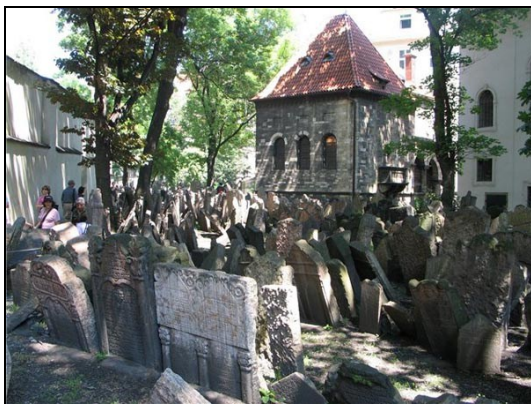
Опять же замечу – с дальними целями, – что в сносках (выполненных, главным образом, переводчиками) капитан Симонини не упоминается, хотя в процитированном эссе автор однозначно причислил его к реально жившим людям («чуть позже

² Роже Гугено де Муссо (1805-1876) – французский журналист и писатель.

³ Норман Кон (1915-2007) – английский историк и писатель.

некий капитан Симонини поставил ему на вид, что за кулисами стояли именно коварные иудеи»).

Между тем (спустя почти двадцать лет, в 2010 году) его внук рождается как главный персонаж последнего романа Умберто Эко «Пражское кладбище», и уже этим опровергает упрек Бокшик'а в равнодушии к еврейской теме.



Его полное имя – Симонино Симонини, которое в предисловии переводчика Елены Костюкович к роману объясняется следующим образом:

«В 1899 году, после дела Дрейфуса во Франции, но еще до дела Бейлиса в России, когда уже опасно забродила эта острая тематика в странах Европы, кардинал Воган и несколько других авторитетных представителей английского католицизма обратились к Ватикану с требованием опровергнуть легенду о ритуальных еврейских убийствах с кровопусканием. В сущности, предлагалось, чтобы церковь дала задний ход по линии своего же собственного утверждения о святом страдании некоего младенца из Тренто, якобы замученного евреями, а звали младенчика Симонино...

Церковь тогда навета не опровергла, публично не отмежевалась».

Но нас сейчас интересует не это – это дело привычное, – а то, что внук Симонини, единственное вымышленное в романе лицо, которому, по мнению Е. Костюкович, имя дано в честь умученного евреями дитяти, – живет и действует, прекрасно вписавшись в окружение людей всамделишных, если, конечно, можно так называть сплошную череду обманщиков и мерзавцев.

Среди многих творимых им подлостей (которым, по существу, и посвящен роман) он изготавливает для заведующего

заграничной агентурой департамента полиции министерства внутренних дел России генерала (какой длинный; по другим сведениям, полковника) Рачковского очередную копию «Протоколов сионских мудрецов», списанную им с не имеющего отношения к евреям памфлета Жоли. Кстати, об этом автор именной статьи о Рачковском в Википедии вообще не пишет, зато не забывает упомянуть, что весь его постоянный персонал в Париже состоял из двух человек, размещавшихся в небольшом отдельном помещении русского посольства.



Дальше, уже после смерти Симонино Симонини, которую мы датруем примерно декабром 1898 года, начинается гнусное бессмертие «Протоколов» в России, в Германии и вообще в мире – через Паволаке Крушевана, напечатавшего их в петербургской газете «Знамя» в 1903 году, а затем – Сергея Нилуса (между прочим, ученика Владимира Соловьева), опубликовавшего их как часть своей более широкой работы в 1905 году («Великое в малом и антихрист как близкая политическая возможность»). Я не буду подробно останавливаться на этих этапах.

Не буду я задавать и бессмысленный вопрос, почему Умберто Эко приписал создание «Протоколов» именно Симонини, когда – см. эссе – есть куча упомянутых и десятки им не упомянутых авторов. Герман Гёдше, сочинивший «Протоколы» под псевдонимом Джона Ретклиффа; Бурнан («Иудеи, наши современники», 1881), приписывающий подрывную речь главному раввину (чего? – М.В.) Джону Рэтклифу; Юстинья (Юлиана) Глинка, дочь действительного тайного советника и фрейлина

русского двора, ученица Блаватской, чуть было не соблазнившая (в романе) Симонини, в парижской газетной статье ее называют не красивой, но хорошенькой, а Симонини сравнивает ее с куницей (имея в виду, по-видимому, не мех); Матвей Головинский, сын петрашевца Василия Головинского, стоявшего вместе с Достоевским на эшафоте; он, Матвей, пересказал, по наблюдению В. Скураговского, «Бесы» Достоевского (впрочем, осталось и на болезненно антисемитский «Дневник писателя», и это уже подметил сам Эко); Манусевич-Мануйлов, о котором и говорить противно, Иван Федорович, которого Рачковский, использовавший его для особых поручений, называл на людях «грязным евреем», прости Господи, и т. д. – имя им легион...

Впрочем, вопрос не совсем бессмыслен. Автор, видимо, хотел свалить на Симонини в XIX веке их общие грехи, чтобы, так сказать, в нем одном сфокусировать дух эпохи, оказавшийся гораздо мерзее, чем это кажется нам в отдалении более чем на сто лет. Мерзость эта была разлита во всем, в том числе в антисемитизме, который вдохновил уже в XX Гитлера и вдохновляет в XXI его последователей.

Кстати, о предисловии. Оно, при всей развернутости аргументации, представляется мне совершенно излишним, по крайней мере в таком объеме и, главное, с такой целью. Е. Костюкович ломится в открытые двери, доказывая, что автор – не антисемит и что бесчисленные свидетельства подлости и низости евреев, приводимые в романе, не должны нас обмануть. Она доходит до того, что и сам Симонини – не антисемит, поскольку он способен и на другие, грубо говоря, шахер-махеры, и все творит с удовольствием. Позволю себе заметить, что именно это свойство и делает его антисемитом. Она, кажется, мало знакома с ними.

И, чтобы закончить с этим, два слова о книге Дудакова, определившего ее как «сугубо оригинальную концепцию мессианско-беллетристического развития антисемитских идей в России»:

«История общественных идей в России доказывает, что это "изобретение" (легенда о "жидо-масонском заговоре") было сугубо отечественным». Она прекрасна – эта концепция (да и книга тоже), – но она уже, увы, ум. Она перестала иметь значение.

И именно поэтому я могу, наконец, подступить к своей теме вплотную. Вот читатель, скрытый под ником Barros, рецензирует книгу в интернете: «Исторические обстоятельства, в которые вписывается центральный персонаж, идут своим

историческим чередом и неожиданностей мне не сулят, а предложенная в них персонажу роль неизменно оказывается закулисной возней, которая сама по себе малоинтересна. В гламурно-масонскую тусню, в дело Дрейфуса, в аферы Таксиля и прочие "пузыри истории" конца XIX века просто добавляется сбоку еще одна загогулина, которая вроде бы важна для романа, но для истории как таковой абсолютно индифферентна. В итоге весь основной сюжет оказывается для меня лишенным сторпризов, не меняется даже общепринятая трактовка отдельных эпизодов. И это никак не помогает роману удержать ощущение новизны».

Но беда в том, что и без Симонино никакой новизны в этих «исторических эпизодах» нет, потому что они основаны на книгах, ничуть не более – впрочем, иные и не менее – талантливых, чем «Пражское кладбище». Я не хочу обидеть Эко, да он и не обидится, но этот роман – обыкновенная беллетристика. Я желал бы обидеть авторов этих книг, всех этих Крестовских и Амфитеатровых, Шабельскую и Брешко-Брешковского, да сотрутся их имена, если уже не стерлись. (Подробнее см. у С. Дудакова в уже названной книге, а до него у Нормана Кона и десятков других), – но обидеть их не удастся: они уже лежат в земле, куда мне очень неприятно ложиться с ними.

«...Беллетристика, а вовсе не теоретизированные статьи адептов "корня наших бед", сделала "Протоколы" подлинным документом эпохи: "вымысел" о сионских мудрецах, провозглашенный в антисемитской беллетристике, стал впоследствии действительностью», – вот что с необычайной точностью уловил и обозначил Савелий Дудаков. И продолжил: «Подобный некритический поход к любому "печатному листу" в качестве реального свидетельства существующего факта, нежелание отличать вымысел (литературу) от истории (действительности) – характерная черта идеологических интерпретаций как для "теоретиков" социалистического искусства, так и для "теоретиков" антисемитизма"». (Последнее уточнение – просто класс! – М.В.)

Дмитрий Мережковский в «Гоголе и черте» выразился туманнее и ограничился родиной: «И здесь... как везде, всегда в России, самая фантастическая русская легенда становится источником самого реального русского действия». А спустя почти 80 лет г-н Игорь Шафаревич, бессознательно основываясь на той же позиции, прямо пишет: «Приглядевшись, можно заметить, что те же взгляды (русофобские, которые он называет взглядами "малого народа". – М.В.) широко разлиты в нашей жизни: их можно встретить в театре, кино, песенках бардов, у эстрадных

рассказчиков и даже в анекдотах». И дальше: «В наиболее четкой, законченной форме интересующее нас течение отразилось в литературной продукции – ее мы и будем чаще всего привлекать в качестве источника». И привлекает.

Замечу, что знаменитый парадокс Оскара Уайльда о том, что искусство порождает действительность, затмил другой, менее известный его парадокс: «[Современная журналистика], предоставляя голос необразованным людям, знакомит нас с общественным невежеством».

Соединив оба их, мы получим именно то, что имели, имеем и будем иметь вчера, сегодня и завтра, – только беллетристика и журналистика дополнились кино, телевидением, рекламой и интернетом, который я – похвастаюсь! – правильно, хотя и некорректно назвал еще лет двадцать назад «всемирной перделкой».

Нет, там есть масса полезных и нужных вещей, но прислушайтесь, как и что говорят в своих реакциях на умные-разумные статьи и комментарии к ним так называемые простые люди. И когда в эти «тексты» врываются записи модераторов о том, что они удалили ту или иную реплику, меня берет ужас не перед тем, чего я уже не вижу, а перед тем, что осталось и красуется на веки вечные. А если еще и статьи не совсем умственно-благополучные...

Хуже всего то, что этих «простых людей» все больше и больше и они все ближе и ближе к власти. Но еще хуже то, что так называемое культурное обслуживание (все перечисленное) и в самом деле занимается этим самым обслуживанием. Трудно представить себе обслуживание меня Шекспиром или Кафкой, Пушкиным или Мандельштамом, но такие и распротакте-то (не хочу их называть, и, между прочим, они не поместятся в моей статье) вполне укладываются в это определение.

Происходит влияние и взаимовлияние, изливание, возлияние и вилияние.

Мысли эти, увы, не новы, но когда эстрадную певичку (певунью, певичицу) журналист спрашивает о ее взглядах на что-то, кроме микрофона перед ее носом, и выясняет, при каких обстоятельствах она в первый раз трахнулась; когда анонимный составитель выпускает – в московском издательстве «Книга» – сборник «Русские писатели о евреях» (грязная пачкотня!), желая, «как считают некоторые интеллигенты, внести ее в обязательную школьную программу, чтобы каждый человек с детских лет знал, в каком мире ему предстоит жить, и в связи с этим знанием выбрать свою жизненную позицию» (Боже, почему как

погромщик, так безграмотный, и – очень часто – как безграмотный, так и погромщик?); когда религиозный еврей, исходя из веры Бог знает в какие книжки, едет фотографироваться с Ахмадинежадом и благословляет его на уничтожение Израиля, – я не нахожу себе места от обиды на то, что они все научились писать и читать.



Мне лично давно хотелось перечитать Евгения Шварца (он, кстати, не еврей, и это ему почти не мешало). И я открыл его (само открылось) на «Дон-Кихоте», на реплике цирюльника: «Он верит любому вздорному вымыслу сочинителя, словно священному писанию». И вскоре следует фраза читающего идальго, иллюстрирующая это: «И снова вскочил на коня, но вдруг увидел девушку неземной красоты. Ее волосы подобны были расплавленному золоту, а ротик ее... – Дон-Кихот переворачивает страницу, – изрыгал непристойные ругательства». Выясняется, что он перевернул лишнюю страницу и читать надо: «...А ротик ее подобен был лепестку розы».

Именно это происходит с современным читателем: только он не Дон-Кихот, и «верит любому вздорному вымыслу», не услуживая за мелькающими страницами...

«Дон-Кихот» Сервантеса – мудрая литература, но сеньора Кехану свела с ума (на это обратил внимание сам Сервантес) обыкновенная дрянная беллетристика. Просто, в отличие от Симонино Симонини и ему подобных, он был благородным человеком. Поэтому Дон-Кихот отправился сражаться с ветряными

мельницами, а персонажи Умберто Эко, сидя дома, зарабатывают деньги все на тех же евреях.



Мина Полянская

Пятьдесят столетий без одинокчества

Размышления над повестью
Бориса Шапино «Голоса»

*Посвящаю моим предкам-мореплавателям
Христофору Колумбу, адмиралу Нахимову
и лейтенанту Шмидту*



Повесть Бориса Шапино «Голоса»¹ настолько поразила меня, что и сейчас храню её в памяти. В особенности же претензии Шапино на родство с царем Соломоном и прочими подобными личностями вызвали во мне честолюбивый даже интерес. Объявилось и у меня желание узнать свою родословную, выявить своё родственное отношение, допустим, к царю Давиду или Баруху Спинозе. Захотелось развернуться куницей на воротник, а не какой-нибудь кошкой, которой, к сожалению, только и ограничился Акакий Акакиевич, «развернуться таким Хлестаковым», как сказал о себе самом создатель Акакия Акакиевича.

Шапино, по-моему, противопоставляет свою родословную обособленному роду Буэндиа из романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», где одиночество рода противостоит полностью как кровосмешение, а отрыв от цивилизации приведёт к полному его вырождению. Тогда как каждый представитель семейной хроники Шапино лишён одиночества – это, скорее, ренессансный человек – активный, пытливый, самостоятельный и достаточно предприимчивый. «Родовой» человек (и автор, в том числе), сопутствуемый некоей организующей идеей, готов прийти на помощь читателю - так заявлено в повести.

Умершие физически, предки Шапино продолжают переговариваться между собой. Время от времени слышны их

¹ Повесть «Голоса» опубликована переставшем издаваться ныне московском журнале „Ной“ (№ 17, 1996)

голоса, ведущие целые диспуты, в том числе и об истории. «Правильная система высказываний, – слышит автор голос прадеда Генриха, – это всегда история». Дед Шломо-Хаим, который в восьмидесятилетнем возрасте занялся историей своей семьи, говорит, что «история управляет жизнью, а жизнь в свою очередь, несёт в себе историю». Так непрерывно совершается переключка поколений – и не прекращается связь. Таким образом, семейная хроника становится весьма ощутимым капиталом рода Шапиро, доказательством подлинного благородства – в противоположность Владимиру Набокову, для которого обладание семейной хроникой, недостаточно. Для него не существует короля без короны и территории. И как бы настойчиво не оповещал Набоков читателя о своей родословной, он в своём творчестве ощущал себя одиноким человеком, изгнанным принцем, «потерявшим за морем свой скипетр».

В каждом человеке, уверяет Шапиро, заложена ностальгия по предкам, независимо от социального происхождения и, разумеется, национальности, а человек без корней тоскует – порой бессознательно – о своём сиротстве. Благородство происхождения определяется не графским или княжеским титулом или же каким-либо иным признаком «голубой» крови, а исторической памятью, контактом индивидуального человека с человечеством.

Этим призванием обладали предки автора, евреи из колена Левитова, происходившие от брата Моисея Аарона, которые были когенами и наследовали священнический статус.

События, изложенные в повествовании, известны автору по рассказам его отца Израиля, узнавшего о них от своего отца – Шломо-Хаима, составившего семейную хронику в семи амбарных книгах. К сожалению, бесценные записи погибли в блокадном Ленинграде и потому сообщения автора не отличаются точностью. Историк рода вынужден подтверждать факты документами не менее и не более достоверными, чем те, которые предоставил нам историк села Горюхина Иван Петрович Белкин.

Сам автор «Голосов», один из персонажей повести, рассказывает историю рода от первого лица и под *собственным* именем. Он в начале повести обращается к читателю с Божественным – великим тройным благословением: «Не я, – говорит он, – или же ещё кто-нибудь источник этих слов. Только сам Бог есть первоисточник благословения, а я несу его дальше». Великое тройное благословение Всевышний передал народу Израиля через когенов, к которым, как утверждает Борис Шапиро, относится его род. Так что, по всему получается, что Борис Шапиро этой повестью несёт нам некую Весть.

Тексту предпослан эпитафия – «Подпоручики же...», мгновенно напоминающий нам титул известного рассказа Юрия Тынянова «Подпоручик Кижэ», символизирующий курьёз, имя того, кого на самом деле не существует. Эпитафия относится к отцу автора Израилу, который в Гражданскую войну сражался в армии Будённого под псевдонимом Борис Борисов. Отец присвоил чужое имя (псевдоним?), так как не получил благословения своего отца Шломо-Хаима на жестокое кровопролитие. «Шапиро так не поступают», – сказал Шломо-Хаим», а Израиль, восприняв слова отца буквально, переименовал имя, сделался Борисом Борисовым. Да так и остался им в военных отношениях.

И вот однажды девятнадцатилетний командир эскадрона Борисов не выполнил приказ командования, не сжёг две казачьи станицы со всем населением, включая женщин и детей, и дезертировал вместе с эскадромом. Как военный преступник (за невыполнение приказа) Борис Борисов разыскивался в Советском Союзе, меж тем как в гражданскую жизнь вернулся человек со своим настоящим, подлинным именем тихий, мирный человек Израиль Шапиро. Эпитафия, таким образом, относится к имени-псевдониму, Борису Борисову, которое значилось в многочисленных докладных записках, отчётах, донесениях уполномоченных инстанций и частных лиц и прочих документах особых органов, но за которым не существовало живого человека.

Между тем Израиль, вероятно в память о своей героической молодости (*нас водила молодость в сабельный поход*) дал своему сыну имя Борис. На самом деле новорожденный назван был Барухом, что на древнееврейском означает «Благословенный». Однако имени Барух не было в списке имён, разрешённых к употреблению, и его записали Борисом по созвучию. В результате получился всё же Борис – тёзка Бориса Борисова. Тройственное «Борис» навело меня на подозрение, что эпитафия «Подпоручики же...» может принадлежать и автору необыкновенной фамильной повести – личности существующей, но обладающей некоей тайной (по всей видимости мессианской).

Автор рассказывает, что первым его предком был золотых дел мастер Калам, служивший царю Соломону и женившийся на одной из его дочерей по имени Шмаэла. Так что Шапиро – потомок царя Соломона. Я обратилась к авторитетным комментаторам Пятикнижия и обнаружила, что «Калам» в переводе с древнееврейского – инструмент, палочка, с помощью которой выводились буквы Священного Писания или же тростниковая свирель – словом, предок автора обладал именем, символизирующем творчество. Калам (творчество) станет

родоначальником многих поколений евреев, стоящих у истоков значимых исторических событий, будь то строительство Второго Храма, или же открытие Америки, что вполне соответствует концепции автора о воле Творца по отношению к человеку, состоящей в том, что Он хочет быть понятым, а на человеке лежит ответственность за свое понимание.

«Что ни век, то век железный. Но дымится сад чудесный», – написал Александр Кушнер в свои зрелые годы. Мудрые слова о счастье бытия, несмотря на то, что век опять, как впрочем, и всегда, железный. «Не я, мой друг, а Божий мир богат», – откликнулся его предшественник Афанасий Фет.

В железный век при всем богатстве мира не обойтись без рационального начала. Согласно учению Баруха Спинозы, сильный познавательный импульс помогает отделять суетное от важного. Один из предков автора Мендель-Хендрик Шапира внес вклад в распространение философии Спинозы тем, что издал два его трактата в Амстердаме, не побоявшись пойти на конфликт с еврейской общиной. У автора сохранился портрет этого предка, который *несомненно, с огромными трудностями был пронесён через века и границы.*

Один из предков автора Нехамия, огранщик драгоценных камней при дворе царя Кира Великого, усомнился в правомерности восстановления Второго Храма и предсказал неисчислимые бедствия, в связи с его возведением.

Напоминаю, что Первый Храм построил царь-псалмопевец Соломон, осуществив мечту своего отца царя Давида. В нём хранился ковчег со скрижалями Завета. В 586 году до н.э. пало Иудейское царство, Храм был разрушен, а ковчег Завета бесследно исчез. Автор пишет: «После того, как великий царь [Кир, – М. П.] послал евреев из плена в Палестину, чтобы они восстановили Храм, наш предок Нехамия, руководствуясь религиозными соображениями, усомнился в правомерности восстановления Храма. Его аргументы носили гностический и эвристический характер». Агностики начисто отрицали возможность познания Всевышнего. Согласно промежуточной, частично гностической точке зрения, Всевышний познаваем отчасти и, стало быть, существуют границы его познания, переступить которые не дано. Нехамия считал, что Бога познать в принципе возможно, но только в далеком будущем. Этот провидец (предчувствия его сбылись: евреям пришлось много страдать после разрушения Храма) был уверен, что Первый Храм не мог бы быть разрушен, если бы Всевышний не допустил разрушения. Он возвестил о причинах его уничтожения иудеям, однако они не

увидели и не услышали Божьих знаков. Что Он хотел сказать нам, своим партнерам по Завету? Что мы должны упрямо отстраивать только что разрушенное? И далее Нехамия высказал дерзкое предположение, что «разрушение Храма могло быть знаком, толчком к дальнейшему развитию Завета, то есть к религиозной реформе».

Нехамия утверждал, что его современники, партнеры Бога по Завету, должны заботиться о том, чтобы понять Его, ибо после потопа Бог заключил с Ноем, а через него и со всем человечеством, договор и подписал его радугой².

Одним из аргументов Нехамии являлось сомнительное посредничество царя Кира в повелении отстроить Храм. Повеление пришло к еврейскому народу от царя, который не был евреем, и, следовательно, не был еврейским пророком – не исключено, что повеление восстановить Храм вовсе не было Божественным. Кроме того, пишет автор, «Нехамия не исключал, что Божественная воля меняется с течением времени ... Еврейские мудрецы, считал он, должны прежде всего заняться своим прямым делом – гностической работой».

«Мой прадед Генрих и дед Шломо-Хаим, – пишет автор, – толковали рассуждения Нехамии как несвоевременную попытку покушения на элементы язычества в иудаизме». Итак, Нехамия, который, оказывается, *финансировал строительство целого угла иерусалимской стены – угловой башни и по 50 локтей в каждую сторону*, попытался даже предотвратить недостаточно обоснованное строительство Храма.

Четыреста лет спустя Иисус, одна из значительных личностей пророческой традиции, согласно евангелическим текстам, оплакивал будущее разрушение Иерусалима и Храма.

Желал этого автор или нет, однако он причинно соединил два события – возведение и разрушение одного и того же

² Согласно талмуду, шесть из семи цветов радуги символизируют шесть запретов, касающихся этики – на идолопоклонство, на кощунство по отношению даже к другим религиям, на кровопролитие и убийство, на разврат и кровосмешительство, на грабеж и на жестокость по отношению к животным. А седьмой цвет символизирует пункт договора, а именно завет: обязательное учреждение правовой системы и судопроизводства. «На семи заповедях Ноя построено иудейское представление о праведности – корень мировоззрения Бориса Шапира» (Хелла Шапира) См. в книге – Борис Шапира. Две луны, Изд-во Ной, Москва, 1995, стр. 139)

священного сооружения, – и, таким образом, сделал *Храм разрушенный* символом неисчислимых бедствий еврейского народа. Так в повести «Голоса» замкнулся временной круг продолжительностью сначала в четырёхста, а потом в две тысячи лет, так был поставлен в ней вопрос об ответственности перед будущим и о границах познания ответственности.

Шапиро проповедует: «Постарайся, мой друг, не путать важное со срочным, и исполний сначала важное дело, а потом занимайся срочным, – если оно до тех пор не разрешится само собой». Я нашла в главе второй Книги Экклезиаста следующее горестное признание: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и нет от них пользы под солнцем». Смещение понятий – важного и срочного – может привести к жизни, которая пройдёт в непрерывной деятельности в мире навязанных случаев обстоятельств. И незаметно для себя «деятельный» человек, вступающий во взаимоотношения с огромным количеством людей самого разнообразного звания чуть ли не на всех ступенях общественной лестницы, окажется «кипящим в действии пустом». Пушкин писал Чаадаеву из южной ссылки:

Владею днём моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

Эти строки поэта, которого в юности приятели называли «добрым повесой» – свидетельство его духовного созревания, вызвавшего интеллектуальный и нравственный взлёт, стремление к самостоятельному осознанию бытия. Строки Фёдора Тютчева в стихотворении «Цицерон» о человеке, который лишь на первый взгляд – как судно под парусом, целиком зависящее от ветра. Однако если наступит штиль, то, искусно используя определенные комбинации воздушных течений, можно плыть дальше. Разумеется, с Божьей помощью!

Собственно говоря, в начале стихотворения Цицерон ещё не до конца осознаёт, что он истинный избранник судьбы, на том лишь основании, что ему довелось посетить сей мир. Ему кажется, что он опоздал, что ключевые моменты истории уже позади, и он прощается с «закатом звезды» римской славы: «Я поздно встал – и на дороге / Застигнут ночью Рима был!» Тютчев перефразировал слова Цицерона: «... мне горько, что на дорогу жизни вышел я слишком поздно и что ночь республики наступила прежде, чем я

успел завершить свой путь». Однако уже во второй строфе стихотворения он произносит настоящий гимн «неприкрашенному факту существования» человека в этом мире. Приведём эти строки полностью:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали все благие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был –
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Похоже на то, что в повести «Голоса» отсутствует всякий намёк на аффект какой бы то ни было эпохи, ибо все минуты «сего мира» – роковые. Из тысячелетий повествователь ничем не выделяет ни XIX, ни XX века.

Очевидно, что в XIX веке при всей его «чугунности» трудно было жить независимому человеку и тем более иноверцу. Министр просвещения Уваров сформулировал триединую формулу казённой идеологии николаевского режима: «Православие, самодержавие и народность». Заметим, слово «православие» в этом ряду находилось на первом месте и несло в себе угрозу не только для иноверцев. Вспомним Пушкина и его конфликты с церковными властями (например, в связи с его письмом Вяземскому из Одессы об «уроках афеизма», которые он брал у одного англичанина, или же из-за строки в «Онегине» «И стаи галок на крестах» и так далее) и Чаадаева, обвиненного в проповедовании католицизма, а, стало быть, и в измене России. «Всего чужого гордый раб», – писал о Чаадаеве оскорбленный в своём патриотизме Языков.

В этом контексте удивительным образом, если не сказать больше – фантастическим – сложилась судьба прадеда автора Генриха Шапиро. Трудолюбивый плотник и крестьянин Генрих, по прозвищу Добрый, жил в черте оседлости, в деревне Корсаковичи близ города Борисова Минской губернии. Окончив школу Талмуд-Торы в семидесятилетнем возрасте, он пришёл к мысли, что познать Бога с помощью одних лишь религиозных занятий невозможно. Уверившись в необходимости изучения естественных наук, он «усиленно и упорно учился по книжкам и брал уроки у репетиторов».

В возрасте семидесяти семи лет (!), сдав экстерном выпускные экзамены в Минской гимназии, Генрих направился в

Петербургский университет, где ему, иноверцу, конечно, было отказано в учёбе. Однако в восьмидесятилетнем возрасте Генрих всё же смог получить степень магистра минералогии в основанном недавно петербургском Горном институте, после чего снарядил «экспедицию на Урал с целью составить первый полный минералогический атлас Урала», что и было сделано. Жизнь Генриха Шапиро оборвалась случайно – он утонул в Байкале в 1896 году, когда участвовал в сибирской экспедиции под руководством Обручева. Генрих по прозвищу Добрый прожил 113 лет *по-своему*, без суеты, и никакие обстоятельства, в том числе и жестокие законы Российской империи о черте оседлости и запреты для иноверцев учиться в российских университетах, преклонный возраст и прочее, не смогли помешать ему внести *свою* лепту в географию России и в жизнь общества, следуя мудрым напутствиям Книги Экклезиаста. В том числе и этому напутствию из 9-й главы: «Всё, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты сойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знания, ни мудрости».

Особый интерес в галерее портретов предков вызывает образ архиепископа Новгородской епархии отца Макария (в мирской жизни Йойне) – двоюродного деда автора. Один из восемнадцати детей Генриха Шапиро оказался жертвой облавы вербовщиков в кантонисты. Жестокая практика ловли (их отлавливали в самом буквальном и жестоком смысле этого слова) еврейских детей, начиная с восьмилетнего возраста, получила распространение при Николае I.

Пойманных детей, так называемых кантонистов, после долгого и мучительного пути в предназначенные заведения, как правило, насильно крестили, и отныне они на всю жизнь поступали в полновластное распоряжение фельдфебельского произвола. Александр Герцен повстречал однажды группу полуживых, замёрзших еврейских детей, перегоняемых зимой к месту назначения, после чего плакал, вернее, оплакивал эту человеческую трагедию, по его собственному признанию, горячими слезами. Немногие из них выдерживали 25 лет суровой солдатской службы, но случалось, что некоторые из этих мальчиков выживали и даже становились выдающимися деятелями эпохи. Так, например, сыном кантониста был легендарный адмирал Нахимов.

Легендарной оказалось и судьба мальчика Йойне. «Мне не передать мучений, в особенности душевных, которые в эти годы претерпел Йойне, – пишет автор, – ... Но всё же рядом с ним оказался человек, который открыл в маленьком мальчике большую

душу и прирождённый разум и захотел непременно спасти его от солдатчины. Это был его законоучитель отец Арсений». Мальчик стал монахом и при постриге получил имя Макарий.

Спустя 30 лет Макарий приехал к отчому дому, что в городе Борисове Минской губернии, опустился на колени перед воротами и поцеловал землю. Однако родителей дома не оказалось, и один из братьев, не узнав в Макарии Йойну, подобно тому, как не узнали брата Иосифа в Египте, и, не пожелав его выслушать, прогнал со двора. «Думаю, это был самый чёрный день в жизни Макария, – сокрушается автор, – мне и сейчас стыдно за моего двоюродного деда, как и в первый раз, когда я услышал от отца эту историю». Родителям удалось отыскать Макария, который, конечно, простил брата и опять же, подобно библейскому Иосифу, поддержал семью своего отца материально. Что же касается младшего брата Шломо-Хаима (деда автора), то в нём Макарий нашёл родственную душу.

Шломо-Хаим, как догадывается читатель, также прожил свою жизнь в постоянных поисках истины. Вначале он учился в иешиве, где помимо религии увлекся, подобно отцу, естественными науками (например, «Математическими началами» Исаака Ньютона), изучил математику, латынь, не сошелся во мнениях с преподавателями и «по окончании учения не был допущен к раввинским экзаменам». Несмотря на отсутствие средств, он решил изучать математику в Дерптском университете, в которой «увидел ключ к пониманию Божьего труда и самого Бога». Он был убеждён, «что Завет между двумя сторонами – Богом и человеком – обязывает к обоюдному познанию».

Шломо-Хаим посетил в Новгороде брата, православного священника Макария. Дружбу этих двух людей, родных по крови, но разного вероисповедания, можно считать новым этапом на пути к познанию «принципиальных границ познаваемости Бога». Автор утверждает, что движущей силой взаимоотношений братьев было «общее духовное намерение».

Я полагаю, что два мыслителя-гуманиста сходились во мнении о том, что каждая личность духовно суверенна. Чаадаев, которого я не случайно снова упоминаю в этом сочинении, поскольку он являет собой редкостный случай духовной свободы человека в стране несвободных людей, так вот, Чаадаев, рассказывал в одном из своих «Философических писем»: однажды он познакомился во Флоренции с человеком, который оказался родственным по духу, и беседовал с ним несколько часов. С тех пор прошло пять лет, и каждый день воспоминания об этом человеке посещают его, укрепляют от тоски, печали и уныния.

«Вот общество, приличное существам разумным! – восклицает Чаадаев, – Вот как души действуют взаимно одна на другую: ни время, ни пространство препоною быть не могут».

Позволю себе привести небольшую цитату, дающую некоторое представление о характере дискуссий двух кровных и духовных братьев: «Макарий полагал, что исследование принципиальных границ познаваемости Бога – это не что иное, как жизненный процесс «в себе» (an sich), и поэтому носит чисто эмпирический характер. Шломо-Хаим надеялся на формализованную рациональность, которая в качестве инварианта бытия самого-по-себе (in sich) содержит в явном виде per constructionem имманентные границы познания как процесса». Ну, и так далее, дорогой друг и читатель!

Дед автора продолжал вести беседы с Макарием и тогда, когда того уже не было в живых. Незадолго до смерти он попросил своего сына Израиля выучить несколько непонятных предположений, касающихся концепции бытия и познания, для передачи последующим поколениям. Автору пришлось много лет изучать математику (Борис Шапиро – родом москвич, питомец Московского университета математического факультета), лингвистику и логику, чтобы понять эти «трудные предложения», которые он получил от своего отца Израиля. Эти предложения обосновывают «гностическую гипотезу» его деда, согласно которой «человеческий дух ... способен нести ответственность почти за всё, ... поскольку «доля неразрешимого в жизненном процессе сознательно ответственного человека может стать асимптотически сколь угодно малой...». Читателя, желающего постичь это математическое высказывание, отсылаю к повести, где приводится определение понятия неразрешимых высказываний.

Жизненная концепция рода Шапиро близка по духу учению Эмануэля Сведенборга, военного инженера и подданного Карла XII, изобретшего машину для перемещения кораблей по суше, которую Карл XII использовал в своих легендарных войнах. Концепцию Сведенборга мне хотелось бы привести в изложении Борхеса (эссе «Эмануэль Сведенборг»), обладавшего редкой способностью создавать психологию сюжета, в котором действуют не персонажи, а их идеи. Сталкивая эти идеи, или же выстраивая их с неподражаемой логикой, писатель превращает свою «пьесу» в настоящее интеллектуальное пиршество.

Сведенборг также начал свой жизненный путь с изучения религии и одно время был священником, затем принялся за науки. Им написано 50 томов, из которых 25 посвящены науке. Наибольший интерес представляет его религиозное учение о

спасении. «Всегда считалось, что спасение носит этический характер, – пишет Борхес. – То есть, если человек праведен, то спасется. Но Сведенборг идёт дальше. Он утверждает, что этого мало, что человек должен спастись и посредством разума. Сведенборг представляет себе рай прежде всего как теологические беседы ангелов, и тот, кто не может в них участвовать, недостоин неба ... Сведенборг предлагает нам спастись, обогащая свою жизнь. Спасти через праведность, добродетель, а также через разум. Автор повести «Голоса» эхом откликается на жизненную позицию Сведенборга. «Необразованный человек не может быть по-настоящему благочестивым», – говорит он вслед за дедом Шломо-Хаимом.

«А потом, – продолжает Борхес, – придет Блейк и скажет, то человек должен быть еще и художником. Таким образом, получается тройственное спасение. Мы должны спастись посредством добродетели и праведности, абстрактного мышления и искусства».

Итак, мы должны спастись посредством: 1. добродетели и праведности, 2. абстрактного мышления, 3. искусства.

Читатель помнит, что отец автора Бориса Шапиро по имени Израиль, во времена, когда «в голове у него гулял ветер революции» сделался Борисом Борисовым и дезертировал, не подозревая, что и десятилетия спустя по всему Советскому Союзу будут разыскивать военного преступника Бориса Борисова. Шло время, а несуществующий Борис Борисов преуспел в своих «действиях» больше, чем тыняновский подпоручик Кижэ, никогда не существовавший офицер затейливых времен Павла I. На бедного Борисова составлено было досье, достойное политического детектива. Сей фантом систематически занимался саботажем, не чуждался и шпионской деятельности, модной в сталинские времена. Совершал он и крупномасштабные преступления, что неизменно приводило к многочисленным жертвам. Разумеется, он был вооружен и очень опасен.

Между тем, его двойник Израиль Шапиро вёл жизнь почти что праведника. Он, подобно предкам, был религиозен, но в советские времена тайно молился и исповедовал свою религию. И, словно по закону вечного возвращения, Израиль так же, как его отец и дед, пришёл к мысли о необходимости изучения естественных наук. Он стал профессором экономики в Ленинградском Политехническом институте, затем «приступил к подготовке проекта экономических исследований в области чёрной металлургии...», ну, и так далее.

В 1938 году отец автора женился на Берте Горевой,

урожденной Шац, вдове бывшего коменданта московского Кремля, репрессированного в 1935 году. Когда началась война, Израиль ушёл добровольцем в народное московское ополчение, почти полностью уничтоженное через несколько месяцев; из полумиллиона солдат осталось не более 70 человек. Берта сумела использовать свои старые связи и вернула мужа домой. Затем, в 1944 году, родился будущий автор Борис (Барух).

Получив в силу своей профессиональной деятельности доступ к секретным статистическим данным, Израиль стал воистину шпионом. Он оценил количество жертв советского режима с 1917 по 1967 годы. Цифра без учёта жертв войны оказалась невероятной: около 80 млн. человек. Израиль собирался эти цифры обнародовать, но в конце концов уступил жене, умолявшей не губить семью.

Однако голоса предков были недовольны его трусливым поведением и затеяли целую дискуссию о нравственности Израйля. Отец его Шломо-Хаим, занял, прямо скажем, жёсткую позицию по отношению к сыну, считая, что для него существует только одна возможность – поступить по совести. «Никому и никогда не может принадлежать твоя жизнь, кроме тебя и Бога, – слышал Израиль голос Шломо-Хаима, – иначе ты раб». В конце концов, Борис Шапиро, собиравшийся покинуть Советский Союз, обещал отцу при первой же возможности обнародовать эти цифры, что он, согласно повести, и сделал в Германии в 1976 и 1978 годах.

«Блажен, кто смолodu был молод, блажен, кто вовремя созрел», – писал Пушкин. И каких только ошибок не совершаем мы в молодые годы, когда, по словам поэта, «... юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты». Изменить свою фамилию на другую – можно ли такое действие рассматривать как серьёзное нарушение или ошибку, учитывая, что юноша с этой *другой* фамилией спас детей, женщин, стариков?

А не сдвинула ли *нечто* перемена имён в мире *ином*? Согласно Библии, записанные, запечатлённые имена играют решающую роль при воскрешении из мёртвых. Вторая книга Пятикнижия, переведённая на русский язык как «Исход» (в Септуагинте - Eksodus) в оригинале называется «Шмот», что означает «Имена». Собственно, Голоса душ, то и дело раздающихся *оттуда* не что иное, как Имена. Сделаем рискованное предположение: Израиль, сделавшись Борисовым, пусть на время, но «отделил» себя от фамилии предков, нарушив этим миропорядок.

Так или иначе, сочинив Бориса Борисова, Израиль, сам того не подозревая, превратил его в свою тень, разрастающуюся,

как снежный ком. Кнопка бюрократического аппарата включилась в 1919 году, и заработал механизм, действие которого уже никто не мог бы остановить, в том числе и те, кто участвовал в налаженной работе механизма. Так в романе Кафки «Процесс», герой, жертва процесса, временами забывал о своём «непреступлении», захваченный антилогикой или опрокинутой логикой налаженного процесса. Есть что-то захватывающее в таком абсурде.

Фантом Борис Борисов следовал за Израилем Шапиро всю жизнь и, настигнув, оказался его ангелом смерти. В районном отделении ОВИРа среди плакатов о розыске преступников автор вдруг увидел старый плакат, на котором был изображён очень молодой человек «с открытым дружелюбным лицом». Перечислялись немыслимые преступления этого человека, некоего Бориса Борисова, совершавшиеся непрерывно 35 лет, и сообщалось, что за поимку преступника назначена денежная премия и правительственная награда.

Автор похитил плакат и повесил дома изнутри на входной двери. Увидевший плакат семидесятипятилетний Израиль, рассказал, наконец, сыну свою историю и попросил его не шутить с судьбой и убрать плакат. И спрятал сын плакат, как ему показалось, надёжно. Но «выплыл» плакат! Берта обнаружила его, мгновенно узнала в нём молодого Израиля и потребовала у мужа объяснений о преступлениях Бориса Борисова, после чего с Израилем случился удар – он умер спустя 13 дней.

Написав сочинение о повести «Голоса», я отважилась показать его автору. Он заметил мне только, что я не обратила внимания на одну существенную деталь в повести, а именно на то, что он, сын Израиля, является косвенным виновником смерти своего отца, поскольку нарушил заповедь «Не укради», украв в Овире тот самый злосчастный плакат, на котором был изображён его молодой отец-красноармеец, названный Борисом Борисовым.

Я решила не заострять внимание на тех годах дальних, глухих, и не выяснять дотошно, чьей собственностью был злополучный плакат. В глубине души я *знала*, что плакат принадлежал Борису Шапиро по праву наследования, даже если он в момент кражи этого и не мог осознать. Я сразу же перешла к вопросу, на мой взгляд, не срочному, а важному – к вопросу о сути художественной правды. Было очевидно, что отцу автора Израилю по совокупности многих причин пришло время уйти из жизни а, стало быть, и со страниц повести. Ему *пришло время*.

Разумеется, всё это автор повести прекрасно понимал, но когда речь заходила о собственном отце, тогда и начинались поиски виновного в самом себе, которые не имели ничего общего с

художественной правдой. Вызывая в памяти образ своего отца (вместо литературного героя), автор попадал в ситуацию, которую с беспощадной точностью охарактеризовал Набоков в эссе «Николай Гоголь»: «Такое подлое подражание художественному вымыслу со стороны жизни почему-то радует больше, чем обратный процесс». Разумеется, Набоков исключал из этой своей литературной «радости» собственных родных и близких, в частности мать и отца, и в особенности отца, убийство которого в Берлинской филармонии, он описал с такой пронзительной болью в «Других берегах». И - замкнулся круг между художественным вымыслом и так называемой правдой жизни, образовав вдруг тесный семейный круг.

Беседа с автором захватила моё воображение и опять же, в который раз, я подумала о правосудии, имея ввиду суд Высший, и о наших грехах, о которых мы знаем, и о тех, мимо которых мы небрежно проходили, не замечая их. Поиски прошлых грехов не всегда оправдывают себя – мы их *не все* знаем.

Данте, побывавший в Аду и благополучно вернувшийся на свет Божий, весьма своеобразно распределил грехи по степеням их тяжести. При этом, следует учесть, что Данте, в отличие от героев повести «Голоса», *знал*, что границы познания установлены свыше и непознаваемы (либо познаваемы через откровение) познать их – вне человеческих возможностей, и не надо искать Геркулесовых столбов. Однако, осмелившись в своей «Комедии» предвосхитить приговоры Страшного Суда, Данте в силу своих религиозных убеждений опасался решения этого Суда и неоднократно высказывал свои опасения на страницах «Комедии».

Классический и образцовый поэт, *знающий всё*, создатель Энеиды, Вергилий, посланный Беатриче помочь Данте *выбрать новую дорогу*, рассказывает Данте у седьмого круга ада о разновидностях грехов и степени их тяжести. Так выясняется, что обман – более гнусное преступление, чем насилие. Но обман ли художественная правда?

Незадолго до смерти между Израилем и его сыном произошёл настолько интересный разговор, что привожу здесь полностью.

«Когда я умру, похорони меня в Израиле», – сказал отец. «Почему?» – «Потому что я хочу воскреснуть одним из первых, когда придёт Мессия». Я не понял, шутка ли это: «А что ты будешь делать, когда воскреснешь?» – «О, дел будет много. Небесная канцелярия тоже может ошибаться. Там нужен глаз да глаз. Последствия гораздо серьезнее, чем в этом мире. Что ни говори, двести или триста миллионов жертв на земле в этом столетии и,

может быть, в десять раз больше в следующем – это и для них слишком много. Можно сбиться со счёта и о ком-то забыть. Там тоже нужен контроль». – «Ты сегодня оптимист», – иронически заметил я. «Я всегда оптимист», – серьёзно ответил он».

На смертном одре он попросил БERTУ кремировать его, чтобы «облегчить сыну перевозку останков в Израиль». Кремировать? Но ведь нельзя! «И тогда я понял, – пишет автор, – что это был вызов, как Богу, так и мне. По религиозному закону кремация строго запрещена. Поэтому для нацистов было так важно сжигать тела евреев. Я согласился на кремацию». Вот такой неожиданный поворот: если нельзя, значит - можно.

Прежде, чем продолжить повествование, напомним происхождение слова «Израиль». Как известно, Всевышний не раз заключал договор с человеком. Он заключал его с Ноем, Авраамом, Исааком. Заключил он Завет и с внуком Авраама Иаковом, который однажды в пустыне увидел сон: Иакову приснился Господь, Бог Авраама и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему ... И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе».

В другой раз Иакову довелось всю ночь бороться с Неизвестным. На рассвете Иаков обнаружил, что его противник – Ангел Божий. Ангел попросил Иакова отпустить его, что Иаков и сделал. В результате произошли большие перемены в жизни Иакова. Во-первых, Бог даровал ему Своё благословение, во-вторых, он нарёк его именем Израиль, что значит «боровшийся с Богом» – «ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». (Быт. 32:28). Сыновья Иакова назывались сынами Израиля (бней Исраэль). Такое же наименование получили и все его потомки.

Начало повести «Голоса» являет собой апофеоз доброжелательного и доверчивого обращения автора к предполагаемому, родственному по духу, читателю. «Дорогой потомок, дорогой родственник, дорогой друг и, тем самым, родственник по духу ...», - такой тон задан в экспозиции повести. В обращениях Бориса Шапиро к читателю я слышу надежду на то, что его послание сквозь «безбрежные просторы времени» (О. Мандельштам) «попадет к нужному адресату». Поскольку дальнейшие события повести - скажем так - невероятны, то, стало быть, Борис Шапиро рассчитывает на доверие и «друга в поколеньи», и «читателя в потомстве».

Итак, Борис, сын Израиля, согласился на кремацию отца вопреки Закону: воскресение из мёртвых в конце времён

произойдёт, как известно, из останков, а не из пепла. Борис сумел вывезти урну из России, а в Израиле «борьба за погребение отца длилась три с половиной месяца». «Я прошёл через похоронные бюро, кибуцы, различных политиков вплоть до Голды Меир, израильскую армию, заслушивание в подкомиссии в Кнессете, Министерство иностранных дел, сефардский и ашкеназский раввинаты». Автор был убежден, что «Тот, кто может воскресить человека из останков, может воскресить его из пепла тоже». Когда же раввины отвечали от имени Господа: «Может, но не хочет», Борис говорил: «Он хочет, в этом мой блаженной памяти отец был уверен. И поскольку в иудаизме нет и не может быть посредников между Богом и человеком, они должны были признать, что исключение допустимо вследствие особенных жизненных обстоятельств».

В конце концов, Израиль был похоронен летом 1976 года на земле Израйля – в Иерусалиме на кладбище «Гиват Шаул». Спустя год дядя автора Лея Бимман посадил на могиле кипарис, который «быстро рос и через пятнадцать лет стал очень красивым».

Случилось так, что в жизни Бориса Шапиро начались большие трудности, и когда он, наполовину парализованный, лежал в больнице, то слышал голоса. Израиль разговаривал с Богом, причём требовал от Него, чтобы Он помог сыну и его семье выбраться из трагической ситуации, иначе он, Израиль, вынужден будет преждевременно восстать из мёртвых и вмешаться. Всевышний терпеливо объяснял Израилю, что всё должно идти, как идёт. Но Израиль требовал Божественного вмешательства, поскольку положение было критическое. «Оставайся там, где ты есть, положение всегда критическое», – отвечал Бог. «Но это же моя семья!» «Оставайся там, где ты есть!» – сказал Бог так громко, что молния ударила в кипарис, могила вздыбилась и снова опала. Спустя год автор посетил могилу отца и увидел обугленный кипарис и треснувшую могильную плиту... Бедное дерево!

Как разгневался, однако, Вседержатель. Точно Зевс и его подчиненные, или как евангелический Иисус, покаравший в гневе ни в чем не повинную смоковницу. Да простит меня Всевышний мои суетные речи.

Однако надо отдать должное *Всевышнему из повести Шапиро*. Погневавшись, Он всё же смилостивился: жизнь автора и его семья существенно изменилась к лучшему.

И сообщил, наконец, автор об отце своём нечто: «бросивший вызов Богу, Изра-Эль, богоборец, праведник». Полагаю, что текст Шапиро в этой «метафизической» повести

требует иногда буквального прочтения. А не посетил ли в лице Израиля сей мир праотец тот самый Израиль, Иаков, увидевший лестницу, символ надежд человечества? Не отсюда ли такая непоколебимая уверенность в том, что он может быть похоронен в Израиле даже в виде пепла, из которого восстанет, как птица феникс из пепла? И зачем посещают праведники, богоборцы и пророки время от времени нашу грешную землю?

Слышу уже Голос Шломо-Хаима: «Подобные явления следует осознавать и исследовать. Но как? Процессом жизни? Малоэффективно. Необходим специально сконструированный духовный инструмент, система высказываний, который в каждую эпоху и в соответствующем ей духе времени позволит прийти к максимально возможному пониманию». «Шломо-Хаим, – ответила я, – видишь ли, я оказалась в затруднительном положении. В начале моего рассказа о повести «Голоса» написанной твоим внуком, я интригуяще и многообещающе заявила о некоей его таинственности, о многозначительности слова «передающий», которым он себя назвал, и об эпиграфе, который может иметь отношение к его неустановленной, таинственной личности. Посетило ли его божественное откровение, когда он оказался в роли «передающего», поскольку, как известно, нет предела той мере благодати, которую может воспринять человек? Или же, поскольку он - сын Израиля, то, стало быть, - сын Иакова, приходившего на землю и находившегося на ней три четверти 20-го века?»

Голос ответил: «Согласно гностической гипотезе, человеческий дух в принципе способен нести ответственность почти за всё. Ты, партнер Бога по Завету, без сомнения несёшь личную ответственность за высказанную тобой гипотезу. Это означает, что это так, если ты примешь решение о том, что это так. Но ответственность за это решение понесёшь только ты».

И тогда я обратилась за помощью к Голосу автора «Мёртвых душ», выручавшему меня ещё с юности в трудные минуты жизни. Его компетентным заявлением, сделанном на последних страницах бессмертной поэмы «Мёртвые души» о художественной правде в искусстве, я и закончу своё повествование о «Голосах» и его авторе: «К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду?»



Михаил Юдсон

Имя прозы. Игорь Гельбах

«Очертания Грузии», Иерусалим, 2012



а обложке картина Владимира Шенгеля – вход в книгу, арка, она же – ивритская буква «хет» - техническое начало, символ слова «хаим» - жизнь. У Гельбаха в прозе Хаим несколько перестраивается и образуется Миха – грузинский язык, письмена «похожий на гнутые ветви лозы».



Миха (как его звали в Тбилиси), ленинградско-сухумский Мишаня – один из трех столпов, носатых слонов повествования – бок о бок активно тут присутствуют также Бронгаузер и доктор Лаер (эдакая провизорская смесь Лаевского и фон Корена – действие-то, фон словесной дуэли персонажей – тот же Сухуми). Эх, не зря проза Гельбаха напоминает тамошнее море многоцветностью смыслов, она напоминает нам, что «хет» еще и – «грех» на библейском наречии. Очертания жизни греховны и

прекрасны – вино и дамы-с в «домино», и творчество, и крючкотворство... Лехаим!

Пиши в тиши, смотри на снег на ветках хурмы, хрумкой плоды познания и думай о душе. Чем-то эта проза родственна разросшимся хокку, а гора Чернявского, волшебное место романа – явная сухумская Фудзи. Бамбук памяти прорастает сквозь нас и проч. Книга Гельбаха хоть и состоит из четырех отдельных, прочных сюжетно частей, но конечно же – это единый роман. Прочитаем стихотворно названия, в ритме Басе: «Склон горы в сухой день», «Играющий на флейте», «Бронгаузер с комментариями» – «Очертания Грузии».

О чем эта книга? Да все о том же – о жизни, о смерти, о любви, театре, болезнях, любви, море, дожде, любви, обезьяньем питомнике, крысиных норах, любви... Тут же все дело – как написано, «яко» по выраженью протопопа Аввакума. Надобно, чтобы и конь и як, впряженные автором в одну арбу, прилежно тащили медленный воз прозы – и читатель впитывал благодарно, грел в руках, катал на языке, причмокивал, ощущал послевкусие. Терпкая, густо-прозрачная проза Гельбаха – с запахом роз и камфарного дерева, зоркая, узорная, резная, с завитками грузинских букв, с чуть дымчатыми очертаниями былой печали и извечной грусти, с гортанной речью эха, абрисом гор в бурках снега и бело-розовым цветеньем абрикосов. Абхазия Гельбаха! Она у него непривычная для меня, по-иному наэлектризованная, не фазы искандеровой. Абрамов, опять же, много, евреев – грузинских и просто так себе: даже начальник портовой милиции – и тот Шапиро (хотя в порт лучше бы пошел Рапопорт).

Но шапку надо снять перед автором, без шуток, за манеру складывать словеса. Если выуженный им из жизни Мишаня занимается чеканкой по меди, то Гельбах – по бумаге. Вязь орнаментов, причудливых профилей, объемных воспоминаний. У персонажей важные дела и неожиданные желания: «В воскресенье с утра длинными полосами под ветром извивается снег и, оглядев город, Бронгаузер направляется в кофейню на втором этаже ресторана на воде. Надо посмотреть, как снег падает в море, думает он. И действительно, длинные снежные полосы падают в зеленую напряженную массу воды и исчезают, а на воде дрожит мелкая рябь». Вона как, теперь будем знать! И всплывают в памяти слова одного из гельбаховских героев, «что де лишь вошью себя ощутив, ослепленной светом этого мира, можно ощутить и понять искусство».

Что ж, ползем дальше. Много в книге мокрых мест – дождей, снегов, моря, серых сырых туманов и фиолетовых туч.

Явления природы и прочая флора обретают у автора домашность, уют – вроде пятна на потолке и пушистой плесени по стенам. Гельбах не прочь признаться: «Я легко узнаю состояния пейзажа. По-моему, это одна из причин, неосознанных причин нашей любви к природе. Почти всегда мы знаем, чего можно ожидать от пейзажа, и это неизменно из года в год... Что же до людей – то большинство человеческих лиц мы воспринимаем как маски с играющими камешками глаз, вставленных в дырочки для оживления куклы».

Для меня, скажем, и цветы, и травы, и деревья – тоже все на одно лицо, увы, безымянные божьи созданыя, а Игорь Гельбах, стихийный пантеист, всех их зовет по имени – «белые маленькие цветочки кустов трифолиата», «легкая желтая вуаль цветущей мимозы», «магнолии с белыми, чуть зеленоватыми цветами, чей запах смешан с ароматом кипарисовой хвои». Эх-ма, ежели б не люди – райский сад на земле! Вот к людям у автора отношение иронически-скептическое, хотя и вполне доброжелательное, вызванное, вероятно, долгим соседством с сухумским питомником приматов – ну, двуногие без перьев, зато с мозолями на задах, ну, что с них взять...

Когда неспешно читаешь сию книгу, в голове как бы прорастает, пробивается и начинает струиться странная многострунная мелодия, порой сжимающаяся в бесхитростность дудочки и выжимающая слезу – такой вот музыкальный строй страниц – лей, флейта, фавнову печаль по канувшему и несбывшемуся, по камфарным деревьям (они повсюду мелькают в тексте, как фары и лавры автора – съехались в нашем саду!), по каплям дождя на оконном стекле, по прелости и прелести трав и вер... Плачь, дудка, нечувствительно, меж строк, по арфам на кустах, по рекам сионским и рионским, да свирельствуй обо всем – энциклопедически – от Бронгаузера до Эфрата...

Так постепенно добираться и до последней части романа Гельбаха, давшей название всей книге – «Очертание Грузии». Это своеобразное зеркало прочитанного давеча и намеренно. Медлительная прустиниана «Бронгаузера с комментариями» складно отражается, рифмуется в этой новой прозе – по направлению к Сванетии и Свану! – и мы анфиладно получаем комментарии к «Комментариям» – оживление персонажей с сообщением их реальных фио и места жительства, а также высаживание их рядом да ладком, свесив ноги, поверх очередной авторской ширмы. Петрушечной скороговорки, однако, и здесь не предвидится – очень гармоничная проза, органно устроенная, с гулками периодами медитативного взглядыванья в бедного себя и в

бездну окрестных товарищей, с паузами пробелов меж чернеющих абзацев.



Игорь Гельбах

Когда я, переходящий рецензент, кузовной груздь, добрел наконец до «Очертаний Грузии» (было сыро, дул сильный ветер, сказал бы Гельбах), то воздел я руки, почесал репу под кипой и воскликнул – да это же волшебный очаг, нарисованный на обороте старого холста (или на клеенке, как у Нико), за которым – искомая дверца, отпираемая золотым ключиком – и там сказочная страна Театра!

Таково следующее имя, еще одна маска этой разногубой прозы – театр. Весь мир, как нам известно – «Глобус», а люди в нем – статисты, массовка. И «Очертания Грузии» подтекстово нагружены отношениями личности и крыс, Творца и тварей, избранности и изгойства – тут и частицы чертовщинки (с кречетом на плече!), и черточки оседлости, неизбывной бронгаузерности – диавол и мастерство, мессир и Массолит... Лучшие здесь, пожалуй, по проникновенности и искренности страницы – это житие Дато Цискаришвили, «сына зари», замечательного театрального режиссера – вечная, возвращающаяся на круги и за кулисы, история Мастера.

Вообще читал я книгу, как выражался Ремизов, «с неморгающим вниманием», пытался досконально постичь. Обычай писания Гельбаха – «печенье блинов», то есть кидается философский камешек прозы в море прошлого – разбегаются круги, и автор дотошно, вергилиево водит нас по этим кругам, при этом ходит по водам Лагидзе, тащит задумчиво от Платоновой пещеры к платоновскому котловану, странствует улиссово от хинкальной к чебуречной, срачивая Дублин с Тбилиси – да

вдобавок еще раз за разом выстраивает сухумские декорации, тыча читателя носом в дом, чтоб он был здоров, Чернявского, в гору Трапезия, в «голубую сферическую гладь моря» - прочти, почувствуй, учти, участвуй... Сух ум – но дерево камфарное вечно зеленеет!

Прочитую Андрея Битова, сказавшего о Гельбахе: "Это такая, в лучшем смысле, провинциальная проза, которая иногда признается потом, приобретая мировые черты..." Ишь ты, провинциальная... Если в смысле про вина, и, в принципе, у моря – то да, а так не очень... О, чары, хрусталь и голубые роги сей провиденциальной прозы – читай до дна и оцени букет – не хуже, чем "столичная"!

Мне отродясь по вкусу не опостылая ржавая селедка реализма, а вот такой постфаршмак по Гельбаху – ажурные разводы прозы, мидии и Медеи под одной крышкой, краса красот, пустот прозрачный воздух... Вглядитесь внимательно в «Очертания Грузии» - ар гесмит халхно (не понимаете что ли, люди)?! – ведь вот же мозаичные фрагменты калейдоскопно складываются во фреску. О, букетность строк, точнее даже, строф, столь созвучная утонченным представлениям об отточенности текста! Автор на наших глазах, вышибая искры, шаманит и икебанит, подбирает звук, переставляет цвет, вводит рефрен в свой белый стих – отсюда возникает неоднократно: «и клинопись кипарисов на холмах, и графика сухих, без листьев ветвей винограда, и облаченные в снежные бурки горы...» Тут не расчисленность прозаического арифмометра, а хищная прихотливость рифмэтра – а вот так, а может этак, а достаточно ли давяще, цепляет табака?

Да все хорошо, Игорь, книга сложена на славу, и кофе в джезве сварено в раскаленном песке сухумского пляжа, и ангелы Ван Эйка поют над Понтом по-эвксински – а, значит, наяривает весь этот джаз прозы Гельбаха...



Виктор Гопман

Сентиментальное путешествие во Францию и Испанию

**Перечитывая Хемингуэя,
Маяковского и Бродского**



"потом погода испортилась". Так Хемингуэй начинает "Праздник, который всегда с тобой". Эту фразу могли свободно повторить и мы в свой последний день пребывания в Париже – потому что Суккот в тот год пришелся на вторую половину октября (а порядочный израильский турист, как известно, таскается по заграничам преимущественно в Песах да в Суккот).

Давайте сразу оговоримся: поскольку далее вовсю будут цитироваться как "Фиеста", так и "Праздник, который всегда с тобой", то после заключительных кавычек, в скобочках, я буду помечать: (Ф) в первом случае и (П) во втором. Для указания цитат из Маяковского используем букву (М), а ссылки на Бродского будут даваться непосредственно в тексте (к тому же, согласитесь, этих поэтов трудно перепутать).

Итак, вылетали мы ночным рейсом, и за полчаса до отправления в Бен-Гурион, проверив напоследок наличие паспортов и авиабилетов в потайном отделении сумки, под молнией, и похлопав себя по карману, где лежал брелок с ключами от чемодана и сумки, я сел за компьютер, чтобы в последний раз посмотреть в интернете прогноз погоды. Вообще-то, ничего хорошего мы не ждали (середина октября, середина осени!), да и обращение к долгосрочному прогнозу как позавчера, так и вчера не особо обнадеживало: переменная облачность, ветрено, дожди... Одним словом, "холодный ветер срывал листья с деревьев на площади Контрэскарп. Листья лежали размоченные дождем, и ветер швырял дождь в большой зеленый автобус на конечной остановке..." (П).

Однако из-за компьютера я встал в расположении духа менее пессимистическом – потому что наметилась явно выраженная тенденция: слово "дождь" исчезло из текста прогноза, сменившись словом "облачность" (ну, допустим, "низкая облачность" – но все-таки полегче...). Да и предсказываемые температуры поднялись на пару-тройку градусов Цельсия. В общем, жить можно!

Чтобы покончить с разговорами о погоде, забегу вперед и скажу, что давно уже нам так не везло. То есть, метеопрогноз оказался – на наше счастье – никуда не годным: дождичек чисто символически покапал один-единственный разок, причем в течение буквально семи минут, да вот в последний день задул холодный ветер; впрочем, и это вовсе не омрачило наших прощальных прогулок по парижским улицам. Тем более что часть времени мы проводили в защищенных от непогоды музейных помещениях. "Я ходил в музей почти каждый день" (П) – ну, наверное, в те времена это удовольствие было бесплатным, если учесть, что немалая часть "Праздника..." посвящена сетованиям автора по поводу своего стесненного материального положения. А в наши дни каждый день по музеям просто так не находишься – удовольствие не из дешевых. Впрочем, можно купить музейный абонемент, дающий его владельцу широчайшие, прямо-таки безграничные права на освоение культурного наследия, хранящегося в 65 музеях Парижа и окрестностей.

Будучи абонементовладельцами, мы не только излазили Лувр и прочие основные парижские достопримечательности, но и отдали должное попадавшим на нашем пути музеям из числа не пользующихся столь громкой славой. Так, например, мы забрели в Музей транспорта – как оказалось, вовсе не зря, потому что именно там довелось впервые воочию увидеть пресловутую "испано-сюизу". Помнится, именно на ней раскатывали все богатые и порочные героини Ивлины Во. А и впрямь – есть на что посмотреть. Длинная черная машина, умышленно сохраняющая силуэт кареты: открытое сидение для водителя (простите: для шофера, а точнее, для "шоффэра"), которое так и тянет назвать "облучок", сзади – запятки (уж, наверное, для выездного лакея), а между – помещение на четыре дверцы, причем достаточно высокое, чтобы джентльмен мог поместиться там, не снимая цилиндра. И при всем при этом мотор на 250 лошадей (согласно соответствующему справочнику). Тот же справочник лаконично определяет "испано-сюизу" как "роскошный автомобиль, изготавливаемый по индивидуальному заказу". Во всяком случае, это не маленький "рено", принадлежавший Скотту Фицджеральду,

который они с Хемингуэем перегоняли из Лиона в Париж, где "Фицджеральды сняли меблированную квартиру на улице Тильзит, 14, недалеко от Этуаль" (П), то есть, площади Звезды: правый берег, центр города, Триумфальная арка, начало Елисейских полей. "Веселых тянет в эту вот даль. // В Париже грустить? Едва ли! // В Париже площадь и та Этуаль, // а звезды – так сплошь этуали" (М).

Что роднит цитируемые стихи и прозу – так это безудержное использование топонимов, придающих повествованию особый колорит – да чего там, скажем прямо: смак. Вот, к примеру, герой "Фиесты", подцепив "курочку", отправляется с ней поужинать: "Мы поехали по широкой, сверкающей огнями и почти безлюдной авеню Оперы, мимо запертых дверей и освещенных витрин магазинов... Мы свернули на улицу Пирамид, проехали по тесной рю де Риволи и через темные ворота въехали в Тюильри... Мы выехали из Тюильри на свет, пересекли Сену и свернули на улицу Святых Отцов" (Ф) – это автор повез своего героя с девицей на Левый берег, в район своего привычного обитания.

Детальность даваемого Хемингуэем описания – это королевская точность идеального путеводителя. Так работает гид высшей квалификации, который во время экскурсии с точностью до нескольких метров определяет местонахождение своей паствы в пространственном континууме и с точностью до дней привязывает события, о которых ведется рассказ, к континууму историко-временному.

А помнится, что при первом чтении все эти названия промелькивали, практически не оставаясь в памяти – или, иными словами, глаз скользил по ним, не задерживаясь, потому что это были всего лишь лексические единицы непонятого языка под названием "Парижская топография", столь же невнятного ("На языке, тебе невнятном..."), как китайский или древнегреческий. И ведь вероятность постигнуть язык парижских улиц на практике представлялось тогда еще меньшей, чем полет на Марс – что с Лосем и Гусевым в поисках Аэлиты, что с героями Бредбери. И – кстати – уж вовсе невероятным представлялось (да и представлялось ли?) постижение языка не менее древнего. То есть, иврита. Однако реальная жизнь богаче любой создаваемой в воображении конструкции: вот мы и на иврите говорим, и по Парижу бродим.

И понимаешь, какое удовольствие получал Хемингуэй, перечисляя названия улиц – вне особой связи с сюжетом, просто так. Но осознать это в полной мере можно лишь теперь, когда ты и сам прошел по всем этим местам, когда прочел вслух названия,

забредшие в твою память со времен Дюма, потом Мопассана, потом Бальзака, потом Сименона и Симоны де Бовуар (согласно хронологии твоего знакомства с произведениями этих авторов – да и не только этих, разумеется...). Когда сфотографировался – на фоне Эйфелевой башни, это само собой, но также и имея за спиной угол обыкновенного вроде бы дома с темно-синей табличкой, на которой, четкими белыми буквами: "Рю де Риволи". И здесь уместно процитировать Иосифа Бродского (ставшего Нобелевским лауреатом через 33 года после Хемингуэя): "В Париже, ночью, в ресторане... Шик // Подобной фразы – праздник носоглотки..." Именно так, и попробуй сказать лучше. Именно что праздник, когда ты буквально упиваешься, словно музыкой, звучанием имен собственных – да, впрочем, и нарицательных тоже. Включая простейшие, типа "круассан", или "бон виван", или "шарман" – хотя последнее вроде бы и не имя существительное...

А ведь Хемингуэй не льстит Парижу, не романтизирует его – пожалуй, наоборот. Не просто изображает город таким, как есть, но даже (пусть и чуть-чуть, а все равно – нельзя не заметить) подпускает черной краски. Когда он пишет про "старые жилые дома" (П) и "кафе "Для любителей", мрачное кафе с дурной репутацией, где собирались пьяницы со всего квартала" (П), то возникает ощущение, будто речь идет о самой что ни на есть городской окраине. И это не говоря уж об "ассенизационных бочках, коричневато-желтых в лунном свете, которые лошади тащили по улице Кардинала Лемуана" (П) – а тогдашний парижский адрес Хемингуэя и был: ул. Кардинала Лемуана, 74. На деле же эта улица существенно ближе к центру города, чем, скажем, улица Первой Кампании, где в отеле Истриа обычно останавливался Маяковский ("Мне тесно здесь // в отеле Istria, // на коротышке // rue Champagne-Premiere" – М). Посмотрим на карту города: улица Кардинала Лемуана идет от самой Сены, от острова Святого Людовика (Сен-Луи), составляющего вместе с соседним островом Ситэ (там, где Собор Парижской богородицы) исторический центр Парижа, и тянется она на юг до уровня примерно нижней границы Люксембургского сада. И лишь существенно южнее бульвар Монпарнас пересекается с бульваром Распай ("Направо от нас – Boulevard Montparnasse, налево – Boulevard Raspail" – М), а точка их пересечения – это вершина треугольника, основанием которого и является улица Первой Кампании, названная в честь первых военных успехов Наполеона.

Но вернемся к нашему последнему парижскому дню. Зайдя на прощанье, на часок, в Лувр (чтобы подытожить впечатления), мы отправились на левый берег пообедать. Двигаясь

в направлении Дома Инвалидов, мы вдруг остановили свой взор на заведении с гордым названием "Столетие", что на углу бульвара Марбургской башни и Университетской улицы. Заглянув туда и увидев в массе своей публику нетуристического вида, решили не искать добра от добра. И оказались правы. Дали нам по огромному куску лосося, приготовленного с креветками и грибами, на гарнир вареный картофель с маслом и укропом, и миску зеленого салата. И блюдо сыров. Все вроде бы прекрасно, только с вином вышла заминочка. Официант сует карту напитков, а я ему: "На ваш вкус. Что из вашего погребца лучше всего подходит к рыбе?" А он – ну, не понимает он по-английски. Положение спасла сидевшая за соседним столиком американская пара – мадам, по счастью, владела французским и посодействовала нам с выбором.

Пока мы обедаем, пусть читатель припомнит еще один маршрут Хемингуэя: "Я прошел мимо лица Генриха IV, мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни бульваром Сен-Жермен, добрался до кафе на площади Сен-Мишель, которое я хорошо знал. Это было приятное кафе – уютное, чистое и теплое" (П). И, сев за столик, он заказал кофе с молоком.

Мы же, пообедав, пересекли Сену по мосту Александра III ("Пройти по парижскому мосту – это всегда приятно" – Ф), затем по набережной вышли к площади Согласия ("Если б был я Вандомская колонна, // я б женился на Place de la Concorde" – М), по рю де Риволи добрались до Пале-Рояля, площадь перед которым сейчас носит имя Андре Мальро (автора толщенного романа "Условия человеческого существования", занимавшего в течение 10 лет (с 1959 по 1969) пост министра культуры Франции). Иными словами, мы шли, как учил младший брат известного цареубийцы, другим путем – хотя и к аналогичной цели. Наше кафе тоже оказалось уютным и теплым. Находясь напротив Пале-Рояля, оно называлось, естественно, "Рояль", то есть "Королевское", и зайдя туда, мы, в полной мере следуя Хемингуэю, "заказали café au lait" (П). И нам принесли прекрасный кофе, в больших чашках, похожих на полоскательные, а к нему вкуснейшие эклеры длиной никак не меньше четверти метра каждый.

Кстати – вспомним, что и герои "Фиесты" имели обыкновение, пообедав в одном ресторане, отправиться в другое место пить свой кофе. "Мы пообедали в ресторане Лавиня, а потом пошли пить кофе в кафе "Версаль" (Ф). Или: "Покончив с

завтраком, мы пошли в кафе де ла Пэ и выпили кофе" (Ф). Или, уже на испанской земле: "Мы пили кофе в кафе Ирунья, сидя в тени аркады, в удобных плетеных креслах, и смотрели на площадь" (Ф).

Но вот кофе допит – до донышка, согласно рекламе, популярной в те двадцатые годы прошлого века ("Кофе Максвелл хорош до последней капли!"), и – продолжаем описание нашего маршрута. Выйдя из кафе и свернув за угол, мы по авеню Оперы прошли к зданию Оперного театра, где (собственно, оказавшись уже на бульваре Капуцинов) спустились в метро и поехали в гостиницу. Интересно, что мы двигались с Хемингуэем (ну, точнее с героем "Фиесты" Джейком Барнсом) примерно в том же квадрате: "От церкви Мадлен я прошел по бульвару Капуцинов до Оперы, а оттуда в свою редакцию" (Ф). Езды нам было общим счетом более десяти остановок, до конечной станции третьей ветки, что уже за кладбищем Пер-Лашез – правда, перегоны в парижском метро короткие.

Собрав вещички, мы погрузились в автобус – и вот уже за окном "Париж бежит, провожая меня, // во всей невозможной красе" (М). Впрочем, "Париж никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему" (П).

Итак, мы с женой отправились из Парижа домой, в Иерушалаим, а Джейк Барнс – в Испанию. "Мы с Биллом уехали утренним поездом с вокзала Орсе" (Ф) – именно оттуда в те годы отправлялись поезда на Мадрид и Барселону ("Пять часов, и с этих пор // стих людей дремучий бор, // вымер город заселенный, // слышу лишь свисточный спор // поездов до Барселоны" – М). Все это было, было и прошло, и наступил конец прекрасной эпохи: "испано-сюиза" снята с производства в 1937 году, и теперь она – музейный экспонат, а вокзал д'Орсе прекратил свое существование в 1939 году. Правда, будучи изъятым из транспортного ведомства, вокзал к середине восьмидесятых обрел новую жизнь, превратившись в один из лучших парижских музеев, украшенный двумя жемчужинами Эдуарда Мане: "Завтрак на траве" и "Олимпия".

В свои парижские годы Хемингуэй "ходил [в музей Люксембургского дворца] почти каждый день из-за Сезанна и чтобы посмотреть полотна Мане и Моне, а также других импрессионистов..." (П). Теперь и импрессионисты, и многие другие картины перекочевали из Люксембургского дворца в Лувр и Орсе; зато просторы Люксембургского сада украшают многочисленные статуи: и мыслителей, и писателей, и особ королевской крови, включая также Марию Стюарт – но об этом

лучше пусть скажет Бродский:

И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг,
французских королей во время оно.
Безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит как помесь Пантеона
Со знаменитой "Завтрак на траве".

Величественное, увенчанное куполом здание Пантеона, усыпальницы великих людей Франции, красуется в центре Латинского квартала, неподалеку от Люксембургского сада – надо только пересечь разделяющий их бульвар Сен-Мишель. А "Завтрак на траве", как уже было сказано, находится теперь в музее Орсэ, на втором этаже.

В Испании мы с женой побывали через годик-другой. Мы не ловили форель в горных речках и – если честно – не рвались на бой быков. Наши удовольствия были скромнее и вместе с тем отчасти фундаментальнее. "Прадо", где мы трижды обошли зал Босха: бросились туда, едва переступив порог музея, потом внимательно изучили его по ходу систематического осмотра, и заскочили напоследок, уже перед выходом – чтобы закрепить впечатление. И соборы – от щемяще образцовых в Толедо и Сеговии и умопомрачительного "Святого семейства" Гауди в Барселоне до скромной мадридской церквушки с громким названием Сан-Антонио де ла Флорида, где фрески работы Гойи и где сам художник упокоился после своего более чем восьмидесятилетнего тяжкого пути познания. И прогулки по мадридским паркам, под сенью фонтанных струй, и по барселонской Рамбле, по всем составляющим ее великолепие бульварам, включая и цветочный рынок, и птичий базар, где шустрые продавцы, чем-то неуловимо напоминающие ребяток с московского Птичьего рынка, всюю распродают нахохлившихся разноцветных попугайчиков, и дальше, дальше, к морю и порту, до площади Врата Мира, посредине которой высится памятник Колумбу, охраняемый четырьмя чугунными львами, застывшими в разных позах. Именно в Барселону вернулся великий путешественник после открытия Нового Света, дабы с гордостью доложить королеве Кастилии Изабелле Католичке и ее супругу Фердинанду Арагонскому, что они отнюдь не выкинули деньги на ветер, финансировав его историческую экспедицию. А отплыл Колумб из города Палос-де-ла-Фронтера, расположенного по другую сторону Пиренейского полуострова, неподалеку от южного стыка границ Испании и Португалии. Во всех энциклопедиях про

этот город говорится практически одно и то же: ничем таким он не знаменит, кроме того, что его берег был последним, что видели матросы Колумба на пороге своего прыжка в историю. Заметим также, что Маяковский, по-видимому, пользовался другими источниками, поскольку отправил Колумба из города не на юге, а на севере Испании, название которого читается по-испански "Хихон", а пишется "Gijón"; Маяковский же прочел его по-французски: "И вот, быть может, отсюда, с Жижона, // на всех парусах рванулся Колумб".

А теперь, на закуску (извините за нечаянный дурацкий каламбур) – пара слов об испанской кухне. "Мы очень хорошо поели. Первая трапеза на испанской земле – это каждый раз серьезное испытание: закуски, яйца во всех видах, два мясных блюда, овощи, салат, десерт и фрукты. Нужно много вина, чтобы все это одолеть" (Ф). Вспомним, что это говорит американец, живущий во Франции и совсем недавно пересекший испанскую границу.

Но мы не будем сопоставлять несопоставимое – то есть, обеденные меню в достаточно шикарных ресторанах, ибо каждое меню и каждый ресторан хороши по-своему. Сравним, однако, вполне поддающееся сравнению: что именно давали на завтрак в тех скромных гостиницах Мадрида и Парижа, где нам довелось жить. Начнем с испанской столицы.

Итак, вы спустились в ресторан. Часам к восьми утра, если не раньше. Для разгона – три вида соков, потом йогурт, как простой (на мой вкус, кстати – лучше всего), так и с различными фруктовыми добавками, и к нему хлопья нескольких видов: простые, шоколадные, с орехами и изюмом; там же располагаются и мисочки с изюмом и курагой. Тончайшие ломтики ветчины вареной и ветчины копченой, и корейка, и пять-шесть сортов колбас – вареные, варено-копченые и сырокопченые. Консервированные тунец и сардины. Глазунья, омлет и вареные яйца. На гарнир – жареные грибы и консервированная кукуруза, а также помидоры, крупношинкованная капуста (которую так хорошо полить оливковым маслом и темным яблочным уксусом) и маслины. Для желающих – горячее блюдо: тушеная фасоль с каким-то мясом. На толстой фаянсовой доске – огромный, на полголовы, кус сыра типа голландского, рядом рокфор в развратных нитках черной плесни и скромная лепеха белого рассольного сыра. Тосты, которые клиент сам изготавливает себе с помощью электрической спецмашины. Булочки пяти видов, в том числе и разбиравшиеся быстрее прочих самые вкусные, из муки грубого помола, с отрубями. Столько же, если не больше, видов

сладких булок. Масло, мед и джем: клубничный, апельсиновый и абрикосовый. Чай, кофе, какао. Да, еще фрукты – арбуз, виноград, бананы, плюс к тому же консервированные персики и абрикосы.

(В скобках: это вечная загадка, с которой я сталкивался не только в Мадриде и которую мне никак не разрешить: при подобном богатстве и разнообразии граждане питающиеся вполне четко очерчиваемой категории, а именно, лица женского пола, в самом широком возрастном диапазоне, жительницы стран Средиземноморья – и вовсе не Израиль я имею в виду, а Грецию с Италией в первую очередь – ограничивают свой завтрак минимум пятью сладкими булками, каждая из которых размером с блюдечко, никак не меньше, запивая их несколькими чашками кофе с молоком. Если это и диета, то куда как странная...)

На испанском фоне французский завтрак выглядит по меньшей мере скромно – политкорректность запрещает мне использовать более подходящие в этой ситуации слова. Два вида соков, два вида йогурта (простой и – обычно – клубничный, химического вкуса, с нещадной добавкой клубничной эссенции), пара сортов хлопьев (кукурузные и пшеничные), твердый сыр, нарезанный тоненькими ломтиками, и не более трех разновидностей плавленого сыра. Масло, мед (не всегда) и джем, включая неизбежный, совершенно несъедобный сливовый. Чай и кофе (причем молоко к кофе подается холодным – возможно, с гуманной целью избежания пенек). Вот вроде бы и все. Да, разумеется, круассаны и бриоши, но в весьма ограниченном ассортименте.

Мне могут возразить: такой завтрак традиционен для Франции. И сослаться на того же Хемингуэя: "Утром я спустился по бульвару Сен-Мишель до улицы Суфло и выпил кофе с бриошами" (Ф).

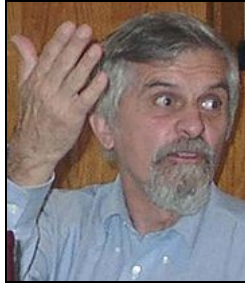
А я в ответ – другую цитату: "Для Франции это был обильный обед, но после испанских трапез он показался мне несколько скудным" (Ф).



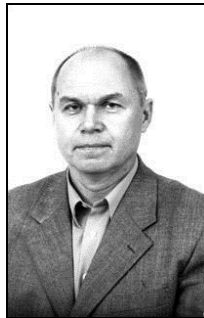
Об авторах



Наталья Завойская – научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт», издатель трудов отца – академика Завойского.



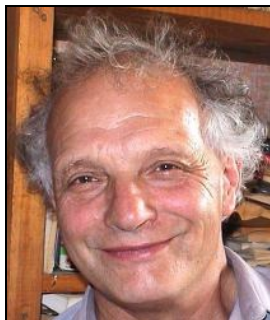
Владимир Тихомиров – российский математик, писатель и педагог, профессор МГУ, член Московского математического общества.



Николай Осмоловский российский математик, профессор кафедры общих проблем управления мехмата МГУ.



Андрей Дмитрук – российский математик, ведущий научный сотрудник лаборатории стохастических моделей экономики ЦЭМИ РАН РФ.



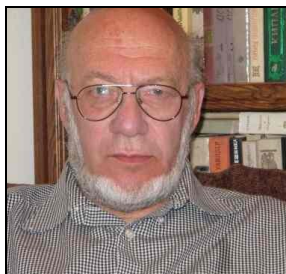
Борис Альтшулер – Старший научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.



Павел Нерлер – историк, географ, литератор.



Эстер Пастернак – поэт, журналист, прозаик.



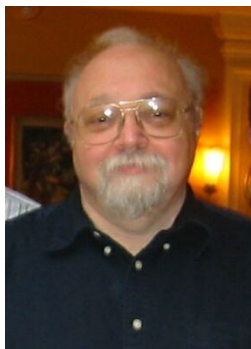
Александр Лейзерович – доктор техн. наук. Переводчик стихов и прозы, печатается в периодических изданиях.



Евгений Кисин – всемирно известный пианист, лауреат множества премий и почетных званий.



Гелий Грант – псевдоним Гелия Грантовича Мирзоева, в марте 1942 года угнан в Германию, где находился до мая 1945 года, живет в США.



Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.



Игорь Фунт – редактор «Русской жизни», редактор изд-ва «Аэлита» («Уральский Следопыт»).



Лазарь Фрейдгейм – инженер, кандидат технических наук, коллекционер.



Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель.



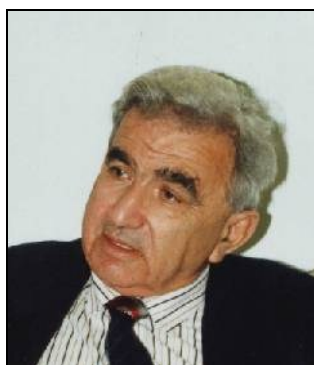
Лариса Миллер – поэт, прозаик, эссеист, член Союза Российских писателей и Русского ПЕН-центра.



Виленкин Нахум – израильский поэт, пишет на русском языке



Лорина Дымова – поэт, прозаик, переводчица.



Григорий Канович – писатель, лауреат премии Союза писателей Израиля.



Евгений Кузьмин – доктор философии, сотрудник музея «Яд ва-Шем».



Нина Горланова – писатель.



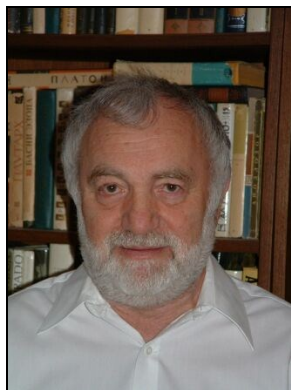
Вячеслав Бикур – писатель, преподаватель иврита.



Соня Тучинская – программист, публицист



Елена Мазур-Матусевич – писатель, художник, филолог.



Александр Матлин – инженер-строитель, печатается в периодической прессе.



Анри Труайя – французский писатель.



Алла Цыбульская – театровед, журналист.



Нина Воронель – писатель, переводчик.

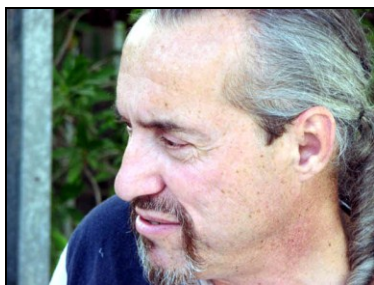


Илья Корман – поэт, литератор.

Микки Вульф – литератор.



Мина Полянская – член немецкого Пушкинского общества и немецкого отделения международного ПЕН клуба.



Михаил Юдсон – литератор.



Виктор Гопман – переводчик.



Журнал «Семь искусств», июнь 2012
ред.-сост. Евгений Беркович
изд-во «Общества любителей еврейской
старины»
Ганновер 2012, 542 стр. 25,7 а. л.

© Евгений Беркович (составление и
редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое
редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Общество любителей еврейской старины